

ГЕНРИ
ХОУССЭЙ

КЛЕОПАТРА



Annotation

Сборник посвящён загадочнейшей из женщин Древнего мира — Клеопатре.

Трудно найти в истории личность, которую окружало бы такое количество преданий и легенд.

Дополняя, перекликаясь и споря друг с другом, три исторических романа, вошедшие в эту книгу, создают живой образ правительницы Древнего Египта.

Содержание:

Г. Хоуссэй – Клеопатра,

Г. Эберс – Клеопатра,

Г. Хаггард – Клеопатра.

Клеопатра. Сборник

ГЕНРИ ХОУССЭЙ

КЛЕОПАТРА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

I

После сорока или пятидесяти веков существования Египет умирал под пристальным взглядом Рима...

Династия Птолемеев, давшая было государству силу и великолепие, погрязла с течением времени в разврате и преступлениях и обессилела от междоусобных войн. Трон поддерживался исключительно милостями Рима, покупаемыми дорогой ценою: путём унижений Египет сохранил некоторое время независимость.

Освобождённые почти совершенно от военной службы введением обычая нанимать войска в Греции и Галлии, египтяне отвыкли от войны. Кроме того, они подвергались столь многочисленным нашествиям и входили в состав стольких государств, что с отечеством у них сохранилась исключительно религиозная связь...

Благодаря этому для них, как для людей, рождённых рабами и привыкших к деспотизму, не представлялось унижительным жить под управлением то греческого царя, то римского проконсула, лишь бы не платить податей на копейку больше и получать ударов меньше.

Их померкшая слава и бывшее могущество дали Египту громадные богатства: земледелие, промышленность и торговля вливали в Александрию по тройному руслу поток золота; Египет снабжал хлебом Грецию и Малую Азию, служа неисчерпаемым складом бассейна Средиземного моря.

Александрия была городом Птолемеев: каждый царь династии построил там дворец, воздвигнул храм, поставил статуи, устроил фонтаны, посадил боскеты из акаций и диких смоковниц, вырыл бассейны, в которых цвели кувшинки и голубые лотосы; Страбон приписывает стих «Одиссеи»: «Они выходили один из другого» — монументам Брахиума.

Около этих царских дворцов и их громадных служб возвышались храмы Хроноса, Изиды Плузайской, малый Серапеум, храм Посейдона, гимназия с портиками, театр, крытая галерея, библиотека, содержащая 700 тысяч томов, наконец, Сома — громадный мавзолей, где в массивном золотом гробу, помещённом в другом, стеклянном, почивал Александр.

//

Александрия была городом международным.

В то время как города Верхнего Египта и Хептаномиды сохранили национальный вид, в Дельте греческая цивилизация прочно привилась к египетской.

Законы и указы обнародовались на двух языках.

Духовенство, чиновники, полиция, суды и всякого рода администрация состояли наполовину из греков, наполовину из туземцев; армия комплектовалась греческими и галльскими наёмниками, бандитами и беглыми римскими рабами.

В Александрии в продолжение двух веков образовалось множество колоний, и туземцы, преимущественно сгруппировавшись в старом египетском городе, называемом Ракотис, составляли больше чем треть всего населения. Евреи, жившие в специальном квартале и имевшие особого наместника и Синедрион, исчислялись в пропорции один к трём.

На форуме Серапеума, от ворот Некрополя до ворот Канопа, можно было встретить столько же египтян, сколько иностранцев. Шумная и пёстрая толпа греков, евреев, сирийцев, италиотов, арабов, иллирийцев, персов и финикиян наполняла улицы и порт, говорила на всех языках и поклонялась в храмах богам всех религий; в этот Вавилон каждая раса приносила свои верования и страсти.

В общем, не считая рабов, это беспокойное население исчислялось в 320 тысяч человек. По сравнению с другими мирными и благонамеренными городами Египта Александрия была беспокойна: во время царствования последних Лагидов александрийская чернь способствовала дворцовым переворотам, надеясь каждый раз при новом правлении получить больше свободы и уменьшить бремя налогов.

Птоломей XI — Авлет умер в июле 51 г. до Р. Х. После него осталось четверо детей: из шестерых детей двое старших — Клеопатра-Трифона, умершая в 55-м году и Вереника, казнённая по приказанию отца, не дожили до его смерти; остались две дочери — Арсиноя и Клеопатра и два мальчика — Птоломей.

Завещанием царя престол был передан Клеопатре и старшему Птоломею, причём по египетскому обычаю Клеопатра должна была выйти замуж за брата; в год вступления на престол Клеопатре было 16 лет, Птоломею — 13.

При юном царе находился его воспитатель евнух Потин; этот честолюбец сумел влиять на своего воспитанника и рассчитывал управлять Египтом в течение его царствования. Он сразу заметил, что Клеопатра не позволит ни ему, ни Птоломею управлять государством: Клеопатра была слишком горда, своенравна и честолюбива. Получив хорошее образование, она говорила на десяти языках, в том числе на египетском, греческом, латинском, еврейском и сирийском.

Нельзя было даже допустить мысли, чтобы эта гордая и способная женщина отказалась от своих прав в пользу ребёнка, руководимого евнухом. Одно из двух — или Клеопатра постарается избавиться от брата, или же, согласившись жить с ним, она вполне им овладеет: сразу было видно, что она делается главным лицом в этом двоедержавии.

Потин это понял и решил уничтожить царицу; он начал возбуждать соперничество между министрами и высшими чинами двора; затем, когда возгорелась и достигла апогея борьба между приверженцами царя и Клеопатры, он поднял против молодой царицы александрийскую чернь. Он обвинял Клеопатру в желании воспользоваться вторжением римских войск для достижения единоличного царствования.

Она составила этот план, говорил он, во время приезда старшего сына Великого Помпея — Клеопатры Помпея, бывшего её любовником в 49 году.

Клеопатра проникла уже во дворец, причём Клеопатра не могла не заметить, что этому потворствовали Потин и молодой царь, вошедшие в соглашение с вожаками; поэтому она покинула Александрию в сопровождении нескольких верных ей людей.

Однако, она не считала себя побеждённой; она не могла так легко отказаться от короны Египта, которой она владела уже три года. Вскоре до Александрии дошло известие, что Клеопатра привлекла на свою сторону армию, расквартированную на границе Египта и Аравии, и находилась на пути к Пелузе. Молодой царь поспешил собрать войска и двинуться к ней навстречу.

Брат и сестра, муж и жена были уже готовы вместе со своими армиями к сражению, когда знаменитый «побеждённый при Фарсале» пришёл просить убежища у египтян: Помпей имел полное право рассчитывать на благодарность детей Птолемея Авлета, так как по его инициативе Габаниус, сирийский проконсул, поддержал семь лет назад этого царя в его борьбе за трон. Положим, правда, что после Фарсалы Помпей был безоружен, а Цезарь всемогущ: помогая бесполезному беглецу, они рисковали рассердить Цезаря.

Поэтому Потин и другие министры молодого царя поступили так: они приняли Помпея, но немедленно убили, лишь только он высадился на территорию Египта; его голову, набальзамированную по всем правилам искусства, поднесли Цезарю при его высадке в Александрии. Цезарь отвернулся с негодованием от этого ужасного подарка и осудил преступление Потина и Ахилла.

Однако эти два негодяя не особенно смутились приёмом, оказанным им Цезарем: они были уверены, что оказали ему огромную услугу, избавляя от опасного и сильного врага. Они слишком хорошо знали людей, чтобы не понять, что лишь только мёртвый Помпей мог рассчитывать на великодушие Цезаря.

Цезарь скоро узнал о распрях между Клеопатрой и Птолемеем, о бегстве последней от страха перед чернью и о неизбежности столкновения между двумя армиями, сосредоточенными у Пелузы.

Одним из приёмов римской политики было вмешательство во внутренние распри государства, и этот приём был тем более уместен, так как во время первого консульства Цезаря Птоломей Авлет был объявлен союзником Рима, и, кроме того, этот царь в своём завещании заклинал римский народ исполнить его последнюю волю.

III

Другим мотивом, о котором он не упоминает в своих «Комментариях», заставившим Цезаря вмешаться в египетские дела, было решение предъявить к наследникам покойного царя требование об уплате крупной суммы, около 7 050 000 сестерций, которую они должны были доплатить в счёт 33 тысяч талантов, обещанных Птолемеем Цезарю и Помпею, если с помощью римлян он возвратит себе корону.

Потин, однако, полагал, что он уже расплатился с Цезарем головой Помпея; поэтому он торопил Цезаря сесть на корабль и идти туда, куда звали его более важные дела, чем война между Птолемеем и Клеопатрой, — в Понт, откуда Фарнак выгнал его военачальника Домитиуса, и в Рим, где Целиус поднимал народную войну.

На требование Цезаря об уплате долга Потин отговаривался неимением денег; на предложение третейского суда для разбора недоразумения между наследниками Птолемея он возразил, что иностранцу неудобно вмешиваться в эту ссору и что подобное вмешательство взволновало бы Египет. В подтверждение своих слов он напомнил, что население Александрии, считавшее, что даже знаки консульской власти, которые несли перед Цезарем, являются посягательством на царское достоинство, тем более возмутилось бы при исполнении предложенного; он говорил, что начались бы ежедневные возмущения, каждую ночь убивали бы римских солдат; напомнил также, что население Александрии было многочисленно, а армия Цезаря, насчитывавшая в своих рядах три тысячи двести легионеров и восемьсот кавалеристов, была слишком мала.

Однако эти отказы, советы и угрозы не оказали ровно никакого воздействия на Цезаря.

Кончив просить, он начал приказывать. Он приказал Потину предложить от его имени Птолемею и Клеопатре распустить их войска и внести свой спор на рассмотрение Консульского трибунала.

Евнух повиновался; однако, будучи столь же хитрым, как Цезарь настойчивым, он думал использовать это вмешательство, в возможности которого он сначала сомневался, в своих интересах.

Поэтому он передал Клеопатре приказание Цезаря распустить войска, но не добавил, что её ждут в Александрии; Птолемею же он написал о необходимости немедленно явиться к Цезарю, задержав всех солдат своих войск: действуя таким образом, Потин рассчитывал, избавившись от армии Клеопатры, одновременно снискать расположение Цезаря к юному царю, так как из двух наследников Авлета, приглашённых Цезарем, лишь один Птолемея отозвался бы на приглашение.

Через несколько дней Птолемея действительно прибыл в Александрию. Он выразил Цезарю своё расположение и, поддерживаемый в своих уверениях Потинем, Ахиллом и другими министрами, он рассказал о распри, возникшей между ним и Клеопатрой, причём всё сваливал на царицу.

Однако Цезарь не дал обмануть себя столь легко.

Потин думал, что отсутствие Клеопатры возбудит Цезаря против неё, но Цезарь не допускал мысли, что Клеопатра отвергла его приглашение в Александрию; он угадал, что её появлению помешали интриги Потина; чтобы убедиться в своих предположениях, он секретно известил обо всём находившуюся в Пелузе Клеопатру.

Царица всё время ожидала с нетерпением известий от Цезаря. Получив первое известие, столь коварно переданное Потинем, она поторопилась распустить войска: она уже вполне доверяла великому полководцу, которого называли «мужем всех женщин».

Однако она отлично понимала, что ей необходимо видеть Цезаря или, вернее, необходимо, чтобы Цезарь увидел её; но время уходило, а приглашения вернуться в Александрию не было. Наконец прибыло второе послание Цезаря; из него она узнала, что Цезарь приглашал её к себе, но Потин принял все меры, чтобы она об этом приглашении ничего не знала. Её враги не хотели допустить её свидания с Цезарем; теперь, когда хитрость обнаружилась, они употребят силу: без сомнения, они встревожились и сделали соответствующие распоряжения.

Если бы Клеопатра захотела достигнуть Александрии сухим путём, она наткнулась бы на передовые отряды египетских войск, расквартированных в Пелузе; при следовании морем её царская трирема не ускользнула бы от кораблей Птолемея, крейсирующих перед входом в порт; мало того, прибыв в Александрию, она рисковала быть убитой чернью по приказанию Потина, а избегнув этого и добравшись до дворца, где Цезарь жил, как гость Птолемея, под почётной египетской охраной, царица могла быть убита часовыми.

Клеопатра, отказавшись поэтому от мысли явиться в Александрию как царица, решила проникнуть туда, не только переодевшись, но даже спрятавшись в тюке.

Сопровождаемая одним верным человеком, сицилийцем Аполлодором, она проплыла мимо Пелузы на палубной барке и проникла среди ночи в Александрию. Причалили на набережную перед одним из малых дворцовых ворот; Клеопатра завернулась в один из больших мешков из грубой, выкрашенной в пёстрые цвета материи, которые служили путешественникам матрасами и одеялами; Аполлодор связал мешок ремнём, а затем, взвалив мешок на плечи, через двери дворца прошёл прямо в комнаты, занимаемые Цезарем, и развернул перед ним свою драгоценную ношу.

Афродита вышла из священных глубин моря — Клеопатра вышла из скромного мешка, но тем не менее Цезарь был поражён и восхищён неожиданностью появления Клеопатры: Клеопатра, которой в то время исполнилось девятнадцать лет, была в расцвете оригинальной и обольстительной красоты.

Дион Кассиус называл царицу Египта самой красивой женщиной в мире. Но Плутарх, который не удовольствовался одним эпитетом для описания, восклицает: «Её красота не имела ничего столь несравненного, чтобы возбуждать восхищение, но прелестью своего лица, грацией всей фигуры, внутренним очарованием Клеопатра оставляла след в душе». Вот это правдивый портрет: Клеопатра не обладала могущественной красотой, она была в высшей степени обаятельна.

Виктор Гюго сказал про одну актрису: «Она не красива, но хуже». То же определение можно применить к Клеопатре.

Плутарх сообщает, и это сообщение подтверждает Дион, что голос Клеопатры был мелодичен и бесконечно вкрадчив. Это сообщение ждёт объяснения с точки зрения психологии.

Однако это не было одной из наименьших прелестей «Нильской Сирены», ибо очарование голоса, дар божества, столь редко встречающийся, действует лаской и очарованием непрерывно.

Это первое свидание между Цезарем и Клеопатрой продолжалось, вероятно, далеко за полночь. Достоверно известно, что рано утром Цезарь позвал Птолемея и сообщил ему, что он должен помириться с сестрой и приобщить её к власти.

«В одну ночь, — говорит Дион Кассиус, — Цезарь превратился в адвоката той, для которой он был раньше судьёй».

Птоломей, от которого Цезарь не скрывал, как Клеопатра проникла во дворец, воспротивился приказанию консула, бросил свою диадему к ногам Цезаря и выбежал из дворца, крича: «Измена, измена, к оружию!»

На его крик собирается толпа и направляется ко дворцу.

Цезарь, не чувствовавший себя бессильным (он мог собрать только горсть легионеров), восходит на одну из террас и издали обращается с речью к толпе; обещаниями сделать то, что захотят египтяне, ему удаётся успокоить толпу.

В то же время его легионеры, прибывшие из лагеря, окружают юного Птолемея, отделяют от его приверженцев и со всеми знаками уважения заставляют так или иначе возвратиться во дворец, где он превращается в заложника безопасности Цезаря.

На другой день народ был созван на площади, куда Цезарь в сопровождении Птолемея и Клеопатры отправился торжественно, сопровождаемый эскортом ликторов.

Все римляне имели наготове оружие на случай попытки к бунту.

Цезарь громко прочёл завещание Птолемея Авлета и объявил от имени римского народа, что он заставит отнестись с уважением к последней воле царя; его двое старших детей должны царствовать вместе в Египте; что же касается двух других младших, то он давал им во владение остров Кипр. Эта сцена вернула уважение александрийцев, но Цезарь, боявшийся всё-таки бунта, поторопился вызвать в Александрию новые легионы, которые он сформировал в Малой Азии из остатков армии Помпея.

Однако задолго до прибытия этого подкрепления прибыли в город по секретному приказанию Потина египетские войска, стоявшие в Пелузе. В то же время юная сестра Клеопатры — Арсиноя, убежавшая из дворца, при содействии евнуха Ганимеда была избрана царицей единогласно армией и народом вместо Птолемея, находившегося в плену у Цезаря. Армия же под предводительством Ахилла в составе 8 тысяч пехоты и 2 тысяч кавалерии, при содействии населения Александрии должна была броситься на горсть иностранцев.

У Цезаря было не более 4 тысяч человек, исключая экипажи галер; казалось, что он находится на краю гибели: с горстью людей он был отрезан от города солдатами Ахилла и вооружённой чернью, а его флот, стоявший на якоре в большом Порту, был как в плену, потому что враг занял все проходы к Таро и Гептастадам. Он боялся, чтобы этот неподвижный флот не попал в руки александрийцам, которые воспользовались бы им, заперев проходы к морю, чтобы помешать подвозу подкреплений и жизненных припасов. Эту опасность Цезарь немедленно отвратил приказанием зажечь флот, пожар достиг набережной, уничтожил множество домов и зданий, в том числе арсенал, библиотеку и хлебные склады.

Раздражённые этим пожаром, египтяне бросились в атаку, но римляне, столь же хорошие солдаты, как и землекопы, превратили Брахиум в укреплённый лагерь, воздвигнув валы, завалы, сделав из театра цитадель. Римляне выдержали двадцать атак и не уступили ни клочка земли; мало того, Цезарю удалось захватить ещё и остров Фарос, что отдавало в его власть вход в Большой порт.

Египтяне вообразили, что они победят, если вместо женщины Арсинои они будут иметь во главе своих войск Птолемея: они послали сказать Цезарю, что они воюют с ним потому, что он держит в плену их царя; если он его освободит, они прекратят нападение.

Цезарь, знавший, сколь непостоянен характер александрийцев, отпустил Птолемея. Что же касается его советника Потина, то, перехватив его письма к Ахиллу, он отдал его ликторам.

Как только Птоломей очутился среди египетских войск, война вспыхнула с новой силой; однако к этому времени к Цезарю успело прийти морем первое подкрепление — тридцать седьмой легион, потому борьба затянулась до начала весны 47 года; в это время в Александрию пришло известие, что Пелуза разрушена армией, шедшей на помощь Цезарю: это был вспомогательный корпус, привезённый Митридатом Пергамским из Сирии. Египтяне, которым грозила опасность попасть между двумя армиями

при прибытии Митридата, предпочли пойти ему навстречу; первая нерешительная битва произошла около Мемфиса.

Несколько дней спустя Цезарь, покинувший Александрию, соединился с Митридатом и дал второе сражение, в котором египтяне были отброшены и разбиты на несколько частей. Птоломей утонул в Ниле. После этой победы Цезарь вернулся в покорную ему теперь Александрию. Беспокойная чернь, почувствовавшая всю силу римского меча, встретила консула, выражая радость.

Так окончилась александрийская война, которую правильнее было бы назвать войной Клеопатры, так как эта война, ненужная для репутации Цезаря, вредная для его интересов, бесполезная для его родины, война, в которой он рисковал жизнью и славой, была им развязана из-за любви к Клеопатре.

IV

Восемнадцать лет назад Цезарь, будучи эдилом, пытался провести плебисцит во исполнение завещания Александра II, отдавшего Египет римскому народу. Теперь Египет был им покорен; Цезарю оставалось произнести лишь одно слово, чтобы сделать этот богатый край римской провинцией.

Но в 65 году Клеопатра только что родилась; в 65 году Цезарь не был ещё укушен Нильской змейкой, как называет Клеопатру Шекспир; консул не имел осторожности вспомнить о предположениях эдила.

Первое, что сделал Цезарь, возвратившись в Александрию, — это было торжественное признание Клеопатры царицей Египта как дань самолюбию египтян: он объявил, что Клеопатра выйдет замуж за своего второго брата, Птолемея Неотероса, и будет царствовать совместно с ним.

По замечанию Диона этот союз и это разделение власти были одинаково призрачны. Молодой царь, не имевший от роду даже пятнадцати лет, не мог быть ни царём, ни мужем царицы; в действительности Клеопатра царствовала одна, оставаясь возлюбленной Цезаря.

В продолжение восьми месяцев войны в Александрии Цезарь, запертый во дворце, покидал Клеопатру лишь во время сражений. Этот продолжительный медовый месяц показался ему коротким: он был влюблён в красавицу царицу так же, как и в первые дни, и не мог решиться её покинуть.

Напрасно ждут его возвращения в Рим, где воцарился беспорядок и льётся кровь, и куда он с 13 декабря предыдущего года не послал ни одного известия; в Азии Фарнак-победитель союзных Риму царей и легионов Доминтиуса, захватывает Понт Каррадосу в Армении; в Африке Катон и последние приверженцы Помпея сосредоточили в Утике громадную армию: четырнадцать легионов, 10 тысяч кавалеристов, сто двадцать военных слонов. В Испании умы волнуются и начинается восстание; долг, дело, честолюбие, сознание опасности — всё забыто Цезарем в объятиях Клеопатры.

Он намерен покинуть Александрию, но, увы, лишь для того, чтобы совершить с царицей увеселительную поездку по Нилу.

По приказанию Клеопатры снарядили один из тех забавных кораблей, плоское дно которых давало возможность плыть по реке: это был настоящий плавающий дворец длиной в полстадии, вышиной в сорок локтей начиная от ватерлинии; этажи следуют один за другим, они окружены портиками и ажурными галереями, украшены бельведерами, защищёнными пурпуровыми навесами.

Внутри имеется множество покоев, убранных с роскошью кокетства греко-египетской цивилизации: огромные залы, вокруг которых расположены колоннады, покой для вакханалий, обставленный тринадцатью ложами; дугообразный потолок этого покоя, сделанный в форме грота, блистал, как ослепительный фонтан, украшениями из яшмы, ляпис-лазури, сердолика, аметиста.

Цезарь и Клеопатра мечтают об этом очаровательном путешествии! Они будут наслаждаться своей юной любовью, проезжая мимо старых городов Египта на всём протяжении этого «Золотого Нила», и в конце концов достигнут таинственной Эфиопии...

Накануне отъезда легионеры возмущаются, ворчат, волнуются. Их офицеры вызывающе разговаривают с консулом. Цезарь угадывает причину и решает мгновенно увезти Клеопатру в Рим; однако пришлось отложить исполнение этого проекта: в Армении возникла серьёзная опасность, следовательно, туда сначала он и поедет.

Цезарь оставил два легиона как верную и грозную охрану Клеопатры и как гарантию спокойствия в

Александрии, а сам отплыл в Антиохию.

Во время похода Цезаря в Армению (с июля 47-го по июль 46-го) Клеопатра оставалась в Александрии; несколько месяцев спустя после его отъезда у неё родился сын. Цезарь её оставил беременной. Она дала сыну имя Птоломей-Цезарион и огласила таким образом свои отношения с Цезарем, что было излишним, так как это уже не было тайной для александрийцев.

Когда Цезарь, уничтожив армию Катона под Тафузой, готовился вступить в Рим, он предложил Клеопатре прибыть к нему. Она приехала к середине лета 46 года, в эпоху чествования Цезаря четырьмя триумфами. Во втором из них, Египетском, Клеопатра увидела во главе кортежа пленных свою сестру Арсиною, которая с первых минут войны в Александрии присоединилась к её врагам.

Царица привезла с собой в Рим сына и псевдомужа Птолемея, многочисленную свиту царедворцев и офицеров и поселилась в назначенной для её пребывания великолепной вилле на правом берегу Тибра. Официально, если возможно употребить это очень новое слово, чтобы охарактеризовать древние нравы, Клеопатра была принята очень хорошо в Риме. Она была царицей большого, союзного Риму государства и гостьей всемогущего тогда Цезаря: ей возводили почести, но под ними скрывались и злоба, и презрение.

Презирали Клеопатру не за связь с Цезарем: вместо целомудренных нравов и строгих правил республиканского времени уже около полустолетия воцарилась общая распущенность; избиратели продавали свои голоса; выборные лица пользовались временем своих полномочий до новых выборов, чтобы покрыть расходы вторичного избрания; торговали союзами, изменяли присяге, грабили, отпускали на выкуп, покровительствовали ростовщикам, изнуряли налогами провинции.

Одним словом, политика Рима последнего времени республики была, так сказать, школой преступлений; театр, где вопреки греческим обычаям женщины могли смотреть комедии и непристойные представления мимов и акробатов, сделался рассадником разврата; модным поэтом был беспутный Катулл; законодателем изящества был ученик, клиент и друг Цицерона Гелиус, честолюбец без совести, распутник без удержу.

Убийство сделалось средством господствовать; отравлением ускоряли получение наследства. После обнародования проскрипций Суллы жизнь всем казалась непрочной, все спешили пользоваться жизнью. «Будем жить и любить», — говорил Катулл, — «солнце умирает и вновь возрождается, но мы, раз наше кратковременное сияние померкнет, должны спать, не просыпаясь».

Безвозвратно прошло время, когда римские матроны хозяйничали в доме и пряли шерсть: теперь они увлекались приключениями и интригами.

Греческое изящество и восточное сладострастие достигли Рима; тут они превратились в грубую чувственность. Расточительность подорвала семью; любовь к роскоши и честолюбие, страсти и чрезмерное возбуждение окончательно разорили семейный очаг. Самые знатные патрицианки усердно предаются разврату: Валерия, сестра Гартензия, Семпрония, жена Юниуса Брута, Клавдия, жена Лукулла, другая Клавдия, жена Квинта Метела Целера; Юлия, жена Лепида, Постумния, жена Сулпиция, Лоллия, жена Габиния, Тертула, жена Красса, Муция, жена великого Помпея, Сервилия, мать Брута, — все они были известны своим распутством.

В этом городе разврата и проституции не могли оскорбляться, если Цезарь надувает свою жену даже не с одной, а с несколькими содержанками.

Однако Рим, растеряв среди разврата многие из своих старинных добродетелей, сохранил гордость римского имени: победители всего мира смотрели на другие народы как на расы рабские и низшие.

Не беспокоясь немало о мимолётной связи Цезаря с Еное, царицей Мавритании, не найдя ничего

худого в том, что Клеопатра развлекала Цезаря во время немногих свободных дней на войне, римляне возмущались тем, что он привёз эту женщину в «город Семи холмов», признал открыто её своей любовницей, и это сделал он, бывший пять раз консулом и три раза диктатором, — самый лучший римский гражданин: по понятиям того времени Цезарь оскорбил Рим.

Цезарь получил неограниченную почти власть. Он был избран диктатором на десять лет, и под его статуей была сделана надпись: «Цезарю полубогу». Пожалуй, он был столь могущественен, что мог презирать предрассудки римлян.

И действительно, в течение двух последних лет своей жизни Цезарь, до того времени столь осторожный и внимательный к толпе, умевший всегда её заставить служить своим интересам, начал пренебрегать общественным мнением. Таким же он сделался и в своей частной жизни: не только не отдалялся от Клеопатры, но даже увеличил число посещений дачи на Тибре, вспоминал беспрестанно о царице и, наконец, позволил, чтобы она дала его сыну имя Цезариона.

Мало того, он воздвигнул в храме Венеры золотую статую Клеопатры, прибавив таким образом к оскорблению римского народа и оскорбление богов. Очевидно, его не удовлетворяло, что из-за любви к Клеопатре он не сделал Египет римской провинцией и поселил её в Риме на своей даче, выражая ей почести и свою любовь: он поставил в храме статую этой александрийской распутницы, царицы варваров из страны магов, колдунов, евнухов и рабов с берегов Нила, обожателей чучел птиц и поклонников богов с головами животных.

Где должно было остановиться безумие Цезаря?..

Ходил слух, что Цезарь собирался через трибуны провести закон, который разрешал бы ему жениться на женщинах, от которых он хотел иметь детей. Говорили, что он хочет назначить своим наследником сына Клеопатры. Говорили также, что, истощив Италию податями и контрибуциями, Цезарь, оставив управление страной своим любимцам, переносит столицу в Александрию...

Этот слух возбуждал народ против Цезаря.

Однако, несмотря на такое враждебное настроение, Клеопатра жила далеко не замкнуто на своей даче.

Чтобы нравиться божественному Юлию, чтобы вступить с ним в более близкие отношения, цезарианцы, скрывая свою антипатию, посещали прекрасную царицу.

Этот египетский двор, перенесённый на берега Тибра, составляли Марк Антоний, Долабелла, Лепид, тогда начальник кавалерии, Оппий Кюрион, Корнелий Балб, Гельвий Цинна, Матиус, претор Вендидий, Требоний.

Кроме друзей Цезаря, там бывали и некоторые из его открытых врагов, например, Атик, крупный торговец серебром, имевший дела с Египтом, а также и его тайные враги, например, Цицерон. Этот последний, будучи в мире с Цезарем, предался своей излюбленной страсти: любви к книгам и редкостям; женственный коллекционер рассчитывал обогатить за чужой счёт свою тускулумскую библиотеку. Он попросил Клеопатру привезти из Александрии, которая изобиловала подобными сокровищами, несколько египетских манускриптов и египетских древностей. Царица обещала весьма охотно, а один из её приближённых, Аммоний, знавший Цицерона со времени пребывания в Риме в качестве посланника Птолемея Авлета, взялся выполнить это поручение.

Но обещанное или по забывчивости, или по небрежности в Рим не прибыло.

Цицерон возненавидел за это Клеопатру столь сильно, что написал позже Аттику: «Я ненавижу царицу» — причём мотивировал эту ненависть именно неисполнением царского обещания.

Кроме того, бывший консул был оскорблён одним из приближённых Клеопатры — неким Сарационом. Сарацион вошёл к Цицерону без доклада и, ответив на вопрос последнего, что ему надо: «Я ищу Аттика», — ушёл.

Убийство Цезаря, как громом, поразило Клеопатру; рухнули все её надежды, если в двадцать пять лет допустимо отчаиваться. Цезарь умер; ничто более не удерживало её в Риме, тем более что она не чувствовала там себя в безопасности, особенно во время кровавых дней ряда убийств. Она начала приготовления к отъезду.

Но так как Антоний пытался представить Октавии маленького Цезариона как наследника Цезаря, то Клеопатра осталась в Риме до середины апреля. Когда царица окончательно убедилась, что намерение это не осуществится, она поторопилась покинуть Рим.

V

Хотя Клеопатра беспрепятственно прибыла в Александрию, но начавшаяся междоусобная война между цезарианцами и республиканцами делала её положение трудным, а царство непрочным. Будучи союзницей Рима, она не могла держаться нейтралитета, так как победители, к какой бы партии они не принадлежали, наказали бы её за присоединение Египта к Империи.

С одной стороны, она была принята в Риме лучше всего сторонниками Цезаря, и Антоний, хотя и из политики, а не из дружбы, действовал в пользу её сына.

С другой стороны, триумвиры были хозяевами на западе, а их противники на востоке Империи, тем самым угрожая непосредственно Египту.

В начале военных действий, Кассий, занимавший Сирию с восемью легионами, просил Клеопатру прислать ему подкрепление. Почти одновременно с такой же просьбой обратился и один из подчинённых Антония, Долабелла, осаждённый в Лаодикии.

Кассий был почти победитель, Долабелла — в очень плохом положении. Осторожность требовала принять сторону первого. Клеопатра тем не менее осталась верна своему негласному союзу с цезарианцами. Четыре римских легиона — из них два, оставленные Цезарем, и два, вновь сформированные из боязни солдат Габиния — были расквартированы в Александрии. Клеопатра приказала этим легионам отправиться в Лаодикию.

Но посланный к Долабелле Аллиений, который принял командование над этими войсками, придя в Сирию, оказался окружённым армией Кассия. Или из малодушия, или из-за преднамеренной измены Аллиений присоединился со своими легионами к армии Кассия. И лишь египетская эскадра прибыла по назначению в Лаодикию к подчинённому Антония.

Почти одновременно с уходом легионов, именно в 43 году, умер скорострительно молодой царь Птоломей, что послужило поводом для обвинения Клеопатры в отравлении царя. Однако это маловероятно.

Возможно, что повод этому слуху дали опасения Клеопатры, находившейся без надёжной защиты войск, мятежа с целью лишить её трона или вообще дворцового заговора в пользу её брата. Она отлично помнила, как шесть лет назад подобные события благоприятствовали другому её брату, а она чудом избежала смертельной опасности.

Так или иначе, но со смертью Птолемея XIII царица приобщила к трону своего младшего сына, Птолемея-Цезариона, которому в это время исполнилось четыре года.

На Кипре бросила якорь египетская эскадра.

Кассий отдал приказание её командиру, Сарапиону, присоединиться к флоту республики. Сарапион исполнил приказание, не донеся об этом Клеопатре. Однако Кассий не удовольствовался 4 легионами и эскадрой, полученной от Клеопатры, хотя и помимо её воли, и стал просить новой помощи и людьми, и судами.

Клеопатра, боявшаяся вторжения в Египет и будучи не в силах его отразить, так как она осталась и без войск, и без флота, медлила с решительным ответом. Она лишь сообщила Кассию, что, к сожалению, она не в состоянии ему помочь: Египет разорён голодом и чумой.

Голод действительно был вследствие недостаточного разлива Нила, но Египет не был этим разорён; поэтому Клеопатра, отвязавшись от просьб Кассия, поспешно снаряжала новый флот для помощи

триумвирам.

Кассий, конечно, не поверил дипломатическому ответу Клеопатры и немедленно решил овладеть Египтом. Он уже приготовился к походу, как Брут, находившийся под угрозой армии Антония, отозвал его в Македонию.

Клеопатра послала тогда свой флот в помощь цезарианцам, но по дороге флот этот был рассеян и почти целиком уничтожен бурей; вообще в течение этой войны неудачи преследовали Клеопатру. Желая помочь триумвирам, она, напротив, снабжала подкреплениями республиканцев, причём последние, зная, что это делается против её желания, собирались отомстить ей.

Сражение при Филиппах избавило Клеопатру от угроз со стороны республиканцев, но не избавило от страха перед триумвирами за то, что она их будто бы покинула.

Одержав победу над Брутом, Антоний объехал Грецию и Малую Азию, собирая подати; везде он был принят, как владыка. Города и цари соперничали в лести, оказывая ему всевозможные почести, подносили подарки, лишь бы только он им простил помощь, оказанную добровольно или насильно побеждённым.

В Афинах, Мегаре, Ефесе, Магнезии, Тарсе его настигали не только посольства, но и цари навещали его лично. Чтобы сохранить своему царству квазиавтономию, маленькие цари торопились получить от всемогущего триумвира, так сказать, пожалование поместьем.

Одна лишь Клеопатра, или из царственной гордости, или по женскому соображению, оставалась в Египте и не посылала посольства...

Казалось, она делает вид, что не знает о победе при Филиппах, которая сделала Антония властителем Востока.

Спокойствие Клеопатры удивляло и волновало Антония, и, вероятно, не одна оскорблённая гордость так волновала его. Во время командования кавалерией Габиния он уже имел случай видеть Клеопатру, которой тогда было 15 лет, снова он увидел её в Риме в год смерти Цезаря. Придерживаясь мнения Аппия, сомневающегося, что Антоний тогда уже увлекался царицей, всё же надо допустить, что её красота произвела на него сильное впечатление. Конечно, он вспомнил о Нильской Сирене, принимая царей, и между их посещениями ожидал с большим нетерпением её приезда... Но тщетно...

Однако Антоний находился в таком положении, что по одному слову мог получить желаемое. Поэтому он предложил Клеопатре явиться в Таре, чтобы оправдаться перед ним в своём двусмысленном поведении во время гражданской войны...

Антоний заранее предвкушал приятно-жестокое наслаждение: прекрасная Клеопатра, гордая царица Египта, женщина, у ног которой он видел божественного Юлия, предстанет перед ним, умоляя о пощаде. Квинту Делию, одному из приближённых Антония, было поручено оповестить об этом Клеопатру.

Этот Делий был интриган без излишних предрассудков и приятный собутыльник, изменявший по очереди всем партиям; его можно было назвать гулякой гражданских войн.

Он должен был умереть другом Горация, который ему посвятил оду, и Августа, который его обогатил.

Пока что он собирался воспользоваться Клеопатрой как средством получить расположение Антония. В течение первой же аудиенции, полученной у Клеопатры, он понял, почему страсть охватила Цезаря, и предвидел страсть Антония. Поняв, что стоит Клеопатре появиться перед Антонием, чтобы прельстить триумвира, он тотчас же оценил значение египтянки в ближайшем будущем.

Из посланца Антония он вдруг превратился в поклонника Клеопатры, совместив, однако, обязанности посланника со сводничеством. Он убедил царицу поехать в Киликию, уверив её, что, несмотря на вид и

манеры гладиатора, суровый солдат Форсалы и Филипп не был дикарём, каким казался с виду.

«Никогда Антоний, — говорил он, — не заставит плакать такие прекрасные глаза и не сделает тебе ни малейшей неприятности; напротив, он исполнит все твои желания».

Она почувствовала в его словах предвестника нового счастья, подобного тому, которое она испытала, будучи любовницей Цезаря.

По слухам, впрочем, маловероятным, Делий заставил Клеопатру не только слушать себя, но и любить.

Так или иначе, но царица, послушная его советам, решила отправиться в Таре. Для придания большего значения этой поездке она не торопилась отправляться в путь, откладывая под разными предлогами свой отъезд, несмотря на усиленные просьбы Делия и всё более и более нетерпеливые письма Антония.

Однажды, когда триумвир публично чинил суд и расправу на площади Тарса, со стороны берега донёсся шум.

Антоний заинтересовался... Киликийцы, такие же льстецы, как и греки, кричали ему в ответ: «Сама Афродита, принося счастье Азии, приехала в гости к Бахусу». Антоний любил, когда его называли Бахусом.

Народ, толпившийся на площади, покидает её и устремляется на берег. Антоний остаётся с ликторами посреди опустевшей площади. Лишь высокое положение удерживает его там; волнуется, сидя на тронном кресле, и, наконец, любопытство превозмогает. Не привыкший владеть собой, он устремляется к берегу. И перед ним — никогда не виданное зрелище, божественное видение, переносящее зрителя в ещё мифологические времена.

Клеопатра покинула Таре и поплыла по Нилу на вызолоченном корабле с пурпурными парусами; серебряные весла работают в такт с музыкой лир. Царица-богиня, Клеопатра возлежит под золототканым балдахинном, на ложе, на котором обыкновенно изображают Афродиту художники.

Вокруг неё дети, голые, как амурсы, прекрасные молодые девушки, полуодетые, как грации и нимфы, держат гирлянды из роз и лотосов, обмахивая её опахалами из ибисовых перьев.

В передней части судна другие nereиды образуют группы, достойные кисти Аппелеса. Амурсы, прикрепленные к снастям и реям, кажутся спускающимися с неба. Ладан и миро, которые воскуривают рабы, окутывают корабль лёгкой и душистой дымкой, запах которой доносится до обоих берегов реки.

Антоний немедленно послал лодку с одним из своих приближённых, чтобы пригласить Клеопатру на ужин. Однако Клеопатра, пользуясь, вероятно, более своим титулом богини, чем царицы — ибо что такое была царица Египта в сравнении с триумвиром, — ответил[^], что она сама ждёт Антония на ужин.

У римлянина не хватило самолюбия отказаться, и он отправился в назначенный час в роскошно убранный дворец, тайно приготовленный Клеопатре уже несколько дней. Зала пиршества, богато разукрашенная, сияла при свете люстр и факелов от множества украшений, симметрично расположенных в виде кругов и ромбов. Поданный ужин был достоин убранства залы; он изобилует тончайшими винами, подаваемыми в золотых чашах, и редчайшими блюдами, приготовленными мастерски. Антоний, любивший покушать, подарил повару дом за хорошо приготовленное блюдо, готов был подарить повару Клеопатры целый город. Прекрасной же египтянке триумвир подарил бы весь мир.

На другой день Антоний ответил царице тоже ужином. Он старался, не жалея денег, превзойти по богатству великолепие её приёма, но сейчас же почувствовал невозможность состязаться с ней на этом поприще, и, как умный человек, первый стал смеяться над своей мелочностью и грубыми вкусами.

Во время этих ужинов разговора о претензиях Рима к Клеопатре не было; теперь уже Антоний не

думал заставить царицу Египта явиться в судилище в роли просительницы — теперь просителем был бы сам Антоний, если бы Клеопатра стала от него отказываться. С этого времени он попал во власть царицы, сделался, как говорит, возмущаясь, Дион Кассий, «рабом египтянки».

Клеопатра воспользовалась немедленно своей властью для признания её сына от Цезаря — Птолемея Цезаря законным наследником короны Египта. Декрет Антония об этом был утверждён по её просьбе его отправителями Октавианом и Лепидом. Антоний объяснил эту милость услугами Клеопатры, оказанными Риму во время гражданской войны.

Удовлетворив честолюбие египтянки, Антоний невольно сделался её мстителем — прекрасная царица, как и большинство женщин, была крайне мстительна, но весьма осторожна даже в преступлениях.

Её сестра Арсиноя скрылась из Рима, где её использовали в триумфе Цезаря, и поселилась в Милете. Клеопатра, опасаясь, чтобы эта честолюбивая интриганка, вполне показавшая себя во время Александрийской войны, не произвела когда-нибудь волнения в Египте, или же просто из чувства мщения за прежнее упростила Антония её убить; одним преступлением больше или меньше, не всё ли это было равно для совести автора закона 711 года — закона смертной казни без суда.

Несчастливая Арсиноя была задушена в храме Артемиды, где пыталась спастись от тайных убийц, присланных Антонием.

Египтянин, скитавшийся по Малой Азии, выдавая себя за утонувшего в Ниле Птолемея XII, был также убит.

Наконец, Клеопатра сердилась, неизвестно по какой причине, на Мегабиза, жреца большого храма в Ефесе, но Антоний остановил готовящееся преступление.

Мегабиз обязан своей жизнью членам городского магистрата, говорившим с Антонием от имени возмущённого народа.

В то же время была отрублена по приказанию Антония голова Серапиона, бывшего командира египетской эскадры, за помощь, оказанную Кассию.

Когда в 41 году Клеопатра прибыла в Таре, она застала Антония, занятого приготовлениями к походу против парфян.

В течение месяца были стянуты необходимые войска и заготовлены нужные для похода припасы, так что ничто не задерживало выступление армии. Однако весь следующий месяц Антоний провёл с Клеопатрой — для него он пролетел слишком быстро; поэтому Антоний отложил поход до весны, а сам уехал с царицей в Египет.

С этого времени и началась их совместная безумная, полная наслаждений жизнь, эта продолжительная и торжественная оргия, которую ещё в III веке нашей эры, даже после Нерона и Гелиогобала, представляли в римском свете, столь поработщённом развратом и пресыщенном роскошью, как неподражаемый образец.

Плутарх и Дион рассказывают, что празднества следовали за празднествами, пиры за пирами, охоты чередовались с прогулками на Нилу. Клеопатра не покидала Антония ни днём, ни ночью. Она пила с ним, играла, охотилась, присутствовала на всех военных учениях, когда нечаянно этот «человек войны», вспомнив, что он солдат, учил маневрировать свои легионы, Клеопатра, говорят, была мастерица придумывать без конца различные сочетания удовольствий.

Но это перечисление слишком сжато, этот набросок слишком бесцветен, чтобы с достаточной силой обрисовать грандиозные оргии, необузданную чувственность и расточительность «неподражаемых».

Один из древних, Плиний, весьма кратко охарактеризовал эту жизнь, быть может, помимо своей воли, в легенде, более или менее символической, о жемчужине.

Однажды, рассказывает Плиний, Антоний, приведённый в восторг роскошью и изобилием пира, воскликнул, что никто другой не может превзойти его в этом; Клеопатра, стремившаяся всегда перейти границы возможного, возразила, что обед этот был прямо жалок, и держала пари, что завтра же она даст пир, который будет стоить 10 миллионов сестерций (два миллиона сто тысяч франков). Антоний принял пари.

Данный на следующий день пир несколько не отличался по роскоши от предыдущего. Антоний ликовал: «Клянусь Бахусом, здесь нет запаха 10 миллионов сестерций». «Я знаю, — ответила царица, — но всё, что ты здесь видишь, лишь необходимые принадлежности — я одна выпью на 10 миллионов сестерций». Сказав это, Клеопатра вынимает из ушей самую большую и красивую жемчужину и бросает её в золотой кубок с уксусом; жемчужина растворяется в уксусе, и Клеопатра выпивает этот кислый напиток. Она хотела пожертвовать и второй такой же жемчужиной, но Л. Планк, судья пари, остановил её, заявив, что она уже выиграла.

Соберите мысленно самые драгоценные материалы, мрамор, гранит, порфир, базальт, агат, оникс, дерево кедра и чёрное, ляпис-лазурь, бронзу, серебро и золото. Вдохнитесь могущественной египетской архитектурой, а также и красотой архитектуры греческой, вспомните о Пантеоне, о храме Зевса Олимпийца, о павильоне Рамзеса и о развалинах Аполлона-полиса.

Вообразите царские дворцы в Александрии, их сады, их террасы в несколько этажей, дворцы со службами, занимавшие треть города. Вообразите вновь эти массивные палаты, эти двойные пилоны, окаймлённые аллеями сфинксов, обелиски, превосходные пропилеи, конюшни шириной в 300 футов, длиной в 150 футов, где возвышался двойной ряд колонн, имевших десять метров в окружности и двадцать метров высоты и убранных цветами лотоса; вообразите святилища, стены которых разукрашены украшениями из черепахи, золота и драгоценных камней; вообразите эти длинные картинные галереи, в которых помещались картины Аппелеса, Протогена, бани с комнатами для потения, прудами холодной и тёплой воды, портиками, украшенными статуями; гимназии, театры, ипподромы, ристалища, усыпанные шафранным песком; столовые, где ложи из серебра попирают вавилонские ковры; атриумы, в которых крышу заменяет задёргиваемый на день занавес из пурпурового шелка, ценимого на вес золота, ночью же крышей служит покрытое сияющими звёздами небо.

Пусть цветут круглый год в садах розы, фиалки, наполняйте свежими цветами четыре раза в день мозаичные ониксовые вазы, заполните все помещения толпами рабов, музыкантами, танцовщицами, фокусниками, акробатами, мимами, гимнастами, укротителями змей. Заставьте стол устрицами из Тарента, муренами, бонитами, сваренными в листьях пальм, розовыми дроздами, перепелами, фазанами, лебедями, утиными печёнками, варёными птичьими мозгами, окровавленными зайцами, посыпанными кишнецом, трюфелями величиной с кулак, казавшимися упавшими с неба, как аэролиты, медовыми и мучными пирогами, самыми лучшими фруктами с берегов Средиземного моря...

В кухнях, на громадных пылающих очагах жарятся для пятнадцати гостей двенадцать кабанов на вертелах один за другим для того, чтобы один из них был готов в то время, когда его потребуется подать.

Остудите в снегу старое вино, фалернское двадцати лет, вино Флионта, Хиоса, Иссы, опьяняющее вино Лесбоса, варёное вино Родоса, сладкое вино Мителен, саприас, пахнущий фиалкой, «который возбуждает уснувшую любовь».

Зажгите светильники, факелы и люстры, обвейте колонны огненными лентами... Пустите из бронзовых ртов статуй ледяную воду для освежения воздуха, а из груди Изиды душистую струю,

наполняющую его ароматом... Позовите хоры певиц, аккомпанирующих себе на цитрах и арфах, труппы мимических плясунь, танцующих голыми, с золотыми бубнами в руках...

Прибавьте представления комедиантов, фарсы мимов, упражнения жонглёров, фантасмагории магов... Дайте зрелище морской битвы в большом порту, а на ипподроме бег квадриг и битву львов...

Позовите ряженных, окружающих золотую колесницу Бахуса и Киприды 1500 сатиров, миллионы амуров, 800 красавиц рабынь, одетых нимфами...

Наконец, представьте всё азиатское великолепие, египетское величие, изнеженность и извращённость греков, силу и распущенность римлян, соединённые в одной женщине, столь чувственной и прекрасной, безумно любящей удовольствия и роскошь, тогда, пожалуй, можно составить слабое понятие о жизни «неподражаемых».

Иногда Антоний и Клеопатра позволяли себе и вульгарные удовольствия: переодетые — она в костюме служанки из Таверны, он в костюме носильщика или матроса — они бегали ночью по улицам Александрии, стуча в двери, ругая запоздалых прохожих, входили в бедные квартиры, ссорились с пьяницам.

К большой радости Антония эти приключения кончались по большей части дракой, в которой римлянин, несмотря на его силу и ловкость, не всегда одерживал победу, и Клеопатра зачастую была обрызгана грязью.

Но оба влюблённые, возвращались ли во дворец победителями, или побеждёнными, всё равно готовы были возобновить приключения...

Однако тайна этих приключений была обнаружена, царственную чету стали оберегать, но всё же изредка им влетало во время драк.

Что эти шалости не уменьшали расположения александрийцев к триумвиру, этому можно поверить: если его не уважали, то любили за его простой и весёлый характер. «Антоний, — острили они, — носит для римлян трагическую маску, меняя её для нас на комическую».

Приближённые и подчинённые Антонию военачальники, разделявшие без угрызений совести все чувственные удовольствия, возмущались его поведением ещё меньше, чем александрийцы.

Как и сам Антоний, они были очарованы прелестной Клеопатрой.

Они её любили, ею любовались, переносили охотно её насмешки и плохие зачастую приёмы, и не возмущались, если она среди ужина, по знаку Антония, покидала с ним зал, затем возвращалась через несколько минут и занимала как ни в чём не бывало своё место на ложе триклиниума. Они пускались на всякие ухищрения, чтобы позабавить и развлечь её.

Этим способом возможно было сделаться любимцем царицы. За улыбку Клеопатры они были готовы пожертвовать человеческим достоинством.

Однажды А. Планк, консул, с тростниковым венком на голове, с рыбьими хвостами, привязанными на бёдрах, выкрашенный голубой краской, танцевал перед ней танец Глокосов.

С Цезарем Клеопатра превосходно выдерживала роль коронованной Аспазии, всегда обворожительной, соединявшей грацию с достоинством, искусно скрывая в царице куртизанку, всегда ровная, выражавшаяся изысканно, говорившая о политике, искусствах, литературе, старавшаяся возвыситься до величественного ума диктатора.

С Антонием Клеопатра, сперва по необходимости, потом по любви, играла роль Лаисы, случайно родившейся на троне. Прекрасно видя, что обращение Антония было грубо и зверско, причём выражался

он просто и свободно, она тотчас же приняла тот же тон.

Она была его компаньонкой по части выпивки, что он частенько делал, и оставалась до утра среди пенящихся чаш и кубков, наполняемых беспрестанно. Она сопровождала его по подозрительным улицам Ракотиса, старого александрийского квартала. Она цинично шутила, пела эротические песни. Она ссорилась со своим любовником, получая и возвращая оплеухи.

Антоний любил больше всего на свете видеть её маленькую, обворожительную руку угрожающей или бьющей его, и слушать из её дивных уст, казалось, созданных для музыки хоров Софокла или од Сафо, слова, слышанные им в кордегардиях Есквилинских ворот и в грязных кварталах Субурра.

VI

Зимой 39 года обстоятельства, сопровождавшие войну в Перузе, требовали присутствия Антония в Италии.

Война эта была начата его женой Фульвией из честолюбия и злобы на Октавиана, а также, как говорит Плутарх, из ревности. Она надеялась, что эта война заставит Антония покинуть Клеопатру для защиты в Риме своего положения.

И это ей удалось. Антоний действительно отплыл в Бринд в сопровождении 200 парусов, но Октавиан был победителем в Италии — его противники были рассеяны, и Фульвия умерла, не успев повидаться с мужем. О смерти её Антоний узнал во время остановки в Сицилии; смертью её облегчалось заключение мира. Антоний не обагрив кровью руки в войне в Перузе, эту войну затеяла с помощью отчима Фульвия, а потому с её смертью устранались всякие препятствия к примирению Антония с Октавианом.

Коксей Нерва, Полион и Месен устроили свидание с Октавианом в Бринде. Они помирились и вновь поделили Империю: Октавиан взял запад до Адриатики, Антоний — восток; Лепид удовольствовался римскими владениями в Африке.

В Риме, где после столь продолжительных распрей и кровопролитий жаждали мира, все были довольны договором, заключённым в Бринде. Для укрепления договора друзья триумвиров решили соединить их родственными узами: они решили женить только что овдовевшего Антония на Октавии, сестре Октавиана, вдове Марселла...

Эта благородная женщина, соединявшая в себе и красоту, и редкий ум, думали они, не может не внушить к себе любви в Антонии, она поддержит согласие между зятями для их пользы и блага государства. Октавиан согласился на этот проект, а Антоний, несмотря на любовь свою к Клеопатре, во имя политических последствий от этого брака не решился ему противиться.

Свадьба была отпразднована немедленно, несмотря на закон, запрещавший выходить замуж раньше десяти месяцев после смерти мужа. Вопреки закону Сенат разрешил это сестре Октавиана.

Антоний прожил в Риме почти весь этот 39 год. Он жил в полном согласии с Октавианом, совместно управляя Империей. Однако, несмотря на то, что он пользовался одинаковым с Октавианом авторитетом и почестями, он чувствовал, что был вторым в Риме. Со справедливой гордостью старого солдата, талантливого военачальника, помощника Цезаря при Форсале, главнокомандующего при Филиппах, он возмущался первенством, признаваемым всеми, этого юноши, только недавно начавшего брить бороду.

Знаменитый египетский предсказатель, которого Клеопатра, вероятно, сама послала в Рим, укрепил мысли Антония своими пророчествами.

«Твой гений боится гения Октавиана, — повторял предсказатель. — Гордый и возвышенный, когда ты один, он теряет силу, когда ты около Октавиана».

«Здесь твоя звезда меркнет, — смущал предсказатель. — На востоке, далеко от Рима, она опять засверкает полным блеском».

Новое нападение парфян на Империю послужило Антонию предлогом покинуть Рим. Он выехал вместе с Октавией и остановился в Афинах; пробыв там зиму 38—39 годов, он забыл не только парфян, с которыми воевал его помощник Вентидий, но и «неподражаемую жизнь», и Клеопатру.

Конечно, он не любил свою новую жену любовью, схожей с любовью к Клеопатре, но, во всяком

случае, он был к ней равнодушен. Столь же безвольный, как крепкий физически, Антоний, раб женщин, легко им подчинялся. Вначале Фульвия поработила его, теперь он был вполне очарован Октавией.

В конце зимы он отправился в кратковременную экспедицию в Сирию против Антиоха Комагенского и, вернувшись вскоре в Афины, пробыл там два года.

В 36 году он снова поссорился с Октавианом из-за морской войны против пиратов, в которой он отказался участвовать, — междоусобная война казалась неизбежной. Антоний готовил десант для высадки в Италии на 300 кораблях, а Октавиан, со своей стороны, поспешно стягивал легионы. Кровь ещё не лилась, но мечи были вынуты из ножен.

В надежде помешать этой отвратительной войне Октавия умоляла Антония взять её с собой в Италию. Так как вход в Бриндийский порт был запрещён для кораблей Антония, они вошли в Торентскую гавань.

Приготовившийся к встрече противника, Октавиан повёл свои войска к этому городу.

Октавия пожелала одна сойти на берег; она поехала навстречу Октавиану по дороге в Венузу, и, миновав сторожевые посты и авангарды римлян, она встретила брата, сопровождаемого Агриппой и Месеной... Она всячески защищала Антония, обвиняя брата в том, что он хочет сделать её из самой счастливой женщины самой несчастной.

«В этот момент, — говорила она, — глаза всего мира устремлены на меня, жену одного из римских императоров и сестру другого.

Если злоба возьмёт верх, если война начнётся, — угрожала она, — неизвестно ещё, на чью сторону судьба даст победу... Верно лишь то, что, кто бы её ни одержал, я всё равно буду в трауре».

Честолюбивый Октавиан, давно уже добивавшийся безраздельного господства, однако, был нерешителен и уступил просьбам Октавии. Вторично этой женщине, этому доброму гению Антония, удалось водворить мир в Римском мире.

Оба триумвира встретились на берегу Тарейта, и после взаимных приветствий они пришли к соглашению возобновить триумвират на пять лет. Октавиан дал даже Антонию два легиона для усиления восточной армии, а Антоний, в свою очередь, уступил Октавиану для его флота Средиземного моря 100 трирем с бронзовыми водорезами и 20 либурн... Эти суда впоследствии одержали победу при Акциуме!

Из Тарента Октавия отправилась в Рим с двумя детьми, рождёнными ею от Антония. Антоний же отплыл в Малую Азию, куда его призывала война с парфянами.

Супруги условились встретиться по окончании войны или в Афинах, или Риме, где Антоний рассчитывал получить почести триумфа.

Начиная с зимы 39 года по лето 36-го, в течение трёх длинных лет, Клеопатра жила в разлуке с Антонием. Она царствовала в Египте и Кипре, имела одного сына от Цезаря и двух от Антония, получала громадные доходы и обладала неисчерпаемыми сокровищами, но гордость и любовь её были уязвлены изменой триумвира.

Клеопатра в возрасте двадцати лет не любила пятидесятилетнего Цезаря, но Антония она любила. Конечно, сначала она отдавалась триумвиру по расчёту, но затем в ней к этому воину, прекрасному, как Геркулес, властителю Востока, окружённому славой и могуществом, пробудилась настоящая страсть. Если, по правде сказать, древние писатели и не говорят прямо, что Клеопатра любила Антония, то события и сцены, которые они описывают, не позволяют в этом сомневаться.

Его красота, высокий рост, широкая грудь, чёрная шевелюра, тёмные глаза, орлиный нос, резкие черты лица делали то, что Антоний нравился как мужчина. Первая жена, Фульвия, его страстно любила;

вторая жена, Октавия, любила его так, как только можно любить; гордая Клеопатра платила ему за любовь любовью.

Шекспир говорит об этой любви, и слова этого великого художника, знатока человеческой души, гения всем и каждому понятного, можно добавить к тому, что видно между строк у Диона Кассия и Павла Ораза. Как бы ни было велико горе этой Дидоны, воображение отказывается представить её, окутанной траурными вуалями и вздыхающей в уединении своего дворца.

Более вероятно, что Клеопатра продолжала прежнюю пышную и весёлую жизнь, отдавая удовольствиям всё время, остающееся от официальных церемоний, публичных приёмов, совещаний по управлению и обсуждению проектов с инженерами и архитекторами. Как и все Птоломеи, последняя представительница дома Легидов была большой любительницей проектировать и строить: в царствование Клеопатры был выстроен Туфониум в Дендерах; кроме того, царица принимала участие, как на это указывают её гербы, в постройке Большого храма в Дендерах и храмов Едфуа, Гермонтиса Сортоса и в постановке монументов в Фивах, расположенных на левом берегу Нила. В Александрии, кроме Цезариума, начатого, кажется, при Клеопатре, она построила множество зданий, но от них, как и от других более древних храмов и дворцов, не осталось ничего, кроме мусора, местами достигающего толщины десяти метров.

Царица, старалась ли она казаться безразличной, не давая Антонию вестей о себе, или, наоборот, как оговаривает её Плутарх и как повторяет Шекспир, призывала его к себе полными отчаяния посланиями, она благодаря своему чувственному темпераменту не отказывала себе в мимолётных увлечениях. Кроме Кнея Помпея, Цезаря, Делия, Антония и Ирода, царя Иудеи, — пяти любовников, которые доподлинно известны, у царицы будто было много случайных и неизвестных связей...

Разве это не сплетни? Скорее это клевета...

Однако как бы то ни было, обвинения Иосифа не доказывают ничего, и Клеопатра не любила никого, кроме Антония; это сочетание сердца и чувственности не представляет ровно ничего загадочного.

Что касается Антония, то казалось, что он забыл Клеопатру, так как не только в те три года, в течение которых он жил с Октавией в Афинах и Риме, не только по возвращении из похода против Антиоха Комагенского он сразу не заехал в Египет, но даже, плывая из Торента в Лаодикию, он не подумал остановиться на несколько дней в Александрии, лежавшей почти на его пути, а проследовал прямо в Сирию.

Поэтому кажется весьма странным, что в Антонии, как только он сошёл с корабля на берег Малой Азии, опять вспыхнула страсть к Клеопатре.

Он остановился в Лаодикци и поспешно послал своего друга Фонтя Капита в Египет с поручением привезти Клеопатру. Обрадованная царица не задержалась, как пять лет назад, с отъездом. Она быстро села на корабль и прибыла в Лаодикию, где была принята своим любовником с восторгом и радостью. Чтобы доказать не только поцелуями величину испытываемого счастья, он ей подарил, кроме драгоценностей, и царства: Халциду, Феникию, Кесосирию, большую часть Киликии, провинцию Генесарет в Иудеи, производившую бальзам, и Набатейскую Аравию.

Надо сказать, что Антоний не имел никакого права распоряжаться этими землями, принадлежавшими римскому народу; но, сойдя с ума от гордости и любви, он воскликнул: «Величие Рима проявляется гораздо меньше в завоеваниях и количестве владеемой земли, чем в делаемых им подарках». По прошествии нескольких дней необходимо было расстаться с обещанием, во всяком случае, встретиться в Александрии.

Антоний направился во главе армии по дороге в Армению, а Клеопатра вернулась в Египет, проехав

через Апамею, Дамаск и Петру для устройства своих дел с иудейским и арабским царями относительно податей, которые они должны были платить ежегодно, сообразно с величиной земель, подаренных ей Антонием. Царь Аравии обещал уплачивать 300 талантов (1660000 фр.).

Дань иудейского царя была больше, так как в Иудее царствовал Ирод, посаженный на престол недавно стараниями Антония. Царь этот выехал навстречу Клеопатре в Дамаск.

По сведениям, даваемым Иосифом, Ирод, который был очень красив, не прельстился нескромным кокетством Клеопатры и хотел даже её убить, когда она была в его власти, желая избавить Антония от её рокового влияния. Но приближённые удержали его от совершения этого преступления из-за опасений беспощадной мести триумвира.

Вскоре по возвращении Клеопатры в Александрию она получила послание от Антония, помеченное «Левкэ Камэ» (прибрежный город Сирии), в котором он просил её приехать поскорее с деньгами, припасами и одеждой для его солдат, терпящих лишения: война была несчастлива.

Горя желанием не позже весны увидеться с Клеопатрой, Антоний не учёл всех трудностей похода; достигнув Армении, пройдя форсированным маршем 8000 стадий (около полутора тысяч километров), он должен был бы остановиться там, на зимних квартирах и открыть кампанию только весной, с отдохнувшими войсками и в более благоприятное время года.

Слишком нетерпеливый, чтобы ожидать столь долго, он отправился в Верхнюю Индию и для ускорения времени марша оставил в тылу все осадные орудия под охраной особого отряда. Повозки, башни, катапульты, тараны длиной 80 футов — одним словом, всё, оставленное в тылу, было уничтожено кавалерий парфян, а потому Антоний, осадивший город Фраату, не имел успеха. Под превосходящими силами врага он начал поспешно отступать.

Отступление это происходило среди зимы, солдаты шли по снегу, обдуваемые метелью; каждое утро на биваке обнаруживали замерзших; отчаянная кавалерия парфян постоянно тревожила утомлённые и без того войска. Об этом тяжёлом отступлении не мешало бы подумать перед походом за Неман...

Тут-то Антоний и обнаружил свою энергию и военачальнические способности: нечувствительный к холоду и усталости, он, так сказать, разделился и сделался одновременно и императором, и простым центурионом.

Находясь лично в самых опасных местах, он смог дать в течение 27 дней 18 сражений парфянам. Несмотря на то, что вечером он бывал победителем, на другое утро бой возобновлялся, причём силы врага всё время увеличивались.

По прибытии к берегам Сирии армия Антония уменьшилась с 70 тысяч человек до 38 тысяч; однако римляне были более счастливы, чем Кресе, и благополучно вынесли своих орлов.

Клеопатра, несмотря на всю поспешность, не скоро приехала на помощь Антонию; поэтому его нетерпение перешло в тоску, он думал, что царица не желает отвечать на призыв побеждённого. Он обессилел от грусти и искал забвения в вине; наслаждение хорошо поесть, которого он был лишён во время похода, теперь не развлекало его: в самый разгар оргии он вдруг вставал и покидал собутельников, затем шёл на берег моря, где просиживал целыми часами, молча глядя в ту сторону горизонта, откуда он ждал Клеопатру.

Наконец желанная приехала и привезла припасы, одежду, а также деньги — в сумме около 240 серебряных талантов.

Расчёт с легионерами, реорганизация армии и сбор податей принудили Антония остаться на некоторое время в Левкэ Камэ, с ним жила безотлучно и Клеопатра.

Между тем известие о неудачном походе дошло до Рима, и Октавия, всё ещё преданная своему мужу, несмотря на то, что брат рассказал ей о сближении Антония с Клеопатрой, решила отправиться в Азию.

Она просила Октавиана дать ей кораблей, войска и денег. Узнав из полученных донесений, насколько сильна в Антонии вернувшаяся страсть, Октавиан согласился на просьбу сестры, полагая, что оскорбительный приём, который устроит ей её муж, разъединит их навсегда и возмутит римлян.

Чтобы не встретиться с Клеопатрой, Октавия остановилась в Афинах, дав знать Антонию о своём приезде.

Триумвир не пожелал отсылать своей любовницы, а потому письмом попросил Октавию остановиться в Афинах по причине нового похода, который он затеял против парфян.

Действительно, царь Мидии, на которую беспрестанно делали набеги эти дикие орды, предложил Антонию разгромить парфян в союзе с ним.

Не обижаясь на отказ, настоящую причину которого она не знала, Октавия снова написала мужу, причём в письме этом не было никаких упреков; она просто спрашивала у триумвира, куда ей надлежит отправить войска и припасы, привезённые ею для него. Она писала, что, кроме множества предметов обмундирования, снаряжения и военных машин, она привезла крупную сумму денег и три тысячи отборного войска, также прекрасно вооружённого, как когорты преторианцев, на что Октавия истратила часть своего личного состояния.

Нигер, взявшийся доставить письмо Антонию, к которому он относился с большим уважением, был несколько раз принят триумвиром.

Нигер дружески разъяснил Антонию его неправоту по отношению к Октавии, упомянув о редких достоинствах этой удивительной женщины, он убеждал его во имя собственных же интересов — шаткого положения и померкшей славы покинуть Клеопатру.

Колеблясь принять то или другое решение, Антоний находился в нерешительности: он предполагал возвратиться в Мидию, причём, отправив Клеопатру в Египет, оставить Октавию в Греции, — таким образом откладывалось столь трудное для него окончательное решение до возвращения из похода.

Но Клеопатра чутьём любящей женщины прочитала всё, что было на сердце у Антония. Боясь вторично потерять любовника, царица решила воспользоваться своим преимуществом над Октавией — близостью к Антонию; она удвоила число улыбок и ласк, преувеличивая страсть, которую она в действительности к нему питала.

Потом, после первых сообщений Антония об отъезде в Мидию, она начала проявлять невыразимую печаль: она не ела, не пила, проводила дни и ночи, заливаясь слезами.

Её осунувшееся, побледневшее лицо с синевой под глазами, неподвижный взгляд, бесцветные губы поражали своим видом её приближённых. Женщины Клеопатры, её друзья, приближённые триумвира, расположение которых она успела приобрести лестью и обещаниями, упрекали Антония в бесчувственности, которой он, по их мнению, обрекал на смерть от горя самую прелестную в мире женщину, которая только и живёт им одним.

«Октавия, — говорили они, — связана с тобой во имя интересов её брата, она пользуется всеми преимуществами положения твоей супруги...»

«Клеопатра же, — напоминали они, — царица столь многих стран — и она только твоя любовница... Она не отказывается от этого имени. Она не только не считает его унижительным, а, наоборот, гордится им».

«Её единственное счастье, — твердили они, наконец, — и тщеславие — жить с тобой».

Антоний сдался, убеждённый этими доводами. Он боялся, что Клеопатра, которая владела его сердцем, и против которой он мог бороться лишь доводами рассудка, умрёт от горя или отравится.

Он отложил поход в Азию, вернулся вместе с Клеопатрой в Александрию, где вновь началась жизнь «неподражаемых».

В начале 34 года он возвратился к своим легионам, находившимся в Малой Азии, разгромил в весьма короткий срок Армению и, взяв в плен со всем семейством царя, покорил всю страну. Закончив эту победоносную войну, Антоний имел полное право на триумф в Риме, но из любви и преданности к Клеопатре, которую он хотел сделать участницей в получении почестей, он ограничился триумфом в Александрии.

В первый раз во всё время существования Рима римлянин праздновал триумф вне родного города. Это было оскорбление городу, который, казалось, этим унижался; этим наносилась обида Сенату и народу, тем, кому он был обязан триумфом.

Этот скандальный триумф отличался необыкновенным великолепием: по улицам Александрии, украшенным и усыпанным цветами, торжественно прошли под звуки валторн и труб легионы и кавалерия союзников, жрецы, ладононосцы, представители города, которые несли золотые короны, повозки, нагруженные трофеями, множество пленных.

Перед колесницей триумфатора, запряжённой четырьмя белыми лошадьми, шёл в золотых цепях пешком царь Артавасд с женой и двумя сыновьями. Остановив перед Клеопатрой, сидевшей на хризолитовом троне, как председательница триумфальных торжеств, свою квадригу, Антоний представил царице царственных пленников. После окончания шествия и принесения жертв он устроил громадный пир для населения Александрии, для чего длиннейшие столы были поставлены в садах дворцов и на площадях города. По окончании этого пира Антоний вывел Клеопатру и посадил её на один из двух тронов, сделанных из золота и слоновой кости, а сам сел на другой.

Зазвучали трубы, и вооружённые солдаты, а также весь народ окружили обоих влюблённых: Антоний провозгласил, что Клеопатра называется отныне Царицей царей, а её сын, наследник божественного Юлия, Царём царей. Им он предоставляет царствовать в Египте и Кипре.

Потом он публично определил судьбу трёх детей, которых он имел от Клеопатры. Старшему, Александру, которого он называл Гелиосом, он дал Армению, Мидию и парфянские земли; его сестре-близнецу Клеопатре, которую он назвал Селеной, — царство Ливийское; Птоломею он дал Финикию, Сирию и Киликию.

После каждого возгласа триумвира герольды повторяли его слова и звучали трубы.

В тот же день Антоний представил армии и народу молодых царей: Александр вышел в мидийском платье и тиаре персидских царей, охраняемый взводом армян, как почётным караулом.

Птоломея же сопровождал отряд наёмных македонцев, вооружённых пиками в 18 футов длиной. Он был одет в длинную пурпурную мантию, крениду (хламиду), окаймлённую золотой полосой, на голове сияла диадема преемников Александра, украшенная драгоценными камнями.

Клеопатра давала подобные маскарады два года назад, по возвращении из Лаодикии, где Антоний венчал её как царицу Финикии, Халциды и Келосирии и некоторых других стран, когда дала своему царству новое летосчисление и приняла официально титул Новой Изиды и Новой Богини.

В узком, плотно облегающем тело костюме Изиды, с короной в виде головы ястреба, украшенной рогами коровы, она восседала, держа в руке скипетр, изображающий цветок лотоса, на публичных

церемониях и на больших приёмах.

Покорный её капризам, Антоний позволял изображать себя рядом с Клеопатрой-Изидой и Клеопатрой-Селеной на картинах и скульптурных группах в виде Озириса и Бахуса. Казалось, что, околдованный своею любовницей, он отрёкся от родины. Он вступил в должность гимназиарха Александрии, он пожелал, чтобы изображение египтянки было помещено на обратной стороне государственных монет; он осмелился приказать вырезать имя Клеопатры на щитах легионеров.

Он постыдно исполнял свою роль, когда царица следовала через Александрию на тронном кресле, в то время, как он сам, вооружённый восточным мечом и одетый в пурпурное платье с пряжками из драгоценных камней, сопровождал её пешком, в толпе египетских министров и гнусных евнухов.

VII

Октавиан, устранив Лепида, превратил триумвират в дуумвират; Империя была разделена между Антонием и Октавианом. Однако владычество над восточной частью Империи не удовлетворяло гордость Антония, а господство над одной лишь западной её частью было недостаточно для честолюбия Октавиана.

Поэтому, предотвращённая два раза междоусобная война была теперь неизбежна.

Октавиан, от природы осторожный, без сомнения, мог бы ещё её отдалить, но Антоний своими безумствами её приблизил.

Он презирал Октавиана как полководца; льстецы и обожавшие его солдаты предсказывали ему победу; Клеопатра, помнившая оскорбительный для неё приём Рима, жаждала отомстить. Уверенная в мече Антония, она поклялась, что «скоро расправится с Капитолием».

Антоний начал упрекать и угрожать Октавиану. Многочисленные римские клиенты Антония, его друзья, соглядатаи, присланные из Египта, — все занимались привлечением народа на сторону Антония не только честными путями, но и подлогами.

«Октавиан, — говорили они, — отнял Сицилию у Секста Помпея, не разделив её со своим товарищем; мало того, он даже не отдал ему 120 трирем, занятых им для этой войны. Он отстранил Лепида и присвоил себе провинции, войска и корабли, которые были назначены Лепиду. Он роздал своим солдатам почти все земли Италии, не оставив ничего для ветеранов Антония».

Все действия Октавиана по управлению были раскритикованы и вменены ему как преступление; напомнили, что он угнетает Италию податями; обвиняли его в стремлении править самодержавно. Говорили, что настоящим наследником Цезаря был не его племянник Октавиан, а собственный его сын, Цезарион...

Появился слух, что второе завещание диктатора появилось лишь через несколько дней после его смерти.

По свидетельству Диона Кассия, Антоний, признавая формально Цезариона законным сыном Цезаря, довёл беспокойство и гнев Октавиана до наивысшего предела.

Однако Октавиан терпел: его войска не были готовы, а Антоний был слишком популярен в Риме благодаря обширной клиентуре, которой покровительствовала его жена Октавия. Несмотря на обиды, которые она потерпела от Антония, Октавия оставалась ему верной. Напрасно Октавиан по возвращении её из Греции умолял оставить мужа; она продолжала жить в его дивном доме, когда-то принадлежавшем Помпею, с одинаковой ласковостью и заботливостью воспитывая детей, которых она имела от Антония, и его детей от первой жены.

Клиенты и друзья Антония, которых он присылал из Александрии, могли быть уверены, что они найдут у Октавии и помощь, и поддержку.

Она даже просила за них у брата, несмотря на то, что это его бесило. Мало того, она защищала Антония перед Октавианом, прощая все его ошибки и безумия, и говорила, что будет совершена величайшая гнусность, если два великих повелителя заставят римлян убивать друг друга: первый — из мести за личные оскорбления, а второй — из-за любви к иностранке.

Октавиан, девизом которого было изречение: делать надо так же скоро, как и хорошо, казалось, уступал просьбам Октавии; однако если он и не торопился объявлять войны, то всё же он к ней готовился

постепенно, подготавливая также и общественное мнение, пользуясь в особенности слухами о полной скандалов жизни Антония в Египте и его подчинённости Клеопатре.

«Антоний, — распускал он слухи в Сенате, в народе и армии, — больше не римлянин. Он сделался рабом египетской царицы, кровосмесительной дочери лагидов...»

«Его родина — Александрия, которую он хочет сделать столицей Империи... Его боги — это Кнуфис с головой барана, Ра — с клювом ястреба, лающий Анубис. Его советники: евнух Мардион, Хармиона, Ира, парикмахерша этой Клеопатры, которой он обещал подарить Рим».

Эти сплетни привели в ужас римлян и нашли отражение в стихах поэтов того времени: «Между нашими орлами, — пишет Гораций, — солнце видит, о, позор, презренное знамя египтянки... Римляне, проданные женщине, не краснеют от стыда, подымая за неё своё оружие... В опьянении от счастья и от безумных надежд это чудовище мечтает о падении Капитолия, готовит с презренным войском из рабов и евнухов похороны Империи...»

«Итак, — говорит Проперций, — эта царица-проститутка, вечный позор крови Филиппа, хочет принудить Тибр терпеть угрозы Нила и заставить отступить перед остроклювым ястребом римские трубы...»

Консулы, выбранные в 32 году — Домиций Аэнобарб и С. Сосий, оба приверженцы Антония, напрасно пытались его спасти, срывая маску с Октавиана в Сенате.

Большинство было против них. Боясь гнева неумолимого судьи Перузы, они покинули родину вместе с некоторыми из сенаторов.

Антоний находился в Армении, где он был занят приготовлениями к свадьбе своего юного сына Александра с Ютаной, дочерью мидийского царя, а потому они письменно известили его, что Октавиан торопится закончить вооружение войск и что открытие враждебных действий неизбежно.

Антоний, как хороший полководец, решил предупредить врага и для того перенести войну на территории Италии.

Он немедленно отправил с 16 легионерами Канидия по побережью Малой Азии, а сам отправился в Ефес, куда все его союзники были приглашены явиться со своими войсками.

Клеопатра явилась первая с 200 кораблями, с гребцами от 3 до 10 рядов и военным фондом в 20 000 талантов.

Было бы лучше для Антония, если бы этот флот остался в египетских водах, деньги не были бы взяты из сокровищницы Лагидов, а сама Клеопатра осталась в Александрии.

Обожаемое и фатальное существо внесло в римский лагерь роскошный беспорядок и необузданную потребность в удовольствиях. В Ефесе, где она сначала остановилась, в Самосе, куда она потом отправилась, начались вновь александрийские безумства. Бесперывные приезды царей, управителей и депутатов от городов, приводивших к Антонию войска и корабли, служили предлогом для устройства пышных празднеств и театральных представлений.

Множество комедиантов и акробатов были собраны для участия в этих представлениях... «В то время, когда весь мир, — говорит Плутарх, — был наполнен бряцанием оружия и людскими стонами, в Самосе слышался только смех и музыка флейт и цитр».

Время летело незаметно в этих удовольствиях, а именно времени-то и не должно было терять, если предполагали перейти в наступление.

До сих пор друзья и военачальники Антония — Деллий, Марк, Силаний, Тит, Планк, захваченные

также обаянием Клеопатры, ничего не предпринимали, чтобы оторвать своего вождя от этой пагубной женщины. Теперь же, когда должна была разыгаться решительная партия, в которой они ставили свою жизнь против владычества миром, они отправились для переговоров с Антонием. Аэнобарб, единственный из приверженцев Антония, как говорит Великий Патеркул, который никогда не относился к Клеопатре с уважением как к царице, твёрдо объявил, что необходимо отправить египтянку в Александрию, до окончания войны.

Антоний обещал это сделать, но, к несчастью для него, Клеопатра узнала об этом предложении...

Теперь менее она хотела его покинуть, подвергая последствиям усиленных призывов Октавии, своей, когда-то счастливой соперницы; она слишком хорошо знала колеблющийся ум и слабую душу Антония.

Если бы он имел силу отказаться от примирения, столь желаемого как в лагере, так и в Риме, упрочивающего его поколебленное могущество и утверждающего мир в Империи? Клеопатра отправилась к Канидию, самому лучшему из полководцев Восточной армии после Аэнобарба, и просьбами, кокетством и даже деньгами убедила его поговорить в её пользу с Антонием.

Он доложил Антонию, что было бы несправедливо и неудобно удалять государыню, которая оказала столь значительную помощь; этим, добавил он, обиделись бы египтяне, корабли которых составляли главную силу флота. Он также добавил, что Клеопатра не была ниже других царей, которые должны были драться под командой Антония; она, которая правила самостоятельно столь долго таким обширным царством, теперь, прожив с ним вместе, приобрела ещё больший опыт...

Это говорилось против рассудка, но согласно с сердечными желаниями Антония, а потому Клеопатра осталась при армии.

В это время Геминий, один из друзей, которых Антоний имел ещё в Риме, приехал к нему, чтобы сделать последнюю попытку разлучить его с любовницей.

Однако Геминию в течение нескольких дней не удавалось увидеться с глазу на глаз с Антонием, так как Клеопатра, подозревая, что римлянин прибыл защищать интересы Октавии, не оставляла Антония ни на минуту. К концу одного из ужинов полупьяный Антоний потребовал, чтобы Геминий сказал ему сию же минуту истинную причину своего приезда.

«Дела, о которых я должен с тобою говорить, — ответил взволнованный Геминий, — не могут обсуждаться после выпивки... Однако пьяный или трезвый, я всё равно тебе скажу, что будет хорошо, если царица вернётся в Египет...»

Разгневанная царица не замедлила ему ответить:

«Ты хорошо сделал, что сказал то, что вынудили бы тебя сказать пыткой...»

Антоний был взбешён не меньше Клеопатры.

На следующий день, не чувствуя себя в безопасности, Геминий отплыл в Италию. Мстительная египтянка была недовольна также друзьями Антония, просившими отослать её вместе с Домицием Аэнобарбом.

Насмешки, оскорбления, брань и плохое обращение она соединила так искусно, что Силаний, Деллий (говорят, её давнишний любовник), Планк и Тит, два бывших консула, покинули Антония, возвратились в Рим, открыв там Октавиану некоторые пункты завещания Антония, обнаружение которых, должно было унижить его в глазах народа. Антоний, признавая Цезариона сыном Цезаря, делил восток Римской империи между остальными детьми египетской царицы и приказывал, что, если даже он умрёт в Риме, его тело должно быть перенесено в Александрию и передано Клеопатре.

Оба консула добавили, что они уверены в подлинности этих слов, так как они, согласно желанию Антония, прочитав завещание, скрепили его своими подписями и передали на хранение в храм весталок. Октавиан потребовал завещание.

Весталки объявили, что они завещания не выдадут, но, если он сам захочет прийти и взять его, они не воспрепятствуют. Октавиан имел весьма растяжимое понятие о морали: он взял завещание и прочёл его на заседании Сената.

Римские сенаторы, надо признать, были одинаково возмущены как нарушением закона о завещаниях, так и содержанием завещания Антония.

Октавиан, однако, имел оправдание, что он поступил так для блага народа; этот ловкий и терпеливый политик приближался теперь к своей цели. Он созвал совет Сената, который с Антония снял звание консула; потом, в тот же день, 1 января 31 года, он объявил войну, но не Антонию, а царице Египта.

Это была последняя жертва общественному мнению: этим он показывал, что не хочет заставлять римлян сражаться с римлянами.

Он знал, что Антоний не покинет царицу, и, введя в бой легионы в защиту ненавидимой египтянки, тем самым возьмёт на себя бремя ответственности за междоусобную войну.

Антоний и Клеопатра провели в Афинах осень и часть зимы 31 года.

В то время, когда их солдаты истощали города Греции огромными реквизициями, всюду устраивая облавы для пополнения экипажей судов, отрывая сыновей от матерей, мужей у жён, оба любовника жили припеваючи, устраивая спектакли, зрелища, бесконечные обеды и необузданные оргии.

Ревнуя к воспоминаниям, которые Октавия оставила в Афинах, где говорили ещё о её красоте, Клеопатра хотела уничтожить их полностью, лестью и щедростью к народу.

Афиняне, не расчётливые в почестях, на этот раз даже немного просроченных, решили, что город имеет право почтить Клеопатру, и поэтому в честь её будет воздвигнута статуя.

Декрет об оказываемой Клеопатре чести был доставлен ей особой депутацией, в числе членов которой находился, как гражданин Афин, и Антоний. Декрет прочли царице, а затем красноречиво восхваляли заслуги и добродетели Клеопатры. Тщеславие царицы было удовлетворено, но её ненависть нет. Она потребовала, чтобы Антоний, именно из Афин, из города, где супруги наслаждались счастьем целых три года, отправил Октавию распоряжение покинуть его дом в Риме.

Октавия ушла оттуда в трауре, проливая слёзы, и увела детей от Антония: несчастная всё ещё любила его.

VIII

Антоний не отказался от своего первоначального проекта предупредить сосредоточие сил Октавиана, перенести театр войны в Италию, но потерял напрасно много времени.

Весной 31 года его войска и флот были сосредоточены в Акциуме, при входе в Амбрацкий залив; в то время, когда отдавались последние распоряжения к выступлению, было получено донесение, что римские корабли показались у берегов Епира. Это был авангард флота Агриппы, но присутствие этого авангарда в греческих водах показало, что приготовления Октавиана если и не были закончены, то сильно подвинулись вперёд.

Время упредить его было упущено.

Антоний решился выжидать, чтобы вести кампанию по другому плану, после выяснения образа действий римлян. Для исполнения этого решения флот и армия остановились у Акциума.

Но сам Антоний вместе с Клеопатрой, соскучившись жить в Акциуме, и из-за его вредного климата переехали в Патрас. В первых числах августа он получил важное известие, что флот римлян стал на якорю у берегов Епира, войска высажены на берег, а сам Октавиан приехал уже в Торюн.

Антоний, смущённый и недовольный, что неприятель так легко и скоро выполнил эту операцию, немедленно отправился в Акциум.

В этот период Клеопатра смеялась над его беспокойством.

«Подумаешь, какое несчастье, — говорила она, — что Октавиан уселся на черпак» («Торюн» — по-гречески черпак).

Армия Антония, состоявшая из 19 легионов с 12 тысячами лошадей, имела также в своём составе многочисленных союзников киликийцев, пафлагонийцев, каппадокийцев, евреев, мидийцев и арабов и доходила численностью до 100 тысяч человек. Его же флот состоял из 500 кораблей, с гребцами в 3, 5, 8 и 10 рядов, которые, выстроенные в Египте, были настоящими плавающими крепостями, снабжёнными башнями и могучими военными машинами.

Октавиан имел 80 тысяч пехоты, набранной в Италии, Сицилии, Испании и Галлии, 10 тысяч кавалерии и только 250 кораблей одного типа — типа трёхрядных галер с водорезами и лёгких судов. Сухопутные армии были приблизительно равносильны, но разница в морских силах была громадна.

Однако корабли Октавиана дополняли свою малочисленность лёгкостью маневрирования и высокими боевыми качествами экипажей, воевавших под командой Агриппы во время столь продолжительной Сицилийской войны.

Наоборот, моряки Антония не были достаточно многочисленны, и большинство из них участвовало в войне в первый раз. Его громоздкие корабли были тяжелы.

«Море стонало под их тяжестью, — гиперболически восклицает Флор, — и ветер уставал их двигать».

Войска Антония заняли северную оконечность Акарнании, вблизи мыса Акциума, имея на берегу Епира сильный отряд, хорошо укрепившийся в окопах, обращённых к неприятелю и возведённых во время зимы. Окопы эти командовали узким проходом в Амбрацкий залив, где был расположен флот.

Октавиан расположил свой лагерь в Епире, на небольшом расстоянии от передовых постов неприятеля.

Антоний имел превосходную оборонительную позицию, позволявшую ему пренебрегать атаками на неё римлян, так как проход из Аквиума был неприступен; он был лишь блокирован со стороны моря, откуда доставлялись почти все нужные припасы.

Обе армии стояли несколько дней лицом к лицу.

Октавиан, жаждавший боя, старался различными демонстрациями втянуть своего противника в бой на суше или на море.

Антоний, обеспокоенный, взволнованный, колеблющийся, не мог решиться начать военные действия. Он посадил на суда большую часть своих войск и переправил их в Епир для атаки римского лагеря, но потом он одумался и приказал им перейти в Акарнанию.

Офицеры, предугадывая плохие качества кораблей, но веря в доблесть легионеров, советовали Антонию дать сражение на суше. Это было также и желанием солдат.

На одном из смотров Антония остановил старый центурион, весь покрытый шрамами, и спросил: «Повелитель, ты, значит, не доверяешь этим ранам и этому мечу, раз надеешься больше на гнилое дерево! Пускай финикийцы и египтяне сражаются на море, но нам предоставь землю, на которой мы привыкли стоять твёрдо и где мы сумеем победить или умереть!»

Кроме того, Антоний был взволнован зловещими предзнаменованиями: в нескольких городах бурей были опрокинуты статуи его и Клеопатры. В Альбе мраморная статуя, воздвигнутая в честь триумвира, покрылась потом. «Было предзнаменование ещё более страшное, — говорит Плутарх. — Две ласточки свили было гнездо над кормой «А н т о н и а д ы», адмиральской галеры Клеопатры, но прилетели две других, выгнали первых и убили их птенцов».

Несколько поражений в стычках в окрестностях Аквиума, уход Домиция Аэнобарба, который внезапно перешёл на сторону неприятеля, измена двух союзных царей, покинувших армию со своими войсками, подтверждали правдивость этих предсказаний в душе суеверного Антония.

Он начал сомневаться не только в успехе, друзьях и солдатах, но даже и в Клеопатре.

Видя её грустной, вялой, озабоченной — она думала о ласточках на «Антониаде», о статуях, разбитых молнией, — он вообразил, что она хочет его отравить, чтобы этим приобрести расположение Октавиана.

В продолжение нескольких дней он ничего не пил и не ел, не дав предварительно ей попробовать. Из сострадания к своему любовнику Клеопатра исполняла этот каприз, но однажды вечером, в конце ужина, она вырвала розу из венка с его головы, растрепала её и, бросив лепестки в кубок, протянула его, смеясь, Антонию. Антоний поднёс его к губам.

Она его останавливает и заставляет выпить отравленное вино раба, который немедленно падает на ковёр в страшных мучениях.

«О, Антоний, — воскликнула Клеопатра, — какую женщину ты подозреваешь?! Вот видишь, у меня были средства и случай тебя убить, но я не могу жить без тебя».

Беспокойство и усталость воцарились в армии, расположенной в лагере на нездоровом месте да ещё при этом терпящей лишения в жизненных припасах.

Даже Канидий, столь усердный к бою, и тот однажды посоветовал покинуть флот и идти воевать во Фракию, куда Динкомий, царь гетов, обещал прислать подкрепления, превосходящие численностью неприятеля.

Клеопатра высказала другое мнение, если не менее постыдное, то по крайней мере более осмысленное. Если бежать, то легче было достигнуть Египта, чем Фракии. Она предложила, оставив часть

войск в Греции — гарнизоны — в укреплённых городах, остальные на кораблях перевезти в Египет, пройдя насквозь флот Октавиана.

После новых колебаний Антоний принял последний проект, хотя ему не по душе было бегство перед армией, начальника которой он презирал.

Вероятно, впрочем, что Антоний надеялся разбить римский флот, полагая, что выигрышу морского боя будет способствовать выход из узкой гавани Аквиума. Если он победит, он сделается хозяином положения и атакует деморализованную армию Октавиана... Если произойдёт нерешительная битва — с таким могучим флотом он не допускал возможности поражения, — он проследует в Египет.

Отступление придётся предпринять в наихудшем случае. Побег и болезни сильно уменьшили состав экипажей, поэтому Антоний решил сжечь 140 кораблей, пополнив их экипажами остальной флот. Двадцать тысяч легионеров, союзников и пращников были посажены на суда.

Чтобы не уменьшать мужества солдат и моряков, от них скрыли, что эти приготовления к битве были скорее приготовлениями к отступлению. Секрет этот так хорошо сохранялся, что штурманы были удивлены получением приказа оставить на судах паруса, с добавлением, что во время сражения будут действовать только весла; причём Антоний разъяснил, что это делается с целью лучшего преследования врага после победы.

2 сентября, утром, корабли Антония, сгруппировавшись в 4 больших дивизиона, прошли канал Аквиума и, выйдя из него, выстроились для битвы лицом к флоту Октавиана, ждавшего их в 8 или 10 стадиях от берега.

Правое крыло флота Антония было под командой Антония и Публикола; центром командовали Марк Инстей и Марк Октавиан, левым — Целий. Клеопатра находилась при резерве в 60 кораблей.

В римском флоте Октавиан командовал правым крылом, Агриппа — левым, а Аррунтий — центром.

Около полудня начался бой.

Сухопутная армия, стоявшая готовой к бою, но неподвижно, не видела, как было это в других сражениях, галер, которые шли бы друг на друга, стараясь ударить медными водорезами. По причине своего медленного хода тяжёлые корабли Антония не могли наносить стремительных ударов, а лёгкие суда римлян, в свою очередь, боялись разбить носы о громадные сооружения из толстых брёвен, скреплённых квадратным железом.

Это была постепенная осада, так сказать, бой подвижных цитаделей против подвижных башен. Три или четыре римские галеры соединялись для атаки одного из кораблей флота Антония, столь больших, говорит Виргилий, как острова Киклады, поплывшие по морю.

Солдаты метали дротики и пускали горящие стрелы на палубы судов, привязывали брандеры к надводной части судов и шли на абордаж, в то время как сильная батарея метательных машин, расположенная на верхушках башен атакованного сооружения, осыпала градом стрел и камней атакующих.

Сначала правое крыло под командой Октавиана отступило под натиском дивизиона Целия, на другом фланге Агриппа сделал обходное движение для захвата Антония и Публиколы, они разорвали боевой порядок в центре Либурны и воспользовались благодаря своей быстротходности этим, чтобы взять на абордаж корабли двух Марков, позади которых находился резерв Клеопатры.

Успех и неудача чередовались.

Обе стороны сражались с одинаковой яростью, и неизвестно было, на чьей стороне будет победа.

Нервность Клеопатры всё погубила.

Находясь в продолжение нескольких часов в лихорадке и унынии, она с мостика «Антониады» беспокойно наблюдала за движением кораблей, надеясь сначала на победу, но в описанный момент, испуганная суматохой и воплями, она желала только одного — бежать.

С нетерпением, растущим с минуты на минуту, она ожидала сигнала об отступлении. И вдруг она видит правое крыло, удаляющимся к берегу, левое, идущим в море, а центр, который её защищал, атакован, взят на абордаж, разрознен, разбит и прорван римскими судами.

Тогда, повинувшись лишь своему страху, Клеопатра приказывает поднять паруса и с 60 кораблями проходит линию сражающихся и удаляется в открытое море.

В самый разгар сражения Антоний заметил это движение египетской эскадры и узнал пурпуровые паруса «А н т о н и а д ы».

Это бежит Клеопатра, лишая его в самый решительный момент резерва... Но царица не могла приказать отступить... он сам должен был дать сигнал... Промах, ложное движение... паника... Антоний, в свою очередь, поднимает паруса на галерах и бросается вслед за Клеопатрой. Он приведёт назад египетские корабли, восстановит порядок и укрепит успех боя...

Но прежде чем настигнуть «Антониаду», несчастный решил, что Клеопатра покинула его из трусости или измены... Он не вернёт ни её, ни кораблей... Он думает вернуться в сражение, где найдёт гибель вместе с солдатами.

Умереть, не увидя Клеопатры?! Этого сделать он не может!!

Роковая сила влечёт его по следам этой женщины. Он достигает «Антон и аду», но его охватывает стыд за самого себя. Он отказывается видеть царицу, садится на носу корабля и остаётся там три дня и три ночи, закрыв лицо руками.

IX

Египетский флот и другие корабли, за ним следовавшие, остановились в порту Ценополис близ мыса Тэнар.

Здесь около десяти раз женщины Клеопатры делали попытки заставить Антония нарушить молчание, и наконец им удалось свести любовников: они поужинали и провели ночь вместе...

О, презренная человеческая немощь!!!

Несколько друзей, избежав плена, привезли новости: флот сопротивлялся долго, но все уцелевшие корабли были захвачены Октавианом.

Армия сохранила свои позиции и, казалось, осталась верной. Антоний немедленно послал гонца к Канидию с приказанием привести войска, а сам отплыл в Циринейку, где он оставил несколько легионов.

Один из его кораблей вёз драгоценности, его любимые вещи и всю золотую и серебряную посуду, на которой подавали обед союзникам царя. Перед отъездом из Ценополиса он разделил эти сокровища между несколькими друзьями, которых он заставил бежать в Грецию, не желая, чтобы они разделили его роковую судьбу. Расставаясь с ними, он их по-дружески уговаривал, утешал, стараясь поддержать их улыбкой, грустной и доброжелательной.

Клеопатра покинула Грецию за несколько дней до отъезда оттуда Антония. Она торопилась вернуться в Египет, боясь, чтобы известие о несчастье Антония не вызвало революции. Чтобы ввести в обман народ и выиграть время для принятия соответствующих мер, она вошла в Александрийский порт с показным триумфом. Носы её кораблей были украшены венками, с них доносились победные песни, музыка флейт и цитр.

Утвердившись во дворце, Клеопатра немедленно приказала убить неверных лиц, которых она опасалась; эти казни принесли пользу не только царской сокровищнице, так как после смерти действительно виновных или лишь подозреваемых их имущество всё равно конфисковалось, но также избавляли Клеопатру от опасений немедленного переворота. Что же касается будущего, то царица боялась его несколько не меньше: она всё ещё находилась под впечатлением ужасов Акциума.

Иногда, поглощённая идеей смерти, она хотела устроить себе такую же пышную смерть, какой была её жизнь.

Она построила на берегу моря, на оконечности мыса Лохиас, громадную гробницу, намереваясь сжечь себя со всеми своими сокровищами.

На другой день она уже думала о бегстве. По её приказанию значительное количество её огромных кораблей перетасили при помощи брасов, машин и вьючных животных на другую сторону перешейка, в Красное море.

Она мечтала сесть на корабли, нагрузив на них все свои богатства, и начать в какой-нибудь неизвестной стране Азии или Африки новую жизнь, нравственную и великолепную. Антоний не замедлил вернуться в Александрию. Он находился в состоянии самого мрачного отчаяния. Армия, находившаяся в Акарнании и покинутая Канидием, который бежал, сдалась после семи дней колебания Октавиану.

В Циринейке ему даже не удалось увидеть своего подчинённого Скарпа, принявшего сторону царьянцев и угрожавшего его убить. Ирод, его креатура, которого он сделал царём Иудеи, послал засвидетельствовать своё почтение победителю при Акциуме. Измена воцарилась всюду — и у союзников,

и в легионах.

Антоний начал даже сомневаться в Клеопатре. Едва ли он хотел видеть её возмущавшейся жестокостью богов, а ещё больше коварством людей, и потому он решил провести в одиночестве тяжёлые дни, в течение которых его враги оставили его живым.

История Тимона, афинского мизантропа, которую ему рассказывали в более счастливые времена, теперь вспомнилась. Решившись жить, как Тимон, он поселился на пустынном молу Посейдона и начал возводить башню, которую он хотел назвать Тимониопой.

Клеопатра не покорила так легко своей судьбе.

Подверженная в момент поражения припадкам малодушия, она затем обрела энергию.

Со столь увлекающимся воображением, какое было у Клеопатры, невозможно впасть в отчаяние не только навсегда, но даже и не надолго. Она получила известие, что корабли, перетащенные в Красное море, были сожжены арабами. Бегство сделалось невозможным, и тогда она организовала сопротивление.

В то время когда Антоний понапрасну терял время, разыгрывая мизантропа, царица набирала новые войска, снаряжала новые корабли, заключала новые союзы и создавала укрепления Пелузы и Александрии; раздавая народу оружие, она, чтобы воодушевить александрийцев к защите города, зачислила сына своего Цезариона в ряды милиции.

Антоний любовался энергией и деятельностью Клеопатры. Побуждаемый своими друзьями и уставший наконец от одиночества, он возвратился во дворец.

Царица приняла его, как принимала в былые счастливые дни, когда он возвращался из Киликии или из Армении. С друзьями «последнего часа» устраивали банкеты, праздники и оргии.

Только «неподражаемые» переменили своё название — они назвались неразлучными после смерти.

Выбор этого названия, сделанного, как из покорности судьбе, так и из-за похвальбы, достаточно характеризует обоих влюблённых.

Антоний, казалось, больше ни на что не надеялся. Клеопатра сохраняла ещё надежду, прерываемую приступами мрачного отчаяния. В эти дни она спускалась в подвалы дворца, расположенного около тюрьмы, где заключались осуждённые на смерть.

Рабы вытаскивали их из тюрьмы группами по несколько человек, и на них пробовали действие ядов.

Клеопатра присутствовала с любопытством, более горестным, чем жестоким, при ужасной агонии страдальцев. Опыты возобновлялись часто, потому что царица не могла найти яда, который действовал бы без боли и мучений. Она лишь заметила, что сильные яды убивают быстро, но с ужасными муками; яды же более слабые дают бесконечную агонию. Клеопатра вспомнила об укусе змей. После новых проб она установила, что яд египетского аспида, называемого по-гречески «аспис», не причинял ни конвульсий, ни тяжёлых страданий, а приводил к смерти постепенно возраставшим усыплением, делая смерть похожей на сон.

Что касается Антония, то, подобно Катону и Бруту, он имел при себе меч.

Среди этих приготовлений к самозащите и смерти побеждённые при Акциуме подумывали и о переговорах с победителем. Октавиан, вызванный было в Рим угрозой мятежа ветеранов, затем, в конце зимы, отправился в Сирию, где были сосредоточены его войска. Антоний писал ему, вспоминал прежнюю дружбу, ссылаясь на свои заслуги, извинялся за свои несправедливые действия и закончил предложением сложить оружие с условием разрешения жить в Александрии как простому смертному.

Октавиан не соблаговолил ответить.

Он также ничего не ответил и на второе послание Антония, в котором тот предлагал убить себя, лишь бы Клеопатра продолжала царствовать в Египте. Царица со своей стороны без ведома Антония послала Октавиану богатые подарки.

Менее великодушная, чем её любовник, жертвовавший своей жизнью, чтобы сохранить ей корону, она отделяла свою вину от его. Посол-египтянин доказывал Октавиану, что ненависть его к Антонию не должна распространяться и на царицу, невинную в последних событиях.

«Сам Рим, — говорил он, — объявил войну Египту, чтобы покончить с Антонием...» «Подстрекаемая и угрожаемая Клеопатра, — твердил он, — принуждена была вооружаться в целях самообороны... Теперь же, когда Антоний побеждён и должен или бежать, или умереть, римляне могут оказать милосердие Клеопатре и оставить её на троне... Этим они выиграют больше, чем вынудив могущественную царицу к безнадёжной борьбе».

Октавиан уже считал себя хозяином Египта и мира. Он не боялся обломка меча в руках Антония и тем более остатков армии Клеопатры и её разбросанного флота.

Но две вещи оставались вне власти всемогущего императора: огромные сокровища Клеопатры, которыми он предполагал расплатиться со своими легионерами, и сама Клеопатра, которую он хотел заставить участвовать в своём триумфе. Клеопатра могла ускользнуть от римлянина благодаря смерти, а сокровища уничтожить огнём.

Из доносов изменников и шпионов, посланных в Александрию, Октавиан знал, что Клеопатра пробует яды, а сокровища зарыла в своей будущей могиле, поэтому он был вынужден с ней хитрить. Он принял подарки и приказал передать Клеопатре, что, убив Антония, она сохранит царство.

По прошествии некоторого времени, опасаясь, что эта несколько грубая дипломатия останется без должного внимания, Октавиан послал к Клеопатре Тирса, одного из своих приближённых. Прибыв в Египет, Тирс несколько раз высокопарно говорил в присутствии Антония и двора о справедливой злобе Октавиана и его категорическом решении, но, получив без труда тайную аудиенцию у Клеопатры, он ей сообщил, что его повелитель уполномочил просить её вновь ничего не опасаться... Для пущей убедительности он придумал, что Октавиан её любит так, как некогда её любили Цезарь и Антоний.

Клеопатра имела несколько свиданий с Тирсом и публично оказывала ему большое расположение. Антоний принял меры предосторожности и, подозревая Клеопатру, как женщину и как царицу, воспользовался оставшейся властью, чтобы отомстить Тирсу: он велел высечь его розгами и отправил окровавленного обратно к хозяину.

Гнев Антония доказывает, что Клеопатра не оставила без внимания сообщений Тирса. Ведь женщины охотно верят подобным уверениям, в особенности, если они были так много любимы. Клеопатре, положим, тогда была, тридцать семь лет, но она верила в свою красоту, побеждавшую столь часто.

Правда так же и то, что она знала: Октавиан её никогда не видел, за исключением, быть может, одного раза, да и то тринадцать лет назад в Риме, вскоре после смерти Цезаря... Но её всемирно известная оболъстительность не была ли достаточна, чтобы вызвать, если не любовь, то по крайней мере смутное желание и любопытство? Клеопатра страстно любила Антония, покорённая не только его красотой и силой, но и славой и могуществом, которые вызвали, укрепили и поддерживали её любовь... Теперь же Антоний — побеждённый беглец; друзья ему изменили, легионы его покинули; сам же он без надежд и могущества, казалось, сгорбил под ударами судьбы.

Его странное отшельничество после поражения при Акции — Тимониада — в то время, когда Клеопатра, охваченная вновь вернувшейся деятельностью, лихорадочно, поспешно готовилась к последней защите, оставило в сердце царицы больше презрения, чем сострадания. Женщины не понимают

и не прощают приступов отчаяния, которые подавляют самых отважных мужчин.

Но если она сохранила мало любви к своему любовнику и её взволновали сообщения Тирса, всё же Клеопатра не думала убить Антония и выдать его Октавиану.

Однако из-за того, что Антонию многое грозило опасностью в Александрии, где он, покинутый своими легионами, находился под защитой египетских войск, верности весьма сомнительной, Клеопатра, быть может, надеялась, что он постарается убежать в Нумидию или в Испанию.

Около середины весны 30 года в Александрию пришло известие, что римская армия перешла западную границу Египта.

Антоний собрал оставшиеся войска и двинулся навстречу врагу. Произошло сражение под стенами укрепленного города Паратениума, уже находившегося в руках римлян, причём Антоний, дравшийся с горстью людей, был отброшен.

Когда он вернулся в Александрию, Октавиан уже находился на расстоянии двух переходов от города; в то время, когда его подчинённый Корнелий Галд проник в Египет через Циренейку, он сам проследовал туда через Сирию, взяв Пелузу после непродолжительного сопротивления. Узнав о взятии Пелузы, последние римляне, оставшиеся верными Антонию, кричали об измене, утверждая, что Селевк сдал город по приказанию самой Клеопатры.

Есть ли правда в том, что царица отдала это распоряжение? Можно в этом усомниться... Во всяком случае, беспокойство, в котором находилась Клеопатра, и её тайные надежды возбуждают это подозрение.

Для своего оправдания египтянка выдала Антонию жену и детей Селевка, предложив их убить, что было лишь слабым доказательством её невинности, и этим Антоний должен был удовольствоваться. Кроме того, его гнев прошёл под влиянием протестов и слёз Клеопатры, правдивых или фальшивых, которые она проливала, оправдываясь. Да и в конце концов не было времени для упрёков — надо было сражаться.

Октавиан расположился лагерем на высотах, в двадцати стадиях от Александрии.

Антоний, лично отправившийся на усиленную кавалерийскую разведку, столкнулся недалеко от Ипподрома со всей римской кавалерией. Завязался бой, в котором римляне, несмотря на их численное превосходство, были разбиты и обращены в бегство.

Антоний преследовал их до окопов, окружавших лагерь, а затем вернулся в город, нравственно возрождённый, хотя и незначительной, но блестящей победой, которая могла служить хорошим предзнаменованием.

Он слез с лошади перед дворцом и, не снимая вооружения, побежал в каске и доспехах, покрытый потом и кровью, поцеловать Клеопатру.

Царица, введённая в заблуждение показной важностью этой схватки, переживала период возрождения любви и надежды: она опять обрела своего Антония, своего повелителя, своего бога войны. Она бросилась на шею Антонию с такою страстью, что ушиблась о его кирасу; вероятно, в эту минуту искреннего излияния она упрекала себя за измену в Пелузе, если она её совершила; также, верно, пришли ей на память сообщения посла Октавиана, как мучительные угрызения совести.

Клеопатра пожелала произвести смотр солдатам; она приветствовала их красивой речью, а затем, попросив показать ей того, кто выделился наибольшей храбростью, подарила ему золотое вооружение...

Антоний благодаря вновь возродившейся надежде не захотел вести переговоры о мире; он послал в тот же день к Октавиану герольда с предложением решить спор единоборством на глазах обеих армий. Октавиан презрительно отвечал, что у «Антония, кроме этого способа умереть, есть и другие».

Эти слова, показавшие, сколь велика самоуверенность у его врага, подействовали на Антония как угрожающее предзнаменование: разочарованный в своих расчётах, он понял всю безнадёжность своего положения.

Однако он решил дать на другой день решительный бой... и заказал парадный ужин.

«Завтра, — воскликнул он, — быть может, он будет не нужен!».

Ужин прошёл печально, как поминальный обед. Немногие друзья из оставшихся ему верными, приглашённые на ужин, молчали, некоторые плакали.

Антоний, стараясь их подбодрить, сказал, как бы доверяясь: «Не думайте, что завтра я буду искать лишь смерти; я буду биться за жизнь и добиваться победы...»

На рассвете в то время, когда войска заняли позицию напротив римского лагеря, а египетский флот огибал мыс Лохиас, Антоний взошёл на холм, откуда он мог распоряжаться боем и на море, и на суше.

Египетские корабли, построив боевой порядок, двинулись к римскому флоту, но на расстоянии от него «двух полётов стрелы» гребцы египетского флота подняли вверх свои большие весла...

Римляне ответили на этот салют тем же, и оба флота, сначала смешавшись, соединились затем в один отряд, который и пошёл по направлению к порту.

Почти в тот же момент Антоний увидел, как его кавалерия, бившаяся накануне столь неустрашимо, замешкалась, а потом перешла на сторону римлян.

В это время по всей римской линии трубы и валторны заиграли сигнал к атаке, и легионы бросились вперёд с обычным криком: «Со! Со!»

Пехота Антония не дождалась удара, дрогнула и устремилась назад к городу, увлекая в беспорядочном бегстве и своего вождя.

Антоний, опьяневший от гнева, грозил, проклинал, бил бегущих концом меча и, войдя в город, кричал, что Клеопатра ему изменила и выдала врагам, с которыми он сражался из любви к ней.

Однако надо сказать, что Клеопатра не имела возможности изменить или спасти Антония: она сама — Новая богиня, царица царей — была покинута своим народом так же, как он, великий полководец, был покинут армией... власть обоих их была потеряна... Следовательно, кто же хотел жертвовать для них собой?

Накануне днём и ночью агенты Октавиана всячески подстрекали легионеров и египтян, обещая одним амнистию, другим охранительные грамоты. Доблестный кавалерист, которому Клеопатра накануне подарила золотое вооружение, не дождал даже утра, чтобы перейти в ряды римлян, и дезертировал ночью.

При виде беглецов, уходящих из города непрерывным потоком, Клеопатра ужаснулась. Она знала о подозрениях Антония, была знакома со страшными припадками злости, временами его охватывавшими, она освоилась с мыслью о смерти, но она хотела приятной смерти. Её тело дрожало и протестовало при мысли о мече Антония. Ей представлялись наносимые им ужасные раны... Ей нанесут удары в грудь, в живот и даже, быть может, в лицо... Попытаться же унять гнев Антония у царицы нет ни сил, ни мужества. Растерянная, Клеопатра покидает дворец, сопровождаемая лишь Ирой и Хармионой, бежит в свою гробницу и закрывает вход; чтобы отвлечь Антония от желания ворваться туда, она приказывает сказать ему, что она умерла.

Антоний, бегавший как сумасшедший по пустынным залам дворца, узнает об этом: гневные вопли сменяются слезами.

«Чего тебе ещё ждать, Антоний, — рыдает он. — Судьба отняла у тебя единственное сокровище, которое привязывало тебя к жизни!..»

Он приказывает своему вольноотпущеннику Эроту убить его.

Расстёгивая доспехи, он обращается к Клеопатре с прощальными словами: «О, Клеопатра, я не горюю больше, что лишился тебя, через минуту я встречу с тобой!» Эрот, вынудив меч, вместо Антония убивает себя.

«Молодец Эрот, — говорит Антоний при виде Эрота, падающего мёртвым к его ногам, — ты мне подаёшь хороший пример...» — И вонзает свой меч в грудь, склоняясь на ложе.

Придя через несколько времени в чувство, Антоний зовёт рабов и умоляет, чтобы они добились его... Никто не решается исполнить его просьбу; его покидают в стогах и криках на ложе, дав знать о случившемся царице.

Её и без того невыносимое горе отягощается угрызениями совести; она хочет увидеть Антония и приказывает принести его живого или мёртвого.

Диомед, секретарь Клеопатры, бежит во дворец. Жизнь Антония едва теплится, радость при получении известия, что царица жива, его оживляет.

«Он поднимается, — говорит Дион Кассий, — как будто он мог бы ещё жить!»

Рабы поднимают его и несут; он просит, бранится, грозит, но в то же время у него начинается агония. Дошли до могилы.

Царица видит всё, высунувшись из окна верхнего этажа. Из боязни какой-нибудь неожиданности она не приказывает поднять решётки, а лишь выбрасывает из окна верёвки, к которым привязывают Антония. Потом с помощью двух своих женщин, Иры и Хармионы, единственных из приближённых, которых она привела с собой в гробницу, начинает поднимать Антония вверх.

«Сделать это женщинам, — говорит Плутарх, — было не так-то легко — поднимали человека сложения Антония». Никогда, по словам свидетелей, не видели зрелища более трогательного и более достойного сочувствия. Клеопатра напрягла все свои силы и с искаженным лицом тянула с громадным усилием верёвки, в то время как Антоний, весь окровавленный, старался приподняться и протягивал к ней свои слабеющие руки.

Наконец Клеопатра втащила Антония в гробницу и, уложив на постель, припала к нему в долгом объятии. Она разразилась слезами, рыданиями...

Она называла Антония супругом, повелителем, била себя в грудь, вонзая в неё ногти, затем опять бросалась к Антонию, целуя его руки, вытирая кровь своим лицом. Антоний старался её успокоить и утешить и уговаривал её позаботиться о своей безопасности... Сотрясаемый лихорадкой, он попросил пить и выпил кубок вина.

Смерть приближалась.

Клеопатра возобновила свои стоны.

«Не убивайся моим последним несчастьем, лучше поздравь меня, — шептал Антоний, — с теми благами и счастьем, которыми я пользовался, будучи самым знаменитым и могущественным человеком в мире. Поздравь меня с тем, что, будучи римлянином, я и побеждён только римлянином».

«Он умер в объятиях Клеопатры, умер там, — говорит Шекспир, — в чём видел жизнь».

Октавиан, узнав о самоубийстве Антония, послал Прокулея и Галла с приказанием захватить

Клеопатру, не дав ей возможности лишиться себя жизни.

На их зов откликнулась сама царица; она спустилась вниз и начала переговоры сквозь решётку. Не слушая обещаний и протестов обоих римлян, она объявила, что согласна сдаться, если Октавиан клятвой подтвердит своё обещание сохранить трон Египта для неё или для её сына, иначе Цезарь получит лишь её труп.

Прокулей, заметив окно, через которое был втащен в гробницу Антоний, предоставил своему товарищу разговаривать с царицей, а сам разыскал лестницу, приставил её к толстой стене гробницы и, таким образом проникнув вовнутрь, сошёл по внутренней лестнице вниз и кинулся к Клеопатре.

Хармиона, обернувшись на шум, закричала: «Несчастливая царица, тебя хотят взять живой!».

Клеопатра, чтобы убить себя, выхватила кинжал, который она уже некоторое время носила всегда за поясом, но Прокулей схватил её за кисть руки и не выпускал до тех пор, пока не убедился, что у неё в руках нет оружия или какого-нибудь флакона.

Тогда он почтительным тоном, приличным рангу и несчастью пленной царицы, начал уверять её, что она не должна бояться Октавиана:

«Царица, ты несправедлива к Цезарю, так как хочешь у него отнять самый лучший случай, проявить своё милосердие!»

Как только она сама и её сокровища попали в руки римлян, Клеопатра почувствовала себя бессильной защитить корону.

Что для неё была оставляемая Октавианом жизнь, если теперь она хотела лишь умереть?! Она попросила, как последнюю милость, воздать Антонию погребальные почести. Хорошо, что та же самая просьба была представлена от военачальников его армии, которые когда-то служили под начальством Антония, поэтому Октавиан сжалился, уважил просьбу египтянки.

Клеопатра вымыла тело своего любовника, убрала и вооружила, как для последней битвы, а затем похоронила в гробнице, которую она выстроила для себя и где она не смогла найти себе смерть.

После похорон царица позволила ввести себя, по приказанию Октавиана, во дворец лагидов. С ней обращались очень бережно, но держали её всё время под надзором.

Сильные волнения, пережитые Клеопатрой, громадное горе, её угнетавшее, наконец, удар, который она нанесла себе во время агонии Антония, отразились на её здоровье — началось воспаление груди, сопровождаемое сильным жаром.

Она грезилась желанной смертью и, чтобы ускорить своё избавление, отказывалась уже несколько дней от лекарств и пищи.

Узнав об этом, Октавиан велел ей передать, что она забыла о четверых детях, которые, как заложники, отвечают за её жизнь. Эта гнусная угроза победила решение Клеопатры, и она позволила себя лечить.

Октавиан всё же продолжал беспокоиться: что, если гордость царицы победит чувство матери? Что, если ужас при известии, что она должна фигурировать, как пленница, в будущем триумфе, заставит Клеопатру убить себя?

Конечно, её хорошо стерегли, но небольшая небрежность или измена разве не могли прийти к ней на помощь? Разве царица, даже без помощи оружия или яда, не могла быть задушена преданной ей Хармионой?

Наконец, Октавиан полагал, по словам Диона Кассия, что смерть Клеопатры «лишила бы его всей

славы».

Он даже предполагал повидаться с египтянкой, чтобы её разуверить в её опасениях. Октавиан считал себя довольно ловким и хорошо владеющим собой, чтобы в разговоре с царицей не проговориться о судьбе, которую он ей готовил. Клеопатра, по словам Плутарха, в которых нельзя усомниться, не претендовала больше на любовь, которую, как говорил Таре, она внушала Октавиану: во время пребывания в Александрии Император не пожелал ни разу её видеть, да и, кроме того, жестокое обращение и заключение, его угрозы, о которых ей рассказывали, говорили о том, что он не увлечён ею.

Однако можно ли сказать, что при получении известия о его внезапном посещении, в её сознании не блеснул луч надежды, не промелькнуло быстрое видение трона, не явилось последнего порыва к жизни? Разве можно поручиться, что её прекрасные глаза не заблестели предвидением торжества?

Царица, едва начавшая выздоравливать, лежала, когда вошёл Октавиан. Она вскочила с кровати, хотя и была только в одной тунике, и бросилась к его ногам.

Видя эту женщину, теперь истощённую лихорадкой, похудевшую, страшно бледную, с осунувшимся лицом, с красными от слёз глазами, окружёнными синевою, со ссадинами на груди и на лице от царапин, нанесённых ногтями, Октавиан едва мог поверить, что это чародейка, покорившая Цезаря и поработившая Марка Антония!.. Да, кроме того, если бы даже Клеопатра была красивее Венеры, всё равно он запретил бы себе её любить: воздержание было наименьшим недостатком Октавиана, но он был слишком осторожен и прозорлив, чтобы пожертвовать своими Интересами ради страсти...

Он попросил царицу лечь снова в постель и сел возле неё.

Клеопатра начала оправдываться, сваливая всё на стечение обстоятельств и на страх Антония.

Речь её прерывалась рыданиями, мешавшими ей говорить; затем, надеясь разжалобить Октавиана (очаровать, как думали многие), она достала хранившиеся на груди письма Цезаря и, целуя их, воскликнула: «Если ты хочешь знать, как любил меня твой отец, прочти эти письма... О, Цезарь, зачем я не умерла вместе с тобой... Для меня ты продолжаешь царствовать в нём (в Октавиане)...» И среди слёз она старалась кокетливо улыбнуться...

Жалкая сцена кокетства, которую несчастная женщина и не могла и не сумела разыграть!!!

На её вздохи и стоны император не отвечал ничего, избегая даже смотреть на неё, и сидел, потупив взор в землю.

Он говорил лишь для того, чтобы опровергнуть один за другим доводы Клеопатры, которыми она оправдывалась.

Охлаждённая бесчувствием этого человека, нимало не тронутая её несчастьями и мучениями, а беседовавшего с ней тоном судьи, Клеопатра поняла, что она не должна надеяться ни на какое сострадание; смерть показалась ей снова желанной избавительницей. Тогда она прекратила свои жалобы, утёрла слёзы и, желая обмануть Октавиана, согласилась примириться с его решением, будто бы лишь для того, чтобы ей оставили жизнь. Она показала Цезарю опись сокровищ и упросила дозволить ей сохранить некоторые украшения, чтобы она могла поднести их Ливии и Октавии, чтобы заслужить их расположение и защиту.

«Мужайся, женщина, — сказал уходя император, — и будь покойна, тебе не сделают зла!»

Прельщённый притворным смирением Клеопатры, Октавиан не сомневался больше в возможности показать римскому народу бывшую царицу Египта, идущей в цепях перед его триумфальной колесницей... Он не слышал, уходя, последнего слова, сказанного царицей, слова, которое она не переставала повторять со дня взятия Александрии: «Я не буду украшать триумфа!»

Через несколько дней после этого свидания один из приближённых Октавиана, пожалев несчастную, сообщил Клеопатре, что её послезавтра отправят в Италию.

Она попросила разрешения вместе со своими женщинами пойти сделать возлияние на могиле Антония. Её понесли на носилках из-за слабости, ещё оставшейся после болезни. Вылив вино и возложив венки, она поцеловала в последний раз надгробный камень и сказала: «О, дорогой Антоний, если твои боги имеют силу, мои мне изменили, — не покидай свою ещё живую жену... Неужели ты потерпишь, чтоб издевались над тобой, заставляя её участвовать в роковом торжестве? Спрячь меня к себе, под этот египетский камень».

Возвратившись во дворец, Клеопатра прошла в баню, где женщины одели её в самые красивые одежды, возложив на голову царскую корону; затем Клеопатра заказала великолепный ужин.

Когда, закончив туалет, она села за стол, во дворец пришёл какой-то поселянин с корзиной...

Стража, пропускавшая его во дворец, пожелала осмотреть содержимое корзины, и он показал: там находились фиги, от красоты которых стража пришла в восторг... Смеясь, поселянин попросил попробовать... Его хорошее расположение духа сняло всякое подозрение, и его пропустили.

Клеопатра приняла корзину, а затем, приказав отнести Октавиану письмо, написанное ещё утром, осталась в обществе Иры и Хармионы.

Открыв корзину, она раздвинула фрукты — она надеялась быть неожиданно укушенной, но гад спал... Клеопатра увидела его среди фруктов... «А, вот ты где!» — воскликнула Клеопатра и начала дразнить его золотой булавкой... Змея укусила её в руку...

Получив письмо Клеопатры, Октавиан немедленно приказал своим приближённым бежать в покои Клеопатры... Посланные императора нашли стражу, находившуюся на своих местах, в полном неведении о случившемся... Открыв дверь, увидели Клеопатру, одетую в царские одежды, лежащей мёртвой на золотом ложе; в ногах царицы лежал труп Иры... Хармиона ещё дышала... Слабеющими руками она поправляла диадему на голове царицы...

«Вот это красиво, Хармиона!» — воскликнул солдат сдавленным голосом.

«Да, — сказала она, умирая, — это очень красиво и достойно царицы, происходящей от стольких царей...»

Октавиан приказал убить Цезариона, сына египтянки от Цезаря, но проявил милость к трупам Клеопатры.

Благодаря её униженной просьбе, которую она ему высказала в последнем письме, он позволил похоронить её рядом с Антонием. Он разрешил также почтить достойным погребением двух её верных прислужниц, Хармиону и Иру, пожелавших сопровождать её в царство теней.

Самоубийством Клеопатра желала избавиться от участия в триумфе Октавиана...

Лишившись пленницы, Октавиан имел её изображение — по Риму в триумфальном шествии несли статую Клеопатры со змеей, обвивавшейся вокруг руки.

Но не кажется ли вам, что статуя этой знаменитой царицы, подчинившей себе величайшего из римлян, приводившей в дрожь Рим, царицы, которая призвала смерть, не желая быть униженной, своей смертью восторжествовала над своим победителем и вызвала и Сенат, и народ на дорогу к Капитолию?..

Многие представляют себе Клеопатру как великую царицу — соперницу Семирамиды и старшей сестрой Зиновии, Изабеллы, Марии Терезии и Екатерины...

Клеопатра была слишком женщиной, чтобы её можно причислить к этим славным двуполым

существом... Если она в продолжение двадцати лет сохраняла трон и независимость Египта, то этого она достигла лишь чисто женскими средствами — интригой, любезностью, грацией и слабостью, которая тоже грация...

Чтобы царствовать, она была в действительности лишь любовницей Цезаря и любовницей Марка Антония... Лишь римским мечом поддерживался трон лагидов. Когда по вине Клеопатры оружие это было сломано, трон рухнул. Честолюбие — её единственная добродетель как правительницы, и если бы не обстоятельства, которые его развили до качества царственной наследственности...

Чувствуя своё бессилие вследствие отсутствия умения и силы воли при выполнении своих планов, она рассчитывала лишь на своих любовников.

Случалось разве этой роковой как для других, так и для себя женщине отказываться от праздника или другого развлечения для исполнения царского желания?..

Эта царица была беспечна, как куртизанка, и эти милые девушки могут видеть в ней своего величественного и трагического предка...

Когда она увидела своего любовника убитым, свою красоту увядшей, свои богатства погибшими, а корону разбитой, нашла ли она перед смертью мужество, не достававшее ей в жизни?!

Нет, Клеопатра не была великой царицей... Без связи с Антонием она была бы так же забыта, как Арсиноя или Вероника. Если она и имеет всемирную известность, то лишь потому, что она героиня самого драматического романа древнего мира.

Георг Мориц Эберс

КЛЕОПАТРА

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

Архитектор Горгий Александрийский привык выносить палящий зной египетского полдня. Хотя ему не исполнилось ещё и тридцати лет, но он уже заведовал — сначала как помощник, потом как преемник своего отца — постройкой громадных зданий, воздвигаемых Клеопатрой в Александрии.

В настоящую минуту он был завален делами, но тем не менее явился сюда до окончания работы в угоду юноше, едва вышедшему из детского возраста.

Тот, кому он приносил эту жертву, был не кто иной, как Цезарион, сын царицы Клеопатры от Юлия Цезаря[1]. Антоний[2] почтил его горделивым титулом царя царей, хотя ни царствовать, ни даже управлять ему не пришлось: мать отстраняла его от дел правления, да и сам он не добивался скипетра.

Горгий мог бы пренебречь желанием царевича, так как тот, очевидно, хотел поговорить с ним о своём окружении. Мысли архитектора были заняты другим. Флот Клеопатры и Марка Антония должен был уже встретиться с кораблями Октавиана, да и сражение на суше, вероятно, уже было дано, и судьба Египта решилась.

Горгий верил в победу царицы и Антония и от души желал её. По-видимому, он даже считал сражение выигранным, поскольку держал в руках программу празднеств в честь победителей, и сегодня же должен был решить, где поставить колоссальную статую, изображавшую Антония рука об руку с его царственной подругой.

Эпитроп Мардион, евнух, замещавший царицу в качестве регента, и хранитель печати Зенон, обычно во всём согласный с Горгием, желали поставить статую не в том месте, которое он наметил. Для того чтобы исполнить желание могущественного регента, пришлось бы захватить частное владение. Могли возникнуть затруднения, и это не нравилось Горгию. С эстетической точки зрения Горгий также не мог одобрить план Мардиона. Поставленная на участке Дидима[3] статуя оказалась бы у самого моря, чего и хотелось регенту и хранителю печати, но в этом случае у неё не было бы фона.

Как бы то ни было, приглашение Цезариона давало архитектору возможность обозреть Брухейон с верхних ступеней храма Исиды и выбрать место для статуи. Ему очень хотелось найти подходящее место, так как скульптор был его другом и умер вскоре после окончания работы.

Храм, откуда смотрел Горгий, находился в одном из красивейших уголков Брухейона, застроенного дворцами, великолепнейшими храмами, огромными театрами; тут же возвышался форум, где македонские граждане собирались на совет, и обитель учёных Мусейон.

Местность, примыкавшая к храму Исиды с востока, называлась «уголком муз» из-за мраморных статуй перед воротами принадлежащего престарелому почтенному учёному и члену Мусейона Дидиму дома с обширным садом.

Большая часть зданий, находившихся перед ним, была построена во времена Александра Великого и его преемников из дома Птолемеев, но некоторые, и притом отнюдь не худшие, были делом рук его, Горгия, или его отца. Это возбуждало гордость, и сердце художника наполнялось восторгом при виде этой части города.

Он бывал в Риме, видел и другие города, славившиеся своим многолюдием и великолепием, но нигде не доводилось ему видеть такого количества изумительных художественных произведений, сосредоточенных на таком незначительном пространстве, как здесь.

«Если бы кто-нибудь из бессмертных, — думал он, — пожелал воздвигнуть дворец для обитателей Олимпа, достойный их величия и славы, он не мог бы создать лучшего и более соответствующего художественному вкусу, которым они нас одарили. И, конечно, он воздвиг бы его на берегу такого моря».

Оценивая опытным взором художника гармонию форм отдельных храмов и портиков, удачное расположение зданий и памятников, он говорил себе, глубоко вздыхая, что его искусство — лучшее из искусств, а постройки — благороднейшее развлечение царей.

Без сомнения, так же думали властители, стремившиеся в течение трёх столетий создать вокруг своих дворцов окружение, которое соответствовало бы их величию и богатству, выражало бы их почтение к богам и любовь к прекрасному. Ни один царский род на земле не мог бы похвалиться более пышным жилищем. Так думал архитектор, любясь раскинувшейся перед ним картиной, где плоды неистощимой изобретательности и искусства людей представали в полном блеске на фоне тёмно-лазурного моря и неба, под яркими лучами солнца.

Ожидание, которое было бы невыносимо для занятого человека в другом месте и в другое время, здесь превращалось в удовольствие. Лучи солнца сверкали ослепительным блеском на белых мраморных колоннах храмов и портиков, играли на полированном граните обелисков и гладких стенах из белого, жёлтого и зелёного мрамора, сиенита[4] и тёмного пятнистого порфира[5]. Казалось, они готовы были растопить пёструю мозаику, одевавшую каждый фут почвы всюду, где не было дороги или деревьев, и бессильно отражались от сверкающего металла и блестящей глазури пёстрых черепиц на крышах дворцов и храмов. Здесь они искрились на металлических украшениях, там утопали в сиянии позолоченного купола, придавая ослепительный блеск изумруда зелёной бронзе. Они превращали в коралл и ляпис-лазурь части храмов, окрашенные в красный и голубой цвет, в топаз — их позолоченные украшения. Картины из мозаики на площадях и внутренних стенах колоннад вызначивались особенно рельефно на светлом фоне мраморных масс, которые в свою очередь, чередуясь с картинами, радовали глаз своим разнообразием.

Как усиливались в лучах полуденного солнца пышные краски флагов и вымпелов, развевавшихся над триумфальными арками, над воротами храмов и дворцов, подле обелисков и египетских пилонов! Но даже драгоценная голубая ткань флагов, украшавших дворец детей Клеопатры на Лохиаде[6], не могла соперничать с лазурью моря, окаймлявшего берег тёмно-синей рамкой, тогда как дальше тёмные и светлые зелёные полосы пробегали по голубой поверхности.

Предаваясь созерцанию этой картины, Горгий, однако, не забыл о цели своего прихода сюда.

Нет, сад Дидима — явно не подходящее место для последнего творения его друга.

Ещё раз взглянув на высокие платаны, сикоморы и мимозы, окружавшие приют старого учёного, он вдруг услышал шум, доносившийся снизу: народ стремился к дому Дидима, как будто там произошло нечто необычайное.

Что нужно людям от скромного учёного?

Обернувшись, он услышал чей-то весёлый голос, окликнувший его снизу.

Странная процессия приближалась к храму. Впереди небольшого отряда вооружённых людей шёл невысокий коренастый человек с двойным лавровым венком на большой косматой голове. Он оживлённо разговаривал с каким-то молодым человеком. Перед ступенями храма они приостановились и поздоровались с архитектором, который ответил несколькими дружескими словами. Увенчанный лаврами хотел, по-видимому, подняться к Горгию, но спутник остановил его, и тот, после непродолжительного колебания, пожал молодому человеку руку, гордо вскинул голову и, раздуваясь, как павлин, отправился дальше со своей свитой.

Молодой человек, подошедший к Горгию, слегка поморщившись, посмотрел вслед удалявшейся процессии, потом спросил архитектора, о чём он молит богиню.

— О твоём приходе, — весело отвечал тот.

— Ну, значит, Исида к тебе милостива! — И мгновение спустя друзья пожимали друг другу руки.

Они были одинакового сложения и роста, их можно было даже принять за братьев, если бы черты лица архитектора не были грубее и резче, чем у его собеседника, которого он называл Дионом и своим другом.

Когда Дион с насмешкой заговорил о своём увенчанном спутнике, Анаксеноре, знаменитом исполнителе на цитре, которому Антоний подарил доходы с четырёх городов и позволил держать стражу, Горгий то вторил ему, то сдерживал благоразумными замечаниями. Этот разговор ясно показал глубокое различие в характерах двух сверстников.

Оба проявляли самоуверенность, несвойственную их возрасту; но самоуверенность Горгия была результатом работы и личных заслуг, тогда как у Диона она проистекала из обеспеченного и независимого положения. Человек, незнакомый с деятельностью Диона в городском совете, где он не раз разрешал дела в известном направлении силой своих тщательно подготовленных речей, принял бы его за беззаботного гуляку, каких немало было в Александрии в эту блестящую эпоху, тогда как в Горгии всё, от блеска глаз до грубых кожаных сандалий, говорило о его серьёзности и деловитости.

Они стали друзьями с тех пор, как Горгий выстроил Диону новый дворец. Продолжительные деловые отношения сближают людей, если не ограничиваются только предписанием и исполнением. В данном случае заказчик только высказывал желания и давал указания, а художник превратился в искреннего друга, вложившего душу в осуществление того, что лишь смутно рисовалось первому. Таким образом, они сделались мало-помалу необходимы друг другу. Архитектор открыл в богатом молодом щёголе многое, о чём раньше не подозревал, а тот, со своей стороны, был приятно удивлён, найдя в серьёзном и степенном художнике хорошего товарища, отнюдь не лишённого слабостей, что, впрочем, только усиливало их дружбу.

После того как дворец, получивший много похвал как одно из лучших украшений столицы, был окончен к удовольствию Диона, дружба молодых людей приняла новый характер, и трудно было бы решить, с чьей стороны она была сильнее.

Исполнитель на цитре остановил Диона с целью услышать от него подтверждение известия о великой победе, будто бы одержанной соединённым флотом Антония и Клеопатры.

В канопском трактире, где он завтракал, эта весть возбудила общую радость, и немало вина было выпито за здоровье победителей и за погибель их коварного соперника.

— Меня теперь считают всеведущим не только олухи вроде Анаксенора, но и многие разумные люди, — говорил Дион. — А почему? Да потому что я племянник хранителя печати Зенона, который сам в отчаянии от того, что ничего не знает, то есть буквально ничего...

— Однако же Зенон — ближайшее лицо к регенту, — заметил Горгий, — так кому же и знать, как не ему, о судьбе флота?

— И ты туда же! — вздохнул его собеседник. — Если бы я так же часто поднимался на крыши и стены зданий, как ты, архитектор, от меня бы не ускользнуло, откуда дует ветер. А дует он с юга вот уже две недели и задерживает корабли, идущие с севера. Регент ничего не знает, решительно ничего, и дядя, разумеется, тоже. А если бы и знали что-нибудь, так они слишком благоразумны, чтобы делиться со мной своими сведениями.

— Положим, ходят и другие слухи, — задумчиво сказал Горгий. — Если бы я был на месте Мардиона...

— Благодарю олимпийцев, что этого с тобой не случилось, — засмеялся Дион. — У него теперь хлопот по уши. А важнейшая... этот молокосос Антилл вчера брякнул у Барины... Бедняга! Дома ему, наверное, досталось за это.

— Ты намекаешь на его замечание по поводу присутствия Клеопатры на флоте?

— Тсс... — произнёс Дион, приложив палец к губам.

Толпа мужчин и женщин поднималась по лестнице. Многие несли цветы и хлебы, у большинства лица были оживлены выражением набожной благодарности. До них тоже дошла весть о победе, и они хотели принести жертву богине, которую Клеопатра, «Новая Исида», почитала более всех других.

Храм ожил. Послышались звуки сistr и бормочущие голоса жрецов. Тихий портик небольшого алтаря богини, который здесь, в греческой части города, привлекал мало посетителей в противоположность огромному, всегда переполненному народом храму Исиды в Ракотиде[7], был теперь крайне неудобным местом для беседы людей, приближённых к правителям государства. Замечание Антиллы, девятнадцатилетнего сына Антония, насчёт Клеопатры, высказанное им вчера на вечере у Барины, красивой молодой женщины, в доме которой собирались все знаменитые представители мужского общества Александрии, было тем более неблагоприятно, что совпадало с мнением здравомыслящих людей. Легкомысленный юноша обожал своего отца, но Клеопатра — возлюбленная, а в глазах египтян жена Антония — не была его матерью. Он родился от Фульвии, первой жены Антония, был римлянином в душе и предпочёл бы берега Тибра Александрии. К тому же всем было известно — и преданнейшие друзья его отца отнюдь не скрывали этого, — что присутствие царицы в войске мешало Антонию и могло неблагоприятно повлиять на настроение смелого полководца. Всё это Антилл высказал с унаследованной от отца неблагоприятной откровенностью, и притом в такой форме, которая могла только содействовать скорейшему распространению его слов.

Собравшиеся в храме Исиды, вероятно, ещё не слышали об этой сплетне, но здесь могли оказаться люди, знавшие Цезариона. Поэтому Горгий нашёл более удобным подождать его у подножия лестницы. Итак, он спустился со своим другом вниз, с трудом пробираясь сквозь толпы людей, стремившихся в храм и к дому учёного Дидима.

Им хотелось узнать, не распространился ли слух о намерении регента и Зенона отобрать у Дидима сад, чтобы воздвигнуть на его месте статую. Первые же вопросы показали, что об этом действительно уже всем известно. Говорили даже, будто дом учёного будет разрушен и притом в несколько часов. Это возбуждало общее негодование, и только какой-то долговязый детина старался оправдать неблагоприятное решение правителей.

Друзья хорошо знали этого человека. То был сириец Филострат, краснобай и крикун, защищавший худшие предприятия в угоду тому, кто больше заплатит.

— Теперь этот мошенник состоит на службе у моего дяди, — заметил Дион. — Он-то и посоветовал поставить статую в этом месте. Тут у него какие-то тайные цели. И надо же им было подкупить именно Филострата. Может быть, это имеет какое-нибудь отношение к Барине: ведь Филострат был её мужем, а затем отказался от неё.

— Отказался! — повторил Горгий. — Подходящее выражение! Да, конечно, отказался, но, чтобы побудить его к этому, бедняжке пришлось пожертвовать доброй половиной своего состояния, которое её отец нажил кистью. Ты знаешь не хуже меня, что жизнь Барины с этим негодяем была просто невыносимой.

— Совершенно верно, — равнодушно отвечал Дион. — С тех пор как вся Александрия растаяла от восторга, слушая её пение на празднике Адониса[8], ей не нужен столь жалкий спутник.

— Как ты можешь бросать тень на женщину, которую не далее как вчера называл безупречной, прекрасной, единственной...

— Боюсь, что свет, исходящий от неё, слепит твои глаза. А я-то знаю, как они чувствительны.

— Так пощади же их, а не раздражай. Впрочем, твоё предположение имеет некоторое основание. Барина — внучка учёного, у которого хотят отнять сад, и её бывший муж не прочь устроить эту пакость. Но я расстрою его игру. Моё дело выбрать место для статуи...

— Твоё? — перебил Дион. — Да, если кое-кто посильнее тебя не вмешается в это дело. Я бы, пожалуй, отговорил дядю, но тут и кроме него заинтересованы разные лица. Царица сильна, но и приказаниями Иры нельзя пренебрегать, а она говорила мне сегодня утром, что у неё свои соображения насчёт места для статуи.

— В таком случае, — воскликнул архитектор, — Филострат явился на сцену по твоей милости!

— По моей? — переспросил Дион с удивлением.

— Конечно, по твоей! Ты сам мне рассказывал, что Ира, подруга твоего детства, в последнее время доняла тебя шпионством, выслеживая каждый твой шаг. Ну а затем... Ты усердный посетитель Барины, которая явно предпочитает тебя всем нам, что легко могло дойти до ушей Иры.

— У Аргуса[9] сотня, у ревности тысяча глаз, — перебил его друг, — а между тем всё, что меня привлекает в Барине, это возможность приятно провести час-другой вечером, в свободное время. Всё равно. Предположим, что Ира слышала о предпочтении, оказываемом мне Бариной. Ира сама равнодушна ко мне и потому подкупает Филострата. Подкупает для того, чтобы сделать гадость той, что стоит между мной и ею, или старику, имеющему счастье или несчастье быть дедом её соперницы. Нет, нет! Это было бы слишком, слишком низко! И, поверь мне, если бы Ира хотела погубить Барину, то не стала бы действовать так подло. Притом она не злая. А впрочем, пожалуй... Я ведь знаю о ней только то, что она пользуется любыми средствами, когда нужно чего-нибудь добиться для царицы, а ещё, что с ней не соскучишься. Да, Ира, Ира... Мне нравится это имя. А всё-таки я её не люблю, она же любит только себя и ещё больше свою госпожу, что немногие могут сказать о себе. Что для неё весь мир? Что значу я в сравнении с царицей, кумиром её сердца? С тех пор как та уехала, она бродит словно покинутая Ариадна[10] или лань, отбившаяся от матки. Царица доверяет ей, как сестре, как дочери. Никто не знает, какую, собственно, роль играют во дворце Ира и Хармиона. Называются они служанками, на самом же деле они скорее подруги царицы. Уезжая и оставляя здесь Иру — у неё была лихорадка, — Клеопатра поручила ей надзор за детьми, между прочим, и за такими, у которых уже пробивается борода: за «царём царей» Цезарионом, которого управляющий дворца колотит скипетром за малейшую провинность, и за Антиллом, забравшимся вчера к нашей приятельнице.

— Ведь это сам Антоний, его отец, познакомил их.

— Правда твоя, а Антилл познакомил с ней Цезариона. Это не нравится Ире, как и всё, что может огорчить царицу. Так что Барина неприятна ей, во-первых, из-за Клеопатры, во-вторых, быть может, из-за меня. Итак, она устроит старику, деду Барины, каверзу, которую внучка примет близко к сердцу, и по своей избалованности и неосторожности не удержится от какой-нибудь глупости, за которую её можно будет притянуть к ответу. Вряд ли Ира замышляет что-нибудь против её жизни, скорее, она рассчитывает на изгнание или на что-то в этом роде.

— Хотя я сам натолкнул тебя на эту мысль, но всё-таки не решаюсь заподозрить её в такой низкой

интриге, — недоверчиво заметил Горгий.

— А я разве подозреваю! — воскликнул Дион. — Я переносюсь мысленно ко двору и стараюсь понять душу женщины, способной там менять погоду по своему усмотрению. Ты округляешь колонны и обтёсываешь балки, чтобы укрепить на них крышу, которой займёшься в своё время. Она же и все, кто вертится при дворе, прежде всего строят крышу, а потом уже стараются поднять её и укрепить. При этом могут оказаться и трупы, загубленные жизни, разбитые сердца. Во всяком случае крыша останется на месте до тех пор, пока главный смотритель построек — Клеопатра — будет находить её красивой. Остальное... Но я вижу повозку. Это он... Ты хотел... — Тут он остановился, схватил за руку своего собеседника и быстро прошептал: — Ира замешана в этом деле, и не об Антилле, а об этом ханже она хлопочет. Когда мы говорили о статуе, она тут же спросила, видел ли я его третьего дня вечером; а как раз в тот вечер я его встретил у Барины. В неё-то и метит Ира. Чтобы поймать мышь, нужно открыть мышеловку, вот Ира и собирается сделать это своей маленькой ручкой.

— Если только ей не помогает какая-нибудь мужская рука, — прибавил архитектор и обернулся к повозке и к пожилому человеку, направлявшемуся в их сторону.

//

Дион хотел скромно удалиться, когда спутник Цезариона подошёл к ним и поздоровался. Но тот удержал его. Это был крупный, широкоплечий мужчина мощного сложения; в его голосе и плавных, размеренных жестах чувствовалось какое-то спокойствие. Ему было около сорока пяти лет, но с виду он казался старше из-за огромной седой головы и в особенности из-за степенных манер.

— Молодой государь, — сказал он глубоким, звучным голосом, указывая на повозку, — хотел бы переговорить с тобой лично, Горгий, но я отсоветовал ему показываться на народе. Он явился сюда в закрытой повозке. Сделай одолжение, подойди и выслушай его, а я побуду здесь. Странные дела творятся!.. Да что это? Или я ошибаюсь? Неужели эта громадина, которую там тащат, статуя царицы и её друга? Это ты, Горгий, выбрал для неё место?

— Нет, — отвечал архитектор решительно. — Да и распоряжение о перевозке статуи отдано без моего ведома и против моей воли.

— Так я и думал, — заметил его собеседник. — Цезарион хочет поговорить с тобой именно об этой статуе. Если ты можешь помешать её установке на земле Дидима, тем лучше. Я со своей стороны готов оказать тебе содействие, но в отсутствие царицы моё влияние невелико.

— А о моём и говорить не стоит, — подхватил архитектор. — Кто нынче может предсказать, будет завтра ясно или пасмурно? Скажу одно: я со своей стороны сделаю всё, чтобы помешать посягательству на право почтенного гражданина, нарушению законов нашего города и оскорблению хорошего вкуса.

— Скажи это царевичу, только осторожно, — заметил Архибий, видя, что архитектор направляется к повозке.

Когда он остался наедине с Дионом, тот спросил его о причинах суматохи на улице. Он разделял общее уважение всего александрийского общества к Архибию и знал о его отношениях с владельцем сада и его внучкой Бариной, поэтому рассказал ему вполне откровенно о своих опасениях.

— Ира — твоя племянница, — прибавил он, — но ведь ты знаешь, у неё очень тонкий расчёт: подбросить неосторожному человеку золотое яблоко под ноги, а когда тот его поднимет, обвинить простака в воровстве.

Заметив вопросительный взгляд Архибия при этом сравнении, он продолжал более серьёзным тоном:

— Зевс велик, но и над ним властвует судьба! Мой дядя Зенон пользуется большим влиянием при дворе, но когда Ира и твоя сестра Хармиона, которая, к несчастью, уехала с царицей, вздумают сделать что-нибудь по-своему, он живо уступает, так же как и регент Мардион. Чем пленительнее Клеопатра, тем больше дорожат местами при ней, и уж во всяком случае гораздо больше, чем такими безделицами, как закон и право.

— Твой отзыв чересчур резок, — перебил Архибий, — и мне горько его слышать, так как в нём много правды. Наш двор разделяет участь всех восточных дворов, и тот, кому в былое время Рим подавал пример уважения к святости закона и права...

— Может отправиться туда, — подхватил Дион, — и посмотреть, как там попирают и то и другое. Здешние и тамошние правители могут усмехаться, как авгуры [\[11\]](#), глядя друг на друга. Это одного поля ягоды!..

— С той разницей, что у нас во главе государства стоит сама красота и прелесть, а в Риме — нечто совершенно противоположное: дикая грубость, жестокое высокомерие или отвратительная подлость.

Тут он остановился и указал на шумную толпу, приближавшуюся к ним. Но Дион ответил ему:

— Ты прав, мы продолжим этот разговор в доме прекрасной Барины. Только я редко встречаю тебя у неё, а между тем ты хорошо знал её отца, да и у неё всегда можно услышать что-нибудь интересное. Мы с ней друзья. В моём возрасте эти слова можно понять в смысле «любовники». Но в данном случае ничего подобного нет. Ты мне поверишь, надеюсь, ты сам можешь назваться другом обольстительнейшей из женщин.

Горькая улыбка мелькнула на суровом лице Архибия; он сделал движение рукой, точно отмахиваясь, и сказал:

— Я вырос вместе с Клеопатрой, но простой смертный может любить царицу только как божество. Я охотно верю в твою дружбу с Бариной, но считаю её опасной.

— Если ты хочешь сказать, — возразил Дион, всем своим видом желая показать, что не нуждается в предостережениях своего собеседника, — что она может навредить этой обворожительной женщине, то, пожалуй, ты прав. Но прошу тебя, не придавай моим словам другой смысл. Я не так тщеславен, чтобы воображать, будто могу нанести чувствительный удар её сердцу. Беда в том, что многие не могут простить Барине её обаяния, которое испытываю и я, и все мы. Понятно, если много мужчин посещает её дом, то найдётся много женщин, которые были бы рады закрыть его двери. К их числу принадлежит Ира. Она злится на мою подругу, и я даже боюсь, что вся эта история и есть то самое яблоко, подброшенное для того, чтобы если не погубить, то по крайней мере удалить Барину из города, прежде чем царица — да pošлют ей боги победу! — вернётся. Ты знаешь Иру: она же твоя племянница. Как и сестра твоя Хармиона, она не остановится ни перед чем, если нужно избавить Клеопатру от неприятности или огорчения, а царице вряд ли будет приятно узнать, что оба мальчика, Антилл и Цезарион, судьбу которых она принимает так близко к сердцу, посещают Барину, как бы ни была безупречна её репутация.

— Я слышал об этом, — сказал Архибий, — и меня это тоже беспокоит. Сын Антония унаследовал от отца ненасытную жажду наслаждений. Но Цезарион! Он ещё не расстался с детскими грёзами. Что другие едва замечают, его задевает за живое. Боюсь, что Эрос^[12] точит для него опасные стрелы. Разговаривая с ним в последний раз, я нашёл, что он сильно изменился. Глаза его сверкали, как у пьяного, когда он говорил о Барине. Боюсь, боюсь...

— Вот оно что! — воскликнул Дион с изумлением, почти с испугом. — Ну если так, то Ира не совсем не права, и нам нужно иначе повернуть это дело. Прежде всего не следует упоминать о том, что Цезарион вмешался в историю с Дидимом. Никто не удивится, что мы желаем сохранить за стариком его собственность; я беру это на себя и постараюсь уговорить Филострата, — посмотри, как этот шут усердствует на службе у Иры. Что касается Барины, то хорошо бы убедить её добровольно уехать из Александрии, если уж её положение так щекотливо. Возьми-ка это на себя. Если я вздумаю предложить ей уехать, я, который не далее как вчера... Нет, нет! Она и без того слышала, что Ира и я... Бог знает, что ей причудится. Ты знаешь, что такое ревность! Тебя же она послушается и уедет куда-нибудь недалеко. Если сердце мечтательного мальчика не на шутку затронато, это может привести к самым печальным последствиям. Мы должны обезопасить Барину от него. В моё имение у Себеннита она не может уехать. Найдутся злые языки, пойдут сплетни! Твоя канопская вилла слишком близко отсюда, но у тебя есть, если не ошибаюсь...

— Моё имение на морском берегу достаточно далеко и может служить ей приютом, — кивнул Архибий. — Дом всегда готов на случай моего приезда. Хорошо, я попытаюсь уговорить её; твой совет

разумен. Надо её удалить с глаз Цезариона!

— А я, — продолжал Дион, — зайду завтра утром узнать о результатах твоей попытки, или даже сегодня вечером. В случае успеха я скажу Ире, что Барина уехала в Верхний Египет лечиться молоком. Ира благоразумна и рада будет прекратить эти дрязги в такую минуту, когда решается судьба Клеопатры и мира.

— Я тоже постоянно переносюсь в мыслях к войску, — сказал Архивий. — Как всё ничтожно в сравнении с решением, которое мы ожидаем на днях. Но жизнь слагается из мелочей. Они нас кормят, поят и согревают! Если Клеопатра вернётся победительницей и узнает, что Цезарион на ложном пути...

— Надо ему преградить этот путь! — воскликнул Дион.

— Ты боишься, что он последует за Бариной? — спросил Архивий и слегка покачал головой. — Я думаю, что этого нам нечего опасаться. Он, конечно, был бы не прочь, но между желанием и исполнением у него огромное расстояние. Вот Антилл... ну, этот другого закала! Антилл способен отправиться за ней верхом или на лодке хоть до Водопадов, так что нам придётся держать в строжайшем секрете место добровольного изгнания Барины.

— Вот только уедет ли она, — сказал Дион с лёгким вздохом. — Она точно цепями прикована к этому городу.

— Знаю, — подтвердил Архивий, но тут Дион указал на повозку и быстро проговорил: — Горгий зовёт тебя. Пстой, сделай же всё, что можешь, чтобы уговорить Барину. Ей угрожает серьёзная опасность. Не скрывай от неё ничего и скажи ей, что друзья не долго оставят её в одиночестве.

Архивий молча погрозил юноше и направился вместе с ним к повозке.

Правильное, но бледное лицо Цезариона, как две капли воды напоминавшее черты его отца — великого Цезаря, смотрело на них из окна. Когда они приблизились, Цезарион приветствовал их лёгким наклоном головы и благосклонным взглядом. Минуту назад, когда он увидел старого друга, этот взгляд оживился юношеским блеском, но перед посторонним он желал казаться царём, хотел дать почувствовать своё высокое положение, тем более что недолюбливал Диона. Он знал, что тот пользуется предпочтением женщины, которую Цезарион любил — так^по крайней мере, ему казалось — и обладание которой было предсказано тайной египетской мудростью.

Благодаря Антиллу, сыну Антония, он познакомился с Бариной и был ею принят с почтением, подобающим его сану. Но юношеская робость до сих пор мешала признаться в любви этой женщине, окружённой зрелыми и выдающимися людьми. Только выразительные, с влажным блеском глаза слишком ясно говорили о его чувствах. И они не остались незамеченными. Недавно какая-то египтянка остановила его подле храма Цезаря, куда он отправлялся ежедневно молиться, приносить жертвы, орошать маслом камень алтаря, согласно установленному порядку, определявшему каждый шаг его жизни.

Он тотчас узнал рабыню, которую видел в атриуме Барины, и приказал свите отойти в сторону.

К счастью, управляющий царского дворца Родон на этот раз не счёл нужным сопровождать его. Это придало ему смелости. Цезарион последовал за рабыней и увидел в тени мимоз, окружавших храм, носилки Барины. С бьющимся сердцем, полный трепетного ожидания, он подошёл к ним, повинувшись её знаку. Правда, его удостоили только одной милости: исполнить её желание. Но всё же сердце готово было разорваться, когда, опершись своей белой ручкой на дверцу носилок, Барина объясняла ему, что он замешан в деле о конфискации сада её деда Дидима и что ему, «царю царей», следует воспрепятствовать такой несправедливости.

Трудно было уловить смысл её речи, слова отдавались в его ушах, точно он стоял не в тихой рощице

подле храма, а на утёсе Лохиады в бурную погоду, среди шумящего прибоя. Цезарион не осмелился поднять глаза и взглянуть ей в лицо. Только после того как она спросила, можно ли рассчитывать на его помощь, их взгляды встретились. Чего только не прочёл он в голубых молящих глазах, — и какой несказанно прекрасной она показалась ему.

Как одурманенный, стоял он перед ней и помнил только, что, приложив руку к сердцу, обещал сделать всё, чтобы избавить её от печали. Тогда маленькая ручка со сверкающими кольцами ещё раз потянулась к нему, и на этот раз он решился поцеловать её, но пока оглядывался на свиту, Барина успела сделать знак рабам и носилки тронулись прочь.

И вот он стоял — как человек на старинной вазе его матери, с отчаянием смотрящий вслед улетающему счастью, — проклиная несчастную нерешительность, причинившую ему столько зла. Но не всё ещё потеряно. Если ему удастся исполнить её желание, заслужить её благодарность, то тогда...

Цезарион стал думать, к кому бы обратиться. К регенту Мардиону или хранителю печати? Нет! Они-то ведь и решили поставить статую в саду Дидима. К Ире, поверенной в тайнах его матери? Ни в коем случае! Хитрая девушка выведаёт от него всё и перескажет регенту. Вот если бы Хармиона была здесь... но она отправилась с флотом, который теперь, быть может, уже вступил в сражение.

При воспоминании об этом он опустил глаза, так как ему не позволили занять подобающее место в войске, тогда как мать и Хармиона... Но Цезарион недолго предавался этим тягостным мыслям: в нём проснулись угрызения совести, от которых кровь прихлынула к его лицу... Он считает себя мужем, а между тем в такое время, в такие дни, когда решается судьба его матери, его родного города, Египта и Рима — того самого Рима, который он, единственный сын Цезаря, привык считать своим наследием, — в такие дни он думает только о красавице, проводит бессонные ночи, мечтая овладеть ею и забывая о том, что должно было бы всецело владеть его мыслями.

Не далее как вчера Ира резко заметила ему, что в такие дни каждый друг царицы, каждый враг её врагов должен быть при войске, по крайней мере в своих помыслах.

Он подумал об этих словах, но это воспоминание только напомнило ему о дяде Иры, Архибии, который имел большое влияние не только из-за своего богатства, но и благодаря всем известной дружбе с Клеопатрой. К тому же этот мудрый, здравомыслящий человек всегда хорошо относился к Цезариону. Поэтому последний решил обратиться к нему и к архитектору Горгию, с которым познакомился при перестройке дворца на Лохиаде, причём архитектор произвёл на него очень хорошее впечатление.

Решившись на это, он немедленно отправил человека из свиты к Горгию с табличками, в которых приглашал его явиться для переговоров к храму Исиды.

Около полудня Цезарион тайно отправился в лодке в небольшой дворец Архибия на берегу моря; а теперь, когда Архибий и Горгий стояли перед ним, объявил, что сам отправится к Дидиму с архитектором и защитит учёного от несправедливости.

Это было во всех отношениях неудобно, и Архибию пришлось пустить в ход всё своё красноречие, чтобы отговорить царевича. Народ может узнать его в то время, как он выступит против регента, а это навлечёт на него самые серьёзные неприятности. Но уступить и покориться было на этот раз особенно тяжело для юного «царя царей». Ему так хотелось казаться мужчиной перед Дионом! Наконец, убедившись, что это невозможно, он постарался соблюсти хоть внешний вид достоинства, заявив, что уступает настояниям Архибия только из опасения навлечь неприятности на старого учёного и его внучку. Затем он ещё раз просил архитектора сделать всё, что возможно, для Дидима. Когда наконец он удалился вместе с Архибием, начинало уже смеркаться и перед храмом и небольшим мавзолеем, примыкавшим к целле [\[13\]](#), зажглись факелы, а на площади сковороды с варом.

III

— Дело-то плохо, — сказал архитектор, глядя вслед удаляющейся повозке и покачивая головой.

— Да и там, внизу, не лучше, — прибавил Дион, — Филострат, кажется, убедил толпу...

— Неужели, — воскликнул архитектор, — Барина была женой, почти служанкой этого негодяя! Как могло такое случиться...

— Она была почти ребёнком, когда их обвенчали, — перебил Дион. — Разве у нас справляются о желании пятнадцатилетней девушки, когда выбирают ей супруга? А Филострат — мы с ним вместе учились в Родосе — подавал тогда большие надежды. Его брат Алексас, любимец Антония, мог оказать ему покровительство. Отец Барины умер, мать привыкла слушаться Дидима во всём, что касалось его внуки, и ловкий сириец сумел пустить пыль в глаза старику. Ведь он и теперь выглядит недурно. Как оратор он имел успех. Это вскружило ему голову и заставило пуститься во все тяжкие. Чтобы купить красавице-невесте хорошую обстановку, он взялся за нечистое дело взяточника Пирра и выиграл его.

— Он подкупил дюжину лжесвидетелей.

— Целых шестнадцать. За ними последовали многие другие. Однако пора его уговорить. Ты ступай в дом и успокой старика и Барину, если она там. Если встретишь посланника от регента, скажи ему о незаконности этого неслыханного решения. Ты ведь знаешь законы, на которые можно сослаться в пользу старика.

— Со времени Эвергета II [\[14\]](#) зарегистрированные земельные участки являются неприкосновенными, а участок Дидима был зарегистрирован.

— Тем лучше. Да намекни послу, что, насколько тебе известно, регент может изменить своё решение.

— Я же сошлюсь на своё право выбирать место для статуи. Сама царица приказала учитывать моё мнение в этом вопросе.

— Это самое главное. Тогда до свидания. К Барине лучше не ходи сегодня вечером. Если увидишь её, скажи, что Архибий собирался её навестить; я после скажу тебе зачем. Потом я отправлюсь к Ире и попытаюсь уговорить её. О желании Цезариона лучше не упоминать.

С этими словами Дион пожал архитектору руку и направился к толпе, окружавшей высокий пьедестал на полозьях, на котором привезли тщательно закутанную статую.

Ворота в доме учёного были открыты, так как посланник регента действительно явился к нему некоторое время тому назад. Скифская стража, присланная приятелем Барины, экзегетом [\[15\]](#) Деметрием, удерживала наплыв любопытных.

Архитектор был знаком с начальником стражи и скоро стоял возле имплевия [\[16\]](#), посреди которого бил небольшой фонтан, орошавший влажной моросью круглую клумбу с цветами. Старик-невольник только что зажёл лампы на высоких подставках.

Когда архитектор вошёл в дом, там уже собрались чиновники, писцы, понятые — всего человек двадцать с казначеем Аполлоном во главе.

Раб, проводивший Горгия, сообщил ему об этом.

В атриуме [\[17\]](#) его остановила девушка, принадлежавшая, по-видимому, к семье учёного. Он не

ошибся, подумав, что это Елена, младшая внучка Дидима, о которой говорила ему Барина. Правда, она была не похожа на сестру. Вместо светлых кудрей Барины головку девушки обвивала густая гладкая, чёрная как смоль коса. В особенности поразил архитектора глубокий, низкий голос, выдававший внутреннее волнение, когда она обратилась к нему с вопросом, в котором слышался лёгкий упрек:

— Ещё какое-нибудь требование?

Он прежде всего удостоверился, что говорит действительно с Еленой, сестрой его приятельницы, а затем сообщил ей, кто он и зачем явился.

Первое впечатление, которое она произвела на него, не было благоприятным. Лёгкая складка на лбу, показавшемся ему слишком высоким для женщины, обнаруживала недружелюбное настроение, а красивый рот обличал страстный характер и придавал её безукоризненно правильному лицу строгое, даже жёсткое выражение. Но услышав, что он пришёл защитить её деда, она глубоко вздохнула и, приложив руку к груди, воскликнула:

— О, сделай всё, чтобы помешать этому ужасному решению. Никто не знает, как дорожит старик этим домом! А бабушка! Они умрут, если у них отнимут его!

Её большие глаза глядели на него с жаркой мольбой, а в глубоком голосе звучала искренняя любовь к семье.

Архитектор должен был помочь им и от всей души желал этого. Он сказал ей об этом, и она отнеслась к нему как к помощнику в трудную минуту и с трогательным чистосердечием просила его сказать деду, за которым собиралась сходить, что не всё ещё потеряно.

Архитектор с удивлением спросил, неужели Дидим ещё ничего не знает.

— Он работает в беседке у моря, — быстро отвечала она. — Аполлоний — добрый человек и согласился подождать, пока я подготовлю деда. Но мне следует поспешить. Дед уже раз десять присылал сюда Филотаса, своего ученика, узнать, что здесь за шум; но я велела ему сказать, что народ стремится в гавань узнать новости о царице. Тут не раз поднимались крики, но дед ни на что не обращает внимания, когда сидит за работой, а Филотас — молодой ученик из Амфиссы^[18] — любит его и слушается меня. Бабушка тоже ничего не знает. Она глуха, а рабыням запрещено рассказывать, что происходит. Внезапный испуг может повредить ей, так сказал доктор. Только бы мне не слишком огорчить деда!

— Хочешь, я провожу тебя? — дружески спросил архитектор.

— Нет, — отвечала она. — Он не сразу поверит чужому человеку. Только когда Аполлоний сообщит ему обо всём, постарайся утешить, если увидишь, что он будет очень огорчён, и скажи, что есть друзья, которые заступятся за него.

Тут она благодарно кивнула ему головой и поспешно направилась в сад через боковую дверь.

Архитектор смотрел ей вслед, тяжело дыша, с блестящими глазами. Как добра эта девушка, как заботится о своей семье! Как разумно поступает это юное существо! Он видел её при недостаточном освещении, но она должна быть очень хороша собой. Во всяком случае у неё прекрасные глаза, губы и волосы. Сердце его забилось быстрее, и он спросил себя, не лучше ли эта девушка, одарённая всем, что составляет истинное достоинство женщины, своей сестры Барины, хотя та, бесспорно, привлекательнее? Хорошо, что его подбородок и щёки были закрыты бородой, потому что Горгий, зрелый, степенный муж, покраснел при этой мысли. И знал почему. Всего полчаса тому назад он думал и говорил Диону, что считает Барину обворожительнейшей из всех женщин, а теперь новый образ оттеснил прежний и наполнил его новым, быть может, сильнеешим чувством.

Это случилось с ним не в первый раз, и его друзья, в том числе и Дион, подметили эту слабость и

отравили ему немало весёлых часов своими насмешками. Немало белокурых и смуглых, высоких и маленьких красавиц воспаляли его сердце, и всякий раз ему казалось, что именно ту, которой подарил свою быстро вспыхнувшую привязанность, он должен назвать своей, чтобы стать счастливым. Но, прежде чем доходило дело до чего-нибудь решительного, возникал вопрос, не нравится ли ему ещё больше другая. В конце концов она начал думать, что его сердце не может принадлежать какой-нибудь одной женщине, а только всему слабому полу, поскольку он молод и прекрасен. Правда, он чувствовал себя способным сохранить верность, так как отличался постоянством и готовностью на всякие жертвы в отношениях к друзьям, но с женщинами дело обстояло иначе. Неужели и образ Елены, показавшийся ему таким необыкновенным, скоро побледнеет? Это было бы удивительно, а всё-таки он был уверен, что на этот раз Эрос ранил его не на шутку.

Всё это с быстротой молнии промелькнуло в его голове и взволновало его сердце, пока он проходил в имплювиум, где чиновники с нетерпением ожидали владельца дома. Горгий с обычной прямоотой и решительностью объяснил им, почему он надеется, что их поручение останется неисполненным, а казначей уверил его, что будет очень рад, если регент отменит своё распоряжение. Он охотно подождёт, пока внучка сообщит старику-учёному о грозящей ему несправедливости.

Впрочем, терпение его недолго подвергалось испытанию, потому что старик был предупреждён прежде, чем Елена успела дойти до его домика. Философ Евфранор, престарелый член Мусейона, пробрался к нему в сад и рассказал обо всём, не обратив внимания на предостерегающие жесты и взгляды Филотаса. Но Дидим знал своего коллегу, который, ведя такую же отшельническую жизнь, посвящал остаток своих дней и сил науке. Поэтому он только недоверчиво покачал головой и сердито воскликнул, как будто дело шло о самом незначительном происшествии: «Ну, что там ещё! Посмотрим!»

С этими словами он встал и хотел выйти из комнаты, забыв даже о сандалиях, стоявших на ковре, и верхней одежде, висевшей на полке с книгами, — до такой степени, несмотря на кажущееся спокойствие, был он взволнован неожиданным известием. Но его друг, молча следивший за ним, остановил его. В эту минуту вошла Елена.

Старый философ, смущённый недоверием своего друга, обратился к ней с просьбой убедить деда, что случаются иногда вещи, противоречащие нашим желаниям. Она осторожно сообщила ему обо всём, прибавив, что надеется на помощь архитектора.

Дидим опустил голову, потом выпрямился и, не обращая внимания на плащ, который Елена держала наготове, отворил дверь и вышел со словами: «Нет, этого не будет».

Евфранор и внучка последовали за ним; он же сгорбившись, но быстрыми и твёрдыми шагами прошёл через сад и, не реагируя на вопросы своих спутников, вошёл в имплювиум. Яркий свет ослепил его, и он не сразу освоился в толпе присутствующих. Казначей подошёл к нему, поздоровался очень почтительно и сказал, что ему неприятно отрывать учёного от работы, которую с нетерпением ожидает научный мир, но этого требуют важные обстоятельства.

— Слышал, слышал, — перебил старик с усмешкой. — В чём же, собственно, дело?

При этом он обвёл глазами присутствующих. Дидим не знал никого из них, кроме казначея, с которым имел дела по счетам Мусейона, и архитектора, для которого сочинил надпись к новому Одеону[19]. При виде незнакомых лиц уверенность, не покидавшая его до сих пор, поколебалась.

— Правда ли, что мой сад собираются превратить в публичную площадь? И для чего? Для того, чтобы поставить на его месте статую. Но об этом и речи быть не может, мой участок занесён в кадастр, а закон...

— Извини, что я тебя перебую, — возразил казначей. — Нам известны постановления, на которые ты ссылаешься, но здесь дело идёт об исключительном случае. Регент ничего не отнимет у тебя. Напротив, он

предлагает тебе от имени царицы вознаграждение, — размеры его ты сам определишь, — за участок земли, который будет почтён статуей высочайших представителей нашей вселенной Клеопатры и Антония. Её уже привезли сюда. Это произведение превосходного скульптора, слишком рано умершего Лизандра, без сомнения, может только украсить твоё жилище. Домик на берегу моря, к сожалению, придётся снести завтра же, так как царица может вернуться каждый день с победой, если бессмертные справедливы. Статуя, воздвигнутая в её честь, должна встретить её при самом въезде, вот почему регент послал меня к тебе объявить его желание, которое вместе с тем есть желание царицы...

— Впрочем, — перебил его архитектор, к которому внучка старика только что обратилась с новой мольбой о помощи, — твои друзья всё-таки постараются убедить регента выбрать для статуи другое место.

— Это их дело, — заметил казначей. — Что случится в будущем — нам не известно. Моя же обязанность просить достойного владельца этого дома и сада подчиниться приказу царицы, который я передаю в форме просьбы, согласно желанию регента.

Старик молча выслушал эту речь, устремив пристальный взгляд на казначея: итак, это правда. У него действительно хотят отнять его сад, его домик — приют для его работы и размышлений в течение полувека — ради какой-то статуи.

Убедившись в этом, он потупил взор, точно забыл обо всём, что его окружает. Невыносимая скорбь сковала ему язык.

Снаружи доносились крики и гул толпы, но старик, по-видимому, не слышал их и не замечал своей внучки. Однако, почувствовав её прикосновение, он поднял голову и обвёл взглядом присутствующих.

В тусклых глазах старого комментатора и энциклопедиста горел теперь огонь юношеской страсти, он смотрел как боец, готовый вступить за правое дело. Дряхлый застенчивый старец превратился в опасного соперника. Его губы и тонкие ноздри сжались, и, когда казначей, повысив голос, сказал, что ему следует сегодня же вынести вещи из домика в сад, так как завтра утром его снесут, Дидим поднял руку и воскликнул:

— Этого не будет! Я не вынесу ни единого свитка. Завтра утром, как и всегда, вы найдёте меня за работой и, если решитесь отнять у меня мою собственность, вам придётся употребить силу.

— Полно, достойный муж, — перебил его казначей. — Всем в подлунном мире приходится подчиняться высшей воле; над богами властвует судьба, над смертными — цари. Ты мудр и понимаешь, что я только исполняю свою обязанность! Но я знаю жизнь и, если позволишь, посоветую тебе подчиниться неизбежному. Ручаюсь, что ты не останешься в убытке, что царица даст тебе вознаграждение...

— Которого, — с горечью подхватил Дидим, — хватит, чтобы построить дворец на месте этого домика. Но, — вспыхнул он снова, — мне не нужны ваши деньги! Я не хочу уступать своё законом утверждённое право! За него я стою, и тот, кто осмелится посягнуть на мою собственность, которой владели мой отец и дед...

Тут он умолк, потому что на улице послышались восторженные крики; когда же они затихли и упрямый старик хотел продолжать свою речь, его перебил звонкий женский голос, обратившийся к нему с греческим приветствием «Радуйся!» и звучащий так весело и приветливо, что тяжёлое смущение, одевшее точно облаком лица присутствующих, почти рассеялось.

Пока одни прислушивались к гулу возбуждённой толпы, а другие смотрели на старика, упорство которого вряд ли можно было преодолеть, молодёжь уставилась на прекрасную женщину, только что вошедшую в комнату. Быстрая ходьба разгладила её щеки, обворожительное личико весело и

приветливо глядело на сестру, деда и архитектора из-под голубого шарфа, обвивавшего белокурую головку.

Казначею и многим его спутникам показалось, будто само счастье посетило этот печальный дом, и у многих лица прояснились, когда старик совершенно другим тоном, чем прежде, воскликнул: «Ты здесь, Барина?», а она, не обращая внимания на присутствующих, нежно расцеловала его в обе щеки.

Елена, архитектор и Евфранор подошли к ней, и последний с ласковым упрёком спросил:

— Сумасшедшая, как ты пробралась сюда сквозь эту ревущую толпу?

Она весело отвечала:

— Один учёный, член Мусейона, встречает меня вопросом, здесь ли я, хотя по милости дружелюбной или — как ты думаешь на этот счёт, дед? — враждебной судьбы я с детства была довольно заметной, другой укоряет за то, что я пробралась сквозь толпу, точно можно остановиться перед чем-либо, когда нужно помочь друзьям, которым приходится плохо. Но какой ужасный шум!

Она поднесла свои маленькие ручки к ушкам, прикрытым шарфом, и заговорила не прежде, чем шум утих, хотя и уверяла, что спешит и зашла только узнать, как дела.

Сестра и архитектор едва успевали отвечать на её торопливые вопросы. Когда же она узнала, зачем явились сюда посторонние, то поблагодарила казначея и поспешила уверить его, что старые друзья её деда постараются отвести от него эту напасть.

На настойчивые вопросы обоих стариков, как она добралась сюда, Барина отвечала:

— Вы, может быть, не поверите, так как я ни на минуту не умолкаю, но я поступила, как бессловесная рыба, и приплыла сюда по воде.

Затем она отвела деда в сторону и шёпотом сообщила ему, что Архибий встретился с ней в гавани, когда она собиралась сесть в лодку, и обещал зайти к ней вечером по важному делу. Ей нужно переговорить с глазу на глаз с этим почтенным человеком и потому она не может остаться. Затем она поинтересовалась, почему так шумит народ.

Архитектор отвечал, что Филострат старается убедить толпу, будто единственное подходящее место для статуи — сад Дидима, и прибавил, что знает, по чьему наущению тот действует.

— Во всяком случае не по наущению регента, — заверил казначей.

Барина, весёлое личико которой слегка затуманилось при упоминании имени оратора, ответила ему лёгким кивком и шепнула, что берётся переговорить со стариком, лишь бы ему дали время одуматься.

Завтра утром чиновники смогут исполнить свою обязанность, если регент не откажется от своего намерения. Она между тем постарается уговорить деда, хотя он и не из податливых. Казначей же со своей стороны может напомнить регенту, что в такое время следует избегать открытых столкновений и следовало бы уважить возраст и права Дидима.

Пока Аполлоний разговаривал со своими спутниками, Барина подозвала архитектора и простилась с родными. Ей, сказала она, не угрожает никакая опасность, тем более что и на этот раз она исчезнет беззвучно, как рыба, но прежде пустит в ход язык и поговорит с таким человеком, который давно бы уже защитил Дидима, если бы царица была здесь.

Всё это время глаза и уши всех присутствующих были обращены к ней. Всем хотелось любоваться и слушать её.

Лишь после её ухода чиновники удалились со своей свитой, чтобы ещё раз переговорить с регентом

по поводу этого малоприятного дела.

На этот раз Горгий неохотно следовал за молодой женщиной. Не далее как час тому назад он почёл бы за счастье сопровождать и охранять Барину, теперь же ему хотелось остаться с её сестрой, которая так благодарно и вместе с тем так скромно ответила на его прощальные слова. Но и для самых непостоянных людей заменить старую привязанность новой всё же не так легко, как чёрные фигуры на шахматной доске сменить на белые, так что ему и теперь было очень приятно находиться рядом с Бариной. Только мысль, что Елена может предположить, будто он находится в близких отношениях с её сестрой, несколько смущала архитектора.

В саду Барина попросила помочь ей взобраться по узкой лесенке на плоскую кровлю домика привратника. Отсюда они могли видеть всё, что происходило на площади, оставаясь незамеченными, так как вокруг домика росли густые лавры. Перед обоими храмами пылали сосуды со смолой, бросавшие на площадь яркий свет, который ещё усиливался благодаря факелам в руках скифской стражи. Но всё равно в толпе нельзя было разобрать отдельных фигур. Только мраморные стены храмов, статуи перед домом Дидима, гермы^[20] по сторонам улицы, ведущей от северной части «уголка муз» к морскому берегу, выступали из темноты, сверкая при свете пылавшей смолы, а дым от факелов заволакивал небо, скрывая блеск звёзд. Из людей, столпившихся на площади, ясно видны были только Дион, стоявший у подножия закутанной статуи, и Филострат, взобравшийся на одного из дельфинов, окружавших источник между храмом Исиды и улицей. Их разделяло пространство шагов в десять, позволявшее слышать друг друга. И на них-то было обращено всеобщее внимание. Подобные ораторские состязания составляли одно из любимых развлечений александрийцев, которые встречали каждый удачный оборот одобрительными восклицаниями, а каждое почему-либо не понравившееся им слово криком, свистками и шиканьем.

Барина могла видеть и слышать всё, что происходило перед ней. Раздвинув скрывавшие её ветви, она прислушалась к спору.

Когда негодяй, которого она когда-то называла своим мужем, а теперь презирала так глубоко, что не могла даже ненавидеть, задел её родных, сказав, что они из поколения в поколение кормятся за счёт Мусейона, она закусила губы. Но вскоре её рот слегка искривился гримасой, как будто ей противно было слушать; в эту минуту Филострат обратился к Диону, обвиняя его в том, что тот хочет помешать регенту увековечить славу великой царицы и обрадовать её благородное сердце.

— Мой язык, — воскликнул он, — орудие, которое меня кормит! Ради чего я, усталый и измождённый, обращаюсь к вам с речью? Ради нашей великой царицы Клеопатры и её великодушного друга, которому каждый из нас обязан каким-нибудь благодеянием. Кто любит её и божественного Антония, нового Геркулеса и Диониса, — скоро они вернутся к нам с победным венком! — тот не задумается вместе с регентом и со всеми благородными людьми отобрать жалкий клочок земли у старого скряги, который держится за него так упрямо и с умыслом!.. Слышите ли, с умыслом! А каким — не стану говорить: это слишком отвратительно, да я и не доносчик. Если же кто стоит за старого пачкуна, извергающего книги, как этот дельфин воду, — пусть себе, я ему не позавидую. Но пусть он сначала посмотрит на союзника Дидима. Вон он стоит передо мной. Лучше бы было, если бы он превратился в камень, а дельфин у его ног — в живое существо. Тогда, по крайней мере, ему можно было бы остаться в тени! Ну а теперь я должен вытащить его оттуда, я должен показать вам Диона, сограждане, хотя мне приятнее было бы говорить о вещах, которые менее возбуждают желчь! Тусклый свет не позволяет вам различить цвет его плаща, но я видел его днём. Это гиацинтовый пурпур! Вы знаете, сколько стоит такая мантия. Любой из вас мог бы десять лет прокормить на неё жену и детей! «Должно быть, много в мошне у господина, который решается подставлять такое сокровище дождю и ветру!» — подумает каждый, глядя, как он щеголяет, точно павлин. Да, у него в мошне много талантов! Нехорошо только, что почти каждый из

вас должен отнимать хлеб у своей семьи, глоток вина у себя самого, чтобы наряжать таких господ! Его отец, Эвмен, был сборщиком податей, и вот на те деньги, которые этот кровопийца вытянул у вас и ваших детей, его сынок рядится в пурпур и разъезжает в колеснице четверней, забрызгивая вас грязью! Как вам это понравится? Много ли он весит, этот молодчик, но ему, извольте видеть, необходима четверня, чтобы разъезжать по улицам. А знаете ли почему? Я вам скажу. Потому что он боится застрячь где-нибудь, споткнуться, как и в речах спотыкается!

Тут Филострат остановился, так как его шутка вызвала смех у некоторых слушателей. Но Дион, отец которого, занимавший важный пост сборщика податей, действительно увеличил своё состояние, не остался в долгу.

— Так, так, — подхватил он презрительно, — сирийский болтун на этот раз не ошибся! Вот он передо мной, и кто же не споткнётся, увидев перед собой вонючее болото? Что касается пурпурного плаща, то я ношу его, потому что он мне нравится. Мне не по вкусу жёлтый плащ Филострата. Конечно, при солнечном свете он довольно ярок. Он напоминает одуванчик. Вы знаете этот цветок? Когда он отцветает — а вы сами видите, похож ли Филострат на нераспустившуюся почку, — то превращается в пустой шар, разлетающийся от дуновения ребёнка. Не назвать ли нам эти цветки «филостратовыми головками»? А, вы одобряете моё предложение? Очень рад, сограждане, благодарю вас! У вас есть вкус! Вернёмся же к моему сравнению. В каждой голове есть язык, есть он и у Филострата, и по его же словам, это орудие, которое его питает!

— Что вы слушаете этот золотой мешок, этого врага народа! — бешено перебил Филострат. — Видите, по его мнению, честная работа унижает гражданина!

— О честной работе и речи не было, любезнейший, — парировал Дион. — Я говорил только о твоём языке. Вы понимаете меня, сограждане! Впрочем, может быть, не каждый из вас имел дело с этим почтенным человеком; так я объясню вам, что он такое: я его хорошо знаю! Если кому случится вести какой-нибудь скверный, постыдный процесс, советую обратиться к этому человеку. Поверьте мне, дело Дидима уже потому правое, что он так нападает на него! Я уже объяснял вам, что это за дело. Кто из вас, имея сад, может сказать: он мой, если, пользуясь отсутствием царицы, у вас начнут отбирать его. А саду Дидима угрожает именно такая участь. Если это обратится в правило, опасайтесь сеять или сажать что-нибудь на своей земле; прежде чем ваши семена взойдут, у вас могут отнять ваш участок, если супруга какого-нибудь знатного лица вздумает сушить на нём бельё!

Одобрительные восклицания послышались в ответ на эти слова; Филострат же прокричал во всё горло:

— Послушайте меня, сограждане, не поддавайтесь обману! Никого не собираются ограбить! Хотят приобрести за крупное вознаграждение участок земли, чтобы украсить город, а вместе с тем почтить и порадовать царицу. Неужели же регент и граждане должны отказаться от случая выразить свою радость и благодарность по поводу величайшей победы, о которой мы скоро услышим, только потому, что их план не нравится злому человеку, скажу прямо, врагу отечества!

— Вот теперь я на краю болота, — живо возразил Дион, — и, пожалуй, мне в самом деле придётся споткнуться! Нужно большое присутствие духа, чтобы не прикусить язык, слушая столь бесстыдную, такую ядовитую клевету! Вы знаете, сограждане, сколько лет семья Дидимов из поколения в поколение живёт в этом домике, создавая замечательные труды; вы знаете, что старец, о котором идёт речь, был наставником царских детей!

— А всё-таки, — крикнул Филострат, — он совсем недавно прогуливался под руку с Арием, другом Октавиана, заклятого врага царицы! Да я сам слышал и другие слышали, как Дидим называл этого самого Ария своим любимым учеником!

— Вот назвать так тебя, — возразил его противник, — постыдился бы последний школьный учитель! Да если б даже тебя отдали в учение не к риторам, а к селёдочным торговцам, то всякий порядочный человек из них стыдился бы такого ученика, потому что они продают хороший товар за медные деньги, а у тебя за золото можно купить только мерзости! Теперь ты отработываешь его, стараясь замарать честное имя достойного человека. Но я не потерплю этого! Слушайте, сограждане, я требую, чтобы этот сириец доказал измену Дидима, или я перед всеми назову его бесчестным, подкупленным клеветником!

— Ругань из таких уст не может оскорбить, — возразил Филострат презрительным тоном. Однако прошло несколько секунд, пока он собрался с духом и обратился к толпе со всей энергией, на какую только был способен. — Чего я добиваюсь, сограждане? Ради чего я говорю с вами? Я честно стою за интересы царицы только потому, что меня побуждает к этому сердце! Чтобы отстоять единственно подходящее место для статуи в честь Клеопатры, я вступаю в спор с моим противником, выслушиваю оскорбления, которыми этот наглец хочет заставить меня молчать! Но я не раскаиваюсь в этом, хотя я восстаю против голоса природы: ведь бессовестный старик, о котором мы говорим, был и моим учителем и называл меня при свидетелях одним из лучших своих учеников, пока не отвратился, не стану говорить, по чьему наущению, от правды и добродетели. Да, одним из лучших, и уж во всяком случае я был одним из благодарнейших! Я женился на его внучке. Я обладал ею...

— Обладал! — перебил Дион с негодованием. — После этого падаль, выброшенная морем, вполне может похвалиться, что обладала им!

Сириец так страшно изменился в лице, что даже при тусклом свете факелов окружающие заметили его смертельную бледность. На минуту он, казалось, потерял самообладание, но тут же оправился и воскликнул:

— Сограждане, дорогие друзья, призываю вас всех в свидетели бедствий, которые навлекла на меня, неопытного мужа, эта красивая, а ещё больше развратная женщина...

Но ему не дали кончить, так как присутствующие, из которых многие знали блестящего, щедрого Диона и Барину, прекрасную певицу, участвовавшую в последнем празднике Адониса, разразились неодобрительными криками.

Впрочем, диспут не прервался бы так скоро, если б в эту минуту не овладели толпой беспокойство и страх. Послышались крики: «Назад, посторонитесь!», затем топот коней и команда начальника, появившегося во главе отряда ливийских всадников. Толпа, готовая при случае вступить в борьбу даже с вооружённой силой, на этот раз не чувствовала охоты рисковать жизнью, так как повод был незначительным. К тому же словесная распря неожиданно завершилась комическим приключением, и среди тревожных криков послышался громкий смех. Толпа, кинувшись к источнику, столкнула Филострата в бассейн. Случилось ли это нечаянно или с умыслом, невозможно было разобрать, но тщетные усилия сирийца выбраться из воды, хватаясь за гладкий, скользкий мрамор, и его плачевный вид, после того как чьи-то сострадательные руки помогли ему вылезти на площадь, были так смешны, что раздражение толпы сменилось весёлым настроением. Послышались шуточки:

— Ему не мешает помыть руки, они почернели оттого, что он чернил Дидима, — крикнул один.

— Какой-то мудрый врач столкнул его в бассейн, — подхватил другой, — после трёпки, которую он получил от Диона, ему полезна холодная ванна.

Регенту, приславшему отряд всадников, чтобы оттеснить толпу от дома Дидима, могло быть только приятно, что эта насильственная мера не встретила сопротивления.

Народ рассеялся и вскоре уже был привлечён новым происшествием у театра Диониса. С его ступеней Анаксенор объявил о блистательной победе, одержанной Клеопатрой и Антонием, а затем пропел под

звуки лютни гимн, глубоко тронувший сердца слушателей. Он уже давно сочинил его и воспользовался первым же случаем — слухом, дошедшим до него во время завтрака в Канопе, чтобы исполнить.

Как только площадь опустела, Барина оставила свой наблюдательный пост.

Никогда ещё сердце её не билось так сильно. Дион всегда нравился ей больше, чем кто-либо из её обожателей; теперь же она почувствовала, что любит его. Конечно, его заступничество заслуживало искренней благодарности, оно показывало, что Дион посещал её не только для того, чтобы убить время, как большинство гостей!

Для знатного молодого человека было не просто публично вступить в борьбу с бессовестным болтуном, которому она когда-то принадлежала. И как легко он одолел поднаторевшего в полемике противника. При этом выступил против своего могущественного дяди и, может быть, навлек на себя гнев Алексаса, брата Филострата, занимавшего первое место среди любимцев Антония. Это возвышало Барину в её собственных глазах; она чувствовала, что Дион, не уступавший никому из знатных людей в городе, не решился бы на такой поступок ради какой-либо другой женщины.

С неё точно спали оковы.

Сохранив весёлый характер несмотря на неудачное замужество и всевозможные огорчения, она сумела привлечь в свой дом всю александрийскую интеллигенцию, стараясь не оказывать предпочтения никому из гостей. Барина строго следила, чтобы не дать никому из них той власти, которая естественно выпадает на долю человека, сознающего, что он любим. И Диона она не особенно отличала, но теперь охотно отдала бы весь свой блеск за счастье быть им любимой и принадлежать ему. С ним она предпочла бы безвестное уединение этому шумному и блестящему обществу.

Теперь она знала, что делать, если он решит добиваться её руки; и архитектор впервые видел Барину такой молчаливой. Он охотно проводил бы её обратно в дом деда, где вновь бы встретил сестру Елену; ему хотелось думать, что та огорчится, видя, что её защитник не возвращается.

После неожиданного прекращения словесной распри Дион почувствовал сильный подъем духа. Не раз уже случалось ему вступаться за правое дело и одерживать победу, но никогда это не доставляло ему такой радости, как сейчас. Теперь он только и мечтал увидиться с Бариной, сообщить ей о случившемся и услышать благодарность за свою преданность.

Внутреннее чувство подсказывало ему, какого рода будет благодарность, но лишь только светлый образ будущего уступил место размышлениям, весёлое выражение на его мужественном лице сменилось озабоченностью.

Несмотря на окружавшую его темноту, которой не мог рассеять тусклый свет горевшей смолы, ему казалось, что он стоит в ярком блеске солнечного полдня в цветущем саду своего дворца, а Барина, в награду за его заступничество, в глубоком волнении кинулась к нему на грудь, и он целует её влажные от слёз глаза.

Видение вскоре исчезло, но было таким ярким, точно наяву.

Неужели Барина значит для него больше, чем он сам думал? Неужели его привлекали в ней не только ум и красота? Неужели им овладела истинная, серьёзная страсть? Неужели наступит день, когда, повинувшись таинственному, непреодолимому инстинкту, наперекор рассудку, он соединится, быть может, на всю жизнь с ней, Бариной, принадлежавшей когда-то Филострату, а ныне игравшей такую заметную роль в александрийском обществе?

Будь она чиста, как лебедь, — а сомневаться в этом у него не было оснований, — всё же её имя упоминается в одном ряду с именами Аспазии^[21] и многих других, к которым посетители являлись не

только ради пения и увлекательной беседы. Дарами, которыми так щедро наделили её боги, наслаждались слишком многие, чтобы он, последний отпрыск благородной македонской фамилии, мог ввести её хозяйкой во дворец, так заботливо и успешно возведённый ему Горгием. Хотя если в нём чего-то недоставало, так только заботливой хозяйки.

А согласится ли она вступить с ним в союз, не освящённый браком?

Нет!

Он не мог сделать своей любовницей внучку Дидима, женщину, которая нравилась ему, тем более что она всегда возбуждала в нём уважение, несмотря на свободное обращение с гостями. Да он и сам не хотел этого, хотя его друзья посмеялись бы над такой щепетильностью. Могла ли святость брака иметь какое-нибудь значение в городе, где сама царица дважды вступала в связь с чужими мужьями? И у него случались кое-какие любовные интрижки, но именно поэтому было бы особенно неприятно уравнивать Барину с женщинами, любовью которых он пользовался, быть может, только благодаря золоту.

Мужества и твёрдости у него хватало, но никогда ещё не приходилось ему бороться с такой силой, как теперь.

Проклятое видение! Оно всплывало перед ним снова и снова, смеялось и манило, и Дион чувствовал — наступит день, когда у него не хватит сил бороться с желанием осуществить его на деле. Если только он не расстанется с ней, то, без сомнения, наделает такого, что сам же будет раскаиваться; ему следует молить богиню красноречия ниспослать Архивию дар убеждения, когда он будет уговаривать Барину оставить Александрию.

Трудно будет отказаться от её общества, но всё-таки лучше ей уехать. Пройдёт немало времени, пока они снова увидятся, стало быть, есть надежда на победу.

Дион просто не узнавал себя.

Нетвёрдыми шагами продвигался он вперёд, подавив желание зайти для разговора к Дидиму. Там он мог бы встретить Барину, а этого ему не хотелось, хотя всё его существо стремилось видеть её лицо, слышать её голос и слова благодарности из её милых уст. Радостное чувство сменилось в нём раздражением, как у человека, который стоит на перекрёстке перед тремя дорогами, ведущими к различным целям, из которых ни одна не может вполне удовлетворить его.

Улица, по которой он шёл, протискавшись сквозь толпу, вела вдоль берега к театру Диониса. Дион вспомнил, что именно здесь Горгий хотел поставить статую. Он решил осмотреть место, выбранное архитектором, в надежде, что это изменит ход его мыслей.

Когда молодой человек подошёл к театру, певец только что окончил гимн, и толпа слушателей стала расходиться. Все говорили о радостной вести, переданной в пышных стихах Анаксенором, любимцем Антония, без сомнения, имевшим верные сведения. Со всех сторон раздавались крики в честь Клеопатры, «новой Исиды», и Антония, нового Диониса, и вскоре старые и молодые, греки и египтяне слились в общем крике: «В Себастеум!» Так назывался дворец, против которого находилось помещение регента и правительства. Народ хотел услышать подтверждение радостной вести.

Дион вообще терпеть не мог таких шумных излияний восторга, но на этот раз настолько заинтересовался вестью, что хотел было примкнуть к толпе, стремившейся в Себастеум. Но тут внимание его было привлечено криками служителей, пролагавших путь для закрытых носилок.

Он узнал носилки Иры. Она-то во всяком случае должна иметь точные сведения, только в такой давке вряд ли удастся потолковать с ней. Ира, по-видимому, была другого мнения на этот счёт, так как заметила и подозвала его. В её голосе, обыкновенно звонком и чистом, звучали хриплые ноты. Вопросы, которыми

она засыпала Диона, выдавали глубокое волнение. Не поздоровавшись, она поспешно спросила, отчего волнуется народ, кто принёс известие о победе и куда стремится толпа.

Отвечая ей, Дион с трудом протискивался сквозь толпу, стараясь не отстать от носилок. Она заметила это и приказала слугам нести носилки к запиравшимся на ночь воротам, мимо которых они проходили в эту минуту, назвала страже своё имя и, когда ворота были открыты, велела внести носилки и поставить на площадке, а служителям дожидаться снаружи.

Необычное возбуждение и торопливость девушки не на шутку обеспокоили Диона. Она отказалась от предложения выйти из носилок и пройти с ним.

— Зачем, — сказала она, — зачем ты мешаешь регенту, твоему дяде, исполнить его план и ораторствуешь в толпе, как наёмный смутьян?

— Как Филострат, хочешь ты сказать, которому вы заплатили, а я дал несколько щелчков в дополнение к вашему золоту.

— Ну да, как Филострат! Не по твоей ли милости столкнули его в воду, после того как ты охладил его пыл? Ты, должно быть, хорошо исполнил свою задачу. То, что делаешь с любовью, обыкновенно удаётся. Смотри только, чтобы его брат, Алексас, не восстановил против тебя Антония. Что касается меня, то я желала бы только знать, ради чего и ради кого ты всё это устроил?

— Ради кого? Да ради славного старика, учителя моего отца, — отвечал Дион без всякого стеснения. — А сверх того, ради хорошего вкуса, так как вряд ли можно найти менее подходящее место для этой статуи, чем сад Дидима.

Ира засмеялась отрывистым и резким смехом, и её тонкое лицо, которое можно было бы назвать красивым, если бы не чересчур длинный прямой нос и маленький подбородок, слегка нахмурилось.

— По крайней мере, ты откровенен! — воскликнула она.

— Ты, кажется, знаешь мой характер, — спокойно ответил он. — Впрочем, такой знаток, как архитектор Горгий, тоже такого же мнения.

— Слышала и об этом. Вы оба — усердные посетители этой, как её... обворожительной Барины?

— Барины? — повторил Дион, принимая изумлённый вид. — Ты, кажется, хочешь, чтобы наш разговор напоминал лабиринт, в котором мы находимся. Я говорю о произведениях искусства, а ты всё сводишь... на живое существо, — положим, тоже образцовое творение богов. Во всяком случае, заступаясь за старика учёного, я и в мыслях не имел его внучку!

— Ну, конечно, — возразила она насмешливо, — молодые люди твоего склада и с твоими привычками всегда больше склонны думать о почтенных учителях своих отцов, чем о тех женщинах, от которых происходит всё зло на земле с тех пор, как Пандора[22] открыла свой ящик. Но, — тут она отбросила назад чёрные локоны, закрывавшие до половины её высокий лоб, — я сама не понимаю, как могут меня занимать такие пустяки в подобное время, да ещё когда у меня страшная тяжесть на душе... Мне так же мало дела до старика, как и до его бесчисленных сочинений и комментариев, хотя они мне знакомы... Пусть у него будет столько же внуков, сколько злых языков в Александрии. Но теперь нужно устранять всё, что может быть неудобным для царицы. Я только что из Лохиаса, из дворца царских детей, и что я там узнала... Это... Нет, я не хочу и не могу этому верить... Одна мысль о таком несчастье душит меня...

— Дурные вести о флоте? — с беспокойством спросил Дион. Ира не ответила, только утвердительно кивнула головой, прижав к губам веер из страусовых перьев в знак молчания. Несмотря на темноту, он заметил, как она вздрогнула. Потом продолжала вполголоса тоном, выдававшим внутреннее волнение:

— Об этом ещё не следует говорить... Моряк из Родоса... Впрочем, ничего не известно наверняка... Этого не может, не должно случиться!.. А всё-таки... Болтовня... Болтовня Анаксенора, который возбуждает надежды в народе, совершенно некстати... Никто так не вредит сильному миру, как те, кто обязан им всем. Я знаю, Дион, что ты умеешь молчать. Ты ещё в детстве доказывал это, когда нужно было что-нибудь скрыть от родителей. А помнишь, как ты бросился в воду ради меня? Сделаешь ли ты это теперь? Вряд ли! Но на тебя можно положиться. Это известие сдавило мне сердце. Только смотри, никому ни слова, никому! Я не нуждаюсь в поверенных и могла бы скрыть эту новость и от тебя, но мне хочется, чтоб ты, именно ты, меня понял... Когда я садилась в носилки в Лохиасе, вернулся Цезарион, и я говорила с ним.

— Цезарион, — перебил Дион на этот раз вполне серьёзно, — любит Барину.

— Так эта ужасающая глупость уже известна? — спросила она с волнением. — Я никогда не подозревала, что у этого мечтателя может пробудиться такая глубокая страсть. Царица вернётся, быть может, не с таким успехом, какого мы желаем, увидит тех, от кого ожидает радости, добра, величия, узнает, что ускользнуло от её пронизательного взора, узнает о том, что случилось с мальчиком... Он ей дорог, дороже, чем все вы думаете. Сколько беспокойства, огорчения для неё! Не права ли она будет, если рассердится на тех, кто должен смотреть за мальчиком?

— И потому, — заметил Дион, — нужно устранить камень с дороги. Устраивая неприятности Дидиму, ты делаешь первый шаг к этой цели.

Он правильно разгадал её намерения, предположив, что история с Дидимом подстроена ею с целью предоставить властям случай разделаться с учёным и его родными, к числу которых принадлежала Барина. По египетскому закону родственники человека, виновного в каких-либо действиях против правительства, тоже отправлялись в ссылку. Подобная интрига по отношению к ни в чём не повинному учёному, конечно, была подлостью, и, однако, Дион чувствовал, что Ирой руководила не только низменная ревность, но и более благородное чувство: любовь к своей госпоже, стремление избавить её от неприятностей и забот в трудное время. Он хорошо знал Иру, её железную волю и беззастенчивость в достижении цели. Теперь самым главным для него было избавить Барину от грозившей ей опасности. Впрочем, и Ира, дочь Кратеса, соседа его отца, с которой он играл ещё в детстве, была ему безразлична, и если б он мог развеять удручающую её заботу, то охотно сделал бы это.

Его замечание удивило Иру. Она убедилась, что человек, который был для неё дороже всех, разгадал её мысли, а любящей женщине всегда приятно чувствовать превосходство своего возлюбленного. К тому же она с детства принадлежала к обществу, где выше всего ценятся тонкость и гибкость ума. Её чёрные глаза, сначала сверкавшие недоверием, потом потемневшие от скорби, теперь приняли новое выражение. Устремив на своего друга умоляющий взор, она сказала:

— Да, Дион, внучка философа не должна здесь оставаться. Или, быть может, ты укажешь другое средство удержать этого беспутного мальчика от величайшего зла? Ты знаешь меня давно, знаешь, что я, так же как и ты, не люблю нарушать законные права других или причинять кому-либо зло без надобности. Я привыкла уважать тебя! Ты правдивейший из людей и ещё вчера уверял меня, будто Эрос вовсе не замешан в твоих отношениях с этой знаменитой женщиной, будто тебя привлекает в ней только её живой ум. Я потеряла веру во многое, но не в тебя и не в твоё слово, однако ж, когда я узнала о твоём заступничестве за деда и представила себе, что ты добиваешься награды и благодарности от внучки, то... то во мне снова проснулись подозрения. Теперь ты, кажется, разделяешь моё мнение...

— Так же как и ты, — подтвердил он, — я думаю, что Барину необходимо избавить от домогательств Цезариона, которые ей не менее неприятны, чем тебе. Цезарион не может покинуть Александрию, в особенности если дела царицы принимают неблагоприятный оборот; остаётся, стало быть, удалить отсюда Барину, разумеется, с её согласия.

— Если хочешь, хоть на золотой колеснице и увенчанную розами! — воскликнула Ира.

— Ну, это, пожалуй, наделает шуму, — возразил Дион, смеясь. — Теперь, когда я знаю причины твоего поступка, и хотя он мне по-прежнему не нравится, я охотно помогу тебе. Твои извилистые дороги тоже приводят к цели, и на них меньше шансов споткнуться, но я предпочитаю прямые пути и, кажется, нашёл именно такой! Один из друзей Барины приглашает её в своё имение, недалеко отсюда, быть может, на морском берегу.

— Ты? — спросила Ира, и тонкие брови её слегка сдвинулись.

— Неужели ты думаешь, что она согласилась бы на моё предложение? — отвечал он. — Нет. К счастью, у нас есть более старые друзья, и главный из них — твой дядя и вернейший слуга царицы.

— Архивий! — воскликнула Ира. — Да, но удастся ли ему уговорить её?

— Он попытается, так как тоже обеспокоен поведением Цезариона. Пока мы здесь разговариваем, он убеждает Барину уехать в его имение. Деревенский воздух будет ей полезен.

— Пусть она расцветёт, как пастушка!

— Ты хорошо делаешь, желая ей добра. Возможно, если царица вернётся, не одержав победы, раздражительность наших александрийцев удвоится. Вы так рьяно занялись приготовлениями к торжеству, когда принялись за Дидима, что совсем забыли...

— Кто же мог сомневаться в счастливом исходе этой войны! — воскликнула Ира. — И они победят, победят! Родосец говорил, что флот рассеялся. Так и случилось у акарнанского берега. Но он узнал об этом из чужих уст. А что значат подобные сплетни? Наконец, если даже морское сражение действительно проиграно, то остаётся сильная армия на суше. Войско Октавиана гораздо слабее. И кто из его полководцев может равняться с Антонием, да ещё в таком сражении, где он ставит на карту все: славу, честь, власть, ненависть и любовь? Стоит ли пугаться сплетни! После Диррахия дело Цезаря считали проигранным, но Фарсала[23] сделала его владыкой мира! Достоин ли разумного человека терять мужество из-за болтовни какого-то корабельщика? А всё-таки... всё-таки... это началось уже, когда я заболела. А потом ласточки на корабле Антония, на адмиральском корабле! Мы уже тогда говорили об этом. Мардион и твой дядя Зенон своими глазами видели, как чужие ласточки выгнали тех, которые свили гнезда на корабле Антония, и заклевали их птенцов. Ужасное предзнаменование! Оно не выходит у меня из головы. А что мне грезилось, когда я лежала больная, далеко от моей госпожи! Но мне пора. Нет, Дион, нет! Я очень рада нашему свиданию, так как хочу во что бы то ни стало быть спокойна относительно Цезариона. Ставьте статую, где хотите. Пусть народ видит и слышит, что мы уважаем его требования, что мы справедливы. Помогите мне уладить это с пользой для царицы... А если Архивию удастся выпроводить Барину и удержать её в деревне, то... Да, если бы в моей власти было исполнить твоё желание, оно было бы исполнено. Но Диону ничего не требуется от увядшей подруги его детства!

— Увядшей! — воскликнул он с негодованием в голосе. — Скажи лучше, расцветшей, узнавшей тайну вечной юности от своей царственной подруги.

Ира благодарно взглянула на него и протянула для поцелуя свою ручку, уступавшую в красоте только рукам Клеопатры; но, когда он слегка и без всякого пыла прикоснулся губами к её пальцам, быстро отёрнула её и сказала с внезапным приливом горечи:

— В такую тяжёлую минуту такой холодный, вялый поцелуй! Он оскорбителен, позорен. Если Барина послушается Архивия, она не пропадёт с тоски в его имении. Я знаю человека, который последует за ней разделить её уединение. Сюда, Назис! Носильщики! Вперёд! К Нильской башне у ворот Солнца!

Дион посмотрел вслед удалявшимся носилкам, провёл рукой по своим тёмно-русые кудрям и

быстрым шагом направился к берегу, где стояли лодки, сдававшие внаём для увеселительных прогулок. Вскочив в первую попавшуюся, он приказал лодочникам оставаться на берегу, сам поставил парус и направился к выходу из гавани. Дион чувствовал потребность в движении и решил сам разузнать новости.

IV

Дом Барины в садах Панейона[24] принадлежал её матери, получившей его в наследство от своих родителей. Художник Леонакс, отец молодой женщины, сын Дидима, давно уже умер.

Добившись развода с Филостратом, Барина вернулась к матери, занимавшейся домашним хозяйством. Она тоже происходила из семьи учёного; её брат приобрёл почётную известность в качестве философа и руководил обучением молодого Октавиана. Это произошло задолго до ссоры между наследником Цезаря и Марком Антонием. Но и позже, когда Антоний бросил свою жену Октавию, сестру Октавиана, ради возлюбленной Клеопатры и между двумя соперниками разгорелась открытая борьба за владычество над миром, Антоний продолжал дружески относиться к Арию и не винил его в близости к Октавиану. Великодушный римлянин даже подарил бывшему наставнику своего врага прекрасный дом, чтобы удержать его в Александрии.

Вдова Береника, мать Барины, питала горячую привязанность к своему брату, частенько появлявшемуся среди гостей её дочери. Это была скромная, спокойная женщина, называвшая счастливейшим временем своей жизни годы, когда она жила в уединении, занимаясь воспитанием детей: пылкого Гиппия, Барины и рассудительной Елены, которая несколько лет тому назад переселилась к деду и ухаживала за ним с трогательной заботой. С ней было меньше хлопот, чем со старшими детьми, так как предприимчивость мальчика рано сделала его самостоятельным, а красота и живость Барины с ранних лет привлекали к ней общее внимание, заставляя Беренику быть настороже.

Гиппий обучался ораторскому искусству сначала в Александрии, потом в Афинах и в Родосе, а три года назад Арий отправил его с хорошими рекомендациями в Рим узнать жизнь и попытаться, несмотря на чужеземное происхождение, проложить себе дорогу с помощью своего блестящего ораторского дарования.

Два года несчастливой жизни с бесчестным нелюбимым человеком почти не изменили характер Барины. Мать думала только об её счастье, выдавая в пятнадцать лет за Филострата, которого Дидим считал в то время многообещающим молодым человеком, имеющим все шансы на успех благодаря ораторскому таланту и поддержке брата Алексаса, любимца Антония. Она надеялась, что замужество окажется лучшим средством оградить живую, красивую девушку от опасностей большого, испорченного города; но недостойный супруг доставил много горя и забот матери и дочери, так же как и его влиятельный брат, преследовавший молодую невестку грязными предложениями. Часто Береника с удивлением смотрела на свою дочь, которая после стольких огорчений и разочарований сохранила такую безмятежность, что можно было подумать, глядя на неё, будто её жизненный путь усеян розами...

Отец её, Леонакс, в своё время считался лучшим из александрийских художников, и от него-то она и унаследовала гибкую душу, способную выпрямиться после тяжкого удара. Ему же была она обязана редким вокальным даром, который всесторонне развивала. Ещё девочкой Барина отличалась среди своих подруг на празднествах в честь богинь города. Все хвалили её искусство, а с тех пор как она пропела гимн на празднике Адониса перед восковой статуей любимца богини, умерщвлённого вепрем, имя её стало популярным. Послушать её пение считалось редкой удачей, так как она пела только у себя дома или на празднествах в честь божества.

Царица тоже слушала её, а после праздника Адониса Арий представил её Антонию. Со свойственной ему откровенностью и пылом тот выразил ей восхищение, а немного погодя познакомил с ней своего сына

Антилла. Он бы не преминул испытать на ней силу своих чар, покорявших женские сердца, но после второго посещения обстоятельства заставили его уехать из Александрии.

Береника упрекала брата, зачем он ввёл в их дом возлюбленного царицы, а частые посещения Антилла и в особенности Цезариона усиливали её тревогу.

Эти молодые люди не принадлежали к числу гостей, посещения которых доставляли ей удовольствие. Лестно было, конечно, что они удостоили своим присутствием её скромное жилище, но она знала, что за Цезарионом строго следят, и видела по глазам, какая причина заставляет его посещать её дочь. В постоянном беспокойстве за старших детей утратила она бодрость духа, отличавшую её в молодости. Теперь, если что-нибудь новое вторгалось в её жизнь, Береника прежде всего ждала дурных последствий. Если перед ней стоял пылающий светильник, то сначала замечалась тень, а потом уже свет. Вся жизнь превратилась в непрерывную цепь опасений, но она слишком горячо любил своих детей, чтобы дать им заметить всё это. Утешало только то, что в случае, если какое-нибудь из её зловещих предсказаний сбывалось, то она, мол, всё предвидела заранее.

На её всё ещё красивом и спокойном лице нельзя было прочесть следов беспокойства. Говорила Береника мало, но рассудительно и умела слушать собеседника. Поэтому гости Барины всегда были рады ей. Её присутствие импонировало даже самым знаменитым из них, так как они чувствовали, что эта спокойная женщина понимает их.

В этот вечер, до возвращения Барины, случилось происшествие, заставившее Беренику вдвойне пожалеть о несчастье, приключившемся с Арием третьего дня. Возвращаясь домой от сестры поздно вечером, он был сбит с ног и сильно помят бешено мчавшейся колесницей. Теперь Арий лежал в постели больной, и угрозы его сыновей отомстить нахалу, изранившему их отца, отнюдь не облегчали его страданий, так как он имел основание думать, что виновником этого происшествие был всё тот же Антилл. А ссора с сыном Антония не обещала ничего хорошего для молодых людей, тем более что юный римлянин не унаследовал великодушия и гуманности своего отца. Конечно, Арий не мог упрекать сыновей, разразившихся бранью против обидчика, который даже не обратил внимания на опрокинутого им человека. Он предостерег сестру против не знающей удержу разнузданности молодого человека, отец которого был им введён в дом Береники. Сегодняшний вечер показал, что предостережения брата имели основание. Дело в том, что после захода солнца к Барине, по обыкновению, явилось несколько гостей, в том числе девятнадцатилетний Антилл. Привратник отказал им, но молодой человек, желая во что бы то ни стало видеть Барину, оттолкнул старика, хотевшего его удержать, и, несмотря на сопротивление, проник в мастерскую покойного хозяина дома, служившую теперь приёмной. Только убедившись, что она пуста, он согласился уйти, но оставил букет цветов, прикрепив его к статуе Эроса. Привратник и служанка Барины подумали, что он пьян. Это было особенно заметно, когда Антилл и ожидавшая его на улице компания побрели, пошатываясь, прочь.

Неприличная и оскорбительная выходка юноши сильно взволновала Беренику. Она не могла оставить её безнаказанной и, поджидая дочь, раздумывала, к каким скверным последствиям может привести отказ Антилле от дома и жалоба начальнику дворца, а с другой стороны, до чего дойдёт его наглость, если оставить его выходку без внимания.

Недобрые предчувствия томили её, но, ожидая худшего, она втайне надеялась, не принесёт ли Барина какую-нибудь радостную весть.

Наконец Барина явилась в таком радужном, весёлом настроении, как никогда.

У вдовы отлегло от сердца. Очевидно, случилось что-нибудь очень радостное, если её дочь так весела. А между тем она, наверное, уже слышала о выходке Антилла, так как явилась к матери без

головного убора и с новой причёской, стало быть, успела побывать в спальне и переодеться с помощью болтливой кипрской рабыни, совершенно не способной держать язык за зубами.

«Посторонний не дал бы ей больше девятнадцати лет, — думала мать, — как идёт ей белое платье и пеплос с голубой каймой, как красиво выделяется лазурная лента на её кудрявой головке! Кто бы подумал, что к этим золотистым локонам не прикасалось разогретое железо, что румянец на этих щеках и алебастровая белизна рук даны ей от природы? Такая красота зачастую становится даром данайцев; но всё же это великолепный дар богов! Но зачем она надела браслет, присланный Антонием? Не для меня же! Дион вряд ли зайдёт так поздно. Я вот люблюсь ею, а может быть, над нами уже нависло новое несчастье».

Так раздумывала она, в то время как дочь, прислонившись к подушкам мягкого ложа, весело рассказывала о том, что видела у деда и перед его домом. Когда речь зашла о неприличном поступке Антилла, она сказала с беспечностью, испугавшей Беренику, что это безобразия больше не повторится.

— Но кто же ему помешает? — спросила мать.

— Кто же, кроме нас самих? — последовал ответ. — Перестанем его принимать.

— А если он вздумает вломиться насильно?

Большие голубые глаза Барины сверкнули.

— Пусть попробует, — сказала она решительным тоном.

— Какая же сила может удержать сына Антония? — спросила Береника. — Я такой не знаю.

— А я знаю, — возразила дочь, — выслушай меня; я должна быть краткой, потому что ожидаю гостя.

— Так поздно? — воскликнула тревожно Береника.

— Архивий хотел поговорить с нами о важном деле.

При этих словах складки на лбу матери разгладились, но тотчас же появились снова.

— О важном деле, в такой необычный час? Я не ожидаю ничего доброго. Когда я шла к брату, ворон перелетел мне дорогу и направился налево в сад.

— А я, — отвечала Барина, — справившись о здоровье дяди, я видела семь — да, ни больше ни меньше, потому что семь лучшее из чисел, — семь белоснежных голубей, которые все летели направо. Самый красивый был впереди. Он держал в клюве корзиночку, а в ней находилась сила, которая избавит нас от сына Антония. Почему ты смотришь на меня с таким удивлением, милый сосуд всяческих опасений?

— Но, дитя, ты говорила, что Архивий придёт так поздно поговорить о каком-то важном деле.

— Он скоро будет здесь.

— Разрешите же эту загадку; я тугο соображаю.

— В самом деле, нам нельзя терять времени. Слушай же: прекрасный голубь — хорошая, верная мысль, а что он несёт в корзиночке, ты сейчас узнаешь. Видишь ли, матушка, мы даём повод к осуждению; это не должно продолжаться. С каждым днём я чувствую это сильнее, и пройдёт ещё несколько лет, прежде чем этими опасениями можно будет пренебречь. Я слишком молода, чтобы принимать всякого, кто вздумает ко мне явиться, да ещё приводить своих приятелей. Конечно, наша приёмная — мастерская моего отца, а хозяйка этого дома — ты, моя милая, безупречная, достойная мать; но ты слишком скромна, ты, которая во всех отношениях лучше меня, держишься в тени, так что о тебе вспоминают, только когда тебя нет. Поэтому всякий, кто приходит к нам, говорит: «Я иду к Барине!»... Я не могу больше выбирать, и эта мысль...

— Дитя, дитя, — перебила сияющая мать, — кто из бессмертных встретился с тобой сегодня?

— Ты уже знаешь, — весело сказала дочь, — я встретила семь голубей, и когда взяла у первого, прекраснейшего, корзиночку, он рассказал мне историю. Хочешь послушать?

— Конечно, только рассказывай быстрее, а то нам помешают.

Барина откинулась на подушки и, опустив свои длинные ресницы, начала:

— Жила когда-то женщина, у которой был сад в лучшей части города, — положим, хоть здесь, вблизи Панеума. Осенью, когда созрели плоды, она оставила садовую калитку открытой, хотя все соседки делали по-другому. А для того чтобы уберечь свои финики и смоквы от незваных гостей, она вывесила на калитке дощечку с надписью: «Не возбраняется входить в сад и любоваться им, но кто сорвёт цветок или плод, или будет топтать траву, того разорвут собаки».

Но у женщины этой была только комнатная собачка, да и та её не слушалась. Однако предупредительная надпись сделала своё дело, так как сначала в сад заходили только соседи из знатной части города. Впрочем, они и без предупреждения не стали бы трогать собственность женщины, так гостеприимно открывшей им свой сад. Так было некоторое время, пока в сад не зашёл какой-то нищий, потом финикийский матрос и египтянин из Ракотиса. Никто из них не умел читать, и так как они не особенно строго различали «моё» и «твоеё», то один потоптал траву, другой сорвал цветок, третий плод. Затем стало являться всё больше и больше разного сброду, и ты сама можешь догадаться, что из этого вышло. Посетители оставались безнаказанными, так как лай комнатной собачки никого не мог испугать, а это придавало храбрости и тем, кто умел читать. Скоро сад потерял всю свою прелесть, да и все плоды заодно. Так что, когда дождь смыл надпись с доски и шаловливые мальчишки испачкали её своими каракулями, это уже ничему не могло повредить: сад никого не привлекал, и посетители перестали являться. Тогда владелица его решила запирать калитку, по примеру соседок, и на следующий год наслаждалась зеленью дёрна и пёстрыми красками цветов. Она воспользовалась и плодами, и собачка не докучала ей своим лаем.

— Это значит, — сказала мать, — что если бы все люди были так же вежливы и порядочны, как Горгий, Лизий и им подобные, то мы могли бы по-прежнему принимать всех. Но так как есть сорванцы вроде Антиллы...

— Верно! — перебила дочь. — Никто не мешает нам приглашать таких людей, которые сумеют прочесть нашу надпись. Завтра же объявим гостям, что мы не можем принимать их, как раньше.

— А поступок Антиллы, — прибавила Береника, — может служить отличным предлогом. Всякий здравомыслящий человек поймёт это...

— Конечно, — согласилась Барина, — а если ты, умнейшая из женщин, заявишь со своей стороны...

— То мы избавимся от докучливых посетителей. Поверь мне, дитя, если только ты не...

— Не нужно «если»! Никаких если! — воскликнула молодая женщина. — Мне так приятно думать о новой жизни, лишь бы она устроилась, как я надеюсь и желаю... Послушай, матушка, ведь боги должны вознаградить меня?

— За что? — раздался низкий голос Архибия, который вошёл без доклада, не замеченный обеими женщинами.

Барина вскочила и воскликнула, протянув старому другу обе руки:

— Приведя тебя к нам, они уже начинают со мной расплачиваться.

V

Художнику, в особенности великому живописцу, нетрудно украсить свой дом. Его вкус не допустит ничего неязущного, того, что нарушает гармонию, оскорбляет его глаз. И ему не требуется приглашать мастеров. Только муза явится ему на помощь.

Леонакс, отец Барина, сумел придать восхитительный вид своему жилищу. Стены его мастерской были украшены картинами из жизни великого Александра, основателя его родного города, фриз — хороводом пляшущих амуров.

Тут принимала гостей Барина, и слава об этой живописи была одной из причин, побудивших Антония посетить её дом и привести с собой сына, в котором ему хотелось пробудить хоть какую-нибудь любовь к искусству. Конечно, красота и пение Барины тоже не остались без внимания, но пылкая страсть, охватившая его в зрелые годы, принадлежала всецело Клеопатре. Царица сумела привязать Антония к себе какими-то сверхъестественными узами. Но во всяком случае он был обязан Барине несколькими приятными часами, а каждый, кому он был чем-либо обязан, получал подарок. Ему льстила репутация самого щедрого из людей, и в данном случае его подарок, гладкий браслет с геммой[25], в которой был вырезан Аполлон, играющий на лире и окружённый музами, действительно мог считаться неоценимым сокровищем, хотя выглядел очень скромно. Это было произведение знаменитейшего резчика эпохи Птолемея II Филадельфа; каждая фигурка на ониксе, шириной не более трёх пальцев, была вырезана с изумительным мастерством. Антоний выбрал его потому, что браслет очень подошёл Барине. О цене он на этот раз не думал, так как оценить подобную вещь мог только знаток. Барина охотно надевала его, так как браслет не отличался пышностью.

Если бы Антонию не пришлось уехать из Александрии, его второе посещение, без сомнения, не было бы последним. Кроме пения, которое привело его в восторг, он наслаждался оживлённой и интересной беседой и мог любоваться замечательными картинами, которые Леонакс выменял у своих товарищей.

Произведения пластического искусства также украшали обширную комнату, посреди которой возвышался светильник в виде статуи.

Создателем его был тот самый скульптор, резцу которого принадлежала возбуждавшая столько споров статуя Антония и Клеопатры. Эрос из обожжённой глины, прицеливавшийся из лука в невидимую жертву, был также его произведением. Антоний во время своего второго посещения положил перед ним венок, заметив шутливо, что приносит жертву «сильнейшему из победителей», а Антилл сегодня вечером грубо засунул букет в натягивавшую лук согнутую правую руку статуи. При этом он слегка повредил изваяние... В настоящую минуту цветы лежали на маленьком алтаре в глубине комнаты, тускло освещённой одной лампой, так как хозяйки перешли вместе с гостем в любимую комнатку Барины, украшенную несколькими картинами покойного отца.

Букет Антиллы и попорченная статуя играли большую роль в разговоре с Архибием и значительно облегчили его задачу. Женщины встретили его жалобами на неприличное поведение молодого римлянина, и Барина объявила, что не намерена больше приносить жертвы Зевсу Ксениосу, покровителю гостей. В будущем она решила посвятить жизнь скромным домашним богам и Аполлону, отдать им свой дар пения как небольшую, но драгоценную жертву.

Архибий с изумлением слушал её и начал говорить не прежде, чем она высказалась полностью и нарисовала ему свою будущую жизнь наедине с матерью, без шумных собраний в мастерской отца.

Воображение молодой женщины уже перенесло её в новую, тихую жизнь. Но при всей живости её рассказа умудрённый опытом слушатель, по-видимому, не вполне был убеждён. По крайней мере тонкая улыбка освещала по временам его резкие и вместе с тем меланхолические черты, черты человека, самоустранившегося с жизненной арены, отказавшегося от борьбы, ради роли зрителя наблюдающего, как другие возвышаются и падают в погоне за удачей. Быть может, раны, полученные им, ещё не вполне зажили, но это не мешало ему оставаться внимательным наблюдателем. Взгляд его светлых глаз показывал, что он переживает то, что возбуждало в нём участие. Кто мог так слушать и кто передумал так много, тот не мог не быть хорошим советчиком. Именно за это достоинство Клеопатра отличала его перед всеми.

И в этот раз, как всегда, проявилась свойственная Архибию обдуманность, так как, явившись убедить Барину уехать, он не открыл цели своего посещения, пока она не поведала ему обо всех своих намерениях и не спросила, о каком таком важном деле он хотел поговорить с ней.

В общих чертах его предложение могло считаться уже принятым. Поэтому он начал с вопроса, не кажется ли им, что переход к новой жизни удобнее совершить, уехав на время из города. Все будут поражены, если завтра они перестанут принимать гостей, и так как о причине этого решения неудобно распространяться, то многие будут обижены. Если же они уедут на несколько недель, то многие пожалеют об их отъезде, но никому не будет обидно.

Мать тотчас согласилась с гостем, но Барина колебалась. Тогда Архибий попросил её высказаться откровенно и, когда она спросила, куда же им уехать, предложил своё поместье.

Его пронизательные серые глаза сразу заметили, что обстоятельства, удерживавшие Барину в городе, связаны с делами сердечными. Поэтому он пообещал, что избранные друзья будут время от времени навещать её. Подняв голову, она обратилась к матери с весёлым восклицанием:

— Едем!

Тут снова проявилось живое воображение дочери художника, нарисовавшее почти осязаемую картину будущего. Конечно, никто, кроме неё, не знал, на кого она намекает, говоря о госте, которого будет ожидать поместье Архибия. Ей очень понравилось его название, которое означает «Мирный приют».

Архибий слушал с улыбкой, но, когда она начала было рассказывать о его участии в катании на маленьких сардинских лошадках и в охоте на птиц, остановил её, заметив, что его пребывание в поместье зависит от исхода другого, более важного дела. Он пришёл к ним с лёгким сердцем, так как несколько часов тому назад слышал о блестящей победе царицы. Хозяйки позволят ему посидеть ещё немного, чтобы у них дождаться подтверждения этой вести.

Видно было, что он не совсем спокоен.

Береника разделяла его тревогу, и её доброе лицо, оживлённое радостью по поводу благоразумного решения дочери, сделалось озабоченным, когда Архибий сказал:

— Теперь о цели моего посещения. Вы облегчили мне её исполнение. Я мог бы теперь вовсе не упоминать о ней, но считаю это нечестным. Я пришёл для того, чтобы на какое-то время удалить тебя из города. Мальчишеская дерзость сына Антония не представляет, на мой взгляд, ничего опасного. Но Барине не следует встречаться с Цезарионом.

— Пересели меня хоть на луну, только бы не видеть его! — воскликнула она. — Вот одна из причин, побуждающих меня изменить наш образ жизни. Неприлично мальчику, который должен ещё ходить в школу, так злоупотреблять своим высоким положением. И мне вовсе не хочется называть «царём» этого сонного мечтателя с жалкими, умоляющими глазами!

— Но есть ли страсть, которая не может затаиться в сердце сына таких людей, как Юлий Цезарь и Клеопатра? — заметил Архивий. — А на этот раз он воспламенился не на шутку. Знаю, дитя, что ты тут ни при чём! Как бы то ни было, подобные чувства не могут не огорчать сердца матери. Поэтому отъезд следует ускорить и держать в секрете твоё местопребывание. Он ещё не приступал ни к каким действиям, но от сына таких родителей можно всего ожидать!

— Ты пугаешь меня! — воскликнула Барина. — Видишь опасного ястреба в воркующем голубке, залетевшем в мой дом?

— Считаю его ястребом, — предостерег Архивий. — Ты приветливо принимаешь меня, Барина, и я люблю тебя с детства как дочь моего лучшего друга, но, предлагая тебе ехать в Ирению, я оберегаю не только тебя. Моя главная цель — избавить от горя или хотя бы простого беспокойства ту, которой я, как тебе известно, обязан всем.

Эти слова явно показали женщинам, что, как бы они ни были дороги Архивию, он не задумается принести их да, пожалуй, и весь свет в жертву покою и счастьем царицы.

Барина и не ожидала от него ничего другого. Она знала, что Архивий, сын бедного философа, обязан Клеопатре своим богатством и обширными поместьями, но чувствовала, что его страстная привязанность к царице, о которой он пёкся, как нежный отец, проистекала из другого источника. Обладая он честолюбием, ему бы ничего не стоило сделаться эпитропом и стать во главе правления, но — и это было известно всему городу — он не раз отказывался от выборных должностей, так как находил, что может принести больше пользы царице в скромной, незаметной роли советника.

Мать рассказывала Барине, что знакомство Архивия с Клеопатрой произошло ещё в детстве. Но подробностей их сближения она не знала. Всякого рода сплетни возникали на этот счёт и, украшенные разными выдумками и анекдотами, передавались из уст в уста как достоверные сведения. Барина, естественно, верила рассказам о детской любви царевны к сыну философа. По-видимому, его теперешнее отношение к ней подтверждало эту историю.

Когда он умолк, она сказала, что понимает его, и, указывая на портрет девятнадцатилетней Клеопатры работы Леонакса, прибавила:

— Не правда ли, в то время она была поразительно хороша?

— Так и изобразил её твой отец, — отвечал Архивий, — Леонакс нарисовал тогда же портрет Октавии и, кажется, находил её ещё красивее.

При этом он указал на портрет сестры Октавиана, нарисованный Леонаксом, когда она ещё состояла в первом браке с Марцеллом.

— Нет, — возразила Береника, — я очень хорошо помню это время. Могла ли я остаться равнодушной, слушая его восторженные рассказы о римской Гере^[26]? Я ещё не видала портрета, и на мой вопрос, неужели он находит Октавию красивее царицы, Леонакс с азартом воскликнул: «Октавия принадлежит к числу тех женщин, о которых говорят «хороша» или «не так хороша»; но Клеопатра, та стоит особняком, сама по себе, вне всякого сравнения».

Архивий утвердительно наклонил свою массивную голову и решительно произнёс:

— Ребёнком, впервые увиденным мной, она была прекраснейшей среди богов любви.

— А сколько же лет ей было тогда? — спросила Барина.

— Восемь лет! Как давно это было, а между тем я живо помню каждый час.

Барина попросила его тут же рассказать о том времени. Он задумался на минуту, потом поднял голову

и сказал:

— Пожалуй, тебе следует познакомиться поближе с женщиной, для которой я требую у тебя жертвы. Арий вам брат и дядя. Он близок к Октавиану, потому что был его наставником. Я знаю, что он чтит Октавию, сестру римлянина, как богиню. Теперь Марк Антоний борется с Октавианом за владычество над Римом; Октавия уже пала в борьбе с женщиной, о которой вы хотите услышать. Не моё дело судить; я могу только поправлять ошибки и предостерегать. Римские матроны курят фимиам Октавии и отворачиваются, когда услышат имя Клеопатры. Здесь, в Александрии, многие делают то же, думая, что и к ним перейдёт частица её святости. Они называют Октавию законной супругой, а Клеопатру — разлучницей, похитившей у неё сердце мужа.

— Только не я! — горячо воскликнула Барина. — Я часто слышала об этом от дяди. Антоний и Клеопатра страстно любили друг друга. Никогда стрела Амура не проникала так глубоко в сердца двух любящих! Но было необходимо избавить государство от кровопролития и гражданской войны. Антоний решил заключить союз с соперником и в залог искренности примирения согласился предложить руку Октавии, только что потерявшей своего первого супруга. Руку, но не сердце, потому что сердце его уже принадлежало царице Египта. И если Антоний изменил супруге, которую навязала ему государственная необходимость, то этим самым сохранил верность другой, имевшей больше прав на него. И если Клеопатра не захотела бросить Антония, которому клялась в вечной любви, то она была права, тысячу раз права! На мой взгляд, Клеопатра, что бы ни говорила об этом моя мать, — была и есть истинная супруга Антония перед бессмертными богами, а та, другая, хотя при её браке были соблюдены все обряды, все пункты, все формальности, только разлучница, не имевшая никакого права расторгать союз, которому боги радуются. Как бы ни возмущались люди и, прости меня, матушка, добродетельные матроны.

При этих словах Береника, слушавшая свою пылкую дочь с краской на лице, перебила её, сказав с некоторой опаской, но убеждённо:

— Я знаю, что теперь принято говорить, будто Клеопатра законная супруга Антония в глазах египтян и по их обычаю; знаю, что вы оба не согласны со мной. Но ведь Клеопатра гречанка, стало быть... Вечные боги!.. Можно её пожалеть; но брак — святое дело, и я не могу сказать ничего против Октавии. Она воспитывает и лелеет детей неверного мужа от его первого брака с Фульвией, а ведь, в сущности, какое ей до них дело? А как она старается уладить всё, что может повредить ему — ему, который сделался её врагом! Вряд ли какая-нибудь женщина в Александрии горячее, чем я, молит богов о победе Клеопатры и её друга над Октавианом. Его холодный рассудок, как бы ни восхищался им брат, претит мне. Но когда я гляжу на портрет Октавии, на это чудное, прекрасное, целомудренное, истинно благородное лицо, на это зеркало женской непорочности...

— Можешь им любоваться, — перебил Архибий, слегка прикасаясь к её руке, — только советую тебе повесить этот портрет где-нибудь в укромном месте и высказывать вслух своё мнение об Октавии только брату да такому надёжному другу, как я. Если мы победим, тогда, пожалуй, если же нет... однако вестник что-то замешкался...

Барина снова попросила его воспользоваться свободным временем и рассказать о царице. Она сама только однажды имела счастье обратить на себя её внимание на празднике Адониса. Клеопатра подошла к ней и поблагодарила за пение. Царица сказала всего несколько слов, но таким голосом, который проник в сердце Барины и точно приковал её к царице невидимыми нитями. При этом их взгляды встретились, и в первую минуту Барине захотелось прикоснуться губами хотя бы к краю платья своей царственной собеседницы, но тут же ею овладело такое чувство, будто из прекраснейшего цветка показалось жало ядовитой змеи...

Тут Архибий перебил Барину, заметив, что, насколько он напоминает, Антоний подошёл к ней после

пения вместе с царицей и что Клеопатре не чужды женские слабости.

— Ревность? — удивилась Барина. — Я никогда не доходила до такого тщеславия, чтобы вообразить что-нибудь подобное! Я подумала только, что Алексас, брат Филострата, настроил её против меня. Он ненавидит меня так же, как и мой бывший муж, потому что я... Но всё это так низко и отвратительно, что я не хочу портить себе настроение. Как бы то ни было, моё подозрение, что Алексас очернил меня перед царицей, не лишено основания. Он хитёр, как и его брат, и, втеревшись в доверие к Антонию, имеет возможность часто встречаться с Клеопатрой. Он отправился вместе с ними на войну.

— Я слишком поздно узнал об этом, притом же я ничего не значу в сравнении с Антонием, — заметил Архибий.

— Но я-то, естественно, обеспокоена, что царица явно настроена против меня. Во всяком случае, я заметила в её взгляде что-то враждебное, что оттолкнуло меня от неё, хотя сначала я стремилась к ней всем сердцем.

— И если бы другой не вмешался в отношения между вами, — прибавил Архибий, — ты бы уже не смогла расстаться с ней!.. Когда я в первый раз увидел её, то и сам был совсем ребёнком, а ей, как я уже сказал, было восемь лет.

Барина благодарно кивнула ему, принесла матери веретено, подлила воды в кружку с вином и сначала спокойно расположилась на подушках, потом слегка приподнялась и вся обратилась в слух, опершись локтями на колени и положив подбородок на руки.

— Вы знаете мой загородный дом в Канопе? — начал Архибий. — Сначала это был летний дворец царской фамилии. С тех пор как мы в нём поселились, там почти всё осталось по-прежнему. Даже сад не изменился. Он полон тенистыми старыми деревьями. Придворный врач Олимп выбрал этот уголок для царских детей, порученных попечениям моего отца. В Александрии в то время было беспокойно, так как Рим уже довлел над нами, точно злой рок, хотя ещё не признавал завещания, в котором злополучный Александр отказывал ему Египет, точно какое-нибудь поместье или раба.

Царём Египта был в то время довольно ординарный человек, величавший себя «Новым Дионисом»^[27] с довольно сомнительными правами на престол. Вы знаете, что народ прозвал его Авлетом^[28]. Действительно, больше всего на свете любил он музыку и сам играл на различных инструментах, и притом одинаково скверно на всех. Как пропойца, он оправдывал и другое своё прозвище. Остаться трезвым на празднике Диониса, земным воплощением которого он считал себя, значило нажать себе смертельного врага в его лице.

Жена Авлета, царица Тифена, и его старшая дочь, носившая твоё имя, Береника^[29], отравляли ему жизнь. В сравнении с ними он был во всех отношениях достойный и добродетельный человек. Во что превратились герои и мудрые, благомыслящие правители дома Птолемеев! Все пороки, все страсти свили гнездо в их дворце!

Авлет был, кстати, ещё далеко не из худших. Своим страстям он предавался без удержу, так как никто не научил его управлять ими. В случае опасности он не прочь был прибегнуть к убийству. Но всё-таки у него имелось одно несомненное достоинство: он питал отвращение к разврату, верил в добродетель и величие. В детстве ему попался хороший учитель. Кое-что из наставлений запало ему в душу, и вот он решил избавиться от пагубного влияния матери, по крайней мере, своих любимых детей: двух младших дочерей.

Как я узнал впоследствии, он намеревался доверить всецело их воспитание моему отцу. Но это оказалось невозможным. Греки могли обучать царских детей наукам, но за их религиозное воспитание египетские жрецы держались крепко. Врач Олимп — вы знаете этого почтенного старца — настаивал на том, что Клеопатра, не отличавшаяся крепким здоровьем, должна проводить зиму в Верхнем Египте, где

небо всегда ясно, а лето — на морском берегу, в каком-нибудь тенистом саду. Такой сад имелся при летнем дворце подле Канопы, и на нём остановился выбор врача. Когда мои родители переехали туда, он был совершенно пуст, но приезд царевен ожидался в самом непродолжительном времени. Для зимнего местопребывания Олимп выбрал островок Филы на нубийской границе, так как там находился знаменитый храм Исиды, жрецы которого охотно взялись смотреть за царевнами.

Обо всём этом царица и слышать не хотела, так как одна мысль провести лето вдали от Александрии, в каком-то захолустье под тропиками, внушала ей ужас. Итак, она предоставила мужу поступать как знает, да ей и самой хотелось избавиться от возни с детьми, так как позднее, после изгнания царя из Александрии, она ни разу к ним не заглянула. Правда, скорая смерть не оставила ей на это времени.

Её старшая дочь и преемница, Береника, последовала её примеру и не заботилась о сёстрах. Я слышал позднее, что она разузнавала, как их воспитывают, и была очень довольна, что учителя не стараются пробудить в них жажду власти.

Братья Клеопатры воспитывались на Лохиаде под руководством нашего соотечественника Феодота и под присмотром опекуна Потина.

Понятно, что жизнь нашей семьи совершенно изменилась с прибытием царских детей. Во-первых, мы переселились с площади Мусейона в канопский дворец и очень обрадовались старому тенистому саду. Как сейчас помню утро — мне было тогда пятнадцать лет, — когда отец сообщил, что вскоре с нами будут жить царские дочери. Нас было трое в семье: Хармиона, которая теперь отправилась на войну с царицей, так как Ира захворала перед самым отъездом, я и Стратон, которого уже давно нет в живых.

Нас просили вести себя вежливо и почтительно с царевнами. Да мы и сами понимали, что это особы важные, так как пустой и заброшенный дворец был перестроен сверху донизу к их приезду.

Накануне приезда девочек появились лошади, повозки, носилки, а на море лодки и великолепный корабль с полным вооружением. Кроме того, прибыла толпа рабов и рабынь и два толстых евнуха.

Я хорошо помню расстроенное лицо отца при виде этой оравы. Он тотчас отправился в город, и, когда вернулся, его светлые глаза смотрели по-прежнему весело. Вместе с ним приехал придворный чиновник и отправил обратно весь лишний народ и хлам, оставив только самое необходимое, по указаниям отца.

На следующее утро мы ожидали их приезда; лужайки и кустарники пестрели цветами, деревья уже оделись яркой зеленью — дело происходило в конце февраля. Я взобрался на большой сикомор перед воротами, чтобы увидеть их издали. Мне пришлось-таки изрядно подождать, и, окинув взором сад, я сказал себе, что он должен им понравиться, потому что такого нет ни при одном дворце в городе.

Наконец показались носилки, без вестников и свиты, как и просил отец, и когда девочки вышли из них, обе разом, у меня просто глаза разбежались. Та, которая не вышла, а выпорхнула, как мотылёк, из передних носилок, не была девочкой такой же, как все другие, она явилась передо мной, как желание, как надежда. И пока это нежное, прелестное существо осматривалось, поворачивая головку туда и сюда, и наконец уставилось большими влажными, точно умоляющими о помощи глазами на моих отца и мать, вышедших навстречу царевнам, я думал, что такова и была Психея, явившаяся с мольбой перед престолом Зевса.

Но и на другую стоило посмотреть!

«Не эта ли Клеопатра?» — подумал я.

Её можно было принять за старшую, но какая разница с первой! У той — она-то и оказалась Клеопатрой — всё, от вьющихся волос до малейшего жеста, казалось эфирным; вторая была точно выкована из меди. Обеими ногами выпрыгнула она из носилок, твёрдо ухватилась за дверцу и надменно

вздёрнула головку с густыми чёрными кудрями. Румянец играл на её белом личике, голубые глаза светились так же ярко, но выражение их было скорее повелительным, и, осматриваясь кругом, она слегка скривила губки, как будто всё окружающее представлялось ей низким и недостойным её особы.

Это несколько огорчило меня, и я подумал, что как ни хорошо у нас, однако такая простая и скромная — благодаря стараниям моего отца — обстановка должна показаться бедной и жалкой после золота, мрамора и пурпура царских покоев.

Она тоже была хороша собой и невольно привлекала внимание. Впоследствии, видя её повелительные манеры и настойчивость, с которой она добивалась исполнения всех своих желаний, я подумал в своей ребяческой наивности, что Арсиное следовало бы быть старшей, так как она более способна управлять государством, чем Клеопатра. Я сообщил об этом сёстрам, но вскоре мы все увидели, кому свойственно истинное величие. Арсиноя, если её желание не исполнялось, могла плакать и капризничать, приходиться в неистовство или, когда ничего другого не оставалось, канючить и приставать. Клеопатра же достигала своих целей иными способами. Она уже тогда знала, каким оружием может одержать победу, и, пользуясь им, неизменно оставалась царской дочерью.

Пафос, напыщенность были так же чужды этому воплощению кроткой, нежной прелести, как любой дочери ремесленника; нежный голос, чарующий взгляд и в крайнем случае немые слёзы — вот какими средствами побеждала она самый решительный отказ. Никакое сопротивление не могло устоять против этих чар, к которым присоединялись несколько слов вроде: «Как бы я была рада» или: «Разве ты не видишь, что это огорчает меня?» Да и позднее, в самые критические минуты жизни, немые слёзы и чарующий голос всегда помогали ей одерживать победу.

Мы, молодёжь, вскоре подружились с ними. Учение началось не прежде, чем царевны освоились в нашей семье. Арсиное это пришлось по вкусу, хотя она уже умела читать и писать; но Клеопатра не раз требовала, чтобы отец, о мудрости которого она много наслышалась, начал занятия как можно скорее.

Царь и прежние учителя Клеопатры много рассказывали отцу о дарованиях этого необыкновенного ребёнка, а врач Олимп поймал меня как-то и заметил, что мне нужно держать ухо востро, не то царевна несомненно быстро обгонит сына философа. Я всегда был в числе первых учеников и, смеясь, отвечал ему, что не нуждаюсь в предостережениях.

Оказалось, однако, что предостережение Олимпа имело основание. Вы, пожалуй, подумаете, вот расчувствовался старый дурак и вспоминает о талантливой девочке, как о какой-то богине. Богиней она не была, конечно, ибо лишь бессмертные свободны от слабостей и недостатков.

— Что же тебя заставило приравнять Клеопатру к богам? — перебила Барина.

Архибий улыбнулся и отвечал слегка укоризненным тоном:

— Если бы я вздумал рассказывать вам о её добродетелях, тебе вряд ли бы вздумалось расспрашивать меня о подробностях. Но к чему я буду скрывать то, что она выставляет напоказ перед целым светом? Ложь и лицемерие всегда были ей чужды, как рыбная ловля сыну пустыни. Отличительными чертами этого удивительного существа всегда были два неутолимых желания: господствовать над всяким, с кем она сталкивалась, и второе — любить и быть любимой. Из них выросло всё то, что ставит её так высоко над остальными женщинами. Честолюбие и любовь, как два могучих крыла, вознесли её на такую высоту. До сих пор им помогало редкое счастье, и так, если угодно олимпийцам, останется и на будущее время!

Здесь Архибий остановился, отёр капли пота, выступившие на лбу, осведомился насчёт вестника и, вернувшись к хозяйкам, продолжал:

— Царские дочери сделались нашими товарищами и с течением времени друзьями. В первые годы их отец позволял им проводить на острове Филы только самые суровые зимние месяцы, так как не хотел отпускать их далеко.

Правда, он редко виделся с ними. Иной раз проходила неделя за неделей, а он и не заглядывал в наш дом. Иногда же являлся каждый день, в простом платье и носилках, так как скрывал эти посещения от всех, кроме врача Олимпа.

Именно поэтому мне частенько приходилось видеть его. Это был высокий, сильный человек, с красным одутловатым лицом, возившийся с детьми, как ремесленник после работы. Впрочем, посещения его всегда бывали непродолжительными. По-видимому, он приходил, только чтобы повидаться с дочерьми. Может быть, ему хотелось посмотреть, хорошо ли им у нас живётся. Во всяком случае никто не смел подходить к группе вязов, где он играл с ними.

Но в густой кроне дерева нетрудно было спрятаться, и, таким образом, я мог слышать их беседы.

Клеопатре с самого начала понравилось у нас, Арсиноя же не сразу привыкла к новой обстановке; но царь придавал значение только мнению старшей, своей любимицы, в которой души не чаял. Часто, глядя на неё, он покачивал головой и, слушая её бойкие ответы, смеялся так громко, что его зычный хохот доносился до дома.

Однажды, впрочем, довелось мне увидеть, как слёзы катились по его багровому лицу, хотя на этот раз его посещение было ещё непродолжительнее, чем всегда. Он явился в закрытой армамаксе^[30] и прямо из нашего дома отправился на корабль, который должен был отвезти его на Кипр, а оттуда в Рим. Александрийцы, с царицей во главе, принудили его оставить город и страну.

Конечно, он был недостоин венца, но к младшим дочерям относился как любящий отец. Напротив, страшно было слышать, как он проклинал перед детьми мать и старшую дочь, приказывая ненавидеть их и помнить и любить его, отца.

Мне тогда исполнилось шестнадцать, Клеопатре десять лет, и у меня, привыкшего чтить родителей выше всего на свете, мороз пробежал по коже, когда после ухода отца маленькая Арсиноя воскликнула, обращаясь к сестре: «Мы будем их ненавидеть! Пусть погубят их боги!» Но мне стало легче на душе, когда Клеопатра возразила: «Лучше постараемся быть добрее их, Арсиноя, чтобы боги возлюбили нас и возвратили нам отца».

«Чтобы он сделал тебя царицей?» — спросила та насмешливо, но всё ещё дрожа от гневного возбуждения.

Клеопатра как-то странно взглянула ей в лицо. Видно было, что она тщательно взвешивает значение этих слов, и я точно сейчас вижу, как она внезапно выпрямилась и с достоинством ответила: «Да, я хочу быть царицей!»

Потом выражение её лица изменилось, и она сказала своим мелодичным голосом: «Не правда ли, ты никогда больше не повторишь таких ужасных слов?»

Это случилось в то время, когда учение моего отца уже начинало овладевать её душой. Предсказание Олимпа сбылось. Хотя я посещал школу, но мне было позволено давать ответы на те же темы, которые отец предлагал ей, и не раз приходилось мне пасовать перед Клеопатрой.

Вскоре мне стало ещё труднее, потому что пытливый ум этого замечательного ребёнка требовал серьёзной пищи, и её начали обучать философии. Отец принадлежал к школе Эпикура^[31], и ему удалось сверх всяких ожиданий увлечь Клеопатру его учением. Она изучала и других великих философов, но всегда возвращалась к Эпикуру и убеждала нас следовать правилам благородного самосца.

Вы, благодаря отцу и брату, знакомы с учением стоиков, но, без сомнения, вам известно также, что Эпикур проводил последние годы жизни в тихом созерцании и оживлённых беседах с друзьями и учениками в своём афинском саду. «Так, — говорила Клеопатра, — должны жить и мы, и называться "детьми Эпикура"».

За исключением Арсинои, предпочитавшей более весёлое времяпровождение, причём она брала в товарищи моего брата Стратона, уже тогда отличавшегося геркулесовой силой, нам пришёлся по вкусу совет Клеопатры. Меня выбрали руководителем, но, видя, что она охотно взяла бы эту роль на себя, я уступил ей с радостью.

После обеда мы отправились в сад и, прогуливаясь взад и вперёд, беседовали о высшем благе. Беседа шла оживлённо, Клеопатра руководила ею с таким искусством и так удачно решала спорные вопросы, что мы с неудовольствием встречали удары в медную доску, призывавшие нас домой, и заранее радовались предстоящей назавтра беседе.

Утром отец увидел людей перед воротами сада, но не успел справиться о причине их появления, так как Тимаген, преподававший нам историю — впоследствии, как вам известно, он был взят в плен на войне и отправлен в рабство в Рим, — явился к нему с какой-то доской. На ней была та самая надпись, которую Эпикур когда-то вывесил на воротах своего сада: «Странник, здесь тебе будет хорошо, здесь высшее благо: веселье». Оказалось, что Клеопатра рано утром сделала эту надпись на крышке небольшого столика и велела рабу потихоньку прикрепить её к воротам.

Эта выходка едва не погубила наши собрания, хотя сделана была единственно с целью приблизиться как можно более к желаемому образцу.

Впрочем, отец разрешил продолжать собрания, но только строго-настрого запретил называться «эпикурейцами» вне сада, потому что этот благородный эпитет давно уже приобрёл совершенно ложный смысл. Эпикур говорит, что истинное счастье в душевном спокойствии и отсутствии огорчений.

— Однако, — перебила Барина, — все называют эпикурейцем такого, например, безбожника, как Исидор, цель жизни которого предаваться наслаждениям, какие только можно купить за деньги. Мать недавно ещё доверяла меня воспитателю, по мнению которого «веселье есть высшее благо».

— Ты, внучка философа, — возразил Архибий, покачав седой головой, — должна была бы знать, что значит веселье в понимании Эпикура. Имеете вы понятие о его философии? Смутное? В таком случае позвольте мне немного порассуждать на эту тему. Слишком часто смешивают Эпикура с Аристиппом^[32], который ставил чувственные наслаждения выше духовных, а физическую боль считал тяжелее нравственной. Эпикур же считает высшими наслаждения духовные, потому что чувственные, которые он, впрочем, предоставляет сугубо индивидуально оценивать каждому, имеют значение лишь в настоящем, тогда как духовные простираются на прошедшее и будущее. Как я уже сказал, в глазах эпикурейца цель жизни есть достижение душевного спокойствия и избавление от страданий — это два высших блага. К добродетели нужно стремиться, потому что она даёт веселье, но нельзя быть добродетельным, не будучи мудрым, благородным и справедливым, а такой человек спокоен духом и пользуется истинным счастьем. Именно в этом смысл теории Эпикура.

Как подходило это учение к чистой, не омрачённой страстями душе Клеопатры! Её деятельный ум не мог успокоиться, пока не овладел им вполне. А избавление от страданий, которое учитель считает первым условием счастья и высшим благом, конечно, являлось важнейшим условием счастливой жизни для неё, с трудом переносившей малейшее грубое прикосновение.

И вот это дитя, которое наш отец назвал однажды думающим цветком, переносило свою горькую участь, изгнание отца, смерть матери, гнусность сестры Береники без малейшей жалобы, как героиня.

Даже со мной, которому доверяла, как брату, она говорила лишь намёками об этих грустных вещах. Я знаю, что она вполне ясно понимала всё происходившее, знаю, как глубоко она чувствовала. Скорбь становилась между ней и «высшим благом», но она пересиливала её. А как упорно работало это нежное создание, преодолевая все трудности и обгоняя нас с Хармионой!

Тогда-то я понял, почему представительницей науки между богами является дева и почему её изображают с оружием. Вы знаете, что Клеопатра владеет множеством языков. Замечание Тимагена запало ей в душу: «С каждым языком, который ты изучишь, — сказал он, — ты приобретаешь народ».

Она знала, что под властью её отца находится много народов, и все они должны любить её, когда она станет царицей. Конечно, она начала с господствующих, а не с покорённых. Кстати, ей хотелось изучить Лукреция[33], который излагает учение Эпикура в стихах. Отец взялся учить её, и уже на следующий год она читала поэму Лукреция так же легко, как греческую книгу. Египетский она знала кое-как, но быстро освоила его. Встретив на острове Филы троглодита, она ознакомилась и с его языком. Здесь, в Александрии, много евреев, они обучили её своему языку, а затем она изучила и родственный еврейскому — арабский.

Когда, много лет спустя, Клеопатра посетила Антония в Тарсе, его воины думали, что им показывают образчик египетского колдовства, так как она разговаривала с каждым военачальником на языке его племени.

Любимым поэтом её был римлянин Лукреций, хотя она, так же как и я, не питала симпатии к его народу. Но самоуверенность и сила врага импонировали ей, и я слышал однажды, как она воскликнула: «Да, если бы египтяне были римлянами, я охотно променяла бы наш сад на трон Береники!»

Лукреций постоянно приводил её к Эпикуру, пробуждая тягостные сомнения в её беспокойной душе. Вы знаете, что по его учению жизнь сама по себе вовсе не такое счастье, чтобы считать бедствием несуществование. Поэтому прежде всего необходимо отказаться от предрассудка, по которому смерть считается величайшим несчастьем. Только та душа достигнет спокойствия, которая не боится смерти. Кто знает, что со смертью исчезают чувствительность и мысль, тот не испугается кончины, так как, расставаясь с тем, что ему дорого и мило, он утрачивает все желания и стремления. Заботы о трупе Эпикур признает величайшей бессмыслицей, тогда как религия египтян придерживается совершенно противоположных взглядов на этот счёт, которые Анубис[34] старался внушить Клеопатре.

Это удалось ему в некоторой степени, так как обаяние его личности имело на неё значительное влияние. К тому же ей от рождения присуще стремление к таинственному и сверхъестественному, как моему брату Стратону физическая сила, а тебе, Барина, певческий дар.

Вы видели Анубиса. Кто из александрийцев не знает этого замечательного человека, и кто может забыть его, взглянув хоть раз ему в глаза? Он в самом деле обладает сверхъестественным могуществом. Если Клеопатра, чистокровная гречанка, придерживается египетской религии, любит Египет, готова всем пожертвовать ради его величия и независимости, то это дело его рук. Её называют «Новой Исидой», а Исида — покровительница таинственной мудрости египтян, с которой Клеопатра познакомилась благодаря Анубису, занимавшемуся с ней в обсерватории и в лаборатории...

Но начало всему было положено в нашем эпикурейском саду. Мой отец не мог препятствовать Анубису, так как отец Клеопатры сообщил из Рима, что ему будет очень приятно, если дочь полюбит египетский народ и его тайную науку.

Проживая на Тибре, Авлет не жалел египетского золота, стараясь привлечь на свою сторону влиятельных людей. Помпеи, Цезарь и Красе, заключив триумвират, согласились вернуть трон Птолемаем. Это стоило Птолемею XII не один миллион. Помпеи сам хотел отвезти его в Египет, но его осторожные

друзья не допустили этого. Предприятие было возложено на Габиния, наместника Сирии. Однако властители Египта не собирались уступать трон без сопротивления. Вы знаете, что царица Береника дважды выходила замуж после изгнания отца. Первого мужа, совершенно ничтожного человека, она велела удавить; второго выбрали ей александрийцы. Это был мужественный человек, он смело взялся за оружие при появлении Габиния и пал на поле битвы.

Вскоре сенат узнал, что Габиний восстановил власть Птолемеев. До нас вести доходили не так быстро. Мы ждали их с таким же волнением, как сегодня я жду известий об исходе сражения.

В то время Клеопатре исполнилось четырнадцать лет; она была уже в расцвете своей красоты. Вы видите на портрете этот распустившийся цветок, но бутон обладал ещё большей прелестью. Глаза её!.. Как ясно и спокойно они смотрели! Когда же ей случалось развеселиться, они сияли, как звёзды, а пунцовые губки принимали невыразимо плутовское, чарующее выражение, и на щеках появлялись ямочки, которые и теперь, когда стали гораздо глубже, восхищают каждого. Очертания носа были нежнее, чем теперь, и лёгкая горбинка, которую вы видите на портрете и которая слишком резко обозначена на монетах, была едва-едва различима. Волосы тоже потемнели впоследствии. Расчёсывать их пышные волны было лучшим удовольствием для моей сестры Хармионы. Она сравнивала их с шёлком и была права. Я знаю это, потому что однажды на празднике Исиды Клеопатра должна была распустить их, когда шла с сестрой за изображением богини. На обратном пути она, ради шутки, несколько раз встряхивала головой. Тогда волосы рассыпались, как водопад, закрывая её лицо и фигуру. Она была, как и ныне, среднего роста, но удивительно пропорционально сложена и ещё изящнее и грациознее, чем теперь.

Клеопатра умела привлекать к себе сердца. И хотя в действительности предпочитала другим моего отца, которого высоко ценила, меня, к которому относилась с большим доверием, Анубиса, внушавшего ей благоговейное почтение, и остроумного Тимагена, с которым любила поспорить, но со стороны казалось, что она относится одинаково ко всем окружающим, тогда как Арсиноя забывала обо мне в присутствии Стратона и глаз не сводила с красавца Менодора, ученика отца.

Когда прошёл слух о том, что римляне собираются вернуть царя в Александрию, царица Береника явилась к нам, чтобы отвезти девочек в город. Клеопатра же попросила оставить её у наших родителей и не прерывать её учения, на что Береника презрительно улыбнулась и заметила, обратившись к своему мужу Архелаю: «Кажется, в самом деле ей безопаснее всего оставаться с книгами».

В прежнее время опекун Потин позволял иногда братьям царевен навещать своих сестёр. Теперь же их не выпускали с Лохиады; да сёстры и не особенно стремились их видеть. Мальчики дичились, и в своих египетских одеяниях, с длинными прядями волос на висках, по египетскому обычаю, казались им чужими.

Когда прошёл слух, что римляне выступили из Газы, обеими девочками овладело страстное возбуждение. У Арсинои оно светилось в каждом взгляде, Клеопатра умела его скрывать, но лицо её, которое нельзя было назвать белым или румяным, как у её сестры, а... не знаю, как сказать...

— Я знаю, что ты имеешь в виду, — подхватила Барина. — Когда я видела её, меня больше всего восхитил в ней матовый оттенок кожи, сквозь которую румянец пробивался, как свет сквозь эту алебастровую лампу или как краснота персика сквозь его пушок. Мне случалось иногда видеть это у выздоравливающих. Афродита дарит этот оттенок лицу и телу своих любимцев, как бог времени одевает бронзу благородной патиной. Нет ничего восхитительнее таких женщин, когда они краснеют.

— Ты, я вижу, наблюдательна, — с улыбкой заметил Архибий. — Но когда радость или смущение бросали её в краску, её лицо напоминало не то что зарю, а слабый отблеск зари на западной стороне неба. Когда же её охватывал гнев, а это случалось не раз ещё до возвращения царя, она казалась безжизненной мраморной статуей: даже губы её белели, как у трупа.

Отец говорил, будто и в ней сказывалась кровь Фискона и других предков, не умевших обузывать свои страсти... Но буду продолжать, а не то вестник не даст мне дорассказать.

Итак, Габиний вернул царя в Александрию. Но во время его похода с римским войском и вспомогательным отрядом иудейского наместника общее внимание привлекали не Габиний и не Антипатр[35], командовавший войском Гиркана. Только и речи было, что о начальнике всадников Антонии. Он благополучно провёл войска через пустыню между Сирией и египетской Дельтой, не потеряв ни единого человека на этом опасном пути, погубившем уже немало войск у Баратр[36]. Не Антипатру, а ему сдался без боя Пелусий. Он победил в двух сражениях. Второе, в котором после отчаянного сопротивления пал супруг Береники[37], решило, как вам известно, участь страны.

С тех пор как имя Антония сделалось известным, обе девочки не уставали о нём расспрашивать. Говорили, что это знатнейший из знатных, храбрейший из храбрых, беспутнейший из беспутных и красивейший из красивых римлян.

Служанка из Мантуи, с которой Клеопатра упражнялась в латинском языке, не раз видела его и ещё больше слышала о нём, так как образ жизни Антония служил темой бесконечных пересудов в римском обществе. Он ведёт свой род по прямой линии от Геркулеса, и его наружность и великолепная чёрная борода напоминают родоначальника. Вы видели его и знаете, насколько он может заинтересовать девушку, а в то время он был почти двадцатью пятью годами моложе, чем ныне.

Как жадно прислушивалась Арсиноя, когда упоминали его имя, как изменялась в лице Клеопатра, когда Тимаген вздумал изображать его безнравственным повесой. Ведь Марк Антоний вернул престол их отцу.

Авлет не забыл своих девочек. Он, державшийся в стороне от сражений, вступил в город тотчас после решительной победы.

Дорога пролегла мимо нашего сада.

Царь только за четверть часа до прибытия предупредил дочерей через скорохода, что хочет повидаться с ними. Их поспешно одели в праздничные платья, и, надо правду сказать, обе могли порадовать родительское сердце.

Клеопатра всё ещё не переросла Арсиною, но в четырнадцать лет она была уже вполне расцветшей девушкой, тогда как вторая по наружности и сложению казалась ещё ребёнком. В душе-то она уже не была им.

Наскоро были подготовлены букеты для встречи царя. Мои родители провожали девочек до ворот сада. Я видел всё, что затем произошло, но ясно разобрал только речи мужчин.

Царь вылез из походной колесницы, запряжённой восьмью белыми индийскими конями. Знатный придворный, сопровождавший царя, помог ему выйти. Красное лицо его сияло, когда он здоровался с дочерьми. Видно было, что его поразил и обрадовал их вид, в особенности Клеопатры. Правда, он обнял и поцеловал Арсиною, но потом уж глаз не сводил со старшей дочери.

Но и младшая была хороша собой! Не будь сестры, она привлекла бы к себе общее внимание. Но Клеопатра казалась солнцем, в лучах которого меркнет всякое другое светило. Или нет! Солнцем её нельзя назвать. От того-то отчасти и зависит её очарование, что всякий невольно остановит на ней взор, стараясь решить, в чём же заключается её неизъяснимая прелесть.

Антоний с первой же встречи поддался её чарам. Он подъехал к колеснице и с небрежной учтивостью поклонился царевнам. Но когда Клеопатра, отвечая на его вопрос: заслужил ли он благодарность царевен тем, что так скоро вернул престол их отцу, — сказала, что как дочь она рада и признательна полководцу, а

как египтянка не знает, что ему ответить, — он посмотрел на неё пристальнее.

Я узнал об этом ответе только впоследствии, но видел, как он соскочил с коня, бросив поводья знатному придворному Аммоню, тому самому, который помогал царю выйти из колесницы. Охотнику на женщин попала редкостная дичь. Он вступил в разговор с Клеопатрой, отец которой тоже принял в нём участие, причём нередко слышался его громкий хохот.

Нельзя было узнать серьёзную ученицу Эпикура. Нам нередко приходилось слышать от неё меткие слова и глубокие замечания; но на шутки Тимагена она редко отвечала шутками. Теперь же — я видел это по лицам собеседников — она остротами отражала замечания Антония, словно ей в первый раз встретился человек, ради которого стоило пустить в ход все дарования своего быстрого и глубокого ума. И вместе с тем она сохраняла своё женское достоинство: глаза её светились не сильнее, чем во время споров со мной или с моим отцом.

Иначе держала себя Арсиноя.

Когда Антоний соскочил с коня, она подошла поближе к сестре, но, видя, что римлянин упорно не обращает на неё внимания, вспыхнула и закусила свою пунцовую губку. Беспокойство овладело всем её существом, и я видел по глазам и дрожащим ноздрям, что она едва сдерживает слёзы. При всём моём пристрастии к Клеопатре я не мог не пожалеть её сестру. Мне так и хотелось дёрнуть за руку Антония, который воистину выглядел богом войны, и шепнуть ему, чтобы он обратил внимание на бедного ребёнка, тем более что ведь это тоже царская дочь.

Но Арсиное предстояло ещё большее разочарование, когда царь, державший в руке оба букета, подал знак к отъезду. Антоний взял у него букет и звучным голосом произнёс: «Зачем столько цветов тому, кто называет дочерью такой цветок?» Он протянул букет Клеопатре и сказал, приложив руку к сердцу, что надеется увидеть её в Александрии. Затем вскочил на лошадь, которую всё ещё держал под уздцы бледный от злости придворный.

Авлет был в восторге от своей старшей дочери и сообщил моему отцу, что послезавтра возьмёт девочек в город. Завтра ему предстояли такие дела, которых им лучше было не видеть. Летний дворец вместе с садом он подарил отцу и его потомкам, в знак своей благодарности. Он обещал распорядиться, чтобы перемена владельца была отмечена в кадастровых книгах.

Действительно, он исполнил обещание в тот же день. Это распоряжение было бы даже его первым делом по возвращении на престол, если б ему не предшествовало другое: казнь Береники.

Тот самый царь, которого всякий присутствовавший при его свидании с дочерьми назвал бы добродушным человеком и нежным отцом, готов был истребить половину граждан Александрии и сделал бы это, не вмешайся Антоний. Римлянин не допустил кровопролития и почтил убитого мужа Береники пышными похоронами.

Уезжая, он ещё раз обернулся и поклонился Клеопатре. Арсиноя тем временем убежала в сад. По её опухшему лицу видно было, что она горько там плакала.

С этого дня она возненавидела Клеопатру.

Авлет вызвал обеих дочерей в Александрию. Происходило это с царской пышностью. Александрийцы с восторженными криками толпились вокруг царевен, которых несли на золотых креслах, под опахалами из страусовых перьев, в толпе знатных сановников и вождей, телохранителей и сенаторов. Клеопатра с гордым величием, как будто была уже царицей, отвечала на приветствия народа. А совсем недавно она с полными слёз глазами прощалась с каждым из нас, обещая всегда помнить и любить своих друзей, так нежно говорила со мной, которого союз эфебов [\[38\]](#) уже избрал своим главой...

Архибия прервал слуга, объявивший о приходе вестника. Он поспешно встал и пошёл в мастерскую, чтобы поговорить с прибывшим с глазу на глаз.

VI

Посланцы Архибия не могли узнать ничего достоверного. Но один из скороходов царицы передал им записку Иры, пригласившей Архибия к себе на завтра. Она писала, что получены неблагоприятные, хотя, к счастью, ещё сомнительные известия. Регент не жалел усилий, чтобы получить достоверные сведения, но ему, Архибию, известно, с каким недоверием относятся моряки и всё население гавани к правительству. Независимый человек может скорее добиться толку, чем начальник гавани со всеми своими кораблями и матросами.

К этой табличке была приложена другая, на которой значилось, что подателю сего разрешается, именем регента, беспрепятственно выезжать за сторожевую цепь гавани, отправляться в открытое море и возвращаться, когда ему вздумается.

Посланник Архибия, начальник его корабельных рабов, был опытным моряком. Он взялся в два часа приготовить «Эпикура», корабль, подаренный Архибию Клеопатрой, для плавания в открытое море, и обещал прислать за господином повозку, чтобы не потерять ни минуты времени.

Вернувшись к хозяйкам, Архибий спросил, не злоупотребит ли он их гостеприимством, если останется ещё на некоторое время (было уже около полуночи). Те отвечали, что будут очень рады, и просили его продолжать рассказ.

— Я должен торопиться, — сказал он, принимаясь за ужин, который тем временем приготовила Береника. — О последующих годах мне почти нечего сказать, тем более что всё это время я был всецело поглощён занятиями при Мусейоне.

Что касается Клеопатры и Арсинои, то в качестве царевен они стояли во главе двора. День, когда они покинули наш дом, был последним днём их детства.

Возвращение ли царя или встреча с Антонием были тому причиной — я не берусь судить, — только в Клеопатре произошла большая перемена.

Перед отъездом царевен моя мать жаловалась, что Клеопатру приходится отдавать такому отцу, как Авлет, а не достойной этого названия матери, так как лучшая из женщин могла бы считать себя счастливой, имея такую дочь. Позднее её характер и всё её существо восхищали скорее мужчин, чем женщин. Стремление к душевному миру исчезло. Только по временам ей надоедали шумные празднества, музыка и пение, никогда не прекращавшиеся во дворце коронованного виртуоза. Тогда она являлась в наш сад и проводила тут по несколько дней. Арсиноя никогда не сопровождала её, она постоянно увлекалась то каким-нибудь белокурым офицером из отряда германских всадников, оставленного Габинием в Александрии, то знатным македонянином из царской свиты.

Клеопатра жила отдельно от неё, и Арсиноя не раз открыто выражала своё нерасположение к сестре, с тех пор как та просила её положить конец сплетням, ходившим по поводу её любовных походов.

Никаких подобных историй с Клеопатрой не случилось.

Хотя по временам она занималась таинственной наукой египтян, но светлый ум её настолько освоился с эллинской философией, что ей доставляло удовольствие беседовать в Мусейоне, куда заглядывала она нередко, с представителями различных школ или слушать их диспуты. Бывая у нас, она говорила, что скучает по мирной жизни в эпикурейском саду, но тем не менее довольно усердно занималась мирскими и государственными делами. Всё, что происходило в Риме, цели и стремления

партий, было ей известно так же хорошо, как характеры, способности и цели их вождей.

С сердечным участием следила она за успехами Антония. Ему первому подарила она свою молодую страсть. Она ожидала от него великих подвигов, но его дальнейшее поведение, по-видимому, не оправдало этих надежд.

В её отзывах о нём начинало чувствоваться презрение, но всё-таки она не могла оставаться равнодушной к нему.

Помпея, вернувшего престол её отцу, она считала скорее счастливым, чем великим и мудрым. Напротив, о Юлии Цезаре отзывалась с величайшим уважением задолго до встречи с ним, хотя ей было известно, что он не прочь сделать Египет римской провинцией. Она надеялась, что Юлий покончит с ненавистной республикой и сделается тираном над высокомерными властителями мира. Но приятнее было бы видеть на его месте Антония. Как часто она прибегала к магии, стараясь узнать его будущее! Отец принимал участие в этих занятиях, тем более что рассчитывал получить от могущественной Исиды исцеление своих многочисленных и тяжких недугов.

Братья Клеопатры ещё не вышли из детского возраста и находились в полной зависимости от опекуна Потина, которому царь доверил управление государством, и воспитателя Феодота, умного, но бессовестного ратора. Два этих человека и начальник войск Ахилла не прочь были бы возвести на престол Диониса, старшего сына царя, так как надеялись сохранить над ним власть; но Флейтист обманул их надежды. Вы знаете, что он назначил своей преемницей Клеопатру, с тем, однако, чтобы Дионис разделял с ней власть в качестве супруга. Это возбудило большое неудовольствие в Риме, хотя вполне согласовалось со старинным обычаем дома Птолемеев и египтян.

Авлет умер. Клеопатра сделалась царицей и вместе с тем супругой десятилетнего мальчика, не питая к нему даже родственной привязанности. Тем не менее она обвенчалась со своенравным ребёнком, которому воспитатели внушали, что он один должен управлять государством.

Тут началось для неё тяжёлое время. Жизнь превратилась в непрерывную борьбу со злостными интригами, исходившими главным образом от сестры. Арсиноя окружила себя собственным двором, во главе которого стоял евнух Ганимед, опытный полководец и умный, преданный ей советник. Ему удалось сблизить её с Потинем и другими правителями, и в конце концов все они объединились в желании лишить Клеопатру престола. Потин, Феодот и Ахилла ненавидели её, потому что чувствовали её превосходство и сознавали, что она видит их насквозь. Им бы скоро удалось достигнуть своей цели, если бы за Клеопатру не стояли александрийцы с эфебами во главе, среди которых я ещё пользовался некоторым влиянием. Вообще юношество было на её стороне, и большинство знатных македонян из телохранителей пошли бы за неё на смерть, хотя им приходилось вздыхать по ней безо всякой надежды, как по неприступной богине.

Когда Птолемей XII умер, ей исполнилось семнадцать лет, но она не хуже мужчины умела разрушать козни своих врагов и притеснителей. Сестра моя, Хармиона, решившая поступить к ней в услужение, стала её верной помощницей. В то время она была молода и хороша собой, недостатка в женихах у неё не было, но царица точно приковала её к себе невидимыми цепями. Хармиона добровольно отказалась от любви благородного человека — ты знаешь его, он стал впоследствии твоим мужем, Береника, — не желая покидать свою царственную подругу в трудную минуту. С тех пор моя сестра замкнула своё сердце для любви. Оно принадлежит Клеопатре. Ради неё одной она живёт, думает, хлопочет до сего дня. К тебе, Барина, она расположена, потому что ей дорог был твой отец, Леонакс. Ира, имя которой так часто упоминается наряду с её именем, дочь моей старшей сестры, которая была уже замужем, когда царь доверил моему отцу своих дочерей. Она на двенадцать лет моложе Клеопатры, но и ей дороже всего на свете её госпожа. Отец её, богач Кратес, делал всё, чтобы удержать дочь от поступления на службу к царице, но безуспешно. Довольно было одного свидания с этой удивительной женщиной, чтобы Ира

навек приковала себя к ней.

Но я должен торопиться. Вам известно, как приняла Клеопатра сына Помпея, когда он посетил Александрию. Со времени встречи с Антонием она не проявляла такой благосклонности ни к одному человеку; но здесь действовала не любовь, а желание сохранить независимость родины. Отец Гнея был в то время могущественным человеком, и государственная мудрость заставляла её повлиять на него при посредничестве сына. Итак, молодой римлянин расстался с ней «влюблённым по уши», как утверждали египтяне. Это радовало, но и в значительной мере облегчило задачу её врагов. Каких только сплетен не распустили они на её счёт. Начальники телохранителей, с которыми она держала себя неприступной царицей, видели, что к Помпею Клеопатра относилась как к равному себе. В театрах и других публичных местах она на глазах многих свидетелей платила за его любезности той же монетой. А в то время ненависть к римлянам достигла своего апогея. Регенты, вкуче с Арсиной, распустили слух, будто Клеопатра хочет передать Египет Помпею, если только сенат доверит ей единоличную власть над новой провинцией и поможет отделаться от брата-супруга. Она должна была бежать и сначала направилась к сирийской границе, рассчитывая найти поддержку среди азиатских владетелей. Мне и моему брату Стратону — ты знала, Береника, этого славного юношу, получившего венки на олимпийских играх, — поручено было доставить ей казну. Мы подвергались большой опасности, но охотно взялись за дело и покинули Александрию с несколькими верблюдами, повозкой, запряжённой быками, и толпой рабов. Предстояло идти к Газе, где Клеопатра уже начала собирать войско. Мы переоделись набатейскими купцами, и тут то мне пригодилось знание языков, которые я изучил.

Время было тревожное. Имена Помпея и Цезаря повторялись всеми. После поражения при Диррахии дело Юлия казалось проигранным, но Фарсальская битва снова дала ему перевес. Вопрос был в том, за кем пойдёт Восток. Оба казались любимцами счастья. Теперь нужно было решить, к кому примкнуть.

Сестра моя Хармиона отправилась с царицей, но при посредстве одной из служанок Арсиной мы узнали, что участь Помпея решена. После поражения при Фарсале он бежал к египетскому царю, вернее, к людям, которые им управляли, в поисках убежища. Потин и его сторонники очутились в самом затруднительном положении. Войска и корабли победоносного Цезаря находились недалеко; в египетском войске служило много воинов Габиния. Принять Помпея — значило нажать врага в лице победителя, Цезаря. Мне довелось стать свидетелем ужасного решения этой задачи. Гнусные слова Феодота: «Дохлые собаки не кусаются» — были претворены в жизнь.

Брат мой и я с нашей драгоценной кладью достигли Казия^[39] и разбили палатки в ожидании вестника, когда заметили большой отряд вооружённых воинов, приближавшийся со стороны города. Сначала мы испугались, уж не погоня ли это за нами; но лазутчик уведомил нас, что сам царь находится в отряде, а в то же время к берегу приблизился большой римский адмиральский корабль. Это мог быть только корабль Помпея. Стало быть, направление политики изменилось, и царь явился лично приветствовать гостя. Войска расположились на плоском побережье вокруг Казийского храма Амона.

Сентябрьское солнце ярко светило и играло на оружии воинов. С высокого гребня, окаймлявшего пересохшее русло реки, в котором мы разбили палатку, было видно что-то кроваво-красное, развевавшееся на ветру. То была пурпурная мантия царя. Лазурные воды тихо накатывались на жёлтый песок. Царь стоял и всматривался в адмиральский корабль.

Предводитель войска Ахилла и трибун^[40] Септимий из александрийского гарнизона, как мне было известно, многим обязанный Помпею, под начальством которого служил раньше, уселись в лодку и направились к кораблю.

Начались переговоры, и, по всей вероятности, приветствие Ахиллы было очень тёплым и внушило доверие, так как высокая женщина, стоявшая на корабле — то была Корнелия, жена Помпея, — отвечала

ему приветливым поклоном.

Рассказчик остановился, перевёл дух и провёл рукой по лбу.

— Что произошло потом... Мне пришлось быть свидетелем кошмарного события! Часто это происшествие передавали в ложном свете, а между тем всё произошло так просто... и ужасно!

Счастье делает своих любимцев доверчивыми. Таков был и Помпей. Престарелый вождь — ему перевалило уже за пятьдесят восемь — живо спустился в лодку. Его сопровождал только один вольноотпущенник. Матрос-негр оттолкнул лодку от корабля так сильно, точно его багор был копьём, а маленькое судёнышко неприятелем. Помпей пошатнулся, так как гребцы уже ударили вёслами, при этом движении шерстяной капюшон соскользнул с его головы. Я как сейчас вижу эту сцену. Не успел я подумать, что это нехорошее предзнаменование, как лодка уже причалила.

У берега было очень мелко. Я видел, как Ахилла указывает на сушу. Можно было перескочить на неё одним прыжком. Помпеи смотрел на царя. Вольноотпущенник подал ему руку, помогая встать. Септимий тоже встал. Казалось, он хочет поддержать Помпея. Но нет! Что такое? Подле седых волос полководца что-то блеснуло, будто молния упала с неба. Хотел ли Помпей защищаться?.. Он поднял руку... и молча закрыл лицо краем тоги. Потом засверкали кинжалы... один... другой... третий... Ахилла работал ножом, точно опытный убийца. Грузное тело полководца рухнуло наземь. Вольноотпущенник подхватил его на руки.

Тогда раздались страшные жалобные стоны и крики, и все их покрывал отчаянный женский вопль, вырвавшийся из уст супруги убитого. В царском лагере послышался сигнал к выступлению; загремели барабаны, египтяне тронулись в путь. Снова мелькнул ярко-красный плащ. Септимий отправился к царю с окровавленной головой в руках. Царь глядит в потухшие глаза, перед которыми склонялся Рим и мир. Но зрелище слишком сильно для коронованного ребёнка, он отворачивается. Корабль удаляется от берега; египтяне строятся и трогаются. Ахилла моет в море окровавленные руки. Рядом с ним вольноотпущенник омывает обезглавленный труп своего господина. Он обращается с какими-то словами к военачальнику, который в ответ пожимает плечами.

Архибий снова остановился и перевёл дух. Потом продолжал более спокойным тоном:

— Ахилла не вернулся с войском в Александрию, а отправился на восток, в Пелусий, как я узнал позднее.

Мы с братом стояли на скалистом гребне и долго не могли вымолвить ни слова. Облако пыли закрыло от наших взоров царский отряд; парус адмиральского корабля скрылся из виду. Стало темнеть, Стратон указал на запад, на Александрию. Там садилось солнце. Красное, кроваво-красное! Казалось, поток крови низвергается на город.

Наступила ночь. Жиденький костёр загорелся на берегу. Откуда взялись дрова? Как ухитрились разложить костёр? На месте убийства валялся старый негодный челнок. Вольноотпущенник с товарищем разрубили его на куски. С помощью сухой травы, окровавленной одежды убитого и выброшенных на берег морских водорослей они развели огонь. Пламя кое-как занялось. На этот жалкий костёр осторожно положили чьё-то тело. То был труп великого Помпея. Ветеран полководца помог верному слуге.

Архибий откинулся на подушки и немного погодя прибавил:

— Его звали Корд, Сервий Корд. Впоследствии он был хорошо устроен. Царица приняла участие в его судьбе. Остальные? Их скоро покарала судьба. Брут присудил Феодота к мучительной казни. На его стоны один из ветеранов Помпея крикнул: «Дохлые собаки не кусаются, но воют перед смертью».

Цезарь, как и можно было ожидать, отвернулся с глубоким отвращением, когда Феодот поднёс ему голову Помпея. Потин тоже тщетно ждал награды за своё гнусное преступление.

Юлий Цезарь явился в Александрию вскоре после возвращения царя. Вы знаете, что он пробыл здесь девять месяцев. Часто мне приходилось слышать, что только Клеопатра сумела удержать его так долго. Верно, но не совсем. Полгода пришлось ему тут остаться поневоле. Следующие три месяца он подарил своей возлюбленной.

Да, сердце пятидесятичетырёхлетнего мужа ещё раз раскрылось для страсти. Раны, нанесённые стрелой Амура, как и всякие вообще раны, труднее зарубцовываются, если раненый давно пережил свою юность. Притом же эту, столь различную летами парочку соединяли не столько общие взгляды и чувство, сколько внутреннее родство. Два окрылённых духа устремились друг к другу. Гений одного узнал себя в другом. Высшее мужество встретилось с совершенством женственности. Они должны были притягивать друг друга. Я предвидел это заранее, так как Клеопатра давно уже следила, затаив дыхание, за полётом этого орла, так далеко обогнавшего всех, даже того, на кого он сам с завистью смотрел в детстве. А она его стоила!

Мы счастливо добрались до Газы, и от Клеопатры узнали, что Цезарь несмотря на враждебное отношение граждан воцарился во дворце Птолемеев и решил навести порядок в Египте.

Мы предполагали, в каком духе будут его настраивать Потин, Ахилла и Арсиноя. Что касается Клеопатры, то её, естественно, беспокоила мысль, что враги окончательно предадут Египет римлянам, если Цезарь предоставит им бразды правления и устранил её. Она имела основания опасаться этого, но у неё хватило мужества самой выступить на защиту своего дела.

Ей необходимо было проникнуть в город, во дворец, вступить в непосредственные сношения с Цезарем. Всякий ребёнок знает рассказ о силаче, пронёсшем Клеопатру во дворец в мешке. Насчёт мешка выдумывают; он был бы неудобен, потому мы и воспользовались сирийским ковром. Силач — мой брат Стратон. Я отправился вперёд, чтобы обеспечить ему беспрепятственный вход.

Она виделась с Юлием Цезарем. Последовало то, что должно было последовать. Никогда я не видел Клеопатру такой счастливой, такой оживлённой, хотя опасности окружали её со всех сторон, и требовался весь военный гений Цезаря, чтобы одолеть своих противников. Повторяю, они, а не чары Клеопатры, удерживали его в городе. Что могло помешать ему увезти свою возлюбленную в Рим, как он и сделал впоследствии, если бы это было возможно? Но ничего подобного не случилось: александрийцы помешали этому.

Цезарь признал завещание Флейтиста и сделал для египетского дома даже больше, чем мог сделать покойный. Клеопатра должна была разделить власть со своим братом и супругом Дионисом; Арсиноя же и младший брат получили Кипр, отнятый у их дяди Птолемея. Разумеется, они оставались под опекой Рима.

Это решение ставило в невыносимые условия Потина и бывших правителей. Иметь Клеопатру царицей, и Рим, то есть Цезаря, диктатора, её друга, опекуном — значило для них полностью утратить власть. Они решили сопротивляться. Египтяне, даже александрийцы, приняли их сторону, молодой царь не выносил ига нелюбимой сестры, превосходившей его во всех отношениях. Цезарь прибыл в Египет с незначительным войском, можно было рассчитывать одолеть его. И вот они напрягли все свои силы, боролись так отчаянно, что диктатор никогда не был так близок к гибели. Но любовь Клеопатры не ослабила его. Нет! Никогда ещё его гений не проявлялся в таком блеске! А с какими силами, с какой ненавистью ему приходилось считаться. Я сам видел, как молодой царь, узнав, что Клеопатра проникла во дворец, выбежал на улицу, сорвал с головы диадему, разбил её о камни и звал на помощь прохожих, крича, что ему изменили, пока воины Цезаря не увели его во дворец и не разогнали толпу.

Арсиноя получила больше, чем могла ожидать, тем не менее она чувствовала себя оскорблённой до глубины души. Она приняла Цезаря, как царица, и ожидала от него всего. Но вот явилась ненавистная

сестра, и, как всегда, Арсиноя была забыта ради Клеопатры.

Этого она не могла перенести и вместе с Ганимедом, своим другом и, как я уже сказал, хорошим воином, бежала из дворца к врагам диктатора.

Тогда начались упорные сражения на суше и на море, битвы на улицах города из-за воды, борьба с пожаром, истребившим часть Брухейона и библиотеки. Но, изнемогая от жажды, едва избежав потопления, теснимый со всех сторон с неумолимой ненавистью, Цезарь стоял непоколебимо, а когда молодой царь собрал войско, разбил его в открытом поле. Вы знаете, что мальчик утонул во время бегства?

В борьбе и опасностях, среди потоков крови и звона оружия прошло полгода, прежде чем Цезарь и Клеопатра смогли пожать плоды своей общей работы. Затем диктатор сделал её царицей Египта, назначив соправителем младшего брата, ещё ребёнка. Арсиное он подарил жизнь, но отправил её в Италию.

Война сменилась миром. Теперь, конечно, диктатору следовало отправиться в Рим, куда призывали его дела и обязанности государственного человека; но он оставался в Александрии ещё три месяца.

Кому известна жизнь честолюбивого Юлия, кто знает, как дорого могло бы обойтись ему это промедление, тот, конечно, разведёт руками и спросит: «Как мог он потратить это драгоценное время на увеселительную поездку со своей возлюбленной к храму Исиды на южной границе Египта?» Но так оно и было; я сам сопровождал их на втором корабле и не только видел их вместе, но и принимал участие в их пирах и беседах...

— Эта поездка по Нилу, — перебила Барина, — представляется мне волшебной сказкой, когда я вспоминаю о шёлковых парусах Клеопатры, встречавшей Антония на Кидне.

— Нет, нет, — возразил Архибий. — Наполнять жизнь чувственными мимолётными наслаждениями, этому она научилась позднее, для Антония. Цезарь требовал большего. Её ум доставлял ему высшие наслаждения.

Он помолчал немного и продолжал:

— Конечно, не сразу приобрела она умение возбуждать Антония всё новыми и новыми наслаждениями, и так изо дня в день, в течение многих лет, никогда не утомляя и не пресыщая его.

— И такую задачу, — воскликнула молодая женщина, — взяло на себя существо, искавшее высшего блага в душевном покое!

— Да, — заметил Архибий задумчивым тоном. — Но так и должно было случиться. Веселье сделалось целью её жизни. Пока страсти ещё дремали в ней, она находила высшее благо в душевном покое. Но пришла пора, когда покой оказался недостижимым, а между тем стремление к счастью укоренилось в ней. Наставления моего отца запали в душу будущей царицы.

Но он в своём уединении понимал и мог осуществить учение о высшем благе в понимании учителя. Между тем от Афин до Кирены, от Эпикура до Аристиппа только один шаг. В конце концов она забыла, что чувственные наслаждения вовсе не составляют высшего блага по учению Эпикура. Блаженство в понимании Эпикура нисколько не уменьшится оттого, что будешь питаться хлебом и водой.

Тем не менее она продолжала считать себя его ученицей, и много позднее, когда Антоний отправился на войну с парфянами, Клеопатра, оставшись одна, снова начала мечтать о душевном спокойствии. Но государственные дела, дети, женитьба Антония, которого она давно уже считала своим, на Октавии, Анубис, маги и египетское учение о загробной жизни, а главное — жгучее честолюбие, неугасающая жажда быть любимой и первой среди первых...

Тут его перебил слуга, явившийся с известием, что корабль готов к отплытию.

VII

Архибий так погрузился в воспоминания о прошлом, что не сразу сообразил, в чём дело. Опомившись, он поспешно спросил у хозяек, когда они рассчитывают выехать из Александрии.

Береника не решалась оставить в Александрии больного брата; Барине хотелось повидать перед отъездом Диона. Притом же обеим не терпелось дожидаться известий о войске и флоте. Поэтому они просили отсрочки на несколько дней, но Архибий возразил и решительно потребовал, чтобы они приготовились к отъезду вечером следующего дня. Его галера будет ожидать их на Мареотийском озере, а для того чтобы отвезти их туда с вещами и рабынями, которых они захотят взять, будут присланы повозки.

Тут он смягчился, напомнил женщинам, какие печальные недоразумения могут возникнуть из-за промедления, извинился за свою резкость, объясняя её необходимостью торопиться, пожал им руки и ушёл, сделав вид, что не слышит Барины, которая всё-таки хотела просить его об отсрочке.

Вскоре он достиг Большой гавани.

Полная луна озаряла осеннюю ночь, играя и переливаясь в волнах. Вероятно, в открытом море было беспокойно. Это было заметно по раскачиванию кораблей, стоявших на якоре в заливе, образованном частью берега перед великолепным храмом Посейдона и узкой косой, выдававшейся далеко в море. На конце её возвышался небольшой храм, построенный Клеопатрой после случайного замечания Антония, чтобы удивить его.

Другой храм из белого мрамора сверкал на острове Антиродосе у выхода из гавани, а подальше светился яркий огонь. Он горел на знаменитом маяке острова Фарос[41]. Длинные языки пламени, колеблемые ветром, переливались на волнах, то вспыхивая, то угасая.

Несмотря на поздний час и резкий ветер, закидывавший плащи на головы прохожих и заставлявший женщин крепко придерживать платье, в гавани былолюдно. Правда, торговля уже прекратилась, но много народу стеклось в гавань узнать новости или приветствовать первый корабль победоносного флота (так как победа Антония над Октавианом считалась несомненной).

Блюстители порядка наблюдали за гаванью, и в момент прибытия Архибия отряд сирийских всадников направлялся из казармы по южной оконечности Лохиады к храму Посейдона.

Тут, а не в гавани Эвноста, отделённой широкой дамбой, связывавшей материк с островом Фарос, приставали царские корабли. Вокруг неё были расположены дворцы и арсеналы, и здесь, прежде чем где бы то ни было, должны были быть известны все новости.

Вторая гавань была отведена для торговли, но теперь кораблям было запрещено останавливаться в ней, чтобы помешать распространению ложных слухов.

Конечно, в настоящую минуту и в большой гавани трудно было ожидать новых известий, потому что узкий вход её замыкала цепь, тянувшаяся от Фароса к Alveus Steganus[42] на противоположащей скале. Но в случае прибытия государственного корабля с важной вестью, её могли разомкнуть. Этого-то и ожидала собравшаяся на берегу толпа.

Многие явились с ночных пиршеств, из харчевен, кабаков или ночных собраний мистических сект, но напряжённое ожидание убивало их весёлость, и Архибий всюду видел тревожные, нахмуренные лица.

Когда корабль тронулся в путь и флейта подала гребцам сигнал к работе, владелец его почувствовал

себя в таком угнетённом состоянии, что не решался и надеяться на хорошую весть.

Давно минувшие дни, вызванные из прошлого его рассказом, точно ожили, и сцена за сценой проходили перед его внутренним взором, пока он, лёжа на подушках на палубе, смотрел на небо, то заволакивавшееся тучами, то снова сиявшее бесчисленными звёздами.

«Как, однако, можно всё скрыть словами, не сказав притом никакой лжи», — думал Архивий, вспоминая о своём рассказе.

Да, он с ранних лет сделался доверенным лицом Клеопатры. Но как же он любил её, как беззаветно был предан ей душой и телом!

Ей нечего было угадывать эту любовь, он выразил её и высказал достаточно ясно. А она... Она приняла его признание как должную дань. Однажды, когда он в порыве страсти обнял её, она оттолкнула его с гордым негодованием. Но признание в любви — такой проступок, который и высшие охотно прощают низшим. Спустя несколько часов Клеопатра опять относилась к нему с прежним тёплым доверием.

Тут вспомнились ему муки, которые он испытал, когда увидел пробуждение страсти, привлёкшей её к Антонию. В то время римлянин промелькнул в её жизни ярким и мимолётным метеором, но многое показывало, что она не забыла его. Её отношение к великому Цезарю не задевало за живое Архивия, но муки ревности проснулись в его немолодом уже сердце, когда она вступила в любовную связь с Антонием на реке Кидне у Тарса, связь, продолжавшуюся и поныне.

Теперь его волосы уже поседели, и хотя ничто не могло поколебать его дружбы к царице, хотя он всегда готов был служить ей, но всё же это глупое чувство не могло угаснуть вполне и по временам овладевало всем его существом. Он признавал достоинства Антония, но не мог не видеть и его несомненных недостатков! Вообще, думая об этой чете, он испытывал чувство знатока и любителя искусств, отдающего своё драгоценнейшее сокровище богачу, который не ценит его и не умеет поместить на надлежащем месте.

При всём том он от души желал римлянину блестящей победы, так как его поражение было бы и поражением Клеопатры.

Корабль приблизился к огням, окружавшим подошву Фароса, и в ту самую минуту, когда Архивий дал знак разомкнуть цепь, кто-то громко произнёс его имя в ночной тишине.

Это Дион окликнул его из лодки, покачивавшейся на волнах у входа в гавань. Он узнал судно Архивия по освещённому фонарём, помещавшемуся на носу бюсту Эпикура. Клеопатра украсила им построенный для друга корабль.

Дион хотел присоединиться к нему и вскоре стоял на палубе.

Он был на Фаросе и заходил в матросские кабаки, чтобы узнать новости. Никто, однако, ничего не знал, потому что ветер всё время дул с материка, не позволяя большим кораблям подойти к берегу иначе как на вёслах. Только недавно он переменялся с южного на юго-восточный, и один опытный родосский моряк заявил, что «пусть он в жизни не выпьет кружки вина, если завтра или послезавтра ветер не переменится на северный. Тогда корабли и вести явятся в Александрию десятками, если только, — прибавил старик, бросив вызывающий взгляд на разряженного горожанина, — если только их пропустят мимо Фароса».

Вечером он заметил парус на горизонте, но самый быстрый фокейский корабль ползёт, как улитка, когда ветер не позволяет ему развернуть паруса и даже мешает действовать вёслами.

Другие тоже заметили паруса, и Дион не прочь был бы отправиться в открытое море поискать их, но он был один, в небольшой лодке, да и ту не хотели выпустить из гавани.

Пропуск, выданный Архибию, сделал своё дело, и сторожевая цепь разомкнулась перед «Эпикуром». Подгоняемый сильным юго-восточным ветром, корабль на всех парусах пролетел сквозь узкий проход.

Вскоре был замечен слабый мерцающий огонёк на севере. Очевидно, это был корабль, и хотя моряк в фаросском кабачке, по виду которого можно было заключить, что и сам он водил не только мирные торговые суда, толковал о кораблях, не упускающих из рук никакой добычи, наши друзья на крепком, хорошо вооружённом «Эпикуре» не боялись пиратов, тем более что утро было близко и неподалёку находились два больших военных корабля, высланных регентом.

Резкий ветер надувал паруса, грести не было надобности, да и огонёк, по-видимому, направлялся к ним навстречу.

Восток уже начинал светлеть, когда «Эпикур» подошёл к встречному судну, но тут оно внезапно переменяло направление и повернуло на северо-восток, вероятно, стараясь уйти от «Эпикура».

Архибий посоветовался с Дионом, стоит ли гнаться за беглецом. Судно было маленькое, и, насколько возможно было разобрать при слабом свете зари, смахивало на сицилийского пирата.

Каково бы ни было его вооружение, испытанной и многочисленной команде «Эпикура», снабжённого всеми средствами защиты, нечего было опасаться, тем более что капитан его служил во флоте Секста Помпея^[43] и не раз имел дело с разбойничьими кораблями.

Архибий находил нелепым затевать сражение ни с того ни с сего, без всякой нужды, но Дион советовал пренебречь опасностью.

Дойдёт до боя, — тем лучше!

Он сообщил своему другу об опасениях Иры.

Флот, очевидно, в печальном состоянии, и если бы сицилийцу нечего было скрывать от них, он не стал бы уходить от «Эпикура».

Следовало узнать, что за причина заставила его повернуть назад от гавани.

Капитан тоже стоял за преследование, и Архибий согласился, так как неизвестность всё сильнее и сильнее томила его. У Диона тоже было тяжело на душе. Ему не удалось изгнать из памяти образ Барины, а после того как Архибий сообщил ему, что она решила прекратить принимать гостей и уехать из города, перед ним всё время стоял вопрос, почему бы не назвать своей любимой дочь знаменитого художника.

Архибий заметил, между прочим, что Барина рада будет видеть в уединении близких друзей, и в том числе, разумеется, его, Диона.

Дион так же мало сомневался в этом, как и в том, что подобное посещение окончательно привяжет его к ней и, может быть, навеки лишит свободы. Но к чему александрийцу высокий дар свободы, если римляне поступят с его городом, как с Карфагеном или Коринфом? Если Клеопатра разбита и Египет превратится в римскую провинцию, то управление городом, дела в совете, к которым он относился с живым интересом, потеряют для него всякий смысл.

И если копьё пирата положит конец рабскому существованию под римским игом и этим недостойным колебаниям, томлению, — тем лучше!

В это пасмурное утро, под серым небом, с которого спускался лёгкий влажный туман, с такими мучительными опасениями и сомнениями в сердце жизнь казалась Диону тусклой и бесцветной.

«Эпикур» догнал пирата и без труда овладел им. Слабая попытка к сопротивлению тотчас прекратилась, как только капитан Архибия крикнул, что «Эпикур» не принадлежит к царскому флоту и намерен только узнать новости.

Тогда сицилийцы опустили весла, Архивий и Дион поднялись на корабль и потребовали капитана.

Это был старый загорелый моряк, прервавший молчание лишь после того, как понял, что желают преследователи.

Сначала он уверял, будто был свидетелем великой победы египтян над флотом Октавиана у Пелопоннесского берега, но сбитый с толку дальнейшими расспросами, сознался, что ничего не знает, и выдумал известие о победе, только желая угодить знатным александрийским господам.

Тогда Дион с несколькими матросами обыскал судно и нашёл в маленькой капитанской каюте человека с заткнутым ртом, который оказался пленником пиратов.

Это был матрос из Малой Азии, говоривший только на языке своего племени. От него нельзя было добиться ничего путного. Напротив, важные сведения оказались в письме, найденном в ящике с одеждами, драгоценностями и другими награбленными предметами.

Взглянув на письмо, Дион не хотел верить глазам. Оно было адресовано его другу, архитектору Горгию. Неграмотный пират оставил его нераспечатанным, но Дион без всяких церемоний оторвал восковую печать. Греческий ритор-аристократ, сопровождавший Антония в походе, писал с Тенара^[44], поручая архитектору, от имени Антония, немедленно привести в порядок маленький дворец на оконечности косы, выдававшейся в гавань, и отгородить его высокой стеной. Ворота не требовались. Сношения с дворцом будут происходить морем. За работу приняться немедленно и закончить её как можно скорее.

Прочитав письмо, Архивий и Дион с удивлением взглянули друг на друга. Что побудило Антония к такому странному распоряжению? Как попало письмо в руки пиратов?

Последнее обстоятельство следовало выяснить.

Когда Архивий, мягкие манеры и спокойствие которого внушали всем доверие, выходил из себя, то неожиданная вспышка, в соединении с высокой, грузной фигурой и резкими чертами лица, производила внушительное впечатление.

Капитан порядком струсил, когда александриец пригрозил ему беспощадным наказанием, если он утаит хоть мельчайшую подробность, имеющую связь с письмом. К тому же пират убедился, что ложь бесполезна, так как пленник, не говоривший по-гречески, понимал этот язык и следил за рассказом сицилийца, жестом подтверждая или отрицая его слова.

Тогда выяснилось следующее: судно пирата вместе с несколькими более крупными кораблями его товарищей крейсировало подле Крита в ожидании добычи. О враждебных флотах они ещё ничего не слышали, когда заметили прекрасный, быстроходный корабль, «самый стройный и красивый, какой только бороздил когда-нибудь море». Это была «Ласточка», посольский корабль Антония. Пираты без труда овладели им и разделили добычу, причём львиную долю захватили более крупные корабли.

Письма и небольшую сумму денег пират отобрал у какого-то знатного господина — без сомнения, посла Антония, — получившего в битве тяжёлую рану, от которой он умер, и был выброшен в море. Письма пошли на растопку, уцелело только одно, адресованное архитектору.

Пленные матросы сообщили, что флот Октавиана одержал победу, что Клеопатра бежала с места сражения, но сухопутное войско ещё цело, и, может быть, ещё принесёт победу Антонию. Пират не знал, где находится войско, может быть, около Тенара, откуда шёл корабль, захваченный разбойниками. Потом он был подожжён своим экипажем и пошёл ко дну на глазах пирата.

По-видимому, это сообщение было верно, но акарнанский берег, подле которого должно было произойти сражение, находился так далеко от южной оконечности Пелопоннеса, откуда шла «Ласточка»,

что Антоний, очевидно, писал уже во время бегства.

Одно казалось несомненным: флот разбит и рассеян второго или третьего сентября.

Куда же девалась царица? Куда девались огромные, великолепные корабли, которые сопровождали её?

Даже встречный ветер не мог задержать их, так как они были в изобилии снабжены гребцами.

Неужели Октавиан захватил их в плен?

Или они сгорели? Потоплены?

Но в таком случае каким образом Антоний очутился у Тенара?

На эти вопросы пират не мог ответить. Ему не было резона утаивать правду, если бы он её знал.

Архибий отобрал у пирата пленника и вещи Антония и затем отпустил его, взяв наперёд клятву, что тот не будет крейсировать между Критом и Александрией.

Всё это происшествие заняло несколько часов, а возвращение значительно замедлилось вследствие встречного ветра, так как «Эпикур» во время преследования ушёл довольно далеко в море. Но когда он находился уже в нескольких милях от Фароса, предсказание родосского моряка сбылось: погода с необычайной быстротой переменилась, и ветер подул с севера. Море запестрело кораблями, принадлежащими частью к царскому флоту, частью богатым александрийцам, которых любопытство позвало в море.

Архибий и Дион не смыкали глаз всю ночь и утро. Моросил мелкий дождь, становилось холодно. Подкрепившись, они стали расхаживать по палубе.

Они ничего не говорили и только покрепче закутывались в плащи. Ни вино, ни даже яркий огонь в очаге не согрели их.

Архибий думал о своей возлюбленной царице, и пылкое воображение рисовало ему всевозможные ужасы, которые могут с ней приключиться. Вот она тонет, тщетно взывая о помощи, простирая руки к нему, который так часто выручал её в трудных случаях. Потом он видел её пленницей холодного, бессердечного Октавиана, и кровь леденела в его жилах. Наконец он сбросил плащ и со стоном схватился за голову. Ему представилась Клеопатра в золотых цепях за триумфальной колесницей победителя, в толпе римской черни.

Это было бы ужаснее всего.

Силы оставили его, и Дион с изумлением услышал его рыдания и увидел слёзы, катившиеся по его лицу.

Диону тоже было невесело, и он знал горячую привязанность Архибия к царице. Подойдя, он положил ему руку на плечо и просил собраться с силами. В самые трудные минуты он, Архибий, стоял непоколебимо, возвышаясь над всеми, как сторож на вершине Фароса над бушующем морем. Если он обсудит положение дел с обычным хладнокровием, то убедится, что Антоний свободен, и руки у него не связаны, так как он посылает распоряжение насчёт дворца. Зачем ему понадобилась стена — неизвестно, но, может быть, он желает поместить во дворце какого-нибудь знатного пленника и воспрепятствовать его связям с городом. Да и вообще дело, быть может, вовсе не так плохо, как им кажется, так что наступит день, когда они посмеются над сегодняшними опасениями. Ему, Диону, тоже невесело, так как и он желал бы царице успеха, тем более что с этим успехом связана независимость Александрии.

— Моя любовь и заботы, — прибавил он в заключение, — принадлежали до сих пор городу, как твои царице. Жизнь потеряет всю прелесть в моих глазах, если железная пята Рима раздавит нашу свободу и

независимость.

Искренность и тёплое участие Диона подействовали на Архибия. Поразмыслив, он пришёл к заключению, что терять надежду пока нет основания, и в свою очередь принялся утешать Диона. Человек, нуждающийся в утешении, часто облегчает душу тем, что утешает другого. Так и Архибию стало легче на душе, когда он убеждал своего товарища, что даже в случае победы Октавиана и присоединения Египта к Риму права граждан вряд ли будут ограничены. Напротив, тут-то и может оказаться полезным молодой решительный независимый человек, если придётся защищать самостоятельность города.

Молодой человек был тронут лаской, звучавшей в этих словах. Со времени смерти отца никто с ним так не говорил.

Вскоре «Эпикур» стоял в гавани, надо было расстаться с Архибием.

Оба пережили тяжёлые минуты, которые часто связывают людей более прочными узами, чем долгие годы дружбы.

Они открыли друг другу сердца. Об одном только обстоятельстве Дион умолчал.

Давно уже привык он не спрашивать совета у других. Из тех, кто обращался к нему за советами, многие выслушивали их с благодарностью и затем поступали наперекор его словам, хотя для них полезнее было бы последовать им. И сам он не раз поступал точно так же, но теперь ему хотелось довериться Архибию. Последний знал Барину и желал ей добра. Может быть, будет полезно открыть здравомыслящему человеку то, к чему так жадно стремилось его сердце вопреки рассудку.

Решившись, он быстро обратился к своему другу:

— Ты отнёсся ко мне, как отец. Считаю меня в самом деле своим сыном и подумай, будет ли тебе приятно назвать своей дочерью женщину, которая полюбила меня.

— Луч света в полной тьме! — воскликнул Архибий. — Исполни то, что тебе давно следовало сделать. Гражданин должен иметь жену. Грек становится вполне человеком, только сделавшись главой семьи и отцом. Если я остался одиноким, так на это были особые причины; но как часто я завидовал сапожнику, видя его вечером перед лавкой с ребёнком на руках, матросу, который, возвратившись домой, обнимал жену и детей. Когда я возвращаюсь домой, моему приходу радуются только собаки. Но ты, чей прекрасный дворец пустует, ты, в ком сосредоточены надежды знаменитого рода...

— Вот это и пробуждает во мне сомнения, — перебил Дион. — Ты знаешь меня и моё положение в обществе. И к той, о которой я говорю, ты близок с детства.

— К Ире? — спросил тот.

Он слышал от своей сестры Хармионы о склонности молодой девушки.

Но Дион покачал головой:

— Я говорю о Барине, дочери твоего покойного друга Леонакса. Я люблю её; но моя гордость слишком чувствительна и переносится на мою будущую супругу. Меня не трогает мнение других, я знаю ему цену. Но ты помнишь мою мать? Это была женщина совершенно другого склада. Дом, ребёнок, рабы, прялка — в этом заключался для неё весь мир. От других женщин она требовала того же, хотя была добра и любила меня, своего единственного сына, больше всего на свете. Она приняла бы Барину с распростёртыми объятиями, если бы убедилась, что это необходимо для моего счастья. Но понравилась бы ей молодая женщина, привыкшая к постоянному общению с выдающимися людьми? Когда я подумаю, что она сохранит и в замужестве привычку быть окружённой поклонниками, что неосторожность женщины, привыкшей к свободе, может развязать злые языки и бросить тень на моё безупречное имя, то... — он

остановился и стиснул кулак.

Но Архивий возразил ему:

— Это опасение лишится всякого основания, если только Барина подарит тебе свою любовь. Это честное, искреннее, надёжное сердце, к тому же способное к глубокой любви. Если она любит тебя — а я думаю, что так оно и есть, — ступай, принеси благодарственную жертву, потому что боги желали тебе счастья, обратив твою страсть на эту женщину, а не на Иру, дочь моей сестры. Если бы ты был моим сыном, я бы сказал тебе: «Лучшей дочери ты не мог мне доставить, если только, повторяю, ты уверен в её любви».

Дион подумал немного и воскликнул решительным тоном:

— Да, уверен!

VIII

«Эпикур» бросил якорь перед храмом Посейдона. Матросам приказано было молчать о захвате пирата. Впрочем, они знали только одно: что на разбойничьем судне оказалось письмо Антония, который приказывает выстроить стену. Это могло сойти за хороший знак, так как о постройках думают только в спокойное время.

Дождь прекратился, но ветер усилился, и стало ещё холоднее. Тем не менее вся набережная, от южного конца Гептастаций^[45] до Лохиады, была запружена народом. Больше всего толпились между Хомой (косой, на которой был построен храм) и Себастеумом, так как отсюда открывался вид на море и здесь же находилось жилище регента.

Сотни противоречивых слухов циркулировали в народе, и когда «Эпикур» в третьем часу пополудни бросил якорь, толпа хлынула к нему узнать, нет ли каких новостей. С другими кораблями было то же самое, но ни один не привёз достоверных известий.

Два судна из царского флота встретили самосский корабль, на котором им сообщили о великой победе Антония на суше и Клеопатры на море, и так как человек охотно верит тому, на что надеется, то известие было встречено торжествующими криками и восторгом, укреплявшим веру даже у сомневающихся. Более осторожные люди, которых беспокоило долгое отсутствие флота, прислушивались к дурным новостям и опасались неудачи. Но они не решались высказывать свои сомнения вслух, так как один торговец, предостерегавший толпу от преждевременных восторгов, был избит до полусмерти, а двое других неверящих были брошены в море и едва спаслись.

Впрочем, это настроение народа было вполне естественно. Всюду, у Серапеума^[46], у театра Адониса, у высоких пилонов Себастеума, у главных ворот Мусейона, у входа в царский дворец и перед замками на Лохиаде были воздвигнуты триумфальные арки, украшенные наскоро сделанными гипсовыми статуями победы, трофеями, поздравительными и благодарственными надписями, листьями и гирляндами цветов. Эти приготовления к торжественной встрече начались ещё ночью, а теперь подходили к концу.

Как и его друг Дион, архитектор Горгий тоже не смыкал глаз со вчерашнего вечера. Ему было поручено наблюдать за украшением Брухейона. В Себастеуме, где теперь жила Ира, в претории и жилище регента тоже бодрствовали.

Когда Архибий явился к Ире, его ужаснула происшедшая в ней перемена. Не далее как третьего дня он виделся с ней, но как она изменилась с тех пор! И без того продолговатое лицо вытянулось ещё больше, черты лица стали острее и резче. Двадцатисемилетняя девушка, до сих пор сохранившая всю прелесть юности, внезапно постарела на десять лет. Когда дядя подал ей руку, она быстро обратилась к нему с каким-то лихорадочным напряжением:

— И у тебя нет хороших вестей?

— Нет, собственно, и дурных, — отвечал он спокойно. — Но твоё лицо, зелёные круги под глазами мне совсем не нравятся! Вы получили тревожные вести?

— Больше того.

— Ну?

— Читай! — отвечала она, протягивая Архибию табличку. С несвойственной ему поспешностью

схватил он письмо и, пробегая его глазами, побледнел как полотно.

Письмо было от Клеопатры и гласило следующее: «Морское сражение проиграно по моей вине. Сухопутное войско могло бы нас спасти, но не под его начальством. Он при мне, невредимый, но точно истекающий кровью, бессильный, вялый, ни на что не годный. Вижу начало конца. Как только получишь это письмо, распорядись, чтобы нас каждый день вечером поджидали носилки. В народе нужно поддерживать уверенность в победе, пока не будут получены известия от Канидия и сухопутных войск. Покрепче поцелуй за меня детей. Кто знает, что случится с ними. Кроме моих наместников и Архибия, не показывай никому моего письма, ни Цезариону, ни Антиллу. Постарайся, чтобы все, чья помощь мне может пригодиться, были на месте, когда я вернусь. Не могу закончить это письмо прежним «радуйся», тут лучше подходит «мужайся». Ты, не завидовавшая моему счастью, помоги мне теперь перенести горе. Эпикур прав, говоря, что боги безмятежно созерцают дела людские. Иначе любовь и верность не могли бы быть награждены горем и слезами. Любите нас по-прежнему».

Молча и без кровинки в лице Архибий опустил письмо. Прошло некоторое время, прежде чем он смог произнести:

— Я предвидел это, теперь сбывается...

Тут его голос прервался, и тяжёлый вздох потряс его могучее тело.

Он опустился на скамью и спрятал лицо в подушках.

Ира слегка покачала головой, глядя на него.

Она тоже любила царицу и горько плакала, получив её письмо, но, прежде чем осушила глаза, десятки проектов, как помочь горю, уже вертелись в её голове. Спустя несколько минут по получении письма она созвала совет и обсуждала меры, с помощью которых можно поддержать в народе уверенность в победе.

Что такое была она, нежная, робкая девушка, в сравнении с этим железным человеком, не раз пренебрегавшим величайшими опасностями на службе царицы, а между тем он лежал теперь в отчаянии, уткнувшись лицом в подушки.

Или женская душа быстрее оправляется после величайшего несчастья, или в её слабом теле таилось сердце героя?

Она подумала об этом, вспоминая, как регент и хранитель печати приняли ужасную весть. Они тоже пришли в отчаяние и заметались по залу, однако Мардион, получеловек, не мог идти в счёт, а Зенон заслужил милость царицы лишь умением придумывать новые зрелища, увеселения, представления.

Но Архибий — мужественный, хладнокровный советник и помощник.

Плечи его снова вздрогнули, точно он получил удар, и ей внезапно вспомнилось то, что она давно знала, но в чём никогда не давала себе отчёта: ведь этот уже седой человек любил Клеопатру, любил, как она, Ира, любила Диона. Могла ли она сохранить спокойствие, если бы ему угрожала опасность потерять жизнь, свободу и честь?

Она тщетно ожидала Диона, а между тем вчера он был свидетелем её беспокойства.

Или она оскорбила его? Может быть, он не на шутку влюблён в красавицу — внучку Дидима?

Ей казалось преступлением, что в такую тяжкую для её госпожи минуту она не может не думать о нём. Как его образ заполнил её сердце, так образ Клеопатры — ум и душу Архибия.

Но Архибий встал, провёл рукой по лбу и сказал обычным спокойным тоном, хотя с горькой улыбкой:

— Раненый оставляет битву, чтобы ему перевязали рану. Моя рана уже перевязана. Во всяком случае мне следовало бы тебя избавить от этого жалкого зрелища, дитя. Но я готов к дальнейшей борьбе. Письмо Клеопатры объясняет известие, которое мы получили.

— Мы? — перебила Ира. — Кто же был с тобой?

— Дион, — отвечал Архивий и хотел было рассказать о происшествиях последней ночи, но она прервала его вопросом, согласилась ли Барина уехать.

Он отвечал коротким «да», она же сделала вид, что ничего другого не ожидала, и попросила его продолжать рассказ.

Тогда Архивий сообщил ей о письме, найденном на разбойничьем корабле.

— Дион, — прибавил он в заключение, — отправился передать распоряжение Антония своему другу Горгию.

— Это, — заметила она с раздражением, — можно было поручить любому рабу. Диону следовало бы явиться сюда за более достоверными новостями. Но таковы мужчины!

Тут она запнулась, но, заметив вопросительный взгляд дяди, с оживлением продолжала:

— Я думаю, ничто так не связывает их, как общие удовольствия. Но теперь придётся о них забыть. Придётся искать других развлечений у Гелиодоры или Таисы — где угодно. Жаль только, что эта женщина не уехала раньше! Когда она поймала Цезариона...

— Перестань, дитя, — возразил Архивий. — Она дорого бы дала, чтобы Антилл не приводил к ней мальчика.

— Теперь, потому что сумасбродство одураченного мальчишки пугает её.

— Нет, с первого же посещения. Такие ребята не подходят к избранным людям, которых она принимает.

— У кого дверь постоянно открыта, к тому заберутся и воры.

— Она принимала только испытанных друзей. Для других её двери были закрыты. Поэтому о ворах не могло быть и речи. Но кто же в Александрии решится отказать в гостеприимстве сыну царицы.

— Принять гостя или возбудить в нём страсть и разжечь её до безумия — это большая разница. Если костёр разгорелся, значит, в него попала хотя бы искра. Вы, мужчины, не знаете, как действуют подобные женщины. Взгляд, пожатие руки, простое прикосновение краем платья — и пламя вспыхнуло, если уж был готов горючий материал.

— Могу только пожалеть о силе пожара, — серьёзно возразил Архивий. — Ты предубеждена против Барины.

— Мне до неё столько же дела, как вот этой скамье до статуи Гермеса! — надменно воскликнула Ира. — Мы совершенно чужды друг другу. Между мной и женщиной, которая открывает свои двери всякому встречному и поперечному, нет ничего общего, кроме пола.

— И многих прекрасных даров, которыми боги наделили вас обеих, — с упрёком возразил Архивий. — Что касается открытых дверей, то со вчерашнего дня они закрылись. Воры, о которых ты говоришь, отбили у неё охоту к гостеприимству. Антилл вломился к ней в дом как нельзя нахальнее. После этого можно было ожидать самых безобразных историй в будущем. Через несколько часов она отправится в Ирению. Я очень рад этому как за Цезариона, так и ещё более за царицу, о которой, кстати сказать, мы совсем забыли.

— Поневоле! — воскликнула Ира. — И в такой день, в такой час, когда каждая капля моей крови, каждая моя мысль должны принадлежать царице! Но приходится думать о другом. Клеопатра возвращается с истерзанным сердцем, и с первого же шага по родной земле ей наносится новая рана. Это ужасно! Ты знаешь, как она любит этого мальчика, вылитый портрет великого человека, с которым Клеопатра провела столько счастливых дней. И если она услышит, что он, сын Цезаря, влюбился в разведённую жену площадного оратора, в женщину, чей дом привлекает мужчин, как спелые финики птиц, о как разбередит это её раны! Не только это огорчение приготовила ей судьба. Антоний, её супруг, тоже бывает у Барины. Ты, может быть, не знаешь этого, но Хармиона подтвердит тебе, что её сердце сделалось крайне чувствительным с тех пор, как юность её увядает. Ревность замучит её, и кто знает, не оказала ли я величайшую услугу этой сирене, заставив её уехать из Александрии?

При этих словах глаза её сверкнули так враждебно, что Архибий с беспокойством подумал о дочери своего покойного друга. Если Барине ещё не угрожала серьёзная опасность, то от его племянницы зависело повернуть это дело иначе.

Дион просил его сохранить в тайне предполагаемую женитьбу на Барине, да Архибий и сам не стал бы говорить об этом. Он знал, что Ира не остановится ни перед какими средствами, чтобы разрушить эти планы, если только узнает о них. Ему вспомнилась благородная девушка-македонянка, которую царица стала отличать перед всеми, и гибель этой несчастной благодаря проискам его племянницы. Трудно было найти девушку умнее, нежнее, вернее, преданнее тем, кого она любила. Но с детства она предпочитала кривые пути прямым. Можно было подумать, что её ум пренебрегал слишком простыми средствами для достижения своих целей. Её мать и тётка Хармиона заботились о рабах, ухаживали за ними в случае болезни; Хармиона даже приобрела себе в лице нубийской служанки Анукис верную подругу, которая пошла бы на смерть ради неё. Сама Клеопатра, будучи ребёнком, приносила цветы старой больной экономке её родителей и сидела у её постели, развлекая старушку своей милой болтовнёй. Напротив, Ира часто подвергалась наказанию за то, что отравляла и без того тяжёлую жизнь рабов ненужной жестокостью. Это очень огорчало её дядю, да и позднее он недолюбливал её за дурное отношение к низшим. Тем более поражала его безграничная привязанность Иры к царице. Клеопатра исполнила желание Хармионы, просившей назначить ей в помощницы племянницу, и Ира всей душой привязалась к своей госпоже. Это и ценил в ней Архибий, но он знал, какая судьба ожидает того, кому случится навлечь на себя её ненависть, и мысль об опасностях, которым может подвергнуться Барина по её вине, добавилась к удручающим его заботам об участи Клеопатры.

Смутно сознавая своё бессилие против злых умыслов племянницы, он хотел было уйти, но она остановила его, сказав, что всякая новость приходит прежде всего в Себастеум и к ней. Может быть, возникнет какое-нибудь новое осложнение, причём потребуются его ум и хладнокровие.

Помещение Хармионы оставалось теперь незанятым. Ира просила Архибия поселиться там на время. Беспокойство и страх совсем одолели её. Ей будет огромным облегчением сознавать, что он находится поблизости.

Архибий заметил, что ему необходимо отправиться к Цезариону, который до некоторой степени подчинился его влиянию, и попытаться уговорить его оставить свои безумные затеи, хотя бы из любви к матери. Но Ира сказала, что Цезарион отправился с Антиллом на охоту. Она одобрила эту поездку, дабы удалить его из города и от губительного дома Барины.

— Так как царица не хочет уведомлять его о своих несчастьях, — прибавила она, — то его присутствие только стеснило бы нас. Оставайся же, а вечером отправишься на Лохиаду. Я думаю, что несчастной царице приятно будет тотчас по приезде встретить лицо друга, которое напомнит ей о лучших временах. Остайся, окажи мне это благодеяние!

При этом она протянула Архибию обе руки, и он согласился. Обед был готов, и дядя разделил его с племянницей, но почти не прикоснулся к изысканным блюдам. Она же в рот ничего не взяла. Не дождавись конца обеда, Архибий встал и хотел удалиться в комнаты своей сестры. Ира, однако, уговорила его лечь в соседней комнате. Но как ни мягки были подушки и как ни томила его усталость, сон бежал от него, беспокойство не давало уснуть, а в коридоре, отделявшем его комнату от помещения Иры, слышались то мягкие шаги племянницы, расхаживавшей в волнении взад и вперёд, то беготня вестников, являвшихся за новостями.

Вся прошлая жизнь проходила перед ним. Клеопатра была его солнцем, и вот появилась чёрная туча, грозившая заслонить свет. Он, ученик Эпикура, только в последние годы жизни познакомившийся с учениями других философов, смотрел на богов с точки зрения учителя. По его понятиям, это были блаженные, бессмертные, самодовлеющие существа, не заботящиеся ни о судьбе мира, определённой вечными законами, ни об участи отдельных лиц. При других взглядах с какой радостью пожертвовал бы он им всё своё имущество ради той, которой посвятил всю свою жизнь, всего себя.

Как и Ире, Архибию не спалось, и, услышав его шаги, она окликнула его, спрашивая, почему он не спит. Бог знает, как придётся им провести следующую ночь.

— Ты найдёшь меня бодрствующим, — отвечал он спокойно. Затем Архибий подошёл к окну, помещавшемуся над двумя пилонами, из которого открывался вид на Брухейон и море. Гавань кишела судами всевозможной величины, разукрашенными флагами и вымпелами. Слух о счастливом исходе битвы ещё держался, и многие стремились приветствовать победоносный флот и его предводительницу при входе в гавань.

На суше, между высокими, отдельно стоящими пилонами и большими воротами при входе в Себастеум, тоже столпилось множество людей, носилок и колесниц. Они принадлежали знатнейшим лицам города, так как за ними стояли богато одетые рабы. Многие носилки и колесницы были украшены золотом, серебром и драгоценными камнями. Движение перед дворцом не прекращалось ни на минуту, и Ира, которая теперь стояла подле дяди, сказала, указывая вниз:

— Вот действие слухов. Вчера тут почти никого не было, теперь все представители «избранного общества» явились самолично. На площади, в театре, в гимнасиях и казармах объявлено о победе. Всё, что носит венки или оружие, слышало о выигранном сражении. Вчера разве что один из тысячи сомневался в победе, сегодня же — и откуда берутся эти слухи? — вера поколеблена даже у тех, кто разделял все радости, удовольствия, развлечения высокой четы. Будь они уверены в «блестящей победе», о которой, однако, объявлено всенародно, они не явились бы самолично разузнавать, выспрашивать, выведывать. Посмотри! Вот носилки Диогена, вот Лизандра. Вон та колесница принадлежит Александру. Рабы в красных шёлковых одеждах служат Гермю. Все эти господа принимают участие в наших празднествах. Аполлоний, который так усердно выспрашивает дворцовых служителей, принёс вчера в жертву Аресу, Победе и великой Исиде, покровительнице нашей царицы, по пятидесяти быков и, когда я вошла в храм, сказал, что это в сущности бесполезная расточительность с его стороны, так как Антоний и Клеопатра, наверное, победят без всяких быков. Теперь же слухи поколебали в нём эту уверенность... Они не должны меня видеть. Привратникам велено говорить, что я уехала. У меня не хватит духа поздравлять их с победой. Вон выходит Аполлоний. Как сияет его жирное лицо! Он уверовал в победу, теперь до захода солнца никто из этих господ не явится сюда. Вон он уже раздаёт приказания рабам. Он приглашает всех к себе на пир и не пожалеет самых дорогих вин. Превосходно! Эти, по крайней мере, не будут нас беспокоить! Дион, его родственник, тоже будет в гостях. Что бы запели эти наши друзья, если им сообщить ужасную истину.

— Я думаю, — заметил Архибий, — мир увидел бы тогда редкое зрелище: друзья, приобретённые в счастье, остаются друзьями и в беде.

— Ты думаешь? — переспросила Ира, и глаза её блеснули. — Если бы это случилось, как бы я стала ценить и восхвалять их! Но посмотри! Там, подле левого обелиска, в белом плаще... не Дион ли это? Толпа увлекает его... Кажется, это был он?

Она ошибалась: тот, к кому так страстно стремилось её сердце, был в это время далеко от Себастеума, а о ней и думать забыл.

Прежде всего он отправился на поиски архитектора, чтобы передать ему письмо. Он рассчитывал найти его у триумфальной арки на набережной Брухейона. Но тут он узнал, что Горгий отправился к Дидиму перевезти статую Антония и Клеопатры, всё ещё находившуюся перед домом учёного, к театру Диониса. Так приказал регент Мардион, и Горгий уже хлопотал над устройством пьедестала.

Потребовавшиеся для этого плиты были им взяты в храме Немезиды, постройкой которого он руководил. Правитель предоставил в его распоряжение сколько угодно рабов и прибавил горделивым тоном, что архитектор ещё до заката солнца должен показать александрийцам, как в один день можно перевезти статую и утвердить её прочнее тысячекратных фиванских колоссов.

Явившись к саду Дидима, Дион нашёл статую уже готовой к отправке; но, как оказалось, рабы поджидали — и уже довольно долго — архитектора, зашедшего навестить старого философа.

Он уже третий день навещал его. В первый раз с тем, чтобы уведомить об отмене распоряжения, грозившего лишить учёного собственности; затем, чтобы сообщить, в котором часу будет увезена статуя, всё ещё привлекавшая много зевак; и, наконец, он снова пошёл к старику сказать, что статую сейчас увезут. Всё это, конечно, можно было бы поручить рабу, но Елена, внучка Дидима, сестра Барины, притягивала его в этот дом. Ради неё он готов был заходить и чаще, так как с каждым посещением открывал всё новые и новые достоинства в прекрасной тихой, рассудительной, так заботливо ухаживавшей за стариком-дедом девушке. Он был убеждён, что любит её, да и она, по-видимому, относилась к его посещениям благосклонно. Но всё же он не решался добиваться руки девушки, хотя в его обширном пустом доме так чувствовался недостаток хозяйки. Сердце Горгия уже столько раз воспламенялось, поэтому хотелось сначала убедиться, что на этот раз дело идёт о прочной привязанности. Лучшей жены ему нельзя было и желать. Если любовь его выдержит хоть несколько дней, то он не замедлит вознаградить себя за такое постоянство и явится к Дидиму с предложением.

Свои частые посещения он оправдывал необходимостью поближе познакомиться с будущей супругой, и Елена облегчала ему эту задачу, так как свойственная ей сдержанность всё более и более исчезала, заменяясь доверием к нему, которое только усилилось от его посещений. В последний раз она даже первая протянула ему руку и спросила, как идёт работа.

Горгий был завален делами, но разговор с ней доставлял ему такое удовольствие, что он засиделся гораздо дольше, чем бы позволил себе при других обстоятельствах, и был очень недоволен, когда пришла Барина, к которой ещё вчера пылал нежной страстью.

Молодая женщина прервала их беседу. Она обняла сестру с такой горячностью, как никогда, и в коротких словах сообщила, что пришла проститься с родными.

Береника явилась вместе с ней, но сначала прошла к старикам.

Пока Барина сообщала ему и Елене, каким образом всё это произошло, архитектор молча сравнивал сестёр. Он находил естественным, что одно время считал себя влюблённым в Барину, но в жёны ему она не годилась.

Жизнь с ней стала бы для него непрерывной цепью ревнивых опасений и забот; притом своими замечаниями и вопросами, требовавшими напряжённого внимания, она не могла бы дать ему отдыха и

покоя после утомительной работы. Его взгляд переходил с одной на другую, точно он измерял расстояние между двумя колоннами, так что Барина, заметив его странное поведение, весело улыбнулась и спросила, нельзя ли узнать, о какой постройке он думает в ту минуту, когда добрая знакомая сообщает, что отныне весёлые собрания в её доме кончились.

Он пробормотал какое-то извинение, и совершенно невпопад, так что Барина могла бы обидеться на его невнимание. Но, взглянув на сестру, потом на него, она догадалась об истине и обрадовалась, так как уважала Горгия и втайне боялась, что ей придётся огорчить его отказом, если он вздумает добиваться её руки. Для сестры он подходил гораздо больше, — так, по крайней мере, казалось Барине. Почувствовав, что помешала, она сказала Елене:

— Я пойду к деду. А ты поговори с нашим другом. Мы с ним хорошо знакомы. Он принадлежит к числу немногих людей, на которых можно положиться. — Это моё искреннее мнение, архитектор.

Затем простилась с ними, и Горгий снова остался со своей милой. Обоим было трудно возобновить разговор, и после нескольких неудачных попыток Горгий даже обрадовался, услышав сквозь раскрытые двери голос зрителя, напомнивший ему о работе. Пылко пообещав зайти в ближайшее время, как будто его просили об этом, он простился с девушкой и отворил дверь в соседнюю комнату, но тут же отшатнулся. Елена, следовавшая за ним, сделала то же.

Перед ним стоял их Дион. Прекрасная головка Барины покоилась на его груди, а рука его лежала на её белокурых волосах. Гибкое тело молодой женщины дрожало точно от глубокого волнения.

Когда Дион заметил друга, она тоже подняла голову и обернулась. Действительно, лицо её было в слезах, но то не были слёзы горя, голубые глаза Барины светились счастьем.

Тем не менее Горгий заметил в её лице что-то, чего не мог бы определить словами. Это был отблеск благодарности, переполнявший её душу.

Отыскивая архитектора, Дион встретился с Бариной, и то, чего он так боялся вчера, случилось.

Первый же её взгляд вырвал из его уст признание.

В кратких серьёзных словах он сказал, что любит её и будет считать гордостью и украшением своего дома.

Глаза Барины наполнились слезами от избытка счастья; она молчала, точно поражённая чудом, случившимся с ней, но он подошёл, взял её за руку и откровенно рассказал, как смущало его воспоминание о строгой матери, пока любовь не пересилила. Теперь он спрашивает с полным доверием, согласна ли она сделаться украшением и честью его родного дома, согласна ли войти в него хозяйкой. Он знает, что её сердце принадлежит ему, но должен услышать это из её уст...

Тут она перебила его восклицанием:

— Скажу одно: твоя жена будет жить и в радости, и в горе только для тебя! Весь мир исчезнет для неё, если ты назовёшь её своей!

При этих словах, звучавших как торжественная клятва, тяжесть свалилась с его души. Он прижал её к сердцу, повторяя:

— В радости и в горе.

В таком виде застали их Горгий и Елена, и архитектор впервые и не без некоторого удивления убедился, что между его счастьем и счастьем влюблённого нет никакого различия. По-видимому, Елена почувствовала то же самое.

Вскоре дом старого философа, до тех пор омрачённый заботами и опасениями, огласился весёлыми

возгласами.

Архитектор чувствовал себя лишним в этом семейном, связанном общей радостью кружке, и вскоре его громкий голос, отдававший приказание рабочим, раздался подле сада Дидима.

IX

Горгий немедленно принялся за работу. Когда он уже хлопотал над установкой статуи перед храмом Диониса, к нему явился Дион, которому хотелось повидаться с другом до отъезда из города со своей возлюбленной. Со времени их последней встречи Горгий сам себя превзошёл: постройка стены по распоряжению Антония уже началась, отданы были приказания привести в порядок маленький дворец на оконечности Хомы, украсить его для встречи, устроить триумфальные арки. Смотритель работ, очень дельный и проворный человек, едва успевал записывать его приказания на табличке.

Разговор с другом был непродолжительным, так как Дион обещал сопровождать женщин за город. Несмотря на обручение, решили уехать сегодня же, так как Цезарион уже два раза являлся к Барине в течение дня. Она не приняла его, но настойчивость молодого человека заставляла её желать скорейшего отъезда.

Решено было воспользоваться большой повозкой и лодкой Архибия, чтобы избежать надзора.

Свадьба должна была состояться в «Убежище мира». Впоследствии они рассчитывали вернуться в Александрию на корабле Диона, носившем название «Пейто». Владелец его охотно вспоминал о своей ораторской деятельности. Теперь он решил переокрасить корабль и переименовать его в «Барину».

Дион сообщил другу всё, что ему было известно об участии флота и царицы, и тот, несмотря на множество хлопот, с вниманием слушал его сетования о будущей судьбе города, его независимости и свободе, потому что и сам принимал эти вещи близко к сердцу.

— В счастливые времена, — воскликнул Дион, — я делаю, что мне нравится! Теперь же на каждом порядочном человеке лежит обязанность укрепить в своём собственном доме традиции, переданные нам нашими предками. Они не должны угаснуть, пока в Александрии останутся македонские граждане. Если могущество Рима сделает Египет провинцией республики, всё же можно отстоять значительную долю наших прав. Но, что бы ни случилось, мы всё-таки останемся источником, из которого Рим будет черпать облагораживающие дух знания.

— И искусство, — прибавил архитектор, — которое украшает его суровую жизнь. Уничтожив нас, он поступит, как девушка, растоптавшая редкий, прекрасный цветок.

— Что значит цветок для девушки в сравнении с тем значением, какое наш город имеет для Рима! Если мы встретим его посягательства с достоинством и твёрдостью, мы сможем спасти многое.

— Будем надеяться! Но тебе, друг, следует подумать и о других врагах, не о римлянах. Берегись Иры! Теперь, когда она убедится, что ты не любишь её... В ней есть что-то такое, что всегда напоминает мне шакала. Ревность! Она способна на все...

— Но, — перебил Дион, — Хармиона разрушит её оковы; кроме того, хотя я и не особенно рассчитываю на Архибия, он всё же влиятельнее их обеих и сочувствует нашей женитьбе.

Горгий вздохнул с облегчением и воскликнул:

— Итак, желаю вам счастья!

— Пора тебе подумать и о своём счастье, — сказал Дион. — Брось-ка эту бродячую жизнь. Походная палатка — неподходящее жилище для архитектора. Ты выстроил мне дворец, построй же и для себя прочный, безопасный от бурь дом. Право, давно пора!

— Я подумаю о твоём совете, — отвечал Горгий. — Но пора за работу. Предстоит столько важных дел, а у нас тратят время на сооружение триумфальных арок для побеждённых. Твой дядя приказал подготовиться к самой торжественной встрече. Пути судьбы и великих мира сего окутаны мраком; пусть хоть ваш путь освещает яркое солнце! Мы, конечно, узнаем, когда будет ваша свадьба, и, если удастся, я приеду к вам. Счастливцев! Но меня зовут. Да охранят вас на пути Кастор и Поллукс и все боги, благосклонные к путникам, а Афродита и боги любви — в царстве Эроса и Гименея.

Сказав это, он впервые обнял своего друга, который крепко пожал ему руку, прибавив:

— До свидания в Ирениии, на свадьбе, старый, верный товарищ.

Затем он уехал, а Горгий задумчиво смотрел ему вслед.

Пурпурный плащ Диона ещё не скрылся из глаз, как оглушительный треск и грохот вывели его из задумчивости.

Обрушились леса, выстроенные на скорую руку для установки статуи. Восстановить их было недолго, но всё-таки этот случай произвёл тяжёлое впечатление на архитектора. Как сын своего времени, он верил в предзнаменования. Притом же опыт показал ему, что за подобными случаями всегда следовало какое-нибудь несчастье в кругу его друзей. Опасаясь за участь дорогой ему пары, он решил следить за Дионом и попросить Архибия сделать то же.

Впрочем, работа скоро заглушила это неприятное чувство. Леса были быстро поправлены, и Горгий с удвоенной энергией взялся за дело.

Мало-помалу за пасмурным днём наступили сумерки.

Прежде чем пришла ночь, обещавшая быть бурной и дождливой, Горгий ещё раз отправился в Брухейон посмотреть, как идёт дело, и отдать дальнейшие распоряжения, так как работа должна была продолжаться и ночью.

С моря дул сильный северный ветер, гасивший факелы и светильники. Несколько капель дождя попали в лицо Горгия. За Фаросом и по ту сторону гавани скопились тёмные тучи. Всё обещало бурную ночь, и тягостное предчувствие беды снова овладело архитектором. Тем не менее он бодро принялся за дело.

Настала ночь. На небе не виднелось ни единой звёздочки. Холодный северный ветер пронизывал до костей, и Горгий приказал, наконец, рабу принести плащ. Накидывая на голову капюшон, он заметил толпу людей с носилками, направлявшуюся на Лохиаду.

Может быть, сыновья царицы возвращались домой с прогулки. Но в общем процессия больше походила на праздничную, собравшуюся по поводу победы. Дело в том, что теперь все верили в выигранное сражение. Радостные восклицания народа, стекавшегося в гавань несмотря на дурную погоду, доказывали это.

Когда последний факел промелькнул перед глазами Горгия, он решил, что свита царских сыновей запаслась бы лучшим освещением в такую тёмную ночь. Вдруг он заметил раба, приближавшегося с другой стороны тоже с факелом. Это оказался Фрикс, старый слуга Дидима.

Архитектор тотчас узнал его. Зачем он послан так поздно в эту тёмную ночь?

Развалившиеся леса тотчас пришли ему на память.

Может быть, Дидим послал за помощью для кого-нибудь из членов семьи? Не случилось ли несчастья с Еленой?

Он остановил раба, и тот ответил на его вопрос тяжёлым вздохом и пословицей:

— Беда не приходит одна. — Затем он сообщил следующее: — Вчера была большая тревога. Сегодня, когда всё уладилось и было так весело, я подумал: за весельем следует горе; наверное, нам грозит ещё какое-нибудь несчастье. Так и случилось.

Горгий просил рассказать ему, что именно случилось; тогда старик подошёл поближе и вполголоса сообщил, что Филотас из Амфиссы, ученик и помощник Дидима, молодой человек из хорошей семьи, был приглашён Антиллом, сыном Антония, на пирушку. Это случилось уже не в первый раз, и он, Фрикс, предостерегал Филотаса, так как маленьким людям, которые вздумают водиться со знатными, почти всегда достаются тычки и пинки. Молодой человек всегда возвращался с таких празднеств нетвёрдой походкой, с красным лицом. Сегодня он вернулся в страшном волнении, бегом, точно за ним гнались, и, поднимаясь по лестнице в свою каморку на верхнем этаже, оступился и свалился вниз. По мнению Фрикса, у него нет никакого существенного повреждения. Дионис охранил пьяного; но, очевидно, в него вселился демон, так как он только плачет и стонет и не отвечает на вопросы. Правда, ему известно ещё с праздника Диониса, что молодой человек принадлежит к числу тех, на кого вино нагоняет тоску; но на этот раз с ним, очевидно, случилось что-то необычайное, так как лицо его всё в саже и имеет ужасный вид.

Когда его хотели перенести в комнату, он отбивался руками и ногами, как бешеный. По мнению Дидима, им овладели демоны, что нередко случается при падении вниз головой, когда упавший, ударившись о землю, потревожит находящихся в ней духов. Как бы не так! Демоны-то демоны, только это демоны вина! Молодой человек просто пьян. Но старый господин очень дорожит своим учеником и потому послал Фрикса за Олимпом, который с незапамятных времён состоит их домашним врачом.

— Старый врач царицы! — с неудовольствием воскликнул архитектор. — Тревожить почтенного старца в такую тёмную, холодную ночь из-за таких пустяков! Старость, я вижу, не особенно сочувствует старости. Теперь, когда главное дело окончено, я могу отправиться с тобой на полчаса. Мне кажется, для изгнания этих демонов не стоит тревожить придворного врача!

— Правда, господин, истинная правда, — отвечал раб, — но Олимп — наш давнишний друг. Он редко ходит к больным, у нас же бывает во всякую погоду. Притом у него есть носилки, колесницы и великолепные мулы. Царица щедро наделяет его дарами. Он мудр и может помочь. Надо пользоваться, чем можешь.

— В случае нужды — да, — возразил архитектор. — Вот два моих мула, если я не справлюсь с демонами, успеешь съездить за врачом.

Это предложение понравилось старику, и немного погодя Горгий вошёл в дом старого философа.

Елена встретила его, как давнишнего друга. Его появление, казалось ей, уничтожало половину опасности. Дидим тоже обрадовался и отвёл его в комнатку, где лежал одержимый демонами юноша.

Он всё ещё стонал и охал. Слезы катились по его щекам, и всякий раз, когда кто-нибудь из членов семьи подходил к нему, он с плачем отворачивался.

Когда Горгий взял его за руку и строго приказал рассказать, что с ним случилось, молодой человек объявил, всхлипывая, что он самый неблагодарный злодей во всём свете. Он погубил своих добрых родителей, себя самого и своих друзей.

Затем он сообщил, что по его вине внучке Дидима грозит гибель. Он не пошёл бы к Антиллу, если бы не щедрость последнего; но теперь он должен понести казнь, да, казнь... И он повторял слово «казнь» без конца, и ничего другого от него нельзя было добиться.

Впрочем, Дидим обладал ключом к последней фразе. Несколько недель тому назад Филотас и другие ученики ритора, которого он слушал в Мусейоне, были приглашены Антиллом к завтраку. Когда Филотас

похвалил прекрасные золотые и серебряные кубки, из которых пили за завтраком, щедрый хозяин воскликнул:

— Они твои! Можешь взять их!

Перед уходом дворецкий сказал молодому человеку, которому и в голову не приходило принять всерьёз предложение Антиллы, что он может взять их с собой. Антилл подарил ему кубки, но дворецкий советовал лучше получить их стоимостью деньгами, так как в числе кубков были старинные, дорогой работы, утрата которых, пожалуй, не понравится Антонию.

Затем изумлённому юноше отсчитали несколько свёртков тяжеловесных золотых монет. Только они не пошли ему впрок, так как были истрачены в кутежах богатой и знатной молодёжи. Тем не менее он продолжал исполнять свои обязанности относительно Дидима.

Хотя ему и случалось превращать ночь в день, но серьёзных поводов к порицанию ещё не было. Мелкие упущения ему охотно прощали, так как он был красивый, весёлый юноша, умевший ладить со всеми в доме, в том числе и с женщинами.

Что же случилось сегодня с этим несчастным? Дидиму он внушал глубокое сожаление. Учёный был очень признателен Горгию за его посещение, но всё-таки дал понять, что огорчён отсутствием врача.

Но Горгий, долго вращавшийся в кругу александрийской молодёжи, был хорошо знаком с болезнями вроде той, которой страдал Филотас, и способом их лечения. Он потребовал несколько кружек воды и попросил оставить его наедине с больным. Вскоре философ радовался, что не заставил врача выходить из дома в бурную ночь, так как Горгий привёл к нему ученика с мокрыми волосами, но почти оправившегося.

Красивое лицо юноши было теперь умыто, но он стоял потупившись и временами хватался за голову. Старик-философ должен был пустить в ход всё своё красноречие, чтобы убедить его признаться, как было дело.

Филотас хотел рассказать всю правду и рассчитывал получить добрый совет от архитектора, вид которого внушал ему доверие. Кроме того, старик оказал ему столько благодеяний, что мог бы рассчитывать на его откровенность, тем не менее юноша не решился открыть ему главной побудительной причины своего нелепого образа действий.

Предприятие, в которое он позволил себя втянуть, было направлено против Барины. Он уже давно любил её со всем пылом юношеской страсти. И вдруг, как раз перед этим роковым пиром, услышал, что она обручилась с Дионом. Это глубоко уязвило его, так как в глубине души он рассчитывал добиться её руки и ввести её супругой в родительский дом в Амфиссе. Он был лишь немногим моложе её и знал, что родители одобряют его выбор, лишь только увидят Барину. А сограждане! Они будут удивляться ей, как богине.

И вот является знатный господин и разбивает его заветную мечту. Конечно, он ни разу не говорил Барине о своей любви, но она относилась к нему так дружелюбно, так благосклонно принимала от него различные мелкие услуги! Теперь же она навеки утрачена для него.

Сначала он был просто огорчён, но когда вино ударило ему в голову, когда Антилл, сын Антония, в кружке собутыльников, где председательствовал Цезарион, стал обвинять Барину в колдовстве, он вообразил, что она приворожила его, а потом бросила.

«Я служил ей игрушкой, — думал он, — а потом она предпочла мне Диона ради его богатства».

Во всяком случае он считал себя вправе сердиться на Барину, и с каждым кубком его ревнивый гнев возрастал.

Ему предложили принять участие в предприятии, которое теперь камнем лежало у него на душе. Он

согласился сгоряча, чтобы наказать её за проступок, созданный его же фантазией.

Обо всём этом он ни слова не промолвил, а рассказал только о великолепном празднестве, на котором Цезарион, по обыкновению бледный и безучастный, был симпозиархом^[47] и которое оживлялось главным образом болтовнёй Антилла.

«Царь царей» и сын Антония под предлогом охоты ускользнули от надзора смотрителя. Начальник охоты позволил им это удовольствие. Они обещали ему завтра рано утром быть готовыми к отъезду в пустыню.

Когда кубки стали обращаться быстрее, Антилл пошептался о чём-то с Цезарионом и затем заговорил о Барине, красавице из красавиц, которую боги предназначили для высшего и знатнейшего из людей. Таков Цезарион, царь из царей. Но известно, что Афродита считает себя выше величайшего из царей, потому и Барина осмелилась отказать от дома их симпозиарху, а это задевает не только его, но и всю александрийскую молодёжь. Всякий, кто достойно носит название эфеба, возмутится, узнав, что дерзкая красавица не желает знаться с молодёжью, так как считает достойными своего внимания только пожилых людей! Это ей не пройдёт даром. Александрийские эфебы должны показать ей, что значит молодёжь. Это тем более желательно, что облегчит Цезариону достижение его цели.

Сегодня вечером Барина уезжает из города. Сам оскорблённый Эрос облегчает им задачу. Они должны остановить на пути красавицу и отвести её к тому, кто обещает во имя юности доказать ей, что страсть эфебов, к которым она относится так презрительно, пламеннее страсти пожилых господ, к которым она так милостива.

Здесь Горгий перебил рассказчика негодующим восклицанием, но старый Дидим, у которого глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит, нетерпеливо крикнул: «Дальше!»

Филотас с возрастающим волнением рассказывал, как Цезарион изменился точно по волшебству. Едва собутыльники ответили одобрительными восклицаниями на предложение Антилла, как «царь царей» вскочил с ложа, на котором лежал до тех пор с усталым и безучастным видом, и, сверкая глазами, воскликнул, что всякий, кто считает себя его другом, должен помочь ему в этом нападении.

Здесь снова нетерпеливое «дальше!» Дидима заставило его ускорить рассказ, и он сообщил, как они вычернили себе лица и вооружились копьями и мечами. Перед заходом солнца они отправились в крытой лодке на Мареотийское озеро. Вероятно, всё было подготовлено заранее, потому что они успели вовремя.

Так как во время плавания они подбадривали себя вином, то он уже с трудом выбрался на берег. Затем он помнит, что кинулся вместе с ними на большую армамаксу, но упал на землю, когда же поднялся, никого уже не было.

Помнится ему точно во сне, что скифы и другая стража схватили Антилла, а Цезарион с кем-то боролся, лёжа на земле. Если он не ошибается, это был Дион, жених Барины.

Это сообщение не раз прерывалось негодующими восклицаниями; когда же он окончил, Дидим вне себя воскликнул:

— А дитя? Барина?

Но так как Филотас ничего не отвечал, старик окончательно вышел из себя и крикнул, схватив его за грудь:

— Ты не знаешь, мальчишка! Вместо того чтобы защитить её, ты присоединяешься к этим негодьям, к этому разбойнику в пурпуре!

Горгий остановил раздражённого старика, заметив, что теперь самое важное отыскать Диона и Барину. У него работы по горло, но он переговорит со зрителем и затем постарается найти своего друга.

— А я, — воскликнул старик, — пойду сейчас же к несчастному ребёнку! Поддай плащ, Фрикс, и сандалии!

Несмотря на увещания Горгия подумать о своих преклонных годах и бурной погоде, он продолжал:

— Сказано, пойду! И если буря собьёт меня с ног и поразит молния, — пусть себе! Одним несчастьем больше или меньше, что это значит в жизни, которая была сплошной цепью тяжких ударов судьбы? Трёх сыновей схоронил я во цвете лет: двоих из них отняла у меня война. Барину, радость моего сердца, я, глупец, отдал негодяю, который отравил ей лучшие годы жизни, а теперь, когда она нашла покой и безопасность в союзе с достойным человеком, эти мерзавцы, защищённые своим саном от мщения, быть может, убивают её возлюбленного. Они топчут в прах наше честное имя, мои седины. Шапку, Фрикс, и палку!

Буря давно уже завывала вокруг дома, и парусина, прикрывавшая отверстие имплювиума, трещала по швам. Ветер, врывавшийся в комнату, загасил два рожка лампы.

Дверь внезапно отворилась, и на пороге явился нубиец, привратник Береники, промокший насквозь, с капюшоном на голове.

Вид у него был самый плачевный, так как задыхался от быстрой ходьбы, и он не сразу ответил на вопросы Дидима и Горгия, к которым теперь присоединились Елена и её бабушка.

Он, впрочем, сообщил немного. Барина поручила передать, что она и её мать невредимы. Дион ранен в плечо, но неопасно; она с матерью ухаживают за ним. Пусть родные не беспокоятся: нападение кончилось полной неудачей для его зачинщиков.

Дорида, совершенно глухая старушка, тщетно старалась уловить эти слова, приложив ладонь к уху. Дидим рассказал о происшествии Елене, насколько счёл это уместным, а та движением губ передала его рассказ бабушке.

Старый философ был рад благополучному исходу приключения, но всё-таки был озабочен. Горгий тоже опасался дурных последствий.

Обещав зайти немедленно, как только узнает какие-либо новости насчёт Диона и его невесты, он уговорил старика остаться дома.

Филотас со слезами на глазах просил воспользоваться его услугами, но Дидим приказал ему идти спать.

Вскоре всё успокоилось в доме старого учёного. Когда архитектор удалился, Дидим, отклонив просьбу Елены, желавшей отправиться к сестре в сопровождении привратника, остался наедине со своей супругой.

Дориде сообщили только, что воры напали на Барину и слегка ранили её жениха, но собственное сердце и волнение старого спутника жизни подсказывали ей, что от неё многое скрывают. Ей хотелось узнать всё, что случилось, но Дидиму было бы трудно долго говорить с ней, и потому она решила подавить своё любопытство. Оба не хотели ложиться спать, не дождавшись Горгия.

Х

С севера дул сильный ветер.

Костры и факелы на берегу то почти угасали, то вспыхивали с удвоенной силой.

Царская гавань — красивый залив в форме полукруга, — окаймлённая южной частью Лохиады и северной окраиной Брухейона, всегда была ярко освещена, сегодня же огни у места стоянки царского флота как-то особенно оживились.

Не буря ли колебала их?

Нет! Она не могла бы переносить факелы с места на место и двигать фонари и светильники против ветра. Впрочем, немногие замечали это, так как немногие решились выйти на набережную в такую бурную ночь. Притом же в царскую гавань никого не пускали; она была закрыта со всех сторон. Единственный проход в плотине, защищавшей её с запада, был перекрыт цепью, как и главный вход в гавань между Фаросом и Alveus Steganus.

Часа за два до полуночи это странное движение и мелькание огней прекратилось, несмотря на бушевавший ветер. Но у тех, для кого они были зажжены, сердца не переставали усиленно биться. Это были ближайшие советники и придворные Клеопатры, всего человек двадцать, в том числе одна женщина — Ира. Согласно письму царицы, она и регент Мардион пригласили только важнейших сановников. Они решили не привлекать начальников небольшого римского гарнизона. Царица могла и не вернуться нынче ночью; к тому же все римские предводители, сколько-нибудь способные к военному делу, уже находились в войске Антония.

Помещение, в котором они собрались, было убрано с царской роскошью, так как Клеопатра нередко бывала здесь. Большинство ожидающих расположились на мягких ложах, остальные беспокойно расхаживали взад и вперёд.

Регент мрачно уставился в землю, Ира, бледная и расстроенная, рассеянно слушала хранителя печати Зенона, а Архибий вышел на набережную и, не замечая бури и ветра, всматривался вдаль, не явятся ли долгожданные корабли.

Под деревянным навесом столпились слуги, вестники и носильщики. Греки сидели на скамьях, египтяне на матах, расположенных на полу.

Им сказано было, что царица может вернуться сегодня вечером, так как сильный ветер должен ускорить возвращение. Но они знали гораздо больше, ведь во дворцах есть замочные скважины, щели и особого рода эхо, передающее от одного к другому даже то, что сказано шёпотом.

Героем вечера был вольноотпущенник одного из начальников, Селевка, который несколько часов тому назад прибыл в Александрию из пограничной крепости Пелусия. Таинственный приказ Луцилия, вернейшего друга Антония, присланный с Тенара, побудил его к этому.

Вольноотпущенник Берилл, бойкий на язык сицилиец, в прошлом актёр, потерявший свободу из-за морских разбойников, разузнал кое-какие новости и сообщал их развесившей уши компании. В Пелусий прибыли корабли с севера и пополнили дурные вести, полученные в Себастеуме.

Послушав вольноотпущенника, можно было подумать, что он присутствовал при сражении. Впрочем, он изображал верного и скромного слугу, который только желает подтвердить то, что уже известно

александрийцам. На самом деле его сведения представляли смесь ложных и верных фактов. Тогда как на самом деле египетский флот был разбит у Акциума^[48], а Антоний и Клеопатра бежали к Тенару, — он уверял, что сухопутное войско и флот встретились у Пелопоннесского берега и Октавиан преследует Антония, бежавшего в Афины, Клеопатра же находится на пути в Египет.

Эти «достоверные известия» почерпнул он из отрывочных фраз, вырвавшихся у Селевка за столом или при приёме послов.

В Пелусий то и дело пребывали корабли и караваны, и начальники их должны были являться к коменданту крепости, господину Бериллу.

Вчера ночью он выехал в Александрию. Ветер мчал корабль с такой быстротой, что чайки не поспевали за ним, по словам Берилла.

Слушатели готовы были поверить ему, так как буря завывала всё сильнее и сильнее. Почти все факелы и плашки погасли, от сосудов с горевшей смолой поднимался густой чёрный дым, едва озаряемый красноватыми и жёлтыми языками пламени, и только фонари освещали тусклым мерцающим светом наполненное дымом пространство.

Один из старших слуг догадался запастись вином, чтобы скоротать время; но пить было запрещено. Тем не менее, кружка переходила потихоньку из рук в руки, к общему удовольствию компании, так как ветер пробирал до костей, а дым перехватывал горло.

Вольноотпущенник Берилл начал рассказывать о зловещих предзнаменованиях, замеченных в Пелусий.

Служанка Иры перебила его, сообщив о ласточках на «Антонии», адмиральском корабле Клеопатры. Худшего предзнаменования, наверное, не было в Пелусий...

Но Берилл только посмотрел на рассказчицу с такой сострадательной улыбкой, что любопытство слушателей достигло крайнего напряжения. Сам главный надсмотрщик за носилками и кладью заинтересовался до такой степени, что потребовал молчания резким окриком «Смирно!».

Все затихли, и под навесом слышался только вой ветра, редкие оклики часовых и голос вольноотпущенника. Он специально понизил его, чтобы придать больше драматизма своему рассказу. Он начал напыщенным дифирамбом Антонию и Клеопатре, напомнив слушателям, что император — потомок Геркулеса. Александрийцам известно также, что Клеопатра и Антоний достойно носят звания «Новой Исиды» и «Нового Диониса». Да и лицом, и станом Антоний похож скорее на бога, чем на человека.

Как Диониса его в особенности почитают афиняне. Там есть в просцениуме театра огромный барельеф, изображающий битву гигантов — произведение знаменитого старинного скульптора, — и вот из этого барельефа буря вырвала на днях одну из фигур. И чью же именно? Диониса, смертный образ которого олицетворяет собой Антоний. Сегодняшняя буря — дыхание ребёнка в сравнении с ураганом, оторвавшим изображение бога от твёрдого мрамора, но природа соединяет все свои силы, когда хочет показать недалёковидным людям знамение грядущих, мир потрясающих событий.

Последние слова он слышал от своего господина, учившегося когда-то в Афинах. Они вырвались у него, когда пришла весть о другом зловещем предзнаменовании. Цветущий город Пизаура...

Но тут его перебили, так как многим уже известно было, что этот город погрузился в море, причём, однако, жалели только о несчастных жителях.

Берилл спокойно выслушал их и на вопрос, какое же отношение имеет это событие к войне, — только пожал плечами, но когда и старший надсмотрщик пожелал узнать его мнение, отвечал:

— Это знамение потому поразило нас, что мы знаем, как возникла Пизаура. Этот злополучный город, поглощённый Гадесом [49], принадлежал, собственно, Антонию, который его основал.

Сказав это, он окинул собеседников победоносным взором. На всех лицах читался ужас; одна служанка даже взвизгнула, кажется, впрочем, потому, что ветер вырвал из железного кольца факел и опрокинул его на землю рядом с девушкой.

Напряжение достигло крайней степени, а между тем по лицу Берилла видно было, что он ещё не выпустил последней стрелы из колчана.

Служанка, крик которой испугал и других собеседников, пришла в себя. Должно быть, ей очень хотелось услышать ещё что-нибудь страшное, потому что она бросила на рассказчика выразительный взгляд, как бы умоляя его продолжать.

Он указал на капли пота, выступившие на её лбу несмотря на пронизывающий до костей ветер, и сказал:

— Тебя один рассказ об этих вещах бросает в пот. Каменные статуи куда твёрже, но и в них есть душа. Они могут приносить нам добро или причинять зло, смотря по тому, благосклонны ли они к нам или враждебны. Всякий, кому случилось с мольбой простирать к ним руки, об этом знает. Есть такая статуя в Альбе. Она изображает Марка Антония, в честь которого воздвиг её город. И вот этот каменный двойник нашего повелителя знал, что тому угрожает. Да, да, вот послушайте. Дня четыре тому назад один корабельщик сообщил моему господину — я сам слышал этот рассказ — о том, что ему привелось видеть собственными глазами. Статуя Антония в Альбе обливалась потом. Горожане пришли в ужас, толпились около статуи, пытались осушить её: напрасно! Крупные капли пота струились с неё в течение нескольких дней. Каменная статуя чувствовала, какая участь предстоит живому Марку Антонию. Ужасно было смотреть на это, говорил корабельщик.

Тут рассказчик вздрогнул, как и все слушатели. Послышался резкий звук ударов в медный диск. Спустя секунду все были на ногах и спешили по местам.

Сановники, ожидавшие в зале, тоже засуетились. Все молчали или шептались. При звуках сигнала краска сбегала с лиц, и без того серьёзных и озабоченных. Каждый избегал смотреть на другого.

Архибий первый увидел красный сигнал на башне Фароса, возвещавший о прибытии царского корабля. Так рано его не ожидали. Но вот он прошёл мимо Фароса в гавань. Это был тот самый адмиральский корабль, на котором старые ласточки до смерти заклевали молодых.

Его мощный корпус лишь слабо покачивался на волнах, хотя они вздымались высоко даже в защищённой гавани. Должно быть, опытный лоцман провёл его среди мелей и рифов восточной части рейда, так как он не обогнул, как обычно, Антиродос, а прошёл между ним и Лохиадой, направляясь прямо к входу в царскую гавань. Служители поспешили подлить смолы в сковороды, чтобы осветить кораблю путь. Собравшиеся на берегу могли теперь ясно видеть его очертания.

Это был несомненно корабль Антония, а в то же время как будто и не он.

Хранитель печати Зенон, стоявший подле Иры, указал на корабль и сказал вполголоса:

— Точно женщина, которая, оставив родительский дом в пышном свадебном наряде, возвращается горькой вдовицей.

Ира выпрямилась и отвечала резким тоном:

— Нет, точно солнце, окутанное туманом, который скоро рассеется.

— Я от души желаю этого, — подхватил старый царедворец. — Я говорю не о царице, а о корабле. Ты

была больна, когда он отплывал, весь разукрашенный цветами, развернув пурпурные паруса. А теперь как он повреждён, как испорчен. Конечно, наше солнце, Клеопатра, скоро обретёт свой прежний блеск, но теперь такая непогода, такой холод и сырость...

— Они пройдут, — перебила Ира и плотнее закуталась в плащ.

Резкий звук размыкаемой цепи у входа в гавань заставил её вздрогнуть. Всем было жутко.

Громадный остов корабля неслышно, точно призрак, приближался к берегу. Казалось, всякая жизнь угасла на нём, точно чума истребила его многочисленный экипаж. Лишь изредка доносились команда капитана и сигнальные свистки рулевого. Несколько фонарей слабо освещали огромную палубу. Яркое освещение привлекло бы внимание александрийцев.

Корабль приблизился к берегу. Ожидаящие, затаив дыхание, следили за его приближением, но в ту самую минуту, когда первый канат уже был брошен рабам, стоявшим на берегу, несколько человек в греческой одежде вторглись в толпу сановников.

Они явились с неотложной вестью к регенту Мардиону, который стоял впереди Иры и хранителя печати, мрачно уставившись в землю. Он обдумывал, что сказать царице, которая должна была выйти на берег через несколько минут. Помешать ему в такую минуту едва ли решился бы тот, кому известен был раздражительный характер евнуха. Однако рослый македонянин, на минуту отвлёкший внимание присутствующих от корабля своим появлением, решился. Это был начальник городской стражи.

— Одно словечко, господин, — шепнул он регенту, — хоть теперь и неудобное время.

— Очень неудобное, — сердито проворчал евнух.

— Но дело неотложное. Цезарион и Антилл с товарищами напали на женщину. Вычернили лица! Была драка! Цезарион и спутник женщины — знатный член совета — легко ранены. Ликторы подоспели вовремя. Молодые господа задержаны. Сначала они не хотели называть имени...

— Цезарион ранен легко, неопасно? — перебил евнух.

— Неопасно. Олимп сейчас же явился к нему. Разбита голова. Противник свалил его на землю.

— Этот противник — Дион, сын Эвмена, — вмешалась Ира, чуткое ухо которой уловило сообщение начальника стражи. — Женщина — Барина, дочь художника Леонакса.

— Так вы уже знаете об этом? — изумился македонянин.

— Как видишь, — отвечал евнух, переглянувшись с девушкой. — Отправить молодых людей на Лохиаду.

— Во дворец?

— Конечно, — отвечала Ира. — Пусть пока сидят по своим комнатам. Дальше видно будет, что делать.

— После поговорим об этом, — прибавил евнух. Начальник стражи поклонился и ушёл.

— Новое несчастье, — вздохнул регент.

— Пустяки, — возразила Ира. — Во всяком случае нужно скрыть это происшествие от царицы, тем более что от нас зависит вырвать с корнем ядовитое дерево, от которого всё это исходит.

— Ты, кажется, лучше, чем кто-либо, сумеешь сделать это, — отвечал Мардион, поглядывая на корабль. — Итак, я возлагаю это дело на тебя. Последнее распоряжение, которое я делаю именем царицы.

— Можешь на меня положиться, — отвечала она решительным тоном.

Окинув взором пристань, она заметила Архибия, который стоял в стороне от других, понурился головой.

Она хотела сообщить дяде о случившемся, но, сделав шаг к нему, остановилась, решив: «Нет».

Этот друг становился для неё камнем преткновения. В случае необходимости она сумела бы столкнуть его, несмотря на их давнишнюю дружбу с царицей и влияние его сестры Хармионы. Он уже ослабел с возрастом, а Хармиона всегда была слабой.

Ира могла бы обдумать хорошенько свои замыслы, если бы не была так взволнована.

Корабль уже стал на якорь, но прошло немало времени, пока на мостике, перекинутом на берег, явились сначала два пастора[50] Исиды, несшие кубок Нектанеба[51], взятый в сокровищнице храма богини, затем первый камергер царицы.

Он вполголоса сообщил о её прибытии и велел присутствующим посторониться. От гавани до ворот в Брухейон и других, ведших к дворцам на Лохиаде, стояли в два ряда факелоносцы, так как неизвестно было, куда проследует царица. Камергер объявил, что Клеопатра желает провести ночь на Лохиаде, во дворце сыновей, и приказал затушить почти все факелы.

Мардион, хранитель печати, Архибий и Ира стояли впереди всех на мостике, когда на корабле поднялся шум и появилась Клеопатра в сопровождении толпы придворных, пажей, служанок и рабынь. Она шла, опершись на руку Хармионы, но высоко поднимая голову.

Она подняла Иру, опустившуюся перед ней на колени, и, поцеловав её в лоб, спросила:

— Что дети?

— Здоровы, — отвечала девушка.

Царица приветствовала остальных благосклонным жестом, но не сказала никому ни слова, пока внук, выступив вперёд, не обратился к ней с речью. Она остановила его коротким «после», а когда Зенон распахнул дверцы носилок, сказала вполголоса:

— Я пойду пешком. После качки на корабле мне не хочется садиться в носилки. Нам нужно многое обсудить. В дороге я обдумала один план. Пошлите за начальником порта и его советниками, за главными военачальниками, за Аристархом и Горгием. Через два... нет, через полтора часа все они должны быть здесь. Принести мне все планы и карты восточной границы.

Затем она обратилась к Архибию, стоявшему подле носилок, оперлась на его руку, и, хотя он не мог ясно видеть её лица, закрытого густой вуалью, её голос проник ему в душу.

— Я буду считать добрым предзнаменованием, если ты и теперь, в это тяжёлое время, отведёшь меня во дворец.

— И теперь, и всегда эта рука и эта жизнь принадлежат тебе, — вырвалось у него.

Она же отвечала спокойно:

— Я знаю это.

Затем они направились во дворец, но когда он спросил, неужели есть основание говорить о тяжёлом времени, она перебила его:

— Не будем говорить об этом. После. Дела так плохи, что хуже быть не может. Но нет! Многие были бы рады опереться в несчастную минуту на верную руку!

При этом она слегка пожала ему руку, и Архибию показалось, будто сердце его помолодело. Он молчал, потому что её желание было для него приказом, но, идя рядом с ней сначала по набережной, потом в ворота гавани и, наконец, по мраморным ступеням, ведущим к порталу дворца, он видел перед собой не окутанное покрывалом лицо несчастной женщины, а кудрявую головку счастливого ребёнка. В

душе его возник образ маленькой повелительницы эпикурейского сада. Он видел взгляд её больших голубых глаз, вопросительный и в то же время точно проникавший в тайну мира. Ему чудился серебристый звук её голоса, заразительный детский смех, и он почти не сознавал настоящего.

Погруженный в воспоминания о прошлом, он провёл её через портал в обширный внутренний двор. На противоположной стороне его находились ворота, ведущие во дворец царицы, налево — небольшие двери в жилище её сыновей.

Архибий хотел провести её во дворец, но она указала на помещение молодых людей.

На пороге она оставила руку Архибия и, когда он поклонился, намереваясь уйти, сказала:

— Вон Хармиона. Вам обоим следовало бы сопровождать меня туда, где мечтает юность и царствуют душевный покой и беззаботность. Но из почтения к царице ты ещё не поздоровался с сестрой после такой долгой разлуки. Поди к ней. А потом следуйте за мной.

Затем она направилась быстрыми шагами через атриум к лестнице, ведущей в покои царевичей и царевен.

Архибий горячо обнял сестру, и та со слезами на глазах призналась ему, что, кажется, всё погибло. Антоний вёл себя позорно. Вероятно, он явится вслед за Клеопатрой; флот, а может быть, и сухопутное войско уничтожены. Их судьба в руках Октавиана.

Затем они пошли к лестнице, подле которой стояла Ира в обществе рослого сирийца, поразительно напоминавшего лицом Филострата, бывшего мужа Барины. То был его брат Алексас, любимец Антония. Он должен бы был находиться при своём господине, и Архибий взглядом спросил сестру, как попал сюда этот человек.

— Он умеет предсказывать будущее по звёздам, — отвечала Хармиона. — Ну и льстивый язык много значит. Это паразит худшего пошиба, но он развлекает царицу, и она терпит его.

Увидев, куда направилась Клеопатра, Ира поспешила за ней. Сириец Алексас остановил её и поздоровался. Он ревностно ухаживал за нею ещё задолго до начала войны и теперь дал ей понять, что разлука не охладила его чувств. Как и у брата, голова его была несообразно мала в сравнении с огромным телом, но лицо красиво и оживлено блестящими, острыми глазами.

По-видимому, Ира тоже была рада встрече с любимцем, но, заметив Архибия и Хармиону, бросилась к ним и с дочерней нежностью обняла тётку. Поднявшись по лестнице, они вошли в зал, где встретили Клеопатру.

Надзиратель Эвфронион рассказал ей с льстивым восторгом о необыкновенных дарованиях, обнаруживавшихся с каждым днём всё яснее и яснее у молодых людей.

Клеопатра несколько раз перебивала его пылкую речь различными вопросами, стараясь в то же время снять покрывало со своей головы, что, однако, не удавалось её маленьким ручкам, не привыкшим к такой работе. Заметив это, Ира поспешила к ней и своими ловкими, привычными пальцами быстро распутала длинное покрывало.

Клеопатра поблагодарила её лёгким кивком и, когда старший евнух распахнул дверь в покои детей, дружески сказала Архибию и Хармионе:

— Идёмте!

Надзиратель, которому вообще не полагалось входить в спальни царевичей и царевен, удалился, но Ира была жестоко оскорблена невниманием царицы, не пригласившей её с собой. Она изменилась в лице, стиснула тонкие губы, потом откинула локоны с высокого лба, быстро спустилась с лестницы и окликнула

Алексаса, который только что хотел выйти из атриума.

Сириец тотчас подошёл к ней, выразив восхищение, что его солнце дважды является перед ним в эту ночь, но Ира перебила его:

— Брось эти любовные глупости. Но нам выгодно заключить союз и действовать сообща. Я бы хотела этого.

— И я! — воскликнул Алексас, прижимая руку к сердцу. Между тем Клеопатра вошла в спальню детей. Глубокая тишина царила в высоком, убранном коврами зале. Арка из пёстрого ливийского мрамора разделяла его на две половины. В одной стояли два ложа из слоновой кости, поддерживаемые золотыми детскими статуями. Изголовье их было увенчано коронами, украшенными жемчугом и бирюзой.

Тяжёлый полог закрывал ложа, но евнухи отёрнули его перед царицей. На ложах покоились двое детей, десятилетние близнецы, которых Клеопатра родила Антонию: Антоний Гелиос и Клеопатра Селена. Белокурая, розовая девочка была прелестна, мальчик тоже хорош собой, но с чёрными, как у отца, волосами. Кудрявые головки детей покоились на шёлковых подушках.

На третьей кровати, за аркой, спал Александр, хорошенький шестилетний мальчик, младший сын и любимец Клеопатры.

Поллюбовавшись на близнецов и слегка прикоснувшись губами к их разгоревшимся щекам, она повернулась к младшему и опустилась на колени подле его ложа. С полными слёз глазами она осторожно притянула к себе ребёнка и осыпала поцелуями его глаза, щёки и губы. Потом тихонько опустила его на ложе, но ребёнок обвил ручонками её шею и залепетал что-то непонятное. Она нежно прислушивалась к его лепету, пока сон не овладел им и руки не упали на постель.

Несколько секунд она стояла, прижавшись лбом к ложу. Она молилась за ребёнка, его братьев и сестёр. Когда она встала, лицо её было увлажнено слезами, и грудь высоко поднималась. Заметив слёзы на глазах Архибия и Хармионы, она сказала, указывая на маленького Александра и близнецов:

— Вы отказались от этого счастья... ради меня! За каждого из них я готова отдать царство, а за всех... Найдётся ли на земле что-нибудь, чего бы я не отдала за них? Но что же у меня осталось теперь?

При этих словах лицо её омрачилось. Ей вспомнилось проигранное сражение. Проиграна, потеряна собственная власть, погибла независимость отечества. Рим уже простирал свою лапу, чтобы присоединить и его к своим бесчисленным владениям. Но этого не может быть. Её близнецы, спящие там под коронами, должны быть увенчаны ими. А этот мальчик?..

Она снова наклонилась над ребёнком. Должно быть, он видел во сне что-нибудь весёлое, так как личико его озаряла улыбка.

Сердце её переполнилось и, взглянув на друзей своего детства, с нежностью смотревших на спящего ребёнка, она вспомнила о спокойной и счастливой жизни в эпикурейском саду.

Позднее начались для неё дни могущества и величия, но чем выше она поднималась по лестнице почестей и славы, тем больше удалялось душевное спокойствие, о котором, однако, она никогда не переставала мечтать. И когда она всматривалась в улыбающееся лицо ребёнка, от которого, казалось, далеки были всякие горести и тревоги, ей пришло в голову, что не суждено ли этому мальчику утратить корону и достигнуть истинного блаженства.

Поражённая этой мыслью, она обратилась к своим спутникам и сказала вполголоса, чтобы не разбудить спящего:

— Что бы ни случилось с нами, я поручаю этого ребёнка вашей любви и заботам. Если ему не суждено

насладиться властью и блеском короны, он, может быть, познает другое счастье, которое когда-то — как давно это было! — ваш отец старался сделать доступным его матери.

Архибий припал к краю её платья, Хармиона прильнула губами к её руке, она же глубоко вздохнула и продолжала:

— Мать уже отняла слишком много времени у царицы. Я запретила сообщать Цезариону о моём приезде. Так будет лучше. Перед свиданием нужно решить важнейшие дела... Теперь же... Я не только мать и царица, я — человек. До свидания, друг мой! Ты же, Хармиона, отведи меня в спальню. Или нет, ты ещё больше устала, чем я. Ступай с братом! Пошли ко мне Иру, она будет рада ещё раз услужить своей госпоже.

XI

Царица вышла из ванны. Ира убрала её всё ещё пышные тёмно-русые волосы, надела на неё великолепное платье, так как, несмотря на ранний час, сановники скоро должны были явиться.

Как удивительно она сохранилась!

Время, казалось, не смело наложить свою руку на это совершенство женской красоты. Но зоркий глаз гречанки уже замечал кое-где признаки увядающей юности. Она любила свою госпожу и тем не менее испытывала чувство какого-то внутреннего удовлетворения, замечая в царице те же признаки, которые уже так резко обнаруживались в ней самой, хотя она и была гораздо моложе. Она охотно пожертвовала бы для Клеопатры всем на свете, но всё же ей казалось вполне справедливым, что и это царственное дитя фортуны не может избежать общей всем смертным участи.

— Полно льстить, — сказала Клеопатра с горькой улыбкой. — Говорят, что постройки фараонов смеются над временем! Но этого не скажешь о царицах Египта. Вот седой волос, не говори мне, что он не из моей головы! А эти морщины около глаз и на лбу, разве они не мои? А этот испорченный зуб, который так плохо прикрывает губа? Он заболел у меня накануне сражения. Мой милый, верный, искусный Олимп сумел бы сделать незаметным искрошившийся зуб. Но я не могла взять старика на войну, а Главк далеко не так искусен. Как я жалела о старике... У Антония зоркие глаза!.. Что такое мужская любовь? Испорченный зуб может погубить её! Ах, Ира, какие часы пришлось пережить мне! Его взгляды иногда просто оскорбляли меня!

— Что-нибудь произошло между вами? — воскликнула Ира.

— Да, это началось вскоре после отплытия из Александрии. Да, теперь я понимаю, что грызло мне душу! Через несколько дней он явится сюда, в том я уверена. Он отправился в Паретоний [\[52\]](#), где стоит Пинарий Скарб со свежими легионами. Он было решил удалиться от мира, к которому относится с презрением, хотя мир так щедро одарил его... Но прежний дух проснулся в нём, и если только счастье, которое так верно служило ему, не изменит и на этот раз, он скоро приведёт сильное подкрепление к африканскому войску. Азиатские владетели... Но довольно. Он скоро будет здесь. Он не может без меня жить. Не один кубок Нектанеба привлекает его ко мне.

— Когда славнейший из славных, Юлий Цезарь, добивался твоей любви, когда ты встретила с Антонием на Кидне, об этом кубке и речи не было, — отвечала Ира. — Всего два года тому назад Анубис позволил тебе взять из храма это сокровище. Конечно, от него исходит таинственная сила, но ещё большая от тебя самой.

— Хорошо, если бы и теперь так было! — воскликнула царица. — Во всяком случае многие поступки Антония объясняются чудесным действием этого кубка. Я не настолько тщеславна, чтобы приписать их своему влиянию. Это сражение, это непонятное, позорное сражение! Ты была больна, когда мы уезжали, и не могла видеть наш флот, но все говорят, что такой прекрасный, такой огромный флот ещё никогда не отплывал из Александрийской гавани! Я была права, возлагая на него все надежды. Если бы мы победили, как радостно было бы мне сознавать: оружие, которое я дала своему милому, покорило ему мир. Притом же и звёзды обещали мне успех на море! Анубису и Алексасу они предсказали то же самое. Я рассчитывала также на могущество кубка, побуждавшее Антония делать многое вопреки своему желанию. Итак, я поставила исход войны в зависимость от флота, но это было ошибкой, ошибкой, ошибкой! Я скоро узнала, какой это было ошибкой!

Отчего меня не предупредили заблаговременно? После поражения языки развязались. Слова одного ветерана открыли мне глаза. Он спросил у Антония, почему тот возлагает свои надежды на деревянные доски, и прибавил к этому: «Предоставь финикиянам и египтянам биться на воде, а нас отпусти на землю, где мы привыкли побеждать или умирать». Если бы я вовремя узнала об этих словах, они спасли бы меня от ошибки. Но мне не сообщили о них.

Началось сражение. Наши не вытерпели. Левое крыло флота двинулось вперёд. Я следила за битвой с бьющимся сердцем. Как гордо двигались огромные корабли. Всё шло отлично! Антоний обратился к воинам с речью, уверяя их, что наши корабли одной величиной своей раздавят неприятельский флот. Ты знаешь, как он умеет воодушевлять слушателей. Я тоже не чувствовала страха! Кто же будет бояться, если уверен в победе? Но когда он ушёл на адмиральский корабль и простился со мной не с такой нежностью, как всегда, мне стало грустно. Я ясно видела, что любовь его охладевает. Что со мной сделалось с тех пор, как я оставила Александрию и перестала пользоваться услугами Олимпа! Так не должно было продолжаться. Я решила предоставить ему вести войну и удалиться. Правда, кубок Нектанеба заставлял его делать многое, но с какой неохотой. Морщины и годы, эти жестокие годы!..

— Что за мысли! — воскликнула Ира. — Клянусь, царица, что, глядя на тебя...

— Теперь, в этом уборе и после того, как я воспользовалась искусством Олимпа! Тогда же, уверяю тебя, я пугалась себя. Неприятности тоже не могут усилить красоту, а ты знаешь, как досаждали мне римляне своими разговорами о том, что женщине не следует вмешиваться в военное мужское дело. Я решила положить конец этому. В сухопутном сражении я и раньше не хотела принимать участия, теперь же решила оставить флот и вернуться к детям. Они не замечают седых волос и морщин своей матери, а он, он почувствует моё отсутствие, думалось мне, и прежняя любовь вернётся к нему. Я хотела, как только сражение будет выиграно, отплыть в Египет, даже не простившись с ним, а только крикнуть: «До свидания в Александрии!»

Я позвала Алексаса, который остался при мне, и велела ему подать мне сигнал, когда сражение решится в нашу пользу. Я сидела на палубе и видела, как вражеские корабли описывают огромный круг. Наварх[53] сказал мне, что это Агриппа[54] пытается окружить нас. Во мне снова шевельнулись опасения, и я начала сожалеть, что впуталась в мужское дело.

Антоний смотрел на меня с адмиральского корабля. Я сделала ему знак, указывая на опасность, но он не ответил мне, как в прежние времена, ласковым приветствием, а повернулся спиной, и спустя несколько мгновений вокруг меня поднялась страшная суматоха. Корабли сцепились, доски и снасти ломались с ужасным треском. Крики и стоны солдат и раненых, грохот камней, которые метала катапульта, пронзительные звуки сигналов! Подле меня двое воинов упали, поражённые стрелами. Это было ужасно. Однако мужество моё не поколебалось, когда новая эскадра обрушилась на наш флот. Я заметила новый ряд кораблей, двигающихся на нас, и видела, как римский корабль пошёл ко дну при столкновении с одним из моих кораблей, которому я сама дала имя Селены. Это показалось мне добрым знаком, предвестием победы. Я ещё раз приказала Алексасу оставить сражение, когда победа, несомненно, будет на нашей стороне. Мы ещё говорили с ним, когда явился слугитель Язон с завтраком. Я протянула руку к кубку, но в эту самую минуту Язон упал с раздробленной головой, вино пролилось и смешалось с кровью. Ужас леденил мне кровь, и я дрожащим голосом спросила Алексаса: «Не оставить ли нам сражение?» Впрочем, я скоро собралась с духом и узнала у наварха, стоявшего передо мной на мостике: «На чьей стороне перевес?» — «На нашей», — отвечал он.

Я подумала, что время настало, и велела ему направить корабль к югу. Но он, казалось, не понял меня. Гул и грохот сражения становились всё громче и громче. Тогда, несмотря на увещания Хармионы, умолявшей меня не предпринимать ничего своей властью, я послала к наварху Алексаса, и, пока он

разговаривал со старым моряком, который что-то горячо возражал ему, я смотрела на ближайšie корабли. Я уже не могла отличить своих от вражеских, я видела бесконечные ряды весел, непрерывно поднимавшихся и опускавшихся, и мне казалось, что каждый корабль превратился в громадного паука с тысячами лап. Эти чудовища толпились вокруг меня, грозили запутать меня в свою ужасную сеть, и, когда наварх подошёл и заклинал меня остаться до конца битвы, я велела ему исполнить моё приказание.

Старик поклонился и сделал то, что ему велела его царица. Гигантский корабль повернулся и направился к югу, прокладывая себе путь в этом столпотворении.

Я вздохнула свободнее. Алексас отвёл меня под прикрытие, где я была в безопасности от стрел и камней. Желание моё исполнилось. Я рассталась с Антонием, мы плыли в Александрию, к детям. Но вскоре я заметила, что все мои корабли следуют за мной. Это страшно испугало меня, Алексас куда-то скрылся. Центурион, которому я велела передать наварху, чтобы тот подал сигнал к возвращению в битву, отвечал, что наварх убит, но приказ мой будет исполнен. Как он его передал, не знаю, только он не был исполнен.

Мы прошли мимо адмиральского корабля, где Антоний распоряжался битвой, стоя на мостике. Когда мы поравнялись, я кивнула ему. Он сбежал с мостика и, наклонившись над бортом, закричал мне что-то, приставив руки к губам. Я не поняла его слов и только указала на юг, пожелав ему победы в душе. Он покачал головой, схватился за волосы, точно в припадке отчаяния, сделал мне какой-то знак рукой... Но мой корабль уходил всё дальше и дальше.

Я легко вздохнула, радуясь, что избавилась от двойной опасности. Если бы он увидел меня в таком виде, как я была тогда... Жалкая женская слабость... Я и не подозревала в ту минуту, что накликала гибель на себя, детей, весь мир, может быть.

Хармиона отвела меня в каюту. Только тут я сообразила наконец, что я сделала. Вместо того чтобы помочь истребить ненавистного врага, я, быть может, облегчила ему победу, торжество над нами... Терзаясь этими мыслями, я расхаживала взад и вперёд по каюте.

Вдруг на палубе раздался шум. Послышался треск, точно корабль наш получил сильный удар. Неужели за нами гонятся? Римский корабль схватился с моим? Такова была моя первая мысль. Я достала кинжал, подаренный мне Антонием.

Но тут явилась Хармиона с вестью, которая, пожалуй, была хуже этой ложной тревоги.

Я только что с гневом отослала её, потому что она просила вернуться в битву. Теперь она явилась, бледнее смерти, с известием, что Антоний покинул сражение и догнал нас на маленьком корабле.

Я оцепенела от ужаса.

Сначала мне пришло в голову, что он хочет вернуть меня в битву, и во мне зашевелилась досада и желание доказать ему, что я царица и могу распоряжаться, как мне вздумается, хотя в то же время хотелось броситься к его ногам и умолять делать и приказывать всё, что нужно для победы.

Но он не приходил ко мне.

Я снова послала к нему Хармиону. Оказалось, что он не мог вынести разлуки со мной. Он сидел, опустив голову на руки и уставившись в палубу, точно обезумев. Он... Марк Антоний! Храбрый из воинов, гроза врагов, бессильно опустил руки, как пастух, у которого волки загрызли стадо. Марк Антоний, герой, презиравший тысячи опасностей, бросил меч! Почему, почему? Из-за суетных опасений женщины, которую к тому же отвлекало от поля боя и материнское чувство. Из всех пороков ему наиболее чужда трусость, — ему, пускавшемуся на самые безумные предприятия единственно из удалства... Нет, тысячу раз нет!.. Скорее огонь и вода уживутся вместе, чем трусость и Марк Антоний! Какой-то гибельный демон, какая-то роковая сила овладела им!..

— Сильнейшая из всех — любовь, — горячо перебила Ира. — Любовь, какой не испытывал ещё ни один человек.

— Да, любовь, — задумчиво повторила царица. Лёгкая усмешка тронула её губы. — Неужели любовь, которая делает из двух существ одно, сообщила и его геройскому рассудку мою робость и слабость?.. Нет! Во время плавания не раз случались бури. Мне невозможно было явиться перед ним в таком виде, в каком желаешь показаться возлюбленному. Да и теперь, несмотря на всё твоё искусство... Вот зеркало... Лицо, которое отражается в нём, кажется мне развалиной...

— Царица, — воскликнула Ира, — неужели я должна клясться тебе, что ни седые волосы, которые уже превратились в тёмные, ни морщинки, которые скоро станут незаметными благодаря Олимпу, не уменьшают ни на волос твоей красоты!..

— Полно, полно, — возразила Клеопатра. — Я знаю, что говорю. Ни один смертный не может избежать великих, вечных законов! Всё, что рождается, существует и расцветает, всё стремится к разрушению и гибели.

— Но боги дают различный срок своим творениям, — сказала Ира. — Водяная лилия цветёт только один день, а тысячелетний сикомор в саду Ионеума зеленеет и цветёт до сих пор. В твоём цветке не увял ещё ни один лепесток. И можно ли подумать, что любовь его охладилась хоть на волос, когда он бросил всё самое драгоценное для мужчины только потому, что не смог перенести разлуки!

— Почему ты видишь тут любовь? — с горечью сказала Клеопатра. — Я другого мнения. Истинная любовь не ослабляет, она усиливает, удваивает всё, что есть лучшего в мужчине. Я видела это, когда здесь, в этом самом дворце, осаждали Цезаря, сожгли его корабли, отвели воду... Да и Марк Антоний двадцать... что я говорю, сотни раз восхищал меня тем же самым в те времена, когда действительно любил меня со всем пылом страсти. А что произошло при Акциуме? Это постыдное бегство голубка за своей голубкой. Да на него будут пальцами указывать будущие поколения... Забыть долг, честь, славу, настоящее и будущее. Ах, Ира, кто не заглядывает вглубь, тот может, пожалуй, приписать это безумной любви, но я лучше вижу, в чём дело, и вот отчего мои волосы седеют день ото дня и разрушаются последние остатки моей красоты. Не любовь увлекла за мной Антония, не она смешала с грязью этот лучезарный образ, не она заставила полубога бежать по следам слабой женщины!

Тут она понизила голос, схватила девушку за руку, притянула её к себе и прошептала ей на ухо:

— Кубок Нектанеба оказал своё действие. Да, в этом чудном сосуде таится страшная, сверхъестественная сила. Она превратила потомка Геркулеса, полубога, в бессильного, жалкого, разбитого человека, каким я нашла его на палубе. Ты молчишь? Твой бойкий язык не находит слов для возражения? Помнишь, как ты помогла мне выиграть заклад, обязавший Антония всякий раз смотреть в кубок перед тем, как я его налью? Как я была благодарна Анубису, когда он согласился наконец на мои просьбы, как я радовалась, когда первый опыт удался и Антоний по моему приказанию надел свой пышный венок на старого, кислого перипатетика Диомеда, которого он терпеть не может. Было это год тому назад, и ты знаешь, как редко я пользовалась силой ужасного кубка. Милый и без того не знал, как мне угодить. Но потом... перед сражением... ужасное время! Я чувствовала, что он рад бы был отправить меня домой. Кроме того, мне казалось, что между нами пробежала чёрная кошка. Но всякий раз, когда я, заставив его заглянуть в кубок, восклицала: «Ты не отошлешь меня! Мы принадлежим друг другу. Куда пойдёт один из нас, туда последует и другой!» — он просил меня не расставаться с ним. Утром перед сражением я подала ему кубок и внушила ему никогда, ни при каких обстоятельствах не оставлять меня. И вот он повиновался мне и на этот раз. Это ужасно! А между тем могу ли я проклинать волшебную силу кубка? Не думаю. Без неё — так не раз говорил мне внутренний голос в бессонные ночи, — без неё он взял бы с собой на корабль другую женщину. Мне кажется, я её знаю. Её пение на празднике Адониса и меня задело за

живое. Я видела, как он смотрел на неё. Алексас подтвердил мои подозрения. Он знает эту сирену; она была замужем за его братом, который прогнал её, чтобы избавиться от позора.

— Барина, — спокойно и твёрдо сказала Ира.

— Ты знаешь её? — спросила Клеопатра.

— Слишком хорошо знаю эту женщину, — отвечала Ира, — и слишком она возмущает моё сердце! О, госпожа, госпожа, как грустно мне отравлять тебе и без того скорбную минуту! Но приходится говорить обо всём. Антоний был у певицы и познакомил с ней сына, — об этом весь город знает. Но это бы ещё ничего. Какая-то Барина в роли твоей соперницы! Над этим можно только посмеяться. Но наглость этой женщины не знает границ! Её не останавливает никакой сан, никакой возраст. С отъездом двора и войска здесь осталось мало мужчин, которых она считает достойными своих сетей. Тогда она начинает забрасывать сети на мальчиков. Кто же запутался в них — Цезарион!

— Цезарион! — воскликнула Клеопатра, и бледные щёки её вспыхнули. — А что же Родон и мой строгий приказ?

— Антилл потихоньку ввёл его к Барине, — отвечала девушка. — Но я не дремала. Мальчик точно приколдован к певице. Оставалось одно: удалить её из города. Архибий помог мне в этом.

— Значит, мне не нужно будет высылать её.

— Придётся сделать это, потому что Цезарион с товарищами напал на неё во время выезда.

— И что же, удалась эта дикая выходка?

— Нет, госпожа, но лучше бы она удалась. Какой-то влюблённый дурак, её спутник, вступился за неё. Он осмелился поднять руку на сына Цезаря и ранил его. Успокойся, госпожа, умоляю тебя!.. Рана не опасная. Гораздо больше опасений внушает мне бешеная страсть мальчика.

Царица так крепко стиснула губы, что лицо её на минуту утратило свойственную ему прелесть, и сказала строгим и решительным тоном:

— Дело матери охранить сына от соблазнительницы. Алексас прав. Звезда её стоит на пути моей звезды. Эта женщина встала между мной и Антонием, её он... Но нет! К чему обманывать себя? Время, разрушающее красоту, сильнее двадцати таких прелестниц. К тому же и обстоятельства помешали мне скрыть ущерб, нанесённый временем, от глаз этого баловня из баловней. Всё это благоприятствовало певице. Она, охотясь за мужчинами, имела в своём распоряжении всё, что помогает нам, женщинам, скрывать недостатки и выставлять напоказ достоинства, которые могут понравиться милому, я же была лишена и твоих услуг, и искусства Олимпа. На корабле в бурную погоду божество не раз являлось поклоннику без ореола и фимиама...

— Полно, госпожа! — воскликнула Ира. — Если бы она воспользовалась всем искусством Афродиты и Исиды, то и тогда бы ей не сравняться с тобой. Но много ли нужно для того, чтобы одурманить мальчика, почти ребёнка!

— Бедный мальчик! — вздохнула царица, покачав головой. — Если бы он не был ранен, я бы, пожалуй, порадовалась, что в нём пробуждается дух самостоятельности и деятельности. Кто знает — о если бы это случилось, Ира! — может быть, теперь в нём проснётся гений и мощь великого человека, на которого он так похож лицом. Ты клянёшься, что рана не опасна?

— Врачи ручаются за это.

— Ну что же, будем надеяться. Пора ему начать жить. Мы дадим ему случай проявить себя. Глупая страсть не должна помешать ему следовать по пути отца. А эта женщина, эта дерзкая, желания которой

простираются на самых дорогих мне людей, пусть она остаётся на свободе. Посмотрим, справится ли она со мной?

— Время теперь смутное, — сказала Ира. — Устрани со своей дороги помеху. Тебе и без того предстоит тяжёлые труды. В такие дни самое лучшее без хлопот отделаться от врага, отправив его в Гадес.

— Убийство? — спросила Клеопатра нахмурившись.

— В случае необходимости да, — быстро отвечала Ира. — Или ссылка на какой-нибудь остров, в оазис, в рудники наконец, где она забудет, как ставить сети мужьям и сыновьям.

— И будет томиться в муках, пока смерть не положит им конец, — прибавила Клеопатра с упрёком. — Нет, Ира, это слишком лёгкая победа. Я и врага не пошлю на смерть, не выслушав, тем более теперь, когда я на себе испытываю, что значит находиться в зависимости от сильнейшего. Но мне хочется ещё раз увидеть эту певицу и узнать, какими узами удалось ей приковать к своей триумфальной колеснице столько людей — от мальчика до взрослого мужа.

— Госпожа, — с ужасом воскликнула Ира, — ты хочешь её видеть.

— Я хочу, — отвечала Клеопатра повелительным тоном, — я хочу выслушать дочь Леонакса, внуку Дидима, которых я умела ценить, прежде чем решу её участь. Я хочу заглянуть в сердце и душу соперницы, всё взвесить, прежде чем решу что-нибудь. Я приму вызов, который она бросает любящей жене и матери! Но — это моё право — я хочу, чтобы она явилась передо мной так же, как я в последнее время являлась перед Антонием: не прибегая к помощи искусства.

С этими словами она подошла к окну и бросила взгляд на небо.

— Первый час пополудни близок к концу. Сейчас начнётся совет. Дело идёт о попытке, которая может спасти многое. Заседание будет длиться час или два. Певица может подождать. Где она живёт?

— В доме своего отца, художника Леонакса, в саду Панейона, — отвечала Ира. — Но, царица, если ты хоть сколько-нибудь ценишь моё мнение...

— Теперь я требую не совета, а исполнения моего приказанья! — воскликнула Клеопатра. — Как только соберутся...

В эту минуту вошёл придворный и объявил, что приглашённые на совет собрались. Клеопатра велела сказать, что сейчас выйдет к ним. Затем она приказала Ире немедленно отправиться за Бариной в закрытой повозке с каким-нибудь надёжным человеком.

При этом она взяла с туалетного столика восковую дощечку и быстро написала:

«Царица Клеопатра желает немедленно видеть Барину, дочь Леонакса. Ни минуты отсрочки. Барина должна исполнять все приказанья Иры, посланной царицы, и её спутника».

Написав, она сложила дощечку, протянула её Ире и спросила:

— Кого ты возьмёшь с собой?

— Алексаса, — отвечала та, не задумавшись.

— Хорошо. Пусть она идёт в том виде, как вы её застанете. Но — я требую этого — не забывайте, что она женщина.

С этими словами она хотела выйти из комнаты, но Ира поспешила за ней, чтобы поправить диадему на её голове и расправить складки платья.

— Я вижу, что у тебя что-то есть на душе, — сказала царица ласково.

— О госпожа, — воскликнула девушка, — после таких потрясений ты превращаешь ночь в день и взваливаешь на себя новые тяготы, новые заботы! Если бы врач Олимп...

— Что делать! — возразила Клеопатра. — Последние две недели были для меня, как долгая, мрачная ночь. Я почти не отдыхала. Кому нужно вытащить из потока то, что ему дороже всего на свете, тот не боится холодной воды. Здоровой или больной погибнуть — не всё ли равно, но стоит пожертвовать здоровьем и жизнью, лишь бы собрать новое войско и спасти Египет.

Спустя несколько минут Клеопатра поднялась на престол и приветствовала сановников, явившихся по её зову, чтобы обсудить план сопротивления победоносному врагу.

Когда, много лет тому назад, мальчик, с которым она делила власть согласно завещанию отца, и его опекун Потин принудили её бежать из Александрии, она удалилась на восточную границу Египта. Здесь, на перешейке, она видела остатки канала, соединявшего когда-то Красное море со Средиземным. Уже в то время это гигантское сооружение привлекло её внимание. Она расспрашивала о нём местных жителей и отчасти сама исследовала это сооружение.

Ей казалось, что, затратив значительные средства, можно восстановить канал, которым пользовались древние фараоны, в котором укрывался флот Дария, восстановителя персидского царства, не далее как пятьсот лет тому назад.

Она тщательно изучила этот вопрос и в спокойные минуты не раз обдумывала план соединения Греческого моря с Аравийским.

Теперь царица ясно, с поразительным знанием дела изложила этот план присутствующим. Если он окажется исполнимым, остатки флота, равно как и корабли, стоящие на александрийском рейде, могут укрыться в Красном море. Опираясь на эту силу, можно будет предпринять многое, значительно продлить сопротивление и, воспользовавшись временем, собрать новые силы, найти новых союзников.

Собрание с удивлением слушало речь этой женщины, задумавшей такой грандиозный план при таких, казалось, безысходных обстоятельствах.

Он не казался неисполнимым даже старейшим и опытнейшим сановникам. Некоторые из них, в том числе и Горгий, помогавший отцу при восстановлении Серапеума на восточной границе, боялись, что возвышенность посреди перешейка затруднит работы. Но то, что оказалось возможным во времена Сезостриса[55], могло быть исполнено и теперь.

Гораздо больше сомнений вызывал недостаток времени и сохранившееся в летописях известие, что при постройке канала, почти оконченного фараоном Нехо[56], погибло сто двадцать тысяч работников. В то время постройка была прервана, так как оракул объявил, что она принесёт пользу только финикианам.

Всё это было обсуждено, но общее мнение склонялось к тому, что план царицы может быть осуществлён, несмотря на все трудности. Всех, кто работает на полях и не зачислен в армию, нужно привлечь к делу. Работы должны начаться немедленно. Там, где нельзя будет плыть, можно попытаться перетащить корабли волоком. Механики, умевшие перевозить обелиски и колоссальные статуи от водопадов в Александрию, могут применить здесь свои знания и искусство.

Никогда ещё пламенный дух Клеопатры не возбуждал такого энтузиазма, как на этом ночном заседании. По окончании его собрание приветствовало царицу восторженными криками.

Её приезд и известие о проигранном сражении должны были остаться в тайне.

Горгию было поручено руководить предприятием, и одухотворённость, голос, чарующая прелесть Клеопатры произвели на него такое впечатление, что образ её совсем было заслонил Елену.

Нелепо было обращать свои желания к такой недоступной цели, но такой обворожительной женщины, как Клеопатра, ему никогда ещё не приходилось встречать. И всё-таки он с нежностью вспоминал о внучке Дидима и жалел, что не успеет проститься с ней как следует. После заседания хранитель печати Зенон, дядя Диона, отвёл архитектора в сторонку и спросил, как здоровье племянника. Горгий отвечал, что рана, нанесённая Цезарионом, довольно тяжела, но, по словам врачей, не представляет серьёзной опасности.

Дядя, по-видимому, удовлетворился этим и, прежде чем архитектор успел попросить его вступить за племянника, откланялся, велел передать Диону поклон и повернулся спиной к Горгию. Хитрый придворный ещё не знал, как отнесётся к этому происшествию царица, к тому же он был завален делами. Новое предприятие требовало больших хлопот, которые почти целиком ложились на него.

XII

Уже более часа Барина дождалась во дворце. Роскошно убранная комната, куда её привели, помещалась под залом собраний, и временами она слышала голос царицы или восклицания собравшихся.

Барина прислушивалась к ним, не пытаясь вникнуть в смысл долетавших до неё слов. Не до того ей было!

Давно ли ей удалось путём страшных усилий выйти из тяжелейшего положения! Она откупилась от Филострата. Алексас, преследовавший её гнусными предложениями, тоже оставил её в покое, так как Антоний отправил его с посольством, а потом взял с собой на войну.

Тогда наступили мирные, счастливые дни в доме матери. Как она наслаждалась ими, как быстро вернулось к ней утраченное спокойствие! Не далее как сегодня она благословляла высшее счастье, какое только могла доставить ей жизнь. Но недолго пришлось им наслаждаться: нападение разнузданного мальчишки, рана возлюбленного снова омрачили её покой.

Значит, права была мать, предсказывавшая, что за первым несчастьем скоро последует и второе.

Ночью, в глубокой тишине, её оторвали от ложа раненого. Это произошло по приказанию царицы, и Барина с горечью подумала, что прав тот, кто бежит от тирании, потому что она превращает человека в вещь.

Молодая девушка не ожидала ничего хорошего, так как за ней были посланы её злейшие враги: Ира, соперница, мстившая за возлюбленного — Дион сознался в этом в минуту откровенности, — и Алексас, домогательства которого она отвергла с таким презрением, какого не забывает мужчина.

Она скоро узнала, как относится к ней Ира. Эта стройная девушка с узким лицом, тонким заострённым носом, коротеньким подбородком, длинными пальцами показалась ей каким-то длинным, острым шипом. Странное впечатление ещё усилилось, когда Барина вспомнила, каким резким, крикливым тоном, с какой надменной осанкой был передан приказ царицы. Всё в этом жёстком, враждебном создании сулило ей гибель и бедствия.

После нападения, подробности которого, впрочем, она не видела, так как от ужаса закрыла глаза, она вернулась домой с раненым Дионом.

Дома врач перевязал ему рану, а тем временем она и Береника приготовили для него свою спальню.

Барина не отходила от его ложа.

Тотчас по возвращении она переделась и, зная его любовь к изящному, обратила серьёзное внимание на свой туалет. Барина надела браслет, подарок Антония, и простое белое платье, так как некоторое время тому назад он заметил, что этот костюм больше всего идёт к ней. И не раскаялась, потому что видела, с каким удовольствием его глаза смотрят на неё.

Врач запретил ему говорить и велел побольше спать, поэтому она только пожимала ему руку и шептала слова любви и ободрения каждый раз, как он просыпался.

Так проводила она долгие часы у его ложа, отходя только на минуту, чтобы налить лекарство или позвать мать перевязать раны.

Береника предложила сменить её, просила пойти отдохнуть, но Барина наотрез отказалась и осталась

у постели раненого. Около двух часов пополуночи раздался сильный стук у ворот. Береника только что сняла повязку с раны, поэтому Барина сама пошла в атриум разбудить привратника.

Старик не спал и уже отворил ворота. Барина отшатнулась с лёгким криком, узнав в первом из тех, кто вошёл в зал, Алексаса. За ним следовала Ира, закутанная в покрывало, так как буря ещё не прекратилась. Последним был служитель с фонарём, сопровождавший их.

Сириец церемонно поклонился Барине, но Ира, не удостоив её приветствия, передала приказ царицы и громко прочла письмо, написанное на восковой дощечке.

Когда Барина, побледнев и едва владея собой, попросила дать ей время подготовиться к отъезду и проститься с матерью, Ира вместо ответа велела привратнику подать госпоже плащ.

Старик удалился, дрожа от волнения, а Ира осведомилась, здесь ли ещё Дион. Барина, которой этот вопрос вернул самообладание, гордо отвечала, что приказ царицы не даёт им права допрашивать её в собственном доме.

Ира пожала плечами и обратилась к Алексасу:

— В самом деле, я напрасно спрашивала. Кто принимает в своём доме столько мужчин всех возрастов, тому, конечно, некогда думать о ком-то одном.

Молчание не прерывалось до тех пор, пока вместо привратника не явилась Береника с плащом, накинула его на плечи дочери и прошептала ей едва внятным от волнения голосом несколько успокоительных слов. Но Ира перебила её, приказав Барине следовать за ними.

Мать и дочь обнялись и простились, затем повозка помчала оклеветанную женщину сквозь бурю и дождь на Лохиаду.

Во время дороги не было сказано ни слова, только во дворце Ира ещё раз обратилась к Барине, но та ответила, что ей не о чем разговаривать с ней. Она с трудом сдерживала желание высказать своей сопернице всё, что думает об её трусливой жестокости, в особенности после того, как Алексас расхохотался в ответ на какое-то замечание Иры.

Волнение Барины должно было найти какой-нибудь выход, и, несмотря на все её усилия сохранить самообладание, крупные слёзы покатались по щекам.

Они тут же были замечены Ирой и послужили мишенью для её остроумия; но на этот раз она не нашла сочувствия в сирийце; он не только не улыбнулся на насмешливое замечание, но отвечал с упрёком — так по крайней мере показалось Барине. На что Ира только презрительно пожала плечами.

Барина давно заметила, что мать второпях накинула на неё свой плащ, и даже это обстоятельство вызвало насмешки спутницы.

Впрочем, под её наглостью скрывалось злобное чувство. Весёлость, которую возбудил в ней плащ соперницы, имела серьёзное основание. Серый, дурно сидевший плащ уродовал Барину; в таком костюме красота её много проигрывала в сравнении с Клеопатрой, для которой Ира приготовила великолепную пурпурную мантию, расшитую чёрными и золотыми драконами и грифами. Комната, где они сидели, была так холодна, что обойтись без плаща нечего было и думать.

И всё-таки ожидания Иры не сбылись. После заседания к ним явился служитель и объявил, что царица находит этот зал неудобным для приёма, и провёл их в другую, хорошо натопленную комнату.

Ира не знала, почему Клеопатра изменила своё решение. Во всяком случае это было ей не по нутру. Лицо её приняло мрачное, угрожающее выражение, когда Барина сняла плащ и платок с головы и осталась в простом, но изящном белом платье. Золотистые кудри, обрамлявшие её прекрасную головку, придавали

ей почти детское выражение, и, глядя на неё, Ира испытывала такое чувство, точно её и Клеопатру перехитрили.

В полутёмном атриуме дома Береники она заметила только, что на Барине надето что-то белое. «Если это ночное платье, тем лучше», — подумала она. Но оказалось, что костюм Барины годился хоть для праздника Исиды. Трудно было придумать что-нибудь более изящное и скромное! И неужели эта тщеславная женщина не снимает драгоценностей даже на ночь? По крайней мере рука её была украшена браслетом.

Красота Клеопатры была для Иры как бы своей собственной. Она раздражалась при мысли, что другая женщина может превзойти царицу хотя бы в той или другой черте, и, видя, что Барина может сравняться с ней во многом, возмутилась до глубины души.

С тех пор как она убедилась, что по милости Барины ей нечего и думать о Дионе, она возненавидела молодую женщину. Сознание своего недостойного поведения относительно Барины ещё усиливало это враждебное чувство. Если бы она знала, что скрывает под плащом соперница, она бы нашла способ подгадать ей. Но теперь приходилось оставить всё как есть, потому что к ним подошла Хармиона.

«Впрочем, времени ещё много, — думала Ира, — и если не теперь, то позднее удастся погубить Барину».

Для этого она не нуждалась в содействии Хармионы, своей верной подруги и товарки. Но что с ней случилось? Ире показалось, что в глазах её мелькнуло странное, неприязненное выражение, какого она никогда не замечала раньше. Что это значит? Неужели и тут виновата певица?

Это враждебное настроение старой подруги насторожило Иру. Коли так, то она в ней не нуждается. Конечно, отец Барины, Леонакс, был близок сердцу Хармионы, но из этого вовсе не следует, что она должна покровительствовать женщине, отбившей у её племянницы любимого человека.

Хармиона в самом деле только что говорила с братом по поводу Барины, а во дворце узнала, что молодую женщину привезли ночью, и тотчас сообразила, что ей, и без того испытавшей столько радостных и горьких потрясений, готовится какая-то новая беда. С этими мыслями она явилась в приёмную, и её добродушное, уже немолодое, обрамленное седыми волосами лицо обрадовало Барину, как желанный берег гибнущих пловцов.

Волнение разом улеглось; она бросилась навстречу сестре своего друга, как огорчённый ребёнок к матери, и Хармиона сразу поняла, что творится у неё в душе.

Обниматься в приёмной царицы, тем более при существующих обстоятельствах, было, пожалуй, не совсем уместно; тем не менее она обняла Барину, чтобы показать Ире свою готовность защищать гонимую. Барина бросила на неё умоляющий взгляд и прошептала с полными слёз глазами:

— Помоги мне, Хармиона! Она мучит, унижает, оскорбляет меня словами и взглядами так жестоко, так свирепо. Помоги мне, или я не выдержу.

Хармиона дружески покачала головой и тихонько посоветовала ей собраться с духом. Ведь как бы там ни было, она отняла у Иры возлюбленного, а это чего-нибудь да стоит. Во всяком случае ей во что бы то ни стало необходимо удержаться от слёз. Царица милостива. Она, Хармиона, заступится за неё. Всё дело в том, чтобы явиться в глазах Клеопатры такой, какова Барина на самом деле, а не такой, как её представила клевета. Не следует бояться царицы, напротив, лучше всего говорить с ней, как бы она говорила с Хармионой или Архибием.

При этом Хармиона с материнской нежностью погладила её по голове, и буря в душе молодой женщины разом улеглась. Точно очнувшись от тяжёлого кошмара, она осмотрелась и тут только заметила,

в каком роскошном покое находится, с каким сочувствием поглядывают на неё пажи, находившиеся в этом помещении, как приветливо пылает огонь в камине. Вой бури снаружи усиливал приятное впечатление от окружающего комфорта, а Ира показалась ей в ту минуту не колючим шипом или злобным демоном, а просто довольно гадкой женщиной, у которой, однако, было основание злиться на Барину. Вспомнила она и о своём милome, и о том, что сердце его во всяком случае принадлежит ей, а не Ире. Наконец, припомнился ей рассказ Архипия о детстве Клеопатры, и тут же явилась твёрдая уверенность, что всемогущая царица не отнесётся к ней жестоко и несправедливо и что от неё самой зависит внушить ей доверие. Наконец, Хармиона тоже близка к царице и может противодействовать наговорам Иры и Алекса.

Всё это с быстротой молнии промелькнуло в её голове. Впрочем, ей и некогда было размышлять, так как в эту самую минуту дверь открылась и придворный провозгласил:

— Через несколько минут начнётся приём!

Вскоре явился камергер, сделал знак опахалом из страусовых перьев, и все присутствующие отправились за ним по светлым, великолепно убраным залам.

Барина шла спокойно и твёрдо, и, когда перед ней распахнулись широкие двери чёрного дерева, на которых особенно рельефно выступали изображения тритонов, сирен, раковин, рыб и морских чудовищ из слоновой кости, глазам её представилось блестящее, эффектное зрелище: зал, назначенный Клеопатрой для приёма, был сплошь украшен изображениями морских тварей — от раковин до кораллов и морских звёзд.

Высокая, обширная постройка из сталактитов и обломков скал в глубине зала окружала глубокий грот. Из неё выглядывала колоссальная голова какого-то чудовища, пасть которого служила камином. В ней трещали сухие душистые аравийские дрова, и красноватый блеск рубиновых глаз дракона сливался с мягким светом белых и розовых ламп в виде цветов лотоса, прикреплённых к стенам и потолку зала. (Этот мягкий розовый свет особенно выгодно оттенял матовую кожу Клеопатры.)

Придворные, служащие, евнухи, сановники столпились здесь в ожидании царицы; пажи из македонского корпуса окружали небольшой трон из золота, кораллов и янтаря, стоявший против камин.

Барина уже видела такой зал и другие ещё более великолепные в Себастеуме, так что эта роскошь не могла удивить или смутить её. Но неужели ей придётся говорить с царицей в присутствии всех этих мужчин, женщин и юношей.

Страх перед царицей пропал, и всё-таки сердце её билось тревожно. Она испытывала такое же чувство, как молодая певица, которой впервые приходится выступать перед посторонними.

Наконец, послышался звук отпираемых дверей и чья-то невидимая рука отёрнула тяжёлый занавес направо от неё.

Барина ожидала увидеть регента, хранителя печати, блестящую свиту, с какой царица являлась на торжественных собраниях. Иначе зачем было назначать для приёма этот великолепный зал?

Но что же это значит?

В то время как она ожидала появления пышной процессии, занавес уже начал опускаться. Придворные, стоявшие вокруг трона, выпрямились, пажи, дожидавшиеся в ленивых и сонных позах, встрепенулись, зал огласился приветственными кликами.

Значит, невысокая женщина, проходившая по залу одна, без всякой свиты, и казавшаяся от этого меньше ростом, чем на празднике Адониса в кругу придворных, — значит, это царица?

Да, это была она.

Ира и Хармиона уже подошли к ней. Ира сняла с неё пурпурный плащ великолепной отделки с чёрными и золотыми драконами.

Обвинения, против которых нужно было защищаться Барине, с быстротой молнии мелькнули в её голове, тем не менее она не могла подавить детского желания посмотреть и потрогать великолепный плащ.

Но Ира уже передала его какой-то служанке, а Клеопатра, окинув взором зал, быстрыми летящими шагами подошла к трону.

Тут Бариной снова овладела робость, но тотчас вспомнился рассказ Архибия об эпикурейском саде и его уверение, что она также была бы очарована царицей, не будь между ними причины к разладу.

Но точно ли есть эта причина?

Нет! Она создана только ревнивым воображением Клеопатры! Если царица согласится выслушать её, она скажет, что Антоний так же мало интересуется ею, Бариной, как она Цезарионом. Почему бы ей не сознаться, что сердце её принадлежит другому? Почему не назвать его имени?

Клеопатра обратилась к служителю и указала на трон и окружавшую его толпу.

Да, она была прекрасна. И как бодро, как весело сверкали её большие блестящие глаза, несмотря на роковые дни, только что пережитые ею.

Приём, оказанный её смелому плану, развеселил её и уменьшил неприязнь к Барине. Увидев толпу придворных, она велела им удалиться. Распорядитель, руководивший приёмом, пригласил всех, соблюдая обычный порядок; но присутствие посторонних при данных обстоятельствах не понравилось царице.

Она хотела испытать, а не судить.

В такие минуты у неё всегда являлась потребность быть милостивой. Может быть, она напрасно волновалась из-за этой женщины. Это даже показалось ей вероятным; мог ли в самом деле Антоний, так пламенно любивший её, увлечься другой? Непродолжительный разговор с верховным гадателем, весьма почтенным старцем, подтверждал это. Услышав рассказ о бегстве Антония из битвы при Аксиуме, старик поднял глаза и руки к небу и воскликнул:

— Несчастливая царица! Счастливейшая из женщин! Никто ещё не был любим так пламенно, и если о Трое рассказывают, что она испытала великие бедствия из-за женщины, то ещё более будут прославлять грядущие поколения ту, чья непреодолимая прелесть заставила величайшего из героев своего времени оттолкнуть как ничтожный сор победу, славу и надежду владычествовать над миром!

Старый, мудрый гадатель не ошибся в своём предсказании относительно грядущих поколений.

А Марк Антоний? Если волшебная сила кубка Нектанеба принудила его оставить битву и последовать за ней, то и любовь его засвидетельствована завещанием, копию с которого, присланную из Рима хранителю печати Зенону, последний передал Клеопатре после заседания. «Где бы я ни умер, — говорилось в завещании, — прошу похоронить меня рядом с Клеопатрой». Завещание это было передано римским весталкам, у которых отобрал его Октавиан, чтобы окончательно восстановить сердца римских матрон против своего врага. Это ему удалось, зато Клеопатре это завещание напомнило, что сердце её подарило Антонию первый цвет своей юной страсти и что любовь её была светом его жизни.

Итак, она спокойно вошла в комнату, где находилась женщина, решившаяся сеять сорные травы в её саду. Она думала посвятить этому свиданию самое короткое время и смотрела на соперницу с благодушием сильного, уверенного в победе.

Когда она подошла к трону, свита уже оставила зал.

Остались только Хармиона, Ира, хранитель печати Зенон и придворный, заведовавший приёмом.

Клеопатра мельком взглянула на кресло, и услужливая рука уже подвинула его к ней; однако она осталась стоять и взглянула в лицо Барине.

Та поняла отношение Архибия к этой удивительной женщине, когда Клеопатра с улыбкой велела ей подойти поближе.

В эту минуту ей казалось, что не может быть ничего желаннее дружбы этой могущественной царицы.

Это впечатление охватило Барину тем сильнее, что она не ожидала ничего подобного. Глядя на её блестящие глаза, царица подумала, что молодая женщина ещё похорошела со времени их встречи на празднике Адониса.

И как же она молода! Вспомнив, сколько лет Барина была супругой Филострата, а позднее хозяйкой гостеприимного дома в Александрии, царица едва верила словам, видя перед собой такое юное создание. Её поражала печать благородства, лежавшая на всей внешности дочери художника. Оно сказывалось даже в её костюме, а между тем Ира разбудила её ночью и, конечно, ей некогда было позаботиться о своей наружности.

Самое ожесточённое предубеждение не могло бы открыть в ней ничего наглого, вызывающего, что вязалось бы с представлением о женщине, заманившей в свои сети стольких мужчин. Напротив, застенчивость, от которой она не могла освободиться, придавала ей девически робкий вид. Вообще она казалась обворожительным созданием, которое не могло не привлекать людей своей прелестью и прекрасным пением, без всякого кокетства и наглости. В её же умственных способностях Клеопатра сомневалась. У Барины было только одно преимущество перед ней — молодость. Время ничего не похитило у её красоты, тогда как у царицы похитило много... как много, знала только она сама да ближайšie к ней лица.

Барина приблизилась к царице с глубоким поклоном. Клеопатра извинилась, что потревожила её в такой поздний час.

— Но, — прибавила она, — соловей изливает ночью то, что его волнует и вдохновляет, лучше, чем днём.

В течение нескольких мгновений Барина не поднимала глаз, потом взглянула на царицу и сказала:

— Я охотно пою, великая царица, но сравнивать меня с соловьём теперь уж не приходится. Крылья, носившие меня в детстве, ослабели. Не то чтобы они вполне утратили силу, но могут развернуться только в благоприятные минуты.

— Судя по твоей молодости, твоему лучшему достоянию, я этого не думала, — возразила царица. — Но пусть так. Я тоже была ребёнком — давно это было, — и моя фантазия перегоняла орла. Теперь же... Жизнь заставляет сложить крылья. Смертный, который вздумает развернуть их, может подняться к солнцу. Но его постигнет судьба Икара. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Воображение — полезная пища для ребёнка. Но позднее оно годится разве как приправа, как соль, как возбуждающий напиток. Оно указывает нам много путей и ставит заманчивые цели, но зрелый человек вряд ли выберет хоть одну из них. Конечно, мудрый прислушивается к голосу фантазии, но редко следует её советам. Изгнать её совершенно из жизни всё равно что отнять у растения цветок, у розы — благоухание и у неба — звёзды.

— Я и сама говорила себе то же самое в трудные минуты, хотя не в такой прекрасной и понятной форме, — сказала Барина, слегка покраснев, так как чувствовала, что слова царицы имеют целью предостеречь её от слишком смелых замыслов. — Но, царица, боги и в этом отношении более

благосклонны к тебе, чем к другим. Для нас сплошь и рядом только фантазия скрашивает жизнь, которая была бы без неё просто жалкой. Тебе же доступны тысячи вещей, о которых мы можем только мечтать.

— Ты думаешь, что счастьем можно распоряжаться так же, как богатством: иметь его сколько хочешь, лишь бы хватило средств. Скорее верно другое. Мнение, будто человеку, у которого всего много, нечего желать, совершенно ошибочно, хотя в этом мире немного вещей, достойных стать предметом желаний. Правда, божество обременило или наделило меня многими преходящими дарами, недоступными для тебя и многих других. Ты, кажется, очень высокого мнения о них. Есть в числе них и такие, которые доступны для тебя только в воображении. Какой же считаешь ты самым желанным?

— Позволь мне отклонить этот выбор, — застенчиво сказала Барина. — Из твоих сокровищ я ничего не желаю, а что до других благ... Мне многого недостаёт, но что общего между сокровищами любимицы богов и моими скромными желаниями...

— Справедливое сомнение, — заметила царица. — Неумелый ездок, вздумав сесть на коня, сломит шею на первом же шагу. А то единственное высшее благо, которое ведёт к пережитому счастью, не передаётся от одного к другому. Да если и обретёшь его сам, то в ту же минуту можешь утратить.

Последние слова царица произнесла задумчиво и как бы про себя, но Барина, вспомнив рассказ Архипия, спросила:

— Ты говоришь о высшем благе Эпикура — о душевном спокойствии?

Глаза Клеопатры блеснули, и она сказала с живым участием:

— Ты, внучка мыслителя, знакома с учением Эпикура.

— Очень поверхностно, великая царица! Мой ум не так силен, как твой. Ему трудно ориентироваться в лабиринте философского учения.

— Но всё-таки ты пробовала?

— Другие взяли на себя труд ознакомить меня с учением Стои. Но я почти всё позабыла; помню только одно, потому что эта часть учения мне очень понравилась.

— Что же именно?

— Наставление жить целесообразно, то есть согласно требованиям своей природы. Избегать всего, что противоречит естественным, первоначальным свойствам нашего существа. Это требование казалось мне разумным; всё неестественное, надуманное, искусственное всегда отталкивало меня, и, слушая наставления деда, я пришла к такому заключению, что мне и всем умным людям следует, насколько позволит жизнь, оставаться детьми. Я думала об этом, ещё прежде чем ознакомилась с философией и требованиями, которые налагает на нас общество.

— Так вот к каким выводам может приводить учение стоиков, — весело сказала царица и, обратившись к подруге своего детства, прибавила: — Слышишь, Хармиона? Только бы нам удалось распознать целесообразный порядок мировой жизни, на котором строит своё учение Стоя! Но как могу я, стремясь к разумной жизни, подражать природе, когда вижу в ней, в её бытии и деятельности столько явлений, решительно противных моему человеческому уму, который ведь представляет частицу разума божественного...

Тут она запнулась и внезапно изменилась в лице.

Её взгляд упал на браслет, украшавший руку молодой женщины.

Должно быть, вид его поразил царицу, потому что она продолжала суровым и резким тоном:

— В этом ведь и источник всякого зла! Ещё ребёнком я питала отвращение к этой распущенности, скрывающейся под маской нравственной чистоты и стремления к разумной жизни. Вот, послушайте, как ревет буря! Так и человеческая природа в своей первобытной, естественной сущности полна бурь, полна разрушительных сил, как местность Везувия или Этны. Я вижу своими глазами, до чего можно дойти, если поддаться её побуждениям. Учение стоиков запрещает нарушать гармонию и установленный порядок мира и государства. Но следовать указаниям нашей природы, исполнять все её требования — это такая опасная затея, что всякий, кто может положить ей предел, обязан воспользоваться своей властью. Я обладаю этой властью и воспользуюсь ею.

Затем, обратившись к Барине, она спросила с выражением неумолимой строгости:

— Твоя природа, кажется, требует привлекать и заманивать мужчин, даже тех, кто ещё не носит платья эфеба; немудрено, что с этим стремлением связана любовь к суетным украшениям. Иначе, — прибавила она, дотрагиваясь до браслета на руке Барины, — как мог бы очутиться этот браслет на твоей руке в час ночного покоя?

Барина с возрастающим беспокойством следила за внезапной переменой в лице и обращении царицы. Она вспомнила сцену на празднике Адониса и поняла, что в Клеопатре говорит ревность. Она, Барина, носила на руке подарок Антония. Бледная и взволнованная, она не сразу нашлась, и, прежде чем успела что-нибудь ответить, Ира подошла к царице и сказала:

— Этот браслет — дубликат того, который подарен тебе твоим высоким супругом. Певице он тоже достался в подарок от Марка Антония. Она, как и весь мир, чтит величайшего человека нашего времени. Что ж удивительного, что она не расстанется с его подарком даже на ночь?

Барина не могла ответить на этот навет. Горькое сознание, что её не понимают и несправедливо судят, боязнь ужасных последствий гнева всемогущей царицы, светлый рассудок которой затемнён низкой ревностью и ложно направленным материнским чувством, сковывали ей язык. К этому присоединилось раздражение против Иры. Два-три раза она пыталась говорить, но всякий раз язык прилипал к гортани.

Хармиона подошла к ней, желая ободрить бедняжку, но было уже поздно. Царица с негодованием отвернулась и сказала Ире:

— Задержать её на Лохиаде. Вина её доказана, но определить наказание должен судья, которому мы её и передадим.

Тут Барина снова обрела дар речи. Неужели Клеопатра думает, что она не может ничего возразить на обвинения! Нет, она сумеет доказать свою невиновность.

В этом убеждении она воскликнула умоляющим тоном, обращаясь к царице:

— О, не уходи от обвиняемой, не выслушав её. Я верю в твоё правосудие и только потому прошу выслушать меня. Не верь этой женщине; она ненавидит меня за то, что человек, которого она любит...

Тут Клеопатра прервала её. Достоинство царицы не позволяло ей слушать препирательства между двумя женщинами, вызванные ревностью. Но с тем тонким чувством, благодаря которому одна женщина легко проникает в настроение другой, она поняла, что жалоба Барины не лишена основания. В самом деле, у неё могла быть причина верить в ненависть Иры. Клеопатра знала, как беспощадно её любимица преследует своих врагов. Совет её устранить Барину с дороги возбудил в царице отвращение; именно теперь ей не хотелось отягчать душу дурным делом. Притом же многое в этом милом, своеобразном создании нравилось ей. Тем не менее мысль, что Антоний почтил одинаковым подарком её и дочь живописца, настолько оскорбляла царицу, что она ограничилась замечанием, не обращённым ни к кому в частности:

— Я, может быть, изменю своё решение со временем. Во всяком случае обвиняемая останется пока на Лохиаде. Я желаю, чтобы с ней обращались хорошо. Ты расположена к ней, Хармиона! Я поручаю тебе надзор за ней. Но если ты хочешь сохранить мою милость, — прибавила она, возвысив голос, — то смотри, чтобы она ни на минуту не оставляла дворца и ни с кем, кроме тебя, не общалась.

С этими словами она оставила зал.

Последовавшие затем дни были полны забот для царицы. Ночи она проводила большей частью в обсерватории; о Барине же, по-видимому, совершенно забыла. На пятую ночь она потребовала в обсерваторию Алексаса, и тот начал доказывать, что её планете давно уже угрожает звезда женщины, о которой, как и об его предостережении, царица, по-видимому, забыла и думать.

Клеопатра неохотно слушала его слова, но это только распалило его:

— В ночь по возвращении твоя неистощимая доброта снова побудила тебя к снисходительности, просто непонятной для нас, — продолжал он. — Мы с глубоким волнением следили за этим объяснением, при котором величайшее сердце на земле мерило своей меркой ничтожное и презренное. Но, прежде чем дойдёт до вторичного объяснения, я должен предостеречь тебя. Каждый взгляд этой женщины был рассчитан, каждое слово было сказано с целью, каждый звук её голоса должен был произвести известное действие. Всё, что она говорила, всё, что она будет говорить, клонится к тому, чтобы обмануть мою высокую повелительницу. Пока ещё не дошло до решительных вопросов и ответов. Но ты снова пожелаешь выслушать её и тогда... Хороша эта история Барины, Марка Антония и двух браслетов!..

— Ты знаешь её? — спросила Клеопатра.

— Если бы и знал, — отвечал Алексас с многозначительной улыбкой, — то может ли укрыватель выдавать вора?

— А если царица прикажет тебе выдать похищенное?

— К сожалению, мне придётся нарушить долг повиновения, потому что, видишь ли, высокая повелительница, моя тёмная жизнь вращается около двух небесных светил. Могу ли я изменить месяцу, зная, что этим только без пользы омрачу свет солнца?

— Иначе сказать, твоё сообщение оскорбит меня, солнце.

— Если только твоя великая душа способна хоть сколько-нибудь огорчаться тем, что мучит других женщин.

— Ты воображаешь, что чем туманнее твоя речь, тем она приятнее. Впрочем, нетрудно понять твою мысль. Ты думаешь, что моя душа свободна от ревности и тому подобных слабостей нашего пола. Ты ошибаешься. Я женщина и желаю быть и остаться женщиной. Теренций^[57] говорит, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо... так и мне ничто женское не чуждо. Анубис рассказывал мне об одной древней царице, которая запретила писать о себе на памятниках «она», а непременно «он», «он, царица, победил». Глупая. Что касается меня, то я дорожу своей женственностью не меньше, чем короной. Я была женщиной, прежде чем стала царицей. Народ падает ниц перед моими носилками, даже когда в них никого нет. Но когда я и Антоний отправились однажды в молодости переодетые по улицам, и юноши провожали нас глазами, восклицая: «Прекрасная парочка!» — тогда, помню, я вернулась домой с новым приливом сил и гордости. Я женщина и не возвышаюсь ни над какой женской страстью, да и не желаю этого. И то, что я спрашиваю у тебя, я спрашиваю как женщина, а не как царица.

— В таком случае, — перебил Алексас, прижимая руку к сердцу, — ты тем более принуждаешь меня к молчанию, так как, если бы я сообщил женщине Клеопатре то, что волнует мне душу, я был бы повинен в двойном преступлении. Я нарушил бы обет молчания и предал друга, которого высокая супруга поручила

моей охране.

— Это уж что-то слишком темно, — возразила Клеопатра, гордо поднимая голову. — Или, если мне заблагодарассудится понять тебя, то придётся указать на расстояние...

— Которое отделяет меня от царицы, — закончил сириец с низким поклоном. — Как видишь, решительно невозможно отделить женщину от царицы. Я бы не хотел ни восстановить первую против нескромного почитателя, ни оскорбить вторую непослушанием. Итак, прошу тебя оставить вопрос о браслете и связанных с ним прискорбных вещах. Может быть, прекрасная Барина сама расскажет тебе обо всём, да, кстати, объяснит, какими путями удалось ей завлечь сына величайшего из людей — молодого царя Цезариона.

Глаза Клеопатры сверкнули.

— Мальчик точно одержим демонами! — воскликнула она. — Он хотел было сорвать повязку с раны, если ему не вернут любимую женщину. Я готова поверить в волшебный напиток, да и Родон объясняет всё это колдовством. Напротив, Хармиона уверяет, что его посещения досаждали Барине. Строгий допрос должен выяснить всё это. Мы дождёмся возвращения Антония. Как ты думаешь, отправится он снова к певице, когда окажется здесь? Ты его ближайший друг и поверенный. Если желаешь ему добра и ценишь хоть сколько-нибудь мою милость, отвечай без колебаний на мой вопрос.

Сириец сделал вид, что колеблется в мучительной борьбе с самим собой, и, наконец, ответил:

— Разумеется, отправится, если ты его не удержишь. Самый простой способ удержать его от этого...

— Ну?

— Объявить ему тотчас по прибытии, что её нет в городе. Я охотно возьму на себя это поручение, если моё царственное солнце возложит его на меня.

— А не думаешь ли ты, что эта весть омрачит свет твоего месяца, который тщетно будет искать её.

— Без сомнения, раз он не сохраняет прежнего благоговения к несравненному великолепию своего солнца. Но Гелиос не терпит других светил на небе. Его блеск затмевает все остальные. Моему солнцу стоит только пожелать, и звёздочка Барины угаснет.

— Довольно! Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но жизнь человеческая не такой пустяк, как ты думаешь, и у Барины тоже есть мать. Нужно тщательно взвесить и обсудить дело, прежде чем прибегать к крайним мерам... Но... теперь, когда участь страны, моя собственная и моих детей висят на волоске, когда у меня нет ни минуты свободной, я не могу тратить время на такие вещи.

— Твой великий дух, — горячо воскликнул Алексас, — должен без помехи развернуть свои могучие крылья. Предоставь мелкие дела надёжным друзьям.

Тут их беседа была прервана служителем, который доложил о приходе регента Мардиона. Он явился с какими-то важными и неотложными делами.

XIII

Алексас сопровождал царицу в таблиний[58]. Там они застали евнуха. Раб тащил за ним целый мешок писем, только что доставленных двумя послами из Сирии. Некоторые из них требовали неотложного ответа. Хранитель печати и экзегет тоже явились посоветоваться насчёт мер, которые необходимо было принять ввиду волнений александрийской черни. Остатки флота вступили вчера в гавань торжественно, точно после великой победы. Тем не менее, весть о поражении при Аксиуме разнеслась с быстротой молнии. Народ толпился по улицам; перед Себастеумом дошло до угроз, у Серапеума должны были вмешаться войска, и пролилась кровь.

Надо было разобрать письма; хранитель печати просил дальнейших указаний насчёт канала, а экзегет — решительного приказа относительно черни.

— Сколько дел, — задумчиво прошептала Клеопатра. Потом выпрямилась и воскликнула: — Итак, за работу!

Но Алексас не хотел оставить её в покое. Он скромно приблизился к царице и сказал, пока она усаживалась за письменный стол:

— Прежде всего моя высокая повелительница должна быть спокойна духом. Преступно смущать твоё божественное величество такими мелочами, но вопрос о Барине должен быть решён, иначе ничтожный источник превратится в буйный поток...

Клеопатра, только что развернувшая письмо царя Ирода[59], взглянула в пол-оборота на Алексаса и воскликнула с пылающими щеками:

— Сейчас!

Затем она пробежала письмо, отбросила его с негодованием и нетерпеливо сказала:

— Позаботься о допросе и обо всём остальном. Ни малейшей несправедливости, но и никаких послаблений. Я ещё займусь этим низким делом до возвращения императора.

— А полномочие? — спросил сириец с глубоким поклоном.

— Даю его тебе. Если нужно письменное, обратись к Зенону. Прощай до более спокойного часа!

Сириец удалился, а Клеопатра обратилась к евнуху и воскликнула, указывая на письмо иудейского царя:

— Какая подлая неблагодарность! Крысы почуяли гибель корабля и бегут... Если он спасётся, они вернутся толпами, а он должен, должен, должен спастись ради этой страны и её независимости!.. А дети, дети! Нужно напрячь все силы, пустить в дело все средства. Мы превратим ночи в дни. Канал сохранит нам флот, Марк Антоний ещё держится в Африке с Пинарием Скарбом и бодрыми верными легионами. Гладиаторы на нашей стороне. У меня мелькают в голове тысячи других планов. Но прежде об александрийцах. Никакого насилия!

За этим восклицанием последовал ряд распоряжений и обещание в случае надобности самой показаться народу.

Экзегет с удивлением слушал её мудрые и ясные распоряжения. Когда он удалился, царица снова обратилась к регенту:

— Мы хорошо сделали, что распустили слух о победе. Неожиданная весть о поражении довела бы александрийцев до исступления. Разочарование всё-таки лучше, не требует таких сильных средств. К тому же удалось принять ряд мер, прежде чем они узнали, в чём дело. Но я почти не виделась с детьми, да и с моими лучшими друзьями, с Архипием... Кстати, когда он придёт, впустить его немедленно. Я уже распорядилась. Он знает Рим. Мне нужно посоветоваться с ним насчёт переговоров.

При этом она вздрогнула, схватилась за голову и воскликнула:

— Октавиан — победитель, Клеопатра — побеждённая! Я, которая была всем для Цезаря, должна умолять о милости его наследника! Мне, мне быть просительницей у брата Октавии! Но нет, нет... Есть ещё сотни способов избежать этого унижения. Но тот, кто хочет снять урожай, должен обработать, вспахать, засеять поле. За работу, за работу!.. Всё должно быть готово к приезду Антония. При первом успехе к нему вернётся утраченная энергия. Я прочитала письмо. Теперь продиктую ответ.

Она снова принялась за дело: читала письма, писала и диктовала ответы, выслушивала сообщения и отдавала приказание, пока не забелел восток и усталый регент стал просить царицу сжалиться над его годами и отпустить его отдохнуть.

Тогда она отправилась в спальню и на этот раз заснула крепким, спокойным сном, какой бывает у очень уставших людей. Её разбудили только громкие крики толпы, собравшейся на Лохиаде, когда прошёл слух, что царица вернулась.

Во время сна при ней поочередно дежурили Ира и Хармиона. По пробуждении прислуживала ей Ира, так как Хармиона ушла и должна была вернуться вечером. Перед уходом она позаботилась о тщательном надзоре за своими комнатами, где теперь находилась Барина, скорее в качестве гостя, чем заключённой. Начальник македонского корпуса пажей, много лет тщетно ухаживавший за Хармионой и в конце концов ставший её преданным другом, взял на себя этот надзор.

Тем не менее Ира сумела воспользоваться сном своей повелительницы и отсутствием Хармионы. Комнаты последней, а следовательно, и Барина сделались для неё недоступными, в чём она уже убедилась. Прежде чем предпринять что-нибудь против заключённой, ей необходимо было переговорить с Алексасом. Неудача, испытанная ею в попытке раздавить соперницу, превратила её ревнивый гнев в настоящую ненависть, которую она перенесла и на Хармиону как защитницу Барины.

Она послала за сирийцем, но и он улёгся спать очень поздно, так что долго заставил себя ждать. Поэтому приём, оказанный ему нетерпеливой девушкой, имел сначала далеко не дружелюбный характер. Впрочем, ему скоро удалось умаслить её.

Прежде всего он хвастливо заявил, что царица предоставила Барину в его руки. Можно сегодня же допросить и обвинить её, а там заставить выпить яд или удавить. Но это не совсем безопасно, так как у певицы есть влиятельные друзья. В сущности Клеопатра рада отделаться от опасной соперницы. Но ведь надо знать, что такое великие мира сего. Поступи они слишком поспешно, царица, во избежание сплетен, свалит на него всю ответственность. А народ несомненно возмутится, узнав о казни певицы. Он и без того близок к восстанию, как передавал Филострат. Последний, впрочем, умеет воздействовать на толпу, а он, Алексас, купил его содействие.

Это была правда. В первое время после женитьбы на Барине оратор поссорился с братом, преследовавшим его жену. Но с тех пор как Алексас попал в милость к Антонию, Филострат снова сблизился с ним, в надежде попользоваться от щедрот полководца. Источник, из которого черпал Алексас, был неиссякаем, так что ему не приходилось скупиться. Оба брата были столь же бессовестны, сколь расточительны; оба не задумались бы перейти любую пропасть, лишь бы через неё был перекинут золотой мост. Так было и в данном случае. В последнее время их союз ещё укрепился, так как оба нуждались в

поддержке друг друга.

Алексас хотел овладеть Бариной, тогда как Филострат уже не интересовался её судьбой. При этом он ненавидел Диона до того, что готов был пожертвовать даже барышами, лишь бы отомстить врагу. Поражение, которое он потерпел от благородного македонянина, насмешки, посыпавшиеся на него благодаря Диону, преследовали и терзали его денно и нощно; он чувствовал, что не избавится от них, пока не погубит виновника своего позора. Не будь брата, ему пришлось бы ограничиться клеветой и сплетнями, но при содействии могущественного любимца Антония он мог рассчитывать нанести более тяжкий удар своему врагу, быть может, лишит его свободы, даже жизни. Итак, они заключили договор, в силу которого Филострат должен был очернить Барину в глазах народа, а Алексас обещал за то помочь ему отомстить Диону.

Собственно говоря, смерть Барины вовсе не прельщала Алексаса. Увидев её, он снова воспылил страстью. Ему хотелось во что бы то ни стало овладеть ею. В темнице, быть может, в пытках, ей волей-неволей придётся принять его помощь. Во всяком случае следовало ковать железо, пока горячо. И окончить дело к приезду Антония, которого ожидали на днях. Щедрость последнего так обогатила любимца, что отныне он мог обойтись и без его поддержки. В случае разлада ничто не мешает ему уехать с Бариной на свою родину, в Сирию, и устроиться там по-царски.

Его заверение, что он сегодня же устранит Хармиону от надзора за Бариной смягчило Иру, а замечание его, что смертную казнь можно заменить ссылкой в рудники или какое-нибудь другое место в том же роде, тоже не встретило возражений с её стороны.

Затем Алексас осторожно выпытал у Иры, как она относится к смертельному врагу его брата. Оказалось, что она тоже раздражена поведением Диона, но когда Алексас намекнул, что не мешало бы и его предать суду, она так нахмурилась, что он тотчас переменял разговор и перешёл опять к Барине. Решено было арестовать её завтра же, когда Хармиона будет прислуживать царице.

Ира могла оказать содействие в этом деле.

В её распоряжении находилась одна из темниц, двери которой нередко открывались для какого-нибудь несчастного, чьё исчезновение, по мнению Иры, было бы полезно для царицы. Она, как и хранитель печати, считала своей обязанностью помогать царице в тех случаях, когда той не хотелось утвердить слишком строгий приговор, и Клеопатра принимала их услуги молча, не одобряя и не поощряя их. Всё, что происходило в этой темнице, оставалось погребённым в её крепких стенах благодаря скромности сторожей. Конечно, узникам приходилось плохо. Но хотя Барина и проклянет жизнь, когда окажется там, всё же ей будет легче, чем Ире, которая близка была к отчаянию в последнее время и в долгие бессонные ночи думала о человеке, насмеявшемся над её любовью.

Когда сириец уже протянул руку, прощаясь, она внезапно спросила:

— А Дион?

— Его нельзя оставить на свободе, — отвечал Алексас. — Ведь он влюблён в Барину и даже намеревался жениться на ней.

— Так это правда, правда? — спросила Ира, побелев, несмотря на всё своё самообладание.

— Вчера он написал об этом своему дяде, хранителю печати, заклиная его вступить за Барину. Но, я думаю, не стоит беспокоить Зенона этим вздором. Хочешь прочесть письмо?

— Если так, — сказала Ира, — то, разумеется, его нельзя оставить на свободе. Ради возлюбленной он пойдёт на всё, а это значит больше, чем ты думаешь. Македонские роды стоят заодно. Он член совета... Молодёжь поднимется за него, как один человек... А народ... Недавно он сыграл с твоим братом,

действовавшим по моему поручению, такую шутку...

— Вот потому-то ему и нужно заткнуть глотку...

Ира кивнула, но после непродолжительной паузы прибавила:

— Я помогу вам принудить его к молчанию, только не навсегда, слышишь? Слова Феодота насчёт издохших собак, которые не кусаются, не принесли пользы тем, кто им следовал. Есть другие средства избавиться от этого человека.

— Сдаётся мне, что ты не прочь повидаться с ним.

— Плохо же ты меня знаешь. Злейший враг его, твой брат, скорее вступится за него, чем я!

— Ну если так, то я начинаю сожалеть о Дионе.

— Ты вообще сострадательнее меня. Смерть вовсе не самое тяжкое наказание.

— Потому-то ты и против неё?

— Может быть. Но есть и другие соображения. Во-первых, мы переживаем такое время, когда всё колеблется, даже власть царицы, прежде незыблемая, как стена, за которой можно было укрыться. Затем, личность Диона. Я уже говорила тебе, что за него поднимутся все... Со времени Акциума царица не может говорить многоголовому чудовищу-народу: «Ты должен», а вынуждена говорить: «Я прошу». Далее...

— Довольно и этого. Как же, однако, думает поступить с Дионом моя мудрая подруга?

— Арестовать и задержать здесь, на Лохиаде. Он обагрил свои руки кровью Цезариона, царя царей. Это государственное преступление даже в глазах народа. Постарайся сегодня же достать приказ об аресте.

— Но можно ли беспокоить царицу подобными вещами?

— Ведь это не для меня нужно, а для неё. В такие дни необходимо устранять всё, что может омрачить ясность её духа! Сначала управимся с Бариной, отравившей её приезд на родину, а затем и с человеком, который решил из любви к этой женщине поднять восстание в Александрии. Царица обременена заботами о государстве и престоле; пусть она занимается ими, а мелкие делишки я возьму на себя.

Тут её перебила служанка Клеопатры.

Царица проснулась, и Ира поспешила к ней.

Когда она проходила мимо помещения Хармионы и увидела перед его дверями двух воинов из македонского корпуса, лицо её омрачилось. Она знала, что бывшая подруга охраняет Барину от неё. Ей пришлось выслушать много горьких упрёков от тётки по поводу женщины, причинившей ей столько зла. Она раскаивалась, что поведала Хармионе свою любовь к Диону. Пусть будет, что будет, но ядовитое дерево, породившее все эти муки, заботы, тревоги, нужно вырвать с корнем.

Она мысленно подписала Барине смертный приговор. Теперь предстояло убедить сирийца решиться на это дело. Раз этот камень будет устранён с дороги, она помирится с Хармионой, Дион получит свободу и... как ни тяжело он оскорбил её, но она защитит его от ненависти Филострата и Алексаса.

Она вошла к царице с облегчённым сердцем. Казни осуждённых давно уже перестали смущать её. Прислуживая царице, она ещё более повеселела, так как Клеопатра выразила удовольствие по поводу того, что ей служит сегодня Ира и не беспокоит её всё тем же неприятным происшествием, которое, впрочем, скоро разъяснится.

В самом деле, Хармиона, сознавая, что никто другой при дворе не решится защищать Барину, заступалась за неё до тех пор, пока Клеопатра приказала ей не упоминать больше об обвиняемой.

Вскоре после этого Хармиона попросила заменить её на завтра Ирой, и царица, уже раскаявшись в своей вспыльчивости, согласилась.

— Когда я снова увижу твоё верное, доброе лицо, — прибавила она, — не забывай, что истинная подруга старается устранить от несчастной то, что может ещё сильнее расстроить её. Одно имя этой женщины звучит для меня насмешкой! Я не хочу больше слышать о ней!

Эти слова были сказаны так ласково и сердечно, что обида Хармионы растаяла, как лёд под лучами солнца. Но всё-таки она ушла в большой тревоге, так как Клеопатра, отпуская её, заметила мимоходом, что дело певицы передано ею в руки Алексаса. Тем приятнее было ей освободиться на денёк от обязанностей службы. Она знала, как относится к Барине бессовестный фаворит, и рассчитывала поговорить об этом с Архибием.

Когда поздно вечером она ложилась спать, ей прислуживала нубиянка, следовавшая за ней во дворец из отеческого дома.

Анукис — так звали нубиянку — была куплена у водопадов, когда семья Архибия сопровождала Клеопатру на остров Филы, и подарена подраставшей Хармионе как первая ей принадлежащая служанка. Она оказалась такой понятливой, ловкой и преданной, что молодая госпожа взяла её с собой во дворец.

Анукис относилась к Хармионе с такой же тёплой, бескорыстной любовью, как та к царице. Хармиона давно уже дала ей вольную, но нубиянка осталась при ней и сблизилась с госпожой до того, что интересы их почти полностью совпадали. Её природное остроумие сделали её известной во дворце, так что сама Клеопатра нередко забавлялась разговором с ней. Антоний дал ей прозвище Эзопион (маленький Эзоп) вследствие горба, образовавшегося у неё к старости. Под этим именем она была известна всей дворцовой челяди и охотно откликалась на него, хотя её бойкий язык мог бы отразить всякую насмешку. Но она знала биографию и басни Эзопа, который тоже был рабом, и считала за честь быть похожей на него.

Когда Хармиона рассталась с царицей и ушла к себе, Барина уже спала крепким сном. Но Анукис поджидала госпожу, которая сообщила ей о своих опасениях по поводу распоряжения Клеопатры насчёт Барины. Старуха была расположена к молодой женщине, которую носила на руках, когда та была ещё ребёнком. И теперь, когда Барина проживала у её госпожи, нубиянка всячески старалась развлечь и успокоить её.

Каждое утро она отправлялась к Беренике узнать о здоровье Диона и всякий раз возвращалась с добрыми вестями. Она знала также Филострата и Алексаса и очень сожалела, что Антоний доверился такому недостойному человеку. Ей известно было также, каким преследованиям подвергалась Барина со стороны сирийца, так что известие, сообщённое Хармионой, повергло её в ужас, который, впрочем, она постаралась скрыть.

Госпожа её отлично понимала, что означает выбор такого судьи для Барины. Анукис не хотела усиливать её беспокойство своими опасениями. Хорошо, что Хармиона решила поговорить завтра с Архибием, которого Анукис считала мудрейшим из людей; но даже это не могло успокоить старую нубиянку. Желая хоть сколько-нибудь развлечь госпожу, она стала рассказывать ей о Дионе, который сегодня чувствовал себя гораздо лучше, о его нежной любви к Барине, о кротости и терпении дочери Леонакса.

Как только Хармиона уснула, она отправилась в зал, где несмотря на поздний час рассчитывала застать прислугу, среди которой всегда была желанной гостьей. Когда явился любимый раб Алексаса, она наполнила для него кубок, уселась подле и всеми силами старалась вызвать его на откровенность. Это удалось ей как нельзя лучше. Марсиас, красивый молодой лигуриец, заверил её на прощание, что она своими шутками и рассказами мёртвого заставит расхохотаться и что болтать с ней так же приятно, как

шутить с хорошенькими девушками.

Когда на следующее утро Хармиона ушла, Анукис снова разыскала Марсиаса и выведала от него, что Ира сегодня пригласила к себе Алексаса. Вообще, прибавил Марсиас, его господин в последнее время что-то часто шепчется с Ирой.

По возвращении Анукис Барина несколько огорчилась, узнав, что та не ходила сегодня к Беренике и Диону, но старуха попросила её потерпеть и принесла ей книги и веретено, чтобы скоротать время в одиночестве. Сама же отправилась на кухню, так как слышала ещё вчера, будто повар купил каких-то ядовитых грибов, и хотела удостовериться в этом.

Затем она пошла в спальню Хармионы, отворила дверь, соединявшую комнаты обеих любимиц, и пробралась к Ире. Когда явился Алексас, она притаилась за ковром, покрывавшим стену приёмной.

После того как сириец удалился, а Иру позвали к царице, она вернулась к Барине и сообщила ей, что грибы действительно ядовиты и что она отправится за противоядием. Так как дело идёт, быть может, о спасении человеческой жизни, то Барина, конечно, не станет удерживать её.

— Ступай себе, — ласково сказала Барина. — Но, может быть, милая старая Эзопион не затруднится сделать небольшой крюк.

— И заглянуть в дом, к саду Панейона, — подхватила старуха. — Разумеется. Ревность тоже яд, и лучшее противоядие от него — добрая весть.

С этими словами она оставила комнату, но как только вышла из дворца, лицо её омрачилось, и она остановилась в задумчивости. Потом пошла в Брухейон, где рассчитывала нанять осла, чтобы ехать в Каноп, к Архибию. Добраться до Брухейона оказалось довольно затруднительно: бесчисленная толпа собралась между Лохиадой и Мусейоном, и к ней постоянно присоединялись новые и новые группы. Кое-как она пробралась к месту стоянки ослов, где спросила у погонщика, что такое происходит.

— Они разоряют дом этого старого мусейонного гриба, Дидима.

— Возможно ли? — воскликнула нубиянка. — Этого славного старика!..

— Славного? — презрительно повторил погонщик. — Изменник он — вот что! От него вся беда и все неудачи. Филострат, брат великого Алексаса, друга Марка Антония, обещал доказать его вину; значит, уж верно. Слышишь, как кричат, видишь — летят камни! Что ты думаешь? Его внучка со своим любовником поколотили царя Цезариона. Хотели убить его, хорошо, что стража подросла вовремя. Теперь он лежит в постели раненый. Если не поможет великая Исида, царевич погиб.

С этими словами он обратился к ослу, на которого уселась нубиянка, хватил его два раза палкой и крикнул вдогонку:

— Слышишь, серый, и царям иногда достаётся!

Между тем нубиянка колебалась, не отправиться ли ей сначала к Дидиму и попытаться спасти его. Но Барине угрожала большая опасность, и жизнь её была дороже жизни стариков. Итак, она решила ехать к Архибию.

Осел и погонщик выбивались из сил, но всё-таки она опоздала. Привратник маленького дворца в Канопе сообщил нубиянке, что Архибий ушёл в город со своим другом, историком Тимагеном, который, кажется, приехал послом из Рима.

Хармиона тоже была здесь, но не застала брата и отправилась за ним.

Эти печальные вести грозили самыми роковыми последствиями. Необходимо было спешить. Но что поделаешь с ослом? Правда, у Архибия полны конюшни лошадей. Но кто же позволит воспользоваться ими

бедной служанке? Однако же она приобрела себе довольно почтенную репутацию: все знали о её службе во дворце и об оказываемом ей доверии. В расчёте на эту репутацию она обратилась к старому смотрителю дома, и вскоре он сам повёз её на двух быстрых мулах в город к Панейону.

Они направились ближайшим путём, через ворота Солнца, по Канопской улице. Обыкновенно здесь было много народу, теперь же имела она удивительно пустынный вид. Все отправились в Брухейон и в гавань посмотреть на остатки разбитого флота, послушать новости, принять участие в процессиях, если таковые будут, и главное — увидеть царицу и облегчить душу приветственными криками.

Только у самого Панейона толпа загородила путь колеснице. Масса народа собралась у подножия холма, на вершине которого красовался храм Пана. Длинное лицо Филострата бросилось в глаза нубийке. Что ещё затеял этот негодяй? На этот раз, впрочем, ему, по-видимому, не везло, так как громкие и неодобрительные крики перебивали его речь. Когда колесница проезжала мимо, он указывал на ряд домов, в числе которых находился и дом художника Леонакса; но это указание не встретило сочувствия.

Вскоре Анукис увидела, что задерживало толпу. Когда колесница приблизилась к цели, глазам нубийки открылись ряды вооружённых юношей. Они имели очень внушительный вид со своими крепкими мускулами, развитыми упражнениями в палестре^[60], и смелыми лицами, обрамленными белокурыми, чёрными или каштановыми кудрями. Это были члены товарищества эфебов, во главе которого когда-то стоял Архивий, а ныне Дион. Они слышали о его приключении и о том, что ему угрожает заключение или что-нибудь ещё худшее. В другое время вряд ли бы они решились пойти против распоряжений правительства и взять на себя охрану друга, но в такие несчастливые дни правительству приходилось с ними считаться. Правда, они оставались верными царице и решили стоять за неё во что бы то ни стало, но не хотели, чтобы Дион был наказан за преступление, которое в их глазах являлось скорее подвигом. Они тем охотнее вступились за него, что городской совет проявил крайнюю трусость в этом деле, касавшемся одного из его членов. Ещё не было решения исключить ли из совета человека, осмелившегося нанести удар «царю царей», сыну властительницы, или отнестись к нему более снисходительно. Кроме того, смиренный, во всём послушный смотрителю дворца Цезарион отнюдь не пользовался расположением молодёжи. Он никогда не показывался в палестре, которой не брезговал сам Марк Антоний. Тот не раз заживал туда, боролся с александрийскими юношами, удивляя их своей исполинской силой; иногда приводил и своего сына Антиллу. В сущности, что же сделал Дион Цезариону? Хватил его кулаком: так ведь к этому должен быть готов каждый, кто лезет в борьбу.

Филотас из Амфиссы, ученик Дидима, уведомил союз о приключении и, со своей стороны, постарался загладить вину перед внучкой философа. Его воззвание встретило самый сочувственный приём. Эфебы чувствовали себя в силах защитить друга от кого бы то ни было, а за ними стояли городской совет, экзегет, начальник города, храбрый македонянин, когда-то бывший украшением их союза, и многочисленные клиенты Диона и его фамилии. Они не успели вовремя, чтобы защитить дом Дидима, но, по крайней мере, положили предел неистовству народа, науськанного Филостратом, который хотел подвергнуть той же участи жилище Барины.

Впереди стояла повозка какого-то придворного. Кто же это явился? Какой-нибудь прислужник Алекса или, быть может, он сам, с целью снять допрос с Диона, а может быть, и арестовать его? На вопрос нубийки ей ответили, что это архитектор Горгий.

Анукис ещё ни разу не имела с ним дела, хотя видела при постройке дворца Цезариона и много слышала о нём. Он выстроил прекрасный дворец Диона и был его другом, стало быть, ей нечего опасаться его.

В атриуме ей сообщили, что Береника ушла из дома с Архивием и его другом. Врач запретил раненому Диону принимать много посетителей. Кроме архитектора, к нему был допущен только какой-то

вольнотпущенник.

Нельзя было терять времени; и так как люди одного звания быстро сходятся, да к тому же нубиянка и старый привратник дома Береники были земляками, то после непродолжительных переговоров он провёл её в дом.

У входа в его комнату сидел вольнотпущенник — рослый смуглый, уже седой детина в простонародном костюме, с виду похожий на моряка. Он не был допущен к больному и, прислонившись к стене, рассматривал широкополую соломенную шляпу, которую держал в руках.

Как только Диону доложили о нубиянке, в полуоткрытой двери комнаты послышалось: «Введите её!»

Должно быть, в выражении лица Анукис было что-нибудь особенное, потому что при первом взгляде на неё раненый воскликнул:

— Ты, верно, с недобрыми вестями?

Она кивнула и искоса взглянула на архитектора. Дион сказал Горгию, кто она такая, а ей объяснил, что при архитекторе можно говорить всё без утайки.

Тогда она перевела дух, вытерла вспотевший лоб и сказала, что ему угрожает страшная опасность. Он сослался на эфебов, готовых защищать его, и совет, который не даст обидеть своего сочлена, но Анукис заклинала его немедленно скрыться в какое-нибудь надёжное убежище, так как против него вооружилась такая сила, с которой никто не справится. Но эти слова не произвели никакого действия; Дион был слишком уверен, что влияние его дяди, хранителя печати, уберёжёт его от любой серьёзной опасности. Поэтому она решила рассказать ему, в чём дело, причём не упоминая о Барине и грозившей ей беде. В заключение снова и снова нубиянка умоляла его прислушаться к её предостережениям.

Слушая её, друзья обменялись многозначительными взглядами; но едва успела она кончить, в дверях показалась гигантская фигура вольнотпущенника.

— Ты ли это, Пирр! — дружески воскликнул раненый.

— Я самый, господин! — отвечал вошедший и сильнее завертел шляпу в руках. — Я подслушивать не охотник и не вхожу к господину незванный, но эта зловещая ворона каркала так громко, что я услышал через дверь и поэтому пришёл к тебе.

— Эта ворона поёт иной раз и добрые песни, — отвечал Дион, — но как злые, так и добрые исходят из её преданного сердца. Однако, если мой молчаливый Пирр решил разинуть рот, так значит у него есть что-нибудь важное. Говори же, не стесняясь.

Моряк откашлялся, скомкал шляпу в руках и произнёс с волнением:

— Ты должен послушаться старуху, господин, и искать надёжное убежище. Я затем и пришёл. Там, на улице, я слышал, что о тебе толкуют. Говорят, будто ты ранил царевича и тебя следует убить за это. А я подумал: «Нет, этому не бывать, пока живёт Пирр, который учил маленького Диона управляться с вёслами и ставить парус, — пока жив Пирр и его молодцы!..» Да что повторять, мы оба это знаем. Всем: лодками, землёй, свободой мы обязаны твоему отцу и тебе, и что моё — твоё. Ты знаешь утёс по ту сторону Alveus Steganus, на север от большой гавани, — Змеиный остров. Кто знает фарватер, тому нетрудно добраться до него, а для других он неприступен, как луна и звёзды. Одно имя его всех отпугивает, хотя мы давно очистили остров от всякой нечисти. Мои ребята Дионис, Дионих и Дионик — все от Диона — дожидаются на рыбном рынке, и когда стемнеет...

Тут раненый перебил его, пожал ему руку, от души поблагодарил за дружбу и верность, но отказался от его предложения. Он знал, что не найдёт более надёжного убежища, чем этот скалистый островок, на

котором проживал Пирр со своей семьёй, занимаясь рыбной ловлей и лоцманским делом. Но забота о своей будущей супруге не позволяла ему покинуть город.

Однако вольноотпущенник не сдавался. Он напомнил Диону, что с острова до берега рукой подать, что его сыновья ежедневно отвозят рыбу на рынок, причём могут узнавать всякие новости. Сыновья, как и он сам, не любят говорить, а женщины очень редко уезжают с острова. Пока там будет скрываться дорогой гость, он, Пирр, совсем не выпустит их. В случае же надобности Дион может мигом поспеть в Александрию и принять необходимые меры.

Архитектору очень понравился этот план, и он поддержал вольноотпущенника. Но Дион, опасаясь за участь своей возлюбленной, отказывался, пока не вмешалась в разговор Анукис:

— Послушайся этого человека, господин... Я тебе верно говорю. Я расскажу Барине о твоей любви, но ведь ей не удастся даже поблагодарить тебя, если ты будешь мёртв!

Эти слова и последовавшие за ними сообщения подействовали на Диона, и как только он согласился на предложение вольноотпущенника, нубиянка собралась уходить. Её задержал сначала Дион, надававший ей поручений к Барине, потом архитектор, которому она казалась подходящей помощницей для его планов.

Рано утром он вернулся из Гелиополиса, куда ездил по делу об устройстве канала. Собранные на месте данные оказались крайне неблагоприятными для предприятия, и ему поручено было сообщить об этом царице и убедить её оставить грандиозный, но в такое короткое время неисполнимый замысел.

Он ехал всю ночь и был принят царицей тотчас по пробуждении. С Лохиады он отправился в повозке осмотреть стену, воздвигнутую на Хоме по приказу Антония, и храм Исиды, к которому Клеопатра хотела сделать новую пристройку. Но едва он оставил полуостров, как был задержан на Брухейоне толпой, осаждавшей дом Дидима.

Архитектор пробился сквозь толпу на помощь своему другу и его внучке. В это время невольник Фрикс готовил к отплытию лодки, стоявшие у берега, но Горгий с трудом убедил старого философа бежать. Сначала тот порывался во что бы то ни стало выйти к толпе и крикнуть им в лицо, хотя бы это стоило ему жизни, что они негодяи и взялись за позорное дело. Только замечание Горгия, что приносить в жертву животной грубости жизнь, на которую возлагают столько надежд беззащитные женщины и весь мир, ожидающий от него новых наставлений, недостойно такого человека, как Дидим, подействовало на старика. И всё-таки они едва не угодили в руки разъярённой толпы, так как Дидим не хотел уходить, не спрятав своих драгоценных книг. К тому же его старая подруга жизни не могла понять по своей глухоте, что тут такое происходит. Ко всякому, кто к ней подходил, она обращалась за объяснениями и, таким образом, задерживала отъезд. Вследствие этого он затянулся до последней минуты, и только мужество помощника Дидима, Филотаса, и нескольких молодых людей, присоединившихся к нему, дало возможность всем остальным уйти невредимыми.

Скифская стража, положившая предел дикому буйству народа, явилась слишком поздно, чтобы спасти дом от разрушения, но по крайней мере защитила Филотаса и его товарищей от кулаков и камней.

Когда лодки отошли на значительное расстояние от берега, возник вопрос — куда же деваться философу и его семье? Дому Береники тоже угрожала опасность; по уставу Мусейона женщины в него не допускались. Кроме семьи, за Дидимом последовали пятеро служителей; из учёных друзей старика никто не мог приютить многочисленных гостей... Дидим и Елена стали вспоминать знакомых, которые могли бы оказать им гостеприимство. Горгий предложил к их услугам свой дом.

Он получил его в наследство от отца. Дом был невелик, но стоял почти пустым, к тому же находился поблизости, на берегу моря, на северной стороне форума. Беглецы могли расположиться там без всякого

стеснения, так как Горгий, целый день занятый работами, приходил туда только на ночь. После некоторого колебания, которое, впрочем, нетрудно было понять, они приняли его приглашение, и через четверть часа Горгий уже принимал их в своём доме с великим радушием. Старая экономка и посевший на службе управляющий в первую минуту выразили удивление, но когда архитектор объяснил им, в чём дело, и поручил гостей их попечению, отнеслись к гостям как нельзя приветливее. Сам Горгий должен был торопиться и волей-неволей отказаться от обязанностей хозяина.

Дидим с семьёй имели полное основание чувствовать к нему благодарность. Когда же старый философ очутился в библиотеке, которую Горгий предложил к его услугам и где оказалось много ценных сочинений, в том числе и самого Дидима, то окончательно успокоился, перестал расхаживать взад и вперёд и сел за книги. Тут же вспомнилось ему, что по совету одного из друзей он вверил своё состояние надёжному банкиру, и эта мысль окончательно развеселила старика.

Обо всём этом Горгий рассказал нубиянке, а Дион сообщил ей, что она найдёт Архибия с его другом у брата Береники, философа Ария. Последний тоже лежал в постели по милости Антиллы. Мать Барины отправилась к брату. Анукис может уведомить их об участии Дидима и его семьи, а также и о том, что вечером Дион намерен оставить дом Береники.

— Только, — перебил архитектор, — не говори никому, куда он отправится, — ни Арию, ни Беренике. Ты, кажется, умеешь молчать?

— Хотя и носишь прозвище Эзопиона за свой бойкий язык, — заметил Дион.

— Но этот язык, — возразила нубиянка, — как золотая рыбка в саду царевичей. Она плавает быстро, но когда чует опасность, останавливается, точно попала на крючок. А опасности, клянусь Исидой, в наше жестокое время так и лезут со всех сторон. Ты, может быть, желал бы повидать перед отъездом Беренику и её родных?

— Беренику да, а сыновьям Ария — ребята хорошие, что и говорить! — лучше не показываться в этом доме.

— Правда твоя, — подхватил архитектор. — Да и отцу их не мешает убраться куда-нибудь подальше. Ведь он приятель Октавиана. Но, может быть, царица пожелает воспользоваться его услугами. В таком случае он может постоять за Барину, дочь его сестры. Тимаген, приехавший из Рима, тоже пользуется некоторым влиянием.

— Моя бедная голова тоже потрудилась над этим, — сказала нубиянка. — Я хочу теперь указать, господин, на опасность, которая грозит молодой женщине, и если это мне удастся... Но что же может сделать какая-нибудь служанка, да ещё с моей наружностью? А всё-таки... Мой дом ближе к потоку, чем чей-нибудь другой, и если я брошу листок, он, может быть, и доплывёт до желанной пристани.

— Мудрая Эзопион! — воскликнул Дион.

Но нубиянка пожала плечами и сказала:

— Не нужно родиться свободным, чтобы сочувствовать правому, и если мудрость заключается в том, чтобы думать и действовать в защиту добра и справедливости, то, пожалуй, ты можешь назвать меня мудрой. Итак, вечером ты уезжаешь?

С этими словами она хотела удалиться, но архитектор, следивший за всеми её движениями, заметил это намерение и попросил её последовать за ним.

Когда они вышли в соседнюю комнату, он попросил её рассказать ему подробно, что именно угрожает Барине. Затем, посоветовавшись с ней, как с равной, он протянул старой женщине руку на прощание, прибавив:

— Если удастся провести её тайком в храм Исиды, то тьма ещё может рассеяться. Сегодня после захода солнца я буду в святилище богини. Мне нужно там произвести кое-какие работы. Может быть, ты и права, говоря, что бессмертные пощадят невинного на краю гибели. Обстоятельства так сложились, что будущему историку не поверят, когда он станет рассказывать об этом.

Расставшись с нубийкой, Горгий вернулся к другу и назначил вольноотпущеннику место, где тот должен был дожидаться с баркой.

Затем друзья остались одни.

Горгий не мог не выразить удивления по поводу спокойствия Диона.

— Глядя на тебя можно подумать, что дело идёт об ужине в Канопе, — заметил он, покачав головой, точно перед каким-то непонятым явлением.

— Что ты удивляешься? — возразил Дион. — Вам, художникам, пылкое воображение рисует будущность в таком свете, какой подходит к возбуждённым чувствам. Если вы надеетесь, оно превращает для вас самый обыкновенный сад в Элизиум^[61], если опасаетесь чего-нибудь, то мир кажется вам в огне, когда загорелась крыша. Мы, не знакомые с музами, пользуемся только рассудком, чтобы заботиться о самих себе, о семье и государстве, видим обстоятельства в их истинном свете и относимся к ним, как к числам в счёте. Я знаю, что угрожает Барине. Это могло бы свести меня с ума, но я вижу также Архибия и Хармиону, готовых защитить её, вижу моё влияние и влияние Мусейона, совет, к которому я принадлежу, обстоятельства времени, при которых нельзя обижать граждан. Взвесив все эти величины...

— Ты получил бы точный итог, — перебил его друг, — если б не впутался в него самый непреодолимый из всех факторов — страсть женщины, да ещё такой, как царица.

— Положим. Но с возвращением Марка Антония выяснится, что её ревность не имела основания.

— Будем надеяться. Клеопатра обманута, введена в заблуждение, в этом я вполне уверен, так как сама она добра безмерно. Прелесть её неотразимо чарует сердца. А её могучий ум! Я тебе говорю, Дион...

— Друг, друг, — перебил тот, смеясь, — высоко же ты залетаешь! Я уж третий год веду счёт твоим увлечениям. Их было, кажется, семнадцать, но это, последнее, нужно считать за два.

— Глупости! — воскликнул архитектор. — Неужели же я не могу замечать того, что велико, прекрасно, единственно? А она такова! Когда-то, давно это было, она явилась передо мной в полном блеске своей красоты...

— Так что ты должен был зажмурить оба глаза. А ведь ты только что с умилением толковал о своей молодой гостье, об её нежности, благоразумии, спокойствии, которое она проявила в минуту опасности...

Архитектор с неудовольствием перебил его:

— Да я и теперь не откажусь ни от одного слова. Елене нет равных среди александрийских девушек, но Клеопатра... она возвышается над смертными людьми в своём божественном величии... Нечего подсмеиваться! Если бы она взглянула на тебя своими большими, глубокими, грустными глазами и рассказала о своём несчастье, ты пошёл бы за неё в огонь и воду. Я не особенно чувствительный человек и с тех пор как умер мой отец, я видел слёзы только на глазах других людей; но когда она говорила о мавзолее, который я должен буду построить, так как судьба скоро заставит её искать прибежища в смерти, я не знаю, что со мной сделалось. Когда же она причислила меня к своим друзьям и протянула мне руку, несравненную руку, прямо скажу, а ты смейся, если можешь, я сам не знаю, как очутился на коленях и, целуя её, то есть руку, чувствовал слёзы на глазах. Я не стыжусь этого волнения и до сих пор чувствую на своих губах прикосновение этой бледной маленькой божественной ручки.

Тут Горгий закинул назад свои густые волосы, покачал головой, точно был недоволен самим собой, и продолжал другим тоном:

— Но теперь не подходящее время для подобных излияний. Я говорил о мавзолее, заказанном мне царицей. Завтра она увидит первый беглый набросок. Он будет устроен при храме Исиды, её богини... Я было предложил большой храм в Ракотисе у Серапеума, но она отказалась... Ей хотелось устроить его поблизости от дворца на Лохиаде. Она наметила для этого храм подле «уголка муз»; но дом Дидима мешает постройке. Придётся, пожалуй, захватить часть его сада вдоль морского берега. Тогда у нас хватит места и у него останется всё-таки порядочный сад. Но Дидим очень дорожит своим владением. Да и царица не хочет обижать старика... Она справедлива и, может быть, руководствуется неизвестными мне соображениями... Поэтому я обещал ей поискать другое место, хотя и видел, что ей очень хочется устроить мавзолей именно здесь, у храма Исиды... Тогда я... я придумал штуку, о которой уже говорил этой добродушной чёрной колдунье, и надеюсь, что бессмертные или судьба, или как бы там ни называлась таинственная сила, правящая миром по вечным законам, приведёт к благополучному концу наше предприятие. Она может спасти нас всех, а царице доставит утешение в эти смутные дни.

— Горгий, Горгий! — перебил его Дион. — Куда заведёт тебя эта новая страсть? У тебя полны руки дел, а ты развлекаешься какими-то тёмными загадками!

— Их смысл и содержание, — возразил Горгий, — скоро перестанут удивлять тебя, хоть ты и руководишься холодным рассудком, а я увлекаюсь, по твоему мнению, фантазией художника. Пока скажу тебе одно: мои помощники осмотрят дом Дидима, а я займусь нижним ярусом храма Исиды. Я имею полномочие действовать, как мне вздумается. Клеопатра сама показала мне устройство храма, даже указала потайные ходы в подземелье. Мои тёмные загадки и для тебя станут ясными, если мне придётся спасти тебя от врагов в этом подземелье. Ты сам не знаешь, на каком тонком волоске висит меч над твоей головой, от тебя скрывали это. Но я говорю прямо, потому что могу устранить эту опасность. Утром ты бы неизбежно попал в руки свирепых врагов и был бы предан твоим трусливым дядей, если б бесстыднейший из всех негодяев не вздумал сначала напасть на дом старика — ты знаешь об этом происшествии, — и если бы царице, под влиянием потрясающих известий, не пришло в голову соорудить свой собственный мавзолей. Потайной ход, о котором я говорю, — при этом он понизил голос, — проходит как раз под садом Дидима, через него-то я и выведу тебя, а в случае надобности и Барину, к морю. Иначе это слишком опасно. Если мы воспользуемся этим ходом, бегство останется незамеченным.

— А мы-то, умники, не хотим верить в чудеса! — воскликнул Дион, протягивая Горгию свою исхудалую руку. — Как мне благодарить тебя, милый мудрый вернейший из друзей, хотя и неверный подругам. Прости мне этот упрёк, как и прежние. То, что ты делаешь теперь для меня и Барины, даёт тебе право причинять мне в течение всей остальной жизни какое хочешь зло на словах и на деле. Забота о ней приковала бы меня к этому городу и к этому дому, и я вряд ли бы решился на бегство сегодня вечером, так как без неё моя жизнь теряет всякий смысл. Но раз она может последовать за мной на утёс Пирра...

— Не убаюкивай себя этой надеждой, — сказал архитектор. — Могут возникнуть серьёзные препятствия. Я ещё поговорю обо всём этом с нубиянкой. Я думаю, что она может дать наилучший совет в этом деле. Она знает обычаи великих мира сего, сама же принадлежит к малым. К тому же она имеет свободный доступ к царице через Хармиону и знает обо всём, что происходит при дворе. Она доказала мне, что передача дела Барины в руки Алексаса должна радовать нас. Подумай, как легко ревность царицы может привести к какому-нибудь роковому поступку! Тот, кого судьба осыпает такими жестокими ударами, редко склонен щадить других. Пусть лучше обременяющие царицу заботы встанут между ней и её ревнивым гневом, который в другое время показался бы слишком мелким для её великой души.

— Что велико и что мелко для сердца любящей женщины? — возразил Дион. — Во всяком случае я

уверен, что ты сделаешь всё возможное, дабы избавить Барину от гнева раздражённой царицы.

Горгий крепко пожал Диону руку, поцеловал его в лоб и вышел из комнаты.

На лестнице его остановил лёгкий стон раненого. «В состоянии ли он будет вечером пройти довольно значительное расстояние по длинному ходу?»

Горгий вернулся к больному, и тот уверил его, что чувствует себя неплохо. Однако покрасневшее лицо показывало, что лихорадка усилилась.

Архитектор задумался. Больных нередко приносили в храм за исцелением, так что появление там Диона никому не покажется странным. Но допускать носильщиков в потайной ход было бы опасно. Правда, он сам довольно силен, но всё-таки не настолько, чтобы нести одному взрослого человека такое расстояние, притом в самой неудобной позе, так как ход был низок и значительной длины. Впрочем, можно было попытаться. Итак, он окончательно простился с больным, заметив, что если у него хватит сил, то они придумают что-нибудь; отдав необходимые распоряжения служанке Барины и рабу, ухаживающему за раненым, строго-настрого запретил привратнику принимать кого бы то ни было и вышел на улицу.

Перед домом расхаживала взад и вперёд небольшая группа эфэбов. Остальные расположились на округлой лужайке Панейона, утешаясь благородным вином, которое дворецкий Диона доставил сюда по распоряжению своего господина.

Тут царило веселье, так как к эфэбам присоединились клиенты Диона, среди которых были и девушки, слышались шутки, смех, и когда какая-нибудь красивая молодая мать или рабыня с детьми, для которых этот сад служил любимым местом гуляния, проходила мимо толпы, вдогонку ей летели весёлые восклицания и шутливые замечания.

Горгий приветливо поздоровался с молодёжью, радуясь оживлению верных друзей, превративших исполнение обязанности в праздник, и многие из них подняли кубки навстречу знаменитому художнику, не так давно принадлежавшему к их корпорации, с весёлыми возгласами: «Ио!» или «Эвоэ!»

Прежде всех обратился к нему стройный юноша Филотас из Амфиссы, помощник Дидима, которому архитектор несколько дней тому назад помог избавиться от демонов вина. Ему пришло в голову, что этот юноша, так сильно провинившийся перед Бариной и Дионом, самый подходящий человек, чтобы помочь перенести раненого по низкому потайному ходу. Если он правильно понимает его характер, молодой человек почтёт за счастье загладить хоть сколько-нибудь свою вину. И он не ошибся.

Взяв с Филотаса торжественную клятву сохранить в тайне всё, что он ему сообщит, архитектор рассказал о своём плане. Юноша восторженно благодарил его за доверие и обещал явиться в назначенное время в храм Исиды.

XIV

В то время как Горгий осматривал подземелье храма Исиды, Хармиона вернулась на Лохиаду раньше, чем сама думала. Не найдя брата в Канопе, она отправилась к Беренике, где и встретила с ним. Поздоровавшись с Дионом, она сообщила Архибию о своих опасениях, сказав ему по секрету, что участь Барины передана в руки Алексаса. Это известие могло побудить мать молодой женщины к каким-нибудь отчаянным поступкам. Самому Архибию едва не изменило хладнокровие. Он решил было отправиться к царице и добиться приёма, но его ожидал Тимаген, прибывший из Рима с поручением от Октавиана, избравшего его посредником при переговорах по поводу распри, в сущности уже решённой в пользу римлянина после битвы при Акциуме. Выбор посредника был удачен, так как он знал Клеопатру с детства. Участие в восстании против римлян сделало его рабом. Вскоре, однако, он был выкуплен и достиг такого влияния, что Октавиан решил отправить его послом в Александрию. Архибий должен был найти его у Ария, всё ещё не вполне оправившегося от ушибов, нанесённых ему колесницей Антиллы.

Хармиона не могла последовать за братом, так как свидание с бывшим ментором Октавиана было бы ей поставлено в укор, да и самой ей не хотелось видеть человека, дружившего с врагом и победителем её госпожи.

Итак, она отпустила брата с Береникой, тоже собравшейся навестить Ария, но перед уходом Архибий обещал сделать в случае крайности всё возможное, чтобы открыть царице глаза на историю с Бариной — хотя ему запрещено было упоминать о ней в присутствии Клеопатры.

Сама Хармиона отправилась на Канопскую улицу в еврейский квартал, где ей нужно было сделать множество покупок для Клеопатры. День уже клонился к вечеру, когда её носилки остановились наконец перед дворцом на Лохиаде.

Сознание своего бессилия удручало. Ей приходилось ждать, предоставляя всё дело другим и не предпринимая со своей стороны ничего, а не успела она переступить порог дворца, как к прежним заботам прибавились новые.

Уже по лицу привратника, отворившего ей дверь, она догадалась, что в её отсутствие случилось что-то роковое.

Ей не хотелось расспрашивать рабов и служителей, и она сдержала своё нетерпение, хотя дворец был полон солдатами, чиновниками и рабами. Многие смотрели на неё с тем страхом, который внушают люди, когда им предстоит что-нибудь печальное. Другие, более близкие к ней, подходили в надежде доставить себе грустное удовольствие первыми сообщить дурные новости. Но она проходила мимо, не останавливаясь, пока не встретила у дверей большого приёмного зала хранителя печати Зенона. Остановив его, она спросила:

— Что случилось?

— Когда именно? — сказал старый царедворец. — Каждая минута приносит что-нибудь новое, и одно хуже другого. Какое ужасное время, Хармиона!

— Когда я уходила, — отвечала она, — никаких новых известий не было. Теперь я вижу, случилось что-то ужасное. Расскажи же хоть главное, прежде чем я увижу царицу.

— Главное! Чума или голод, — что главнее?

— Скорее, Зенон, я спешу.

— Я тоже, да и вести такие, что не хочется над ними медлить. Во-первых, прибыл Канидий, собственной персоной, прямо из-под Акциума.

— Сухопутное войско разбито?

— Разбито, рассеяно, уничтожено!

Хармиона закрыла лицо руками с громким стоном, Зенон же продолжал:

— Ты ведь видела бегство. Расставшись с вами, Марк Антоний направился с приставшими к нему кораблями к Паретонию. Там стояло свежее и сильное войско, на которое царица и Мардион возлагали большие надежды. К нему можно было бы собрать подкрепления, и в нашем распоряжении снова была бы прекрасная армия.

— Им командовал Пинарий Скарп, опытный воин, и я сама надеялась...

— Чем больше ты на него надеялась, тем сильнее, значит, ошибалась. Подлый негодяй — ведь он всем обязан Антонию! И что же? Получив известие об Акциуме, он перешёл на сторону Октавиана, не дождавись Антония. Велел перебить ветеранов, восставших против его измены. Храбрый гарнизон города остался верен Антонию, который, только благодаря его помощи, спасся от смерти. Сегодня вечером он будет здесь. Странно, что он остановится не на Лохиаде, а в маленьком дворце на Хоме.

— Бедная, бедная царица, — воскликнула Хармиона, — как она перенесла всё это!

— Она встретила Канидия и послов Антония, как героиня. Но потом... Конечно, она скоро оправилась, это немое, мрачное молчание... Она выслала всех нас, и я не видел её с тех пор. Но все мои чувства и мысли пребывают с ней. Я брожу, как неживой. О Хармиона, что это случилось с нами? Где те дни, когда мой дух соревновался с умом царицы, чтобы превратить эту бедную землю в цветущий сад, будни — в праздник, праздник — в олимпийскую игру? Каких только неслыханных великолепий я не придумал для праздника победителей, для триумфа, даже для торжественного вступления в Рим! У меня полны ящики программ, планов, рисунков, стихов. Всех, кто владеет резцом или кистью, пишет стихи или сочиняет музыку, призвал я на помощь, — это было бы нечто единственное в своём роде, неповторимое, чему удивлялись бы грядущие поколения. А ныне...

— Теперь удвоим усилия и спасём, что можно спасти.

— Что можно спасти! — глухо повторил придворный. — Конечно, царица ещё цепляется за это слово. Когда я видел её вчера за работой, мне показалось, что она черпает воду кружкой Данаид[62]. Но сегодня, когда я оставил её, у неё опустились руки и в таком виде... в таком виде она и теперь стоит перед моими глазами... А тут ещё мой племянник Дион. Неприятности, только неприятности из-за него. А ведь, кажется, ему нельзя пожаловаться на меня. Я завещал ему всё своё состояние, а он вздумал жениться на певице, дочери художника Леонакса. Ты, кажется, покровительствуешь ей, но всё-таки твоя родная племянница, Ира, верно, ближе твоему сердцу, так что ты не рассердишься, если я уничтожу завещание в случае упорства со стороны Диона. Не видать ему от меня ни солида, если не откажется от этой женщины, которая для царицы как бельмо на глазу. И её-то принять в наш старый, почтенный род! Напротив, Ира, подруга его детства, и я давно уже предназначил её ему в жёны. Умница, близка к царице, — где же он найдёт лучше жену? Он и сам был не прочь, пока не подцепила его эта певица. Сойдись они снова, я буду любить их, как родных детей. А если этот глупец вздумает идти наперекор дяде, который ему же желает добра, так и я от него отступлюсь. Пусть его враги делают с ним что хотят, я и глазом не моргну. Я ему заменяю отца, моего покойного брата, и требую послушания. Царица для меня — всё, и её благосклонность поважнее двадцати вздорных племянников.

— Царица не лишит тебя своей благосклонности, если ты заступишься за племянника.

— А Ира? Уж если она считает себя оскорблённой — а так оно и есть, — то не угомонится.

— Пока не введёт его в беду, — подхватила Хармиона скорее с опасением, как будто уже видела близкое несчастье, чем с упрёком. — Но я так же близка к царице, как Ира, и если мы будем действовать сообща, чтобы защитить смелого молодого человека, который к тому же твой родной...

— Да, тогда, конечно... Разумеется, ты ещё ближе к царице, чем Ира... А всё-таки... Но об этом нужно подумать, а мои мысли, как я уже сказал тебе, с царицей. Я беспокоюсь только о том, что с ней случится. До других мне дела нет. Флот почти уничтожен, Канидий разбит, Ирод перешёл к Октавиану — измена за изменой, — африканские легионы погибли. Но всё-таки! Принесём жертву и станем ожидать лучших дней.

С этими словами хранитель печати удалился; Хармиона же, понуриив голову, пошла к Барине и верной Анукис, чтобы собраться с силами и выплакать своё горе, прежде чем пойти утешать царицу. Она и сама нуждалась в утешении. Со всех сторон надвигались опасности, измена. Жизнь становилась ей в тягость. Её нежная натура, которую она любила обогащать знаниями, чтобы делиться ими с другими, до сих пор много значила для царицы. Она не только пользовалась доверием Клеопатры, но сделалась для неё необходимой собеседницей, в особенности в вопросах, выходящих за пределы повседневной жизни и волновавших её беспокойный дух. Теперь же грубая, суровая действительность всецело поглотила внимание царицы. Её существование превратилось в борьбу, а Хармиона всего менее годилась для борьбы. Теперь выступил на первый план гибкий, острый ум Иры, и Хармиона говорила себе, что ей остаётся только уступить место племяннице. Но она не хотела отказаться от должности, хотя и жаждала покоя. Именно в это тревожное время, грозившее бедами, быть может, гибелью, она считала своим долгом остаться ради царицы, ради Барины.

Теперь её тянуло к Клеопатре. Хармиона знала, что одно её присутствие облегчит истерзанное сердце царицы.

Через открытую дверь, выходящую в сад, куда она направлялась теперь, послышался серебристый смех ребёнка. Шестилетний Александр кинулся к ней навстречу, обвинил её ручонками и, закинув голову, смотрел на неё большими светлыми глазами.

Она подняла ребёнка, поцеловала и подумала, какая печальная участь предстоит ему. Всё её напускное спокойствие улетучилось. Слёзы хлынули из глаз, и, прижав мальчика к своей груди, она заплакала навзрыд.

Царевич, привыкший к весёлым лицам, с испугом вырвался из её рук и хотел было бежать к сёстрам. Но у него было доброе сердце, и, зная, что плачут и рыдают только те, кто огорчён чем-нибудь, он почувствовал жалость к Хармионе и тотчас вернулся к ней, схватил за руку и потащил за собой, обещая показать прекраснейшую вещь на свете. Она охотно последовала за ним по усыпанной мелким красным песком дорожке садика, устроенного Антонием со свойственной ему расточительностью и страстью к роскоши и украшенного всевозможными редкостями и произведениями искусства.

Был тут бассейн с золотыми и серебряными рыбками, редкими водяными лилиями, выставявшими свои пурпурные головки над яркой зеленью листьев, и другой, в котором плавали маленькие разноцветные утки. Морской залив, вдававшийся в сад, был отгорожен золотой решёткой, и на его зеркальной поверхности красовались лебеди, белые и чёрные, с красными клювами. Пёстрые индийские и местные цветы украшали клумбы и гряды. Навесы из золотой проволоки, обвитые вьющимися растениями, оттеняли узкие дорожки.

За густолиственным индийским деревом виднелся грот из известкового туфа, а подле него домик, устроенный специально для детей. В нём было всё, что нужно для хозяйства, даже посуда в кухне и

фамильные портреты в таблички, нарисованные искусным художником на маленьких пластинках из слоновой кости. Всё это соответствовало по величине детскому возрасту и отличалось изяществом работы и драгоценным материалом.

За домиком была устроена маленькая конюшня, а в ней помещались четыре крошечные лошадки, с полосатой, как у тигра, шерстью, необычайная редкость, подарок индийского царя.

В другом месте находилась загородка для газелей, страусов, молодых жирафов и других травоядных животных. На деревьях суетились обезьяны и разноцветные птицы.

Мраморные и бронзовые статуи богов и гениев сверкали среди зелени, и эта пестрота, блеск, роскошь, скопившиеся на таком незначительном пространстве, производили неизгладимое впечатление не только на детей.

Маленький Александр тащил за собой Хармиону, не устаивая взглядом окружающее великолепие. Он остановился только на берегу бассейна с золотыми рыбками и сказал, приложив палец к губам:

— Теперь я тебе покажу. Смотри сюда.

Он приподнялся на цыпочки и показал дупло в стволе дерева. Там свила гнездо пара зябликов и вывела пятерых птенчиков, которые широко разевали жёлтые рты, задирая кверху свои безобразные головы.

— Какая прелесть, а! — воскликнул царевич. — А посмотри-ка, что будет, когда прилетят отец и мать и станут их кормить.

Прекрасное личико ребёнка сияло, и Хармиона нежно поцеловала его. Но в ту же минуту ей вспомнились заклёванные до смерти птенцы ласточек на адмиральском корабле, и кровь застыла в её жилах.

В эту минуту слышались звонкие детские голоса, звавшие Александра. Мальчик нахмурился и сказал смущённо:

— Я показывал тебе гнездо и совсем забыл о наших делах. Агата заснула, а Смердис ушёл, так что мы остались одни. Тогда они послали меня к сторожу Гору выпросить у него хлебца. Он такой вкусный! Мы, видишь ли, плотники, долго работали и захотели есть. Ты видела наш дом? Мы сами его построили! Селена, Гелиос, моя невеста Иотапе и я... Да, и я! Они взяли меня в помощники, и мы всё, всё сделали одни. Дом совсем готов. Стоило для коровы мы выстроим завтра! Другим мы не покажем, но тебе так и быть...

С этими словами он снова потащил за собой Хармиону. Близнецы и маленькая Иотапе, сверстница шестилетнего Александра, называвшего её своей невестой, дочь индийского царя, обручённая с мальчиком после парфянской войны и содержавшаяся при дворе Клеопатры в качестве заложницы, встретили их радостными восклицаниями. Хармиона знала их всех, кроме мидиянки, с самого рождения, и все они любили её.

Они с горделивой радостью показывали ей своё творение, в самом деле довольно удачное. Работали они над ним уже несколько недель, позабыв ради него сад со всеми его редкостями. С особенной гордостью показывали они две доски, которые Гелиос выловил из моря с помощью Александра, и замок на воротах, который им удалось стащить от какой-то старой двери. Селена сама вышила занавес для дверей. Теперь они возились над устройством очага.

Хармиона хвалила их искусство, пока они наперебой рассказывали ей о трудностях, которые пришлось преодолеть. Наивная радость светилась в их глазах, и в своём увлечении они даже не заметили приближение человека, который ошеломил их восклицанием:

— Полно вам возиться с этой скучной работой, ваши высочества! И без того потратили на неё слишком много времени.

Затем он обратился извиняющимся тоном к царице, которая стояла подле него:

— Забава эта может показаться неподходящей, но она доставляла их высочествам столько удовольствия, что я допустил её. Впрочем, если вашему величеству угодно запретить...

— Пусть себе забавляются, — перебила царица; а дети, лишь только увидели мать, кинулись к ней и уцепились за неё без всякого страха, уверяя, что этот дом для них дороже всего сада.

— Это, пожалуй, уже слишком, — заметил придворный Эвфронион, пожилой человек с умным и добродушным лицом. — Не мешает подумать, сколько ещё нужно учиться, чтобы в день рождения её величества не ударить в грязь лицом.

Но дети хором просили позволить им выстроить ещё стойло и добились-таки позволения.

Когда, наконец, Эвфронион хотел увести детей, царственная мать удержала их, сказав:

— А если бы я подарила вам вместо сада кусок земли, простое поле, вроде тех, где работают крестьяне, и разрешила бы вам после учения работать и строить сколько хотите?

Восторженный крик был ответом на эти слова, и только малютка Иотапе сказала задумчиво:

— Тогда я непременно возьму с собой куклу. Только одну старшую Атоссу. У неё не хватает одной руки, но я люблю её больше всех.

— Бери что хочешь, — воскликнул Гелиос, притягивая к себе Александра, чтобы показать, что они, мужчины, стоят за одно. — Мама, только дай нам землю и позволь работать!

— Посмотрим, — сказала Клеопатра. — Быть может, ты и прав, Эвфронион... Но мы поговорим об этом после, в свободное время.

Эвфронион удалился с детьми, которые долго ещё оборачивались, кивая и крича матери.

Когда они исчезли за деревьями, Хармиона воскликнула:

— Как бы ни омрачилось небо, но пока они остаются, солнечный свет ещё не совсем померк для тебя!

— Если бы, — прибавила царица, — если бы мысль о них не соединялась с другой мыслью, которая ещё усиливает тьму. Ты знаешь, какие вести принёс нам этот ужасный день?

— Всё знаю! — отвечала Хармиона с глубоким вздохом.

— Стало быть, знаешь, что мы стоим на краю пропасти, которая готова поглотить и их, их, Хармиона, их!

При этом она всхлипнула и, обвив руками шею своей подруги, прижалась к её груди, как ребёнок, ищущий утешения. Потом, подняв своё заплаканное лицо, тихо сказала:

— О Хармиона, я нуждаюсь в любви, как никто! Вот мне уже легче стало на твоей груди.

— Она твоя, прижмись к ней, когда тебе будет грустно... до конца! — воскликнула Хармиона с глубоким волнением.

— До конца, — повторила царица, отирая слёзы. — Он начался с сегодняшнего дня. Ты знаешь, что на меня обрушилось? Сухопутное войско уничтожено, измена Ирода и Пикария; великодушное доверчивое сердце Антония растерзано этой позорной изменой, его дух омрачён, устройство канала — последняя надежда! — не может состояться, как известил меня Горгий... Я была подавлена всеми этими несчастьями, а тут явился Александр и потащил меня к гнезду. Из-за него он забыл обо всём остальном. Это навело меня

на новые мысли, а тут ещё домик, выстроенный детьми. Всё это заставило меня оглянуться на свою прошлую жизнь, вплоть до того времени, когда я воспитывалась в доме твоего отца... Я... дети... Как различно устраивается наша жизнь. Они начали с того, к чему я стремилась с детства. Моё детство началось среди междоусобных распрей из-за изгнания отца и смерти матери, на краю пропасти. Близнецы — им по десять лет — скоро расстанутся с детством, и для них начинается такая же, полная страданий, жизнь, после всех удовольствий, которыми они окружены и которых я не знала. Я могла только мечтать о том, чем они пользуются на каждом шагу. Как часто поверяла я тебе блистательные видения, посещавшие мою душу. Ты охотно следовала за мной в сказочный мир моих грёз. А я... Эти мечты преследовали меня всю жизнь. На престоле, среди блеска и могущества, они являлись мне снова и снова. Средства осуществить их были в моём распоряжении, и когда я встретила с ним, чья жизнь сама по себе сбывшийся сон, то вспомнила о детских грёзах и осуществила их на деле. Чудеса, которыми я разнообразила жизнь моего возлюбленного, — всё это грёзы моего детства, принявшие вещественную форму. Этот сад — образ того существования, к которому я тщетно стремилась. Всё, что улаживает чувства, собрано на этом клочке земли. А между тем я училась довольствоваться немногим в доме твоего отца и мечтала когда-то о душевном спокойствии. Где оно — спокойствие, наше высшее благо? Из-за меня утратили его и вы... Но дети!.. Они начали жизнь в этой обстановке, и вот я вижу, что их собственный здравый смысл заставляет стремиться прочь от этой ослепительной пестроты, одуряющих благоуханий, оглушительного шума и пения. Они мечтают о клочке земли, на котором проходит жизнь трудящегося человека. Мальчик отказывается от суеты, предпочитая деятельную жизнь. Девочка следует его примеру и держится только за куклу, в которой видит живое дитя, следуя материнским инстинктам, вложенным в неё природой. И то, к чему так страстно стремятся их сердца, вполне соответствует их натуре. Когда мне было десять лет, мои стремления приняли уже совершенно определённый характер. Они ещё слепо стремятся к целям, которые возникают перед ними. Пусть же они вернутся к тому, с чего начала их мать и чему она обязана всем хорошим, что в ней ещё осталось! Пусть они живут в эпикурейском саду, старом ли, что в Канопе, или новом, всё равно. То, о чём грезил их мать и что она пыталась осуществить с расточительностью, часто безумной, — всё это окружало их со дня рождения, и всё это им приелось. Вступив в жизнь, они будут презирать то, что раздражает и одурманивает чувства. Они не перестанут стремиться к безболезненному душевному спокойствию, если только у них будет мудрый руководитель, который оградит их от опасностей, коренящихся в учении Эпикура именно для юношества. Я нашла такого руководителя, и ты отнесёшься к нему с доверием, потому что это твой брат, Архибий.

— Он? — с изумлением спросила Хармиона.

— Да, он. Он вырос в эпикурейском саду и нашёл в жизни и философии опору, которая помогает ему сохранить душевное спокойствие среди всех превратностей жизни, он любит мать и привязан к детям, которые тоже платят ему любовью и искренним доверием. Я бы желала поручить детей его попечению, и если он согласится исполнить желание несчастнейшей из женщин, я спокойно встречу конец. Он близок. Я чувствую, я знаю это. Горгий уже работает над проектом моего надгробного памятника.

— О царица! — скорбно воскликнула Хармиона. — Что бы ни случилось, твоей жизни не может грозить опасность. В груди Октавиана не бьётся великодушное сердце Антония, но он не жесток, и простой расчёт заставит его пощадить тебя. Он знает, что эта страна, этот город боготворят тебя, и если бессмертные пошлют ему новую победу, если они позволят ему овладеть твоим престолом и твоей священной особой...

— Тогда, — воскликнула Клеопатра, и глаза её засверкали сильнее, — тогда он узнает, кому из нас двоих более свойственно величие! Тогда-то я взгляну на него сверху вниз, хоть он и похитил наследство у приемника Цезаря, хоть он и добьётся, быть может, господства над миром.

Она произнесла эти слова со сверкающими глазами, но потом опустила руку, сжавшуюся в кулак, и сказала уже другим тоном:

— Пройдут, может быть, долгие месяцы, пока он решится на нападение, и сами бессмертные помогли возведению надгробного памятника. Единственное препятствие, дом старого философа Дидима, разрушено. Об этом известил меня посланец Горгия. Это будет второй мавзолей в нашем городе, достойный внимания. Первый скрывает останки великого Александра, которому город обязан своим возникновением и именем. Он, подчинивший половину мира своей власти и гению греческого народа, умер гораздо моложе меня. Зачем же мне, чья жалкая слабость погубила дело при Акциуме, зачем мне обременять землю? Через несколько часов мы, может быть, увидим Марка Антония.

— И ты встретишь его в таком состоянии духа? — перебила Хармиона.

— Он не хочет ни с кем встречаться, — возразила Клеопатра. — Даже мне он запретил приветствовать его, и я понимаю это запрещение. Но что же пришлось ему пережить, если он, такой экспансивный, друг людей, стремится к одиночеству и боится встречи с самыми близкими. Я поручила Ире присмотреть, чтобы всё было в порядке на Хоме, где он хочет уединиться. Она позаботится и о его любимых цветах. Тяжело, страшно тяжело мне не встретить его по-прежнему. О Хармиона, помнишь ли, как он бросился ко мне навстречу с распростёртыми объятиями, с лицом, озарённым любовью. И когда я услышала его глубокий голос, мне казалось, что рыбы в воде радуются вместе со мною и пальмы на берегу кивают ветвями... А здесь! Детские грёзы, которые я превратила в действительность ради него, охватили нас, и наша жизнь превратилась в сказку! С первого же дня, когда он встретил меня в Канопе, предложил мне первый букет и бросил на меня первый взор, сияющий любовью, его образ запечатлелся в моей памяти как воплощение всепобеждающей мужской силы и светлой, ничем не омрачаемой, озаряющей мир радости. А теперь, теперь!.. Ты помнишь, в каком состоянии мы его оставили? Но нет, нет! Он должен стряхнуть с себя это настроение. Не с понурой головой, а гордо выпрямившись, как во времена счастья, рука об руку со своей возлюбленной должен он переступить порог Гадеса. Ведь он любит меня до сих пор! Иначе бы он не явился сюда теперь, когда волшебная сила кубка не может действовать на него. А я! Это сердце, подарившее ему свою первую, ещё детскую страсть, до сих пор принадлежит ему и будет принадлежать до конца!.. Что, если я встречу его в гавани? Взгляни мне в лицо, Хармиона, и отвечай без страха, как зеркало: удалось ли Олимпу изгладить морщины?

— Их и прежде почти не было видно, — отвечала Хармиона, — самый зоркий глаз вряд ли бы заметил их. Я принесла и краску для волос, и если Олимп...

— Тише, тише, — перебила Клеопатра вполголоса, — этот сад слишком населён, и у птиц очень тонкий слух.

При этом лицо её осветилось лукавой усмешкой, заставившей Хармиону воскликнуть:

— Если бы Марк Антоний видел тебя в эту минуту!

— Полно льстить! — возразила царица с благодарной улыбкой.

Хармиона почувствовала, что теперь удобная минута для того, чтобы вступить за Барину:

— Нет, я не льщу! — сказала она. — Нет женщины в Александрии, которой пришло бы в голову померяться с тобой. Перестань же преследовать несчастную, которую ты поручила моему присмотру. Клеопатра оскорбляет себя, когда решается...

— Опять! — с неудовольствием перебила царица.

Лицо её приняло жёсткое выражение и, заметив сухим тоном: «Ты опять забыла моё приказание; но мне пора приняться за дело», — она повернулась спиной к своей собеседнице.

XV

Хармиона направилась в своё помещение. Ей стало не по себе, уже не в первый раз. Она удивлялась неутомимой энергии и сильному уму Клеопатры, её преданности интересам родной страны, её постоянству в привязанностях и нежной заботливости о близких людях, но тем более огорчали другие стороны её характера.

Она видела, как Клеопатра, желая осуществить волшебные мечты своей юности и очаровав возлюбленного, тратила чудовищные суммы, нанося ущерб благосостоянию своих подданных; как она забывала великое и важное ради суетных забот о своей наружности; как мелочная ревность заставляла её изменять справедливости и доброте, свойственным ей в остальных случаях; как, наконец, в порыве негодования она забывалась до насильственных поступков с подданными, чем-либо возмутившими её. Прирождённое честолюбие, побуждавшее её к великим и славным подвигам, служило иногда причиной таких действий, в которых она сама потом раскаивалась.

Как в детстве она не могла перенести, чтобы кто-нибудь превзошёл её в решении трудных задач, так и теперь желала всегда и всюду первенствовать. Потому-то, быть может, главной причиной её упорного гнева на Барину был злополучный подарок Антония.

Хармиона знала, что Клеопатре не раз случалось великодушно забывать и прощать несправедливости, даже лично ей нанесённые оскорбления; но быть поставленной Антонием на одну доску с какой-нибудь Бариной — этого она не могла простить, а столкновение, вызванное нелепой страстью Цезариона, давало ей право наказать соперницу.

Удручённая, беспокоясь за Барину, глубоко взволнованная и к тому же уставшая телом и душой, Хармиона вошла в своё жилище.

Там ожидала она найти облегчение в мягком, ровном характере Барины, в заботах своей верной чернокожей служанки и доверенной.

Солнце склонялось к закату, когда она вступила в переднюю. Часовые сообщили, что ничего особенного не случилось, и она прошла в жилые комнаты.

На этот раз, впрочем, нубийка не вышла к ней навстречу с приветствием и предложением снять с неё мантию и покрывало и развязать сандалии. Только во второй комнате, предназначенной для гостей, нашла она Барину с заплаканными глазами.

В отсутствие Хармионы Барина получила письмо от Алексаса, уведомлявшего её, что завтра утром он будет допрашивать её по поручению царицы. Дела её плохи, но если она не встретит его с прежней суровостью, которая уже доставила ему много огорчений, то он, со своей стороны, сделает всё, чтобы избавить её от заключения, рудников или чего-нибудь ещё худшего. К несчастью, её неосторожная интрига с царём царей Цезарионом восстановила против неё народ. Насколько восстановила, видно из того, что дом её деда Дидима разрушен. Диона, который осмелился поднять руку на сына возлюбленной царицы, ничто не спасёт от гибели. Ему, Алексасу, известно, что она теряет в Дионе друга и покровителя, но он готов заменить его, если только она своим поведением не помешает ему соединить правосудие с милостью.

Это бесстыдное письмо, в котором судья обещал Барине снисхождение в обмен за её благосклонность, объяснило Хармионе возбуждённое состояние молодой женщины.

Излив свой гнев и отвращение к Алексасу, насколько позволяла её мягкая натура, она несколько успокоилась, но всё-таки страх, горе и отчаяние продолжали бороться в её душе.

Хармиона ожидала от неё вопросов о царице и Архибии, о новых событиях, имевших отношение к Клеопатре, государству и народу, но она расспрашивала только о возлюбленном, а именно на этот счёт Хармиона ничего не могла сообщить ей. Она не успела узнать у Диона, к которому зашла только на минуту, как он переносит несчастье, постигшее его и Барину, каковы его планы на будущее и чего он ожидает от своей милой.

Это обстоятельство усилило тоску Барины, которая боялась не только за себя, но и за Диона. Она умоляла Хармиону не оставлять её в неизвестности, которую труднее перенести, чем самую ужасную весть. Но та или не могла, или не хотела ничего сообщить ей ни о намерениях Клеопатры, ни об участии её деда, бабки и сёстры. От этого опасения её усилились, и если известие, сообщённое Алексасом, было верно, то им пришлось остаться без приюта. Когда же наконец Хармиона призналась ей, что только мельком видела Диона, отчаяние окончательно овладело девушкой.

Недавно ещё исполненная надежд, радовавшаяся на склоне дня грядущему утру, Барина уже видела смертный приговор, подписанный Клеопатрой ей и её милому. Видела своих близких, гибнущих под развалинами разрушенного дома или побиваемых камнями среди разъярённой толпы. Слышала голос Алексаса, приказывающий палачу подвергнуть её пыткам. Ей казалось уже, что и нубиянка не возвращается, потому что не может найти Диона. Стража царицы заковала его в цепи и бросила в темницу, если только не растерзала его толпа, науськанная Филостратом.

В припадке лихорадочного иступления она рисовала картины, которые ужас, отчаяние, отвращение подсказывали её воображению. Хармиона тщетно старалась успокоить её ласками и словами, пуская в ход всё своё красноречие. Ничто не помогало. Наконец, ей удалось увлечь несчастную к окну, из которого открывался великолепный вид. На западе солнце спускалось к горизонту за лесом мачт в гавани Эвноста, и Хармиона, которой не раз случалось успокаивать таким образом детей царицы, указала своей пленнице на пылающий небосклон, стараясь развлечь её рассказами об её отце-художнике, который часто восхищался роскошными красками угасающего дня.

Но Барине это зрелище только напомнило другой закат солнца, которым она любовалась вместе с Дионом, и рыдания снова вырвались из её груди.

Хармиона молча положила ей руку на плечо. В эту минуту дверь отворилась и вошла нубиянка Анукис.

Госпожа знала, что такая продолжительная отлучка верной служанки, без сомнения, объясняется какими-либо важными обстоятельствами. Её наружность доказывала это. Блестящая тёмная кожа приняла пепельный оттенок, высокий лоб, обрамленный густыми курчавыми волосами, был нахмурен, полные губы побледнели, выдавая усталость.

Однако она, по-видимому, вовсе не собиралась отдыхать, так как, поздоровавшись и извинившись за своё долгое отсутствие, сообщила Барине, что Дион уже почти выздоровел. Она взглядом дала понять своей госпоже, что желала бы поговорить с ней наедине. Этот взгляд не ускользнул от молодой женщины, и, охваченная новым беспокойством, она потребовала, чтобы от неё ничего не скрывали.

Хармиона велела говорить Анукис. Нубиянка прежде всего заметила, что её новости самые лучшие и только требуют твёрдости и мужества со стороны Барины, в чём, конечно, у неё не будет недостатка. Надо только спешить. Через час после захода солнца их будут ожидать в условленном месте.

Тут Хармиона перебила служанку восклицанием:

— Невозможно! — и напомнила о стражах, расставленных Алексасом и Ирой не только в передней и подле всех дверей, но и под окнами.

Нубиянка возразила, что всё это предусмотрено, и попросила Барину, не теряя времени, выкрасить кожу и волосы, а потом завить их.

Изумление, выразившееся на лице молодой женщины, заставило её воскликнуть:

— Положись на меня! Сейчас вы всё узнаете. Слишком много нужно рассказать. По дороге я всё обдумала, но теперь не до этого. Нет, нет! Кто хочет выгнать стадо овец из горящего хлева, должен прежде всего выпустить первого барана, — я подразумеваю главное дело, и с него-то я начинаю, хотя им бы следовало закончить...

Тут её перебило восклицание Барины:

— Я должна бежать, Дион знает об этом и последует за мной. О, благодарю тебя!

В самом деле, каждая черта безобразного лица нубиянки показывала, что она желает сообщить что-то радостное. Предприимчивый дух светился в её чёрных глазах, и ласковая улыбка озарила её толстые губы, когда она ответила:

— Любящее сердце — лучший вещун, чем мудрейший пророк великого Сераписа. Да, молодая госпожа, тот, о ком ты думаешь, должен бежать из этого злополучного города, где вам обоим грозит беда. Конечно, ему удастся это, а также и тебе, если бессмертные помогут нам и если мы сами будем осторожны и смелы. После скажу, кто нам помогает. Теперь для тебя самое главное изменить наружность и принять новый вид, и притом самый безобразный: вид чёрной Анукис. В её обличье должна ты покинуть дворец. Теперь ты знаешь, что делать, а пока я достану платье, ты, госпожа, позаботься о чёрной краске, чтобы изменить цвет этой белоснежной кожи и золотистых волос.

С этими словами она оставила комнату, Барина же бросилась в объятия своей покровительницы, плача и смеясь одновременно:

— Хотя бы мне пришлось навек остаться курчавой и чёрной, как добрая Эзопион, и пройти сквозь огонь, но лишь бы он не лишил меня своей любви, я согласна... О Хармиона, как быстро сменяются горе и радость в моём сердце. Каждому, всем, тебе, даже царице, которая грозит мне такими ужасами, я рада бы сделать добро.

Вновь засиявшая надежда превратила её отчаяние в счастье. Хармиона отнеслась к этому с благодарной радостью и втайне желала, чтобы царица услышала её последнее восклицание.

Пересматривая ящичек с различными составами для окраски волос, она думала об опасностях, которыми угрожает этот новый и ещё неясный для неё оборот дела, но Барина видела впереди только свидание с милым и пребывала в самом радужном настроении, когда вернулась нубиянка.

Тотчас приступили к переодеванию.

Работая руками, Анукис не переставала действовать и языком. Она рассказывала по порядку о происшествиях этого хлопотливого дня.

Барина слушала с напряжённым вниманием и становилась всё веселее по мере того, как ей становился понятен план, придуманный для её спасения. Но Хармиона делалась всё серьёзнее и задумчивее, размышляя об опасностях, угрожавших её пленнице. Тем не менее она сознавала, что невозможно отговаривать Барину от попытки к бегству.

Когда все приготовления уже близились к концу, она подумала, что помогает предприятию, идущему вразрез с требованиями царицы, и что, без сомнения, вызовет её неудовольствие, а может быть, и гнев.

Тягостное чувство охватило её. За себя она не боялась, и даже вовсе не думала о дурных последствиях, которые может навлечь на неё бегство Барины. Её удручало сознание, что она в первый раз поступает вопреки воле Клеопатры, после того как всю жизнь исполняла её желания и помогала её стремлениям. Правда, ей пришло в голову, что, помогая бегству Барины, она избавляет царицу от позднего раскаяния. Она ни минуты не колебалась, чтобы спасти юную, прекрасную жизнь, расцвет которой посетили бури и страдания и которой улыбалось счастье, но, как бы то ни было, этот похвальный поступок слишком противоречил стремлениям и целям её существования. А ведь та — Хармиона даже не решалась назвать её имени, — которой она собиралась изменить, должна стоять для неё бесконечно выше других людей, поскольку приобрела гораздо больше прав на её любовь и верность.

Если попытка к бегству увенчается успехом, конечно, можно только радоваться. Тем не менее она почти нехотя принялась за превращение прекрасного лица Барины в лицо нубийки. Да и жаль ей было портить красоту молодой женщины, когда пришлось обрезать часть её пышных белокурых волос.

Всего этого, конечно, нельзя было избежать, и чем дальше рассказывала Анукис, тем меньше сомнений оставалось у её госпожи.

Уже один разговор между Ирой и Алексасом, подслушанный нубийкой, требовал спасти Барину и её возлюбленного от таких могущественных врагов. Верный слуга Диона, имени которого старуха не знала и о котором сказала только, что он нашёл такое надёжное убежище, какого не отыщет и крот, роющийся под землёй, был точно послан самой судьбой, вместе с архитектором. Проход в подземельях храма Исиды, найденный Горгием, тоже казался чудом.

На табличке, которую Эзопион, рассказав о главном, потихоньку сунула в руку Хармионы, было написано: «Архибий своей сестре Хармионе — привет. Зная тебя, я думаю, что тебе будет так же неприятно участвовать в этом приключении, как и мне, но ты должна пойти на это ради её отца. Нужно спасти от гибели жизнь и счастье его ребёнка. Итак, ты проводишь Барину в храм Исиды. Там она встретит своего возлюбленного, которому ты и передашь её. Тут они и обвенчаются: об этом я позабочусь. Тотчас после свадьбы ты можешь вернуться домой. Не говори Барине о наших планах. Разочарование будет слишком велико в случае, если они окажутся неисполнимыми».

Это письмо развеселило Хармиону. Предстояла свадьба Барины с избранником её сердца, а невеста была дочерью Леонакса, когда-то близкого сердцу Хармионы. Все сомнения и опасения её рассеялись, и, когда переодевание было кончено и Барина явилась в образе чернокожей нубийки, она должна была сознаться, что в таком виде нетрудно будет вывести её из дворца.

Она сказала Барине, что сама будет сопровождать её, и хотя молодая женщина не могла поцеловать подругу, по милости раскрашенного лица, но её пылкая благодарность была и без того ясна Хармионе и верной Анукис.

Нубийка осталась одна. Заботливо уничтожив все следы маскарада, она подняла руки и умоляла богов своей родины оказать покровительство красавице, которая шла навстречу стольким опасностям.

Госпожа наказала ей в случае, если Ира не вернётся и Клеопатра потребует Хармиону, извиниться за отсутствие и заменить её. Ещё во время похода Клеопатра пользовалась однажды услугами Эзопион из-за болезни Хармионы и хвалила её ловкость.

Когда Хармиона выходила из дворца, её почти всегда сопровождала чёрная рабыня. В обширных коридорах уже зажглись светильники и лампы, а на дворах факелы и смола, но, хотя освещение местами было довольно ярко, никто из многочисленных телохранителей, офицеров, евнухов, чиновников, сторожей, служителей и рабов, привратников и вестников не обратил на них внимания.

Так достигли они последнего двора, и только здесь пришлось им пережить минуту, когда кровь

застыла в жилах: навстречу шёл тот, от кого они ожидали худшего зла, — сириец Алексас.

Он не прошёл мимо беглянок, а остановил Хармиону и вежливо, почти подобострастно сообщил ей, что царица поручила крайне неприятное для него дело: допросить её пленницу, и что он намерен приступить к этому допросу завтра утром.

Тем временем сопровождавший его слуга легонько толкнул Барину в бок и шепнул ей:

— Сегодня вечером опять, как вчера, ты должна досказать нам историю князя Сеткау.

У беглянки язык точно прилип к гортани. Однако она кивнула головой, в ту же минуту Алексас раскланялся с Хармионой. Раб последовал за ним, а Барина вышла вслед за своей покровительницей на свободу.

Свежий морской ветер повеял на неё, как отрадный привет из царства свободы и счастья, и к ней вернулось присутствие духа настолько, что она передала Хармионе слова раба. Эзопион могла напомнить о них вечером и укрепить в слугах уверенность, что она, а не Барина сопровождала Хармиону.

До храма Исиды было недалеко, но вскоре их остановило новое препятствие: бесконечная процессия, спускавшаяся по ступеням храма. Во главе шествия восемь пастофоров несли изображение Исиды. За ними следовали жрицы богини и чтецы с раскрытой книгой. Далее четверо пророков. Их глава, верховный жрец, важно шествовал под балдахином. Остальные несли в руках свитки, священные сосуды, венки и знамёна. Жрицы, из которых некоторые были с распущенными волосами и в венках, смешивались с толпой духовных, и их высокие голоса сливались с басами мужчин. Служители храма и толпа молящихся замыкали шествие — все в венках и с цветами в руках. Факелonosцы освещали путь, и облака дыма от благовонных курений окутывали процессию.

Беглянки видели, как процессия направилась на Лохиаду, и из разговоров окружающих поняли, что она должна передать «Новой Исиде», царице, привет богини.

Клеопатра не могла не принять такую депутацию и была обязана показаться ей с коронами обоих Египтов и в полном облачении жрицы, которое знали во всех мелочах только две её поверенные, тогда как простые служанки, вроде Анукис, не сумели бы справиться с ним.

Это обстоятельство снова наполнило беспокойством душу Хармионы, и, когда наконец лестница освободилась, она со страхом подумала, чем всё это кончится.

По-видимому, беглянка и её покровительница напрасно продолжали свой путь, так как служители не пустили их в храм, объявив, что он будет заперт до возвращения процессии. Барина бросила на свою спутницу робкий и вопросительный взгляд; но, прежде чем та успела ответить, перед ними на ступенях храма возникла высокая мужская фигура. Это был Архибий, который спокойно предложил женщинам следовать за ним. Молча повёл он их вокруг храма к боковым дверям, куда незадолго перед тем проследовали носилки в сопровождении нескольких человек.

Пройдя по длинной лестнице, они достигли целлы.

Три ряда колонн разделяли святилище на столько же отделений. Среднее было посвящено Исиде, левое — её супругу Осирису, правое — Гору, сыну великой богини. Перед ним, скрытые в вечернем сумраке, возвышались алтари, уставленные, по распоряжению Архибия, жертвенными приношениями.

Подле статуи Гора стояли носилки, принесённые в храм незадолго до прихода женщин; из них вышел, поддерживаемый друзьями, стройный молодой человек.

Глухой гул наполнил зал. Это раздавались удары в железную дверь святилища. Затем последовал резкий звук металлических задвижек, которые задвигал старик Неокор.

Барина вздрогнула, но не спросила о причине шума, да она и не давала себе ясного отчёта в том, что здесь происходит. Молодой человек, который теперь подошёл к алтарю, продолжая опираться на руку друга, был Дион, её возлюбленный, подвергшийся таким опасностям ради неё. На него был устремлён её взгляд, к нему стремилось всё её существо, и, не владея собой, она громко назвала его по имени.

Хармиона с беспокойством взглянула на окружающих, но тотчас успокоилась. Рослый мужчина, поддерживавший Диона под руку, был его лучший друг, архитектор Горгий; другой, ещё более высокий и крепкий, — брат Хармионы, Архибий. Женщина, только что снявшая с головы покрывало, оказалась Береникой, матерью Барины. Более надёжных друзей вряд ли можно было найти. Хармиона не знала только красивого молодого эфеба, стоявшего рядом с её братом.

Барина, всё ещё державшая её за руку, хотела было подойти к матери и возлюбленному, но Архибий удержал её, сказав, что она должна потерпеть. «Если только ты согласна, — прибавил он, — обвенчаться у этого алтаря с Дионом, сыном Эвмена».

Хармиона почувствовала, как задрожала рука её спутницы при этих словах. Но молодая женщина подчинилась требованию друга.

Всё кругом затихло. Архибий взял из рук жениха какой-то свиток, заявил присутствующим, что он явился как кириос, или посажёный отец невесты, и спросил у Барины, признает ли она его таковым. Затем он передал свиток, на котором был написан брачный контракт, Диону, чтобы тот ознакомился с его содержанием. Далее он объявил присутствующим, что при этой наскоро совершаемой церемонии они должны исполнить роль: Горгий — паранимфа, или дружка, а Береника подружки. После этого они зажгли факел у огня на алтаре. Архибий как кириос по египетскому, а Береника как подружка по греческому обычаю соединили руки жениха и невесты, а затем Дион передал своей возлюбленной железное кольцо.

Этим самым кольцом обручался его отец. Передавая кольцо невесте, Дион шепнул ей: «Моя мать очень дорожила им; теперь это сокровище переходит к тебе».

Объявив, что жертвы Исиде, Серапису, Зевсу, Артемиде и Гере принесены и что брак между Дионом, сыном Эвмена, и Бариной, дочерью Леонакса, заключён, Архибий пожал им обоим руки.

По-видимому, он спешил, так как позволил сестре и Беренике только наскоро обнять Барину, а Горгию пожать ей и Диону руку. Затем сделал знак, и мать новобрачной, вся в слезах, а Хармиона, точно оглушённая, последовали за ним. Только очутившись на улице, Хармиона опомнилась и дала себе ясный отчёт о церемонии, при которой только что присутствовала в качестве свидетельницы.

Барине казалось, что вот-вот она очнётся от чудесного сна; и в то же время она с радостью сознавала, что бодрствует, так как Дион находился рядом с ней. Даже при тусклом освещении храма она заметила, что он не вполне ещё поправился.

Ему трудно было идти, поэтому она обрадовалась, когда он, наконец, последовал совету Горгия и снова улёгся в носилки.

Но где же носильщики?

Этот вопрос скоро разрешился, так как Горгий и молодой человек, в котором она давно узнала ученика своего деда, Филотаса, взяли за носилки.

«Следуй за нами», — сказал архитектор вполголоса.

Она повиновалась и пошла за носилками, сначала по широкой, затем по узенькой лестнице вниз, потом по длинному коридору. В конце коридора оказалась запертая дверь, но архитектор отворил её и помог другу выбраться из носилок.

Прежде чем двинуться дальше, он поставил носилки в комнате, наполненной разной утварью, которую он обнаружил в этом подземелье.

До сих пор беглецы не обменялись почти ни единым словом. Теперь Горгий сказал Барине:

— Ход очень низок. Надо идти согнувшись. Покрой голову и не бойся, если тебя заденет крылом летучая мышь: их покой давно никто не нарушал. Мы могли бы вывести тебя из храма на морской берег, где ты могла бы дожидаться нас, но это опасно, тебя могут заметить. Мужайся, юная супруга Диона! Ход этот длинен, но в сравнении с рудниками — это гладкая и прямая дорога. Помни о цели, тогда и летучие мыши покажутся тебе ласточками, вестницами весны.

Она кивнула ему головой; Диону же, который с трудом продвигался вперёд, опираясь на друга, поцеловала руку. Когда шествие двинулось дальше, она снова пошла позади. Барина решила, что её возлюбленному неприятно будет видеть её обезображенной, и отошла подальше, хотя охотно бы была рядом с ним. Коридор сделался ниже, друзья взяли раненого на руки. Им предстояла довольно трудная задача; приходилось идти, согнувшись в три погибели, с тяжестью на руках и в то же время отмахиваться от летучих мышей, испуганных светом факела.

Хотя голова Барины была покрыта, но всё-таки в другое время отвратительные существа, задевавшие её за голову и за руки, возбудили бы в ней ужас и отвращение. Теперь же она едва замечала их; её взор был устремлён на человека, которому она принадлежала телом и душой и чьи терпеливые страдания разрывали её сердце. Голова его покоилась на груди Горгия, шедшего перед ней. Она не могла её видеть, но всякий раз, как ноги Диона судорожно вздрагивали, ей казалось, что она чувствует его страдания. Тогда ей хотелось подойти к нему поближе, отереть его влажный лоб и ободрить ласковыми словами.

Это ей иногда удавалось, когда Горгий и Филотас останавливались перевести дух и опускали свою тяжёлую ношу. Правда, они отдыхали недолго, но и в эти короткие мгновения они не могли не заметить, что силы покидают больного. Когда, наконец, достигли цели, Филотас должен был поддерживать обессиленного друга, а архитектор осторожно отворил дверь. Она вывела их на омываемую морем лестницу возле сада Дидима.

Горгий приотворил дверь и прислушался, но вскоре пошептался с кем-то и дверь распахнулась. Высокий человек взял Диона на руки и понёс из подземелья. Барина со страхом следила за ними, но в эту минуту к ней подошёл другой, такой же рослый детина, пробормотал какое-то приветствие и взял её в охапку, как ребёнка. Свежий ночной воздух повеял ей в лицо, она искала взглядом Диона, но тщетно: ночь была темна, а свет от огней на берегу не достигал этого заслонённого постройками места набережной.

Она испугалась, но вскоре перед ними возникли очертания большой рыбацкой лодки, и тотчас сильный человек, нёсший Барину, отпустил её в лодку, а чей-то низкий голос сказал:

— Всё в порядке. Сейчас принесу вина.

Тут она увидела своего мужа, для которого было устроено ложе на носу лодки. Он лежал неподвижно, без чувств. Барина натёрла ему лоб вином, прижала его голову к своей груди, шепча ласковые слова; потом при свете фонаря осторожно перевязала рану и за всеми этими хлопотами не заметила, что лодка уже отплыла. Только когда гребцы развернули треугольный парус, она дала себе отчёт в том, что происходит.

Ей ещё не сообщили, куда их везут, да она и не спрашивала об этом. Везде будет хорошо, лишь бы оставаться с ним. Чем уединённее будущее убежище, тем лучше. Сердце её было переполнено любовью и благодарностью. Она снова наклонилась, поцеловала его горевший лоб и, подумав: «Я тебя вылечу», обратилась с мольбой об исцелении возлюбленного к богу, наделившему её даром пения, Фебу-Аполлону. Она ещё молилась, когда лодка причалила. Снова сильные руки вынесли её милого на берег, и, когда ноги

коснулись твёрдой земли, их избавитель, вольноотпущенник Пирр, обратился к ней со словами:

— Добро пожаловать, супруга Диона, гостьей на наш остров. Не знаю, понравится ли он тебе. Но если тебе будет здесь так же приятно, как нам приятно служить тебе и твоему господину, который и нам господин, то мы не скоро расстанемся.

Затем он повёл её в дом и указал две комнаты, предназначенные для неё и для её мужа. На пороге их встретили пожилая жена Пирра, какая-то молодая женщина и девушка, едва вышедшая из детского возраста. Старшая из них обратилась к Барине со скромным приветствием.

— На чистом воздухе Змеинового острова, — сказала она, — ваш муж быстро поправится. Я сама и жена старшего сына, — при этом она указала на молодую женщину, — а также их дочь Диона всегда будут к услугам Барины.

XVI

Братья и сёстры редко бывают разговорчивы, когда останутся наедине друг с другом. Хармионе же, когда она возвращалась с Архибием на Лохиаду, трудно было начать разговор потому, что она была глубоко потрясена последними событиями. Архибий тоже был поглощён ими, хотя ему предстояли гораздо более важные дела.

Молча шли они друг подле друга. На вопрос сестры, где укроются новобрачные, Архибий ответил, что, несмотря на её испытанную скромность, это должно остаться тайной даже для неё. На второй вопрос, как удалось им беспрепятственно воспользоваться храмом Исиды, он тоже отвечал очень осторожно, с недомолвками.

Историк Тимаген, приехавший из Рима в качестве посла и пользовавшийся гостеприимством своего бывшего ученика Архибия, был уполномочен предложить Клеопатре со стороны Октавиана полное помилование и признание её царицей, если только она согласится выдать или умертвить Марка Антония.

Александриец Тимаген находил это предложение справедливым и разумным. Оно обещало освободить его родной город от человека, подвергавшего опасности независимость страны своим безрассудством и наносившего ущерб её богатству своей безграничной щедростью, расточительностью и любовью к роскоши. Для римского же государства, представителем которого являлся в данном случае Тимаген, существование такого человека, как Антоний, грозило бесконечными смутами и гражданскими войнами. В эпоху восстановления Авлета на египетском троне Габинием и Марком Антонием Тимаген попал в плен к римлянам. В Риме его выкупил на волю сын Суллы. С тех пор историк достиг влиятельного положения, но всё же сохранил зуб против Антония. Он надеялся привлечь на свою сторону Архибия, преданность которого царице была ему известна. Арий, дядя Барины, бывший наставник Октавиана, тоже должен был стоять за него. Но важнее всего для Тимагена была поддержка верховного жреца Александрии, главы всей египетской иерархии.

Тимаген убедил его, что Марк Антоний — погибший человек, и Египет того и гляди попадёт в руки Октавиана. От него, верховного жреца, зависит сохранить, насколько возможно, свободу и независимость страны. Участь Клеопатры тоже в руках Октавиана, и тот, кто хочет сохранить за ней престол, должен исполнять его волю.

Всё это мудрый Анубис и сам понимал как нельзя лучше; от историка он узнал только, что Октавиан из всех александрийцев наиболее доверяет Арию. Поэтому верховный жрец решил тайно начать переговоры с дядей Барины. Но его достоинство и дряхлость не позволяли ему лично посетить Ария, которого к тому же подозревали в дружбе с римлянами. А так как Арий, ещё не оправившийся от ушибов, не мог выходить из дома, то Анубис отправил к нему своего доверенного секретаря, молодого астролога Серапиона.

Во время переговоров Тимагена с секретарём и Арием явился Архибий, чтобы побудить дядю Барины сделать со своей стороны всё возможное для спасения племянницы, так как в эти смутные времена всякий расположенный к царице человек рад бы был удержать её от поступка, грозившего возбудить против неё значительную часть граждан. Тем более что вместе с Бариной в немилость попал и член совета Дион. Представитель верховного жреца, узнав об этом деле, охотно согласился оказать всяческое содействие со своей стороны. Собственно, до Барины и Диона ему не было никакого дела, но он готов был принести большую жертву, лишь бы угодить влиятельному Архибию, а тем более Арию, пользовавшемуся расположением восходящего светила, Октавиана.

Пока они обсуждали, какими средствами помочь Барине, явилась нубиянка и сообщила Архибию о своём разговоре с вольноотпущенником и Горгием. Бегство гонимых могло осуществиться только в том случае, если бы им удалось незамеченными добраться до лодки, а это всего вернее могло быть достигнуто с помощью потайного хода, открытого архитектором.

Архибий, которому поверенный верховного жреца обещал своё содействие, решил сообщить об этом плане всем присутствующим, и Арий предложил обвенчать Барину с Дионом в храме Исиды, а затем провести их к лодке подземным ходом.

Предложение было одобрено, и Серапион обещал допустить беглецов в святилище Исиды по окончании процессии, которая должна была состояться после захода солнца. Он рассчитывал получить услугу за услугу от друга Октавиана, который отнёсся к его предложению с горячей признательностью.

— Духовенство, — говорил Серапион, — всегда готово защищать гонимых, особенно в тех случаях, когда этим может удержать царицу от несправедливости. Что касается беглецов, то для них представляются две возможности: или Клеопатра будет по-прежнему стоять за Марка Антония и в таком случае — отчего да сохранят её боги! — погибнет, или она пожертвует им и сохранит престол и жизнь. В том и другом случае гонимым недолго будет грозить опасность, так как сердце царицы исполнено милосердия и не может долго гневаться на невинных.

Затем Архибий, нубиянка и Береника, находившаяся в то время у Ария, условились насчёт подробностей свидания и сообщили об этом архитектору.

Как и сестре, Архибий не сказал остальным участникам этого плана, не исключая даже матери Барины, где укроются беглецы. Относительно цели посольства Тимагена он сообщил Хармионе лишь то небольшое, что могло служить объяснением действия, в котором она принимала участие. Впрочем, Хармиона и не спрашивала. Её всю дорогу мучила мысль, что Клеопатра, потребовав её к себе, узнает о бегстве Барины. Впрочем, она упомянула о желании царицы поручить воспитание своих детей Архибию, но только дома успокоилась настолько, чтобы рассказать об этом подробно.

Её отсутствие осталось незамеченным. Регент Мардион принял процессию от имени царицы, так как сама Клеопатра отправилась в город, неизвестно, куда именно.

Хармиона с облегчённым сердцем прошла вместе с братом в свои комнаты. Анукис отворила им дверь. Никто её не беспокоил, и Архибий с удовольствием сообщил умной и верной служанке об успехе предприятия. Его речь, которую она прослушала с благоговейным вниманием, стала лучшей наградой для скромной нубиянки. Когда он в заключение обратился к ней с благодарностью, Анукис возразила, что не ему, а ей следует быть признательной; и это было сказано вполне искренно. Её тонкий ум прекрасно понимал разницу в обращении знатных людей с равными себе или с низшими, и она была очень тронута, чувствуя, что Архибий, одно из первых лиц в государстве, говорит с ней, как с равной.

Когда нубиянка ушла показаться среди слуг, Хармиона бросилась в кресло, а Архибий уселся напротив неё. После испытанных волнений они чувствовали себя, как чрезмерно уставшие люди, которые не могут уснуть. Им предстояло о многом поговорить, но прошло немало времени, пока Хармиона нарушила молчание и вернулась к желаниям царицы. Она рассказала брату, как Клеопатра завела речь о воспитании детей, повод к чему дал выстроенный ими домик, как она была милостива и ласкова, но вспыхнула при первом упоминании о Барине и рассталась с Хармионой недовольная.

— Не знаю твоих намерений, — сказала она в заключение, — но при всей моей любви к ней, я приготовилась к худшему. Подумай, чего мне ждать от неё после того, как я помогла дочери Леонакса ускользнуть и от бесстыдного Алекса. К тому же и Ира относится ко мне теперь по-другому и совсем недавно дала понять, что забыла мою любовь и заботы. А между тем царица предпочитает её услуги моим,

и я не могу осудить её за это, так как Ира остроумнее и изобретательнее, чем я. Политика всегда претила мне, Ира же ничему так не рада, как возможности вмешиваться в дела правления и в вечную игру с Римом и его вождями.

— Эта игра проиграна, — перебил её брат таким серьёзным тоном, что Хармиона встрепенулась и робко повторила:

— Проиграна?

— Окончательно, — подтвердил Архибий, — если только...

— Слава олимпийцам, всё-таки «если»...

— Если Клеопатра не решится запятнать себя изменой, которая навеки осквернит её образ в грядущих веках.

— Каким образом?

— Когда бы ты ни узнала об этом, всё будет слишком рано.

— А если она решится, Архибий? Тебе она доверяет больше, чем кому-либо другому. Твоему попечению она хочет доверить то, что для неё дороже жизни.

— Дороже жизни? Ты подразумеваешь детей?

— Детей! Да, и тысячу раз да! Она любит их больше всего на свете. Поверь мне, ради них она пойдёт на смерть!

— Будем надеяться.

— А ты, если она решится на что-нибудь ужасное... Я могу только угадывать, о чём идёт речь... Но если она спустится с той высоты, на которой всё ещё стоит, останешься ли ты?..

— Для меня, — сказал он спокойно, — не может быть и речи о том, что она сделает или допустит. Она несчастлива, и ей предстоят новые и новые бедствия. Я знаю это и буду служить ей до последнего вздоха. Я принадлежу ей, как отшельник, посвящённый Серапису, принадлежит своему богу. Для него священо каждое желание бога. Ему, своему создателю, принадлежит он телом и душой. Узы, приковывающие меня к этой женщине, ты знаешь их происхождение, столь же неразрывны! Я исполню всё, чего она пожелает, и ничто не заставит меня презирать самого себя.

— Ничего подобного она не потребует от друга своего детства! — воскликнула Хармиона.

При этих словах она приблизилась к брату и, протягивая к нему обе руки, продолжала в глубоком волнении:

— Да, ты должен так чувствовать и говорить, и в этом ответ на вопрос, который мучит меня со вчерашнего дня. Бегство Барины; милость или опала царицы; Ира; моя бедная голова, неспособная к политике; между тем как Клеопатра именно теперь нуждается в мудрых советах...

— Пустяки, — перебил её брат. — Политика — дело мужчин. Будь прокляты женские нащёптывания. Они уже погубили немало обдуманых советов мудрейших людей, и именно в это роковое время политика какой-нибудь Иры могла бы оказаться губительной, если бы... если бы всё уже и без того не погибло.

— Итак, прочь от меня эти опасения! — воскликнула Хармиона. — Ты и теперь, как всегда, указываешь мне верный путь. Не раз улыбалась мне мысль провести остатки дней своих в имении, которое мы назвали Ирения — приют мира, — или в маленьком дворце в Канопе, вернувшись ко всему, что украшало нам детство. Философы, цветы в саду, поэты, не исключая и римских, прекрасные произведения которых прислал нам Тимаген, украсили бы наше уединение. Дочь человека, от любви которого я

отказалась, а позднее её дети заменили бы мне своих. Леонакс любил её, и я привязалась к ней. Так рисовалось мне будущее иногда в мирные минуты. Но неужели Хармиона, принёсшая своё сердце в жертву царственной подруге ещё в то время, когда оно билось сильнее и будущее было открыто для неё, неужели она покинет Клеопатру в несчастье? Нет, нет! Как и ты, я принадлежу царице и разделю её судьбу.

Она взглянула на брата, уверенная в его одобрении, но он покачал головой и возразил серьёзным тоном:

— Нет, Хармиона, то, что я, мужчина, готов взять на себя, может оказаться гибельным для тебя, женщины... — Настоящее и без того несладко, незачем отягощать его горечью будущего... А между тем!.. Да, ты должна заглянуть в него, чтобы понять меня. Ты умеешь молчать, и то, что сейчас услышишь, останется между нами. Одно, только одно, — при этих словах он понизил голос, — может спасти её: умерщвление Антония или гнусная измена, которая предаст его в руки Октавиана. Вот что привело сюда Тимагена.

— Так вот оно что! — повторила она глухим голосом, понурив свою поседевшую голову.

— Да, — подтвердил он. — И если она не устоит перед искушением, если она изменит любви, которая озаряла всю её жизнь, тогда, Хармиона, останься, останься при ней во что бы то ни стало, держись за неё крепче, чем когда-либо. Потому что тогда, именно тогда, сестра, она будет вдесятеро, во сто раз несчастнее, чем если бы Октавиан отнял у неё всё, не исключая жизни.

— Да, я не оставлю её и, что бы ни случилось, буду при ней до конца! — воскликнула Хармиона.

Но Архибий как будто не заметил необычайного волнения сестры и продолжал спокойным тоном:

— И тебя она приковала к себе, так что ты не можешь расстаться с нею. Многие испытывают то же, что мы, и в этом нет стыда. Несчастье — это молот, который разъединяет слабых людей и только крепче приковывает друг к другу благородных и твёрдых. Потому-то тебе вдвойне трудно расстаться с ней теперь, но ты нуждаешься в любви. Право жить и защищаться от жалкой участи принадлежит тебе, как и этой удивительной женщине. Пока ты уверена в её любви, оставайся при ней до конца. Но причины, заставляющие тебя мечтать о книгах, цветах и детях, очень серьёзны, и если ты лишишься её милости и любви, твоё положение станет незавидно. Немилость Клеопатры, если её сердце охладит к тебе, булабочные уколы, которыми будет преследовать тебя, беззащитную, Ира, — всё это погубит тебя. Но этого не должно случиться, сестра, мы примем меры... Не перебивай меня! Я хорошо всё продумал. Если ты убедишься, что Клеопатра любит тебя по-прежнему, оставайся при ней, в противном случае уходи завтра же, Ирения — твоя.

— Но она любит меня...

— Мы можем легко убедиться в этом. Мы предоставим решение ей самой. Ты признаешься ей, что помогла Барине бежать от её гнева.

— Архибий!

— Если ты этого не сделаешь, одна ложь повлечёт за собой другую. Ты сама увидишь, одержит ли верх мелочность, побудившая её передать дочь твоего друга в руки недостойного, или величие её души? Испытай, достойна ли она самоотречения, с которым ты посвятила ей всю свою жизнь. Если, несмотря на это признание, она останется для тебя тем же, чем была...

Здесь его перебила нубиянка, вошедшая с вопросом, согласится ли госпожа принять Иру, несмотря на поздний час.

— Впусти её, — отвечал Архибий, обменявшись взглядом с сестрой, лицо которой стало бледным после его предложения. Он заметил это и, когда нубиянка вышла, взял её за руку и ласково произнёс:

— Я высказал своё мнение; но в нашем возрасте всякий должен посоветоваться с самим собой, и я уверен, что ты найдёшь правильный путь.

— Я нашла его, — ответила она тихо и опустила глаза. — Это посещение ускорило мою решимость. Я не должна краснеть перед Ирой.

Она ещё не кончила, когда младшая помощница царицы вошла в комнату. Она была взволнована и, окинув комнату испытующим взглядом, сказала после короткого приветствия:

— Никто не знает, куда девалась царица. Мардион заменил её на приёме процессии. Она ничего не говорила тебе?

Хармиона отвечала отрицательно и спросила, видела ли Ира Антония и в каком он виде?

— В самом жалком, — был ответ. — Я спешила сюда, чтобы удержать царицу, в случае если она вздумает посетить его. Он её не примет. Это ужасно.

— Разочарование при Паритонии добило его, — заметил Архивий.

— Какое зрелище! — прибавила Ира недовольным тоном. — Убитый дух в теле гиганта. Несчастье сломало колени потомку Геркулеса. Он своей слабостью уничтожит мужество царицы.

— Мы, со своей стороны, должны сделать всё, чтобы не допустить этого, — твёрдо сказал Архивий. — Боги поставили тебя и Хармиону подле неё, чтобы укреплять её силы, когда они ослабеют. Теперь настало для вас время оказать ей эту услугу.

— Я знаю свои обязанности, — заметила Ира сухим тоном.

— Докажи это! — серьёзно возразил Архивий. — Ты, кажется, думаешь, что у тебя есть основание сердиться на Хармиону?

— Кто так нежно прижимает к сердцу моих врагов, тот лишается моей дружбы. Где ваша пленница?

— Об этом ты узнаешь позднее, — отвечала Хармиона, приближаясь к ней. — Ты найдёшь новый повод сомневаться в моей дружбе, но я встаю между тобой и Бариной для того, чтобы защитить дорогое мне существо, а не для того, чтобы оскорбить тебя. Но вот что я скажу тебе: если бы ты нанесла мне смертельное оскорбление, которого не может простить греческое сердце, — я всё-таки именно теперь воздержалась бы от всякой мести, потому что в этой груди таится любовь, которая сильнее и могущественнее самой свирепой ненависти. И эту любовь мы разделяем с тобою. Сердись на меня, ищи случая причинить мне горе и вред, мне, которая до сих пор относилась к тебе, как к родной дочери, но остерегись отнимать у меня силу и свободу: они мне нужны для того, чтобы служить госпоже. Мы только что советовались с братом, не лучше ли мне оставить Клеопатру.

— Теперь? — воскликнула Ира. — Нет, нет! Ни в коем случае! Это невысказано! Она не может обойтись без тебя, именно теперь не может!

— Может быть, легче, чем без тебя, — отвечала Хармиона, — но я думаю, что во многих отношениях мои услуги действительно трудно заменить.

— Невозможно, — горячо подхватила Ира. — Если она лишится тебя в эти тяжкие дни...

— Предстоят ещё более тяжкие, — перебил Архивий. — Может быть, завтра ты всё узнаешь. Уйти или остаться Хармионе, это зависит от твоего поведения. Ты хочешь, чтобы она осталась; в таком случае ты не должна мешать ей. Мы трое, дитя моё, быть может, единственные при дворе, для которых счастье царицы дороже своего собственного, и потому никакая ссора, отчего бы она ни возникла, не должна влиять на наше отношение к ней.

Ира выпрямилась и с волнением воскликнула:

— Разве я первая пошла против вас? Зачем? Но Хармиона и ты... ведь вам известно было, что это сердце открыто и для другой любви; и всё-таки вы... именно вы, стали между мной и тем, к кому моё сердце стремилось с детства, вы укрепили связь между Дионом и Бариной. Я держала в руках разлучницу и благодарила за то богов, а вы оба — ведь нетрудно угадать то, что вы ещё скрываете, — вы помогаете или уже помогли ей ускользнуть от меня. Вы уничтожили мою месть, вы снова ставите певицу на тот путь, где она встретится с человеком, на которого я имею больше прав, и который, быть может, ещё колеблется между мной и ею. Если только Алексас и его достойный брат оставили его в живых. Этим самым Хармиона стирает всё то добро, которое мне сделала, и я не считаю себя более в долгу перед вами.

С этими словами она направилась к двери, но на пороге остановилась и воскликнула, обернувшись к ним:

— Так я смотрю на это дело; но всё-таки я готова по-прежнему служить царице вместе с тобой, потому что, как я уже сказала, и ты ей необходима. Во всём остальном я пойду без вас, своей дорогой.

XVII

Клеопатра отправилась к престарелому Анубису, верховному жрецу и главе всей духовной иерархии в стране. Восьмидесятилетнему старцу нелегко было тронуться с места, но он велел перенести себя на башню, чтобы проверить гороскоп, составленный самой Клеопатрой. Положение звёзд оказалось таким неблагоприятным, что он не мог успокоить царицу, указывая на смягчающее влияние отдалённых планет. Тем более что Клеопатра сама обладала глубокими познаниями по этой части.

Верховный жрец доказывал, что спасение её самой и независимости Египта в её руках; только для этого нужно — таково указание планет — принести страшную жертву, говорить о которой ему не позволяют его достоинство, восьмидесятилетний возраст и любовь к царице.

Клеопатра не раз уже слышала от него подобные двусмысленные речи. В последнее время она довольно часто навещала старика. В трудные минуты он давал ей полезные советы; но в этот раз она явилась к нему главным образом по поводу волшебного кубка Нектанеба, который был возвращён ему сегодня. Со времени битвы при Аксиуме этот кубок был для неё источником постоянного беспокойства.

Теперь Клеопатра предложила своему старому учителю категорический вопрос: точно ли кубок заставил Антония бросить неоконченное сражение и последовать за ней? Она пользовалась им перед началом битвы, и это обстоятельство заставило Анубиса отвечать утвердительно.

Много лет тому назад ей показали этот удивительный сосуд в числе сокровищ храма и объяснили, что всякий, кому удастся заставить кого-нибудь поглядеть на его гладкое, как зеркало, дно, подчинит этого человека своей воле. Однако жрец не хотел выдать ей сосуд, да она и не настаивала до последнего времени, пока ей не показалось, что беззаветная преданность и пылкая любовь Антония начинают ослабевать. После этого она вновь обратилась к своему старому другу с просьбой выдать ей сосуд.

Сначала он отказывался, уверял, что кубок принесёт ей несчастье, но, когда за просьбами последовал строгий приказ и кубок был передан царице, Анубис сам поверил, что этот сосуд обладает волшебной силой, которую ему приписывали. Он видел в нём лучшее доказательство сверхъестественного, далеко превосходящего человеческие силы, могущество великой богини, с помощью которой царь Нектанеб, легендарный отец великого Александра, сковал этот кубок на острове Филы.

Анубис хотел было напомнить Клеопатре о своих предостережениях и об опасности, которую навлекает на себя всякий смертный, если вздумает прибегнуть к помощи сил, лежащих за пределами его власти. Он думал указать ей на пример Фаэтона, который зажёл всемирный пожар, осмелившись вступить на колесницу своего отца Феба-Аполлона. Но до того не дошло: лишь только он дал утвердительный ответ на вопрос царицы, та со страстным нетерпением потребовала, чтобы роковой сосуд был уничтожен на её глазах.

Верховный жрец сделал вид, что это требование противоречит его желаниям, хотя на самом деле добивался именно этого.

Действительно, его тревожила мысль о гибельных последствиях, которые может повлечь за собой переход волшебного кубка в руки Октавиана, если римлянин овладеет страной и городом. Нектанеб выковал кубок для египтян. Отнять его у чужестранца-завоевателя значило действовать в духе последнего царя, в жилах которого текла кровь фараонов и который самоотверженно бился за свой народ, за его независимость и свободу. Верховный жрец считал своей священной обязанностью уничтожить чудесное

произведение, лишь бы не передавать его римлянину. Он велел развести огонь и расплавить кубок на глазах Клеопатры.

Пока это происходило, Анубис старался убедить царицу, что она не нуждается в помощи кубка, обязанного своей волшебной силой великой Исиде.

Волшебная сила красоты тоже дар богини. С ней одной она может покорить сердце Антония. Но, может быть, полководец вместе с уважением царицы потерял и её любовь, драгоценнейшее из сокровищ. Он, Анубис, счёл бы это великой милостью богов, потому что, прибавил он в заключение, Марк Антоний тот утёс, о который разобьётся всякая попытка сохранить за моей госпожой и её детьми наследие отцов и обеспечить независимость и благополучие нашей дорогой родины. Этот кубок был драгоценным сокровищем. Но престол и счастье Египта достойны больших жертв. Конечно, для женщины труднее всего пожертвовать своей любовью.

Смысл этих намёков стал понятен Клеопатре на следующее утро, когда она в первый раз принимала Тимагена, посла Октавиана.

Остроумный живой человек, с которым она не раз вступала в споры ещё в детстве, был принят ею хорошо и исполнил свою роль мастерски. Царица, внимательно следившая за его аргументами, доказала, что её ум не потерял своей гибкости, а даже выиграл благодаря практике, и, отпуская его с подарками и ласковыми словами, уже знала, что от неё зависит сохранить независимость родины и удержать за собой и своими детьми престол. Для этого ей нужно было только выдать Антония победителю или, как выразился Тимаген, навсегда устранить его, «как действующее лицо» из драмы, развязка которой может быть роковой или блистательной для царицы, смотря по её решению.

Когда он ушёл, царицей овладело такое волнение, сердце её так сильно билось, что она почувствовала себя не в силах участвовать в совете и отложила его на следующий день.

Антоний отказался принять её. Это огорчило царицу. С уничтожением кубка, на которое она решилась в порыве страсти, мысль о его волшебном и роковом действии не покидала её.

Напротив! Она должна была остаться одна, собраться с мыслями и хорошенько обдумать положение.

Кубок принадлежал к числу сокровищ Исиды, и, подумав о нём, она вспомнила, что в прежние времена не раз находила успокоение в тиши храма. Не желая быть узнанной, Клеопатра закуталась в покрывало и пошла в храм в сопровождении Иры и одного из придворных.

Но на этот раз царица не нашла того, что искала. Толпа молящихся и приносящих жертвы нарушила её покой.

Она хотела уже уйти, когда увидела архитектора Горгия с помощником, несшим инструменты. Он рассказал ей, как удивительно сама судьба помогает её планам насчёт постройки. Народ разрушил дом философа Дидима, и старик, которого Горгий поместил пока у себя, согласен уступить наследие своих отцов, если только царица обещает своё покровительство ему и его близким.

Из её вопроса, чего же может опасаться почтенный член Мусейона со стороны царицы, всегда покровительствовавшей наукам, он понял, что Клеопатра ещё не знает о бегстве Барины, и потому ограничился указанием на немилость, которой подверглась внучка философа. Тогда она поспешила уверить его, что, как бы ни провинилась певица, её родные не пострадают от этого.

Затем они стали обсуждать вопрос о постройке. Посмотрев чертёж, над которым архитектор провёл часть ночи и утро, она одобрила его и ещё раз приказала начинать как можно скорее и превратить ночи в дни. То, что делается обычно в несколько месяцев, должно быть окончено в несколько недель.

Ира и придворный, тоже переодетые в простое платье, ожидали её в преддверии храма. Вместе с

архитектором они проводили её до носилок, но Клеопатра не захотела в них сесть и велела архитектору проводить её в сад.

При осмотре оказалось, что архитектор рассчитал верно, и хотя мавзолеей захватит часть сада, но всё же он останется почти вдвое больше того, который был при дворце на Лохиаде.

Расспросы царицы показали Горгию, что у неё появилась какая-то новая мысль. Действительно, она задумала соединить сад с Лохиадой. На вопрос, можно ли это сделать, архитектор отвечал утвердительно. Надо было только снести некоторые постройки, принадлежавшие казне, и маленький храм Береники к югу от царской гавани. Через проходивший здесь канал Агатодемона^[63] давно уже был перекинут мост.

Новый план с удивительной быстротой сформировался в уме Клеопатры, и она в кратких и ясных выражениях изложила его архитектору. Сад нужно оставить, но расширить по направлению к Лохиаде до моста. Отсюда до дворца должна быть построена крытая колоннада. Выслушав заверение архитектора в том, что всё это можно устроить, она некоторое время задумчиво смотрела в землю. Потом приказала немедленно начинать работу, не останавливаясь перед затратами.

Горгий видел, что ему предстоит лихорадочная деятельность, но не страшился этого. Он готов был перестроить хоть весь город ради такой заказчицы. Кроме того, это поручение доказывало, к его радости, что женщина, надгробный памятник которой должен был так скоро вырасти из земли, ещё думает о мирских благах. Правда, она хотела оставить сад в прежнем виде, но колоннаду и другие постройки велела сделать из самого ценного материала и как можно изящнее.

Прощаясь, Горгий с жаром поцеловал край её платья.

Что за женщина! Хотя она не спустила покрывала и была одета в простую тёмную одежду, но каждое движение её дышало грацией и красотой. Горгий, поклонник и знаток красоты форм, с трудом отвёл взор от этого удивительного создания.

Сегодня утром, здороваясь с Еленой, он стал было сравнивать её с Клеопатрой, но тотчас же отказался от этого. Тот, кому Геба^[64] подносит нектар, не станет думать о винах, хотя бы самых благородных. Трудно передаваемое чувство радости и благодарности охватило его, когда Елена, обыкновенно такая сдержанная и спокойная, приветливо и горячо поздоровалась с ним; но образ Клеопатры постоянно становился между ним и ею, так что он сам не мог понять своих чувств. Он любил уже многих, теперь же его сердце стремилось к двум женщинам одновременно, и Клеопатра была самая яркая из двух звёзд, восхищавших его. Так что он считал почти изменой со своей стороны добиваться теперь же руки Елены.

Клеопатра догадывалась, что в художнике приобрела пламенного поклонника, и радовалась этому. Тут ей не помогала никакой кубок. Завтра он начнёт постройку мавзолея. В нём должны поместиться несколько саркофагов. Антоний не раз выражал желание быть погребённым подле неё, и притом высказывал его раньше, чем она прибегла к кубку Нектанеба. Она обязана исполнить его волю, где бы и когда бы он ни умер, а смерть, без сомнения, скоро погасит потускневший свет его существования. Если она пощадит его, Октавиан, без сомнения, не оставит его в живых... Тут снова царицей овладело страшное, лихорадочное беспокойство, заставившее уничтожить кубок. Она не могла вернуться во дворец, участвовать в совете, принимать посетителей, ласкать детей. Сегодня был день рождения близнецов. Хармиона напомнила ей об этом. Но как можно думать о подобных вещах в такую минуту.

Поздно ночью вернулась она от верховного жреца и тотчас осведомилась, как чувствует себя Антоний. Описание Иры соответствовало тому состоянию, в котором Клеопатра видела его после битвы. Да, его душевное расстройство ещё усилилось с тех пор. Утром Хармиона прислуживала царице и хотела уже признаться, что помогла Барине ускользнуть от её карающей руки, но помешал Тимаген.

Царица не нашла ожидаемого успокоения в храме, но разговор навёл её на новые мысли. Волнение,

возбуждённое в ней хлопотами о месте своего последнего успокоения, заглушало всё остальное, как прибой моря заглушает щебет ласточек на скалистом берегу.

Она нуждалась в уединении. Ей нужно было подумать и успокоиться. На Лохиаде это было невозможно. Тогда она вспомнила о маленьком храме Береники, который велела снести, чтобы расширить сад. Там её никто не потревожит. Внутреннее устройство храма состояло из одной комнаты, украшенной статуей Береники. Она велела придворному распорядиться, чтобы туда никого не пускали, и вскоре стояла в круглом со сводами зале из белого мрамора. Клеопатра опустилась на бронзовую скамью подле статуи. Здесь было тихо, и в этом безмолвии её привычный к работе ум мог разобраться в обуревавших его сомнениях. Понять своё положение и свои чувства, принять нужное решение — вот чего она хотела.

Сначала её разум бросался туда и сюда, как голубь, не знающий, куда летит, но вскоре мысль о том, почему она так заботится о гробнице, когда ей ещё позволено жить, навела её на истинный путь. Среди скифской стражи, среди диких мавров и нубийцев, входивших в состав войска, найдётся немало молодцов, которые по первому её слову, за пригоршню золота разделяются с Антонием. Стоит ей мигнуть, и к её услугам будут хоть двадцать человек нищих, магов и кудесников из Ракотиды, египетского квартала, которые не задумаются отравить его. Македонская стража арестует его по первому её приказу, и завтра же он будет препровождён в Азию, куда, по словам Тимагена, отправился Октавиан.

Что же мешает ей подкупить солдат, шепнуть слова два магам, наконец просто отдать приказание.

Ей вспомнился расплавленный волшебный кубок, который заставил его бросить, как негодные побрякушки, славу, честь, могущество и последовать за ней, повинувшись таинственной силе; но это тяжёлое воспоминание не повлияло на её решение. Вообще не какие-либо единичные факты, но всё её существо, каждый нерв, каждое биение пульса, каждый взгляд в прошлое восставали против предстоящего деяния.

Но тут мысли приняли другое направление. Она подумала о детях, о власти, об опасностях, нависших над родной страной, грозивших отнять у неё свет и жизнь и заменить их мраком и оцепенением, о смерти наконец, об уничтожении этого прекрасного тела и духа и об ужасных страданиях, которые, быть может, связаны с переходом от жизни к смерти. И что предстоит ей в том новом существовании, которому не будет конца? Кто прав? Эпикур, по мнению которого со смертью всё уничтожается, или древние египетские учителя? И если правы последние, что ожидает её в той жизни, раз она купит спасение и власть ценой убийства или измены своему возлюбленному, своему супругу?

Но, может быть, казнь, ожидающая преступников на том свете, простая выдумка жрецов, с целью обуздать дикие инстинкты людей и утратить нарушителей закона? К тому же, — нашёптывал ей дерзкий, проникнутый эллинским скептицизмом ум, — не в садах Аалу, египетском Элизиуме, а в месте казни встретит она своего отца и мать и всех преступных предков до Первого Эвергета, которому наследовал развратный Филопатор. Не лучше ли совсем отбросить мысль о загробной жизни, как сомнительное предположение, на котором ничего нельзя построить? Но вот вопрос, — каковы будут немногие оставшиеся ей годы, купленные убийством, предательством?

Ночью, в сонном видении, к ней будет являться тень убитого! Да, Эринии, или Диры, как называл их римлянин Антоний, преследующие убийцу с бичами из змей, не вымысел поэтической фантазии; это наглядное воплощение душевных мук, терзающих преступника. Высшее благо, безмятежное спокойствие духа эпикурейцев, навеки утрачено тем, кто обременит свою совесть таким грехом.

А днём и вечером?

Да, ей будет полный простор для наслаждений, но для кого устраивать праздник? С кем делить веселье? Без Марка Антония всякие празднества, всякие зрелища давно уже утратили для неё интерес. Для кого же она так заботилась о своей красоте, как не для него? А красота уже исчезает, пока тихо, медленно,

но как быстро пойдёт это разрушение под гнетом душевных мук! И когда зеркало покажет ей морщины, которых не уничтожит всё искусство Олимпа, когда... Нет, она не создана для того, чтобы состариться! Немногие годы, которые она может купить, будут отравлены такими муками, что не стоят того, чтобы потерять из-за них среди живущих и будущих поколений славу обворожительнейшей из женщин.

А дети?

Да, хорошо было бы увидеть их на престоле, но и к этому светлому видению примешивались мрачные тени.

Как отрадно было бы приветствовать Цезариона как властителя мира, вместо Октавиана. Но разве достигнет этого мечтатель, чьё первое пробуждение ознаменовалось скандалом и беззаконием, после чего он, по-видимому, впал в прежнюю спячку?

Остальные дети возбуждали более радужные надежды. Как приятно было бы видеть Антония Гелиоса царём Египта, Клеопатру Селену с первым младенцем на руках, Александра доблестным государственным мужем и героем. Но что же должны они, дети Антония, воспитание которых Архивий, вероятно, возьмёт на себя, что они должны чувствовать к матери, умертвившей их отца?

Клеопатра содрогнулась, вспомнив о своём детстве, когда её сердце обливалось кровью при мысли об отце, изгнанном её матерью. Да и к тому же царица Тифена, которую история называет чудовищем, только лишила престола, а не убила своего мужа.

Вспомнились ей проклятия Арсиной, и она подумала, что, может быть, когда-нибудь розовые губки близнецов и её любимца откроются для проклятий ей, и их милые руки поднимутся с гневом и презрением, указывая на проклятую убийцу отца... Нет, нет и нет!.. Ценой таких мучений, такого разочарования и позора она не купит немногих лет и без того изуродованной жизни!

Не купит у кого?

У того самого Октавиана, который отнял наследие Цезаря у её сына, выразил сомнение в её верности. У холодного, чёрствого, расчётливого выскочки, всё существо которого при первой же их встрече в Риме возбудило в ней отвращение, неприязнь, вражду. У него, по милости которого её супруг — потому что таковым являлся Антоний в глазах её и всего Египта — женился на Октавии и таким образом поставил под сомнение законность рождения её детей, у него, который так глубоко унизил и оскорбил их обоих битвой при Акциуме.

Покориться этому человеку, совершить по его приказу гнуснейшее из преступлений! Одна мысль об этом поднимала на дыбы всю её гордость, а эта гордость с детских лет вошла в её плоть и кровь. И всё-таки ради детей она могла бы решиться даже на такой позор, если бы он не грозил погубить всё лучшее и прекраснейшее, чего она ожидала от близнецов и Александра.

Когда мысль о проклятии, которое она заслужит со стороны детей, мелькнула в её голове, она невольно поднялась с места. О чём же ещё думать, зачем колебаться? Теперь всё ясно! Лишь бы Горгий поторопился с окончанием мавзолея. Если судьба потребует у неё жизнь, она не станет покупать её ценой убийства или гнусной измены. Судьба её возлюбленного решена. С ним она наслаждалась чудным, опьяняющим, ослепительным блаженством, о котором с завистливым удивлением говорит мир. С ним она будет покоиться в могиле, заставив мир с почтительным состраданием вспоминать об Антонии и Клеопатре. Дети будут вспоминать о них с гордостью, и никакое мрачное, тяжёлое представление не помешает им украшать цветами гробницу родителей, оплакивать их, прославлять их гений и приносить ему жертвы.

Она взглянула на статую Береники^[65], тоже носившей когда-то корону обоих Египтов. Она тоже

умерла слишком рано, насильственной смертью; она тоже умела любить. Обет, который она дала, — пожертвовать Афродите свои прекрасные волосы, если супруг вернётся невредимым с войны с сирийцами, сослужил добрую службу её имени. «Волосы Береники» сверкают среди созвездий на ночном небе.

Несмотря на преступления, один поступок верности и любви заставил прославлять её имя. Она, Клеопатра, сделает больше. Она принесёт в жертву не копну прекрасных волос, а власть и жизнь.

Выпрямившись и высоко подняв голову, она взглянула в прекрасное мраморное лицо статуи.

Когда она входила в храм, ей казалось, что она начинает понимать чувства преступников, которых ей случалось приговаривать к смерти. Теперь она осудила на смерть себя и точно избавилась от тяжкого бремени, хотя сердце её всё-таки скорбело и она испытывала мучительнейшее из состраданий, сострадание к самой себе.

XVIII

После того как Клеопатра вышла из храма, Ира поразилась происшедшей в ней перемене. Нервное напряжение, придававшее её прекрасному лицу жёсткое выражение, уступило место тихой печали. Впрочем, она скоро развеселилась, когда Ира указала ей на процессию, направлявшуюся во дворец.

День рождения её детей праздновался в Александрии и во всём Египте. Дети горожан отправлялись к близнецам пожелать им счастья и уверить их царственную мать в любви и преданности граждан.

Возвращение во дворец потребовало всего нескольких минут, и, когда, наскоро надев парадное платье, Клеопатра взглянула на толпу детей, ей показалось, что сама судьба приветствует её решение.

Она стояла рядом с близнецами на балконе, перед которым столпились сотни мальчиков и девочек, ровесников царевича и царевны. Они держали в руках букеты или корзиночки с фиалками и розами. На всех красовались венки, многие девочки были украшены гирляндами цветов. Детский хор пропел торжественный гимн о ниспослании счастья царице и её детям; затем девочка, руководившая хором, произнесла небольшую речь от имени города, и, пока она говорила, дети выстроились рядами, по росту. Всё вместе было похоже на цветущий сад, в котором цветами были оживлённые детские личики.

Клеопатра поблагодарила за приветствие сограждан, переданное ей устами тех, кто им дороже всего, просила передать благодарность со своей стороны и, подойдя к толпе, поцеловала самую маленькую девочку. Глаза царицы наполнились слезами, когда та обвила ручонками её шею так доверчиво и нежно, как будто обнимала родную мать.

Ещё привлекательнее было зрелище, в котором девочки осыпали её цветами, а мальчики с весёлыми криками подносили букеты ей, близнецам и маленькому Александру.

Хармиона не забыла о подарках, а камергеры и служанки отвели детей в зал, где для них было приготовлено угощение. Глаза царицы сияли таким весельем, что подруга её юности решила признаться во всём.

И здесь повторилось то, что часто случается с нами: чего мы боимся больше всего, оказывается на деле вовсе не страшным. В жизни нет ничего великого или малого, так как всё становится тем или другим в зависимости от того, с чем мы его сравниваем.

Самый высокий человек — карлик в сравнении с гигантским утёсом, самый маленький — великан в сравнении с муравьями, кишущими в лесу. Нищий считает сокровищем то, что богач презрительно отталкивает. То, что Клеопатре ещё вчера казалось невыносимым, из-за чего она беспокоилась, волновалась и принимала строгие меры, теперь представлялось ей ничтожным, почти не стоящим внимания.

Происшедшие события поставили её лицом к лицу с такими вопросами, перед которыми дело Барины отошло на задний план и казалось пустяком.

Признанию Хармионы предшествовало заявление, что хотя она и жаждет покоя, но всё-таки готова остаться при своей госпоже и служить, пока та сама не захочет удалить её. Но этот момент, прибавила Хармиона, кажется, уже наступил.

Тут Клеопатра перебила её, сказав, что это невозможно. Когда же Хармиона призналась ей, что Барина бежала и что она, Хармиона, помогла невинной и гонимой внучке Дидима, лицо царицы

омрачилось и лоб нахмурился, но только на одно мгновение.

Затем она, улыбаясь, погрозила подруге пальцем, привлекла её к себе и серьёзно сказала, что из всех пороков ей наиболее чужда неблагодарность. Подруга детства так часто доказывала ей на деле свою любовь и верность, готовность к самопожертвованию и заботам, что один своевольный поступок не в состоянии перевесить всего этого. Получится ещё огромный остаток, за счёт которого Хармиона может ещё долго грешить, не опасаясь, что Клеопатра пожелает расстаться с ней.

И Хармиона поняла, что нет на земле такой вражды и злобы, которая могла бы порвать узы, соединяющие её с этой женщиной. Кроме того, царица призналась, что бегство Барины кажется ей даже услугой. Заметив осторожность Хармионы, не сказавшей, где скрывается молодая женщина, она решила не узнавать об этом. С неё довольно было того, что опасная красавица сделалась недоступной для Цезариона. Что касается Антония, то каменная стена отделяла его теперь от всего света, в том числе и от женщины, которая, впрочем, вряд ли была так близка его сердцу, как уверял Алексас.

Тут Хармиона с жаром принялась объяснять ей, почему сириец так безжалостно преследовал Барину. Нетрудно было убедиться и в том, что отношения Марка Антония с внучкой Дидима не имели и подобия нежной страсти. Но Клеопатра слушала её только краем уха. Возлюбленный, для которого билось её сердце, превратился теперь как бы в сладкое воспоминание. Она помнила о блаженных часах, проведённых с ним, но стена, отделившая его от мира и от неё, и гробница, которую она велела построить для них обоих, казалось, закончили время их любви. Да, и эта глава её сердечной жизни не может предложить ничего нового, кроме одного, — конца. Даже ревность, омрачившая на мгновение её счастливую любовь, казалось ей, исчезла навсегда.

В то время как Хармиона уверяла, что никто, кроме Диона, не может похвалиться благосклонностью Барины, и рассказывала о её прежней жизни, Клеопатра думала о своём возлюбленном. Как воспоминание о дорогом умершем вставал перед ней гигантский, всё затмевающий образ героя. Она вспоминала о том, чем он был для неё до Аксиума. Ничего больше не ждала и не желала царица от человека, энергия которого сломлена, быть может, по её же вине. Но она решила искупить эту вину, заплатив за неё престолом и жизнью. Таким образом, все счёты будут сведены.

Появление Алексаса прервало её мысли. Сириец, вне себя от негодования, жаловался, что у него отняли путём бесстыдных козней дарованное ему право судить преступницу. Нет возможности даже преследовать беглянку, так как Антоний поручил ему привлечь на свою сторону Ирода. Сегодня же он должен оставить Александрию. Так как от полководца теперь нечего больше ждать, то он надеется, что царица не оставит безнаказанным такого оскорбления и примет строгие меры против певички и её любовника Диона, осмелившегося поднять руку на сына Цезаря.

Но Клеопатра с царственным величием остановила сирийца, запретила ему упоминать об этом происшествии и с горькой улыбкой пожелала успеха у Ирода, в присоединение которого к делу Антония она, разумеется, не верит, при всём её уважении к талантам посла.

Когда он удалился, она воскликнула, обращаясь к Хармионе:

— Где были мои глаза! Этот человек — изменник! Мы скоро убедимся в этом. Куда бы ни увёз Дион свою жену, пусть он скроет её хорошенько, — не от меня, а от этого сирийца. Легче защититься от льва, чем от скорпиона. Позаботься о том, чтобы Архивий сегодня же навестил меня. Мне нужно с ним поговорить. И ни слова более о разлуке между нами, не правда ли? Скоро наступит час иной разлуки, после которой эти губы никогда не будут целовать твоё верное лицо.

С этими словами она ещё раз обняла подругу и, заметив завистливое выражение на лице Иры, вошедшей в эту минуту с докладом о приходе Луцилия, ближайшего друга Антония, сказала ей:

— Ошибаюсь ли я, или ты действительно чувствуешь себя обиженной перед Хармионой, которая, однако, моя более давняя подруга? Если так, то напрасно: я люблю вас обеих. Ты её племянница и многим обязана ей с детства. Забудь же случившееся, как я забываю, если тебя ещё мучит мысль о мести, и вспомни о старой дружбе. Я одним только могу отблагодарить тебя, тем, чего не может купить дочь богача Кратеса и что, однако, она высоко ценит: любовью её царственной подруги.

С этими словами Клеопатра обняла Иру и велела ей позвать Луцилия. Исполняя это приказание, Ира думала: «Ни одна женщина не была так любима, как эта; не потому ли она владеет сокровищем любви и может доставлять такое счастье другим своей любовью? Или, наоборот, её любили так много потому, что она сама явилась на свет исполненная любовью, расточая её, как солнце теплоту. Да, так оно и есть. Именно я могу судить об этом, потому что кого я любила, кроме неё? Никого, даже себя, да и меня никто не любил. Но почему же пренебрёг мной Дион?.. Глупая! Почему Марк Антоний предпочёл Клеопатру Октавии, чья красота не уступит красоте соперницы, чьё сердце принадлежало ему, в чьих руках владычество над половиной мира?»

Через несколько минут она привела к царице Луцилия. Знакомству с Антонием он был обязан своей смелости. В битве при Филиппах[66], когда войско республиканцев рассеялось, Брут попался бы в плен вражеским всадникам, если бы Луцилий, рискуя быть изрубленным, не выдал себя за него, чем и дал ему возможность спастись — правда, ненадолго. Этот поступок показался Антонию настолько благородным и необычным, что он не только простил Луцилию его участие в восстании, но и удостоил его своей дружбой. Луцилий не остался в долгу и служил ему так же верно, как Бруту. При Акциуме он рисковал утратить расположение Антония, удерживая его от погони за Клеопатрой, а затем сопровождал его в бегстве. Теперь он делил с ним уединение на Хоме.

Этот недавно ещё по-юношески бодрый человек выглядел теперь почти стариком. За последние недели наружность его изменилась, лицо осунулось, в глазах была печаль. Он сообщил Клеопатре о состоянии своего друга.

До этой несчастной битвы Луцилий был одним из самых рьяных поклонников Клеопатры, но после того как его друг и благодетель забыл из-за неё славу, счастье и честь, Луцилий сердился на неё. Он бы и теперь не пошёл к царице, если бы не был уверен, что она одна способна пробудить прежнее мужество и энергию упавшего духом человека и напомнить ему обязанности мужа. Ничего нового он не мог сообщить, так как на обратном пути от Акциума царица сама была свидетельницей его печального состояния. Теперь Антоний начинал находить какое-то странное удовольствие в сознании своего падения, — и это-то всего более тревожило его друга.

Антоний называл маленький дворец на Хоме Тимониумом, так как видел сходство в своей судьбе с судьбою знаменитого афинского мизантропа[67], и действительно, подобно ему был оставлен многими друзьями после того, как счастье отвернулось от него. Уже на Тенаре он решил удалиться на Хому и отгородиться от внешнего мира стеной так, чтобы сделать своё жилище неприступным, подобно пещере Тимона в Галах, подле Афин. Горгий выстроил стену, и всякий, кто желал видеть отшельника, должен был отправляться к нему на корабле и просить приёма, в котором, впрочем, почти всегда отказывали. Клеопатра с участием выслушала Луцилия и спросила:

— Неужели нет ничего, что могло бы развлечь и рассеять Антония?

— Нет, госпожа, — отвечал тот, — он охотно вспоминает обо всём, что когда-то веселило и радовало его, но лишь для того, чтобы показать, как всё это ничтожно и не заслуживает хлопот. «Каких только наслаждений не изведаль я в жизни? — спрашивает он и затем прибавляет: — Но все они возвращались снова и снова и наконец надоедали своим однообразием и потеряли всякую прелесть. Скука и пресыщение, вот к чему они приводили». Он признает теперь только необходимое — хлеб и воду, да и к

ним почти не притрагивается. Вчера, в особенно мрачную минуту, он завёл речь о золоте. «Вот к чему нужно стремиться прежде всего. Один вид золота возбуждает радостные надежды: столько наслаждений в нём скрыто». Но, высказав это, он засмеялся и прибавил, что наслаждения эти все те же, которые приводят к скуке и пресыщению. И золото не стоит того, чтобы протягивать к нему руку. Таким размышлениям предаётся он охотно.

«В снегу на горной вершине, — заметил он однажды, — коченеют ноги. В болоте им тепло, но отвратительная грязь облипает их со всех сторон».

Я возразил, что между болотом и снегом вершины есть зелёные долины, в которых отрадно и легко дышится, но он выразил отвращение к золотой середине Горация, прибавив: «Да, я уничтожен. Октавиан со своим Агриппой торжествуют, но, хотя камень или тяжёлая ступня слона могут раздавить меня, я всё-таки выше их».

— В нём просыпается прежний Антоний! — воскликнула Клеопатра.

И в Луцилий снова проснулось раздражение против женщины, которая, разжигая заносчивость Антония, довела его до гибели.

— Но часто Антоний видит себя в другом свете, — продолжал он. — Недавно как-то он воскликнул: «Трудно найти более недостойную тему для поэта, чем моя жизнь, как сатурналии [68], кончившиеся трагедией».

Луцилий прибавил бы что-нибудь ещё более обидное, но грустный взгляд и влажные от слёз глаза убитой горем царицы остановили его.

О чём бы ни говорил Антоний, он всегда сводил речь на Клеопатру. Иногда он раздражался жестокими упрёками по её адресу, но чаще вспоминал о ней с безграничным восхищением, с диким восторгом, и именно последнее обстоятельство укрепляло в Луцилий надежду, что Клеопатра сумеет поднять его упавший дух. Поэтому он передал ей особенно нежные отзывы Антония, и она приняла их с благодарной радостью.

Однако, когда он закончил, Клеопатра заметила, что, по всей вероятности, Антоний говорил о ней и в других выражениях. Впрочем, она приготовилась ко всему худшему, так как несомненно послужила утёсом, о который разбилось его величие.

Луцилий вспомнил отзывы Антония о трёх женщинах, которые были за ним замужем, и прибавил, слегка вздрогнув:

— Вспоминал он и о Фульвии, своей первой жене — я знал эту пылкую женщину, бывшую замужем раньше за Клодием, — и называл её ураганом, который раздул его паруса.

— Так, так! — воскликнула Клеопатра, — Это совершенно верно. Он обязан ей многим, да и я обязана покойнице. Она научила его ценить могущество женщины и пользоваться им.

— Не всегда, — заметил Луцилий, в котором последние слова царицы снова пробудили раздражение, и прибавил, не обращая внимания на лёгкую краску, выступившую на её лице, — об Октавии он говорил, что она может вывести человека на нужный путь, где он обретёт благополучие и будет приятен бессмертным и людям.

— Почему же он не пошёл за ней? — спросила Клеопатра.

— В школе Фульвии трудно было научиться умеренности, которая к тому же чужда его натуре, — отвечал римлянин. — Я говорил тебе, как он отозвался о мирных долинах и золотой середине.

— Чем же была для него я? — спросила царица.

Луцилий не сразу ответил.

— Ты желаешь знать, — сказал он, наконец, — а желание царицы должно быть исполнено. Тебя, госпожа, называл он роскошным пиром, на который увенчанные гости собираются перед битвой.

— Которая будет проиграна, — прибавила Клеопатра. — Сравнение верное. Теперь, после поражения, нет смысла затевать новый пир. Трагедия близится к концу; ей предшествовали сатурналии — как он сам выразился, — и начинать её снова было бы скучно. Одно только кажется мне желанным: достойный заключительный акт. Если ты думаешь, что я могу вернуть его к жизни, можешь рассчитывать на меня. Пир, о котором он говорит, тянулся много лет. Последний кубок недолго опорожнить. Но он не принял меня, когда я хотела навестить его. Каким образом могу я снова сблизиться с ним?

— Я думаю, что это нужно предоставить тебе самой, твоему женскому такту, — ответил Луцилий. — Но я пришёл к тебе с просьбой, и в исполнении её заключается, быть может, ответ на твой вопрос. Эрос, верный раб Антония, просит тебя подарить ему несколько минут. Ты знаешь этого молодца. Он рад сложить голову за тебя и за своего господина, и он... От тебя самой я слышал однажды слова царя Антиоха: никто не может быть великим для своего слуги... Эрос лучше нас знает слабости и достоинства своего господина, к тому же он умён. Антоний давно уже дал ему вольную, и если твоё величество не погнушается принять маленького человека...

— Пусть придёт, — перебила Клеопатра. — Твоё требование справедливо. К сожалению, мне самой слишком хорошо известно, что я могу сделать для друга. Ещё прежде, чем ты пришёл, я уже обдумала, как исполнить одно из заветнейших его желаний.

С этими словами она отпустила римлянина. Она смотрела ему вслед со смешанным чувством, так как слова его пробудили в ней прежнюю страсть, а с другой стороны, оскорбительные отзывы Антония ещё звучали в её ушах. Но не успела дверь затвориться за Луцилием, как придворный доложил о депутации от Мусейона.

Представители учёной корпорации явились с жалобой на несправедливость по отношению к их коллеге Дидиму, а вместе с тем с выражением своей преданности царице, непоколебавшейся в это смутное время. Царица поблагодарила их, сказав, что всё уже улажено. Она ведь тоже до некоторой степени принадлежит к их корпорации. Всем им известно, что она с детства уважала и разделяла их стремления. В доказательство этого она жертвует библиотеке Мусейона двести тысяч книг из Пергама — один из лучших подарков, сделанных ей когда-либо Марком Антонием. Этим самым она надеется хоть отчасти возместить ущерб, нанесённый знаменитой библиотеке пожаром в Брухейоне.

Учёные удалились с выражением горячей признательности и неизменной преданности. Большинство из них были ей лично знакомы, а с наиболее выдающимися она не раз раньше вступала в споры, служившие к её и их пользе.

Солнце уже зашло, когда на Лохиаду явился жрец Сераписа, высшего египетского божества. Он шёл медленно и торжественно, окружённый свитой с факелами и лампами. Соответственно значению Сераписа, многие детали шествия напоминали о смерти.

Царице был известен символический смысл каждого изображения, каждой статуи, знамени, равно как музыки и пения. Даже разноцветные огни должны были напоминать о круговороте всего сущего, о вечном рождении и умирании. Заключительная картина, изображавшая соединение царской души с сущностью божества, апофеоз души властителя, производила сильное впечатление. Внезапно целое море света залило процессию, озарив громаду дворца, гавань с её кораблями и мачтами, берег с храмами, пилонами, обелисками и великолепными постройками. И в то же время все хоры соединились под аккомпанемент барабанов, цимбал и лютней в один общий гимн, звуки которого разносились далеко, к

усеянному звёздами небу и безбрежному морю по ту сторону Фароса.

Эти обряды напоминали о смерти и следующем за ней воскресении, о поражении, за которым последует победа с помощью великого Сераписа. Когда факелы удалились и пение затихло в ночной тиши, Клеопатра подняла голову, и ей показалось, что данный ею обет встретил одобрение со стороны бога, которого её предки перенесли в Александрию, чтобы в его лице соединилась сущность греческих и египетских божеств.

Её гробница будет выстроена и, когда всё свершится, примет останки царицы и её возлюбленного. По горьким отзывам, взглядам и тону Луцилия она поняла, что и тот, к кому её сердце до сих пор приковано неразрывными узами, и его друг возлагают на неё ответственность за Аксиум. Мир будет вторить им, но мир убедится и в том, что любовь, погубившая величайшего человека своего времени, заплатит высокую цену.

Сейчас она понимала, что угасший свет может вспыхнуть снова, но даже при самых счастливых обстоятельствах ей удастся только на минуту раздуть чуть тлеющие угли.

Уже нельзя ожидать победы, которая стоила бы борьбы. Но всё-таки не должно бросать оружие до конца, и Антонию не пристало гибнуть в мрачном и брюзгливом отчаянии, в роли нового Тимона, подобно зверю, попавшему в капкан. Она сумеет разжечь, хотя бы на мгновение, пламя его героической природы, померкшее, но не угасшее благодаря безумной любви и магической силе кубка, сковавшей его волю.

Прислушиваясь к гимну, прославлявшему воскресение Сераписа, она спрашивала себя, не следует ли ей послать в помощники к Антонию сына Цезаря.

Правда, она нашла юношу совсем не таким, как ожидала. Первый проблеск энергии, по-видимому, истощил его силы. И он ещё не оправился от раны. До сих пор Цезарион относился к известиям о поражении с полным равнодушием, которое могло быть объяснено и оправдано разве только его болезненным состоянием.

Его гофмейстер Родон попросил сегодня позволения отлучиться, тем более что у царевича не будет недостатка в обществе, так как он ожидает Антиллу и некоторых других сверстников.

Из окон приёмной комнаты «царя царей» лился яркий свет. Что если пойти к нему и объяснить, какое значение имеют последние события. О если бы удалось пробудить в нём отцовский дух! Может быть, его безумная выходка была предвестием пробудившейся деятельности мужа!

Пока ничто не оправдывало этих надежд, но материнское сердце легко поддаётся обману.

Хармиона сообщила о приходе раба Антония, но царица велела ему подождать и попросила подругу сопровождать её к сыну.

XIX

Когда Клеопатра в сопровождении Хармионы подошла к комнатам своего сына, до её слуха долетел сквозь открытую дверь громкий голос Антиллы. Услыхав своё имя, она сделала знак Хармионе, и обе остановились.

Разговор шёл о Барине.

Сын Антония рассказывал о том, что ему передавал Алексас. По словам сирийца, Клеопатра решила отправить молодую женщину в рудники или в ссылку, а Диона подвергнуть тяжкому наказанию; но обоим удалось бежать. Эфебы поступили предательски, вступившись за Диона. Антилл надеялся убедить отца, когда он оправится от своей жалкой меланхолии, взяться за преследование беглецов.

— Нетрудно будет уговорить его, — прибавил он хвастливо, — старик знает толк в хороших женщинах и не раз уж поглядывал на певицу. Если мы их поймем, тебе, царь царей, немного будет поживы: отец хоть сед, а всё ещё кружит головы женщинам, да и Барине, как мы сами знаем, нравятся только такие, у которых голова уже начала светиться. Я велел Диркетая разослать на поиски всех своих солдат, а он хитёр и ловок, как лисица.

— Если бы я не лежал здесь поневоле, как дохлый осел, — сказал Цезарион со вздохом, — я нашёл бы их. Она мерещится мне днём и ночью. Я отдал уже все свои деньги на их преследование. Вчера у меня был казначей Селевк. Мне не дают денег, а между тем их в казне достаточно. В дельте, на сирийской границе, царица зарыла миллионы. Хотели там выкопать бассейн, где могли бы укрыться корабли, или что-то в этом роде. Не знаю точно, нелепость какая-то! На эти деньги можно было бы нанять сотни сыщиков. Швырять попусту деньги можно, а дать их сыну — это другое дело. Но я знаю, у кого их достать! Мне нужны деньги даже ценой короны. На что мне прозвище «царя царей»? Точно в насмешку! Да и не нужна мне власть. К тому же престол у меня всё равно отнимут, прежде чем я успею занять его. Если мы покоримся, нам оставят жизнь и дадут что-нибудь в придачу. Я, со своей стороны, довольствовался бы именем, достаточной суммой денег и Бариной. Какое мне дело до Египта? Как сын Цезаря, я должен бы был владычествовать над Римом, но бессмертные знали, что делали, когда надоумили моего отца лишиться наследства. Чтобы управлять миром, нужно быть не таким сонливым. Я ведь всегда чувствую усталость, даже когда здоров. Надо оставить меня в покое! Твой отец, Антилл, сложил оружие и покорился судьбе.

— Положим! — с неудовольствием воскликнул Антилл. — Но подожди. Спящий лев проснётся, и когда он покажет зубы и когти...

— Тогда моя мать обратится в бегство, а твой отец за ней, — подхватил Цезарион с горькой и насмешливой улыбкой. — Всё потеряно! Но Рим оставляет жизнь побеждённым царям и царицам. И в триумфальном шествии не покажут квиритам[69] сына Цезаря. Для этого я слишком похож на отца. Родон говорит, что моё появление на форуме вызовет восстание. А если уж дойдёт до этого, то я всё равно не буду украшать шествие Октавиана. Я не рождён для такого позора. Прежде чем позволить другому тащить за своей колесницей сына Цезаря, я, по добром римскому обычаю, десять, нет, сто раз успею расстаться с этой и без того не сладкой жизнью. Что может быть лучше крепкого сна, и кто нарушит или смутит мой покой, когда смерть угасит это существование. Но, вероятно, мне не придётся прибегать к такой крайней мере. Кроме этого позора, мне нечего бояться. Самые скромные условия меня удовлетворят. Я ведь «царь царей», соправитель великой Клеопатры, воспитан в послушании. Чем я должен был быть, и что я есть? Но

я не жалуюсь и не хочу никого обвинять. Мы не звали Октавиана, а раз он явился, пусть берёт, что хочет, лишь бы оставил жизнь матери, а меня, близнецов и маленького Александра, которых я искренне люблю, обеспечил, как я уже сказал. Озеро с рекой обязательно должно быть в имени. Частному человеку, Цезариону, проводящему время за удочкой и книгами, разрешат жениться на ком угодно. Чем ниже будет звание жены, тем охотнее согласится на мой брак римский властитель.

— Знаешь, Цезарион, — перебил Антилл, вытягиваясь на ложе, — если бы ты не был царём царей, я бы назвал тебя совершенно ничтожным парнем. Кому выпало на долю счастье быть сыном Цезаря, тот не должен так легко забывать об этом. Твоя болтовня просто злит меня. И надо же мне было свести тебя с этой певицей! Царю царей надо думать о другом. К тому же Барина и знать тебя не хочет! Она слишком ясно показала это. Впрочем, позволь тебе сказать вот что: если Диркетаю удастся изловить красотку, которая сводит тебя с ума, так уж поверь мне, ты не заманишь её в твоё несчастное имение варить рыбу, которую ты собираешься удить. Все твои труды пропадут даром, если мой отец поманит её пальцем. Он видел её всего два раза и не успел приняться за неё как следует, но она нравится ему, и если я напомню о ней, посмотрим, что из этого выйдет.

Клеопатра сделала знак Хармионе и, опустив голову, вернулась в свои комнаты. Только тут она прервала молчание, сказав:

— Подслушивание, конечно, недостойно царицы, но если бы всякому, кто подслушивает, приходилось слышать такие грустные для него вещи, то никто не стал бы останавливаться у замочных скважин и дверных щелей. Я должна собраться с мыслями, прежде чем приму Эроса. Да, вот что ещё. Надёжно ли убежище Барины?

— Я не знаю, но Архибий говорил, что вполне надёжно.

— Хорошо. Как ты сама слышала, её разыскивают. Я рада, что она не заманивала мальчика. До чего нас доводит ревность. Будь она на месте, что бы я ей сделала из-за Антония. Подумать только, что Алексас хотел, и без твоего вмешательства успел бы, отправить её в рудники. Вот как нужно остерегаться... Чего? Прежде всего своей собственной слабости! Этот день — день признаний. Благородная цель, но по пути к ней ноги будут истерзаны в кровь и сердце тоже. Да, Хармиона, бедное, слабое, обманутое сердце!

Клеопатра глубоко вздохнула, склонив голову над столом. Блестящая доска драгоценного дерева одна стоила целого имения, камни в кольцах и браслетах, украшавших руки царицы, — целого княжества. Она подумала об этом, но, охваченная гневом, готова была побросать все эти драгоценности в море или в огонь.

Она согласилась бы остаться нищей и питаться ячменным хлебом в традициях отвергающего показную роскошь Эпикура, лишь бы вдохнуть своему сыну стремления хотя бы легкомысленного повесы Антиллы. Такой беспомощности, такого ничтожества она при всех своих опасениях не ожидала от Цезариона. Но, вспоминая прошлое, она убедилась, что пожинает ею же самой посеянное. Она подавляла энергию мальчика, чтобы держать его в повиновении. Умела положить конец всякой попытке с его стороны расширить круг своей деятельности. Конечно, это делалось под разными благовидными предложениями. Пусть и её сын научится ценить мирное счастье, которым она наслаждалась в Канопском саду. К тому же опыт показал, что тот, кому предстоит повелевать, должен сначала привыкнуть повиноваться.

Но сегодня, в этот день просветления, у неё хватило мужества сознаться самой себе, что не эти соображения, а жгучее честолюбие побудило её воспитывать Цезариона таким образом. От неё не ускользнули его дарования. Но было приятно видеть в нём отсутствие желаний. Она не хотела будить мечтателя. Её радовало сознание, что этот сын, которого Антоний назначил своим соправителем после войны с парфянами, никогда не освободится от опеки матери. Благосостояние государства более

обеспечено под её твёрдой рукой, чем под властью неопытного мальчика. А сознание власти! Как оно льстило ей. Она хотела остаться царицей до конца жизни. Передать власть кому бы то ни было другому казалось ей невыносимым. Теперь Клеопатра убедилась, что сын и не помышляет о таких высоких целях. Сердце сжалось. Пословица: ты жнёшь, что посеял, — не давала ей покоя, и чем более она углублялась в свою прошлую жизнь, тем яснее видела плоды ею же посеянных семян. Но прежде чем явится жнец, нужно подумать о владельце. Горгию придётся поторопиться с постройкой, потому что конец не заставит себя ждать. Её сын, которого она стыдилась, только что указал ей, что нужно делать, если победитель поставит его в безвыходное положение. При всей слабости Цезариона, благородная отцовская кровь не позволяла ему перенести позора.

Было уже поздно, когда она велела позвать раба Антония. Но ночь не могла остановить её деятельности. Ей предстояло ещё заняться войском, флотом, укреплениями; продолжать переписку с союзниками, приобретать новых.

Наконец, явился Эрос, любимый раб Антония. Его добродушные глаза наполнились слезами при виде царицы. Печаль не могла исказить его круглого красивого лица, но выражение задорного веселья исчезло, и в белокурых волосах мелькала седина.

Сообщение Луцилия, что Клеопатра намерена снова сблизиться с его господином, было для Эроса как бы первым проблеском света после долгой тьмы. Он был убеждён, что перед могуществом царицы должно склониться всё. После Акциума, казалось, нечего было больше терять, но Клеопатра — полагал он — может всё возратить его господину. Он вспоминал, но только мимоходом, о счастливых годах, когда его круглое лицо полнело от привольной жизни, а зрение и слух, обоняние и вкус постоянно услаждались пирами, зрелищами, празднествами, каких уже не увидит больше свет. Если всё это вернётся — хотя бы и в более скромной форме, — тем лучше. Но главное и единственное, о чём он хлопотал в настоящую минуту, — вытащить Антония из его гибельного одиночества, рассеять его убийственную меланхолию.

Клеопатра заставила его прождать часа два, но он готов был хоть втрое дольше ловить мух в передней, лишь бы царица решила последовать его совету. Совет был достоин внимания. Никто бы не мог сказать, примет ли Антоний Клеопатру. Поэтому Эрос предложил ей послать Хармиону, и не одну, а с умной, опытной служанкой, которой сам император дал прозвище Эзопион. Антоний хорошо относился к Хармионе и никогда не пропускал её чернокожую служанку, без того чтобы не пошутить с ней. Может быть, ей удастся развеселить его, это было бы уже очень много, а об остальном позаботится Хармиона.

До сих пор Клеопатра слушала его молча, но тут заметила, что вряд ли бойкий язык рабыни рассеет грусть человека, поражённого таким тяжким несчастьем.

— Да простит мою откровенность твоё божественное величество, — возразил Эрос, — но я скажу, что нашему брату великие люди часто открывают многое, чего не откроют равным себе. Только перед величайшим и ничтожнейшим, перед божеством и рабом они являются в своём настоящем виде. Я головой ручаюсь, что грусть и ненависть к людям не так сильно овладели полководцем, как кажется. Всё это только маска, которую ему нравится надевать на себя. Помнишь, как охотно и весело играл он роль Диониса в лучшие дни? Теперь он скрывает своё истинное бодрое настроение под маской человеконенавистничества, потому что веселье кажется ему неподходящим в такое бедственное время. Часто он говорит такие вещи, от которых жутко становится, и, углубляясь в себя, предаётся мрачным размышлениям. Но это скоро проходит, когда мы остаёмся одни. Если я начинаю какую-нибудь весёлую историю, Антоний не заставляет меня молчать; из этого ты можешь заключить, что он не так уж подавлен отчаянием. Недавно я напомнил ему о рыбной ловле, когда твоё величество приказало водолазу нацепить солёную рыбу на его удочку. Он засмеялся и воскликнул, что «то были счастливые времена»! Благородная Хармиона напомнит ему о них, а Эзопион развеселит его какой-нибудь шуткой. Пусть мне обрежут уши и

нос, если они не убедят его оставить это проклятое воронье гнездо. Пусть они также напомнят ему о близнецах и маленьком Александре: у него всегда светлеет лицо, когда я начинаю говорить о них. С Луцилием и другими друзьями он до сих пор охотно толкует о своём проекте основать могущественное Восточное государство, столицей которого будет Александрия. Солдатская кровь не успокоилась. Ещё недавно я отточил для него персидскую саблю. Как Антоний взмахнул ею! Этот седой великан до сих пор стоит трёх юношей. Лишь бы ему снова очутиться с тобой, среди воинов и коней, — тогда всё пойдёт хорошо.

— Будем надеяться, — ласково отвечала царица и обещала последовать его совету.

Когда Ира, сменившая Хармиону, явилась к Клеопатре, чтобы помочь ей раздеться после утомительной и долгой работы, царица была грустна и задумчива. Только ложась в постель, она прервала молчание, сказав:

— Сегодня был тяжёлый день, Ира; но он доказал справедливость старинной, может быть, древнейшей поговорки: всякий жнёт, что посеял. Можно раздавить росток, когда он покажется из брошенного тобой семени, но никакая власть в мире не заставит семя развиваться вопреки законам природы. Я посеяла худые семена. Теперь наступило время жатвы. Но всё-таки мы можем собрать горсть добрых зёрен. Об этом и следует позаботиться, пока есть время.

Завтра утром я поговорю с Горгием. У тебя хороший вкус и много находчивости. Мы вместе рассмотрим план гробницы. Если я хорошо знаю мою Иру, она будет чаще, чем кто-либо, посещать могилу своей царицы.

Девушка вздрогнула и воскликнула, подняв руку:

— Твоя гробница не дожждётся моего посещения — твой конец станет и моим концом!

— Да сохранят боги твою молодость от такой участи! — возразила Клеопатра. — Мы ещё живы и можем бороться.

XX

Расставшись с Ирой, Клеопатра долго не могла уснуть. Воспоминания мучили её, возбуждая новые и новые мысли.

Она не изменила своего решения и, проснувшись утром, хотела немедленно приступить к его осуществлению. Теперь она была готова ко всему, что бы ни случилось.

Прежде чем приступить к работе, она ещё раз приняла римского посла. Тимаген пустил в ход всё своё красноречие и диалектику, остроумие и находчивость. Он снова обещал Клеопатре жизнь и свободу, а её детям престол, но не иначе, как при условии выдачи или смерти Антония. Клеопатра отказалась наотрез.

После ухода посла она просмотрела с Ирой планы гробницы, принесённые Горгием, но волнение мешало ей сосредоточиться, поэтому она велела архитектору зайти ещё раз, попозднее. Оставшись одна, она достала письма Цезаря и Антония. Как много остроумия и нежности было в них, каким огнём дышали письма могучего воина и трибуна, которого её нежная женская ручка направляла куда угодно.

Сердце её забилось при мысли о близком свидании. Хармиона с нубиянкой отправились к нему уже несколько часов назад, и царица с возрастающим нетерпением ожидала их возвращения. Она приглашала Антония, чтобы в последний раз попытать счастья общими силами. Что он придёт, в этом она не сомневалась. Лишь бы только удалось ещё раз пробудить в нём мужество! Люди, соединённые такими неразрывными узами, должны вместе погибнуть, если уж им не суждена победа.

Доложили о приходе Архибия.

Ей приятно было взглянуть на его верное лицо, пробуждавшее в её душе столько отрадных воспоминаний.

Ничего не утаив, она рассказала ему обо всём случившемся. Когда же она прибавила, что никогда, ни за что не осквернит себя изменой возлюбленному и супругу и умрёт достойной смертью, Архибий выпрямился, точно помолодевший, и взгляд его показал ей яснее слов, что она права в своём решении.

Он предупредил её просьбу взять на себя воспитание детей, сказав, что готов посвятить им все свои силы.

Мысль соединить Лохиаду с садом Дидима и предоставить сад детям встретила одобрение с его стороны. О намерении выстроить гробницу он уже знал от сестры.

— Будем надеяться, — заметил он, — что воспользоваться этим сооружением придётся много позднее.

Но она покачала головой и воскликнула:

— О если бы я умела читать в других лицах так же легко, как в твоём! Я знаю, что Архибий от души желает мне долгой жизни; но его мудрость равна его преданности; он понимает, что жизнь не всегда бывает счастьем. Он сам говорит в душе: «Этой царице и женщине, моей подруге, предстоят такие унижения, что она хорошо поступит, если воспользуется правом, которое бессмертные сохранили за людьми, — правом удалиться с житейской сцены, когда это окажется единственным достойным исходом. Пусть же она выстроит гробницу!» Так ли я читаю в старой, испытанной книге?

— В общем, да, — отвечал он серьёзно. — Но на страницах этой книги написано также, что великой царице и любящей матери лишь тогда можно будет предпринять это последнее странствие, из которого

нет возврата...

— Когда... — подхватила она, — когда позорный конец нависнет над её существованием, как туча саранчи над полем...

— И этот конец, — прибавил Архивий, — ты встретишь с истинно царским величием. По дороге сюда я встретил Хармиону. Ты послала её к твоему супругу. Конечно, он не оттолкнёт протянутой ему руки. Потомок Геркулеса обретёт свою прежнюю силу. Быть может, воспламенённый призывом и примером возлюбленной, он даже заставит враждебную судьбу уступить.

— Пусть это свершится, — твёрдо отвечала Клеопатра. — Но Антоний должен помочь мне воздвигнуть препятствие на пути этой силы, а его могучая рука способна нагромоздить утёсы.

— А если твой могучий дух направит его, тогда так и будет, госпожа.

— Тогда всё равно развязкой трагедии будет смерть. Разве мысль о спасении флота в Аравийском море не была смелой и многообещающей мыслью? Даже знатоки дела отнеслись к ней одобрительно; тем не менее она оказалась неисполнимой! Сама судьба вооружилась против нас. А зловещие предзнаменования до и после Акциума, а звёзды, звёзды! Всё предвещает близкую гибель, всё! Каждый час приносит известие о поражении того или другого полководца или властителя. Теперь я точно с башни обзираю поле, которое сама же засеяла. Всюду пустые колосья или сорные травы. А между тем... Ты знаешь мою жизнь, скажи, неужели Клеопатра бесполезно растрачивала свой ум и дарование, свою волю и трудолюбие?

— Нет, госпожа, тысячу раз нет!

— Тем не менее на всех деревьях, посаженных мной, плоды сохнут и гниют. Цезарион уже вянет, не успев расцвести, и я знаю, по чьей вине. Теперь ты берёшь на себя воспитание остальных детей. Подумай же о том, что довело меня до моего теперешнего состояния и как уберечь их корабль от блужданий и крушения.

— Я постараюсь воспитать их людьми, — серьёзно заявил Архивий, — и охранить их от стремления равняться с богами. Клеопатра эпикурейского сада, утешение мудрых и добродетельных, превратилась в «Новую Исиду», к которой ослеплённая и оглушённая толпа в восторге простирала руки. Близнецов Гелиоса и Селену, солнце и луну, мы постараемся переселить с неба на землю; пусть они будут людьми, греками. Я не оставляю их в эпикурейском саду, а пересажаю в другой, где воздух холоднее и здоровее. На воротах его будет написано не «Здесь высшее благо — веселье», а «Здесь школа, где закаляется характер». Тот, кто будет воспитан в этом саду, вынесет из него не стремление к счастью и довольству, а непоколебимую твёрдость в убеждениях. Твои дети, как и ты сама, родились на Востоке, который любит чудовищное, сверхъестественное, сверхчеловеческое. Если ты доверишь их мне, они научатся владеть собой. Серьёзное отношение к обязанностям, которое, однако, не исключает радостного веселья, будет их кормчим, а парусами — умеренность, благороднейшее преимущество греческого строя жизни.

— Понимаю, — отвечала Клеопатра, опустив голову. — Перечисляя то, что необходимо для блага детей, ты открываешь глаза матери на причины, приведшие её к гибели. Ты думаешь, что её корабль потерпел крушение потому, что ему не доставало такого кормчего и таких парусов. Может быть, ты прав. Я знаю, что ты давно расстался с учением Эпикура и стоиков и отыскиваешь свой путь, имея серьёзную цель перед собою. Жизненные бури закинули меня далеко от мирного сада, где мы стремились к чистейшему счастью. Теперь я вижу, какие опасности угрожают тому, кто видит высшее благо в безмятежном довольстве. Оно остаётся недостижимым среди житейской суеты и к тому же не заслуживает борьбы, так как есть более достойные цели. Но одно изречение Эпикура, которое запало в душу нам обоим, до сих пор не приводило нас к разочарованию. «Драгоценнейшее благо, — говорит он, — доставляемое мудростью,

есть сокровище дружбы».

С этими словами она протянула Архибию руку и, когда он с волнением прижал её к губам, прибавила:

— Ты знаешь, что я готовлюсь вступить в последний, отчаянный бой, — рука об руку с Антонием, если это будет угодно богам. Мне не придётся следить за тем, как ты будешь их воспитывать, но я хочу облегчить твою задачу. Когда дети будут спрашивать у тебя о своей матери, ты не должен говорить им, хотя это и справедливо: «Забыв о безмятежном довольстве, высшем благе Эпикура, которое казалось ей когда-то целью существования, она неудержимо стремилась к мимолётным наслаждениям, без меры расточала дары своего духа и народное достояние, и пала жертвой своих страстей». Нет, ты должен и можешь сказать им: «Сердце вашей матери было исполнено пылкой любви; она презирала низкое, стремилась к высокому и, побеждённая, предпочла смерть измене и позору».

Тут она смолкла, так как ей послышались чьи-то шаги, и затем воскликнула:

— Я жду, не дождусь. Быть может, Антоний не в силах сбросить ярмо гнетущего отчаяния. Вступить в последний бой без него было бы величайшим горем для меня, Архибий. Тебе, другу, видевшему, как в моей ещё детской груди вспыхнула любовь к этому человеку, тебе я могу признаться... Но что это такое?.. Восстание... Неужели народ возмутился? Не далее как вчера депутаты от духовенства, члены Мусейона, вожди уверяли меня в своей неизменной любви и преданности. Дион принадлежал к числу членов совета... Но я говорила им, что не стану преследовать его из-за Цезариона. Я не знаю, куда он укрылся со своей возлюбленной, да и не хочу знать. А может быть, новый налог и мой приказ воспользоваться сокровищами храма довели их до возмущения. Но что же делать? Деньги необходимы, чтобы встретить врага, постоять за народ, престол, родину. Или получено что-нибудь новое из Рима? Слышишь, шум приближается.

— Я узнаю, что там такое, — отвечал Архибий, направляясь к двери, но в эту минуту она распахнулась, и придворный провозгласил:

— Марк Антоний приближается к Лохиаде, а за ним следует половина Александрии!

— Император [\[70\]](#) возвращается! — радостно закричал начальник стражи, и в ту же минуту Ира вбежала в комнату и бросилась к своей госпоже:

— Он едет! Он там! Я знала, что он явится. Как они кричат и радуются! Пусть все мужчины выйдут отсюда. Желает ли ты, царица, встретить его на крыльце Береники?

— Близнецы, маленький Александр! — перебила Клеопатра задыхающимся голосом, бледная как полотно. — Одеть их в праздничное платье!

— Скорее к детям, Зоя! — воскликнула Ира, хлопнув в ладоши, и продолжала, обращаясь к царице: — Успокойся, госпожа, умоляю тебя, успокойся! У нас ещё довольно времени. Вот корона Исиды и всё остальное. Его раб Эрос прибежал, едва переводя дух. Он говорит, что полководец явится в виде нового Диониса. Конечно, он будет рад, если ты встретишь его, как новая Исида. Помоги мне, Гатор... Ты, Нефорис, скажи, чтоб свита была на месте. Вот жемчужные и бриллиантовые ожерелья. Осторожнее с платьем. Эта ткань нежна, как паутина, и если вы её порвёте... Нет, ты не должна колебаться. Мы все знаем, как приятно ему видеть свою богиню в полном блеске божественной пышности и красоты.

Клеопатра с раскрасневшимися щеками и бьющимся сердцем позволила надеть на себя великолепное платье, усеянное жемчугом и драгоценными камнями. Ей было бы приятнее, в её теперешнем настроении, встретить Антония в простом чёрном платье, которое она со времени возвращения в Александрию заменяла более нарядным убором только в самых торжественных случаях; но Антоний явился новым Дионисом, и Эрос знал, чем ему угодить.

Четыре пары проворных женских рук, к которым нередко присоединялись ловкие пальцы Иры, работали быстро, и вскоре она протянула царице зеркало, воскликнув с искренним восторгом:

— Посмотри на себя, Афродита, родившаяся из пены!

Затем Ира, забывшая на минуту свои любовные неудачи, ненависть и зависть и горячо желавшая счастливого исхода этой встречи, распахнула обе половинки двери, как будто перед изображением верховного божества, явившегося толпе молящихся.

Восторженные крики приветствовали царицу. В зале уже собралась многочисленная свита: разряженные женщины в мантиях с длинными шлейфами, жрицы, осматривавшие и пробовавшие сестры, мужчины и мальчики, строившиеся рядами, служители с пальмовыми ветвями. Распорядитель шествия дал знак, и процессия направилась по залам и переходам к широкому крыльцу, с которого можно было окинуть взглядом весь Брухейон и Царскую улицу.

Издали крики толпы казались угрожающими, но теперь среди оглушительного гула отчётливо слышались приветствия, выражение торжества, восторга, удивления, поклонения, какие только существовали в греческом и египетском языках.

С крыльца можно было разглядеть только середину и хвост шествия. Голова скрывалась за высокими деревьями сада Дидима. Оттуда процессия тянулась до самой Хомы.

Казалось, вся Александрия собралась приветствовать Антония. Большие и малые, старики и дети, здоровые и больные теснились в одну кучу с лошадьми, носилками, повозками и колесницами, увлекаемые точно потоком. Тут раздавался громкий крик из опрокинутых носилок, там вопил ребёнок, сбитый с ног, жалобно визжала собачонка, полураздавленная толпой. Но торжествующие крики заглушали даже звуки флейт и барабанов, цимбал и лютней.

Вот голова процессии миновала сад Дидима и открылась взорам стоявших на крыльце.

Впереди всех возвышался полководец в одежде Диониса. Сидя на золотом престоле, который несли на плечах двенадцать чёрных рабов, он приветствовал ликующую толпу. За ним следовали музыканты, далее два слона, между которыми колыхалось что-то прикрытое пурпурным ковром. Пройдя в высокие ворота, отделявшие дворец от Царской улицы, процессия остановилась перед крыльцом.

Между тем как конная и пешая стража, скифы, телохранители всевозможных национальностей удерживали напиравшую толпу, пуская в ход силу, когда увещания оказывались недостаточными, Антоний поднялся с трона, сделав знак индийским рабам — погонщикам слонов. Пурпурное покрывало было снято, и взорам изумлённых зрителей открылся букет, какого ещё не видывали глаза александрийцев. Он состоял из розовых кустарников, усыпанных цветами. Красные розы были собраны в середине, белые окружали их широкой светлой каймой. Более тысячи роз пошло на этот исполинский букет, достойный подносителя.

Он подошёл к крыльцу, возвышаясь над толпой чёрных и белых рабов и служителей.

Даже самым рослым на него приходилось смотреть снизу вверх. Этому исполинскому росту соответствовала ширина его могучих плеч. Длинная, шафранного цвета, расшитая золотом и пурпуром мантия усиливала впечатление, производимое его гигантским ростом. Обнажённые руки, с атлетическими мускулами, протягивал он к возлюбленной.

Когда-то его волосы были черны как вороново крыло; теперь он должен был прибегнуть к краске, чтобы скрыть седины. Венок из виноградных ветвей обвивал его лоб, спускаясь длинными кудрями, украшенными обильной листвой и тёмными гроздьями, на плечи и спину. Вместо леопардовой он накинул на плечи шкуру огромного индийского тигра, убитого им самим на арене. Замок у цепи, поддерживавшей шкуру, и пряжка золотого пояса, охватывавшего его талию, были усыпаны рубинами и смарагдами.

Широкие браслеты на руках, украшение на груди, даже обувь из красного сафьяна блистали драгоценными камнями.

Ослепительным, как его былое счастье, явилось это роскошное платье повергнутого героя, ещё вчера скрывавшегося от людских взоров. Печать благородства и величия лежала на его прекрасном лице. Хотя искусство и украсило его увядшие щёки поддельным румянцем, тяжесть пятидесятилетней погони за наслаждениями и испытания последних недель наложили на него свою печать: припухшие веки над огромными глазами, морщины, избородившие лоб и расходившиеся лучами от углов глаз к вискам.

А между тем никому бы не пришло в голову видеть в нём старого, дряхлеющего глупца. Великолепие и блеск казались свойственными его натуре, а наружность его дышала таким могуществом, что насмешливость и презрение исчезали при его появлении.

Каким чистосердечием, добротой и достоинством дышало лицо этого человека, какая трогательная нежность светилась в его больших, юношески ясных глазах, когда он смотрел на супругу, которую столько времени избегал! В каждой черте его лица сияла такая пламенная, беззаветная любовь! Выражение глубокой скорби, мелькавшее иногда у его губ, так быстро сменялось благодарностью и счастьем, что и враги были тронуты при виде его. Когда же, прижав руку к сердцу, он с низким поклоном подошёл к царице, как будто хотел броситься к её ногам, когда его мощная фигура действительно опустилась на колени и атлетические руки протянулись к ней, точно руки беспомощного ребёнка, тогда ей, посвятившей этому гиганту весь пыл своей страстной души, ей показалось, что всё враждебное, всё разделявшее их исчезло бесследно. Он увидел лучезарную улыбку, осветившую её всё ещё прекрасное лицо, услышал своё имя, произнесённое устами, подарившими ему столько счастья... И когда, опьянённый этим голосом, прозвучавшим в его ушах, как пение муз, потрясённый до глубины души избытком блаженства после недавнего отчаяния, он указал на гигантский букет, который трое рабов подносили царице, её охватило глубокое волнение.

Этот подарок был точной копией небольшого букета, поднесённого когда-то молодым начальником всадников Клеопатре у ворот эпикурейского сада, при её встрече с отцом. Он тоже был составлен из красных роз, окаймлённых белыми. Только вместо пальмовых ветвей, как этот, тот был обрамлен листьями папоротников. Как прекрасен был этот подарок, — символ великодушия, свойственного натуре Антония! Не волшебный кубок побудил его подойти к царице с таким напоминанием, а неувядающая, вечно юная любовь, переполнявшая его сердце.

Помолодевшая, точно перенесённая волшебством к счастливым дням расцветающей юности, она забыла своё царское достоинство, забыла о тысячах глаз, устремлённых на неё, и, повинувшись неудержимому порыву сердца, прильнула к его могучей груди. А он, с лучезарной улыбкой, свойственной только юности, охватил её своими мощными руками, целовал её губы и глаза и, точно желая показать своё счастье всему народу, высоко поднял на руках, а затем бережно опустил, как хрупкую драгоценность. Потом он обратился к детям, стоявшим подле матери, взял на руки сначала маленького Александра, затем близнецов и поцеловал их.

Старые стены Лохиады ещё не слышали такого оглушительного торжественного крика. Он гремел на всём протяжении от Лохиады до Хомы, отдаваясь далеко в гавани, на кораблях с их высокими мачтами, достигая прибрежного утёса, где укрывалась Барина со своим возлюбленным.

XXI

Владения вольноотпущенника Пирра состояли из небольшого скалистого острова, немногим больше сада Дидима, голого и бесплодного, на котором не было видно ни единого деревца или кустика. Остров назывался Змеиным, хотя обитатели его давно уже уничтожили опасных соседей, до сих пор заполнявших другие утёсы. Бесплодная почва не могла дать даже скудного урожая, пресную воду тоже приходилось доставлять с материка.

Эта пустыня, приют чаек и морских орлов, уже в течение недели служила убежищем гонимой молодой чете.

Они занимали две комнатки в доме Пирра. Днём солнце немилосердно раскаляло каменистую почву. Укрыться от палящих лучей можно было только дома или у подножия высокого утёса на южной стороне острова.

Здесь не было никаких строений, если не считать небольшого храма Посейдона, алтаря Исиды, крепкого, построенного александрийскими каменщиками дома вольноотпущенника и другого дома поменьше, где жили сыновья Пирра со своими семьями. На берегу был сооружён длинный плетень для развешивания сетей. Недалеко от дома находилось место стоянки кораблей, рыбацких барок и судов всякого рода. Дионик, младший, ещё неженатый сын Пирра, работал на верфи. Он строил суда и чинил повреждённые.

Его старшие братья с жёнами и детьми, шестнадцатилетняя Диона, несколько собак, кошек и кур составляли всё население острова.

В таком обществе приходилось жить новобрачным, привыкшим к шумной городской жизни. Но они скоро освоились с новой обстановкой, и никогда ещё жизнь не казалась им такой безмятежной и радостной.

В первые дни рана и лихорадочное состояние беспокоили Диона, но предсказание Пирра, что свежий морской воздух пойдёт ему на пользу, вскоре оправдалось.

Жена Пирра, Матушка, как её все величали, оказалась довольно искусным лекарем, её невестки и Диона — усердными и ловкими помощницами. Барина подружилась с ними. Насколько их мужья были молчаливы, настолько же они любили поболтать, да и Барине доставляло удовольствие говорить с хорошенькой, выросшей на острове и всем интересовавшейся Дионой.

Дион выздоровел, стал выходить из дома и, по-видимому, был совершенно доволен своей судьбой.

В первые дни, в бреду лихорадки, ему часто являлся образ покойной матери, она указывала на новобрачную, точно предостерегая его от неё. Выздоровев, он вспоминал об этих галлюцинациях и спрашивал себя, вынесет ли Барина скуку уединения на этом пустынном утёсе и не утратит ли она ясности души, которая так пленяла его. Не затоскует ли она в одиночестве, наконец, выдержит ли материальные неудобства и лишения?

Видя, что любовь заменила ей всё, чего она лишилась, он радовался, но не хотел успокаивать себя мыслью, что так будет и впредь. Надеяться на это казалось ему чрезмерной самоуверенностью. Но, видно, он недооценил свои достоинства и любовь Барины, так как с каждой неделей она становилась всё веселее и спокойней. Да и сам он разделял это настроение, так как никогда ещё не чувствовал себя таким беззаботным. Только невозможность принимать участие в политической жизни города да беспокойство о

своих имениях, хотя значительная часть его состояния была доверена надёжному человеку и должна была уцелеть даже в случае конфискации его имущества, тревожили его. Он делился с Бариной всеми своими мыслями и чувствами, не исключая и этих опасений, которые заставили и её заинтересоваться делами города и государства. Она охотно слушала его во время прогулок в лодке по морю или в долгие вечера за пряхей сетей — искусством, которому обучилась у Дионы.

Ей доставили из города лютню, и с каким наслаждением слушали её пение супруг и скромные обитатели острова!

Они получили также книги, и Дион охотно обсуждал прочитанное с Бариной. Уже через месяц он стал помогать мужчинам в рыбной ловле, а Дионику — в работе на верфи. Его мускулистые руки, развитые упражнениями в палестре, легко справлялись с работой.

В этой уединённой жизни, где ничто не мешало влюблённым, они каждый день открывали друг в друге новые сокровища, которые, быть может, остались бы незамеченными в городе. И вскоре возникло отрадное чувство духовного единства, которое при обычных условиях создаётся только годами совместной жизни, как прекраснейший плод союза, основанного на взаимной любви и уважении.

Бывали минуты, когда Барине очень хотелось повидаться с матерью и другими близкими людьми, но письма, приходившие время от времени, не давали ей впасть в тоску.

Благоразумие требовало, по возможности, ограничить сношения с городом. Поэтому письма вольноотпущеннику передавала Анукис, чёрная служанка Хармионы, только когда тот бывал на рынке.

Так проходили дни за днями, и в конце концов Дион мог сказать без всякого самообольщения, что Барина чувствовала себя счастливой в этой пустыне и что его общество вполне заменяет ей шумную и оживлённую жизнь в столице. Приходили письма от её матери, сестры, от Хармионы, от деда, от Архибия и Горгия, но никогда они не пробуждали в ней желания расстаться с этой отшельнической жизнью, напротив, каждое служило темой для разговоров, ещё сильнее укреплявших их связь.

На второй месяц после бегства было получено письмо Архибия, в котором сообщалось, что скоро им придётся подумать о возвращении, так как сириец Алексас оказался гнусным изменником. Он и не думал исполнять возложенное на него поручение привлечь на сторону Антония Ирода, а, отрёкшись от своего благодетеля, остался у иудейского царя. У него хватило наглости отправиться к самому Октавиану с целью продать ему тайны Антония, но тут он был схвачен и казнён в своём родном городе Лаодикее.

«Теперь, — продолжал Архибий, — Клеопатра и её супруг не обманываются более насчёт худшего врага Барины.

Его измена естественно подорвала доверие и к Филострату. Однако нужно ещё потерпеть, так как Цезарион вступил в корпорацию эфэбов, а Антилл недавно облачился в *toga virilis*^[71]. Теперь они могут многое предпринять по собственной инициативе, а Цезарион наверняка не отказался от надежды овладеть Бариной».

За себя Дион не боялся, но ради супруги не мог игнорировать предостережения друга. Это было неприятно, так как ему хотелось ввести возлюбленную в свой дом, кроме того, нужно было бывать на заседаниях совета в эти смутные дни. Он рискнул бы отправиться в город один, но Барина так убедительно просила его не рисковать безмятежным счастьем, которое они испытывали в уединении, что Дион не мог не уступить. К тому же письмо Хармионы, полученное через несколько дней, доказывало как нельзя лучше, что следует быть очень осторожными.

Даже на острове знали, что в Александрии наступило бешеное, необузданное веселье. Южный ветер доносил до них звуки музыки или крики ликующей толпы.

Дочь Пирра, Диона, часто звала всех на берег полюбоваться великолепными, украшенными со сказочной роскошью гондолами, с которых раздавались звуки лютни и песни. Лодки под узорными пурпурными парусами скользили по глади залива. Однажды обитатели острова даже смогли рассмотреть на роскошном судне, украшенном позолоченной резьбой, молодых рабынь с распущенными волосами, в лёгких одеждах цвета морской волны. Они склонились над лёгким рулём из сандалового дерева, изображая nereid[72]. Не раз ветер доносил до острова благоухания, а ночью корабли освещались волшебным светом разноцветных ламп и фонарей. Пассажиры, переодетые богами, богинями и героями, разыгрывали сцены из мифологии и истории. На палубе великолепного корабля царицы увенчанные гости на пурпурных ложах, обвитых гирляндами цветов, пировали, осушая золотые кубки.

Берег Брухейона был залит огнями. Гигантский купол Серапеума в Ракотиде, освещённый тысячами ламп, возвышался, точно усеянный звёздами небесный свод, опустившийся на землю, над плоскими кровлями города. Храмы и дворцы превращались в колоссальные канделябры, и ряды ламп тянулись светящимися гирляндами от мраморного храма Посейдона до дворца на Лохиаде.

Возвращаясь с рынка, Пирр или его сыновья рассказывали о праздниках, представлениях, играх, состязаниях, увеселительных поездках, в которых, по примеру двора, принимала участие вся Александрия. Для рыбаков настало хорошее время — весь их улов разбирали повара царицы и платили щедро.

В это-то время и пришло письмо Хармионы.

День рождения царицы, к удивлению Диона и Барины, прошёл без особенных торжеств; но рождение Антония, несколько дней спустя, было отпраздновано с великим блеском и шумом.

Два дня спустя Анукис передала Пирру упомянутое уже письмо Хармионы.

На вопрос нубянки, может ли она посетить изгнанников, Пирр отвечал отрицательно, так как, с тех пор как Октавиан находился в Азии, гавань кишела стражниками и шпионами, и малейшая неосторожность могла оказаться губительной.

Впрочем, письмо Хармионы ещё более, чем предостережения рыбака, обуздало нетерпение Диона.

Сначала шли хорошие известия о родных Барины; затем Хармиона писала, что дядя Диона, хранитель печати, — наверху блаженства. Вся его изобретательность пошла в ход. Каждый день приносил новые празднества, каждая ночь — роскошные пиры. Зрелища, поездки, охоты чередовались без конца. В театрах, в Одеоне, на ипподроме разыгрывались великолепные представления, состязания, битвы гладиаторов, травли зверей. В прежние времена Дион участвовал в развлечениях кружка «умеющих жить», близкого ко двору. Теперь этот кружок снова возродился, но Антоний называл его членов «друзьями смерти». Это название было довольно верным.

Все понимали, что конец близок, и подражали тому фараону, который уличил во лжи оракула, предсказавшего ему шесть лет жизни, так как сделал из них двенадцать, превратив ночи в дни.

Свидание царицы с супругом, о котором Хармиона сообщала раньше, привело к пышным празднествам.

«В то время, — писала она, — мы надеялись, что всё пойдёт по-новому, что Марк Антоний, возрождённый вновь пробудившейся любовью, вспомнит старые подвиги, но наши надежды были обмануты. Клеопатра не успокоилась и не отказалась от борьбы, но он своим гигантским розовым букетом только показал, что фантазия прожигателя жизни разыгралась сильнее, чем когда-либо. «Друзья смерти» далеко превзошли «умевших жить».

Антоний стоит во главе их, и ему, чьё исполинское тело противостоит самым неслыханным излишествами, удаётся заглушить в себе мысль о близкой гибели. После бурной ночи его глаза сверкают так

же ярко, голос так же юношески звучен, как перед началом пира. Царица остаётся его богиней, и кто мог бы равнодушно видеть, как гигант повинует своей нежной властительнице и выдумывает самые неслыханные развлечения, чтобы только сорвать улыбку с её губ.

Посторонний человек, увидев царицу в его обществе, счёл бы её счастливой.

В сказочном блеске праздничного убора, окружённая общим поклонением, она напоминает мне о прежних счастливых днях, но когда мы остаёмся одни, редко случается мне видеть улыбку на её лице.

Она хлопчет о гробнице, которая быстро возводится Горгием, и обсуждает с ним средства сделать её неприступной.

Всё, каждый рисунок на саркофагах, делается с её одобрения.

В то же время роют погреба и кельи для её сокровищ, а под ними ходы для смолы и соломы, чтобы, в случае крайности, можно было всё сжечь. Золото и серебро, жемчуг и драгоценные камни, эбеновое дерево и слоновую кость, драгоценные пряности, — словом, все свои сокровища решила она предать огню.

Один жемчуг стоит нескольких царств. Кто же решится осудить её, если она предпочитает уничтожить эти сокровища, а не отдавать врагу.

Сад, в котором ты провела своё детство, Барина, отведён теперь близнецам и маленькому Александру. Тут они играют, копают, строят под руководством моего брата. К ним приходит отдыхать царица, когда её слишком утомит погоня за наслаждениями, потерявшая всякую прелесть в её глазах.

Когда, третьего дня, Антоний в виде нового Диониса, увенчанный плющом, на золотой колеснице, запряжённой парой ручных львов, появился на Царской улице, чтобы пригласить новую Исиду отправиться с ним в серебряном цветке лотоса на четвёрке белоснежных лошадей, она заметила, указывая на блестящую процессию: «От мирного приюта философии, где я начала свою жизнь и чувствовала себя так отраднo, к гробнице, где ничто не возмутит моего покоя, ведёт Царская улица, полная оглушительного шума и суетного блеска. Это моя улица».

О дитя, когда-то было иначе! Она любила Марка Антония со всем пылом страсти. Первый среди героев, он преклонялся перед её могуществом. Пробудившаяся страсть, жгучее честолюбие, обуревавшее её душу ещё в детстве, нашли полное удовлетворение, и мир с удивлением взирал на смертную женщину, Клеопатру, которая сумела превратить жалкую земную жизнь в праздник богов для себя и для своего возлюбленного. И возлюбленный не остался неблагодарным; он принёс к ногам «царицы Востока» себя самого, могущество Рима и властителей двух частей мира.

Как во сне мелькнули для них эти годы. Женитьба на Октавии была первым пробуждением. Это оказалось печальным и мучительным. Но Антоний изменил Клеопатре не ради женщины, а ради пошатнувшегося могущества и власти. Грёзы и сны возобновились. Затем наступил день Ациума, отрезвление, пробуждение, падение, отчаяние. Надо было удержать его от окончательного падения, пробудить могущество и силу героя, увлечь его в борьбу за общее дело.

Но он в ней привык видеть царицу веселья. Он желал одного: осушить с ней последний кубок наслаждения, пока ещё есть время. Она видит это и скорбит. Чего только она не делала, чтобы возродить в нём прежнюю энергию, но как редко удаётся ей побудить его к серьёзной деятельности.

Она укрепляет устье Нила и границы государства, строит один за другим корабли, ведёт переговоры, но не в силах отказаться, когда он призывает её к новым наслаждениям.

Хотя Антоний утратил то, что когда-то составляло его величие и силу, она всё же не может отрешиться от прежней любви и остаётся при нём, потому что... Я не знаю почему. Любящая женщина не может

руководиться правилами и доводами рассудка. К тому же он отец её детей, и в играх с ними к нему возвращается прежнее заразительное веселье.

С тех пор как Архивий взялся за их воспитание, Эвфронион получил новое назначение. Он знает Рим, Октавиана и его приближённых, потому его отправили послом. Ему поручено уговорить победителя передать власть над Египтом мальчикам — Антонию Гелиосу и Александру; но тот не удостоил его ответом, даже не принял.

Клеопатре он по-прежнему обещает жизнь и престол, если только она исполнит уже ранее поставленное условие: умертвить или выдать Марка Антония.

Но её благородное сердце не способно на такую гнусную измену. Тем не менее Октавиан сделал всё, чтобы побудить её к этому. Для переговоров он сумел найти подходящего человека: ловкого, богато одарённого физически и духовно. Он из кожи лез вон, стараясь восстановить царицу против её супруга. Он дошёл даже до того, что стал уверять, будто племянник Юлия Цезаря давно уже равнодушен к царице. Но она оценила эти уверения по достоинству, и всё его красноречие пропало даром.

Антоний сначала не обращал внимания на этого посла. Но когда узнал, к каким средствам прибегает тот, разумеется, не смог остаться равнодушным. Он поступил, как мог поступить только Антоний: велел высечь посла могущественного победителя, отправил его обратно в Рим и написал Октавиану длинное письмо, в котором жаловался на дерзость и наглость его подчинённого, прибавляя, что несчастья сделали его раздражительным; но если этот способ переговоров не понравится Гаю Юлию Цезарю^[73], то последний может поступить с вольноотпущенником Гиппархом, бывшим слугой Антония, так же, как Антоний поступил с Тирсом.

Как видите, мужество и дерзость ещё не покинули его.

Когда вспомнишь, какую энергию мог проявлять этот человек в минуты самой страшной опасности всего несколько лет назад, его нынешнее поведение покажется непонятным. Но мы слишком хорошо его знаем. Если он борется, то не ради победы или спасения, а для того чтобы умереть с честью. Если он веселится, то лишь потому, что этим думает умалить торжество победителя. В глазах общества тот ещё не побеждён, кто может так праздновать и пировать, как Антоний. Тем не менее величие его духа пошатнулось. Выдача убийцы Цезаря — его имя Турилл — доказывает это.

Это больше всего беспокоит меня, Барина, и заставляет просить вас, тебя и твоего мужа, отложить пока мысль о возвращении.

Антоний принял теперь в свою компанию сына. Антилл разделяет все его увеселения. Разумеется, он узнал об увлечении Цезариона и, со своей стороны, готов помогать бедному малому. Твоя живость и весёлость, говорит он, заставляет мечтателя очнуться. Да и сам он не прочь послушать твоё пение. Словом, тебя разыскивают.

Вы сами поймёте, что необходимо быть осторожными.

Для успокоения могу прибавить, что Клеопатра намерена отправить Цезариона с его гофмейстером Родоном на остров Филы, в Эфиопию.

Архивий узнал от Тимагена, что Октавиан считает опасным сына Цезаря из-за его поразительного сходства с отцом и решил предать его смерти. Антилл тоже уезжает. Он отправляется в Азию, чтобы попытаться умилостивить Октавиана и сделать ему новые предложения. Ведь Антилл, как вам известно, обручён с его дочерью Юлией.

Царица давно уже потеряла всякую надежду на возможность победы, но работает по-прежнему неутомимо, несмотря на все помехи со стороны «друзей смерти». Она одна из всего этого кружка серьёзно

готовится к близкому концу.

По мере того как постройка гробницы продвигается вперёд, она всё более и более задумывается над способом смерти. Ученица Эпикура, чувствительная до того, что не выносит малейшей боли, она ищет возможность перейти к вечному успокоению без страданий. Ира и молодые ученики Олимпа помогают ей в этом. Старик доставляет всевозможные яды, и они пробуют их на животных и даже над приговорёнными к смерти преступниками. Оказывается, что укусы змеи, изображение [\[74\]](#) которой на египетской короне знаменует власть царя над жизнью и смертью подданных, самый быстрый и безболезненный способ смерти.

Как ужасно всё это! Как грустно видеть, что женщина, окружённая такой любовью, мать таких прекрасных детей, среди опьяняющих развлечений сделала смерть своей спутницей. Каждый день она смотрит ей в лицо и тем не менее презрительно отталкивает единственное средство спасения. Но иначе она и не может поступить. Это возвышенно, это достойно её натуры, и я теперь предана ей более, чем когда-либо.

Вы тоже должны относиться к ней с участием. Клеопатра заслуживает его. Благородное сердце прощает врага, а она в сущности никогда не была вашим врагом.

Я написала длинное письмо; хотелось отвести душу и облегчить тебе горечь уединения. Потерпите ещё немного. Скоро сама судьба освободит вас. Ваши родственники, Архибий и Горгий, который теперь часто бывает у царицы, были бы рады навестить вас, но боятся вам навредить».

Вскоре обитатели острова узнали, что Цезарион с Родоном отправились по Нилу в Эфиопию, а Антилл уехал в Азию, к Октавиану. Последний хотя и принял его, но ничего не обещал.

Это известие принёс Горгий, явившийся к изгнанникам самолично в один мартовский вечер.

Редко какого-нибудь гостя встречали с таким радушием. Когда он вошёл в комнату, Барина плела сеть, рассказывая Дионе о странствованиях Одиссея. Дион трудился над головой Посейдона для нового корабля.

Как оживились лица, как весело зазвучали голоса. Посыпались вопросы, ответы, сообщения. Горгий должен был разделить ужин семьи. Свежие устрицы и лангусты гораздо больше понравились горожанину, чем изысканные блюда на пиршествах, в которых его приглашала участвовать царица.

Вообще новая и необычная обстановка так понравилась Горгию, что он заявил о своём намерении добиться изгнания и присоединиться к Диону и Барине, если только Пирр согласится его принять.

Когда они остались втроем за глиняным кувшином с вином, молодой чете показалось, что лучшее из того, что они оставили в городе, опять с ними.

Они не могли наговориться: Дион и Барина рассказывали о своей отшельнической жизни; Горгий — о царице, о мавзолее, который должен был вместе с тем служить сокровищницей. Он был выстроен прочно, как будто ему предстояло пережить века или выдержать серьёзную осаду. В центре постройки находился обширный зал, предназначенный для мраморных саркофагов. В настоящее время украшали резьбой его стены и потолок, устраивали ложа, канделябры и жертвенные столы. В погребках, вокруг зала, и в верхнем этаже, который ещё не был закончен, предполагалось устроить помещения для горючих материалов и трубы для свободного доступа воздуха.

Горгий сожалел, что не может показать друзьям этот зал, быть может, лучшее, роскошнейшее из его произведений. Самые дорогие материалы — коричневый порфир, тёмно-зелёный серпентин, тёмные сорта мрамора — пошли на эту постройку, а мозаика и медные двери были чудом александрийского искусства.

Тяжело ему было думать, что всё это предназначено к уничтожению. Но мысль о том, что его постройка скоро примет труп царицы, была ещё тягостнее.

Горгий не находил слов, чтобы выразить своё восхищение этой величайшей из женщин. Наконец Дион остановил его излишние, заметив, что Барине хочется узнать что-нибудь о своей матери, сестре и других родственниках.

Здесь всё обстояло благополучно. Хотя Горгий чуть не каждый день должен был из кожи вон лезть, убеждая старого философа остаться в его доме.

Клеопатра, рассказывал далее архитектор, купила у старика дом и сад, заплатив тройную цену. Теперь он богатый человек и поручил Горгию выстроить ему другой дом.

Когда Горгий упомянул о Елене, Дион переглянулся с Бариной, но архитектор заметил это и сказал:

— Я всё понимаю и признаюсь, что Елена кажется мне достойнейшей из девушек. Я вижу, что и она расположена ко мне. Но когда я стою перед царицей и слышу её голос, точно вихрь уносит от меня всякую мысль о Елене. А обманывать кого бы то ни было не в моём характере. Как могу я добиваться руки девушки, которую так высоко ценю, когда образ другой владычествует над моей душой!

Дион напомнил Горгию его же слова о том, что царицу можно любить только как богиню, и, не дожидаясь ответа, перевёл разговор на другие темы.

Было уже три часа ночи, когда Пирр явился за архитектором. В то время как быстроходнейшая из лодок рыбака отвозила Горгия в Александрию, он спрашивал себя, кто скорее удовольствуется скромной ролью хозяйки, девушка вроде Елены, прожившая до брака в уединении, или такая женщина, как Барина, попавшая в пустыню после шумной жизни в Александрии?

За этим весёлым вечером последовал тяжёлый и беспокойный день. Молодая чета должна была укрываться от сборщиков податей, отобравших у Пирра порядочный куш из его сбережений и новую барку, на которой он выходил в открытое море.

Вооружения требовали больших расходов, для флота нужны были суда, и это тяжело отзывалось на всех гражданах. Даже храмовые сокровища были изъяты, а между тем всякий видел, что деньги, стекавшиеся в казну и беспощадно выжимаемые у народа, шли не только на государственные нужды, но и на бешеную погоню двора за увеселениями.

Тем не менее восстания не последовало: такой любовью пользовалась царица, так дорожил народ самостоятельностью Египта и так велика была ненависть к римлянам.

Даже обитатели острова не могли не заметить, как усердно Клеопатра занималась приготовлениями к защите: повсюду на верфях работа шла днём и ночью; гавань наполнялась судами. Со Змеиного острова часто можно было любоваться военными учениями в открытом море.

Иногда появлялся и военный корабль Антония, который осматривал быстро возраставший флот, ободряя матросов пламенными речами. В этом отношении он до сих пор не имел соперников.

Двое сыновей Пирра были взяты во флот. Дион предлагал их отцу значительную сумму на выкуп, но их не отпустили.

Навещая родных по праздникам, Дионис и Дионик жаловались на учение, доводившее новобранцев до полного изнеможения; рассказывали о сыновьях граждан и крестьян, которых насильно забрали из родных семей и деревень. Во флоте бродило недовольство, и подстрекатели, рассказывавшие, как привольно живётся матросам Октавиана, находили много слушателей.

Пирр заклинал сыновей воздержаться от мятежных замыслов, а женщины, напротив, готовы были

одобрить всё, что могло бы освободить их от тяжёлой службы.

И Барина утратила прежнюю беззаботную весёлость. Теперь её глаза часто наполнялись слезами, она ходила понуриив голову, как будто её одолевали какие-то мучительные думы.

Быть может, апрельская жара и знойный ветер пустыни оказывали такое действие? Или в ней проснулась жажда развлечений, сожаление о прежней весёлой и шумной жизни? Не утомило ли её одиночество? Или любовь мужа уже не в силах вознаградить её за утраченные блага? Нет, этого не было. Никогда ещё она не смотрела на мужа с такой нежной преданностью, как теперь, когда им случалось остаться наедине. В такие минуты она была воплощением счастья и радости.

Дион, напротив, ни на минуту не утрачивал ясности и самообладания, как будто жизнь оборачивалась к нему самой лучшей стороной. А между тем он узнал, что на его имущество был наложен арест, и только благодаря влиянию Архибия и дяди оно не было отобрано в казну. Но теперь он ничего не боялся.

Величайшее счастье, какое бессмертные могут послать людям, ожидалось на острове. Женщины хлопотали над приготовлениями к важному событию.

Пирр привёз из города жертвенник и мраморную статую Илифии, богини родов, которую римляне называли Луциной. Эти священные предметы передала ему Анукус от имени Хармионы. При этом она завела речь о змеях, которые в изобилии водились на утёсах, соседних с островом Пирра, и спросила, можно ли поймать одну или две штуки. Пирр ответил, что это не представляет труда.

Статуя и жертвенник были поставлены вместе с другими священными предметами, и Барина, так же как другие женщины, частенько орошала его маслом.

Дион дал обет выстроить богине храмы на острове и в городе, если она будет милостива к его молодой жене.

В знойный июньский день рыбак привёз на остров Елену, внучку Дидима, и Хлориду, няньку Диона, верную помощницу его матери, присматривавшую за рабынями в их доме.

Барина встретила сестру с распостёртыми объятиями. Их мать не приехала только потому, что её исчезновение могло возбудить подозрение сыщиков. Действительно, они не дремали. Марк Антоний по-прежнему разыскивал певицу. Филострат сулил два таланта награды тому, кто задержит Диона, так что шпионы постоянно следили за дворцом изгнанника и домом Береники.

По-видимому, Елена не так легко переносила одиночество, как Барина. Она относилась к сестре с искренней нежностью, но частенько задумывалась, а по вечерам уходила на южный берег острова и смотрела на город, где остались её родные.

Прошло восемь дней со времени её приезда, но она не могла привыкнуть к одиночеству, напротив, её тоска, по-видимому, усилилась. Теперь она уходила на берег не только по вечерам, но и в знойный полдень. Она очень любила стариков.

Впрочем, предположение Диона, будто слёзы, появлявшиеся иногда на глазах Елены, вызваны грустью не о родных, а о некоем более молодом жителе города, по-видимому, имело основание, так как однажды перед домом послышались весёлые голоса, громкий, добродушный смех, и Дион, встрепенувшись, крикнул жене:

— Так смеяться может только Горгий, когда с ним приключится что-нибудь особенное.

С этими словами он поспешил к двери, но, несмотря на яркий лунный свет, не увидел за дверями никого, кроме Пирра, направлявшегося к берегу.

Но у Диона был чуткий слух. Вскоре ему послышались голоса из-за дома. Он тихонько направился

туда, заглянул за угол, остановился в изумлении и минуту спустя воскликнул:

— Милости просим, Горгий. Заходи позднее. Я вам не буду мешать.

Затем, вернувшись к жене, шепнул ей на ухо:

— Сейчас видел Елену; выплакивает свою тоску по дедушке и бабушке на груди Горгия, — хлопнул в ладоши и прибавил смеясь: — В этой пустыне совсем разучишься жить с людьми. Ну можно ли смущать влюблённую парочку при первом свидании? Впрочем, Горгий тоже застал нас в Александрии при подобных обстоятельствах, так что я только отплатил ему той же монетой.

Архитектор вошёл в комнату рука об руку со своей возлюбленной. Он страшно скучал по Елене и на восьмой день почувствовал, что жить без неё ему решительно невозможно. Теперь он мог добиваться её руки; тем более что отношение его к Клеопатре изменилось уже на третий день после отъезда Елены. В присутствии Клеопатры образ Елены манил его ещё сильнее, чем образ несравненной царицы в присутствии внучки Дидима в прежнее время. Такой тоски, какая одолевала его в последние дни, он никогда ещё не испытывал.

XXII

На этот раз Горгий недолго оставался на Змеином острове, так как постройка гробницы шла днём и ночью.

В нижнем этаже заканчивалось внутреннее убранство, верхний быстро подвигался к завершению. Но и в подвалах ещё оставалось много работы. Всё в этом здании должно было поражать взоры. Мозаисты, украшавшие пол в большом зале, превзошли самих себя. Барельефы на стенах были чудом искусства.

Октавиан уже приближался к Пелусию, и если бы даже Селевк, начальник гарнизона, сумел отстоять крепость, то всё же часть римского войска могла через несколько дней явиться в Александрию.

Впрочем, для приёма врагов готовилось сильное войско.

Флот превышал численностью римский, конница могла бы привести в восторг знатока. Антоний возлагал большие надежды на воинов, которые служили под его командой в лучшие дни, знали его щедрость и великодушие и вряд ли могли забыть о том славном времени, когда он весело и бодро делил с ними труды и лишения.

Елена осталась на острове, и её тоска по старикам значительно уменьшилась. Очевидно, ей начинала нравиться уединённая жизнь.

Напротив, молодого супруга томило беспокойство. Он скрывал это от женщин. Старый Пирр с трудом удерживал его от поездки в город, грозившей погубить все плоды его вынужденного одиночества и лишений. Уже не раз Дион собирался уехать со своей женой куда-нибудь в Сирию или Грецию, но важные соображения удерживали его от этого шага. Опаснее всего было то, что ни один корабль не выходил из гавани без тщательного осмотра.

Бодрость духа, всегда отличавшая Диона, уступила место лихорадочному беспокойству; а его верный старый друг тоже утратил душевное спокойствие, так как флот, в котором служили его сыновья, должен был скоро встретиться с флотом Октавиана.

Однажды он вернулся из города в глубоком волнении: Пелусий сдался.

Но никто не встретил старика на острове.

Что же случилось?

Уж не открыто ли убежище беглецов, и не увезли ли их вместе с семьёй Пирра в город, в тюрьму?

Бледный как смерть, но сохраняя присутствие духа, он направился к жилищу. Диону и его отцу он был обязан высшим благом — свободой, а также и всем своим достоянием. Но если его опасения не напрасны, он останется одиноким, жалким нищим. Что же, если даже придётся пожертвовать всем для того, кому он был всем обязан, Пирр сумеет покориться судьбе.

Было ещё светло.

Никто не вышел ему навстречу; только огромный сторожевой пёс Аргус бросился к хозяину с весёлым лаем.

Пирр уже хотел взяться за ручку двери, когда она распахнулась настежь.

Дион увидел старика и, весёлый, счастливый, упоенный радостью, ниспосланной ему в этот день, кинулся на шею своему другу, восклицая:

— Мальчик, и какой чудесный мальчик! Мы назовём его Пирром.

Светлые слёзы покатались по щекам и седой бороде рыбака. Жена подошла к нему, приложив палец к губам, и он шепнул ей на ухо:

— Когда я привёз их, ты опасалась, что горожане навлекут на нас гибель... но ты всё-таки приняла их... и... его назовут Пирром... Чем заслужил я, маленький человек, такую награду!

За этим радостным днём последовали и другие, полные веселья, не омрачённые никакими тревогами. Елена постоянно проявляла внимание и заботу о малыше, а старушка Хлорида и жена рыбака помогали молодой женщине своим опытом.

Все согласились, что ещё не бывало такой милой матери, как Барина, и такого чудесного ребёнка, как маленький Пирр. Но Диона ничто не могло удержать теперь на острове.

Тысячи обстоятельств, казавшихся до сих пор незначительными, теперь приобрели огромный смысл в его глазах и требовали его личного вмешательства. Он был отцом, и всякая небрежность в делах могла дурно отразиться на его ребёнке.

Загоревший, с длинными кудрями и бородой, с огрубевшими от работы на верфи руками, в простом рыбацком платье, он стал почти неузнаваем. Никто бы не признал прежнего изящного франта в этом моряке.

Конечно, предприятие было небезопасно, но необходимость увидеться с матерью Барины, с её дедом и бабкой, с Горгием заставляла его рискнуть, и однажды вечером, в последний день июля, он отправился в город, не сказав об этом Барине, которая теперь не покидала комнаты.

Ему было известно, что Октавиан расположился на восток от города, у ипподрома. Даже со Змеинового острова видны были палатки римлян на белых холмах. В день отъезда Диона Пирр привёз известие, что Антоний со своими всадниками разбил конницу Октавиана. На этот раз известие о победе грозило Диону серьёзной опасностью, так как дворец в Лохиаде был ярко освещён и набережная кишела народом. Толковали о победе, рассказывали, что к Марку Антонию вернулась его прежняя доблесть, что он бился, как герой.

Многие из тех, кто проклинал его вчера, сегодня присоединили свои голоса к приветствиям в честь нового Диониса.

В доме Горгия поздний гость застал только стариков. Они уже знали о счастье внучки. Обрадовавшись Диону, они хотели немедленно послать за своим другом и будущим сыном Горгием, который был в собрании эфебов. Но Дион решил отправиться туда сам.

Впрочем, он не сразу расстался со стариками, так как хотел повидаться с Береникой и нубийкой Анукис. Они со времени рождения малыша каждый день заходили к философу, первая для того, чтобы узнать новости насчёт дочери и внука, вторая — чтобы взять письма, которые она передавала на рынке Пирру.

Сначала пришла Анукис. Она радостно поздоровалась с Дионом, и хотя ей очень хотелось расспросить его о молодой матери, она подавила это желание и поспешила к Хармионе сообщить ей о прибытии неожиданного гостя.

Береника явилась на этот раз в самом тревожном настроении.

Её брат Арий со своими сыновьями вынужден был укрыться; им угрожала серьёзная опасность. До сих пор Антоний благодушно относился к отношениям Ария с Октавианом; но теперь, когда последний расположился под самым городом, дом философа, который в детские годы Октавиана был его

наставником и руководителем, а позднее другом, был по приказанию Мардиона занят скифской стражей. Самому Арию и его сыновьям было запрещено оставаться в городе, так что он с большим риском укрылся ночью в доме своего друга.

Напуганная женщина опасалась самых трагических последствий для своего брата в случае победы Антония, что, впрочем, не мешало ей от души желать успеха царице. Она, ожидавшая всегда несчастья, верила в возможность победы, так как смелый военачальник, по-видимому, совершенно оправился после поражения при Акциуме. Так же неустрашимо, как в прежние времена, вёл он своих всадников на неприятельские ряды; так же легко размахивал огромным мечом, которым двадцать пять лет назад уложил Архелая недалеко от места нынешнего сражения. В своём золотом вооружении, в шлеме, прикрывавшем его львиную гриву, он действительно походил на своего предка Геркулеса, что признала и Хармиона, явившаяся вскоре после Береники. Она отпросилась у Клеопатры, чтобы расспросить Диона о молодой матери и ребёнке, который был дорог ей, как первый внук человека, чья любовь, хотя и отвергнутая Хармионой, оставалась отрядным воспоминанием в её жизни.

Дион нашёл, что она сильно изменилась. Волосы сплошь поседели, щёки впали, складки около рта придали её лицу скорбное выражение, сменившее прежнюю приветливую ясность. К тому же она, по-видимому, недавно плакала. И в самом деле, ей пришлось пережить печальные минуты.

Победа Антония праздновалась с великой помпой.

Он сам председательствовал на пиру, увенчанный по обыкновению пышной листвой и великолепными цветами. Рядом с ним сидела Клеопатра в светло-голубом платье, украшенном цветами лотоса и осыпанном жемчугами и сапфирами, как и маленькая корона на её голове. Хармиона уверяла, что она ещё никогда не была так красива. Но — об этом она умолчала — румянец на увядающих щеках Клеопатры был теперь искусственным.

Их встреча с Антонием после битвы, когда он, ещё в полном вооружении, прижал её к сердцу так пламенно, точно снова завоевал свою прежнюю любовь, была поистине трогательным зрелищем. Лицо царицы тоже сияло счастьем. Когда представили всадника, особенно отличившегося в сражении, она наградила его шлемом и панцирем из чистого золота.

Но ещё до начала пиршества ей пришлось убедиться, что конец действительно наступает. Всадник, которого она так щедро одарила, спустя несколько часов перебежал к римлянам. Антоний послал Октавиану вызов, но тот отвечал, что его сопернику и без того не избежать смерти.

Это был ответ хладнокровного, уверенного в победе врага. Не сбылись и надежды на старых, служивших когда-то под знамёнами Антония солдат, которые, как думали при дворе, должны были оставить нового вождя и перейти к своему прежнему полководцу. Все попытки в этом направлении кончились неудачей. Мало того, постоянно приходили известия, что воины Антония поодиночке или целыми отрядами переходят на сторону врага. Октавиан, уверенный в успехе, не придавал никакого значения попыткам Марка Антония привлечь солдат на свою сторону щедрыми обещаниями.

Клеопатра видела в победе своего возлюбленного только последнюю вспышку угасающего огня. Но пока он ещё не угас, она хотела следовать за его светом. И сегодня она участвовала в празднике победителя. На этот раз пиршество отличалось от прежних. Оно началось слезами и напомнило Клеопатре слова Антония, сравнившего её с пиром накануне сражения.

Виночерпии приблизились к гостям с золотыми кубками, когда Антоний обратился к ним со словами:

— Наливайте усерднее, завтра, быть может, вы будете служить другому господину. — Тут он задумался и пробормотал: — Да, я уже превратился в труп, в жалкое ничто!

Громкие всхлипывания служителей были ответом на эти слова, но он ласково обратился к ним, обещая не брать с собой в сражение, в котором ищет не победы, а почётной смерти.

Глаза царицы тоже наполнились слезами. Этот человек, не знавший удержу в своих страстях, возбудил лютую вражду; зато немногим выпала в жизни такая пламенная любовь. Довольно было взглянуть на его героический облик, подумать о том времени, когда даже враги признавали, что величие его росло с опасностью и что никто не умел так, как он, воодушевлять людей надеждой на лучшие времена среди самых ужасных лишений; довольно было прислушаться к звуку его мощного голоса, который, исходя из сердца, покорял сердца, вспомнить о его безграничном великодушии, чтобы понять, почему так много искренних слёз пролилось на этом пире.

Но грустное настроение скоро рассеялось.

— Полно унывать! — воскликнул Антоний. — Ведь здесь нет скелета [75]. Да мы и без него знаем, что веселью скоро конец! Весёлую песню, Ксуф! А ты, Метродор, начинай танцы! Первый кубок в честь прекраснейшей, лучшей, мудрейшей и любимой, как никто из женщин!

С этими словами он поднял кубок, флейтист Ксуф сделал знак хору, а танцмейстер Метродор танцовщикам в лёгких, прозрачных шёлковых одеждах.

Друзья смерти снова сделались друзьями веселья. В это время нубиянка сообщила Хармионе о приезде Диона.

Когда она поспешила в свои комнаты, чтобы переодеться, и увидела Иру, которая тоже оставила пиршество, то решила условиться с ней насчёт службы при царице. Но племянница не заметила её. Судорожно всхлипывая, она бросилась ничком на ложе и дала полный исход отчаянию, потрясавшему её страстную натуру. Хармиона окликнула её и со слезами протянула ей руки. В первый раз со времени Акциума Ира прижалась к её груди, и они долго сидели обнявшись, пока на восклицание Хармионы: «С ней и за неё до гроба!» не прозвучал, как эхо, ответ: «До гроба!»

Эти слова уже не в первый раз повторяла про себя подруга детства царственной женщины, которая теперь с улыбкой на прекрасном лице и кровоточащей раной в сердце принимала участие в последнем безумной пире. Сколько раз в бессонные ночи Хармиона спрашивала себя: «Разве твоя судьба не связана с её судьбой? Что даст тебе жизнь без неё?»

Теперь те же слова прозвучали из уст другой женщины. И Хармиона ещё раз повторила, обращаясь к Ире:

— Да, вместе с ней до гроба. Что бы ни последовало за смертью, сердце и руки Хармионы будут всегда к услугам Клеопатры.

— Так же как любовь и служба Иры, — последовал ответ. С этими словами они расстались. Волнение, испытанное Хармионой, ещё отражалось на её лице, когда она явилась в дом Горгия.

Прощаясь с друзьями, она от души пожала руку Диону и сообщила ему, что Архибий увёз царских детей в своё имение Ирению.

— Редко приходилось мне видеть сцену более тяжёлую, чем прощание царицы с детьми. Что предстоит этим дорогим существам, достойным лучшей участи? Моё последнее и единственное желание убедиться, что близнецам и маленькому Александру не угрожают гибель и горе, и увидеть твоего ребёнка на руках Барины.

Во дворце Хармионе пришлось подождать возвращения Клеопатры с пира. Она со страхом думала о настроении царицы. В последнее время Клеопатра постоянно возвращалась взволнованная до слёз. Как же подействует на неё это последнее пиршество, так печально начавшееся и продолжавшееся с таким

насильственным весельем?

Наконец, во втором часу ночи явилась царица.

Хармиона не верила своим глазам. Лицо Клеопатры сияло, и, когда подруга сняла корону с её головы, она воскликнула:

— Зачем ты ушла так рано? Может быть, это был наш последний пир, но лучшего я не запомню. Мы точно вернулись к расцвету нашей любви. Марк Антоний тронул бы каменное сердце, — так чудесно смелость сочеталась у него с грустной нежностью, против которой не устоит никакая женщина. Часы казались мгновениями. Мы снова были молоды, снова одни.

Здесь, на Лохиаде, сегодняшней ночью мы перенеслись в другое время, в другие места. Пение, музыка, танцы — всё исчезло для нас. Мы бродили рука об руку в заколдованном мире, и перед нами развёртывалось сказочное великолепие, ослепительный блеск и счастье в царстве блаженных, мечта моей юности и лучшая часть жизни царицы Египта.

Она началась у ворот эпикурейского сада, продолжалась на Кидне. Я снова видела себя на раззолоченном корабле, обвитом гирляндами цветов, на пурпурном ложе, осыпанном розами. Лёгкий ветерок надувал шёлковые паруса; вокруг меня девушки пели звонкими голосами и играли на цитрах, и зефир далеко разносил благоухание, далеко на берег, к нему, как первую весть о блаженстве, которое он сам считал доступным только для бессмертных. Его сердце, его чувства, его ум наконец — он сам признался мне — стремились слиться с моими. Нас соединили узы, которых ничто не могло разъединить. Он, властитель мира, был побеждён, и для него было счастьем предупреждать желания победительницы, так как он чувствовал, что и она, перед которой он преклонялся, его покорная рабыня. И всё это без всяких волшебных кубков. Я в первый раз свободно вздохнула сегодня, точно избавившись от зловещего призрака, который давил меня, хотя огонь давно уничтожил его. Не волшебство, а дары, телесные и духовные, которыми бессмертные наделили побеждённую победительницу Клеопатру, поработили его мужественное сердце.

Из Кидна мы перенеслись сюда, к блаженным дням, проведённым в стенах родной Александрии. Это лучезарное время воскресло в наших воспоминаниях. Всё, что мы чувствовали, когда переодетые бродили в шумной толпе, или на олимпийских играх, когда восторженные крики народа окрыляли нам сердца, или в уединённых покоях, забываясь в блаженстве, или с детьми, доставившими нам счастье, — всё это снова прошло перед нами. Всё мрачное, скорбное точно испарилось, и детские грёзы, волшебная сказка, созданная воображением, стала действительностью, — действительностью, какой была моя прежняя жизнь.

И если завтра придёт смерть, могу ли я сказать, Хармиона, что она пришла слишком рано, не дав мне насладиться лучшими дарами жизни? Нет, нет и нет! Кто может сказать себе, что прекраснейшие грёзы детства сбылись и воплотились в его жизни, тот счастлив, хотя бы он стоял на краю могилы.

Стремление быть первой и величайшей из женщин своего времени, воспалявшее сердце ребёнка, исполнилось. Жажда любви, обуревавшая меня ещё в то время, была утолена, когда я стала любящей женщиной, матерью, царицей, к тому же ещё дружба наградила меня своими лучшими дарами; судьба послала мне таких спутников жизни, как твой брат Архивий, как мои Хармиона и Ира.

Пусть же будет, чему быть суждено. Сегодня вечером я убедилась, что жизнь дала мне всё, что обещала. Но и другие должны помянуть добром царицу, затмившую всех своим блеском, и женщину, сумевшую возбудить такую пламенную любовь. Я позабочусь об этом, гробница, выстроенная Горгием, станет между Клеопатрой, ещё сегодня носившей эту корону, и грозящим ей разочарованием и позором.

Теперь я лягу спать. Пусть пробуждение принесёт мне гибель, горе и смерть, я всё-таки не стану

жаловаться на судьбу. Только одного она ещё не дала мне: безболезненного покоя, который я считала в детстве высшим благом; но теперь и он готов для Клеопатры. Царство смерти, которое, как говорят египтяне, любит безмолвие, открывает передо мной свои врата. За его порогом начнётся глубочайший покой, и кто же знает, где и когда он кончится? Наши духовные очи не в силах проникнуть за пределы вечности, — да она же и беспредельна.

С этими словами царица направилась в спальню в сопровождении Хармионы.

Дверь в комнату детей была отворена. Какая-то непреодолимая сила заставила царицу заглянуть в тёмный опустевший зал.

Дрожь пробежала по её телу. Она взяла светильник у одной из служанок, следовавших за ней, и подошла к постели маленького Александра. Постель была пуста, как и остальные. Голова царицы поникла на грудь; оживление её исчезло, и как тёмная ночь следует за пышным закатом, так и последняя вспышка мужества Клеопатры уступила место горькому, гнетущему унынию. Она опустилась на колени подле ложа и долго стояла так, закрыв лицо руками и беззвучно рыдая. Начинало уже светать, когда Хармиона уговорила её лечь в постель. Медленно поднявшись, Клеопатра отёрла глаза и сказала:

— Моя истекшая жизнь казалась мне великолепным садом. Но теперь, когда я оглянулась, — сколько змей протянули ко мне свои плоские головы, сверкая глазами и разевая пасти. Кто же отстранил цветы, скрывавшие их? Совесть, Хармиона, совесть! Здесь, в этом приюте невинности и чистоты, всякое пятно бросается в глаза. Здесь... О Хармиона!.. Что если бы дети были здесь!.. Быть может, я бы решилась... Но нет, нет! Хорошо, что они уехали. Я должна быть сильной, а их кроткая прелесть подорвала бы мои силы. Но уже светает. Помоги мне одеться. Я скорее могла бы уснуть в разрушающемся доме, чем с такой бурей в сердце.

Пока она переодевалась в тёмное платье, в Царской гавани раздался звук трубы и сигналы во флоте и сухопутном войске.

Эти воинственные звуки вливали бодрость в сердце.

Только раз Клеопатре случилось видеть, как неожиданное вдруг сбывалось, невозможное становилось возможным. Да разве не была чудом победа Октавиана при Акциуме? Что, если судьба сменит гнев на милость? Если Антоний и завтра будет так же геройски биться, как сегодня?

Клеопатра не хотела видеть его перед сражением, чтобы не отвлечь его внимания от задачи, которую ему предстояло разрешить. Но когда он явился перед воинами на великолепном варварийском жеребце, в полном вооружении, подобный богу войны, и приветствовал их широким дружеским жестом, которым так часто воодушевлял легионы в прежнее время, она сделала над собой усилие, чтобы не позвать его.

Клеопатра удержалась и, когда его пурпурный плащ исчез вдали, снова поникла головой. Не так приветствовали его воины в старые годы, когда он являлся перед ними. Их холодный ответ на его сердечное, дружеское приветствие сулил мало доброго.

XXIII

Дион тоже присутствовал при выступлении войск. Горгий, которого он застал на собрании эфебов, взялся проводить его, и, так же как Клеопатра, они видели дурное предзнаменование в сдержанности солдат.

Архитектор представил Диона юношам, как дух одного умершего, который вскоре должен был улетать прочь в образе мухи. Он мог решиться на эту шутку, так как знал, что в кружке эфебов не было предателя.

Собрание приветствовало Диона, своего бывшего главу, как любимого, воскресшего из мёртвых брата; ему же доставило большое удовольствие вспомнить старину и принять участие в прениях.

Антилл, который, впрочем, ушёл до прихода Диона, передал молодым людям от имени Клеопатры, чтобы они воздержались от участия в битве. Царица считала преступлением вмешивать цвет александрийского юношества в дело, которое она сама считала проигранным. Она знала родителей многих из них и опасалась, что Октавиан подвергнет жестокому взысканию тех, кто попадёт в плен с оружием в руках, тем более что эфебы не принадлежали к войску.

Звёзды уже гасли, когда эфебы отправились проводить друга. По дороге они распевали свадебные гимны, которые им не довелось пропеть на свадьбе Диона. Пение сопровождалось игрой на лютнях, и эта ночная музыка на городских улицах возродила миф, будто бог Дионис, покровитель Антония, который часто являлся народу в его образе, удалился от своего любимца в эту ночь с музыкой и пением.

Подле храма Исиды юноши простились с Дионом.

Только Горгий остался с другом.

Он провёл его в гробницу Клеопатры, где работа кипела при свете факелов. Леса ещё не убрали, но нижний этаж был вполне закончен, и Дион подивился искусству Горгия, сумевшего передать внутренний смысл памятника в его внешней отделке. Стены были сложены из больших квадратных плит тёмно-серого гранита. Широкий фасад, с массивными воротами, увенчанными крылатым солнечным диском, производил внушительное, почти мрачное впечатление. По обе стороны диска возвышались в сводчатых нишах статуи Антония и Клеопатры из тёмной бронзы, а над карнизом медные фигуры любви и смерти, славы и безмолвия в египетском стиле, облагороженном греческим искусством.

Массивная медная дверь, украшенная прекрасными барельефами, устояла бы перед осадным тараном. По бокам её возвышались сфинксы из тёмно-зелёного диорита. Всё в этой постройке напоминало о вечности своей несокрушимостью.

Верхний этаж ещё не был отделан. Каменщики и резчики трудились над стенами, выкладывая их тёмным серпентином и чёрным мрамором. Огромный ворот стоял наготове, чтобы поднять на вершину здания образцовое произведение александрийской скульптуры. Оно изображало победоносную Венеру со щитом, копьём и шлемом, за которой следует толпа крылатых богов любви, вооружённых луками и стрелами, с Эросом во главе; у ног царицы любви истекает кровью побеждённый трёхглавый цербер — смерть.

Друзья не успели осмотреть всё внутреннее устройство мавзолея, так как Пирр ожидал Диона на берегу после захода солнца, а теперь начинало уже светать.

Когда они подходили к пристани, громадный купол Серапеума засиял ослепительным блеском. Вымпелы и мачты судов точно купались в море золотого света.

Медные и позолоченные фигуры на форштевнях отразились в искрящихся, подернутых лёгкой рябью водах, а длинные тени весел точно связывали суда чёрной сетью.

Тут друзья расстались. Дион направился один вдоль набережной к вольноотпущеннику, которому теперь нелегко было пробраться на своей лодке сквозь эту массу судов. Осмотр мавзолея задержал-таки молодого отца, и хотя он был почти незнаком, но не мог не упрекнуть себя за неосторожность, которая — он впервые почувствовал это — могла повредить не ему одному.

Флот ожидал сигнала к отплытию. Остальные суда должны были собраться у храма Посейдона. Им строго-настрого запретили сниматься с якоря.

Между ними находилась и барка Пирра. О возвращении на Змеиный остров пока нечего было и думать.

Это было прискорбно. Барина не знала о поездке Диона в город, и, представляя себе, как она будет беспокоиться, оставшись одна, да ещё в день сражения, он сам терзался не меньше её.

В самом деле, молодая мать с возрастающим нетерпением ожидала супруга. Когда солнце поднялось выше и повсюду вокруг острова море огласилось ударами весел, двигавших двести кораблей, резкими звуками труб, криками команды, грохотом барабанов, она решительно не могла усидеть дома и несмотря на увещания женщин отправилась на берег. Елена сопровождала её. Море было покрыто военными кораблями, которые двигались вперёд, как тысяченогие драконы. Бесчисленные весла в три и в пять рядов служили им ногами. Каждый большой корабль был окружён маленькими. Солнце играло на щитах и шлемах, на длинных чёрных металлических шипах, которыми были снабжены носы кораблей, чтобы пробивать деревянные корпуса вражеских судов. Позолоченные фигуры сверкали и искрились в ярком свете. На прибрежных холмах стояло сухопутное войско Марка Антония, и солнечные лучи играли на шлемах, панцирях и остриях копий.

Едва Барина успела сесть на скамью, которую захватила для неё дочь рыбака Диона, как на всех кораблях раздался резкий звук труб и все суда двинулись мимо Фароса в открытое море.

Выйдя из гавани, корабли выстроились в несколько рядов и двинулись дальше. Всё это происходило так же спокойно, как несколько дней назад на учении перед Марком Антонием.

Казалось, жажда боя неудержимо двигает их вперёд.

Неприятельский флот ожидал, не шелохнувшись. Но когда египетские корабли приблизились к римлянам, трубы снова загремели. Впоследствии женщины не могли вспоминать без содрогания этот сигнал к неслыханной измене. Рабы, преступники и всякий сброд, сидевший на корабельных скамьях, за вёслами, давно уже с нетерпением ожидали его, и как только он раздался, верхние ряды подняли весла, нижние перестали грести, и корабли мгновенно остановились, точно застыли в паническом ужасе. Быстрота этого маневра сделала бы честь любому адмиралу, но в данном случае дело шло об одном из позорнейших поступков, какие только знает история. Женщины, видевшие уже немало навахий^[76], сразу поняли, в чём дело, и в один голос воскликнули: «Измена! Они предаются врагам!»

Флот Марка Антония, созданный Клеопатрой, весь до последней барки перешёл на сторону наследника Цезаря, победителя при Акциуме, и тот, кому экипаж клялся в верности, видел с прибрежного холма, как его лучшее, надёжнейшее оружие не сломалось, а передалось в руки врага.

Он знал, что эта измена решает его участь, да и женщины на берегу Змеиного острова понимали это.

Глаза их наполнились слезами негодования и скорби. Они были александрийками и не хотели

подчиниться власти римлян.

Клеопатре, дочери Птолемеев, по праву принадлежала власть над городом, основателем которого был великий македонянин. Страдания, пережитые Бариной из-за Клеопатры, казались ничтожными в сравнении со страшным ударом, поразившим царицу.

Соединённые флоты римлян и египтян направились теперь под общим начальством в гавань города, ставшего их добычей.

Барина, понури́в голову, пошла домой.

Тяжесть лежала у неё на сердце, а беспокойство о Дионе росло с каждым часом.

Казалось, само дневное светило устыдилось этой позорной измены; его лучезарный лик закрылся тяжёлыми серыми облаками; море нахмурилось. Чистая голубая поверхность запестрела желтовато-серыми и тёмно-зелёными пятнами, и седые волны запенились на возмущённой глади.

Когда начало смеркаться, беспокойство Барины дошло до предела. Ни увещания Елены, ни даже вид младенца не могли удержать её, и она уже совсем было решила отправиться в город с младшим сыном Пирра, когда Диона заметила челнок, приближавшийся к Змеиному острову.

Спустя несколько минут Дион выскочил на берег и поцелуями заглушил упреки молодой жены.

Он услышал об измене флота в гавани Эвноста, где нанимал лодку, так как челнок Пирра остался с другими судами у храма Посейдона.

Опытный лоцман провёл лодку открытым морем в обход военного флота.

Радостная встреча не могла, однако, развеселить Барину и Диона. Участь царицы и родного города тяжёлым камнем ложилась на их сердца.

Ночью на острове залаяли собаки и послышались голоса на берегу. Предчувствуя недоброе, Дион поспешил на шум.

Ночь была темна, хоть глаз выколи, на небе ни звёздочки, только мерцающий огонёк фонаря на берегу и другого на соседнем островке; город же, напротив, был залит огнями.

Пирр с младшим сыном спускали лодку в море. Надо было помочь какому-то пловцу, севшему на мель у соседнего островка.

Дион тоже сел в лодку и вскоре услышал голос архитектора Горгия.

Пирр высадил на берег запоздалого гостя. По словам рыбака, он избавился от большой опасности, так как островок, к которому причалил архитектор, кишел ядовитыми змеями.

Горгий горячо пожал руку Диона и попросил выслушать его, перед тем как идти к женщинам.

Дион насторожился. Он знал своего друга. Очевидно, случилось что-то очень скверное, если голос его звучал так тревожно.

Действительно, поздний гость сообщил печальную весть.

Римляне овладели городом — что, впрочем, нисколько не удивило Диона, — и небольшой отряд победителей, которым приказано было вести себя, как в дружеской стране, явился в дом архитектора, где им была отведена квартира. Глухая бабка Елены и Барины, не разобравшая толком, что предстоит горожанам, была так поражена вторжением буйных солдат, что не выдержала потрясения и перед отъездом Горгия на Змеиный остров скончалась.

Впрочем, кроме этого печального известия, которое огорчило молодых женщин, были и другие

причины, побудившие Горгия так поздно и в чужой лодке приплыть к изгнанникам. Утомлённый тревогами этого ужасного дня, он почувствовал потребность отдохнуть в кругу друзей.

Кроме печальных известий, он хотел сообщить и нечто радостное. Они могли немедленно возвратиться в город.

Глубоко взволнованный, потрясённый и возмущённый всем виденным и пережитым, он начал свой рассказ, путаясь и запинаясь.

Впрочем, ободряющие слова Диона помогли ему собраться с духом и связно передать события.

XXIV

Проводив Диона до гавани, архитектор отправился на форум, чтобы потолковать с согражданами и послушать, чего ожидают и чего опасаются горожане.

Сюда же стекались все известия, и потому много македонских граждан собралось на форуме в этот решительный час посоветоваться о том, что делать.

Там царило всеобщее оживление; новости из войска и флота доходили сначала благоприятные, затем пришло известие об измене флота, а немного погодя — о переходе сухопутного войска на сторону врагов.

Один достойный доверия гражданин видел, как Марк Антоний промчался по набережной в сопровождении немногих друзей. Они направлялись к маленькому дворцу на Хоме.

Серьёзные люди, мнение которых принималось почти без возражений, говорили, что полководец обязан покончить с собой, подобно Бруту и многим другим благородным римлянам, так как судьба против него и ничего, кроме позора, не остаётся ему в жизни.

Вскоре после этого пришло известие, что он действительно пытался сделать то, чего ожидали от него люди.

Горгий не мог выдержать неизвестности. Он поспешил на Хому, но оказалось, что добраться до дворца не так-то легко. Узкая полоса земли кишела народом, а море — лодками. Впрочем, как сообщили Горгию, Антония уже не было во дворце.

Мимо архитектора пронесли какого-то покойника; в числе людей, следовавших за ним, находился знакомый Горгию раб Антония. Глаза его были красны от слёз. Архитектор остановил его, и тот рассказал, что после измены войска полководец укрылся в маленьком дворце. Услышав, будто Клеопатра опередила его, покончив с собой, он велел Эросу убить себя. Но верный слуга, отвернувшись, пронзил себя мечом и упал к ногам господина. Антоний воскликнул, что пример Эроса показывает ему, что нужно делать, и собственной рукой вонзил в грудь короткий меч. Однако его могучие силы не сразу уступили тяжёлой ране. Он умолял окружающих прикончить его, но никто не решался. В то же время он вспоминал о Клеопатре и говорил, что хочет последовать за ней.

Наконец, появился Диомед, приближённый царицы, с известием, что Клеопатра удалилась в мавзолей, откуда и прислала за Антонием.

Это приглашение точно воскресило полководца. Когда его положили на носилки, он приказал с почётом похоронить Эроса. Даже в минуту смерти этот великодушнейший из людей не мог забыть о человеке, оказавшем ему услугу.

Рассказывая об этом, раб снова заплакал. Горгий же, не теряя времени, поспешил к гробнице.

Ближайший путь туда лежал по Царской улице, которая была полна народом, так что архитектору пришлось отправиться в обход.

Набережная и прилегающие улицы приняли какой-то необычный вид: вместо мирных граждан всюду виднелись римские солдаты в полном вооружении. Знакомые Горгию греческие, египетские, сирийские лица сменились белыми и смуглыми физиономиями чужеземного обличья.

Город точно превратился в лагерь. То встретила когорта белокурых германцев, то отряд каких-то рыжих воинов неизвестного Горгию племени, далее группа нумидийских или паннонских всадников.

Подле храма Диоскуров архитектор остановился. Отряд испанских воинов захватил сына Антония Антиллу, который был тут же приговорён к смерти и казнён.

Его воспитатель Теодор выдал несчастного юношу воинам, но и сам поплатился. Заметили, как он прятал в пояс драгоценный камень, снятый с Антиллы. Негодяй был схвачен и ещё до отъезда Горгия приговорён к смертной казни на кресте.

Наконец Горгию удалось добраться до мавзолея, окружённого цепью римских ликторов^[77] и городской скифской стражей, но ему, архитектору, позволили пройти.

Остановки, задерживавшие Горгия по дороге сюда, помешали ему видеть своими глазами страшный финал драмы, совершившейся в мавзолее, но Диомед, сопровождавший Антония по поручению царицы, подробно рассказал ему обо всём, что здесь происходило.

Клеопатра укрылась здесь, после того как события решились в пользу Октавиана. Только Ире и Хармионе она позволила следовать за собой; они же помогли ей запереть тяжёлую медную дверь. Ложный слух о смерти царицы, побудивший Антония к самоубийству, по всей вероятности, возник из-за того, что она находилась в гробнице.

Когда верные слуги принесли Антония к мавзолею, женщины тщетно пытались снова отворить тяжёлую дверь.

Но Клеопатра неудержимо стремилась к возлюбленному. Она должна была находиться подле него, ухаживать за ним, ещё раз уверить его в своей любви, закрыть ему глаза и, если нужно, умереть с ним.

Ира вспомнила о воротах, подготовленном для подъёма тяжёлой бронзовой группы. Решено было воспользоваться им. Антония прикрепили внизу на верёвках, и Клеопатра с помощью своих верных наперсниц принялась тащить его вверх.

По словам Диомеда, он не видел зрелища грустнее. Раскачиваясь на верёвках между небом и землёй, в борьбе со смертью, в жестоких муках, гигант страстно простирал руки к своей возлюбленной. Едва выговаривая слова от боли, он нежно звал её, но она не могла ответить, напрягая все свои слабые силы, чтобы справиться с воротом. Канат изрезал ей нежные руки, жестоко оцарапал прекрасное лицо; она продолжала работать со своими помощницами. Им действительно удалось поднять Антония почти в уровень с крышей, но это не привело бы ни к чему, если бы Диомед не явился к ним на помощь в последнюю минуту. Он помог втащить Антония наверх и перенести в нижний этаж.

Когда раненого поместили на ложе, Диомед удалился, но остался за дверью, чтобы по первому зову явиться на помощь царице.

Оставаясь незамеченным, он мог видеть с лестницы всё, что происходило в зале.

Вне себя, с распущенными волосами, рыдая и плача, Клеопатра, как безумная, рвала на себе платье, била себя в грудь, царапала её ногтями.

Она прижалась лицом к ране возлюбленного, чтобы удержать струившуюся кровь, называла его нежными именами, напоминала умирающему о цветущих днях их любви.

Его жестокие страдания заставили её забыть о своей собственной участи.

Безгранична, безмерна, как некогда её страсть к этому человеку, была её скорбь при виде его мучительной кончины. Всё, чем был для неё Марк Антоний в лучшие годы её жизни, всё, что он дал ей и что она дала ему, всё это ожило в её душе во время их последнего пира, окончившегося всего несколько часов тому назад. И теперь всё это снова промелькнуло перед ней, но только для того чтобы ещё резче оттенить горечь ужасной минуты. Наконец скорбь вытеснила последнее светлое воспоминание, и уж

ничего не видела она подле себя, кроме умирающего мужа, ничего, кроме могилы, разверзшейся перед нею и готовой принять их обоих. Утратив надежду на будущее, забыв о минувшем, эта великая царица, ещё в детстве отличавшаяся чувствительностью к страданиям и не приученная переносить их в дальнейшей жизни, без удержу предалась отчаянию, с таким безумным порывом, слезами, стонами, как могла бы выражать своё горе только женщина из простонародья.

Когда Хармиона, по просьбе умирающего, дала ему вина, он несколько оправился и мог говорить связно.

Антоний нежно умолял Клеопатру подумать о своём спасении, если оно возможно без ущерба для чести, и указал в числе приближённых Октавиана Прокулея как человека, на которого можно положиться. Затем он просил её не жалеть о нём, а, напротив, считать его счастливым, так как судьба одарила его своими лучшими дарами. Лучшими минутами в жизни обязан он её любви; к тому же он был могущественнейшим человеком на земле в своё время. Теперь он умирает в её объятиях, умирает с честью, как римлянин, побеждённый другим римлянином.

Клеопатра приняла его последний вздох, закрыла ему глаза и без слёз бросилась на его труп. Силы оставили её, голова бессильно опустилась на его широкую грудь.

Диомед, видевший всё это с лестницы, со слезами на глазах удалился на первый этаж.

Тут он встретился с Горгием, которому и рассказал обо всём, что видел и слышал. Не успел он окончить рассказ, как перед гробницей остановилась повозка, из которой вышел какой-то знатный римлянин.

Это оказался тот самый Прокулей, которого Антоний рекомендовал своей возлюбленной как надёжного человека, достойного доверия.

— В самом деле, — продолжал Горгий, — судя по наружности и осанке, он принадлежит к благороднейшим представителям своего гордого народа. Он явился по поручению Октавиана, и, кажется, он искренно предан Цезарю, что не мешает ему оставаться порядочным человеком. Прокулей известен также как поэт и зять Мецената, щедрого покровителя наук и искусств. Тимаген с похвалой отзывался о его талантах и образовании. Может быть, историк и прав, но, кажется, в делах государственных приближённые Октавиана волей-неволей должны иной раз брать на себя роль, которая не вяжется с нашими понятиями о достоинстве свободного человека. Так и тут; господин, которому он служит, возложил на него трудную задачу, и Прокулей, без сомнения, счёл своей обязанностью исполнить её как можно лучше, но... Я думаю, что когда-нибудь он проклянёт этот день и усердие, с которым он, свободный человек, помогал Октавиану... Но слушай дальше!

Гордый, надменный, в великолепном вооружении, он постучал в дверь гробницы. Клеопатра очнулась и спросила — они познакомились ещё в Риме, — что ему нужно.

Он вежливо отвечал, что явился от имени Октавиана для переговоров. Царица выразила готовность выслушать его, но не решалась впустить в гробницу.

Они стали говорить через дверь. Клеопатра со спокойным достоинством потребовала признать царями Египта её сыновей от Антония.

Прокулей обещал передать её желание Октавиану, и даже выразил надежду, что оно будет исполнено.

После того как она высказала свои требования относительно детей, — о себе она и не заикнулась.

Прокулей пожелал узнать подробности о кончине Марка Антония и в свою очередь рассказал о гибели военных сил покойного и о других менее значительных вещах. Между тем этот человек вовсе не

похож на болтуна, но мне тут же пришло в голову, что он заговаривает зубы царице. Да так оно и было; он ожидал только Корнелия Галла, начальника флота, о котором ты уже слышал. Корнелий тоже принадлежит к числу знатнейших римлян, но это не помешало ему принять участие в интриге.

Прокулей удалился, представив Галла несчастной женщине.

Я оставался в гробнице и слышал, как Галл уверял Клеопатру в добрых намерениях Октавиана. Напыщенным тоном рассказывал он, что Октавиан оплакивает в лице Марка Антония друга, зятя, соправителя и участника многих важных предприятий. Услышав о его смерти, он прослезился.

Мне показалось, что и Галл старается только оттянуть время.

В то время как я прислушивался, затаив дыхание, чтобы не пропустить ни слова Клеопатры, ко мне подбежал мой помощник, который, после того как римляне прогнали работников, спрятался между двумя гранитными плитами. Он сообщил мне, что Прокулей с двумя слугами забрался в гробницу по лестнице с противоположной стороны.

Я бросился к царице предупредить её, так как измена была очевидна. Но я опоздал.

О Дион! Успей я несколькими мгновениями раньше, случилось бы, может быть, нечто ещё более ужасное, но она, царица, была бы избавлена от того, что грозит ей теперь. Чего она может ожидать от победителя, который не постыдился прибегнуть к гнусной хитрости, чтобы захватить благородную беззащитную, побеждённую женщину живой?

Смерть освободила бы несчастную от тяжкой скорби и унижения! Она уже подняла кинжал! Я видел, как сталь блеснула в её прекрасной руке... Нет, нужно перевести дух! Буду рассказывать по порядку. И без того у меня путаются мысли, как только я вспомню об этом ужасном событии.

Чтобы передать то, чему я стал свидетелем, надо быть поэтом, художником слова... Мы были в гробнице. Стены из чёрного камня, чёрные колонны и потолок, все чёрного цвета... Повсюду гладко отполированный камень, блестящий, как зеркало. Саркофаги и пространство, окружённое канделябрами, ярко освещены. Каждое кровавое пятно на руке, каждый рубец, каждая царапина на белоснежной груди, которую несчастная женщина разрывала ногтями в припадке отчаяния, отчётливо выделяются при этом праздничном освещении. Далее направо и налево сгущается мрак, а в глубине зала, вдоль стен, чёрная тьма, как в настоящем, подлинном гробу. Повсюду на гладкой поверхности порфировых колонн, на блестящем чёрном мраморе и серпентине искрились и играли огоньки свечей. Они колебались и дрожали от ветра: казалось, это носятся беспокойные души отверженных. В глубине зала было черно, как в преддверии Гадеса, но и туда проскальзывали светлые полосы — солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели ставней! Как всё это действовало на воображение! Родина мрачной Гекаты [78]! А царица!.. Но я уже слышу, как ты восклицаешь: «Художник, художник! Вместо того чтобы спешить, действовать, он погружается в созерцание игры света и теней в царской гробнице». Да, я слишком, слишком поздно явился! Но тут не было моей вины, я не зевал и не терял времени!

Спускаясь по лестнице, я видел в зале только труп Антония на ярко освещённом ложе, а направо от него Хармиону и Иру, которые тщетно пытались поднять опускающую дверь. Она вела в погреб, где были сложены горючие вещества. Они хотели зажечь их по приказу царицы.

Никого из посторонних не было в зале. Я уже пробежал несколько ступеней, когда... Прокулей с двумя солдатами внезапно появился с противоположной стороны. Вне себя, я бросаюсь в зал и слышу пронзительный крик Иры: «Царица, тебя хотят схватить!» Клеопатра поворачивается, видит перед собой Прокулея, быстрее молнии выхватывает из-за пояса маленький кинжал и замахивается, желая пронзить себе грудь. Какая картина! Облитая ярким светом, она казалась воплощением торжествующей победы, благородной гордости, которая творит великие дела, но потом, потом... Что последовало потом...

Точно разбойник, ночной убийца, бросился на неё Прокулей и, схватив за руку, отнял кинжал. Его высокая фигура на минуту заслонила от меня царицу. Но когда она, пытаясь освободиться от негодея, снова обратилась лицом к залу, что с ней случилось! Её огромные глаза, ты знаешь их, казались вдвое больше, горели презрением, ненавистью, враждой. Их мягкий свет превратился в пожирающее пламя. А Прокулей, этот вельможа, поэт, благородство которого прославляют на Тибре, схватил беззащитную женщину — достойный отпрыск славного дома — и стиснул её, как будто должен был напрячь все силы, чтобы удержать это воплощение нежной женственности. Конечно, гордая кровь львицы, побеждённой хитростью, заставляла её рваться из этих унижительных объятий, и он — завидная честь! — дал ей почувствовать свою силу. Я не пророк, но говорю тебе, Дион: этой позорной борьбы, этого взгляда он не забудет до своего последнего часа. Случись это со мной, я проклял бы жизнь.

Да и римлянин изменился в лице. Бледный как смерть, он продолжал исполнять то, что считал своей обязанностью. Он не погнушался обыскать её платье собственными вельможными руками: нет ли при ней яда или оружия. При этом помогал ему вольноотпущенник Эпафродит, приближённый Октавиана.

Они обыскали также Хармиону и Иру, не переставая расписывать милосердие Октавиана, который будто бы сохранил за Клеопатрой всё, что приличествует сану царицы.

Наконец, их отправили на Лохиаду, я же стоял как оглушённый, образ несчастной царицы преследовал меня. Не образ обворожительной женщины, а воплощение скорби, отчаяния, бешенства и гнева.

Эти глаза, метавшие пламя, распущенные волосы, на которых запеклась кровь Антония... Ужасно, ужасно! Кровь застыла в моих жилах, точно я увидел лицо Медузы, обвитое змеями, на щите Афины.

Я не мог предупредить её или остановить руку предателя, и тем не менее она бросила на меня полный упрёка взор. Он до сих пор преследует и терзает меня. Быть может, кроткий взор Елены изгонит из моей памяти это ужасное лицо и вернёт мне покой.

Дион ласково взял его за руку и напомнил, что даже этот проклятый день, по словам самого Горгия, принёс кое-что хорошее.

При этом напоминании архитектор несколько оживился и поспешил заметить, что для города, для Диона и для Барины этот день действительно принёс много доброго.

Затем он перевёл дух и продолжал свой рассказ:

— Я пошёл домой, точно пьяный. Доступ к царице и её приближённым был воспрещён. Но от нубийки Анукис я узнал, что Клеопатре от имени Октавиана было разрешено выбрать себе дворец для жительства и что она избрала Лохиаду.

По дороге домой меня задержала толпа у большого гимнасия. Октавиан вступил в город, и, как мне передавали, народ встретил его приветственными криками и бросался перед ним на колени. Наши гордые александрийцы, распростёртые в пыли перед победителем! Это глубоко возмутило меня, но вскоре мой гнев смягчился.

В толпе перед гимнасием меня узнали, расступились, и не успел я решиться на что-нибудь, как уже был за воротами. Длинный Фрикс подхватил меня под руку. Он всегда умеет пробраться на лучшее местечко, так и тут; минуту спустя мы очутились перед трибуной.

Ждали Октавиана, который принимал поздравления от эпитропов, членов совета, гимнасиархов^[79] и не знаю кого ещё.

Фрикс рассказал мне, что Октавиан при вступлении в город послал за своим бывшим воспитателем, велел ему сопровождать себя и даже пожелал увидеть его сыновей. Вообще отличил философа перед

всеми. Это, конечно, выгодно для тебя и твоих близких: ведь он брат Береники и дядя твоей жены. Цезарь исполнит всё, что он пожелает. Ты скоро узнаешь, как он почитает и ласкает старика. Я не сержусь на Ария; он заступался за Барину, известен как хороший философ, да и в храбрости никому не уступит. Несмотря на Акциум и единственное постыдное дело, в котором можно упрекнуть Антония — я имею в виду выдачу Турилла, — Арий остался в Александрии. А уж если Антоний выдал убийцу Цезаря, то мог бы воспользоваться и другом его племянника как заложником.

С тех пор как Октавиан приблизился к городу, Арию угрожала серьёзная опасность, а вместе с ним и его сыновьям; ты знаешь их — славные ребята.

В гимнасии нам недолго пришлось дожидаться, и как только Октавиан появился на эстраде, все бросились на колени. Наша буйная, мятежная чернь простирала к нему руки, точно толпа жалких нищих, и порядочным людям пришлось сделать то же. Если бы мы остались на ногах, нас бы свалили на землю. Пришлось с волками по-волчьи выть и последовать их примеру.

— А Октавиан? — спросил Дион.

— Царственный, хотя и юношеский вид. Тонкое лицо, прекрасный профиль, точно созданный для чеканки на монетах. Острые, но пропорциональные черты. Важен и представительен; но лицо — зеркало холодное, неспособное ни к какому возвышенному порыву, тёплому чувству, нежному увлечению души. Вообще красивый, гордый, расчётливый человек, дружба которого вряд ли доставит отраду, но вражда... да сохранят от неё бессмертные всех, кого мы любим.

Он держал Ария за руку. Сыновья философа следовали за ними. Когда он вышел на трибуну и взглянул на коленопреклонённую толпу, ни один мускул на его благородном лице не дрогнул. Он смотрел на нас, как хозяин на стадо, и после продолжительного молчания объявил, что отпускает александрийскому народу всю его вину. Во-первых — он перечислял эти пункты, точно вызывал солдат для награды, — из уважения к великому основателю города, покорителю мира Александру, во-вторых, потому что величина и красота Александрии вызывают в нём удивление, и, в-третьих — тут он обернулся к Арию, — чтобы доставить удовольствие своему дороговому, достойному другу!

Тут началось великое ликование.

У всех тяжесть свалилась с души, и, когда народ оставил гимнасии, послышался смех, посыпались шутки и остроты. Плотник Мемнон, который участвовал в постройке твоего дворца, воскликнул, что Ария дельфин спас от пиратов, а теперь Арий спасает морского зверя, Александрию, от сухопутных разбойников. Больше всего, конечно, досталось Филострату, первому мужу Барины. Этот негодяй, преследовавший Ария как злейшего врага, теперь увивался около него, повторяя стих:

Мудрому мудрый всегда помогает, не помня обиды.

Увидим, поможет ли ему эта жалкая лесть.

Пробраться домой было нелегко. На улицах кишели римские солдаты. Их хорошо приняли: успокоенные горожане приглашали победителей в харчевни, в трактиры, так что за эту ночь запасы вина в Александрии изрядно уменьшатся.

Я уже говорил, что многие солдаты были размещены на постой к горожанам и как это сказалось на бабке Барины. Прежде чем я ушёл, ей закрыли глаза.

Теперь все городские ворота открыты. Племянницу Ария и её супруга примут с распростёртыми объятиями. Радуюсь за Барину; она бросила всё, что дорого для горожанки, и в этой пустынной из

пустынь нашла себе новый мир в любви, что достойно похвалы и награды. Но за твою особу побаиваюсь: боги начнут тебе завидовать. Получил такую супругу, сына, а теперь ещё новое счастье, новые почести. Мне вот не так страшна их зависть!

— Неблагодарный! — воскликнул Дион. — Найдутся и смертные, которые позавидуют тебе из-за Елены. Что касается меня, то я и сам побаиваюсь; но ведь и мы заплатили бессмертным нелёгкую дань. В доме ещё свет. Сообщи женщинам поосторожнее о кончине бабки, расскажи и хорошие новости. Об ужасных происшествиях, которым ты был свидетелем, лучше рассказать завтра. Незачем лишать их сна. Увидишь, что тихая печаль Елены и её радость по поводу нашего освобождения облегчат тебе душу.

Так и вышло. Во сне Горгий снова пережил трагические события минувшего дня, но, когда возшло солнце и лодка за лодкой стали приставать к Змеиному острову, когда явилась Береника со своими племянниками, сыновьями философа Ария, клиенты и друзья Диона, наиболее близкие люди из бывших гостей Барины, приехавшие поздравить молодую чету и проводить её в город из убежища, где она так долго скрывалась, тогда, под влиянием этих радостных впечатлений, его мрачные мысли мало-помалу рассеялись.

Благодаря «длинному Фриксу», в городе очень быстро узнали о женитьбе Диона и Барины и об их убежище.

Многим захотелось увидеть и поздравить героев столь необыкновенного приключения. Знавших Барину и её мужа интересовало так же, как могли они, привыкшие к шумной жизни большого города, так долго переносить вынужденное уединение. Многие ожидали встретить унылых, измученных тоской, одичавших людей, и потому в толпе гостей, которых Пирр проводил в качестве лоцмана сквозь опасные пучины, окружавшие его остров, оказалось немало удивлённых лиц.

Встреча со счастливой парочкой давала повод к весёлому празднеству. К тому же все радовались, что туча, нависшая над Александрией, пронеслась, хотя большинство сочувствовало царице, а более серьёзные люди беспокоились за свободу Александрии, оказавшейся под римским владычеством.

Во всяком случае жизнь и имущество были спасены, а привычка к празднествам в крови у александрийцев. Однако известие о смерти супруги Дидима и о болезни самого старика, тяжело переносившего потерю своей верной подруги жизни, давало Диону право отклонить всякие празднества в своём доме.

Печаль Барины была и его печалью; Дидим пережил свою жену, с которой провёл полстолетия в любви и согласии, всего на несколько дней; как говорили александрийцы, «его сердце разбилось».

Итак, Дион без шумных и утомительных празднеств переселился с молодой женой в свой прекрасный дворец. Вместо торжественных брачных гимнов их слух услаждал голос ребёнка.

Траур Барины напомнил Диону о зависти богов, которой пугал его Горгий. Но ему часто казалось, что статуя его матери в таблинуме с удовольствием смотрит на молодую хозяйку. И Барина понимала, что супружеское и материнское счастье чувствовалось бы ещё сильнее в доме, если б не печаль по родным.

Дион тотчас занялся делами города и своими собственными. Теперь он и его возлюбленная находились в тихой пристани и спокойно смотрели на житейские бури. Якорь любви, на котором держался их корабль, выдержал испытание уединением на Змеином острове.

XXV

Семья рыбака не без грусти рассталась со своими гостями, и женщины пролили немало слёз по этому случаю несмотря на то, что сыновья Пирра вернулись с флота и по-прежнему помогали отцу.

Дион щедро наградил верного вольноотпущенника, подарив ему целое состояние и приданое его дочери Дионе.

Девушка вскоре вышла замуж за капитана, командовавшего «Эпикуром», кораблём Архибия. Она познакомилась с ним благодаря Анукис, которую капитан привозил на Змеиный остров.

Нубиянка просила своего друга Пирра поймать для царицы змею из тех, что водились на соседних утёсах.

Убедившись, что никакой яд не действует так быстро и безболезненно, как яд аспида, Клеопатра решила воспользоваться им, чтобы расстаться с жизнью. Нубиянке было поручено достать змею. Ей пришлось пустить в ход всё своё красноречие, чтобы изобразить ужасное положение царицы и заставить честного Пирра исполнить это поручение. Наконец он согласился, решив, что жизнь царицы измеряется иной меркой, чем жизнь женщины из простонародья, и условился с Анукис, как доставить змею во дворец. Решено было, что его известят, когда наступит решительный момент. После этого он должен ежедневно являться со змеёй на рынок. Вероятно, ему не придётся ждать долго, так как медлительность Октавиана не предвещала ничего хорошего для Клеопатры.

Она жила во дворце, окружённая царской роскошью; ей позволено было даже вызвать к себе близнецов и маленького Александра, причём было дано обещание сохранить им жизнь. Но Цезарион, которого предатель Родон заманил в Александрию всяческими соблазнами и, между прочим, известием о возвращении Барины, был схвачен в храме своего отца, где искал убежища. Это обстоятельство, равно как и решение Октавиана, осудившего юношу на смерть за его сходство с Цезарем, стали известны несчастной царице. Ей передали также замечание Ария по поводу решения Октавиана. Философ цитировал стих Гомера о вреде многовластия.

Вообще Клеопатра быстро узнавала о городских происшествиях, так как её не особенно стесняли, только следили за ней днём и ночью и обыскивали всякого, кто к ней являлся.

Что царица уже подвела итог своей жизни, было ясно каждому. Её попытка уморить себя голодом не удалась. Угрозами, направленными против её детей, Клеопатру заставили отказаться от этого намерения и начать снова принимать пищу. Вообще ясно было, что Октавиан против её самоубийства.

Многие из азиатских властителей выразили желание почтить останки Марка Антония великолепными похоронами, но Октавиан предоставил это Клеопатре. Ей доставили некоторое облегчение и утешение похоронные хлопоты. Погребение совершилось с пышностью, достойной покойного.

Ира и Хармиона часто удивлялись, как могла она, страдавшая от ран, нанесённых себе в порыве отчаяния, и от лихорадки, терзавшей её после попытки уморить себя голодом, как могла она выносить напряжение и волнение, связанное с похоронами Антония.

Возвращение Архибия с детьми доставило радость Клеопатре. Она часто выходила в сад Дидима, теперь соединённый с Лохиадой, любовалась играми детей и слушала их ребяческие речи.

Но это была уже не прежняя весёлая и радостная мать, так удивительно умевшая находить доступ к

детскому сердцу. Её беседы с детьми вряд ли соответствовали их возрасту, так как невольно сводились к смерти или непонятным для детского ума философским вопросам.

Царица переживала, что не может найти нужную тему для разговора, и начинала шутить с близнецами или маленьким Александром. Эта поддельная весёлость скоро уступала место унынию, иногда слезам, так что она спешила уйти от детей.

Жизнь, оставленная ей победителем, тяготила её, как навязанный насильно подарок, как обременительный долг, который, чем скорее возратить, тем лучше.

Она находила некоторое утешение только в разговорах с друзьями детства, вспоминая прошлое или рассуждая о смерти и о том, каким образом отделаться от ненавистного существования.

Сердца Иры и Хармионы обливались кровью при таких беседах. Они давно решили разделить участь царицы. Общая скорбь восстановила их старую дружбу, Ира достала отравленные булавки, действие которых было испытано на животных, но Клеопатра настаивала на безболезненной смерти от укуса аспида. Давно уже глаза несчастной женщины не светились такой радостью, как в тот день, когда ей сообщили, что змея будет доставлена по первому её требованию. Но пока ещё не было надобности прибегать к этому крайнему средству. По словам Хармионы, Октавиан относился к царице очень мягко и, по-видимому, был склонен обеспечить достойным образом её и детей.

Недоверчивая улыбка мелькнула на губах Клеопатры при этом сообщении, и всё-таки в душе её проснулась тень надежды.

Между прочим, посетил её Долабелла, принадлежавший к свите Цезаря, знатный молодой римлянин из благородного дома Корнелиев. Отец его был когда-то дружен с Клеопатрой и многим ей обязан, так как после убийства Цезаря она послала ему войско для борьбы с Кассием. Правда, её легионы были использованы для другой цели, но это не уменьшило их дружбы. Долабелла-отец с увлечением рассказывал сыну о чарующей прелести египтянки. Конечно, юноша нашёл в ней печальную вдову, больную телом и духом, но всё-таки остатки её красоты, светлый ум, её горе и страдания так очаровали и тронули его, что он проводил у неё целые часы и рад бы был оказать ей услугу. Нередко он посещал вместе с нею детей, которые скоро полюбили его за весёлый и открытый характер, так что он сделался желанным гостем на Лохиаде.

Долабелла доверчиво открывал царице всё, что лежало у него на душе, она же благодаря ему узнавала больше об Октавиане и его приближённых. Не будучи слепым орудием, Долабелла постоянно заступался за несчастную царицу перед Цезарем.

Он старался внушить ей доверие к Октавиану, в благородство которого юноша искренно верил.

Он ожидал самых лучших результатов от её личного свидания с Октавианом, так как был уверен, что счастливый победитель не останется равнодушным к несчастьям этой женщины, о которой отец Долабеллы отзывался с таким восторгом. Да и в глазах юноши она не имела себе равных, хотя и годилась ему в матери.

Клеопатра, напротив, боялась свидания с человеком, причинившим столько зла ей самой и её возлюбленному. С другой стороны, Долабелла не без основания полагал, что Октавиан скорее согласится исполнить желания царицы относительно детей при личном свидании с ней, чем через посредников. Прокулей узнал, что Марк Антоний рекомендовал его Клеопатре как человека, достойного доверия, и терзался угрызениями совести. Мысль о совершённом поступке, который история заклеит позором, не давала покоя этому сильному человеку, поэту и видному деятелю расцветающей римской литературы, и Прокулей, как мог, старался угодить царице и облегчить её участь.

Он и вольноотпущенник Эпафродит, также следивший за царицей, возлагали большие надежды на это свидание и уговаривали Клеопатру добиться личного объяснения с Октавианом.

Архибий говорил, что личное объяснение во всяком случае не ухудшит положения дел.

— Опыт показал, — заметил он как-то в разговоре с Хармионой, — что ни один человек не в силах избежать её чар, а теперь она более, чем когда-либо, способна возбуждать симпатию. Чьё сердце не дрогнет при виде этого прекрасного лица, омрачённого терпеливой скорбью, при звуках этого нежного голоса, проникнутого тихой грустью? И как идёт траурная одежда к этому воплощению печали!

Когда же лихорадка зажигала румянец на бледных щеках Клеопатры, Архибию казалось, что он ещё не видывал её такой прекрасной, несмотря на печаль, тоску, опасения, сильно отразившиеся на её лице. Он знал её и видел, что жажда смерти, желание разделить участь возлюбленного действительно овладели её существом. Царица жила только в ожидании минуты, когда можно будет умереть. Решение, принятое в храме Береники, руководило всеми её поступками. Она думала и говорила только о прошлом. Будущее, по-видимому, перестало существовать для неё. Если Архибию и удавалось иногда привлечь её мысли к будущему, то лишь в том случае, когда речь шла о детях. Для себя она не ожидала ничего и считала себя свободной от всяких обязательств, кроме одного: охранить своё имя от позора и унижения.

Если Октавиан, осудивший на смерть Цезариона, обещал сохранить жизнь остальным её детям, значит, он делал различие между ними и сыном своего дяди, и не опасался соперничества. Судьбу своих детей ей в самом деле следовало обсудить с Октавианом. И она решилась наконец просить его о личном свидании.

Ответ был получен в тот же день. Цезарь обещал явиться к царице.

Это свидание должно было решить её участь.

Сознавая это, она велела Хармионе позаботиться о змеях.

Женщинам было запрещено выходить из дворца, но Эпафродит позволил им принимать посетителей. Живость и весёлый характер нубийки вызывали симпатии римской стражи. Она могла приходить и уходить без всякого стеснения. Разумеется, её обыскивали по возвращении во дворец, как и всех, кто являлся на Лохиаду.

Надо было решиться. Хармиона знала, что делать, но было у неё одно желание, которое не давало покоя: ей хотелось повидать Барину и её ребёнка.

Щадя Иру, она до сих пор не решалась принять супругу Диона. Встреча с ней и ребёнком разбередила бы незажившую рану девушки, и Хармиона, связанная с племянницей узами давнишней дружбы, не хотела огорчать её.

Октавиан не торопился исполнять своё обещание; однако спустя неделю Прокулей объявил утром, что сегодня явится Цезарь. Глубокое волнение овладело царицей при этом известии. Ей захотелось посетить гробницу. Ира отправилась с ней, и так как Клеопатра проводила в гробнице целые часы, то Хармиона решила воспользоваться этим, чтоб повидаться с Бариной.

Барина давно уже знала о желании своей бывшей покровительницы, и нубийке, которая взялась проводить её во дворец, не пришлось долго дожидаться матери с ребёнком.

Бывший сад Дидима — теперь собственность царских детей — стал местом этой встречи. В тени знакомых деревьев бросилась молодая мать на грудь испытанной подруги, а та не могла насмотреться на ребёнка, который, по её словам, был вылитый Леонакс.

О чём только не переговорили между собой эти две женщины, жизнь которых сложилась так

различно! Хармиона вспоминала минувшие дни, а для Барины существовало только радостное настоящее и светлое будущее. О сестре она тоже сообщила хорошие вести. Елена стала счастливой супругой архитектора Горгия, который, однако, при всей своей любви к молодой жене с восторгом вспоминал о часах, проведённых с Клеопатрой.

Время в беседе летело незаметно, и женщины были поражены, когда один из евнухов объявил, что царица вернулась во дворец.

Хармиона ещё раз поцеловала внука своего возлюбленного, благословила молодую мать, просила передать свой поклон Диону, вспоминать о ней, когда её не станет, и не забывать при случае украсить цветами её могилу и совершить на ней возлияние бессмертным, так как у неё нет друга или ребёнка, который мог бы почтить её память.

Глубоко потрясённая спокойной уверенностью Хармионы в неизбежной смерти, Барина молча слушала её и вдруг вздрогнула. Хорошо знакомый резкий голос окликнул в эту минуту её подругу. Быстро обернувшись, она увидела Иру. Бледная, истомлённая, в длинном траурном платье, Ира казалась воплощением душевных мук и тревоги.

Её вид глубоко поразил счастливую супругу и мать. Барине показалось, что всё счастье, которое могло достаться на долю Иры, перешло к ней, а все бедствия, преследовавшие одно время молодую чету, обрушились на Иру. Ей хотелось подойти к своей бывшей сопернице, сказать что-нибудь ласковое, дружеское, но, когда она заметила взгляд, брошенный Ирой на ребёнка, и неприятную, жёсткую складку у губ, из-за которой её сравнивали с колючим шипом, материнское сердце устало «дурного глаза» этой женщины. Она может погубить её сокровище, и, повинувшись инстинктивному чувству, молодая женщина закрыла лицо ребёнка своим покрывалом.

Ира заметила это, и, когда Барина робким кивком ответила на её вопрос: «Ребёнок ли это Диона?», она выпрямилась и сказала с холодным высокомерием:

— Впрочем, что мне за дело до этого ребёнка? Нам приходится думать о более важных делах!

Затем, обратясь к Хармионе, сообщила ей официальным тоном, что Клеопатра просит её присутствовать при свидании с Октавианом.

Октавиан должен был явиться вечером, до назначенного часа ещё оставалось много времени. Царица чувствовала себя утомлённой после посещения мавзолея, где она молила дух Антония вступить за детей, если только он имеет какую-нибудь власть над сердцем победителя.

Долабелле, провожавшему её из мавзолея во дворец, она призналась, что ничего хорошего не ожидает от этого свидания.

Она опасалась, что Октавиан и на этот раз оставит её в неизвестности. Тогда юноша не стал защищать Цезаря:

— Если Октавиан и теперь обманет тебя, в таком случае он не только холоден и чёрств...

— В таком случае, — подхватила Клеопатра, — ты будешь великодушнее и мягче его и избавишь подругу твоего отца от этой пытки. Если он не скажет, что меня ожидает, а ты узнаешь об этом, то... не говори нет, ты не можешь отказать мне... ты сообщишь мне?

Долабелла ответил быстро и решительно:

— До сих пор я ничего не мог сделать для тебя. Но от этой пытки я тебя избавлю.

С этими словами он быстро удалился, чтобы не видеть, как евнухи будут обыскивать её у входа во дворец.

Его обещание поддержало бодрость уставшей, расстроенной царицы. Она прилегла было отдохнуть, но не успела закрыть глаза, как на улице послышался топот четверни, вёзшей Октавиана. Клеопатра не ожидала его так рано.

Сначала она хотела принять его на троне в полном облачении, но потом подумала, что ей трудно будет надеть тяжёлые украшения. «К тому же, — думалось ей, — счастливый победитель уступчивее и снисходительнее отнесётся к страдающей женщине, чем к царице».

Ей предстояло защищать свой прежний образ действий, и она тщательно обдумала аргументы в свою пользу, с помощью которых надеялась повлиять на холодный, пронизательный ум Октавиана. Многие, что говорило в её пользу, было в письмах Юлия Цезаря и Антония, которые она часто перечитывала.

Архибий и Прокулей советовали ей принять Октавиана при свидетелях. Прокулей не объяснял причины, но очень хорошо знал, что Цезарь скорее решится на гуманный и благородный поступок в присутствии посторонних, которые оповестят мир о его великодушии. Имея дело с лучшим актёром своего времени, не мешало позаботиться о зрителях.

Поэтому царица пригласила, кроме Иры и Хармионы, приближённых чиновников, в том числе казначея Селевка, который мог дать необходимые справки в случае, если бы речь зашла о выдаче сокровищ.

Она рассчитывала переодеться, отдохнув после возвращения из мавзолея. Но этому помешало прибытие высокого гостя. Да если бы и хватило времени, она чувствовала себя такой разбитой и возбуждённой, что не могла бы даже причесать волосы.

Сердце её усиленно билось, щёки разгорелись. Когда доложили о Цезаре, она успела только приподняться на подушках и откинуть волосы, падавшие на лицо, между тем Ира наскоро привела в порядок складки её платья.

У неё не хватило бы силы пойти к нему навстречу. Когда он вошёл в комнату, Клеопатра могла только приветствовать его движением руки, он же, поклонившись ещё у дверей, быстро прервал тягостное молчание, сказав с изысканною вежливостью:

— Ты звала — я явился. Красоте повинуется всякий, даже победитель.

Она, точно пристыженная, опустила голову и сказала внятно:

— Я не звала, я только просила тебя выслушать меня. Благодарю за исполнение моей просьбы. Хотя женская красота опасна для мужчин, — тебе нечего опасаться. Никакая красота не выдержит мучений, доставшихся на мою долю, да и сама жизнь едва выдерживает. Но ты не позволяешь мне расстаться с ней. Если у тебя добрые намерения, не превращай в невыносимое бремя жизнь той, которой ты отказываешь в смерти.

Цезарь снова поклонился:

— Я надеюсь сделать твою жизнь достойной тебя!

— В таком случае, — продолжала Клеопатра, — избавь же меня от мучительной неизвестности! Ты-то уж во всяком случае не из тех людей, которые не заботятся о завтрашнем дне.

— Ты подразумеваешь человека, — жёстко возразил Цезарь, — который, быть может, и до сих пор жил бы среди нас, если бы с мудрым смирением...

Глаза Клеопатры, кротко и скромно смотревшие на холодное лицо победителя, сверкнули гневом.

— Оставь прошлое в покое! — сказала она высокомерно.

Впрочем, ей тут же удалось овладеть собой. Она продолжала совершенно другим тоном, не лишённым льстивой мягкости:

— Человек, желаниям которого повинуется мир, обозревает настоящее и будущее. Наверное, он решил судьбу детей, прежде чем согласился увидеть мать. Единственный, кто мог стать тебе поперёк дороги, сын твоего великого дяди...

— Он не мог избежать своей участи, — перебил Цезарь тоном искреннего сожаления. — Я оплакивал Антония и сожалею о несчастном юноше.

— Это делает честь твоему сердцу, — горячо воскликнула Клеопатра. — Вырвав у меня кинжал, Прокулей упрекал меня за то, что я подозреваю в жестокости и беспощадности самого кроткого из полководцев.

— Два качества, совершенно чуждые моей натуре, — заметил гость.

— И если даже они присущи ей, — подхватила царица, — ты должен подавить их. Ведь ты не раз говорил, что хочешь идти по стопам твоего великого дяди. Цезарион, — взгляни на его бюст, — как две капли воды похож на своего отца. Любовь твоего божественного дяди была драгоценнейшим из даров, посланных богами мне, несчастной, ожидающей теперь твоего приговора. И какая любовь! Мир не знает, чем я была для его великого сердца, но тебе, его наследнику, я хочу показать это, чтобы не дать места недоразумениям. Я ожидаю твоего приговора. Ты судья! Эти письма — мои главные оправдательные документы. Они тебе покажут меня такой, какой я была и есть, а не какой меня рисуют зависть и клевета. Поддай сюда ящик, Ира. В нём драгоценные свидетельства любви Цезаря, — письма, которые я получала от него.

Она открыла ящик дрожащими руками и, опустив голову, продолжала глухим голосом, точно вид этих писем перенёс её в прошлое:

— Из всех моих сокровищ этот ящик был для меня самым заветным. Он подарил его мне. Это случилось на Брухейоне, среди ожесточённых битв.

Развернув первый свиток, она указала Октавиану на него и на остальные письма, воскликнув:

— Нежные и красноречивые листки! В каждом отражается удивительный человек: могучий ум, неутомимый деятель, который на минуту забывает о своих стремлениях и отдаётся юношеской страсти. Если бы я была тщеславна, Октавиан, я могла бы назвать каждое из этих писем победным трофеем, олимпийским венком. Женщина, перед которой Юлий Цезарь сложил оружие, могла высоко носить голову, не так, как несчастная, которая выпрашивает теперь позволение умереть...

— Оставь эти письма, — мягко сказал Октавиан. — Кто же может сомневаться, что ты дорожишь ими, как сокровищем...

— Драгоценнейшим сокровищем и притом лучшей защитой обвиняемой, — уточнила она с живостью. — На них, как я уже сказала, основывается моё оправдание. Как ужасно пользоваться для такой цели тем, что всегда было свято. Но я должна сделать над собой усилие. Октавиан, эти письма возвращают жалкой, больной просительнице достоинство и образ царицы. Мир знает только две силы, перед которыми склонялся Юлий Цезарь: желания тоскующей женщины, распростёртой здесь на ложе, и всепобеждающую смерть. Странное сочетание! Но я его не боюсь, потому что смерть отняла его у жизни и у меня... Одну минуту... Мне совестно читать вслух похвалу самой себе. Но вот что здесь написано: «Благодаря тебе, неотразимая, — пишет он, — я впервые узнал теперь, когда молодость давно уже минула, какой прекрасной может быть жизнь».

С этими словами Клеопатра протянула письмо Октавиану. Но прежде чем она успела достать другой

свиток, он возвратил ей первый, сказав:

— Я слишком хорошо понимаю, как тяжело тебе пользоваться этими задушевными излияниями для защиты. Я могу себе представить их содержание и оценить его, не читая писем. Защита их не нужна, как бы ни были они подробны. К чему письменные доказательства в чарующей прелести, которая остаётся неувядаемой и поныне?

Эти лестные слова гордого молодого властелина вызвали улыбку на лице Клеопатры.

Октавиан заметил её. В ней действительно было столько очарования, что он сам почувствовал, как краснеет.

Эта несчастная женщина, эта страждущая просительница до сих пор могла опутать своими сетями, но только не его, защищённого броней холодного рассудка. Что же придавало такую чарующую прелесть этой женщине, давно уже перешагнувшей предел молодости? Проникающий в душу голос, или её выразительное лицо, или страдания и слабость, удивительно сочетавшиеся с царственным величием, или, наконец, сознание, что любовь её сковывала несокрушимыми узами величайших и сильнейших?

Во всяком случае, даже ему следовало остерегаться её чар. Но он умел обуздывать свои страсти, в отличие от своего великого дяди.

Впрочем, Октавиану необходимо было удержать Клеопатру от самоубийства, а для этого она должна была поверить в его увлечение. Он хотел доказать своё превосходство «великой царице Востока», до сих пор пользовавшейся славой женщины, неотразимой, как смерть. Только следовало приняться за это осторожно, чтобы не испортить дела. Она должна последовать за ним в Рим. Благодаря ей и её детям триумф его будет самым блестящим и замечательным, какой только видели сенат и народ. Итак, он возразил шутливым тоном, в котором, однако, слышалось внутреннее волнение:

— Мой дядя был известным поклонником прекрасных женщин. Не одна из них вплетала цветы в его венок, и многим он признавался в любви устно, а может быть, так же как и тебе, письменно. Его гений был выше и во всяком случае многостороннее моего. Он мог в одно и то же время с одинаковым увлечением отдаваться самым разнообразным вещам. Меня же всецело поглощает государство, правление, война. Я уж и тому рад, что могу скрасить короткие минуты отдыха произведениями наших поэтов. Где же мне, обременённому делами, посвящать себя прекраснейшей из женщин? Если бы я мог делать то, что хочу, ты была бы первой, от которой чудесный дар Эроса... Но этого не должно быть. Мы, римляне, умеем укрощать наши желания, даже самые пылкие, когда того требует долг. Нет города на земле, в котором было бы столько богов, сколько их здесь! Чтобы понять их сущность, нужны особые дарования... Но скромные боги домашнего очага! Они слишком просты для вас, александрийцев, всасывающих философию с молоком матери... Неудивительно, что я напрасно ищу их здесь. Разумеется, они, наши домашние боги, не смогли бы ужиться здесь, где строгие требования Гименея должны умолкнуть перед пылкими желаниями Эроса. Брак не считается здесь священным... Кажется, мои слова тебе неприятны.

— Потому что в них нет правды, — отвечала царица, с трудом подавив своё недовольство. — Но, если не ошибаюсь, ты намекаешь на мою связь с человеком, который был мужем твоей сестры. Вы, римляне, ни во что не ставите браки вашей знати с иностранками... Но я... я бы не стала говорить этого, но ты заставляешь меня высказаться, и я выскажусь, хотя Прокулей, твой друг, советовал мне быть осторожней на этот счёт... Я, Клеопатра, была уже женой Марка Антония, по законам и обычаям нашей страны, когда ты обвенчал его со вдовой Марцелла, едва успевшего закрыть глаза. Не твоя сестра, Октавия, а я была покинута, я, которой до конца принадлежало его сердце, я, чьи предки были великими царями, не уступающая по происхождению дочерям ваших знатнейших фамилий...

Тут она остановилась. Она дала волю охватившему её порыву и продолжала уже более мягким тоном:

— Знаю, что ты предложил этот брак в интересах мира и благосостояния государства.

— Да, и для того, чтобы пощадить жизнь десятков тысяч, — гордо прибавил Октавиан. — Твой светлый ум правильно понял мои намерения. У вас, женщин, голос сердца заглушает всякие соображения. Только мужчина, римлянин, может остаться глухим к пению сирен. В противном случае я бы никогда не выбрал для своей сестры такого супруга, — я бы и сам не мог противостоять желанию обворожительнейшей из женщин... Но мне не стоит и пытаться. Твоему сердцу не так легко увлечься Октавианом, как увлеклось оно Юлием Цезарем или блестящим Марком Антонием. Должен сознаться, что я, может быть, не стал бы заканчивать эту злополучную войну самолично и поручил бы послу вести переговоры, если бы меня не привлекало в Александрию стремление ещё раз увидеть женщину, красота которой меня ослепляла, когда я был ещё мальчиком. Теперь, уже зрелый мужчина, я хотел испытать удивительные духовные дарования, ту несравненную мудрость...

— Мудрость! — воскликнула царица, пожимая плечами. — Того, что называют этим именем, отмерено тебе большей мерой. Моя судьба доказывает это. Гибкость духа, которым наделили меня бессмертные, не выдержала испытания в это печальное время. Но если ты действительно хочешь узнать, что представляет собой дух Клеопатры, избавь меня от ужасной неизвестности, дай возможность моей измученной душе оправиться и развернуться.

— От тебя самой, — с живостью перебил её Октавиан, — зависит создать для себя и своих близких не только спокойное, но и прекрасное будущее.

— От меня? — с удивлением спросила Клеопатра. — Наша участь в твоих руках. Я не предъявляю нескромных требований, я прошу одно: сказать мне, что нам предстоит, что ты называешь прекрасным будущим?

— То самое, — спокойно отвечал Цезарь, — что, по-видимому, составляет главный предмет твоих желаний: спокойную жизнь, свободу духа, к которым ты стремишься.

Грудь женщины заволновалась сильнее, и, охваченная нетерпением, которого не могла пересилить, она воскликнула:

— Уверяя меня в своём расположении, ты всё-таки не хочешь дать ответ на вопрос, который меня мучит и который, без сомнения, у тебя есть...

— Упрёки? — возразил Октавиан с хорошо разыгранным удивлением. — Скорее я мог бы быть в претензии. Явившись сюда с дружественными намерениями, которые ты совершенно правильно усмотрела в моих словах, я был огорчён принятыми тобой мерами. Ты хотела предать огню свои сокровища. Конечно, было бы странно ожидать проявления дружбы со стороны побеждённого, но согласишься, что трудно придумать что-нибудь более враждебное.

— Оставь в покое прошлое. Кто же не попытался бы уменьшить добычу победителя? — спросила Клеопатра.

Видя, что Октавиан медлит с ответом, она продолжала с большим оживлением:

— Говорят, будто горный баран, доведённый до крайности, бросается на охотника и увлекает его вместе с собой в пропасть. То же желание появляется у людей, и я думаю, что оно делает честь как человеку, так и животному. Ещё раз прошу тебя, забудь прошлое, как я стараюсь его забыть! Скажи, что ты оставишь трон Египта за мальчиками, которых я подарила Антонию, под опекой не матери, нет, а Рима, мне же предоставишь жить, где я хочу, и я добровольно передам тебе все свои сокровища и богатство.

При этом маленькая ручка Клеопатры сжалась в кулак от нетерпения, но Октавиан опустил глаза и сказал:

— Имуществом побеждённого располагает победитель; впрочем, сердце не позволяет мне применять обычные законы к тебе, так далеко превосходящей обыкновенных людей. Твоё богатство должно быть громадно, хотя нелепая война, которую Антоний затянул надолго благодаря твоей помощи, поглотила огромные суммы. Но в этой стране растроченное золото, по-видимому, вырастает снова, как скошенная трава.

— Ты говоришь, — с гордостью возразила Клеопатра, — о сокровищах, собранных в течение трёх столетий моими предками, великими царями обильной земли, для поддержания славы и блеска своего дома и украшения его женщин. Бережливость была чужда щедрой и широкой натуре Антония, но то, что осталось, не покажется незначительным даже самой жадности. Все до последней вещицы записано.

С этими словами она взяла у казначея Селевка свиток и протянула Октавиану, который принял его с лёгким поклоном. Но едва он начал читать, как казначей, маленький тучный человек с блестящими глазками, почти исчезавшими на полном лице, поднял палец и, указывая на царицу, объявил, что она задумала скрыть некоторые вещи и потому не велела заносить их в список.

Кровь прихлынула к лицу измученной, охваченной лихорадочным нетерпением женщины, и, не помня себя, она кинулась на доносчика, который благодаря ей из бедности и ничтожества возвысился до своего теперешнего положения. Клеопатра осыпала его пощёчинами, пока Октавиан, смеясь, не крикнул, что она хотя награждает негодяя по заслугам, но, кажется, уж наградила довольно. Тогда она бросилась на ложе, в порыве отчаяния жалуюсь с полными слёз глазами, что эта невыносимая травля внушает ей отвращение к самой себе. Потом, схватившись за голову, воскликнула:

— Достоинство царицы, не изменявшее мне всю жизнь, спадает с меня, как обветшавшая мантия, на глазах врага. Но что я теперь? Чем буду я завтра? Кто же, у кого кровь течёт в жилах, может остаться спокойным, когда ему, истомлённому голодом и жаждой, подносят к устам сочную кисть винограда и тут же отнимают её, лишь только он вздумает прикоснуться к ней? Ты явился сюда с уверениями в своих добрых намерениях; но льстивые, многообещающие слова, которыми ты думаешь успокоить меня, несчастную, всего лишь маковые росинки, которыми стараются заглушить лихорадочный жар. Если милость, которую ты мне сулишь, имеет целью только обмануть несчастную...

Но она не могла продолжать, так как Октавиан перебил её, повысив голос:

— Тот, кто считает наследника Цезаря, — сказал он с достоинством, — способным обмануть благородную женщину, царицу, подругу его великого предшественника, тот оскорбляет и унижает его. Но твой справедливый гнев служит тебе извинением. Да, — продолжал он совершенно другим тоном, — я даже рад этому гневу и готов быть ещё раз свидетелем такого порыва, прекрасного в своей необузданности. Царственная львица, очевидно, сама не знает, как она прекрасна, когда поддаётся бурному увлечению. Что же будет, когда любовь охватит её пылкую душу.

— Пылкую душу! — повторила царица, и внезапно в ней пробудилось желание испытать свою силу и над этим человеком, так гордившимся своей твёрдостью. Может быть, он сильнее других, но во всяком случае не неуязвим.

В сознании своей власти над сердцами мужчин, она повиновалась чисто женскому стремлению покорять сердца. Сердце врага тоже должно принадлежать ей. И прежде чем она успела дать себе отчёт в этих мыслях, её глаза засветились загадочным, многообещающим блеском и обворожительная улыбка заиграла на лице.

При всём самообладании молодого победителя, сердце его забило сильнее. Лицо вспыхнуло румянцем, побледнело и снова вспыхнуло. Как она смотрела на него! Неужели она полюбит племянника, как любила дядю, который благодаря ей познал, какое счастье может доставить жизнь. Да, счастлив тот,

кто целует эти дивные уста, кого обнимают эти прекрасные руки, чьё имя с нежностью произносит этот музыкальный голос.

Совершеннейший образец искусства, какой ему случилось видеть в Афинах — мраморная статуя Ариадны, — не мог сравняться в чистоте линий с этой женщиной. Кому же придёт в голову мысль об увядающей красоте в присутствии её? О нет! Чары, покорившие Юлия Цезаря, до сих пор сохранились в полной силе. Октавиан чувствовал их могущество. Он был ещё молод, всего тридцати трёх лет, и вот после стольких усилий наступил и его черёд упиваться нектаром благороднейших наслаждений, насытить душу и тело радостью.

Он быстро шагнул к ложу, желая схватить и прижать к губам её руку. Его пламенный взгляд встретился с её глазами; и она поняла, что происходит в его душе, и сама изумилась своей власти над этим сильнейшим и холоднейшим из людей, — власти, сохранившейся несмотря на все муки, душевные и телесные. Торжествующая улыбка, не лишённая горького презрения, мелькнула на её прекрасном лице. Довести ли до конца эту комедию любви, на которую она решилась в первый раз в жизни? Купить ли у него ценой самой себя счастье детей? Забыть ли о возлюбленном в угоду его врагу и дать право потомству и детям называть её не вернейшей из верных, а бесчестной женщиной?

На все эти вопросы как-то сам собой явился отрицательный ответ. Воспламенённый любовью взгляд Октавиана давал ей право почувствовать себя победительницей, и гордое сознание торжества отразилось на её выразительном лице слишком ясно, чтобы ускользнуть от такого пронизательного и недоверчивого человека. Но едва он понял, что ему угрожает, и вспомнил слова Клеопатры о Юлии Цезаре, которого могли победить только она и смерть, как тут же овладел собой. Краснея за собственную слабость, он отвёл глаза от её лица и, встретившись взглядом с Прокулеем и другими присутствующими, понял, что стоит на краю пропасти. Одна минута, и он мог бы потерять плоды тяжких усилий и упорного труда.

Страсть, светившаяся в его выразительных глазах, моментально погасла, и, обведя окружающих строгим и властным взглядом, он сказал твёрдым голосом, точно желая понять, какое впечатление произвела его слабость:

— Тем не менее мы предпочитаем видеть благородную львицу в этом величественном покое, лучшем украшении царей. Холодный рассудок, подобный моему, не совмещается с пылким сердцем.

Клеопатра скорее с удивлением, чем с разочарованием, следила за этой быстрой переменой. Он почти уже поддался ей, но вовремя заметил это, и, конечно, такой человек не подвергнется вторично опасности, которой едва избежал. И прекрасно! Он должен понять, что неправильно истолковал взгляд, воспламенивший ему сердце. Имея это в виду, она произнесла с величавым достоинством:

— Страдания, подобные моим, угасят всякий пыл. А любовь? Сердце женщины открыто для неё всегда, кроме тех случаев, когда оно утратило силу желать и радоваться. Ты молод и счастлив, твоё сердце и поныне требует любви, я знаю это, только во всяком случае не моей. Для меня же остаётся только один друг: тот, с опрокинутым факелом, которого ты не хочешь допустить ко мне. Он один доставит мне то, к чему душа моя стремится с детства: безболезненный покой. Ты улыбаешься. Моя прошлая жизнь даёт тебе право на это. Каждый живёт своей внутренней жизнью, но немногие понимают перипетии своей собственной, не то что чужой судьбы. Мир был свидетелем, как душевный покой ушёл из моей жизни. И тем не менее я не теряю надежды найти его. Одно лишь может помешать мне насладиться им: позор и унижение, но от них я застрахована...

Тут она запнулась, а затем прибавила, как бы в объяснение своих слов:

— Я надеюсь, что твоё великодушие избавит от них женщину, на которую — я ведь видела это — ты только что смотрел более чем милостивым взором. Я никогда не забуду о нём. Теперь же скажи мне

откровенно, в чём заключается твоё решение относительно меня и моих детей? Чего должны мы ждать от твоего милосердия.

— Достойной тебя и твоих близких участи, которую Октавиан тем охотнее обеспечит вам, чем доверчивее ты отнесёшься к его великодушию.

— И если я отнесусь с полным доверием и буду ожидать от тебя величия и благородства, какие доказательства твоей милости мы увидим.

— Можешь рисовать их со всей силой своего пламенного воображения, которое сумело даже мой взгляд истолковать в свою пользу и сделало счастливейшим из смертных величайшего и блистательнейшего из римских мужей. Если в конце концов он оказался нечестным, то, я полагаю, не по твоей, а по собственной вине. Но, клянусь Зевсом, четвёртый час пополудни...

С этими словами он прижал руку к сердцу и прибавил с выражением искреннего сожаления:

— Как ни жалко мне прерывать эту увлекательную беседу, но меня ждут важные и, к несчастью, неотложные дела.

— А ответ? — воскликнула Клеопатра, бросив на него взгляд, полный нетерпеливого ожидания.

— Неужели я должен повторять свои слова? — отвечал он. — Хорошо. Полное доверие с твоей стороны и всякая возможная милость с моей. Твоё сердце так полно тёплым чувством! Удели мне ничтожную частицу его и требуй взамен каких угодно даров. Я заранее обещаю их тебе.

С этими словами он дружески простился с ней и быстрыми шагами вышел из комнаты.

— Ушёл, ушёл! — воскликнула Ира, когда дверь закрылась за ним. — Угорь выскользнул из руки, схватившей его.

— Северный лёд, — задумчиво сказала Клеопатра, в то время как Хармиона помогала ей расположиться поудобнее, — так же скользок, как и холоден. Теперь не на что больше надеяться.

— Нет, нет, госпожа! — горячо возразила Ира. — Долабелла ожидает его на дворе Филадельфа. От него мы узнаем — он обещал мне это — решение Октавиана.

Действительно, повелитель встретил у первых ворот дворца юношу, который любовался прекрасной киринейской четверней.

— Славные лошади, — заметил Октавиан. — Подарок этого города. Ты поедешь со мной? Замечательная женщина, в высшей степени замечательная!

— Не правда ли? — горячо подхватил Долабелла.

— Бесспорно! Но хотя она почти что годится тебе в матери, а всё-таки опасна для юноши твоего возраста и характера. Какой сладкий голосок, какая живость, какой огонь. И при всём том благородство в каждом движении. Но я желал бы угасить, а не раздуть искру, которая, быть может, уже запала в твоё сердце. А какую сцену она разыграла и с каким мастерством!

Он слегка усмехнулся, но Долабелла воскликнул:

— Ты редко смеёшься, но этот разговор, по-видимому, развеселил тебя. Значит, он привёл к хорошему результату?

— Будем надеяться! Я был к ней милостив, насколько возможно.

— Прекрасно! Могу ли я узнать, какое будущее готовят для неё твоя доброта и мудрость? Или, проще сказать, что обещал ты злополучной царице?

— Мою милость, если она доверится мне.

— Прокулей и я стараемся укрепить её доверие. И если это нам удастся?..

— То, как я уже сказал, она заслужит мою милость, полную милость.

— Но её будущая судьба? Что ты готовишь для неё и её детей?

— Это зависит от степени её доверия.

Он остановился, заметив упрёк во взгляде Долабеллы.

Ему хотелось сохранить восторженного поклонника в лице этого юноши, быть может, предназначенного для великих дел, и потому он продолжал доверчивым тоном:

— С тобой, мой юный друг, я могу быть откровенным. Я исполню все желания этой всё ещё обворожительной женщины; но сначала я воспользуюсь ею для триумфа. Римляне будут в претензии на меня, если я лишу их созерцания этой царицы, этой несравненной женщины, первой женщины своего времени во многих отношениях. Мы вскоре отправимся в Сирию. Царицу с её детьми я отправлю в Рим через три дня. Если они сыграют в моём триумфальном шествии роль, которую я им предназначил, то увидят, как Октавиан награждает тех, кто умеет ему угодить.

Долабелла слушал его молча и, когда тот взошёл на колесницу, попросил позволения остаться.

Октавиан направился на восток, к лагерю, где вблизи ипподрома готовились к постройке предместья Никополиса, то есть города побед, который напоминал бы грядущим поколениям о победе императора над Антонием и Клеопатрой.

Благородный представитель дома Корнелиев долго смотрел вслед Октавиану. Потом он выпрямился и пошёл во дворец. Он рисковал жизнью, но решился исполнить свой долг по отношению к благородной женщине, почтившей его своим доверием. Она была слишком хороша для того, чтобы служить потехой для черни.

Через некоторое время Клеопатра узнала, какой позор предстоит ей.

XXVI

На следующее утро царица долго шепталась с Хармионой, а та с нубийкой Анукис. Накануне заходил садовник Архибия, посланный им к Хармионе — узнать, не желает ли она попробовать удивительных смокв, растущих в эпикурейском саду. Насчёт этих фруктов тоже зашёл разговор, после которого Анукис отправилась в Каноп, а оттуда на рыбный рынок. Там она о чём-то поговорила с Пирром и передала ему корзину, с которой он отправился к себе на остров.

Вскоре Клеопатра вернулась из мавзолея. На лице её была печать решимости, и плотно сжатые губы придавали ему суровое выражение. Близкий конец она воспринимала как неизбежность.

Смерть казалась путешествием, которое она должна предпринять, чтобы избавиться от невыносимейшего позора. Жизнь и без того потеряла всякий смысл после смерти Антония. Да и какая это жизнь: мучительные колебания и нерешительность из опасения навредить детям.

Посещение гробницы должно было известить её покойного супруга о том, что она вскоре последует за ним. Клеопатра долго оставалась в зале, украшала цветами гроб возлюбленного, целовала его. Обращаясь к умершему, как к живому, она сообщила ему, что наступил день, когда его заветное желание, высказанное в завещании — покоиться в одном гробу с ней, — будет исполнено. Из всех бедствий, обрушившихся на неё, самым тяжким была разлука с ним.

Потом царица отправилась в сад, поиграла с детьми, поцеловала их и просила вспоминать о ней с любовью. Архибий догадался, что она замышляет, но Хармиона сообщила ему о грозящем позоре, и Архибий одобрил решение царицы. Невероятным усилием воли он скрыл тоску, раздиравшую его верное сердце. Она должна умереть. Мысль, что Клеопатра будет украшением триумфального шествия Октавиана, казалась невыносимой. На её благодарность за годы службы и просьбы по-прежнему заботиться о детях он отвечал со спокойствием, которое впоследствии удивляло его самого.

Когда царица сказала о предстоящем свидании с возлюбленным, Архибий спросил, разве она совсем отказалась от учения Эпикура, по мнению которого существование прекращается с жизнью.

Клеопатра отвечала утвердительно и прибавила:

— Даже безболезненное спокойствие перестало казаться мне высшим благом, с тех пор как я убедилась, что любовь приносит не только счастье, что скорбь неотделима от любви. Я не расстанусь с ней и с возлюбленным. Кто испытал то, что мне пришлось испытать, тот познал других богов — не пребывающих в безмятежном покое, как учитель Эпикур. Лучше вечные муки в ином мире вместе с возлюбленным, чем безболезненный, но и безрадостный покой в пустом, неосязаемом ничто... Да и ты не говоришь ли детям, что счастье в отсутствии страдания...

— Как и ты, — воскликнул Архибий, — я убедился, что высшее благо — любовь, и что любовь — страдание!

При этом он наклонился, желая поцеловать её руку, но она взяла его за голову и быстро прижала губы к его широкому лбу.

Он всхлипнул и, чувствуя, что теряет самообладание, поспешил вернуться к детям.

Клеопатра проводила его глазами, с грустной улыбкой, и пошла во дворец, опираясь на руку Хармионы.

Там она приняла ванну, а потом в дорогом траурном платье опустилась на ложе и велела подать завтрак.

Ира и Хармиона завтракали с ней.

К концу завтрака явилась нубиянка с корзинкой превосходных смокв. Как объяснила она Эпафродиту, находившемуся тут же, их принёс какой-то крестьянин. Стража успела уже утащить несколько штук.

Клеопатра и её приближённые полакомились смоквами, и сам Прокулей, явившийся приветствовать царицу, не отказался от угощения.

После завтрака царица пожелала отдохнуть.

Римляне и прислуга удалились.

Наконец-то женщины остались одни. Они молча взглянули друг на друга.

Хармиона дрожащей рукой сняла плоды, лежавшие наверху; Клеопатра же сказала глухим голосом:

— Супруга Антония, влекомая за колесницей победителя по римским улицам на потеху черни и завистливым матронам!

Она выпрямилась и воскликнула:

— Какая мысль! Что она доказывает: величие или ничтожество Октавиана? Он, гордящийся своим знанием человеческой природы, ожидает такой невероятной вещи от женщины, которая так же свободно открыла ему свою душу, как он скрыл свою. Мы покажем ему, как ошибся он в своём знании людей, и дадим ему урок скромности!

Презрительная улыбка мелькнула на её прекрасных губах; Клеопатра схватила корзинку и стала быстро выбрасывать смоквы на стол, пока не увидела, что под ними что-то шевелится. Тогда она глубоко вздохнула и сказала вполголоса:

— Вот она! — и решительно опустила руку в корзину, не сводя глаз со змеи, которая точно боялась исполнить свою ужасную обязанность.

— Благодарю, благодарю за всё! Не пугайтесь! Ты ведь знаешь, Ира, что это не больно. Мы уснём спокойно. — При этом она слегка вздрогнула и продолжала:

— Серьёзное, однако, дело — смерть. Всё равно, так нужно. Почему медлит змея? Да, да... Честолюбие и любовь были главными пружинами в моей жизни... Моё имя увенчает слава... Следую за тобой, Марк Антоний!

Хармиона наклонилась над левой, свободной рукой царицы и, рыдая, осыпала её поцелуями. Клеопатра, не отнимая руки, продолжала, следя за движениями аспида:

— Покой эпикурейского сада начинается для нас сегодня, моя дорогая... Будет ли он свободен от страданий, кто знает, но, и в этом я согласна с Архибием, страдание присуще высшему земному счастью — любви. Я думаю, что вы тоже убедились в этом. И эта страна, мой Египет, также дорога мне. Лучше ослепнуть на века, чем видеть её под римским игом. Близнецы и мой нежный цветок... Вспоминая о своей матери и её кончине, они будут, не правда ли...

Тут она вздрогнула и слегка вскрикнула. Змея, подобно холодной молнии, кинулась на её руку, и спустя несколько мгновений Клеопатра, бездыханная, опустилась на ложе.

Бледная, но с полным самообладанием, Ира сказала, указывая на неё:

— Точно уснувший ребёнок. Обворожительна и после смерти. Сама судьба должна была исполнить последнее желание великой царицы, непобедимой женщины. Гордые замыслы Октавиана разлетаются в

прах. Триумфатор без тебя явится римлянам.

С этими словами она наклонилась над усопшей, закрыла ей глаза, поцеловала её в губы и в лоб, и Хармиона последовала её примеру.

В соседней комнате слышались шаги.

— Время не терпит! — воскликнула Ира. — Пора. Не кажется ли тебе, будто солнце зашло?

Хармиона кивнула головой и тихо сказала:

— Яд?

— Вот он, — отвечала Ира, протягивая ей булавку. — Лёгкий укол, и всё кончено... Вот смотри! Но нет! Ты причинила мне жестокое горе. Ты знаешь, мой товарищ детства Дион... Я простила тебе. Но теперь... Окажи мне благодеяние! Избавь меня от необходимости самой воткнуть иглу... Согласна? Если да, то эта рука окажет тебе такую же услугу.

Хармиона прижала к сердцу племянницу, поцеловала её, слегка уколола её в руку и сказала, подавая другую булавку:

— Теперь твоя очередь. Сердца наши были полны любви к той, которая умела любить, как никто, и отвечала на нашу любовь. Что же значит другая любовь, от которой мы отреклись! Кому светит солнце, тот не нуждается в других светильниках. «Любовь — страдание», — сказала она перед кончиной. Но в этом страдании, и прежде всего в страдании самоотречения, таится счастье, неоценимое счастье, которое делает лёгкой смерть. Мне хочется только последовать за царицей... О как больно!

Игла Иры уколола её.

Яд действовал быстро. Ира почувствовала головокружение и с трудом сохранила равновесие. Хармиона опустилась на колени; в эту минуту слышался стук в дверь и громкие голоса Эпафродита и Прокулея, требовавших, чтобы их впустили.

Ответа не последовало; тогда они ворвались, сломав замок.

Хармиона, бледная и безжизненная, лежала у ног царицы; Ира же, шатаясь, поправляла диадему на голове Клеопатры. Её последней заботой была забота о нежно любимой госпоже.

Римляне бросились к ним вне себя от гнева. Видя, что Ира ещё держится на ногах, Эпафродит хотел поднять её подругу, восклицая:

— Славные дела, Хармиона, нечего сказать!

Она же открыла глаза и, собрав последние силы, произнесла слабым голосом:

— Да, славное и прекрасное дело, достойное дочери великих властителей[80]!

С этими словами она закрыла глаза. Прокулей же, поэт, долго смотрел в прекрасное, гордое лицо женщины, перед которой так провинился, и, наконец, произнёс с глубоким волнением:

— Не было на свете женщины, которую бы так почитали величайшие мира, так любили могущественные властители. Слава о ней будет передаваться из поколения в поколение. Но, прославляя её чарующую прелесть, её пламенную любовь, не побеждённую самой смертью, её ум, её знания, мужество, с которым она, женщина, предпочла смерть позору, не забудут и этих двух женщин. Их верность заслуживает этого. Сами того не сознавая, они воздвигли этой кончиной прекраснейший памятник своей властительнице: она была добра и достойна любви, если они предпочли смерть разлуке с ней.

Известие о смерти возлюбленной царицы ввергло во всеобщую печаль всю Александрию. Похороны её отличались неслыханным великолепием и пышностью, и много искренних слёз пролилось на них.

Смерть Клеопатры разрушила все планы Октавиана, и он с большим неудовольствием прочёл письмо, в котором она извещала его о своём решении. Однако, понимая непоправимость происшедшего и желая поддержать свою репутацию великодушного победителя, он разрешил похороны, достойные её сана. Его милосердие к мёртвым, которые уже не могли причинить ему вреда, не знало границ.

Отношение к детям Клеопатры тоже заставило мир удивляться его кротости. Сестра его, Октавия, взяла их в свой дом, оставив Архибия их воспитателем.

Когда появилось распоряжение уничтожить статуи Клеопатры и Антония, Октавиан тоже проявил большую гуманность, приказал пощадить и оставить на местах изображение царицы, которых было немало в Александрии и во всём Египте. Правда, на великодушие Октавиана повлияла значительная сумма в две тысячи талантов, пожертвованная одним александрийцем. Этим александрийцем был Архибий, отдавший всё своё состояние, чтобы почтить память дорогой умершей.

Благодаря ему статуи несчастной царицы остались там же, где были воздвигнуты.

Саркофаги Клеопатры и Марка Антония, подле которых покоились и останки Иры и Хармионы, постоянно украшались цветами. Гробница Клеопатры сделалась местом паломничества, в особенности для александрийских женщин; но из дальних стран нередко являлись посетители, в особенности дети знаменитой четы: Клеопатра Селена, впоследствии супруга нумидийского царевича Юбы, Антоний Гелиос и Александр. С ними являлся и Архибий, их учитель и друг. Он воспитал в них почтение к памяти женщины, доверившей своих детей его заботам.

ГЕНРИ ХАГГАРД

КЛЕОПАТРА

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ЧАСТЬ I

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГАРМАХИСА

I

Рождение Гармахиса

Пророчество. Убийство невинного дитяти.

Именем священного Озириса, почивающего в Абуфисе, клянусь, пишу истинную правду я, Гармахис, наследственный жрец храма, воздвигнутого в честь божественного Сети, бывшего фараона в Египте, теперь почившего в лоне Озириса, властителя Аменти.

Я, Гармахис, по воле божества происхожу от крови царственного властителя двойной короны, фараонов Верхнего и Нижнего Египта!..

Я — Гармахис, отложивший в сторону все светлые надежды, свернувший с правого пути, забывший голос бога ради голоса прекрасной женщины! Я — Гармахис, падший и погибший человек, над которым склонились все горести и невзгоды, подобно тому, как скапливаются воды в пустынном колодце; который вкусил и стыд, и унижение, сделался предателем из предателей, потерял будущие блага ради земного счастья, теперь несчастный, опозоренный, — я пишу, клянусь именем священной гробницы Озириса, пишу только правду.

О, Египет! Дорогая страна Кеми, чья чрезмерная почва вскормила меня, страна, которую я предал! Озирис! Изиды! Хор! Боги Египта, которым я изменил! О храмы священные, портики которых возносятся к небу, вашу веру я бессовестно предал! О, царственная кровь старейших фараонов, что медленно течёт теперь в моих ослабленных венах, ваши чистоту и доблесть я опозорил!

О, Невидимое Существо Всевидящего Бога!

О, судьба, чья чаша весов под тяжестью моих преступлений склонилась на мою сторону, услышите меня и в день страшный последнего суда засвидетельствуйте, что я пишу правду!

В то время как я пишу, вдали, за зеленеющими полями течёт Нил, и волны его кажутся окрашенными кровью. Передо мной солнечные лучи заливают горы Ливии, играя на колоннах Абуфиса. Жрецы и теперь ещё молятся в храмах Абуфиса, который навеки отвернулся от меня. Там приносятся жертвы, и каменные своды вторят жарким молитвам народа. Поньше из уединённой кельи моей башни-тюрьмы я, олицетворение стыда, жадно сторожу развевающиеся священные знамёна на стенах Абуфиса, жадно вслушиваюсь в пение, когда длинная священная процессия извивается, подвигаясь от святилища к святилищу.

Абуфис, навеки потерянный Абуфис! Моё сердце рвётся к тебе! Наступит день, когда песок пустыни занесёт все твои священные уголки! Боги осуждены, о Абуфис! Новая вера будет смеяться над твоей святыней, и на крепостных стенах раздастся зычный клик центуриона^[81]. Я плачу, плачу кровавыми

слезами; я виновник всех твоих несчастий, твоё унижение покрыло меня позором!

Я родился здесь, в Абуфисе, я, Гармахис, и мой отец, почивший в Озирисе, был великим жрецом храма Сетй. В самый день моего рождения родилась и Клеопатра, царица Египта. Я провёл своё детство среди цветущих полей, наблюдая за тяжёлой трудовой жизнью народа, бегая по обширным дворам храма. О своей матери я ничего не знал, так как она умерла, когда я был грудным ребёнком. Но перед смертью — она умерла в царствование Птолемея Авлета, прозванного Флейтистом, — по словам женщины, Атуи, моя мать открыла ящичек из слоновой кости, вынула из него золотой уреус, символ нашей царственной крови, и положила мне на лоб. Те, кто видел это, подумали, что Божество внушило ей этот поступок, и что под наитием Высшей Силы она предвидела, что дни македонян Лагидов[82] кончились и что скипетр Египта перейдёт наконец в руки настоящего царственного рода. Мой отец, великий жрец Аменемхат, у которого я был единственным ребёнком, узнав о поступке умирающей жены, возвёл руки и очи к небу и благодарил Божество за посланную свыше милость. Во время его молитвы аторы[83] осенили мою умирающую мать даром пророчества; больная с необыкновенной силой поднялась на своём ложе, трижды простёрла руки над колыбелью, в которой я спал с священным уреусом на лбу, и воскликнула: «Приветствую тебя, плод моего чрева! Приветствую тебя, царственное дитя! Приветствую тебя, будущий фараон! Священное семя Нектнера, ведущее род свой от Изиды, чрез тебя Бог очистит страну! Береги свою чистоту и будешь возвеличен и освободишь Египет! Но если в тяжкий час испытания ты не выдержишь и изменишь, да падёт на тебя проклятие всех богов Египта, проклятие твоих царственных предков, которые правили Египтом со времён Хора. Тогда ты будешь несчастнейшим из людей! Тогда после смерти пусть Озирис отвергнет тебя и судьи Аменти пусть свидетельствуют против тебя. Сет и Сехлет будут мучить тебя, пока не искупишь ты грех свой, пока боги Египта, названные чужими именами, не будут снова восстановлены в храмах Египта, пока жезл Гонителя не сломается совсем и следы чужестранца не изгладятся в египетской земле, пока не совершится всё, что ты причинил по своей слабости и неразумию!» Когда моя мать произнесла эти слова, дар пророчества оставил её, и она упала мёртвая на мою колыбель. Я проснулся с криком ужаса.

Отец мой, великий жрец Аменемхат, страшно испугался, так как пророческие слова матери были явной изменой Птолемею. Он хорошо знал, что, если эти слова дойдут до ушей Птолемея, фараон немедленно пришлёт солдат, чтобы убить дитя, к которому относилось это пророчество. Отец мой запер двери и заставил всех присутствующих дать ему под клятвой обещание, что ни одно слово из слышанного не сойдёт с их губ. Все поклялись ему святым символом храма, именем Божественных трёх атор и душой умершей, лежавшей под камнями.

Среди присутствующих находилась старая женщина, Атуа, бывшая кормилица моей матери, горячо любившая её. В наши дни — и не знаю, как это было в прошлом и как будет в будущем, — я наверное знаю, что нет такой клятвы, которая могла бы сдерживать женский язык. Мало-помалу, когда старая Атуа освоилась с происшедшим и страх отлетел от неё, она сообщила о пророчестве своей дочери, моей кормилице, заменившей мне мать.

Атуа рассказала обо всём дочери во время прогулки, когда они несли обед её мужу, скульптору, высекавшему изображение богов на могилах.

Рассказав, она добавила, что заботы и любовь кормилицы ко мне должны быть особенно велики и дороги, так как я будущий фараон, долженствующий изгнать Птолемея из Египта.

Дочь Атуи, моя кормилица, была так поражена этим чудом, что не могла сдержаться и ночью рассказала всё своему мужу, тем самым подготовив свою собственную гибель и гибель своего ребёнка, моего молочного брата. Муж её рассказал своему приятелю, тайному шпиону фараона.

Таким образом фараон скоро узнал обо всём. Тот был очень смущён известием. Хотя в пьяном виде Птолемей издевался над богами египтян и клялся, что Римский сенат — единственное божество, перед

которым он склонит колени, но в глубине души Птолемей боялся их, как я узнал впоследствии от его лекаря.

Оставаясь один ночью, он вопил и кричал, обращаясь к великому Серапису и другим богам, боясь быть убитым, боясь, что душа его обречена на вечные мучения. Чувствуя, что его трон колеблется, фараон рассылал богатые подарки в храмы, вопрошал оракулов (в особенности чтимый им оракул — в Фивах). Когда до него дошёл слух, что жена великого жреца при великом и древнем храме Абуфиса, одержимая перед смертью духом пророчества, предсказала, что её сын будет фараоном, он сильно испугался и, собрав несколько надёжных солдат, — они были греки и не боялись святотатства, — отправил их в лодке по Нилу с приказом проникнуть в Абуфис, отрубить голову сыну великого жреца и принести ему эту голову в корзине.

Но случилось так, что лодка, в которой поплыли солдаты, глубоко сидела в воде, а время плавания совпало как раз с убылью воды в реке. Лодка наткнулась и задержалась песчаными отмелями, а северный ветер дул так свирепо, что была опасность утонуть.

Тогда солдаты фараона начали сзывать народ, работавший вдоль берегов реки, приказывая им взять лодки и снять их с мели.

Народ, видя, что это были греки из Александрии, не шевельнулся: египтяне не любили греков. Но солдаты кричали, что они едут по делу фараона. Народ непременно хотел знать, что это за дело. Среди солдат был евнух, совершенно опьяневший от страха; он сообщил толпе, что они посланы убить дитя великого жреца Аменемхата, которому предсказано, что он будет фараоном и выгонит греков из Египта. Народ не посмел колебаться долее и исполнил приказание, не совсем поняв смысл слов евнуха. Но один из присутствующих, фермер и смотритель каналов, родственник моей матери, слышавший её пророческие слова над моей колыбелью, быстро пустился в путь и через три четверти часа стоял в нашем доме, со стороны северной стены великого храма. В это время мой отец находился в Долине Смерти, налево от большой крепостной стены, а солдаты фараона, усевшись на ослов, скоро добрались до нас. Фермер закричал старой Атуе, язык которой наделал столько зла, что солдаты, прибывшие с целью убить меня, близко от нас. Оба они с ужасом смотрели друг на друга, не зная, что делать. Если б они спрятали меня, солдаты не ушли бы, не разыскав моего убежища. Вдруг фермер, взглянув на двор, заметил игравшего там маленького ребёнка.

— Женщина, — спросил он, — чьё это дитя?

— Это мой внук, — отвечала она, — молочный брат принца Гармахиса; его мать навлекла на нас столько несчастий и бед!

— Женщина, — произнёс фермер, — ты знаешь свой долг! Делай же! — Он снова указал на играющее дитя. — Я приказываю тебе это священным именем Озириса!

Атуа затряслась от горя: дитя было её собственной крови, её родной внук, но, несмотря на это, быстро схватила его, вымыла, надела на него дорогое шёлковое платье и положила в мою колыбель, меня же старательно испачкала песком, чтобы моя белая кожа казалась темнее, сняла хорошее платье и сунула меня в грязный угол двора, чему, впрочем, я был очень рад.

Едва успел мой добрый родственник скрыться, как вошли солдаты и спросили старую Атую, где находится жилище великого жреца Аменемхата.

Атуа попросила их войти в дом и подала им мёду и молока, так как они были утомлены и хотели пить.

Утолив жажду, евнух, находившийся среди солдат, спросил, действительно ли сын Аменемхата лежит в колыбели. Атуа отвечала утвердительно и начала рассказывать солдатам, что ребёнку предсказаны величие и царская власть.

Греки засмеялись, один из них схватил дитя и отрубил ему голову мечом. Евнух показал Атуе бумагу, полномочие на убийство с печатью фараона, и велел ей передать великому жрецу, что его сын может быть царём и без головы.

Когда солдаты уходили, один из них заметил меня, игравшего в грязном углу, и заявил, что я больше похож на принца Гармахиса, чем убитый ребёнок. На одну минуту они остановились было, но потом прошли мимо, унося с собой голову моего молочного брата.

Через короткое время вернулась с рынка моя кормилица, мать убитого ребёнка, и, когда узнала всё, что произошло, пришла в отчаяние. Она и муж её хотели убить старую Атую и отдать меня солдатам фараона. В это время вернулся мой отец и, узнав всю правду, приказал ночью схватить скульптора и его жену и спрятать их в один из тёмных углов храма, чтоб никто более не мог видеть их.

Теперь у меня часто является сожаление, что по воле богов солдаты не убили меня вместо невинного ребёнка.

С тех пор стало известно, что великий жрец Аменемхат взял меня к себе вместо Гармахиса, убитого фараоном.

II

Неповиновение Гармахиса

Гармахис убивает льва

О чём говорила старая Атуа

После всего случившегося Птолемей Флейтист более не беспокоил нас и не посылал своих солдат на поиски того, кому было предсказано быть фараоном. Евнух принёс ему голову дитяти, моего молочного брата, когда царь сидел в своём мраморном дворце в Александрии, пил кипрское вино и играл на флейте перед своей женой.

По его приказанию евнух, держа за волосы, поднёс ему голову, чтобы рассмотреть получше. Фараон засмеялся, ударил её по щеке своей сандалией и приказал одной из девушек убрать фараона цветами, потом, преклонив колена, стал издеваться над мёртвой головой убитого ребёнка. Девушка, бойкая и смелая на язык — всё это я узнал уже потом, — сказала фараону, что он хорошо сделал, преклонив колена, так как убитое дитя было истинным фараоном, величайшим из царей, имя его было Озирис, а престолом — Смерть. Птолемей смутился при этих словах и задрожал. Злой и дурной по натуре, он страшно боялся суда Аменти и смерти. Он приказал убить девушку, найдя в её словах дурное для себя предзнаменование, крича, что он охотно посылает её вслед за убитым фараоном, которого она может почитать, как ей угодно. Птолемей отослал прочь и других женщин и перестал даже играть на флейте, пока на другой день снова не напился пьяным.

Александрийцы сложили по этому поводу песню, которая и до сих пор распевается на улицах Александрии. В ней они осмеивают Птолемея Флейтиста, играющего на своей флейте над мёртвыми и умирающими.

«Флейта его, — говорится в песне, — сделана из сырого тростника, взятого с берегов адской реки. Когда-нибудь под мрачной сенью ада вместе с тремя парками он будет играть на флейте. Лягушка займёт должность его дворецкого, а вода адской реки будет вином для Птолемея Флейтиста».

Годы шли. Я был слишком мал ещё и не имел понятия о важных событиях, происходивших тогда в Египте. Да у меня осталось и слишком мало времени, и я хочу говорить только о том, что близко касалось меня.

За эти истекшие годы мой отец и учителя обучали меня древней науке нашего народа, применяясь к моему детскому понятию. Я рос сильным, красивым мальчиком; волосы мои были черны, подобно волосам Божественной. Ну, глаза походили на голубой цветок лотоса, кожа уподоблялась алебастру. Теперь, когда всё это давно миновало, я могу говорить об этом без стыда. Я обладал большой физической силой.

Во всём Абуфисе не было юноши моих лет, который бы мог побороть меня или сравниться со мной в искусстве метать пращу или копьё.

Я страстно желал поохотиться за львом, но тот, кого я привык называть отцом, строго воспрещал мне это, говоря, что моя жизнь слишком дорога, чтобы так безрассудно рисковать ею. Когда я, склонившись перед ним, умолял объяснить мне смысл этих слов, старик нахмурился и отвечал, что боги посылают всё в своё время. Что касается меня, я ушёл рассерженный.

В Абуфисе был юноша, который вместе с другими убил льва, часто нападавшего на стада его отца. Завидуя моей силе и красоте, он уверял, что я страшный трус в душе и способен охотиться только за шакалами и газелями. Мне в то время шёл семнадцатый год, и я был вполне зрелым мужчиной. Когда я ушёл, рассерженный, от отца, то случайно встретился с этим юношей. Тот снова стал подсмеиваться надо мной, говоря, что кое-кто из жителей городка сказал ему, что огромный лев засел на берегах канала, пересекающего храм, и что берлога льва находится на расстоянии 30 стадий от Абуфиса. Он спросил меня с насмешкой, не хочу ли я помочь ему убить льва, или желаю уйти домой посидеть со старухами, которые будут расчёсывать мои локоны.

Это издевательство глубоко оскорбило меня. Я готов был броситься на юношу, но вместо того, забыв слова отца, ответил ему, что охотно пойду с ним, разыщу льва и докажу, такой ли я трус, каким он меня считает. Сначала юноша колебался, не хотел идти со мной, хотя у нас есть обычай охотиться за львом целой компанией. Наступила моя очередь смеяться. Тогда юноша пошёл, чтобы захватить свой лук, стрелы и острый нож.

Я же взял с собой моё тяжёлое копьё с рукояткой из тернового дерева и с серебряным яблоком на конце, чтобы не скользила рука.

Мы отправились молча, бок о бок, к берлоге льва. Когда мы пришли на место, солнце было близко к закату. На береговом иле мы нашли следы льва, который скрывался в прибрежном тростнике.

— Ну, хвостун, — сказал я, — ты желаешь пойти в тростник ко льву или мне идти? Я пойду поищу дорогу!

— Нет, нет, — возразил он, — не будь так глуп! Чудовище прыгнет и разорвёт тебя. Смотри!

— Я буду стрелять в камыши, может быть, он спит, я его подниму!

Юноша взял свой лук и прицелился.

Я не знал, как это случилось, но стрела разбудила спящего льва. С быстротой молнии, внезапно сверкнувшей из облака, выпрыгнул он из тростника и остановился перед нами с ошестинившейся гривой и налитыми кровью глазами. Стрела торчала в его боку. Лев яростно заревел; земля тряслась под нами от его криков.

— Пускай стрелу! — крикнул я. — Пускай, прежде чем он прыгнет!

Но мужество покинуло хвостуна, его зубы стучали, пальцы разжались, лук упал на землю, а сам охотник с громким криком бросился бежать, предоставив мне льва. Я стоял неподвижно, ожидая своего приговора, испуганный до того, что не мог бежать. Лев встряхнулся, присел и, одним огромным прыжком перелетев через меня, прыгнул опять вслед за убежавшим юношей, нагнал его и ударил своей огромной лапой по голове, так что голова его разбилась, как яйцо, которое ударили камнем.

Несчастный упал на землю мёртвый. Лев остановился над ним и снова заревел. Охваченный ужасом, почти бессознательно я схватил копьё и бросился на зверя. Тот поднялся на задние лапы и пошёл мне навстречу, так что голова его очутилась выше моей. Он ударил меня лапой. Я собрался со всеми силами и вонзил ему в горло широкое копьё; лев с рёвом опрокинулся назад, успев только слегка оцарапать меня.

Дико рыча от боли, он сделал два огромных прыжка в воздухе и, ударив передними лапами о копьё, упал на землю. Кровь из раны текла ручьём, он постепенно ослабел и ревел, как бык, пока не издох. Я был молод, стоял и дрожал от страха, хотя всякая опасность миновала.

Пока я стоял и смотрел на мёртвое тело того, кто издевался надо мной, и на труп льва, ко мне поспешно подбежала женщина, старая Атуа, которая — я тогда ещё не знал этого — пожертвовала своей плотью и кровью, своим внуком ради спасения моей жизни. Старуха собирала на берегу лекарственные травы, в которых она знала толк, не подозревая даже о близости льва. (Действительно, львы, по большей части, редко встречаются около селений и чаще всего уходят в пустыню и Ливийские горы.) Но издали Атуа видела всё, что произошло. Подойдя ко мне, она узнала меня, поклонилась и приветствовала меня, называя царственным юношей, достойным всяких почестей, возлюбленным избранником святых Трёх и фараоном-освободителем!

Полагая, что старуха помешалась от страха, я спросил её, о чём она толкует.

— Разве это такой великий подвиг, что я убил льва? — спросил я. — Стоит ли об этом так много говорить? Были и есть люди, которые убивали львов. Разве божественный Аменкетеп не убил своей рукой более сотни львов? На скарабее [\[84\]](#), что висит в комнате моего отца, написано, что некогда он сам убивал львов. А другие? Для чего же ты этот вздор говоришь, глупая женщина?

По молодости я не придавал особого значения тому, что убил льва, и искренно удивлялся словам Атуи. Но старуха не переставала прославлять меня, называя разными священными именами.

— О, царственный отрок! — кричала она. — Справедливо пророчество твоей матери! Истинно Великий Дух осенил её. Божественный! Исполняется предсказание!

Лев рычит в римском Капитолии, умирающий человек — это Птолемей — македонское отродье, рассеянное, как плевелы, по всей стране Нила. Вместе с македонянами и лагидами ты поразишь и римского льва. Но македонская собака постыдно убежит, и римский лев поразит её, а ты поразишь льва, — и дорогая страна Кеми будет вновь свободна, свободна! Только будь чист, как повелели боги! Ты — сын царственного дома! Надежда Кеми! Берегись только женщины-губительницы, и всё сбудется, что я сказала! Я бедна, несчастна и убита горем. Я согрешила, рассказав и открыв великую тайну, и за этот грех дорого заплатила своей плотью и кровью, но ради тебя я охотно отдаю всё. Во мне уцелела ещё мудрость нашего народа, и перед богами все равны. Они не отталкивают от себя бедняков. Божественная мать Изиды говорила со мной прошлой ночью, приказала мне собрать лекарственных трав и рассказать тебе все знамения. И всё сбудется так, как я сказала, если ты устоишь против великого искушения. Пойди сюда, царственный юноша!

Атуа поставила меня на самом берегу канала, вода которого была глубока и прозрачна.

— Посмотри на это лицо, которое отражается в воде! Разве не достойно это чело двойной царской короны? Разве в этих прекрасных глазах не светится царское величие? Разве творец наш, великий Пта, не для того создал этот стан, чтобы облечь его царской лентой и привлекать взоры людей, которые в лице твоём видят Бога?

— Слушай же, слушай! — продолжала старуха уже другим, визгливым, старушечьим голосом. — Не будь глупцом, мальчик, царапина льва — вещь опасная. Она ядовита, как укусы змеи, — её надо лечить, иначе она будет гноиться, ты будешь бредить львами и змеями, царапина превратится в язву. Но я умею помочь, умею. Я не совсем ещё глупа. Заметь, всё сходится: в безумии заключается мудрость, а в мудрости много безумия. Ля! Ля! Ля! Сам фараон не сумеет сказать, где начинается одно и где кончается другое. Ну, не гляди же так печально, словно кот в красном платье, как говорят в Александрии. Дай мне положить целебной травы на твою рану, и через шесть дней ты будешь совсем здоров, и кожа твоя будет опять

нежна и бела, как у трёхлетнего ребёнка. Нужды нет, что будет немножко больно, мальчик. Клянусь тем, кто спит в Абуфисе, клянусь Озирисом, от этой царапины не останется и следа, ты будешь чист и здоров, как жертва Изиды в новолуние, если позволишь мне приложить этих трав. Не так ли, добрые люди? — обратилась Атуа к толпе, собравшейся около нас, пока она пророчествовала. — Я произнесла над ним заговор, который очень помогает моему лечению. Ля! Ля! Нет ничего лучше заговора. Если вы верите в него, приходите ко мне, когда ваши жёны бесплодны. Это будет лучше, чем царапать столбы в храме Озириса, я уверена. Я сделаю их плодовитыми, как двадцатилетние пальмы. Но, видите ли, надо знать заговор, всё приходит к своему концу! Ля! Ля!

Слушая всё это я, Гармахис, приложил руку к голове, не зная, брежу ли я или вижу всё это во сне, но, оглянувшись кругом, заметил в толпе седоволосого человека, который зорко наблюдал за нами. После я узнал, что это был шпион Птолемея, который был послан фараоном вместе с солдатами, чтобы убить меня, когда я лежал ещё в колыбели. Мне стало понятно тогда, почему Атуа напускала на себя вид безумной.

— Станный у тебя заговор, старуха, — сказал насмешливо шпион. — Ты болтала о фараоне, о двойной короне, о Пта, который создал этого юношу, чтобы носить её, не так ли?

— Ну да, это только часть моего заговора, глупый человек! Скажи, чем же мне клясться, как не именем, божественного фараона Флейтиста, который своей музыкой очаровывает нашу счастливую страну? Как же мне не клясться его двойной короной, которую он носит по милости Александра Македонского? А вот что вы все знаете: вернули ли они хламиду, которую Митридат взял в Коссе? Помпей, не правда ли, носил её в дни торжества? Помпей в одежде Александра! Комнатная собачка в львиной шкуре! Говоря о львах, — посмотрите-ка, что сделал этот юноша: убил льва своим копьем! Вы должны быть рады этому, добрые люди, ведь это был ужасный лев. Взгляните на его зубы, на его когти! Какие когти! Такой старой женщине, как я, довольно взглянуть на них, чтобы закричать от страха! А мертвец там, мёртвое тело — лев убил его. Увы, он в лоне Озириса теперь. А подумать, час тому назад он был жив, как вы или я! Ну, несите же труп набальзамировать! Он быстро набухнет и разложится от жары; и тогда его нельзя будет резать. Семьдесят дней в щёлке — это всё, что ему предстоит. Ля! Ля! Как долго болтает мой язык, а уже темнеет! Уберите же прочь труп бедного мальчика и унесите льва! Ты, мой мальчик, возьми траву, и твоя царапина быстро пройдёт. Я знаю кое-что, хотя и безумна, мой милый внучек! Дорогой мой! Я счастлива, что его святость великий жрец усыновил тебя, когда фараон, да благословит Озирис его священное имя, прикончил его Собственного сына. Ты глядишь красавцем! Я уверена, что настоящий Гармахис не сумел бы искуснее тебя убить льва! Простая кровь — здоровая и хорошая кровь!

— Ты знаешь слишком много и говоришь слишком скоро! — проворчал совершенно обманутый шпион. — Правда, это — храбрый юноша. Ну, вы, люди, несите труп в Абуфис, а остальные помогите мне содрать шкуру со льва. Мы пришлём тебе эту шкуру, молодой человек, хотя ты и не заслуживаешь этого. Нападать на льва — это безумие, а всякий безумец достоин гибели. Никогда не борись с сильным, пока сам не будешь так же силен! Я отправился домой, изумлённый происшедшим.

III

Выговор Аменемхата

Гармахис молится

Знамение, посланное великими богами.

Пока я, Гармахис, шёл домой, сок травы, которую Атуа положила на мои раны, причинял мне жгучую боль, но потом эта боль утихла. Правду говоря, я думаю, что трава эта — замечательное средство, так как через два дня я был совсем здоров, и на моём теле не осталось даже следа царапины. Теперь меня беспокоило только то, что я ослушался приказания великого жреца Аменемхата, которого называл отцом. До настоящего дня я не знал, что он мой родной отец, полагая, что его сын убит и что с согласия богов он усыновил меня и воспитал, приучая прислуживать в храме. Сердце моё было беспокойно, я боялся старика, который был страшен в гневе и говорил со мной холодным голосом мудрости, но, во всяком случае, решился пойти к нему, сознаться в моём непослушании и вынести наказание.

Держа окровавленное копье в руке, с кровавой раной в груди, я прошёл наружный двор храма и подошёл к двери жилища великого жреца. Это была большая комната, уставленная кругом скульптурными изображениями богов. Днём солнечный свет проникал в неё через отверстие в массивном каменном своде. Ночью же она освещалась тысячей лампадой. Я бесшумно проскользнул в комнату, благо, дверь была не заперта, приподнял занавеси и остановился с сильно бьющимся сердцем.

Лампада освещала комнату, и при свете её я увидел старика, сидевшего на кресле из слоновой кости и чёрного дерева перед каменным столом, на котором были разложены мистические письма великих сказаний о жизни и смерти. Старик не читал, а спал. Его длинная белая борода лежала на столе, подобно бороде мёртвого человека. Мягкий свет лампы падал на его лицо, на папирусы, на его бритую голову, на белые одеяния, на стоявший около него посох из кедра — знак его жреческого достоинства, на кресло из слоновой кости с ножками в виде львиных лап. Ясно обрисовывался сильный и мощный лоб, царственное величие в резких чертах лица, седые брови и чёрные впадины глубоко впавших глаз. Мягко поблескивало на его руке золотое кольцо с выгравированными на нём символами невидимого божества. Всё остальное было в тени. Я смотрел на него и трепетал; во всей его фигуре было почти божественное величие. Он так долго жил в постоянном общении с богами, так глубоко проник во все тайны божества, которых мы не умеем постичь, что теперь, казалось, приобщился Озирису и заставлял благоговеть перед собой простых смертных. Я стоял и смотрел на него. Вдруг он открыл свои глубокие тёмные глаза и, не глядя на меня, не поворачивая головы, заговорил:

— Почему ты не послушался меня, сын мой? Как могло случиться, что ты вступил в борьбу со львом, когда я запретил тебе?

— От кого ты узнал это, отец мой? — спросил я, совершенно поражённый.

— Как я знаю это? Разве нет других средств узнать, кроме наших чувств? О, глупое дитя! Разве мой

дух не был с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве я не молился, прося богов защитить тебя и вернее направить твой удар в горло льва? Как ты мог решиться на это, сын мой?

— Хвастун посмеялся надо мной, и я пошёл! — ответил я.

— Я знаю это и прощаю тебя ради твоей горячей молодой крови, Гармахис! Слушай меня теперь, и пусть мои слова глубоко вопьются в твоё сердце, подобно водам Сигора, разливающегося по горячим пескам при восходе Сириуса[85]. Слушай же! Хвастун был послан, чтобы испытать тебя, твою силу и твёрдость, а ты не выдержал искушения. Поэтому час твой отсрочен. Если же бы ты отвернулся от искушения и устоял, то путь твой был бы широко открыт перед тобой... Но ты слаб ещё, и час твой не пришёл ещё!

— Я ничего не понимаю, отец мой! — отвечал я в полном недоумении.

— Что сказала тебе старуха Атуа на берегу канала?

Я повторил отцу всё, что говорила мне старуха.

— И ты веришь этому, Гармахис, сын мой?

— Нет, — ответил я, — как я могу верить всем этим сказкам? Она, наверное, помешалась. Все считают её безумной!

Аменемхат в первый раз взглянул на меня, стоявшего в тени.

— Сын мой! Сын мой! — вскричал он. — Ты ошибаешься. Старуха не безумная! Она говорила правду, говорила не от себя, а повинуюсь голосу, который не будет лгать. Эта Атуа — пророчица. Узнай же, что боги Египта предназначили тебе исполнить. Горе тебе, если ты уступишь слабости! Слушай: ты вовсе не чужой мне, усыновлённый и принятый мной в дом и храм. Ты — мой родной сын, и эта старуха спасла тебя от смерти. Больше того, Гармахис, только в тебе и во мне течёт ещё царственная кровь Египта. Ты и я, из всех людей, произошли непосредственно от фараона Нектнебфа, которого персиянин Охус выгнал из Египта. Персиянин пришёл и ушёл, за ним пришёл македонянин, и вот уже более трёх столетий, как Лагиды-узурпаторы владеют двойной короной, оскверняя страну Кеми и подрывая нашу религию. Заметь теперь: около двух недель, как Птолемей Дионисий, Птолемей Авлет, Флейтист, который хотел убить тебя, умер: евнух Потин, тот самый, который несколько лет тому назад приходил к нам с солдатами фараона, вопреки воле своего господина, покойного Авлета, посадил на трон его сына, мальчика Птолемея. Сестра его, прекрасная и гордая девушка Клеопатра, которой был завещан престол, убежала в Сирию. Если не ошибаюсь, она собирает войска и хочет воевать с братом. Между тем, заметив это, сын мой, римский орёл парит в вышине, распустив свои когти и поджидая удобного случая спуститься на жирного барана — Египет, чтобы растерзать его. Народ Египта измучен под иноземным игом, египтяне ненавидят персиян, не могут слышать без злобы гимны македонян, даже на рынках Александрии. Вся страна ропщет и страдает под игом греков, под сенью Рима. Мало ли нас угнетали? Разве не избивались наши дети, не грабились наши богатства в угоду жадности и распутству Лагидов? Разве не были заброшены наши храмы? Разве эти ничтожные греческие болтуны не издевались над величием наших вечных богов, не осмелились смеяться над бессмертной истиной, не называли всевышнее существо другим именем — Сераписа? Разве Египет не скорбит о свободе? Ужели его вопль будет напрасным? В тебе, сын мой, начертан путь к свободе. Тебе я передам мои права. Твоё имя уже произносится шёпотом в святилищах. Жрецы и народ готовы принести клятву верности тому, кто будет представленным. Но время ещё не пришло. Ты, подобно молодому зеленеющему дереву, не вынесешь такой бури. Сегодня тебе было послано испытание, и ты не устоял! Тот, кто служит богам, Гармахис, должен забыть все плотские слабости. Он должен быть равнодушным к насмешкам и похоти. Высокая твоя миссия, но ты должен быть достоин её. Если ты не подготовишься и окажешься слабым, на твою голову падёт моё проклятие, проклятие всего Египта, всех оскорблённых

египетских богов! Пойми, что сами бессмертные боги в своих мудрых предназначениях требуют от человека орудия своих планов, стойкости и храбрости, как от воина с мечом в руке! Горе мечу, ломающемуся в час битвы, ибо он достоин быть брошенным в жертву ржавчине или расплавленным в огне! Пусть сердце твоё будет чистым, сильным и великим! Твой удел — не обычный удел всех смертных! Если восторжествуешь, Гармахис, слава твоя будет велика и здесь на земле, и после смерти! Падёшь ты — горе, горе тебе тогда!

Он помолчал, склонив голову, потом снова заговорил:

— О всём этом ты узнаешь после! А пока ты должен многому учиться. Завтра я тебе дам письмена, ты поедешь вниз по Нилу, за белостенный Мемфис, в Анну. Там ты пробудешь несколько лет и будешь изучать нашу древнюю мудрость под сенью таинственных пирамид, при которых будешь состоять в качестве наследственного великого жреца. Тем временем я останусь здесь и буду ждать, так как час мой ещё не пробил. С помощью богов я буду плести паутину смерти, в которую ты поймал македонскую осу. Подойди, мой сын, подойди и поцелуй меня в лоб. В тебе — вся моя надежда, надежда всего Египта. Будь верен правде, воспари с мужеством орла над превратностями судьбы — и ты будешь велик и славен! Если же предашься лжи и падёшь, я плюну на тебя, и ты будешь проклят, а дух твой останется в рабстве до тех пор, пока не настанет день, печаль превратится в радость, и Египет почувствует себя свободным!

Весь дрожа, я подошёл к отцу и поцеловал его в лоб.

— Пусть самое тяжкое проклятие падёт на меня, — сказал я, — если я обману тебя и окажусь слабым, отец мой!

— Нет, не моё, нет, — вскричал он, — но тех, кому я служу и повинуюсь! Иди, мой сын, и сбереги мои слова в глубочайших тайниках своего сердца! Замечай всё, что увидишь, собирай росу мудрости, будь всегда готов к борьбе. Не бойся за себя, ты защищён от всего. Ничто не может повредить тебе, только ты сам можешь сделаться врагом самому себе и погубить себя. Иди. Я всё сказал!

Я ушёл с переполненным сердцем. Ночь была тиха. Ни малейшего движения не замечалось в дворах храма. Я прошёл по ним и достиг входа в портик у наружных ворот храма. Я жаждал уединения, стремления к небу, быстро взбежал двести ступенек и очутился на массивной кровле портика, здесь прижался к парапету и засмотрелся вдаль. Полный месяц выплыл над холмами Аравии; лучи его озарили портик, где я стоял, стену храма позади меня и неподвижные изваяния богов. Холодный свет луны упал на далеко простирающиеся обработанные поля. Небесная лампада Изиды загорелась на небе, и лучи её ласково скользнули вниз, в долину, где Сигор, отец страны Кемии, медленно катит свои волны к морю. Яркие лучи нежно поцеловали воду, которая улыбнулась им в ответ; и горы, и долина, река, храм, город, степь — всё это залилось ярким светом. Божественная мать Изида проснулась и облекла землю в блестящее, нарядное платье. Это была красота, не успевшая ещё разогнать сладкой дремоты, торжественная и тихая, словно в час смерти. Мощно высились храмы перед лицом ночи. Никогда они не казались мне столь величественными, как в этот час, — эти вечные алтари божества, перед которыми вся жизнь кажется жалкой и ничтожной. Мне предназначено было править этой залитой бледными лучами луны страной. На мою долю выпала честь охранять эти священные алтари. Я должен изгнать Птолемея и освободить Египет от чужеземного ига!

В моих жилах текла кровь великих фараонов, которые мирно спали в своих гробницах в долине Фив, ожидая страшного судного дня. Душа моя переполнилась, когда я мечтал о моей великой, славной участи. Я сложил руки и тут же, на крыше портика, начал молиться так горячо, как никогда не молился после.

— О, Вечная Истина, — молился я, — Бог богов, Который был от начала веков, Бог истины, дающий всему жизнь, около которого вращаются все божества, саморождённый и пребывающий вовек, услышь

меня! Услышь! О, Озирис, повелитель стран и ветров, правитель веков, властитель запада, владыка Аменти, услышь меня! О, Изида, великая, божественная мать, мать Хора! Таинственная мать, сестра, супруга! Услышь меня! Если я действительно избран Богом для выполнения Его предначертаний, дайте мне знамение сейчас, чтобы навеки запечатлеть мою жизнь небесной милостью. Прикоснитесь до меня, о боги, и покажите мне славу и сияние лица вашего! Услышьте, услышьте меня!

Я опустился на колени и поднял глаза к небу. Вдруг облако закрыло месяц, стало темно, воцарилась глубокая тишина. Даже собаки перестали выть в городе. Тишина становилась всё томительнее. Стало тяжело, как в присутствии смерти. Я чувствовал, что душа моя готова была вырваться из тела, и волосы шевелились на голове. Потом мне показалось, что крепкий портик обрушился подо мной, и чей-то голос проник в моё сердце.

— Смотри, вот знамение! Приучайся терпеливо владеть собой, Гармахис!

Когда голос произнёс эти слова, холодная рука коснулась меня, вложив что-то в мою руку. Облако исчезло, снова засияла луна, ветер прекратился, портик не колебался больше подо мной, и ночь снова вступила в свои права.

При свете месяца я мог рассмотреть, что осталось в моей руке. Это был дивный распускающийся бутон священного лотоса.

Пока я разглядывал его, лотос упал из моей руки и исчез, оставив меня в полном удивлении.

IV

Ответ Гармахиса и его встреча с дядей Сепа, великим жрецом Анну-ель-ра

Его жизнь в Анну и слова Сепа.

Рано утром на следующий день меня разбудил жрец храма и передал мне приказание готовиться к путешествию, о котором говорил мой отец. Я должен был отправиться в греческий Гелиополь с жрецами храма Пта в Мемфисе. Они пришли в Абуфис, чтобы положить в гробницу одного из своих великих людей, и эта гробница была приготовлена недалеко от места успокоения священного Озириса.

Я скоро приготовился к отъезду и в тот же самый вечер получил от отца письмо, простился с ним и со всем, что было мне дорого в Абуфисе, поплыл вниз по течению. Когда кормчий наш, стоя на корме с жезлом в руке, приказал матросам убрать сходни, соединившие корабль с берегом, к нам быстро подбежала старуха Атуа с корзиной трав в руке, пожелала мне благополучного пути и бросила нам вслед, на счастье, сандалию. Эту сандалию я берег много лет.

Мы отправились. Шесть дней мы плыли по дивной реке, останавливаясь на ночь в укромном месте. Когда очутился один, далеко от родных, от родины, которой я привык любоваться с детства, среди чужих людей, мне сделалось так грустно и тяжело, что я готов был заплакать, если бы не стыдился окружающих. Дивная природа, разнообразные впечатления — всё это было так ново для меня, но я не хочу описывать это теперь. Жрецы, сопровождавшие меня, относились ко мне с уважением и поясняли всё, что встречалось на пути.

Утром, на седьмой день, мы прибыли в Мемфис, в город Белой Стены. Здесь я целых три дня отдыхал от путешествия, беседовал с жрецами чудного храма Пта, Бога-Создателя, и любовался красотой большого и роскошного города. Великий жрец и с ним два других тайным образом доставили мне возможность лицезреть самого бога Ациса, который удостоивает людей жить среди них в виде чёрного быка с белым четырёхугольником на лбу. На спине быка был белый знак, похожий на орла, хвост состоял из двойного ряда волос, под языком находилось что-то похожее на скарабея, а между рогами висела дощечка из чистого золота. Я вошёл в обиталище Бога и преклонился перед ним, пока великий жрец и с ним другие стояли в стороне, наблюдая за мной. Когда я помолился, бог Ацис опустился на землю и лёг передо мной. Тогда великий жрец и другие присутствовавшие, как я узнал после, великие мужи из Верхнего Египта, крайне удивлённые, подошли ко мне и принесли мне клятву верности.

Много других вещей я видел в Мемфисе, о которых долго и говорить здесь.

На четвёртый день жрецы из Анну повели меня к Сепа, моему дяде, великому жрецу при храме Анну. Простившись с Мемфисом, мы переплыли реку, сели на ослов и целых два дня ехали через деревушки, где царствовала страшная нищета благодаря притеснениям сборщиков податей. На пути я увидел в первый раз величайшие пирамиды, сфинкса, которого греки называли Гармахисом, храмы божественной матери Изиды, царицы Мемнонии, бога Озириса, повелителя Розету. При этих храмах, вместе с храмом почитателя божественного Менкау-ра, я, Гармахис, по божественному праву состою наследственным великим

жрецом. Я смотрел и удивлялся их величию, белому резному известняку, красному сионскому граниту, на котором отражались солнечные лучи. В это время я ещё ничего не знал о сокровищах, сокрытых в третьей пирамиде Гер, и лучше бы было, если б я никогда в своей жизни не узнал этого!

Наконец мы добрались до Анну, который после Мемфиса кажется небольшим городом, но стоит на возвышении. Перед городом много озёр, питаемых каналом, позади — огороженное поле при храме бога Ра. Мы сошли близ портика и были встречены человеком небольшого роста, благородной наружности, с гладко выбритой головой и тёмными глазами, сиявшими, как звёзды.

— Стой! — закричал он громким голосом, который потряс всё его слабое тело. — Стой! Я — Сеп, отверзающий уста богов!

— А я — Гармахис, — отвечал я, — сын Аменемхата, наследственного великого жреца и правителя священного города Абуфиса. Я привёз тебе письмо, о Сеп!

— Войди! — сказал он, пронизывая меня своим сверкающим взглядом, и ввёл меня во внутреннюю комнату, затем, заперев дверь и пробежав привезённое мною письмо, внезапно бросился мне на шею и расцеловал меня.

— Добро пожаловать, — кричал он, — добро пожаловать! Сын сестры моей, надежда Кеми! Моя молитва услышана Богом! Я дождался до этой минуты, когда могу видеть тебя и передать тебе мудрость, которой, быть может, обладаю я, один из всех живущих в Египте. Немного есть людей, которых по праву я мог бы научить этой мудрости. Это великий удел, и твои уши услышат уроки богов!

Он снова обнял меня и послал помыться и закутить, добавляя, что завтра он поговорит со мной побольше.

Действительно, много великих истин я слышал от него и на другой день, и после, и если бы вздумал записывать их, то не хватило бы папируса в Египте, чтобы выполнить мою задачу. Мне же надо так много сказать, и времени остаётся так мало, что я пропускаю все последующие события.

Жизнь моя сложилась следующим образом. Я вставал рано, шёл в храм и посвящал целые дни науке. Я изучал религиозные обычаи, основу религии, начало богов и высшего мира, изучал таинственные движения небесных звёзд и вращение земли около них. Мне объясняли древнюю науку, называемую магией, искусство толкования снов и способы общения с богами. Я был посвящён в язык символов, в его сокровенные тайны, познал вечные законы добра и зла и тайну веры, поддерживающей человека, изучил тайны пирамид, которые бы мне лучше никогда не знать. Потом читал летописи прошлого, деяния древних царей, которые правили страной со времён Хора. Изучал искусство государственного правления, историю Греции и Рима. Научился греческому и римскому языкам, о которых имел понятие и раньше. В течение всего этого времени, пяти долгих лет, руки мои были незапятнаны и сердце чисто, я не делал зла ни перед лицом богов, ни перед людьми. Я работал усердно, готовясь к моему высокому назначению.

Два раза в год приходили письма от моего отца Аменемхата, и дважды в год я посылал ему ответ, спрашивая, не пришло ли время окончить моё учение. Срок моего искуса приближался к концу. Я начал скучать, так как возмужал вполне; многому научился и стремился начать настоящую жизнь зрелого мужа. Часто в мою душу западало сомнение в пророчестве. Не было ли это бредом ума людей, забегавших вперёд? Я знал, наверное, что в моих жилах течёт царственная кровь. Мой дядя Сеп, жрец, показал мне тайну происхождения нашего рода, родословный список, выгравированный мистическими символами на доске из сионского камня. Но какой толк в том, что я происхожу из царственного рода, когда Египет, моё наследство, был в рабстве, в порабощении у македонян Лагидов, служил их страсти и роскоши, и сластолюбью? Долго тянулось это рабство.

Сумеет ли Египет забыть тяжёлое иго, отбросить подобострастную улыбку раба и взглянуть на мир

счастливыми очами свободы?

Мне припомнились моя молитва на портике и ответ, данный мне богами, и удивление, охватившее меня тогда, и я решил, что всё это было бредом, мечтой.

Однажды ночью, желая отдохнуть от занятий, я гулял по священной роще, в саду храма, как вдруг встретился с дядей Сепя.

— Стой! — закричал он громко. — Почему твоё лицо так печально, Гармахис? Разве ты не мог справиться с последней задачей, которую изучал?

— Нет, дядя, — ответил я, — задача легко далась мне. Но я устал, у меня тяжело на сердце, я измучился от такой жизни: все эти занятия отягчают меня. Какой толк изучать всё это, не прилагая к делу?

— У тебя мало терпения, Гармахис, — ответил Сепя. — В тебе говорит безумие юности. Ты хочешь борьбы, тебе надоело ждать, пока волны разобьются о берег, тебе хотелось бы погрузиться и вступить в отчаянный бой с бурей! Ты этого хочешь, Гармахис? Птенцы улетают из гнезда, когда подрастут, ласточки покидают карнизы старого храма. Хорошо, твоё желание исполнится, час твой близок. Я научил тебя всему, что знал, и думаю, что ученик превзошёл учителя!

Сепя замолчал и вытер слёзы на своих чёрных глазах: видимо, старику было тяжело расстаться со мной.

— Куда же я отправляюсь, дядя, — спросил я, обрадовавшись, — назад в Абуфис, чтобы быть посвящённым в таинство богов?

— Да, обратно в Абуфис, оттуда — в Александрию, а из Александрии — на трон твоих предков. Гармахис, послушай меня теперь! Ты знаешь, что царица Клеопатра бежала в Сирию, когда лживый евнух Потин против воли усопшего фараона Авлета посадил на престол Египта её брата Птолемея. Ты знаешь, что она вернулась обратно, как настоящая царица, с сильной армией и остановилась у Пелузия. Величайший из мужей, могущественный цезарь в это время прибыл с небольшим количеством людей в Александрию, преследуя Помпея. Но Помпей уже умер, убитый изменнически Ахиллом и Люцием Септимом, начальником римских легионов в Египте. Ты знаешь, как испугались александрийцы его прибытия и хотели убить ликторов. Ты, наверное, тоже слышал, что цезарь велел схватить Птолемея, молодого царя, его сестру Арсиною и приказал войску Клеопатры и Птолемея разойтись, не вступая в бой. В ответ Ахилл пошёл на цезаря и осадил его при Брухиуме, близ Александрии; никто не знает теперь, кто вступит на престол Египта. Тогда Клеопатра придумала ловкую хитрость, необычайно смелую вещь. Оставив войска у Пелузия, она пришла в сумерки в александрийскую гавань одна, в сопровождении сицилийца Аполлодора, переплыла реку и высадилась на берег. Аполлодор закатал её в тюк богатейших сирийских ковров и послал в подарок цезарю. Когда во дворце развязали ковры — там оказалась прелестнейшая девушка, мудрейшая и образованнейшая на земле. Она сумела очаровать цезаря, который, несмотря на свой почтенный возраст, не устоял против её чар. Результатом этой страсти получилось то, что он забыл всё, опозорил себя и свою жизнь, озарённую славой прошлых военных подвигов.

— Безумец! — прервал я дядю. — Безумец! Ты называешь его великим? Может ли великий человек не устоять против чар женщины? Цезарь, державший в своей власти целый мир! Цезарь, по одному мановению руки которого сорок легионов солдат шли в поход, играя судьбами народов! Цезарь, холодный, дальновидный герой! Подобно зрелому плоду, упал этот великий цезарь в объятия коварной женщины. В сущности, из какого же простого теста сделан этот цезарь! Как это прискорбно.

Сепя посмотрел на меня и покачал головой.

— Не спеши, Гармахис, не будь так горд! Разве ты не знаешь, что между кольцами самой прочной

кольчуги бывает свободный промежуток, и горе тому, кого ударит меч в незащищённое место! Женщина, сын мой, при всей своей слабости — сильнейшее существо на земле. Она управляет миром, принимает разные формы, стучится во многие двери; она спокойна и терпелива, не поддаётся страсти, как мужчина, владеет собой отлично. Свои желания и страсти она направляет умелой рукой, как послушного коня, то натягивая, то отпуская поводья. У неё орлиный взор полководца, и крепка та твердыня сердца, куда она не сумеет проникнуть! Разве не кипит молодая кровь юноши! Женщина предупредит молодые порывы, засыплет его поцелуями. Если ты честолюбив, она проникнет в тайники твоего сердца и укажет путь к славе. Если ты устал и измучен, то найдёшь покой на её груди. Если ты пал, она поддержит тебя и ободрит, позолотит и смягчит твоё падение. О, Гармахис, женщина всесильна, так как природа на её стороне! Женщина правит миром. Ради неё ведут войны, люди тратят силы и расточают богатства, ради неё они делают много добра и зла, стремятся к величию, ищут забвения. А женщина смотрит на всё это, улыбаясь, как сфинкс, и никто не разгадал ещё её загадочной улыбки, никто не знает тайников её сердца! Не смейся, нет, не смейся, Гармахис! Поистине велик тот человек, кто может презирать женщину и её силу. Как воздух, она охватывает человека со всех сторон, и часто её сила проявляется там, где меньше всего можно ожидать её!

Я громко засмеялся.

— Ты говоришь серьёзно, дядя Сеп, — сказал я, — можно подумать, что ты прошёл невредимым через этот огонь искушения! Что касается меня, я не боюсь женщины и её желаний. Я ничего не знаю о ней и не хочу знать, но утверждаю, что цезарь был безумен. Если бы я был на месте цезаря, я вышвырнул бы эти ковры вместе с той, которая была закутана в них, вон из дворца, прямо в уличную грязь!

— Перестань, перестань! — кричал Сеп. — Нехорошо говорить так! Да отвратят от тебя боги всякое дурное предзнаменование и да помогут тебе сохранить твою молодую силу, которой ты хвалишься! О, юноша, ничего ты ещё не знаешь! Со всей твоей силой и чудной красотой, во всеоружии твоих познаний, со всей сладостью речи — ты ничего не ведаешь! Мир, в который ты должен вступить, не похож на святилище богини Изиды. Молись чтобы лёд твоего сердца никогда не растаял, тогда ты будешь велик и счастлив и освободишь Египет. А теперь дай мне досказать! Ты видишь, Гармахис, в этой истории первое место занимает женщина. Юный Птолемей, брат Клеопатры, отпущенный цезарем на свободу, изменнически обратился на него. Тогда цезарь и Митридат напали на лагерь Птолемея, который убежал, пытаясь переплыть через реку. Но лодка, переполненная беглецами, затонула. Таков был жалкий конец Птолемея.

Война была окончена. Клеопатра родила цезарю сына Цезариона. Цезарь назначил на царство младшего Птолемея вместе с Клеопатрой, соединив их супружеством, конечно, только по имени, а сам уехал в Рим, увозя с собой прекрасную принцессу Арсиною, которая должна была сопровождать его триумфальную колесницу, закованная в цепи.

Теперь великого цезаря нет в живых: он умер, как жил, полив кровь во всём царственном величии! Клеопатра же, царица, если верить слухам, отравила Птолемея, своего брата и супруга, и посадила с собой на престол своего сына Цезариона. Её поддерживают римские легионы, а молодой Секст Помпей наследовал её любовь после цезаря.

— Но, Гармахис, вся страна ропщет и возмущается против неё. В каждом городе Кеми толкуют об объявившемся освободителе, и этот освободитель — ты, Гармахис! Время настало! Час твой близится! Возвращайся в Абуфис, познай тайну богов и познакомься с теми, кто будет руководить восстанием. Действуй, действуй, Гармахис, борись за страну Кеми, очисти страну от греков и римлян и садись на трон божественных предков! Будь царём и владыкой мира! Для этого ты рождён и живёшь!

V

Возвращение Гармахиса в Абуфис

Совершение мистерии, — Гимн Изиде

Предостережение Аменемхата.

На следующий день я простился с дядей Сепа и с лёгким сердцем отправился из Анну в Абуфис. Короче говоря, вернулся в полном здравии и благополучии из моей отлучки, продолжавшейся пять лет и один месяц, вернулся уже не мальчиком, а мужчиной, с умом, развитым науками и изучением древней египетской мудрости, с некоторым знанием людей. Я снова увидел родную страну, знакомые лица, хотя многие из них свершили свой земной путь и переселились к Озирису. Проезжая через поля, я подъезжал к ограде храма, из которого выходили жрецы и народ. Все они радостно приветствовали меня, вместе со старой Атуей, которая, кроме нескольких морщин на лбу, наложенных временем, нисколько не изменилась, оставаясь той же старой Атуей, которая несколько лет тому назад прощалась со мной, бросив мне вслед сандалию.

— Ля! Ля! Ля! — кричала она. — Ты вернулся, мой прекрасный юноша! Красивее, чем был! Ля! Ля! Настоящий мужчина! Какие плечи! Какое лицо! Какой стан! Честь и слава старухе, которая тебя вынянчила! Отчего ты так бледен? Наверное, жрецы в Анну морили тебя голодом? Нет, не истощай себя! Боги не любят скелетов. «При тощем желудке — тощая голова!» — говорят в Александрии. Для нас это счастливая минута, радостный день! Иди же, иди!

Она крепко обняла меня, но я оттолкнул её.

— Мой отец! Где мой отец? — вскричал я. — Я не вижу его!

— Нет, нет, не бойся! — отвечала она. — Его святость чувствует себя прекрасно. Он ждёт тебя в своей комнате. Проходи же. О, счастливый день! О, счастливый Абуфис!

Я пошёл, вернее побежал, и скоро достиг комнаты великого жреца. За столом сидел мой отец, Аменемхат, мало изменившийся, хотя постаревший. Я подошёл к нему, опустил на колени и поцеловал его руку. Он благословил меня.

— Взгляни на меня, сын мой, — сказал отец, — дай моим старым глазам рассмотреть твоё лицо, чтобы прочесть в твоём сердце!

Я поднял голову, и отец долго и серьёзно смотрел на меня.

— Я знаю всё, — произнёс он медленно, — ты чист сердцем и силен в мудрости, я не обманулся в тебе. О, как медленно и грустно тянулись годы, но я хорошо сделал, что услав тебя отсюда! Теперь расскажи мне о своей жизни, письма ничего не сказали мне, а ты ещё не знаешь, мой сын, как тоскует отцовское сердце!

Я рассказал ему всё. Мы просидели долго, за полночь, в беседе. В конце концов отец сказал мне, что

я должен готовиться к посвящению в мистерии, которые должны быть известны избранникам богов.

В продолжение трёх месяцев я и готовился к ним, согласно священным обычаям страны. Я не ел месяц, постоянно находился в святилище, изучая тайны великого жертвоприношения и священной матери богов, молясь перед алтарями. Душа моя стремилась к Богу, и в грёзах я приобщался Невидимому, пока земля и все земные страсти и желания совершенно не забылись мной. Я не желал более мирской славы; моё сердце, подобно орлу, парило в вышине, голос мира не находил во мне отклика, и зрелище земной красоты не восхищало его. Надо мной простирался огромный небесный свод, по которому двигались неизменные процессии звёзд, равнодушно смотря вниз на жалкие судьбы людей, где восседал на сияющем престоле Бог, созерцая колесницу судьбы, катившейся из сферы в сферу.

О, великие часы священного созерцания! Кто может, вкусив вашу прелесть, снова мыкаться на земле? О, порочная плоть, влекущая нас в бездну! Я хотел бы совершенно уничтожить тебя, чтобы дух мой свободно искал Озириса!

Месяцы искуса быстро пролетели. Близился священный день, когда я должен был соединиться с всеобщей Матерью. Никогда ночь не ждала так страстно рассвета, никогда сердце влюблённого не ждало так нетерпеливо прибытия невесты, как я жаждал лицезреть твой сияющий лик, о Изиды! Даже теперь, когда я вероломно изменил тебе и ты отвернулась от меня, Божественная, моя душа рвётся к тебе, и я знаю... Но я не должен, не могу говорить об этом и буду продолжать свою историю.

Семь дней продолжался праздник, вспоминались страдания Озириса, вспоминалась печаль матери Изиды и славное пришествие Хора, сына мстителя, от бога рождённого.

Всё это исполнялось согласно древним обычаям. Лодки плавали по священному озеру, жрецы бичевали себя перед святилищами, и священные изображения до поздней ночи носились по улицам. На седьмой день, когда солнце закатилось ещё раз, собралась большая процессия воспеть печали Изиды и искупление греха.

Молча шли мы из храма по городским улицам. Впереди шли слуги, расчищавшие нам путь, потом мой отец Аменемхат во всём своём жреческом одеянии, с кедровым посохом в руке. Я, неофит, шёл за ним, одетый в чистую полотняную одежду, за мной жрецы в белых одеждах, с священными знамёнами и эмблемами богов. Потом несли священную лодку, и шли певцы и плакальщики. Всюду, куда падал взор, шли толпы народа, одетого в траур по Озирису.

В молчании прошли мы улицы, достигли стены храма и вошли в него. Как только мой отец, великий жрец, вошёл под ворота наружного портика, нежный женский голос начал петь священный гимн: «Воспоём смерть Озириса, поплачем над его поникшей головой! Свет мира погас, и мир покрылся мрачной скорбью! Звёзды небесные скрылись в беспросветной мгле! Изиды горько оплакивает Озириса! Плачьте вы, звёзды, огни, реки, рыдайте горько, дети Нила, оплакивайте смерть вашего господина!»

Певцы остановились на высокой нежной ноте. Толпа же запела печальный припев:

«Мягко, мерною стопою вступим мы в святилище! Нежно взовем к усопшему: вернись, вернись к нам, Озирис, из холодного царства смерти! Вернись к тем, кто чтит память твою и воздаёт тебе поклонение от века!»

Певица снова начала: «Мы идём в храм через семь переходов священных, и эхо вторит нашему плачу, неся жалобные звуки в тот далёкий мир, в нетленные обители, где плачут священные сёстры Изиды и Нефтиды над беспробудно уснувшим Озирисом!»

Хор повторил припев, и снова зазвучал серебристый голос певицы: «Обитающий на западе, возлюбленный, владыка мира! Твоя любимая сестра Изиды зовёт тебя сюда! Возвратись к нам из мрачной

обители, повелитель солнца, озари наш тёмный мир своим лучезарным блеском! Вернись к нам! Пусть воспарит твой дух, свободный от тлена смерти, в небесной высоте и, приветствуемый светилами, вернётся к нам! За тобой проснутся от смерти и оживут горы, долины, страны и небеса и воздадут хвалу тебе! Восстань, вернись к нам, властитель Озирис!»

Хор вторил припев. Певица запела радостным и звонким голосом:

«Он проснулся и освободился от смерти! Воспоём восставшего Озириса, воспоём светлое дитя священного Пота! Твоя любовь, Изида, ждёт тебя! Дыхание любви несётся над тобою! Ты, мрачный Тифон, уходи, лети прочь! День осуждения близок! Как огненная стрела, исчезнет Хор с небесной высоты!»

Ещё раз, когда мы все склонились перед святыней, светлые радостные звуки понеслись к сводам. Певица запела гимн Озирису, песнь надежды и победы. Сердце трепетно забило в груди. В тишине храма дивно звучала чудная мелодия.

«Воспоём священных Трёх, воспоём и восхвалим Властителя миров на престол, источника истины и мира, и преклонимся перед ним! Исчезли мрачные тени, воспрянули усталые крылья! Возрадуемся мы, слуги повелителя нашего! Мстительный Хор исчез — лучезарный свет воцарился!»

Тысячи голосов подхватили припев. Пение кончилось. Солнце близилось к закату. Великий жрец поднял статую живого бога и держал его перед народом, собравшимся на дворе храма. Раздался могучий, радостный клик: «Озирис, наша надежда! Озирис! Озирис!»

Народ сорвал с себя траурное одеяние и остался в надетой снизу белой одежде, и как один человек преклонился перед Озирисом. Праздник кончился.

Но для меня церемония только ещё начиналась, так как наступающая ночь была ночью моего посвящения. Покинув внутренний двор, я вымылся, оделся в чистую полотняную одежду и прошёл по обычаю во внутреннее святилище, где возложил обычную жертву на алтарь. Подняв руки к небу, я оставался в продолжение нескольких часов в немом созерцании, стараясь молитвой и размышлением собрать все силы к страшной минуте моего испытания.

Часы медленно проходили в тишине храма, пока не отворилась дверь, в которую вошёл мой отец, Аменемхат, великий жрец, в белом одеянии, ведя за руку жреца Изиды. Будучи женат, жрец не имел права входить один в таинственное святилище божественной Изиды.

Я поднялся на ноги и скромно стоял перед ними.

— Готов ли ты? — спросил жрец, поднимая лампаду, которую он держал в руке, и освещая моё лицо. — О, ты, избранник богов, готов ли ты лицезреть славу божественного лица?

— Готов! — отвечали.

— Подумай! — сказал он снова торжественным тоном. — Это великая вещь. Если ты хочешь исполнить последнее желание, пойми, царственный Гармахис, что в эту ночь твоя плоть должна умереть, а твой дух устремиться ввысь. И если что-нибудь дурное и злое найдётся в твоём сердце, когда ты предстанешь перед божеством, горе тебе, Гармахис, тогда, ибо дыхание жизни покинет тебя, твоё тело погибнет, а что случится с остальной частью твоего существования, я знаю, но не могу сказать [\[86\]](#). Чист ли ты и свободен от греховных мыслей? Готов ли ты вступить в лоно богини, той, которая была, есть и пребудет вечно, и исполнять во всём её божественную волю? Готов ли ты ради неё отбросить всякую мысль о земной женщине и трудиться для её слова, пока твоя жизнь не сольётся с её вечной жизнью?

— Готов! — повторил я.

— Хорошо, — сказал жрец. — Благородный Аменемхат, мы пойдём одни!

— Прощай, сын мой! — сказал мне отец. — Будь твёрд и восторжествуй над духовным миром, как восторжествовал над земным. Тот, кому суждено править миром, должен возвыситься над ним! Он должен приобщиться Богу и для этого должен изучить тайны Божества. Будь осторожен! Боги много требуют от того, кто дерзает вступить в круг их божественной славы. Если смертный, вступивший туда, уйдёт назад, он будет осуждён навеки и бичуем и наказан строго, ибо как велика была его слава, так же велик будет его позор! Будь силен сердцем, царственный Гармахис! Помни, что кому много Дано, с того много и спросится! А теперь, если ты твёрдо решил, иди, куда мне не дано ещё следовать за тобой. Прощай!

На минуту эти серьёзные слова поколебали меня. Но я страстно желал быть приобщённым к божествам, не чувствовал в себе зла и так горячо жаждал истины.

— Веди меня, — вскричал я громким голосом, — веди меня, священный жрец! Я последую за тобой!

И мы пошли.

VI

Посвящение Гармахиса

Его видения

Гармахис идёт в город, находящийся в долине смерти

Явление Изиды

Посланницы

Молча вошли мы в гробницу Изиды. Там было темно и пусто, только слабый свет лампы мерцал на украшенных скульптурой стенах, где в сотне изображений повторялась священная мать, кормившая грудью священное дитя.

Жрец запер двери и задвинул засов.

— Ещё раз спрашиваю тебя, — сказал он, — готов ли ты, Гармахис?

— Ещё раз, — ответил я, — я готов!

Он не сказал более ни слова, но, подняв с молитвой руки, повёл меня в центр святилища и быстрым движением погасил лампаду.

— Смотри перед собой, Гармахис! — воскликнул он, и голос его глухо звучал в торжественной тишине святилища.

Я вглядывался, но не видел ничего. Вдруг из высокой ниши в стене, где был скрыт священный символ богини, донёсся до меня звук сестры [\[87\]](#). Я слушал, смотрел, поражённый. В темноте ясно выступили огненные очертания символа богини. Он висел над моей головой и звенел. Я ясно увидел лицо матери Изиды, начертанное на одной его стороне, символ бесконечного рождения, а на другой стороне — лицо её священной сестры, Нефтиды, означающее конец рождения в смерти.

Медленно повернулся символ и зазвенел, словно кто-то таинственный исполнял танец в воздухе надо мной и держал его в руке. Наконец свет погас и звуки прекратились. Затем в южном конце святилища вспыхнул свет, и в этом белом свете появился передо мной ряд картин.

Я увидел древний Нил, катящий свои волны к морю. Его берега были пустынные, не было ни людей, ни храмов, только дикие Птицы носились над Сигором, и чудовищные звери кишели в его водах. Солнце во

всём величии закатывалось позади Ливийской пустыни, окрашивая воду цветом крови. Горы молчаливо тянулись к небу. Но в горах, пустыне и на реке не было и признака человеческой жизни. Я понял, что вижу картину мира, каким он был до человека, и ужас одиночества проник в мою душу.

Картина исчезла, на её месте появилась другая. Я снова видел берега Сигора, на которых толпились создания с дикими лицами, скорее обезьяны, чем люди. Они дрались и убивали друг друга, поджигая дома. Дикие птицы с ужасом улетали, когда пламя вырывалось из жилищ, сожжённых и разграбленных. Они воровали, убивали, разбивая головы младенцев каменными секирами. И хотя никто не говорил мне этого, я понял, что вижу человека, каким он был десятки тысяч лет назад, его первые шаги на земле.

Но вот появилась иная картина — опять берега Сигора, на которых, подобно цветам, выросли красивые города. В ворота и из ворот идут женщины, мужчина, некоторые направляются к хорошо обработанным полям. Но я не видел ни стражи, ни оружия, ни армии. Повсюду царствовали мир, благоденствие и мудрость. Пока я смотрел, победоносная фигура, одежды которой горели, как пламя, вышла из ворот храма. Звуки музыки сопровождали её. Она села на трон из слоновой кости, поставленный на рыночной площади, лицом к воде. Когда закатилось солнце, она призвала всех к молитве, и все молились в один голос. Я понял, что это царство богов на земле, существовавшее задолго до дней Менеса.

Картина снова изменилась. Тот же самый прекрасный город, но другие люди — злоба и жадность рисовались на их лицах! Они ненавидят правду и стремятся к греху. Наступил вечер. Светлая фигура взошла на трон и позвала всех к молитве. Никто не хотел молиться.

— Ты надоела нам! — кричали они. — Злое создание! Убьём его, убьём! Уничтожим его козни!

Светоносная фигура поднялась, кротко взглянув на людей.

— Вы не знаете сами, чего хотите! — прозвучал кроткий голос. — Пусть будет, как вы хотите! Я умру, после мук и долгих страданий вы найдёте путь к царству правды и божества!

Пока он говорил, отвратительное на вид, безобразное чудовище набросилось на фигуру, убило её, разорвав на части, и среди приветственных кликов толпы воссело на трон и начало править. Тогда дух, лицо которого было закрыто, спустился на крыльях тени с неба и с рыданием собрал растерзанные остатки бытия.

На одно мгновение дух склонился над убитым, поднял руки и заплакал. И вдруг около него появился вооружённый воин с лицом, похожим на лик бога Ра. Мститель с криком бросился на чудовище, захватившее трон. Они начали борьбу и, сжимая друг друга, поднялись к небесам.

Картина следовала за картиной. Я видел могущество и народы, одетые в разнообразные одежды, говорящие на разных языках. Видел, как они проходили миллионами, любя, ненавидя, борясь и умирая. Немногие были счастливы, горе запечатлелось на лицах людей. На многих лежала печать труда и терпения. И пока они проходили, минувя века, в высоте небесной над ними мститель продолжал свою борьбу со злом; победа склонялась то на одну, то на другую сторону. Никто не победил, но мне дано было понять, чем кончится борьба. Я понял, что это было священное видение борьбы добра с могуществом зла. Понял, что человек сотворён порочным, но боги сжалились над ним и помогли ему сделаться добродетельным и счастливым, так как добродетель и счастье — нераздельны. Но человек снова вернулся на путь порока, и божественное существо, которое мы называем Озирисом, называемое также многими другими именами, пожертвовало собой, чтобы искупить злые деяния племени, свергнувшего его с трона. От него и божественной матери, которая олицетворяет собой всю природу, произошёл наш дух — покровитель на земле, как Озирис — наш покровитель в Аменти. Такова мистерия Озириса.

Видения пояснили мне всё. Словно завеса упала с глаз моих, и я понял тайну жертвоприношения. Картины исчезли. Жрец заговорил со мной.

— Понял ли ты, Гармахис, то, что дано было видеть тебе?

— Понял! — ответил я. — Кончены ли обряды?

— Нет, только ещё начинаются! То, что последует, ты должен перенести один. Я покину тебя и вернусь только на рассвете. Ещё раз предупреждаю тебя. То, что ты увидишь, не многие в силах видеть и остаться в живых. Во всю свою жизнь я видел только троих, которые дерзнули пережить этот страшный час, и то один из троих был найден мёртвым. Я сам не рискнул на это: это слишком возвышенно для меня!

— Уходи, — сказал я, — душа моя жаждет познаний! Я решился!

Он возложил руки мне на голову, благословил меня и ушёл. Я слышал, как закрылась за ним дверь и звук его шагов замер вдали; я остался один, один в священном месте, лицом к лицу с божеством. Глубокая тишина и мрак окружали меня. Эта тишина охватывала и окутывала меня, как облако, которое закрыло собой месяц в ту ночь, когда я молился на портике храма.

Мрак надвигался всё гуще и плотнее, пока не проник в моё сердце и не закричал там страшными голосами, так как мёртвое молчание имеет голос гораздо более ужасный, чем простой крик. Я заговорил, но эхо моих слов, возвращаясь ко мне от стен и сводов, только ещё больше давило меня. Легче было переносить эту мёртвую тишину, чем ужасное эхо. Что я увижу сейчас? Должен ли я умереть в расцвете молодости и силы? Страшны были предостережения жрецов. Я был охвачен ужасом и готов был бежать. Бежать, но куда? Двери храма закрыты, я не мог бежать. Я был один с божеством, с невидимой силой, которую вызвал. Нет, сердце моё было чисто. Я увижу всё, что мне предстоит видеть, хотя бы мне пришлось умереть!

«Изида, священная мать! — молился я. — Изида, супруга неба, приди ко мне, будь со мной! Я слабею! Не покидай меня!» И я увидел нечто необычное. Воздух вокруг меня начал шуметь и двигаться, как крылья орла, как нечто живое. Огненные глаза глядели на меня, странный шёпот проник в мою душу. В темноте появились полосы света.

Они менялись, колебались, сплетались в таинственные символы, которых я не мог понять. Быстрее и быстрее летели эти световые полосы; символы соединялись, собирались, исчезали и снова появлялись, так что мои глаза не могли сосчитать их. Мне казалось, что я несусь по морю славы, вздымавшемся, как океан, которое то подбрасывало меня вверх, то низвергало вниз. Слава громоздилась на славу, невыносимый блеск затмевал свет, и я парил над всем этим! Скоро свет начал бледнеть в воздухе. Большие тени спустились на него, мрачные полосы пересекали его, и мрак обрушился на свет, и только я оставался, подобно огненной звезде, во тьме бесконечной ночи. Издалека слышались звуки неземной музыки. Я слышал, как они звенели сквозь тьму, надвигались всё ближе, становились громче, и вдруг закружились надо мной, позади, сверху, внизу, кругом меня, ужасая и восхищая меня. Потом они растаяли в пространстве. За ними налетели другие нежные звуки, словно десять тысяч сistr сотрясались разом, и громкие, словно медные горла бесчисленных труб. Я слышал дивные песни нечеловеческих голосов, которые замирали в громе барабанов.

Наконец всё прекратилось. Последние звуки замерли под сводами, и снова воцарилась тягостная тишина. Силы мои стали слабеть. Я чувствовал, что моя жизнь колеблется. На меня надвигалась смерть в образе мертвящей тишины. Она вошла в моё сердце и охватила меня щемящим чувством холода, но мой ум ещё жил, я мог мыслить. Я знал, что близок к смерти. Я умирал и — о ужас! — пытался молиться, но не мог! Не было времени для молитвы!

Минута сопротивления — и тишина заползла в мой мозг. Страх прошёл. Неизмеримая тяжесть давила меня. Я умирал, и вдруг наступило ничто, небытие. Я умер. Во мне произошла перемена. Жизнь вернулась ко мне, но не было ничего общего между ней и прошлой жизнью. Между ними легла бездна. Я снова стоял

во мраке храма, но мне было легко и светло, как днём. Я стоял, или, вернее, моё духовное существо, так как тело моё лежало мёртвым у моих ног. Оно лежало, немое и неподвижное, и печать неземного покоя отражалась на челе. Крылья пламени подхватили меня и помчали дальше с быстротой молнии. Я летел через пустые пространства, усеянные блестящими коронами звёзд, вниз, на десять миллионов вёрст и десять раз десять миллионов, пока не очутился в облаках нежного, неменяющегося света, в котором тонули храмы, дворцы, обители, каких человек не видал и во сне. Они были построены из пламени и мрака. Башни вздымались в высоту, двory тянулись кругом.

Они постоянно менялись на вид: пламя превращалось в мрак, и мрак — в пламя. Здесь блеснул кристалл, там сверкали драгоценные камни сквозь славу, окружавшую города в долине смерти. Шелест деревьев походил на звуки музыки, дыхание воздуха походило на замирающие звуки пения. Образы, изменчивые, таинственные, удивительные, неслись мне навстречу, увлекая меня вниз, пока я очутился, как мне казалось, на другой земле.

«Кто идёт?» — закричал громкий голос.

«Гармахис, — отвечали духи. — Гармахис, взятый от земли, чтобы взглянуть в лицо той, которая есть, была и пребудет вовек. Гармахис, дитя земли!»

«Закройте ворота и откройте двери! — послышался неземной голос. — Закройте ворота и широко раскройте двери! Запечатайте уста его, чтобы его голос не ворвался в гармонию неба, возьмите у него зрение, чтобы он не увидел того, что ему не дано видеть, и пусть Гармахис вступит на путь неизменяемого. Иди, дитя земли! Но прежде посмотри, как далёк ты от земли!»

Я поднял глаза. За славой, сияющей над городом, расстилалась мрачная ночь, на лоне которой мерцала одинокая звезда.

«Посмотри, вот мир, покинутый тобой! Смотри и трепещи!»

Что-то коснулось моих уст и глаз, печать молчания была наложена на них. Я стал нем и слеп. Ворота закрылись, двери распахнулись. Я очутился в городе, лежащем в Долине Смерти, и стоял опять на ногах. Страшный голос сказал: «Снимите мрачную повязку с его глаз, откройте ему уста, чтобы Гармахис, дитя земли, мог видеть, слышать и понимать, и преклониться пред вечной матерью!»

Мои глаза и уста открылись, снова вернулись зрение и дар речи. И вот я очутился в зале из чёрного мрамора; зал был так высок, что взор мой при разлитом кругом розовом свете не мог достигнуть сводов крыши. Музыка звучала в нём. Крылатые духи, сверкающие таким ярким блеском, что я не мог смотреть на них, наполняли зал. В центре находился маленький четырёхугольный алтарь, и я стоял перед пустым алтарём.

Небесный голос произнёс: «О ты, которая была, есть и будешь, имеющая много имён, но без имени, руководительница времени, посланница богов, хранительница миров и племён, живущих в них, всеобщая мать, рождённая из ничего, создательница всего, живущий блеск, не имеющий формы, живая форма без существа, служительница невидимого, дитя закона, держащая весы и меч судьбы, сосуд жизни, из которого изливается жизнь, и куда она вновь собирается, заступница свершавшегося, исполнительница предначертаний! Слушай! Гармахис, египтянин, вызванный с земли, ждёт перед твоим алтарём с открытыми ушами и глазами и с раскрытым сердцем! Выслушай и сойди! Сойди, о многообразная! Сойди в пламени! Сойди в звуке! Сойди в духе! Выслушай и сойди!»

Голос умолк, и наступила тишина, сквозь которую скоро донёсся до меня звук, подобный рокоту моря. Я отнял руки от глаз и увидел маленькое облако над алтарём, в котором извивался огненный змей. Тогда все блестящие духи пали перед алтарём на мраморный пол и громко славословили богиню, но я не мог понять их слов. Вдруг тёмное облако спустилось на алтарь, огненный змей коснулся моего чела языком

и исчез. Подобно музыке, из облака зазвучал дивный, нежный голос.

«Уходите вы, служители! Оставьте меня с моим сыном, которого я позвала!»

Как огненные стрелы, лучезарные духи поднялись и исчезли.

«О, Гармахис, — продолжал голос, — не пугайся! Я та, которую ты знаешь как Изиду египтян! Не пытайся узнать более, это свыше твоих сил! Я — всё и во всём, жизнь — это мой дух, и природа — моё одеяние. Я — первая улыбка ребёнка, я — первая любовь девушки, я — нежный, поцелуй матери. Я — дитя и слуга Невидимого, Который есть Бог, Закон, Судьба, но я сама ни бог, ни закон, ни судьба. Мой голос слышится во все бури, в океане, на земле, ты видишь моё лицо — в глубоком звёздном небе. Моя улыбка — это бутон благоухающего цветка, который тянется к солнцу! Я — это природа, и все её образы — мои образы! Я дышу в каждом дыхании. Я вырастаю и уменьшаюсь в изменчивом свете луны, я расту в приливах моря, я встаю с солнцем, блистаю в свете молний, говорю голосом бури! Нельзя измерить моё величие, я нахожу приют в ничтожестве, в песчинке! Я — в тебе и ты — во мне! О, Гармахис! Кто создал тебя, создал и меня! Хотя величие моё безгранично, а твоё — мало, не бойся! Мы связаны с тобой той цепью жизни, что проходит через солнце, звёзды и пространства, через духов и души людей, объединяя природу в одно целое, которое, меняясь, остаётся неизменным!»

Я склонил голову и молчал, объятый трепетом.

«С верой служил ты мне, сын мой! — продолжал чудный голос. — Велико твоё стремление увидеть меня лицом к лицу, здесь, в Аменти. Велик дух твой, дерзнувший исполнить своё желание! Не легко это тебе было — сбросить оболочку тела ранее назначенного времени и хоть на час облечься в одеяние Духа. И я сильно желала, служитель мой и сын, взглянуть на тебя здесь. Боги любят тех, кто их любит глубокой и полной любовью, и я, слуга Невидимого, который так же далёк от меня, как я далека от тебя, смертный, я — богиня богов. Поэтому тебя принесли сюда, Гармахис, и я говорю с тобой, сын мой, и позволю тебе иметь общение со мной, как в ту ночь, на портике храма в Абуфисе. Я была тогда с тобой, Гармахис, положила священный лотос в твою руку, посылая себе знамение, которое ты просил. Ведь ты — потомок царственной крови моих детей, которые служили мне из века в век. Если ты не ослабешь, ты воссядешь на трон предков своих и восстановишь древнее поклонение мне во всей его чистоте и очистишь храмы от осквернения. А если ты падёшь, вечный дух Изиды исчезнет из памяти Египта!»

Голос замолк. Собрав всю свою силу, я решился спросить: «Скажи мне, священная, устою ли я?»

«Не спрашивай меня, — отвечал голос. — Я не могу сказать тебе этого. Быть может, я знаю, что будет с тобой, быть может, я не могу знать. Зачем божеству думать о конечном, смотря на цветок, который ещё не распустился, но семя которого даст пышный цвет в своё время! Знай, Гармахис, что будущее не в моих руках! Будущее твоё — в тебе, а не во мне, так как рождено законом, но предначертанием Невидимого. Ты свободен поступать как хочешь, ты победишь или падёшь сообразно чистоте твоего сердца. На тебе лежит долг, на тебя же падёт слава или позор. Я только исполняю предначертанное. Слушай меня: я буду всегда с тобой, мой сын, так как, кому дана любовь моя, у того она не отнимется, только грех может потерять её. Помни это! Если ты восторжествуешь, награда твоя велика! Если же ты падёшь, ужасно будет твоё наказание и в земной жизни, и здесь, в Аменти. Но утешься, сын мой! Стыд и муки не вечны. Как бы ни было глубоко твоё падение, если раскаяние грызёт твоё сердце, это путь — тяжёлый, каменистый путь — к прежней высоте. Пусть не таков будет твой удел, Гармахис!»

Так как ты возлюбил меня, сын мой, то не должен блуждать в тех сказочных потёмках, в которых запутались люди на земле, принимая ошибочно материю за дух и алтарь за Бога: ты получил путь к истине многообразной! Я возлюбила тебя и предвижу день, который наступит, и ты будешь жить, благословляемый, в свете моей славы, исполняя моё приказание. Поэтому, говорю тебе, тебе дано,

Гармахис, услышать слово, которым можешь вызвать меня от Всемогущего, тебе, который приобщился мне и лицезрел меня лицом к лицу! Слушай! Смотри!»

Нежный голос умолк. Тёмное облако над алтарём изменялось, принимая то бледный, то яркий свет, и, наконец, получило образ закутанной женщины. Золотой змей выполз из её сердца и, подобно живой диадеме, обвился вокруг небесного тела. Вдруг голос произнёс страшное слово. Облако рассеялось, и я увидел Славу, при мысли о которой душа моя трепещет и замирает. Я не могу сказать, что я видел. После многих протёкших лет я говорю и теперь: то, что я видел, — выше человеческого воображения! Человеку трудно постичь это. Эхо того страшного слова, память о том, что я видел, навеки запечатлелись в моём сердце; мой дух ослабел, и я упал ниц перед лицом Славы. Когда же я упал, казалось, весь зал рушился подо мной и рассыпался огненными искрами. Подул сильный вихрь: отзвук божественных слов, канувших в поток времени! Больше я ничего не помню!

VII

Пробуждение Гармахиса

Церемония его коронования фараоном Верхнего и Нижнего Египта

Жертвоприношение нового фараона.

Очнулся я на каменном полу святилища Изиды, в Абуфисе. Около меня стоял жрец с лампадой в руке. Он склонился надо мной, всматриваясь в моё лицо.

— Этот день — день твоего нового рождения, и ты жив и видишь его, Гармахис. Благодарение богам! Встань, царственный Гармахис, и не говори мне ничего, что произошло с тобой! Восстань, возлюбленный священной матерью! Иди, прошедший сквозь пламя, познавший, что лежит за мраком, иди, новорождённый!

Я встал, шатаясь, и пошёл за ним; выйдя из темноты храма с потрясённой душой, я жадно вдохнул чистый утренний воздух, затем прошёл в свою комнату и заснул. Ни одно сновидение не смутило моего сна.

Никто, даже отец не спрашивал меня о том, что я видел ночью и как я приобщился богам. После этого я усердно предавался поклонению матери Изиды и изучению тех таинств, к которым я имел ключ теперь. Кроме того, я изучал государственную политику, так как много великих людей — наших сторонников — тайно приходили ко мне со всех частей Египта и много говорили о ненависти народа к царице Клеопатре и о других вещах.

Близилась решительная минута. Прошло три месяца и десять дней с той ночи, когда я, сбросив телесную оболочку, был перенесён на лоно Изиды, которой угодно было, чтобы я по обычным обрядам в глубокой тайне призван был на трон Верхнего и Нижнего Египта. Когда настала священная минута, со всего Египта собрались великие мужи в виде жрецов, пилигримов, нищих. Между ними находился и мой дядя Септа, переодетый доктором, стремящийся сдержать свой могучий голос, выдававший его. Я узнал его, встретив однажды на берегах канала, где гулял. Я узнал сейчас же, хотя было темно и большой капюшон, по обычаю докторов накинутый на голову, наполовину скрывал его лицо.

— Чума на тебя! — вскричал он, когда я назвал его по имени. — Может ли человек хотя на один час перестать быть самим собой? Сколько я мучился, чтобы научиться играть роль доктора, а ты узнал меня даже в темноте!

Потом по обыкновению громко он рассказал мне, что путешествовал пешком, чтобы избежать шпионов, скрывающихся по берегам реки. Он добавил, что вернётся по воде, переодевшись иначе, так как, одевшись доктором, он вынужден разыгрывать доктора, ничего не понимая в медицине. «Наверное, между Анну и Абуфисом многие пострадали от моего лечения»[\[88\]](#). — И он громко захохотал, обняв меня,

забывая свою роль. Септа был слишком прямой и сердечный человек, чтобы играть роль, и хотел войти в Абуфис, держа меня за руку.

Наконец все были в сборе. Наступила ночь. Ворота храма заперли. В храме находились тридцать семь мужей, мой отец, великий жрец Аменемхат, старый жрец, который ввёл меня в храм Изиды, старуха Атуа, которая согласно древнему обычаю должна была приготовить меня к помазанию, и пятеро других жрецов, поклявшихся хранить всё это в тайне. Все они собрались во втором зале большого храма; я остался один, одетый в белое одеяние, в переходах, которые носят имена семидесяти древних царей, живших прежде божественного Сети.

Кругом была темнота, потом мой отец, Аменемхат, вошёл, неся лампаду и склонившись низко передо мной, повёл меня за руку в большой зал. Там и сям в темноте зала, между огромными колоннами, горели огни, озарявшие скульптурные изображения на стенах и длинные одеяния тридцати семи сановников, жрецов, князей, молчаливо сидевших в разных креслах в ожидании моего прихода. Перед ними, задом к семи святилищам, стоял трон, окружённый жрецами, державшими священные реликвии и знамёна. Когда я вступил в мрачное святое место, все присутствовавшие поднялись и молча, поклонились мне. Отец мой ввёл меня на ступени трона, тихо велел мне стать тут и сказал:

— Сановники, жрецы и князья древних родов страны Кеми! Благородные мужи Верхней и Нижней Страны, собравшиеся на мой зов сюда, выслушайте меня! Я представляю вам князя Гармахиса, по праву потомка царственной крови древних фараонов нашей несчастной страны, Гармахиса, жреца таинств божественной Изиды, владыки таинств, наследственного жреца пирамид Мемфиса, наученного торжественным обычаем священного Озириса! Есть ли между нами кто-либо, кто может возразить против происхождения его от царственной крови?

Он замолчал. Мой дядя Септа, поднявшись с кресла, сказал:

— Мы рассмотрели списки. В нём подлинно течёт царственная кровь, его происхождение истинно!

— Есть ли кто-либо, среди вас, — продолжал мой отец, — кто может отрицать, что царственный Гармахис по изволению богов приобщился матери Изиде, узнал священный путь к Озирису, допущен быть наследственным жрецом пирамид при Мемфисе и храмов при пирамидах?

Тогда встал старый жрец, мой проводник в святилище Изиды, и сказал:

— Никого нет, о Аменемхат! Я знаю это сам!

Ещё раз мой отец повторил:

— Найдётся ли кто между вами, кто мог бы возразить, что дарственный Гармахис по злобе сердца или по нечистоте жизни, по лживости или порочности недостойн принять корону фараона всей страны?

Тогда встал пожилой князь из Мемфиса и ответил:

— Мы исследовали всё это, и никто не может отрицать его достоинств!

— Хорошо, — сказал мой отец, — в князе Гармахисе не имеется недостатков, как в священном семени Нект-Небфа Озирийского. Пусть же старая женщина Атуа расскажет всем присутствующим о том, что произошло в час смерти моей жены, которая, исполнившись духа, пророчествовала о Гармахисе!

Тогда старая Атуа отделилась от тени колонн и важно рассказала всё, что знала.

— Вы слышали, — сказал мой отец, — верите ли вы, что через мою жену говорил божественный голос?

— Верим все! — был общий ответ.

Снова встал мой дядя Сепы и сказал:

— Царственный Гармахис, ты слышишь? Знай же, что мы собрались здесь короновать тебя фараоном Верхнего и Нижнего Египта: святой отец Аменемхат отказывается от своих прав в твою пользу. Нам не придётся совершать это со всей приличествующей пышностью и церемониями, так как мы должны сохранить в строжайшей тайне ради сбережения нашей жизни, хотя это дело дороже для нас самой жизни. Всё же мы совершим твоё коронование с достоинством и согласно древним обычаям, как только позволят обстоятельства. Узнай же, в чём дело, и, узнавши, если ум твой не имеет препятствий, воссядь на трон фараонов и принеси присягу! Давно и долго стонет страна Кемы под тяжёлым игом греков и трепещет при виде римских копий. Давно уже оскверняется наша древняя вера, а народ томится под властью иноземцев! Мы верим, что час освобождения настал, и торжественным голосом всего Египта и древних египетских богов, с которыми ты связан крепкими узами, взываем к тебе, князь: «Будь мечом нашего освободителя!» Слушай же! Двадцать тысяч верных и храбрых мужей ждут твоего слова и по твоему знаку встанут как один человек, чтобы избить греков, и из крови и тел их построить тебе трон на земле Кемы, прочнее и крепче древних пирамид, такой престол, чтобы далеко отбросить все римские легионы! Сигналом восстания будет смерть смелой развратницы Клеопатры. Ты должен позаботиться об её смерти и её кровью будешь помазан на царственном троне Египта. Можешь ли ты отказаться, наша надежда? Разве твоё сердце не полно священной любви к родине? Можешь ли ты отнять от уст Египта чашу свободы или заставить пить горький напиток рабства? Твоя задача велика. Она может не удалиться, и ты заплатишься тогда твоей жизнью, как мы. Но что из этого, Гармахис? Разве жизнь так уж сладка? Разве мы уж так дорожим каменистым ложем, земли? Разве горечи и печали земли не ничтожны? Неужели мы дышим таким божественным воздухом, что побоимся взглянуть в лицо смерти? Что есть у нас на земле, кроме надежды и воспоминаний? Что видим мы, кроме теней? Разве побоимся с чистыми руками идти туда, где исполнение всего, где воспоминание теряется в собственном источнике и тени исчезают во всепроникающем свете? О, Гармахис, истинно блажен тот человек, кто венчает свою жизнь пышным венцом славы! Смерть протягивает всему живущему свои мрачные цветы мака, и счастлив тот, кто сумеет внести эти цветы в свой венец славы! Какая смерть лучше для человека, чем смерть за свободу своей родины, за её права, чтобы родная страна могла встать лицом к небу и, испустив клич свободы, снова облачилась в броню силы, растоптала ногами иго рабства, земных тиранов, наложивших печать неволи на её чело?— Кемы призывает тебя, Гармахис! Иди, иди, Освободитель, подобно Хору, спустись с неба, разбей цепи рабства, рассея врагов и царствуй на троне фараонов!

— Довольно, довольно! — вскричал я, и долгий ропот одобрения послышался у колонн и массивных стен. — Довольно! Разве нужно так заклинать меня? Если б я имел не одну, а сто жизней, я с радостью отдал бы их за Египет!

— Хорошо сказано, хорошо! — подхватил Сепы. — Теперь иди с этой женщиной, чтобы она омыла твои руки, перед тем как они коснутся священных эмблем, и помазала твоё чело, прежде чем оно украсится диадемой!

Я пошёл в отдельную комнату с Атуей. Там она, бормоча молитвы, налила мне на руки чистой воды над золотой чашей и, обмакнув в масло кусочек сукна, помазала им моё чело.

— О, счастливый Египет! — бормотала при этом старуха. — Счастливый князь, будущий правитель Египта! О, царственный юноша! Слишком царственный, чтобы быть жрецом, так, наверное, будут думать многие прекрасные женщины! Может быть, для тебя и изменят жреческий закон, иначе как же продолжится твой род фараонов? Как счастлива я, вынянчившая тебя, отдавшая мою плоть и кровь ради твоего спасения! О, царственный красавец, Гармахис, родившийся для роскоши, счастья и любви!

— Перестань, перестань! — прервал я её болтовню, которая раздражала меня. — Не называй меня

счастливым, пока не узнаешь, как я кончу, и никогда не говори мне о любви; с любовью нераздельна печаль, мой путь иной и лучший!

— Ай, ай, как ты говоришь! Но и радость приходит с любовью! Не говори легко о любви, мой царь, ведь ты сам произошёл от любви. Ля! Ля! Но это всегда так бывает! «Гуси, распутив крылья, смеются над крокодилами, — говорят в Александрии, — а когда гуси спят в воде, смеются крокодилы!» Пожалуй, женщины похожи на прекрасных крокодилов! Люди поклоняются крокодилам в Антрибисе — он называется теперь крокодилополисом. Не правда ли? Люди поклоняются также женщинам во всём мире. Ля! Как вертится мой язык! А ты сейчас будешь коронован фараоном! Разве я не предсказала это? Ну, теперь ты чист, властитель двойной короны. Иди же!

Я вышел из комнаты со старухой, безумная болтовня которой звенела в моих ушах, хотя в её безумии заключалось зерно мудрости.

Когда я вошёл, сановники встали и снова поклонились мне. Тогда мой отец, не медля, подошёл ко мне и дал мне в руки золотое изображение божественной Ма, богини истины, золотые изображения ковчегов бога Амега-Ра, божественных Моут и Кон и торжественно произнёс:

— Клянёшься ли ты живым величием Ма, величием Амега-Ра, Моут и Кон?

— Клянусь! — ответил я.

— Клянёшься ли ты священной страной Коми, священной водой Сигора, храмами богов и вечными пирамидами?

— Клянусь!

— Помни об ужасном наказании, которое постигнет тебя, если ты нарушишь клятву! Клянись, что будешь править Египтом согласно древним законам, что будешь оберегать поклонение богам, будешь справедлив, не будешь угнетать народ, что не изменишь ему, не будешь заключать союза с римлянами или греками, что выбросишь иноземных идолов и посветишь всю свою жизнь свободе и счастьем страны Кеми!

— Клянусь!

— Хорошо. Взойди на трон, чтобы я мог назвать тебя фараоном в присутствии твоих подданных!

Я взошёл на трон. Подножием его был сфинкс, а балдахином — распростёртые крылья бога Ма.

Аменемхат подошёл ближе и возложил пшент^[89] на моё чело, двойную корону на мою голову и царское одеяние на мои плечи. В руках я держал скипетр и бич.

— Царственный Гармахис, — вскричал он, — этими знаками я, великий жрец храма Ра-Мен-Ма в Абуфисе, короную тебя фараоном Верхнего и Нижнего Египта! Царствуй и благоденствуй, о надежда Кеми!

— Царствуй и благоденствуй, о фараон! — как эхо повторили все присутствующие, склоняясь передо мной.

Один за другим они принесли мне присягу и дали клятву. Потом отец взял меня за руку и в торжественной процессии повёл меня в каждое из семи святилищ в храме Ра-Мен-Ма. Я приносил жертву, курил фимиами и священнодействовал как жрец. В царском одеянии я принёс жертву в храме Хора, Изиды, Озириса, в храме Амен-Ра, в храме Пта, пока не достиг храма Царской комнаты, где уже мне как божественному фараону были принесены жертвы. Потом все ушли, оставив меня одного; теперь я был уже царём Египта.

(На этом кончается первый, маленький лист папируса.)

ЧАСТЬ II

ПАДЕНИЕ ГАРМАХИСА

I

Прощание Аменемхата с Гармахисом

Гармахис отправляется в Александрию

Увещания Сепы. — Клеопатра в одежде Изиды

Гармахис поражает гладиатора.

Долгие дни приготовления закончились. Время настало. Я был посвящён и коронован, и, хотя простой народ не знал меня или знал только как жреца Изиды, в Египте были уже тысячи людей, которые в душе чтили меня и поклонялись мне как фараону. Час мой близился, и дух мой рвался ему навстречу. Я жаждал низвергнуть иноплеменника, видеть Египет свободным, взойти на трон — моё наследство, и очистить храмы моих богов. Я стремился к борьбе и не сомневался в её исходе. Смотрясь в зеркало, я видел триумф и победу на своём челе. Путь славы был уготован мне в будущем, сияющий, как Сигор, в лучах солнца.

Я приобщился матери Изиде, мысленно советовался с своим сердцем, воздвигал великие законы, которые должны осчастливить мой народ, и в моих ушах звучали восторженные крики, приветствовавшие победоносного фараона на троне.

Пока я находился в Абуфисе и мечтал, мои остриженные волосы снова отросли, длинные и чёрные, как вороново крыло. Я упражнялся в военном искусстве и для известных мне целей усовершенствовался в египетской магии. Научился читать по звёздам и даже достиг в этом большой ловкости.

Настало время исполнять составленный план. Мой дядя Сепы на время покинул храм в Анну, сославшись на расстроенное здоровье, и поселился в своём доме в Александрии, чтобы набраться сил, как он говорил, и подышать морским воздухом, полюбоваться чудесами великого музея и славой двора Клеопатры. Там я должен был присоединиться к нему, так как в самой Александрии положено было начало заговора. Согласно условию, как только меня потребовали, всё было подготовлено, я собрался в путь и прошёл в комнату моего отца, чтобы получить от него благословение. Старик сидел на своём обычном месте, его длинная белая борода лежала на каменном столе, в руке он держал связанные письма. Когда я вошёл в комнату, мой отец встал с места и хотел встать на колени передо мной, вскричав: «Приветствую тебя, фараон!» Но я удержал его за руку.

— Это не подобает тебе, отец! — сказал я.

— Нет, подобает, — ответил он, — подобает мне поклониться моему царю. Но пусть будет по-твоему! Итак, ты уезжаешь, Гармахис, благословение моё да будет с тобой! О, сын мой! Пусть боги, которым я служу, даруют счастье моим старым глазам видеть тебя на троне! Я много и упорно трудился, Гармахис, стараясь узнать тайну будущего, но вся моя мудрость не могла помочь мне. Это закрыто передо мной; иногда моё сердце слабеет. Но выслушай. Тебе предстоит опасность в образе женщины. Я давно знаю это, поэтому-то ты и был призван к почитанию божественной Изиды, которая запрещает своим избранникам всякую мысль о земной женщине, пока ей не угодно будет смягчить обет. О, сын мой, я хотел бы, чтобы ты не был так красив и силен — ты красивее и сильнее всех мужей Египта, как и подобает царю! Но эта красота и сила может быть причиной твоего падения! Берегись, сын мой, чародеек Александрии, чтобы они, подобно червю, не вползли в твоё сердце и не сглодали твоей тайны!

— Не бойся, отец, — отвечал я, нахмурившись, — моя мысль занята другим, я не думаю о пунцовых губах и смеющихся глазах!

— Это хорошо, — ответил он, — пусть будет так. А теперь прощай! Когда мы снова встретимся, быть может, в счастливый час, я приду из Абуфиса со всеми жрецами Верхнего Египта поклониться фараону на его троне!

Он нежно обнял меня, и я ушёл. Увы! Как мало я думал о том, как нам придётся встретиться.

Итак, ещё раз пришлось путешествовать мне по Нилу в качестве обыкновенного человека. Тем, кто любопытствовал относительно меня, отвечали, что я приёмный сын великого жреца в Абуфисе, воспитанный им для службы жреца, что я отказался от служения богам и решил отправиться в Александрию попытать счастья. Кто не знал правды, тот полагал, что я действительно внук старой Ату и.

На десятую ночь, плывя по ветру, мы достигли могущественной Александрии, города тысячи сверкающих маяков: над городом господствовал белый Фарос, одно из чудес мира, от венца которого разливался свет, подобный солнечному, освещавший воду и указывавший путь морякам. Когда судно вошло в гавань и было тщательно привязано, так как наступила ночь, я сошёл на берег и стоял изумлённый громадой домов, смущённый шумом и говором на разных языках. Казалось, все народы собрались сюда со всего мира и каждый говорил на языке своей страны. Пока я стоял, какой-то молодой человек подошёл ко мне и, тронув меня за плечо, спросил, не из Абуфиса ли я и не зовут ли меня Гармахисом. Я ответил утвердительно. Тогда, склонившись ко мне, он прошептал мне на ухо тайный пароль и приказал двум невольникам взять мой багаж с корабля. Они исполнили приказание, расчистив себе путь через толпу носильщиков, пристававших со своими услугами. Я последовал за незнакомцем по набережной мимо бесчисленных винных лавок, где толпились всевозможного рода люди, попивая вино и любясь пляской женщин, из которых одни были полуодеты, другие — совершенно нагие.

Мы прошли мимо освещённых домов, добрались до берега гавани и свернули направо вдоль широкой дороги, вымощенной камнем. По краям дороги стояли огромные дома с галереями, каких я никогда не видел. Мы повернули ещё раз направо и очутились в менее шумной части города. Улицы были пустынные и тихие, только изредка оживляемые толпами гуляк. Мой путеводитель остановился у дома, выстроенного из белого камня. Мы вошли внутрь и, пройдя маленький дворик, очутились в освещённой комнате, где я нашёл дядю Сепу. Он сильно обрадовался мне. Когда я помылся с дороги и поел, он сказал мне, что всё идёт хорошо, что при дворе ничего не подозревают. Далее он рассказал мне, что, когда ушей царицы достигло известие, что жрец из Анну поселился в Александрии, она послала за ним и много расспрашивала его — не о заговоре — ей не приходило и в голову это, — а о сокровище, скрытом в великой пирамиде близ Анну, так как слышала об этом. Расточительная, она вечно нуждалась в деньгах и мечтала раскрыть пирамиду. Сепу смеялся над ней, говоря, что пирамида служит только местом упокоения

божественного Куфу, что он ничего не слышал о сокровищах.

Клеопатра рассердилась и поклялась, что она разрушит пирамиду, не оставит камня на камне и вырвет тайну из её сердца, что это так же верно, как то, что она правит Египтом. Септа опять засмеялся и ответил ей александрийской поговоркой: «Горы переживают царей!» Она тоже засмеялась его удачному ответу и отпустила его. Затем дядя Септа сказал мне, что завтра будет день рождения Клеопатры, также и мой, и что я увижу её, так как она в одеянии священной Изиды отправится из своего дворца Лохиа в Серапиум, чтобы принести жертву в храме ложного бога. А потом, прибавил он, надо будет поразмыслить, как мне проникнуть во дворец царицы. Я очень устал и пошёл спать, но не мог уснуть в незнакомом месте, тревожимый шумом улицы и мыслью о завтрашнем дне.

Было ещё темно, когда я встал, забрался по лестнице на кровлю дома и ждал. Вдруг, подобно стрелам, брызнули лучи солнца и осветили чудный беломраморный Фарос, свет которого померк и погас, словно лучи солнца убили его. Солнечный свет озарил дворец Лохиа, где покоилась Клеопатра и, словно алмазы, заблестали они на тёмной и холодной груди моря. Лучи побежали дальше, лобзая священный купол Сомы, под которым спит вечным сном Александр Македонский; заигрывая с высокими верхушками тысячи дворцов и храмов, с портиками великого музея, с горделивой гробницей, на которой высечено из слоновой кости изображение ложного бога Сераписа, и затерялись в огромном и мрачном Некрополисе.

Наступал день; целый поток света, победив мрак ночи, опрокинулся на землю, залил улицы и окутал Александрию пурпуром солнечных лучей, словно пышной царской мантией. Эфесский ветер подул с севера и разогнал туман в гавани, так что я увидел голубые воды, ласкающие тысячи кораблей. Я видел огромный мол Гептастадиум, видел сотни улиц, бесчисленные громады домов, неисчислимое богатство Александрии, возлётшей подобно царице между озером Мареотис и океаном и господствовавшей над ними. Я был поражён. «Так вот один из городов моего наследства! — думалось мне. — Да, он стоит борьбы!» Наглядевшись и насытив своё сердце видом всего этого великолепия, я помолился священной Изиде и сошёл вниз. Внизу, в комнате, меня встретил дядя Септа. Я сказал ему, что наблюдал восход солнца над Александрией.

— Так, — сказал он, посмотрев на меня из-под своих косматых бровей, — как же ты находишь Александрию?

— Это — настоящий город богов, — ответил я.

— О, это город адских богов, — сурово возразил он, — яма разврата, кипящий источник нечестия, дом лживой веры, исходящей из лживых сердец, я не оставил бы камня на камне от этого города, я желал бы, чтобы всё его богатство лежало глубоко, под теми водами! Я хотел бы, чтобы чайки реяли над городом и ветер, не заражённый греческим дыханием, носился бы над его развалинами от океана до Мареотиса! О, царственный Гармахис! Берегись, чтобы роскошь и красота Александрии не отравили твоего сердца, потому что в этом смертоносном воздухе погибает вера и святая религия не может расправить своих небесных крыльев. Когда пробьёт твой час, Гармахис, и ты будешь на троне, уничтожь этот проклятый город и по примеру отцов перенеси престол свой в белостенный Мемфис. Я говорю тебе, что Александрия - это пышные ворота разрушения для всего Египта, и, пока она существует, все земные народы будут приходить в неё, чтобы грабить страну, все лживые религии будут гнездиться в ней, подготавливая гибель египетских богов!

Я ничего не ответил дяде, сознавая, что он сказал правду. Но город казался мне очень красивым на вид. Когда мы поехали, дядя сказал мне, что пора уже идти смотреть шествие Клеопатры.

— Хотя она не явится раньше двух часов пополудни, — добавил он, — но александрийцы так любят зрелища, что мы, придя позднее, не в силах будем протолкаться через толпу, которая уже, наверное,

собралась вдоль главных улиц, где должна ехать царица.

Мы отправились занять места на подмостках, построенных по одной стороне большой дороги, пересекающей город до Канопских ворот. Мой дядя заранее купил право входа туда за дорогую цену. С большим трудом пробрались мы через огромную толпу, собравшуюся на улице, и достигли подмостков, покрытых ярко-красным сукном. Здесь мы уселись на скамью и ждали несколько часов, наблюдая толпу, теснившуюся около нас, которая пела, кричала и болтала на разных языках. Наконец появились солдаты, расчищавшие путь и одетые по римскому обычаю в стальные кольчуги. За ними шёл герольд, приглашавший к молчанию (причём народ начал петь и кричать ещё сильнее), объявлявший, что шествует Клеопатра, царица Египта. Затем шли тысяча киликийцев, тысяча фракийцев, тысяча македонян и тысяча греков. Все они были вооружены по обычаю своей родины. За ними ехали пятьсот всадников, причём и сами они, и их лошади были покрыты кольчугами. Потом шли юноши и девушки, роскошно одетые, неся золотые короны и символические изображения дня и ночи, утра и полудня, неба и земли, и прекраснейшие женщины, кутившие ароматы и усыпавшие дорогу чудными цветами. Вот раздался громкий крик: «Клеопатра! Клеопатра!» Я затаил дыхание и наклонился вперёд, чтобы видеть ту, которая осмелилась одеться Изидой. В эту минуту громадная толпа скучилась и загородила меня, так что я не мог ничего видеть. По горячности я быстро перепрыгнул барьер подмостков и, пользуясь своей силой, растолкал толпу и вышел в передний ряд. В это время нубийские невольники, увенчанные плющом, побежали вперёд, разгоняя народ и немилосердно колотя его своими толстыми палками. Один из них, которого я заметил благодаря гигантскому росту, обладал огромной силой и, забыв всякую меру, непрерывно бил народ, как это часто бывает с людьми низкого сословия, захватившими в свои руки власть.

Около меня стояла женщина, по виду египтянка, державшая ребёнка. Видя, что она слаба и беспомощна, нубиец ударил её по голове палкой так, что она упала. Народ начал роптать. При виде этого кровь бросилась мне в голову и затемнила рассудок. В руках у меня был оливковый посох с Кипра, и, когда чёрный негодяй захохотал, увидя, что женщина упала, а её дитя покатилося на землю, я размахнулся и ударил его посохом. Удар был так силен, что палка сломалась о его плечи, кровь брызнула и запачкала спустившиеся листья плюща. Крича от ярости и боли, — ведь тот, кто любит бить, не любит быть битым, — нубиец обернулся и бросился на меня. Народ подался назад, окружив нас кольцом, а бедная женщина не могла подняться с земли.

С рёвом нубиец набросился на меня. Но я, как безумный, с силой ударил его сжатым кулаком между глаз: у меня не было другого оружия. Он зашатался, как бык под ударом жреческого топора. Народ волновался и кричал — толпа любит бой, а гигант был известный гладиатор, привыкший к победам на играх. Собрав всю силу, нубиец снова бросился на меня с ругательством и с такой силой размахнулся своей огромной палкой, что я был бы убит наповал, если бы не сумел ловко увернуться от удара. Палка отлетела в сторону и разлетелась на куски. Толпа снова одобрительно закричала, а гигант, бледный от ярости, кинулся на меня. С криком я вцепился в его горло — он был так велик и тяжёл, что я не мог рассчитывать повалить его, — и повис на нём. Его кулаки колотили меня, как дубины, а мои пальцы сжимали ему горло. Долго мы вертелись кругом, пока он не бросился на землю, надеясь оттолкнуть меня. Мы катались по земле, наконец он ослабел и начал задыхаться. Тогда я очутился сверху и, поставив колено ему на грудь, вероятно, убил бы его в припадке ярости, если б мой дядя и другие не оттащили меня от него.

В это время — я ничего не видел — колесница, в которой сидела Клеопатра, подъехала к нам и остановилась благодаря волнению и шуму. Впереди колесницы шли слоны, позади вели львов. Я — израненный, задыхаясь от усталости, в белой одежде, запачканной кровью, хлынувшей изо рта и ноздрей огромного нубийца, взглянул вверх и в первый раз увидел Клеопатру лицом к лицу. Колесница её была из чистого золота и запряжена молочными белыми конями. Она сидела в ней, а две прекрасные девушки в

греческом одеянии, стоя по обеим сторонам царицы, обведали её блестящими опахалами. На голове Клеопатры было покрывало Изиды, два золотых рога, между которыми находился круглый диск месяца и эмблема трона Озириса с уреусом, обвитым вокруг чела.

Из-под покрывала виднелась золотая шапочка с голубыми крыльями и голова коршуна с драгоценными камнями вместо глаз. Прекрасные чёрные волосы рассыпались до ног. Вокруг прекрасной шеи блесло золотое ожерелье, усеянное изумрудами и кораллами. На руках были надеты золотые браслеты с изумрудами и кораллами. В одной руке она держала золотой крест жизни из чистого хрусталя, в другой — царственный скипетр. Её грудь была обнажена, и всё одеяние сверкало, как чешуя змеи, усеянное драгоценными камнями. Из-под этой одежды спускалась вниз золотая материя, полузакрытая шарфом, вышитым шелками и спускающимся вниз, до сандалий. Эти сандалии, надетые на её белые, маленькие ноги, были застёгнуты большими перлами.

Всё это я рассмотрел сразу. Потом я взглянул на её лицо — лицо, соблазвившее цезаря, погубившего Египет, и позднее решившее судьбу Октавия, державшего скипетр всего мира! Я смотрел на правильные греческие черты лица, на круглый подбородок, полные страстные губы, на точёные ноздри правильного носа, на нежные уши, похожие на маленькие раковины, разглядывал её лоб, низкий, широкий, красивый, вьющиеся чёрные волосы, падающие вниз роскошной волной, блестя в лучах солнца, дугообразные, правильные брови и длинные загнутые ресницы; я любовался царственной красотой её форм. Передо мной на дивном лице искрились её чудные глаза, похожие на кипрскую фиалку, — глаза, полузакрытые, кроющие в себе какую-то тайну, тайну ночи в одинокой пустыне, и, как эта ночь, постоянно меняющиеся. Порой они загорались ярким сиянием — сиянием звёздных глубин в тишине ночи. Я видел все эти чудеса, хотя не обладаю искусством рассказывать о них, и понял, что все эти чары составляют могущество дивной красоты Клеопатры. Её сила заключалась в славе и сиянии её гордой души, сквозивших сквозь телесную оболочку. Это было пламенное существо, ни одна женщина не была подобна ей и никогда не будет. Даже когда она дремала, огонь её сердца отражался на её лице. Когда же она просыпалась, глаза её искрились, страстная музыка голоса звучала на её устах, кто мог тогда устоять против Клеопатры? В ней был блеск, данный женщине для славы, гений мужчины, дарованный небом.

Вместе с этим в ней жил злой дух, который ничего не боялся, смеялся над законами, играл судьбами империй и, улыбаясь, заливал свои желания потоками человеческой крови. Всё это соединилось в ней и сделало Клеопатру такой, какой не может и изобразить человеческий язык, которую человек, увидев раз, уже не мог забыть никогда. Она походила на духа бури, на сияние света, она была жестока, как чума! Горе миру, если в нём появится ещё такая женщина на погибель всем!

На минуту глаза мои встретились с глазами Клеопатры, когда она лениво приподнялась, чтобы узнать причину шума. Сначала эти глаза были темны и мрачны, как будто они видели что-то такое, чего не понимал её мозг. Потом они оживились, и цвет их изменился, подобно цвету моря, меняющемуся от волнения воды. Сперва в них был написан гнев, ленивое любопытство, потом, когда она взглянула на огромное тело человека, которого я победил, и узнала в нём своего гладиатора, в них мелькнуло что-то похожее на удивление. Наконец они стали нежны, хотя лицо её не изменилось. Тот, кто хотел читать в сердце Клеопатры, должен был смотреть в её глаза, так как её лицо не выражало её чувств. Обернувшись, она произнесла несколько слов своим телохранителям, которые подошли ко мне и привели к ней. Толпа молчаливо ждала моего смертного приговора.

Я стоял перед ней, сложив руки на груди. Очарованный её красотой, я всё же ненавидел её от всего сердца — эту женщину, осмелившуюся облечься в одеяние Изиды, узурпаторшу, сидевшую на моём троне, эту блудницу, мотавшую богатства Египта на колесницы и благоухания. Она оглядела меня с головы до ног и заговорила полным, низким голосом на языке Кеми, которому она выучилась одна из всех Лагидов.

— Кто ты и что ты, египтянин? Я вижу, что ты египтянин, — как осмелился ты ударить моего невольника, когда я шествовала по моему городу?

— Я Гармахис, — отвечал я смело, — Гармахис-астролог, приёмный сын великого жреца и правителя Абуфиса, приехавший сюда искать счастья. Я побил твоего невольника, царица, за то, что он без всякой причины ударил бедную женщину. Спроси тех, кто видел это всё, царица Египта.

— Гармахис, — повторила она, — имя твоё звучит красиво, и у тебя величественный вид!

Затем она приказала солдату, который видел всю историю нашей битвы, рассказать ей, как всё это произошло. Солдат рассказал ей правдиво, видимо, дружески расположенный ко мне за мою победу над нубийцем. Тогда Клеопатра обернулась и что-то сказала девушке, стоявшей около неё и державшей опахало. Это была удивительно красивая женщина с вьющимися волосами и пугливыми чёрными глазами. Девушка ответила ей. Клеопатра велела привести нубийца. К ней подвели невольника-гиганта, уже усевшегося отдохнуть и оправиться, и женщину, которую он ударил.

— Собака! — произнесла она тем же низким голосом. — Ты трус! Силач! Ты смел ударить женщину и как трус был побеждён этим молодым человеком. Я научу тебя вежливости! Впредь, если ты вздумаешь бить женщину, бей их левой рукой. Эй, возьмите этого чёрного раба и отрубите ему правую руку.

Отдав это приказание, она откинулась назад в свою золотую колесницу, и словно облако сгустилось в её глазах. Телохранители схватили нубийца, и, несмотря на его крики и мольбы о пощаде, отрубив ему руку мечом на барьере, унесли его.

Процессия двинулась дальше. Прекрасная девушка с опахалом повернула голову, встретила мой взгляд, улыбнулась и кивнула мне головой, как будто чему-то радовалась. Я был очень удивлён.

При первой возможности мы с дядей поспешили вернуться домой. Всё время он бранил меня за мою поспешность, но, когда мы очутились в комнате, он нежно обнял меня, радуясь, что я победил гиганта, не причинив себе особого вреда.

II

Приход Хармионы

Гнев Сепы

В ту самую ночь, пока мы сидели за ужином, раздался стук в дверь. Наша дверь была не заперта, и в комнату вошла женщина, закутанная с ног до головы в широкий, большой пеплос или плащ, так что лица её не было видно. Мой дядя встал, и женщина произнесла тайный пароль.

— Я пришла, отец мой, — произнесла она музыкальным и чистым голосом, — хотя, по правде говоря, не так-то легко ускользнуть из дворца. Я сказала царице, что солнце и уличный шум делают меня больной, и она отпустила меня!

— Хорошо, — ответил дядя, — сбрось покрывало, здесь ты в безопасности.

Со вздохом утомления она сбросила свой плащ и предстала передо мной в образе той прекрасной девушки, которая стояла в колеснице Клеопатры с опахалом в руке. Она была очень хороша собой, и греческое одеяние красиво облегло её стройные члены и юные формы тела. Её волосы, спускавшиеся локонами по плечам, были перехвачены золотой сеткой; на маленьких ногах, обутом в сандалии, блестели золотые пряжки. Щёки розовели, как цветок, а тёмные, нежные глаза были скромно опущены вниз, но на губах и в ямочках на щеках трепетала улыбка.

Мой дядя нахмурил брови, увидев её одеяние.

— Зачем ты пришла сюда в этой одежде, Хармиона? — спросил он строго. — Разве платья твоей матери не хороши для тебя? Не время и не место здесь для женского тщеславия! Ты пришла не для того, чтобы побеждать, а должна только повиноваться!

— Не сердись, отец мой, — кротко ответила она, — ты, вероятно, не знаешь, что та, которой я служу, не выносит египетской одежды. Это не в моде и носить её — значит, навлечь на себя подозрение, а я торопилась!

Пока она говорила, я видел, что она наблюдала за мной, хотя ресницы её глаз были скромно опущены.

— Хорошо, хорошо! — резко отвечал дядя, устремив свой пронизывающий взгляд на её лицо. — Несомненно, ты говоришь правду, Хармиона. Помни твою клятву, девушка, и то дело, которому ты поклялась быть верной. Не будь легкомысленной, прошу тебя, забудь сдую красоту, которая навлечёт на тебя проклятие. Заметь это, Хармиона, постигни нас неудача, она тебя падёт проклятие людей и богов! Ради этого дела, — продолжал он с возрастающим гневом, и его звучный голос гремел в узкой комнате, — тебя воспитали, обучили всему, что нужно, и поместили к той порочной женщине, которой ты служишь, и чьё доверие ты должна заслужить. Не забывай этого, берегись, чтобы роскошь царского двора не загрязнила твоей чистоты и не отвлекла от цели, берегись, Хармиона!

Его глаза метали молнии, и небольшая фигура, казалось, выросла до величия.

— Хармиона, — продолжал он, подходя к ней с поднятым пальцем, — я знаю, что иногда не могу доверять тебе. Две ночи тому назад я спал, и мне снилось, что ты стоишь в пустыне, смеёшься и протягиваешь руки к небу, а с неба падает кровавый дождь. Потом я видел, как небо упало на страну Кеми и покрыло её. Откуда этот сон, девушка, и что он означает? Я ничего не имею против тебя, но выслушай! В тот момент, когда я узнаю, что ты изменила нам, то, хотя ты приходишь из моего рода, твои нежные члены, которые ты так любишь показывать, будут обречены на съедение коршунам и шакалам, а душа твоя — на страшные муки. Ты будешь валяться непогребённой и, проклятая всеми, сойдёшь в Аменти! Помни это!

Он замолчал, страстный порыв его гнева смягчился; яснее, чем когда-либо, я видел, какое глубокое и честное сердце скрывалось под весёлой и простой оболочкой моего дяди и как глубоко проникся он целью, к которой стремился. Девушка с ужасом отшатнулась от него и, закрыв своё прекрасное лицо руками, начала плакать.

— Не говори так, отец мой! — просила она, рыдая. — Что я сделала? Я не разгадчица снов, и ничего не понимаю в них. Разве я не исполняла все ваши желания? Разве когда-нибудь подумала нарушить клятву? — Она задрожала сильнее. — Разве я не играю роль шпиона и не передаю вам всё? Разве я не заручилась доверием царицы, которая любит меня, как сестру, и не отказывает мне ни в чём? Разве мне не доверяют все окружающие царицу? Зачем же пугать меня всеми этими словами и угрозами?

Она горько заплакала, и эти слёзы придали ей ещё больше красоты.

— Ну, довольно, — отвечал дядя Сеп, — что я сказал, то сказал. Берегись и не оскверняй наших глаз видом этой одежды блудниц. Неужели ты думаешь, что мы будем любоваться твоими округлёнными руками, мы, думающие только о Египте, мы, посвящённые египетским богам? Девушка, смотри, это твой двоюродный брат и твой царь!

Она перестала плакать и вытерла хитомом глаза, сделавшиеся ещё нежнее и прелестнее от пролитых слёз.

— Я думаю, дарственный Гармахис и возлюбленный брат, — сказала она, склонившись предо мной, — что мы уже знакомы!

— Да, сестра, — ответил я не без смущения, так как никогда не говорил с такой прекрасной девушкой, — ты была в колеснице Клеопатры, когда я боролся с нубийцем!

— Верно, — возразила она с улыбкой и внезапным блеском в глазах, — это был удачный бой, и ты ловко поборол чёрного негодяя. Я видела всё и, хотя не знала тебя, но боялась за храбреца. Но я хорошо отплатила ему за свой страх — ведь это я внушила Клеопатре мысль приказать телохранителям отрубить ему руку. А если б я знала, кто боролся с ним, то посоветовала бы даже отрубить ему голову!

Она кинула мне быстрый взгляд и улыбнулась.

— Довольно, — прервал дядя Сеп, — время уходить. Излагай своё дело и уходи, Хармиона!

Её манеры изменились, она сложила руки и заговорила:

— Пусть фараон выслушает с вою верную слугу. Я дочь дяди фараона, брата его отца, давно умершего, и в моих жилах течёт царственная кровь Египта. Я глубоко почитаю нашу древнюю веру, ненавижу греков и многие годы лелею мечту видеть тебя на троне отцов наших. Для этой цели я, Хармиона, забыла моё происхождение, сделалась служанкой Клеопатры, чтобы вырубить ступень, на которую может твёрдо ступить твоя нога, когда настанет время взойти на трон. Теперь, фараон, эта ступень сделана! Царственный брат, выслушай наш заговор! Ты должен иметь право доступа во дворец, изучить все его выходы и тайники, насколько возможно, подкупить и военачальников. Некоторых я уже склонила

на свою сторону. Когда это будет сделано и всё приготовлено, ты должен убить Клеопатру и с моей помощью во время смятения впустить в дворцовые двери верных людей из нашей партии, которые будут ждать, и изрубить людей, преданных царице. Через два дня после этого изменчивая Александрия будет у твоих ног. В это время те, кто принёс тебе присягу в Египте, вооружатся, и через 10 дней после смерти Клеопатры ты будешь фараоном. Вот план, составленный нами, царственный брат, и ты видишь, что, хотя дядя считает меня дурной, я хорошо знаю свою роль и хорошо играю её!

— Я слышу тебя, сестра, — ответил я, удивляясь, что столь молодая женщина (ей было 20 лет) так смело составила опасный план. — Продолжай, как же я получу право входа во дворец Клеопатры?

— Это очень легко. Клеопатра любит красивых мужчин, а ты, прости меня, — красавец. Даже сегодня она два раза вспоминала о тебе, жалея, что не знает, где найти красивого астролога; она думает, что человек, победивший гладиатора без всякого оружия, действительно колдун и умеет читать будущее по звёздам. Я ответила, что найду его. Слушай, царственный Гармахис, в полдень Клеопатра спит во внутреннем покое, который выходит окнами на сады в гавани. Завтра в этот час я встречу тебя у ворот дворца, приходи смело и спроси Госпожу Хармиону. Я переговорю с Клеопатрой, чтобы ты мог видеть её наедине, когда она проснётся. Остальное в твоих руках, Гармахис. Она очень любит играть тайнами магии и, я знаю, простаивает целые ночи, наблюдая течение звёзд и питая надежду читать по ним. Недавно она отослала прочь врача Диоскорида! Бедный глупец! Он осмелился предсказать ей по звёздам, что «Кассий победит Марка Антония: Клеопатра сейчас же послала приказание военачальнику Аллиену, чтобы он присоединил легионы, посланные в Сирию на помощь Антонию, к войску Кассия, победа которого, по словам Диоскорида, была написана на звёздах. Но Антоний сначала разрубил Кассия, потом Брута. Тогда Клеопатра прогнала Диоскорида, и теперь он читает лекции о травах в музее ради куска хлеба, возненавидя даже название звёзд. Его место свободно, ты займёшь его. Мы будем работать втайне, под сенью скипетра, подобно червю, точащему сердце плода, пока не придёт время сорвать его. От прикосновения твоего кинжала, царственный брат, разрушится в прах этот сфабрикованный греками трон, червь, подтачивающий этот трон, сбросит одежду раба, и перед лицом империи распушит свои царственные крылья над Египтом!

Я смотрел на странную девушку ещё более удивлённый и видел на её лице такой свет, какого никогда не замечал в глазах женщины.

— А, — прервал мой дядя, внимательно следивший за ней, — я люблю видеть тебя такой, девушка! Это моя Хармиона, которую я знал, которую воспитал, — не та, наряженная в шелка и раздушенная придворная девица! Пусть твоё сердце закаменеет в этой форме! Запечатлей его горячей преданностью к твоей вере, и велика будет твоя награда! Теперь закрывай плащом своё бесстыдное одеяние и уходи, ведь уже поздно. Завтра Гармахис придёт, как ты говорила. Прощай!

Хармиона склонила голову и закуталась в свой тёплый плащ, не говоря ни слова.

— Странная женщина! — сказал дядя Сеп, когда она ушла, — очень странная женщина, ей нельзя доверять!

— Может быть, дядя, — возразил я, — только ты был очень строг к ней!

— Не без причины, сын мой! Смотри, Гармахис, берегись Хармионы! Она слишком своенравна и, я боюсь, может уклониться от дела. По правде говоря, это настоящая женщина и, подобно коню, выбирает тот путь, который ей нравится. У неё много ума, много огня, она предана нашему делу, и я молю богов, чтоб её желания не встретили противоречия себе, она всегда будет поступать по желанию сердца, чего бы ей ни стоило! Кроме того, я припугнул её! Ведь кто знает, что она сделает, когда будет вне моей власти? Я говорю тебе, что в руках этой девушки вся наша жизнь. — Что будет, если она ведёт ложную игру? Увы! Жаль,

что мы должны пользоваться ею как орудием. Может быть, это пустяки! Иначе ничего не поделаешь! Я, вероятно, сомневаюсь напрасно и молюсь богам, чтобы всё было хорошо! Но временами я боюсь племянницы Хармионы: она слишком хороша, слишком горячая, молодая кровь течёт в её жилах. Горе тому, кто доверится женской преданности! Женщины преданы только тому, кого они любят, и эта любовь становится их верой! Они не так постоянны, как мужчины. Они сумеют возвыситься выше мужчины, но надут ниже его, они сильны и изменчивы, как море! Гармахис, берегись Хармионы! Как бурный океан, она унесёт тебя на своих волнах и, как океан, погубит тебя, а с тобой погибнут все надежды Египта!

III

Приход Гармахиса во дворец

Как он проводит Павла через ворота

Клеопатра спит

Магическое искусство, которое Гармахис показывает ей.

На следующий день я оделся в длинное развевающееся платье по обычаю магов или астрологов, надел на голову шапочку с вышитыми на ней изображениями звёзд и заткнул за пояс дощечку писца и свиток папируса, исписанный мистическими знаками и письменами. В руке я держал посох из чёрного дерева с ручкой из слоновой кости, как у жрецов и магов. Между ними, разумеется, я был лучшим, изучив их тайны в Анну, и это заменило мне недостаток опыта, который приобретается лишь упражнениями.

Не без внутреннего стыда — я не люблю притворства и магии — я направился через Бруциум во дворец, руководимый дядей Сепа. Наконец, пройдя аллею сфинксов, мы подошли к большим мраморным воротам со створками из бронзы, за которыми находилось помещение для стражи. Тут дядя покинул меня, бормоча молитвы о моём спасении и успехах. Я приблизился к воротам со спокойным сердцем. Меня грубо остановил галльский часовой, спросив моё имя и занятие. Я назвал своё имя, добавив, что я астролог и имею дело к госпоже Хармионе, приближённой царицы. Часовой хотел уже пропустить меня, но ко мне вышел начальник телохранителей, римлянин по имени Павел, и загородил вход. Этот римлянин был толстый человек с женским лицом и трясущимися от пьянства руками. Он сейчас же узнал меня.

— А, — закричал он, на латинском языке обращаясь к другому человеку, пришедшему вместе с ним, — это тот молодец, который дрался вчера с нубийским гладиатором, с тем самым, что воет о своей руке под моим окном. Проклятие этой чёрной скотине! Я держал ставку на него, против Кая, на играх! Теперь он не может более драться, и я потеряю свои деньги, всё по милости этого астролога! Что ты говоришь? Дело к госпоже Хармионе! Нет, стой! Я не пущу тебя. Я обожаю госпожу Хармиону, все мы поклоняемся ей, хотя получаем от неё больше щелчков, чем улыбок. Ты воображаешь, что мы потерпим здесь астролога с такими глазами и таким станом и впустим тебя в игру? Клянусь Бахусом! Пусть юна выходит сама и решит дело, иначе ты не пройдёшь!

— Господин, — сказал я скромно и с достоинством, — я попрошу тебя послать вестника к Хармионе, так как моё дело не терпит отлагательства!

— О, бог, он не может ждать! — возразил глупец. — Как же это? Переодетый цезарь? Уходи прочь, если не желаешь быть проколотым копьём!

— Зачем, — прервал его спутник, — ведь он астролог; пускай предскажет, пускай покажет своё искусство!

— Да, да, — закричали все остальные, подойдя к нам, — пусть покажет своё искусство! Если он маг, то может пройти в ворота с Павлом или без него.

— Весьма охотно, добрые господа, — отвечал я, не видя других средств войти в ворота. — Желаешь ли ты, молодой и благородный господин, — я обратился к спутнику Павла, — чтобы я тебе взглянул в глаза? Быть может, я сумею прочесть, что в них написано!

— Хорошо, — отвечал молодой человек, — но я желал бы, чтобы колдуньей была Хармиона: я постоянно смотрел бы в её глаза!

Я взял его за руку и начал вглядываться в глубину его глаз.

— Я вижу, — сказал я, — поле битвы ночью, между трупами твоё тело, терзаемое гиеной. Благороднейший господин, ты умрёшь от удара мечом в нынешнем году!

— Клянусь Бахусом! — произнёс юноша, побледнев и отвернувшись. — Ты — зловещий колдун! — И он ушёл.

В скором времени предсказание моё исполнилось. Он был послан на Кипр и там убит.

— Теперь тебе, великий начальник, — сказал я, обращаясь к Павлу. — Я покажу тебе, как пройду в ворота без твоего позволения и протащу тебя за собой! Будь добр, смотри пристально на рукоятку этого посоха в моей руке.

Побуждаемый товарищами, Павел неохотно согласился.

Я заставил его смотреть, пока не заметил, что глаза его стали смыкаться, как глаза совы при солнечном свете. Тогда, отдёргнув посох, я заместил его своим лидом, напрягши всю свою волю, чтобы заставить его повиноваться. Повёртывая голову, я повлёк его за собой, лицо его было неподвижно и словно впилось в моё. Я двигался вперёд, пока мы не прошли ворота, всё таща его за собой, потом отвернул голову, Толстяк упал на землю и поднялся опять, потирая лоб, с глупым видом.

— Довольно ли для тебя, благородный начальник? — сказал я. — Ты видишь, мы прошли ворота! Не желает ли ещё кто-нибудь из благородных друзей твоих, чтобы я показал моё искусство?

— Клянусь властителем грома и всеми богами Олимпа! Нет, о нет! — проворчал старый центурион, галл по имени Бренн. — Ты мне не нравишься! Человек, который мог силой глаз протащить нашего Павла в ворота, — с ним шутить нельзя. Павел, который никому не уступит дороги! Ты даже не спросил его и тащил позади себя, словно осла. Ну, молодец, видно, у тебя в одном глазу сидит женщина, а в другом — кубок вина, если ты провёл Павла за собой!

Наш разговор был прерван Хармионой, которая спускалась по мраморной лестнице в сопровождении вооружённого раба. Она шла тихо и беззаботно, заложив руки за спину, не смотря ни на кого. Но когда Хармиона не смотрела ни на кого, она видела всё и всех. Начальники и солдаты почтительно склонились перед ней: как я узнал потом, эта девушка, любимица Клеопатры, после царицы была всевластным существом во дворце.

— Что за шум, Бренн? — произнесла Хармиона, тихо обращаясь к центуриону и как бы не замечая меня. — Разве ты не знаешь, что царица почивает в эти часы, и, если её разбудят, кто будет отвечать за это? Кто дорого поплатится за этот шум?

— Вот в чём дело, госпожа, — смиренно отвечал центурион. — Здесь у нас колдун — и самый опасный, — прошу у него извинения — самого высшего сорта! Он подставил свои глаза к носу

достопочтенного начальника Павла и протащил его в ворота за собой, тогда как Павел поклялся, что не пропустит его. Этот маг говорит, что у него есть дело до тебя, госпожа, и это очень озабочивает меня!

Хармиона обернулась и небрежно взглянула на меня.

— Ах, я припоминаю! — сказала она. — Ну, пусть царица посмотрит на его фокус! Но если он не умеет сделать ничего лучшего, как пройти в ворота мимо носа этого дурака, — она бросила гневный взгляд на Павла, — то он может уходить, откуда пришёл. Следуй за мной, господин маг, а тебе, Бренн, советую, сдерживать шумливую толпу. Что касается тебя, почтенный Павел, иди, протрезвись и на будущее время пропускай тех, кто спрашивает меня у ворот!

Гордо кивнув своей маленькой головой, она повернулась и пошла. Я и вооружённый раб следовали за ней на некотором расстоянии.

Мы прошли мраморную дорожку, пересекающую сад, по обеим сторонам которой стояли мраморные статуи, большей частью богов и богинь: Лагиды не стыдились украшать ими свои дворцы. Наконец дошли до чудного портика, украшенного колоннами в греческом стиле, где нас встретила стража, сейчас же пропустившая Хармиону. Пройдя портик, мы достигли мраморного вестибюля, где тихо журчал фонтан, и через низенькую дверь вошли в другую, удивительно красивую комнату, называемую алебастровым залом. Её потолок поддерживали лёгкие колонны из чёрного мрамора, стены были выложены алебастром с вырезанными на нём греческими легендами. Пол был из богатой цветной мозаики, с рисунками, изображавшими историю страсти Психеи к греческому богу любви. Повсюду стояли кресла из слоновой кости с золотом. Хармиона приказала рабу остаться у дверей комнаты, и мы пошли дальше одни. Комната была пуста, только два евнуха с обнажёнными мечами стояли перед занавесью в самом дальнем её конце.

— Мне очень досадно, господин мой, — сказала Хармиона очень тихо и быстро, — что ты натолкнулся на такие неприятности у ворот. Но это была вторая смена стражи, а я отдала приказание начальнику, который должен был сменить её. Эти римские солдаты так наглы, они притворяются верными слугами, но отлично знают, что Египет в их руках. Но это к лучшему. Солдаты очень суеверны и будут бояться тебя. Подожди немного, я пойду в комнату Клеопатры, где она спит. Я только что пела ей, когда она засыпала. Как только она проснётся, я позову тебя, ведь она ждёт тебя!

И Хармиона скользнула в дверь. Скоро она вернулась и сказала мне:

— Хочешь ли ты видеть прекраснейшую в мире женщину спящей? Следуй за мной. Не бойся! Когда она проснётся, то засмеётся; она приказала мне доставить тебя немедленно, будет ли она спать или нет. Вот её значок.

Мы прошли прекрасную комнату, пока евнухи с мечами не загородили мне дорогу. Хармиона нахмурилась и, взяв с груди кольцо, показала его евнухам. Внимательно осмотрев кольцо, те склонились, опустив мечи, и мы, подняв тяжёлый занавес, вышитый золотом, вошли в спальню Клеопатры. Комната была так роскошна, что превосходила всякое воображение. Цветной мрамор, золото, слоновая кость, драгоценные камни, цветы — словом, здесь было всё, что может доставить роскошь, что могло удовлетворить самый избалованный вкус. Картины были так хороши и правдивы, что обманули бы птиц, готовых клевать нарисованные плоды.

Женская прелесть была увековечена здесь в дивных статуях. Здесь были тончайшие шёлковые занавески, затканые золотом, ложе и ковры, каких я не видал никогда в жизни. Воздух был напоен ароматами, и через открытое окно доносился рокот моря. На конце комнаты, на ложе из серебристого шелка, едва прикрытая тончайшим газом, спала Клеопатра. Она лежала спокойно, прекраснейшая из женщин, которую когда-либо видел глаз мужчины, — прелестные мечты и грёзы. Волны чёрных волос рассыпались вокруг неё. Одна белая, нежно округлённая рука была закинута за голову, другая свесилась до

полу. Её пышные губы сложились в улыбку, показывая линию белых, как слоновая кость, зубов, розовое тело, одетое в платье из тончайшего шелка, было опоясано драгоценным поясом. Белая кожа просвечивала сквозь шёлк. Я стоял, совершенно поражённый этой дивной красотой, хотя мысли мои были направлены в другую сторону. Я совсем потерялся на минуту и глубоко опечалился в сердце, что должен убить такое чудесное создание.

Повернув голову, я увидел Хармиону, которая наблюдала за мной своими зоркими глазами, как будто хотела прочесть в моём сердце.

И, вероятно, мои мысли были написаны на моём лице, так как она прошептала мне на ухо:

— Тебе жаль её, не правда ли? Гармахис, ты мужчина, мне кажется, тебе понадобится много душевной силы, чтобы решиться на убийство!

Я нахмурился, но прежде чем успел ей ответить, она слегка тронула меня за руку, указывая на царицу. С Клеопатрой произошла перемена: её руки были сжаты, на лице её, розовом от сна, было выражение страха. Её дыхание ускорилося, она подняла вверх руки, словно отражая удар, потом с тихим стоном села на ложе и открыла свои большие глаза. Они были темны, как ночь, но когда свет закрался в них, стали синими и глубокими, как небо перед закатом солнца.

— Цезарион! — произнесла она. — Где мой сын, Цезарион? Разве это был сон? Я видела Юлия, Юлия Цезаря, который умер, — он пришёл ко мне с лицом, закрытым окровавленной тогой, и, схватив моё дитя, унёс его с собой. Мне снилось, что я умираю в крови, в агонии, и кто-то, кого я не могла увидеть, насмеялся надо мной! А кто этот человек?

— Успокойся, госпожа! Успокойся! — сказала Хармиона. — Это маг Гармахис, которого ты велела призвать!

— А, маг! Гармахис, победивший гладиатора! Я припоминаю теперь. Добро пожаловать! Скажи мне, господин маг, может ли твоя магия объяснить мне этот сон? Какая странная вещь — сон, окутывающий ум покровом мрака и подчиняющий его себе! Откуда эти образы страха, восстающие на горизонте души подобно месяцу на полуденном небе? Кто дал им власть вызывать воспоминания, смешивать настоящее с прошедшим? Разве это вестники грядущего? Сам цезарь, говорю тебе, стоял передо мной и бормотал мне сквозь своё окровавленное платье какие-то предостережения, которые ускользнули из моей памяти. Расскажи мне это, ты, египетский сфинкс^[90], и я укажу тебе блестящий путь к счастью лучше, чем могут предсказать звёзды. Ты принёс предзнаменование, реши же и задачу.

— Я пришёл в добрый час, могущественная царица, — ответил я, — я обладаю искусством разгадывать тайны сна. Сон — это ступень, которая ведёт в ворота вечности, по которой соединившиеся с Озирисом души, от времени до времени подходят к воротам земной жизни, словами и знаками повторяя отдалённое эхо той обители света и правды, где они находятся. Сон — это ступень, по которой нисходят боги-покровители в разных образах к избранным ими душам! О, царица! Тому, кто держит в своей руке ключ к тайне, безумие наших снов показывает яснее и говорит определённое, чем вся мудрость нашей жизни, которая есть поистине — сон! Ты говоришь, что видела великого цезаря в окровавленном платье, он взял на руки Цезариона, твоего сына, и унёс его. Слушай, я объясню тебе тайну этого сна. Сам цезарь пришёл к тебе из мрачного Аменти. Обняв сына, он как бы указал тебе, что к нему перейдёт его собственное величие и его любовь. Он унёс его, следовательно, унёс из Египта, чтобы короновать в Капитолии, короновать императором Рима и царём всей страны. Что значит остальное, я не знаю, это скрыто от меня!

Так объяснил я Клеопатре её сон, хотя сам думал иначе, но царям не годится предсказывать недоброе.

В это время Клеопатра встала и, откинув газ, села на край ложа, устремив на меня свои глубокие глаза, пока её пальцы играли концами драгоценного пояса.

— По правде, — вскричала она, — ты лучший из магов, так как читаешь в моём сердце и умеешь найти скрытую сладость в самом зловещем предзнаменовании!

— О, царица! — сказала Хармиона, стоявшая с опущенными глазами, и мне послышалась горькая нота в её нежном голосе. — Пусть грубые слова никогда не коснутся твоих ушей и дурное предсказание не омрачит твоего счастья!

Клеопатра заложила свои руки за голову и, откинувшись назад, посмотрела на меня полузакрытыми глазами.

— Ну, покажи нам твою магию, египтянин, — сказала она, — я так устала от всех этих еврейских послов и их разговоров об Ироде и Иерусалиме. Я презираю Ирода и не выйду к послам сегодня, хотя хотела бы попробовать поговорить с ними по-еврейски. Что можешь ты показать? Есть ли у тебя что новое? Клянусь Сераписом! Если ты заклинаешь так же хорошо, как предсказываешь, то получишь прекрасное место при дворце с хорошим жалованьем и доходами, если твой возвышенный дух не гнушается их!

— Все фокусы стары, — сказал я, — но есть форма магии, очень редко употребляемая, быть может, ты не знаешь её, царица? Не боишься ли ты чар?

— Я ничего не боюсь. Начинай и показывай нам самое страшное! Ну, иди, Хармиона, сядь подле меня. Где же девушки? Где Ира и Мерира? Они тоже любят магию!

— Нет, нет, — сказал я, — чары плохо действуют, когда много зрителей! Теперь смотри!

Я бросил мой посох на мраморный пол, шепча заклинание. С минуту он лежал неподвижно, потом начал извиваться тихо, потом скорее.

Он извивался, становился на конец, двигался, наконец разделился на две части, превратившись в змею, которая ползла и шипела.

— Стыдись! — вскричала Клеопатра, всплёскивая руками. — Это ты называешь магией? Это — старый фокус, который доступен всякому заклинателю. Я видела его не раз!

— Подожди, царица, — ответил я, — ты не всё видела!

Пока я говорил, змея разломилась, казалось, на кусочки, и из каждого куска выросла новая змея. Эти змеи, в свою очередь, разломались и произвели новых змей, пока вся комната не наполнилась целым морем змей, ползающих, шипящих и свивающихся в узлы. По моему знаку змеи собрались вокруг меня и, казалось, медленно начали обвиваться вокруг моего тела, пока, кроме лица, я не был весь обвит и увешан шипящими змеями.

— Ужасно! Ужасно! — вскричала Хармиона, закрывая себе лицо платьем царицы.

— Довольно, довольно, магик! — сказала царица. — Новая магия пугает нас!

Я взмахнул руками. Всё исчезло... Лишь у моих ног лежал мой чёрный посох с ручкой из слоновой кости.

Обе женщины смотрели друг на друга и удивлённо шептались. Я взял посох и стоял перед ними, сложив руки.

— Довольна ли царица моим бедным искусством? — спросил я смиренно.

— Довольна, египтянин, я никогда не видела ничего подобного! С этого дня ты мой придворный астролог с правом доступа в покои царицы! Нет ли у тебя ещё чего-нибудь из этой магии?

— Да, царица Египта! Прикажи сделать комнату темнее, я покажу тебе кое-что!

— Я уже наполовину испугана, — отвечала она, — сделай, что велит Гармахис, слышишь, Хармиона!

Опустили занавеси, и в комнате стало темно, как будто наступили сумерки. Я вышел вперёд и встал около Клеопатры.

— Смотри сюда! — сказал я сурово, указывая моим посохом на пустое место около себя, — ты увидишь, что у тебя на уме!

Воцарилась тишина, обе женщины испуганно и пристально смотрели в пустое пространство. Вдруг словно облако спустилось перед ними. Медленно, мало-помалу оно приняло вид и форму человека, который смутно рисовался в полумраке и, казалось, то увеличивался, то таял.

Я крикнул громким голосом: «Тень, заклинаю тебя, явись!»

Когда я крикнул это, нечто появилось перед нами, наполнив пространство, как при дневном свете. То был царственный Цезарь с лицом, закрытым тогой, с одеждой, окровавленной от сотни ран. Он стоял перед нами целую минуту, я махнул жезлом. Всё исчезло.

Обернувшись к женщинам, сидевшим на ложе, я увидел, что прекрасное лицо Клеопатры изображало ужас. Её губы побелели, как мел, глаза широко раскрылись, и «всё тело дрожало».

— Человек, — прошептала она, — кто ты, что можешь вызвать мертвеца сюда?

— Я — астролог, царица, магик, слуга согласно её воле, — отвечал я смеясь. — Об этой ли тени ты думала, царица?

Она ничего не ответила, встала и вышла из комнаты через другую дверь.

Хармиона также встала, отняла руки от лица и казалась сильно испуганной.

— Как можешь ты это делать, царственный Гармахис? — спросила она. — Скажи мне по правде, я боюсь тебя!

— Не бойся, — отвечал я, — может быть, ты вовсе ни чего не видела или видела то, что было у меня на уме, что я хотел, чтобы ты видела! Тень ложится от каждого предмета. Как можешь ты узнать природу вещей, различить то, что ты видишь, или что тебе кажется, ты видишь! Но как идут дела? Помни, Хармиона, наша игра идёт к концу.

— Всё идёт хорошо! — ответила она. — Завтра толки о твоём искусстве распространятся повсюду, и тебя будут бояться так, как никого во всей Александрии! Следуй за мной, прошу тебя!

IV

Странности Хармионы

Гармахиса венчают царём любви

На следующий день я получил письмо о назначении меня на должность астролога и главного мага царицы с большим жалованьем и доходами. Мне отвели помещение во дворце. Ночью я мог выходить на высокую башню, наблюдать звёзды и читать по ним.

Клеопатра была сильно встревожена политическими делами; не зная, чем окончится борьба римских партий и сильно желая быть на стороне сильнейшей из них, она постоянно совещалась со мной о предостережениях звёзд. Я объяснял ей язык звёзд, так как это мне нужно было для достижения моих высоких целей. Антоний, один из римских триумвиров, находился в Малой Азии и, шли слухи, страшно гневался, так как ему сказали, что Клеопатра относилась враждебно к триумvirату и её полководец Серапион помогал Кассию. Но Клеопатра громко протестовала против этого, уверяя меня и других, что Серапион действовал против её желаний; Хармиона сказала мне, что благодаря предсказанию Диоскорида царица втайне приказала Серапиону помочь Кассию. Чтобы доказать Антонию свою невиновность, Клеопатра отозвала полководца и приказала его убить. Горе тем, кто исполняет волю тиранов, если дело обернётся в дурную сторону! Серапион погиб!

В это время наши дела шли успешно; ум Клеопатры и её окружающих был направлен на внешние дела, так что она и не помышляла о возмущении внутри своего дворца. День ото дня наша партия становилась сильнее в городах Египта и даже в Александрии, которая совершенно чужда Египту, переполненная чужеземцами. Те, кто сомневался во мне, принимали присягу и давали клятву, которая не могла быть нарушена. Наш план действий становился всё увереннее. Каждый день я уходил из дворца совещаться с моим дядей Сепом и в его доме встретил благородных мужей и великих жрецов, стоявших за партию Кеми.

Я часто видел и Клеопатру, царицу, и всё больше удивлялся богатству и блеску её ума, который своей изменчивостью и красотой походил на золотую ткань, пропускающую лучи света, на её изменчивое прелестное лицо. Она немножко боялась меня и хотела сделать из меня друга, часто спрашивая меня о многих вещах, и советовалась со мной, заставляла высказывать больше, чем я был обязан моей должностью.

Я также часто видел госпожу Хармиону — она постоянно находилась около меня, и я не замечал, когда она приходила и уходила. Я не слышал её тихих шагов, но стоило мне обернуться, как я находил её подле себя. Она постоянно следила за мной из-под своих длинных опущенных ресниц. Не было услуги, которую она нашла бы тяжёлой; днём и ночью она работала для меня, для нашего дела. Когда я поблагодарил её за старание и сказал, что я в будущем не забуду о ней, она топнула ногой, надула губы, как капризное дитя, и сказала, что я многое знаю, многому выучился, но не знаю простой вещи, что услуга любви не требует награды, и награда заключается в самой любви. Я мало понимал в этих вещах, был глуп, полагая, что поступки женщин не заслуживают внимания, и истолковал слова Хармионы в том смысле, что

её услуги делу Кеми, которое она любит, сами по себе дают ей награду. Когда я похвалил её за любовь к Кеми, она расплакалась сердитыми слезами и ушла, оставив меня в удивлении. Я ничего не знал о том, что происходило в её сердце, не подозревал, что эта женщина отдала мне свою любовь и терзалась всеми муками страсти, впившейся, подобно стреле, в её сердце. А я ничего не знал, да и как мог знать это, если никогда не смотрел на неё иначе, как на орудие нашего святого дела? Её красота никогда не производила на меня никакого впечатления, даже тогда, когда она прижималась ко мне и её дыхание касалось меня, я никогда не смотрел на неё иначе, как на прекрасную статую. На что мне Нужна была её любовь — мне, поклявшемуся Изиде, посвятившему свою жизнь Египту? О боги, засвидетельствуйте мою невинность в том, что явилось источником несчастья моего и всей страны Кеми!

Время шло; наконец всё было готово. Наступила ночь накануне той ночи, когда должна была разразиться гроза. Во дворце назначен был пир. В этот самый день я видел дядю Сепу и с ним начальников отряда в пятьсот человек, которые должны были ворваться во дворец на следующий день в полночь, когда я убью Клеопатру, чтобы изрубить римских и галльских легионеров. В этот день я окончательно подчинил себе военачальника Павла, который с тех пор, как я протащил его в ворота, был рабом моей «воли». Наполовину страхом, наполовину обещанием крупной награды я добился своего. Он должен был ночью по сигналу отворить малые ворота, выходящие на восток. Всё было готово. Цветок свободы, двадцать пять лет тому назад заглушенный, начинал пускать пышные ростки. Вооружённые люди собрались в городах, их шпионы торчали на городских стенах, ожидая посла с известием, что Клеопатры нет и Гармахис, царственный египтянин, овладел тронном. Всё приготовлено, победа была в моих руках, как сорванный, зрелый плод в руках человека, стремившегося сорвать его.

Я сидел на царском пиру, а на сердце у меня лежала тяжесть, и тень грядущего несчастья леденила мой мозг. Я сидел на почётном месте около царственной Клеопатры и смотрел на гостей, разукрашенных цветами и драгоценными камнями, отмечая мысленно тех, кого я осудил на смерть. Передо мной возлежала Клеопатра во всей своей царственной красоте, которая пронизывала смотревших на неё, подобно полному ветру, и поражала, как картина величественной бури. Я смотрел, как она обмакивала свои губы в вино и играла венком роз на голове, и думал о кинжале, спрятанном у меня под платьем, который я поклялся вонзить в её грудь. Вновь смотрел на неё, страстно желал возненавидеть её и не мог. Позади царицы, наблюдая за мной, как всегда, своими загадочными, опущенными глазами, сидела красивая Хармиона. Кто мог думать, смотря на её прелестное, невинное лицо, что она расставила западню, в которой должна была погибнуть царица, любившая её, как сестру? Кто мог думать, что тайна смерти многих людей таилась в её девичьей груди? Я смотрел и скорбел, что должен запятнать кровью свой трон и зло, сделанное стране, искупить злом. В эту минуту я желал быть скромным хлебопашцем, который в своё время засеивает и собирает золотистое зерно! Увы! Мне суждено было посеять семя смерти и снять готовый плод!

— Что с тобой, Гармахис? — сказала Клеопатра с ленивой улыбкой. — Не запутался ли золотой моток звёзд? О, милый астроном! Или ты придумываешь что-нибудь новое из твоей магии? Отчего, скажи, ты уделяешь так мало внимания нашему скромному пиру? Если б я не знала, что такие низкие существа, как мы, бедные женщины, не заслуживают даже твоего взгляда, я поклялась бы, что Эрот нашёл дорогу к твоему сердцу!

— Нет, я застрахован от этого, царица, — отвечал я. — Служитель звёзд не замечает слабого блеска женских глаз, и в этом — его счастье!

Клеопатра придвинулась ко мне и взглянула мне в лицо долгим и вызывающим взглядом, так что, помимо воли, кровь бросилась мне в голову.

— Не хвастайся, гордый египтянин, — сказала она так тихо, что, кроме меня и Хармионы, никто не

слыхал её слов, — или ты заставишь меня испытать на тебе магическое действие моих глаз! Может ли женщина простить, чтобы на неё смотрели, как на ничтожную вещь? Это оскорбление нашему полу, и сама природа не потерпит этого!

Она откинулась назад, засмеявшись музыкальным смехом. Я заметил, что Хармиона нахмурилась и закусила губу.

— Прости, царица Египта, — возразил я холодно и насколько мог спокойно, — перед царицей неба бледнеют самые звёзды!

Я сказал это о луне — знаке священной матери Изиды, с которой Клеопатра дерзала соперничать, называя себя Изидой, сошедшей на землю.

— Прекрасно сказано! — ответила царица, захлопав своими белыми руками. — Вот каков мой астролог! Он умеет говорить любезности! Чтобы это чудо не прошло незамеченным, чтобы боги не разгневались на нас, Хармиона, сними этот венок из роз с моих волос и надень его на учёное чело нашего Гармахиса! Хочет он или не хочет, а мы должны венчать его царём любви!

Хармиона сняла венок с головы Клеопатры и, подойдя ко мне, с улыбкой надела его мне на голову, ещё тёплый и душистый от волос царицы. Она сделала это так неловко, что мне было больно: очевидно, она была раздражена, хотя улыбалась.

— Предзнаменование, царственный Гармахис! — шепнула она мне.

Хармиона была слишком женщина и, даже когда сердилась и ревновала, походила на капризное дитя.

Надев венок, она присела низко передо мной и насмешливо, самым нежным тоном на греческом языке сказала мне:

— Гармахис, царь любви!

Клеопатра засмеялась и выпила за «царя любви», выпили и прочие гости, находя шутку удачной и весёлой; в Александрии не любят тех, кто живёт строго и отворачивается от женщины.

Я сидел с улыбкой на губах, с мрачным гневом в сердце. Зная, кто я и что я, я раздражался при мысли о том, что служу игрушкой для развращённой знати и легкомысленных красавиц двора Клеопатры. Я сердился на Хармиону за то, что она смеялась громче других, не зная ещё тогда, что смех и горечь часто прикрывают слабость сердца, которую оно стремится скрыть от всех... «Предзнаменование, — сказала Хармиона, — этот венок из цветов!» И предзнаменование оправдалось. Мне суждено было променять двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок из цветов страсти, увядших скоро после расцвета, и скипетр фараона — на пышную грудь вероломной женщины.

Царём любви! Шутя, они венчали меня царём любви! Я — царь стыда и позора!

С благоухающими розами на голове — по происхождению и назначению фараона Египта — я сидел и думал о нетленных обителях Абуфиса и о том венчании, которое должно совершиться завтра. Я смеялся, пел им в ответ и шутил. Наконец встал, склонился перед Клеопатрой и просил отпустить меня.

— Венера восходит, — сказал я, намекая на планету, которую мы утром называем Доной, а вечером Бону. — Как новокоронованный царь любви, я должен поклониться моей царице!

Я не знал ещё, что эти варвары называют Венеру — царицей любви.

Под шум смеха я ушёл на свою башню и, сняв постыдный венок, бросил его между инструментами моей науки, претендующей на познание течения светил. Углубившись в размышления, я ждал Хармиону, которая должна была пройти со списком осуждённых на смерть и с вестями от дяди Септа, которого она

видела в этот вечер.

Наконец дверь тихо отворилась, и она вошла, сияя драгоценными камнями, в белом платье, как была на балу.

V

Приход Клеопатры в комнату Гармахиса

Платок Хармионы

Язык звёзд

Клеопатра дарит свою дружбу своему слуге Гармахису.

— Наконец ты пришла, Хармиона, — сказал я. — Уже очень поздно теперь!

— Да, господин мой! Не было возможности уйти от Клеопатры. Она сегодня странно настроена. Не знаю, что это значит! Странные причуды и капризы постоянно меняются у ней, подобно свету, причудливо играющему в волнах моря; я не понимаю, чего она хочет!

— Хорошо, хорошо! Будет о Клеопатре! Видела ты дядю?

— Да, царственный Гармахис!

— Принесла ты последние списки?

— Да, вот список тех, которые должны последовать за царицей!

Между ними помечен и старый галл Бренн. Мне жаль его, мы с ним друзья! Грустный список!

— Хорошо, — ответил я, просматривая список, — когда человек сводит свои счёты, он не забывает ничего, наши счёты стары и длинны! Что должно быть, пусть будет! Теперь перейдём к следующему!

— Здесь список тех, кого надо щадить из дружбы или равнодушия, а вот здесь записаны города, которые готовы к восстанию, как только гонец известит их о смерти Клеопатры!

— Хорошо, а теперь, — я запнулся, — а теперь о смерти Клеопатры! Какой род смерти ты выбрала? Должен ли я убить её собственной рукой?

— Да, господин, — ответила она, и я заметил ноту горечи в её голосе, — фараон должен быть доволен, что его рука освободит страну от ложной царицы и развратницы и одним ударом разобьёт рабские цепи Египта!

— Не говори этого, девушка, — сказал я, — ты знаешь хорошо, что я не могу радоваться; только горькая необходимость и мой обет вынуждают меня на это. Разве её нельзя отравить? Разве нельзя подкупить одного из евнухов, чтобы он убил её? Душа моя отворачивается от кровавого дела! Поистине я удивляюсь, как ни ужасны её преступления, что ты можешь так легко говорить о смерти её, об измене той, которая так любит тебя!

— Наверное, фараон искушает меня, забывая о величии минуты! Всё зависит от твоего кинжала,

который прервёт нить жизни Клеопатры! Слушай, Гармахис! Ты должен убить её, ты один! Я сделала бы это сама, если бы мои руки были сильны, но они слабы! Царицу нельзя отравить, так как всё, к чему она прикасается губами, каждый кусок, который она проглатывает, тщательно пробуетя тремя служителями, которых нельзя подкупить. Да и евнухи преданы ей. Двое из них, правда, поклялись нам в верности, но к третьему не подступишься. Его следует убить после. Завтра, за три часа до полуночи, ты должен узнать ответ богов об окончательном исходе войны. Затем по моему знаку ты войдёшь со мной одной в переднюю комнату помещения царицы. Корабль, на котором посланы будут приказания легионам, отплывёт на рассвете из Александрии. Оставшись один с Клеопатрой, так как она хочет держать всё это в тайне, ты скажешь ей о предсказании звёзд. Когда она будет читать папирус, ты вонзишь ей кинжал в затылок. Но берегись, чтобы твоя воля и твоя рука не ослабели! Покончив с царицей, — и, право, это будет не трудно, — ты возьмёшь её значок и выйдешь туда, где стоит евнух, — других не будет. Если бы случилось так, что евнух выкажет беспокойство, — но этого не будет, он не осмелится войти в комнату царицы, а звук убийства не долетит до него, — ты можешь убить его! Я встречу тебя, мы пойдём к Павлу. Это уже моё дело — позаботиться, чтобы он не был упрям, и я умею держать его в повиновении. Он и его солдаты отворят нам ворота, когда Септа и пятьсот человек избранных людей, которые будут ждать, ворвутся во дворец и перебьют спящих легионеров. Всё это легко устроится, если ты будешь верен себе и не позволишь страху заползти в твоё сердце! Что такое один удар кинжала? Ничего, а от него зависит судьба Египта и всего мира!

— Тише, — остановил я её, — ш-ш! Что это такое? Я слышу шаги!

Хармиона побежала к двери и, взглянув в длинный тёмный коридор, прислушалась. Потом сейчас же вернулась, приложив палец к губам.

— Это царица, — прошептала она торопливо, — царица, которая идёт по лестнице одна. Я слышала, что она отпустила Иру. Я не могу встретиться с ней здесь в этот час, это покажется ей странным, она может заподозрить. Что ей нужно здесь? Куда мне скрыться?

Я оглянулся вокруг. На крайнем конце комнаты находилась тяжёлая занавеска, за которой в нише, вырубленной в стене, я хранил свои свитки и инструменты.

— Спешу скорее туда! — сказал я ей, и Хармиона скользнула за занавеску, задёрнув её за собой.

Я сунул роковой список под платье и наклонился над мистической хартией. Теперь мне был уже слышен шелест женской одежды. Раздался тихий стук в дверь.

— Войди, кто бы ты ни был! — сказал я.

Занавес откинулся, и вошла Клеопатра в царственном одеянии, с распущенными чёрными волосами и священной, царственной змеей на челе.

— Поистине, Гармахис, — сказала она мне со вздохом, опускаясь в кресло, — путь к небу труден. Я устала, взбираясь по лестнице. Но мне хотелось посмотреть на тебя, мой астролог, в твоём углу!

— Высоко чту эту честь, царица! — ответил я, низко склонившись перед ней.

— Ну, как ты теперь? Твоё смуглое лицо смотрит сердитым — ты слишком молод и красив для такого скучного дела, Гармахис! Как! Я вижу, ты бросил мой розовый венок между ржавыми инструментами? Цари сберегли бы этот венок и украсили бы им свои любимые диадемы, Гармахис! А ты бросил его, как негодную вещь! Что ты за человек! Подожди! Что это такое? Женский платок, клянусь Изидой! Ну, Гармахис, как же он попал сюда? Разве наши бедные платочки служат инструментами твоего высокого искусства? О, Гармахис! Неужели я поймала тебя? Неужели ты в самом деле такая лиса?

— Нет, нет, царица Египта! — вскричал я, отвернувшись: этот платок нечаянно упал с шеи Хармионы.

— Поистине я не знаю, как эта тряпка попала сюда! Быть может, его уронила одна из женщин, убравших комнату!

— Да, да, это так! — ответила она насмешливо и засмеялась журчащим, как ручей, смехом. — Ну, разумеется, невольница, убирая комнату, уронила эту вещь — платок из тончайшего шелка, дороже золота, вышитый шелками! Я сама не постыдилась бы такого платка! По правде, он мне кажется знаком!

Она надела платок себе на шею и завязала концы его своими белыми руками.

— Несомненно, в твоих глазах это — святотатство, что платок твоей возлюбленной покоится на моей жалкой груди! Возьми его, Гармахис, возьми его и спрячь на груди, поближе к сердцу!

Я взял проклятую тряпку, бормоча что-то, вышел на высокую площадку, где я наблюдал звёзды, смял её в комок и бросил на волю ветра.

Прекрасная царица захохотала.

— Подумай, — вскричала она, — что сказала бы твоя возлюбленная, если бы видела, что ты бросил прекрасный платок, залог её любви, на волю ветров? Быть может, ты то же сделаешь и с моим венком? Смотри, розы увяли! Брось его!

Она взяла венок и подала его мне. На минуту я был так раздражён, что хотел бросить венок вслед за платком, но одумался.

— Нет, — сказал я мягче, — это дар царицы, я сберегу его!

В это мгновение занавеска, где была спрятана Хармиона, зашевелилась. Часто после этой ночи я жалел, что произнёс эти простые слова.

— Приношу благодарность «царю любви» за эту маленькую милость! — ответила Клеопатра, странно посмотрев на меня. — Довольно об этом! Пойдём на площадку — расскажи мне тайны звёзд. Я всегда любила звёзды! Они чисты, ярки и холодны, и так далеки от нашей суеты. Я желала бы жить там, на мрачном лоне ночи, забыть о себе и вечно смотреть в лицо пространству, озарённому сиянием звёздных глаз! Кто может сказать, Гармахис, быть может, эти звёзды составляют часть нашего существования, соединены с нами невидимой целью и влечут за собой нашу судьбу? Помнишь греческую легенду о том, кто сделался звездой? Может быть, это правда, и эти маленькие звёздочки — души людей, которые горят ярким светом в счастливой обители неба и освещают вечную суету матери-земли. Или же это — маленькие лампы, висающие на небесном своде! Когда наступит ночь, какое-то божество, несущее мрак на своих крыльях, зажигает их бессмертным огнём, и они горят и светятся тихим светом! Научи меня этой мудрости, открой мне эти чудеса, служитель мой, потому что я невежественна. Сердце моё хочет объять это, я хотела бы всё знать, мне нужен учитель!

Твёрдая почва была у меня под ногами, я обрадовался и, удивляясь, что Клеопатра занята столь высокими мыслями, заговорил и охотно объяснил ей всё, что мог. Я сказал ей, что небо — это жидкая масса, облекающая землю, поддерживаемая эластическими столбами воздуха, что сверху находится безграничный небесный океан Нот, и планеты плавают по этому океану, подобно кораблям, оставляющим за собой искристый путь. Я рассказал ей многое, между прочим, о планете Венера, называемой Донау, когда она сияет вечерней звездой, и Бону, когда она меркнет в предутренней мгле. Пока я стоял и говорил, смотря на звёзды, она сидела, обняв руками колени, и смотрела мне в лицо.

— А, — сказала она наконец, — так это Венера видна на утреннем и вечернем небе! Хорошо! Она повсюду, хотя предпочитает ночь. Но ты не любишь, когда я называю эти латинские имена. Давай говорить на древнем языке Кеми, который я хорошо знаю. Я первая, заметь это, из всех Лагидов научилась ему. А теперь, — заговорила она на моём языке с лёгким акцентом, придававшим ему ещё более прелести, —

довольно о звёздах: они изменчивы и, быть может, пророчат горе тебе, или мне, или обоим вместе! Я люблю слушать, когда ты говоришь о них; ведь мрачное облако исчезает с твоего лица, оно делается спокойным и оживлённым. Гармахис, ты слишком молод для такого торжественного дела. Быть может, я найду для тебя что-либо лучшее. Молодость бывает однажды. Зачем тратить её на скучные вещи? Будем думать о них, когда больше нечего будет делать. Скажи мне, сколько тебе лет, Гармахис?

— Мне 26 лет, царица! — отвечал я. — Я родился в первом месяце Сому, летом, в третий день месяца!

— Как! Значит, мы ровесники, день в день! — вскричала она. — Ведь мне тоже 26 лет, и я родилась на третий день первого месяца Сому. Хорошо, но мы можем сказать смело: родившие нас не будут стыдиться! Если я, может быть, красивейшая женщина в Египте, Гармахис, то во всём Египте нет мужчины красивее, сильнее и учёнее тебя! Мы родились в один день, не означает ли это, что нам назначено идти об руку? Мне как царице, тебе, Гармахис, как одному из главных столпов моего трона! Мы должны вместе работать на счастье друг другу!

— Может быть, и на погибель! — отвечал я, смотря вверх.

Её нежные слова стояли в моих ушах и вызвали краску на моё лицо.

— Не говори о гибели никогда! Садись подле меня, Гармахис, и поговорим не как царица с подданным, а как простые друзья. Ты рассердился на меня на пиру за то, что я посмеялась над тобой! Но это была шутка. Знаешь ли, как тяжела задача монархов, как утомительно и скучно проходят их дни и часы! Ты не стал бы сердиться, если бы знал, что я разогнала свою тоску простой шуткой! Как надоели мне все князья, сановники, надутые римляне! В моих покоях они притворяются верными рабами, а за моей спиной насмеваются надо мной, уверяя, что я служу их Триумvirату, или Империи, или Республике, смотря по тому, как повернётся Фортуна. Нет ни одного между ними — глупцами, паразитами, куклами, — ни одного настоящего человека с тех пор, как подлый кинжал убил великого Цезаря, который сумел бы справиться с целым миром! А я должна притворяться, льстить им, чтобы спасти Египет от их когтей. И что мне в награду? Какая награда? Все говорят дурно обо мне, подданные ненавидят меня. Я думаю, хотя я женщина, они убили бы меня, если бы нашли средства!

Она умолкла и закрыла глаза рукой, что было кстати, так как её слова больно укололи меня, и я вздрогнул всем телом.

— Они думают дурно обо мне, я знаю, называют меня развратной, когда я любила только одного, величайшего из людей; любовь коснулась моего сердца и зажгла в нём священное пламя. Александрийские сплетники клянутся, что я отравила Птолемея, моего брата, которого Римский сенат хотел сделать против природы моим мужем — мужем родной сестры! Всё это ложь! Он заболел и умер от лихорадки. Говорят, что я хочу убить Арсиною, мою сестру, — она действительно замышляла убить меня, — и это ложь! Она не хочет знать меня, но я люблю мою сестру. Все думают обо мне дурно без причины, даже ты, Гармахис, считаешь меня злой и дурной! О, Гармахис, прежде чем осуждать, вспомни, какая ужасная вещь — зависть! Это — болезнь ума, которая злыми, завистливыми глазами смотрит на всё, извращает всё, видит зло на лице добра и находит нечистыми мысли в самой чистой девственной душе! Подумай об этом, Гармахис! Как тяжело, размысли, стоять на высоте, над толпой рабов, которые ненавидят тебя за счастье и за ум, скрежещут зубами и мечут стрелы злобы из своей тёмной ямы, откуда им, бескрылым, не взлететь наверх, и жаждут низвести благородство на степень пошлости и глупости. Не торопись осуждать великих людей, чьё слово и каждое деяние рассматриваются тысячами завистливых глаз, а малейшие недостатки которых громко выкрикиваются тысячами голосов, пока мир не наполнится отзвуками их греха! Не спеши сказать: «Это так, верно!» Лучше скажи: «Быть может, это верно!», «Верно ли я слышал? Не поступали ли они против своей воли?» Суди справедливо, Гармахис, как ты хотел бы сам

быть судимым! Вспомни, что царица никогда не бывает свободна. Она поистине только орудие тех политических сил, которыми гравируются железные книги истории! О, Гармахис! Будь моим другом, другом и советником! Другом, которому я могу довериться! Ведь здесь, во дворце, я более одинока, чем всякая другая душа в его коридорах. Тебе я доверяю,. Правда и верность написаны в твоих спокойных глазах, и я хочу возвеличить тебя, Гармахис! Я не могу дольше выносить моего душевного одиночества, а должна найти кого-нибудь, с кем могу говорить, посоветоваться и высказать, что у меня на сердце! Я знаю, у меня есть недостатки, но я не так дурна, чтобы не заслуживала верности, есть и доброе во мне среди моих недостатков. Скажи, Гармахис, хочешь ли ты сжалиться надо мной, над моим одиночеством, быть моим другом? У меня были любовники, ухаживали рабы, подданные больше чем нужно, но никогда не было ни одного друга!

Она наклонилась ко мне, слегка тронув меня за руку, и посмотрела на меня своими удивительными синими глазами.

Я был поражён и подавлен. Когда я подумал о завтрашней ночи, стыд и печаль овладели мной. Я — её друг! Я, убийца, со спрятанным кинжалом на груди!

Я склонил голову, и тяжёлый стон вырвался из моего страдающего сердца!

Клеопатра подумала, что я был удивлён её неожиданной милостью, кротко улыбнулась и сказала:

— Уже поздно. Завтра ночью ты принесёшь мне ответ богов, и мы побеседуем! О, друг мой, Гармахис, тогда ты дашь мне ответ!

Она протянула мне руку для поцелуя.

Бессознательно я поцеловал её руку, и она ушла, а я стоял, словно очарованный, смотря ей вслед.

VI

Ревность Хармионы

Смех Гармахиса

Приготовление к кровавому убийству

Старая Атуа.

Долго я стоял, погруженный в задумчивость, потом случайно взял венок из роз и посмотрел на него. Как долго я так стоял, не знаю, но когда поднял глаза, увидел Хармиону, о которой, правда, совершенно позабыл.

Как ни мало я думал о ней в эту минуту, но всё-таки успел заметить, что она была взволнована, рассержена и гневно колотила ногой о пол.

— Это ты, Хармиона? — сказал я. — Что с тобой? Ты, наверное, устала стоять так долго в углу за занавеской? Почему ты не ушла, когда Клеопатра увела меня на площадку богини?

— Где мой платок? — спросила она, бросая на меня сердитый взгляд. — Я обронила здесь мой вышитый платок!

— Платок? — возразил я. — Клеопатра подняла его здесь, а я выбросил!

— Я видела, — отвечала девушка, — и очень хорошо всё видела. Ты выбросил мой платок, а венок из роз не бросил! Это был «дар царицы», и потому царственный Гармахис, жрец Изиды, избранник богов, коронованный фараоном на благо Кеми, дорожит им и сберёг его. Мой же платок, осмеянный легкомысленной царицей, выброшен прочь!

— Что такое ты говоришь? — возразил я, удивлённый её горьким тоном. — Я не умею разгадывать загадки!

— Что я говорю? — спросила она, откидывая голову и показывая изгиб белой шеи. — Я ничего не говорю или всё, думай, как хочешь! Желаете знать, что я думаю, мой брат и господин? — Голос её зазвучал глухо и тихо. — Я хочу сказать тебе, ты — в большой опасности! Клеопатра опутывает тебя своими роковыми чарами, и ты близок к тому, чтобы полюбить её, полюбить ту, которую ты должен завтра убить! Смотри и любуйся на этот розовый венок — его ты не можешь выбросить вслед за моим платком: Клеопатра надевала его сегодня ночью!

Благоухание волос любовницы Цезаря, Цезаря и других! Венок ещё пахнет розами! Скажи мне, Гармахис, как далеко зашло на башне? Там, в углу, я не могла всё слышать и видеть. Прелестное местечко для влюблённых! Дивный час любви! Наверное, Венера первенствует над звёздами сегодня ночью?

Всё это она произнесла так спокойно, нежно и скромно, хотя её слова не были скромны и звучали горечью; каждый звук их колотил меня в сердце и рассердил до того, что я не находил слов.

— Поистине ты умно рассчитал, — продолжала она, замечая своё преимущество, — сегодня ты целовал губы, которые завтра заставишь замолчать навеки! Мудрое умение пользоваться моментом! Умное и достойное дело!

Наконец я прервал её.

— Девушка, — вскричал я, — как ты смеешь говорить так со мной? Вспомни, кто я? Ты позволяешь себе насмехаться надо мной?

— Я помню, чем и кем ты должен быть! — отвечала она спокойно. — А что ты такое теперь, я не знаю. Вероятно, ты знаешь это, ты и Клеопатра!

— Что ты думаешь обо мне? — сказал я. — Разве я достоин порицания, если царица...

— Царица! Что же творится у нас? У фараона есть царица...

— Если Клеопатра желала прийти сюда сегодня ночью и побеседовать...

— О звёздах, Гармахис, наверное, о звёздах и о розах, больше ни о чём!

Потом я не знаю, что наговорил ей. Я был взволнован, дерзкий язык девушки лишил меня самообладания и довёл до бешенства. Одно я знаю. Я говорил так жестоко, что она вся согнулась передо мной, как тогда перед дядей Сепя, когда он упрекал её за греческое одеяние. Она плакала тогда и теперь заплакала ещё сильнее и горше.

Наконец я замолчал, устыдившись своего гнева и очень опечаленный. Рыдая, она всё же нашла силы ответить мне совсем по-женски.

— Ты не должен был говорить так со мной — возразила она, рыдая. — Это жестоко и бесчеловечно! Я забываю, что ты жрец, а не муж, исключая, может быть, одной Клеопатры!

— Какое право имеешь ты? — сказал я. — Как ты можешь думать?

— Какое право имею я? — спросила она, устремив на меня свои тёмные глаза, полные слёз, которые текли по её нежному лицу, подобно утренней росе на цветке лилии. — Какое право имею я, Гармахис! Разве ты слеп? Разве не знаешь, по какому праву я говорю с тобой? Я должна сказать тебе. Потому что это в моде здесь, в Александрии. По единственному и священному праву женщины, по праву великой любви моей к тебе, которую ты, кажется, не замечаешь, по праву моей славы и моего позора! О, не сердись на меня, Гармахис, не сердись, что правда вырвалась из моего сердца! Я вовсе не дурная. Я — такая, какой ты сделаешь меня. Я — воск в руках ваятеля, и ты можешь вылепить из меня, что тебе угодно. Во мне живёт теперь дыхание славы, оживляя всю мою душу, которое может вознести меня так высоко, как я никогда не мечтала, если ты будешь моим кормчим, моим спутником. Но если я потеряю тебя, я потеряю всё — всё, что сдерживает меня от дурного, — и тогда я погибла. Ты не знаешь меня, Гармахис! Ты не знаешь, какая сильная душа борется в моём слабом теле! Для тебя я пустая, ловкая, своенравная девушка! О, нет, я больше и сильнее! Укажи мне твою возвышенную мысль, и я угадаю её, глубочайшую загадку жизни, и я разъясню её! Мы — одной крови, любовь сгладит различие наших душ и сольёт нас в единое целое и великое! У нас одна цель, мы любим свою страну, один обет связывает нас! Прижми же меня к твоему сердцу, Гармахис, посади меня с собой на трон двойной короны, и, клянусь, я подниму тебя на такую высоту, на которую не мог ещё подняться человек. Если же ты оттолкнёшь меня, то берегись, я могу погубить тебя! Я отбросила в сторону холодные приличия света, понимая все ухищрения прекрасной и развратной царицы, которая желает поработить тебя, сказала тебе всё, что у меня на сердце, и ответила тебе!

Она сжала руки и, сделав шаг ко мне, смотрела, бледная и дрожащая, в моё лицо.

На минуту я против воли был оглушён чарами её голоса, силой её слов. Как музыка звучали её речи в моих ушах. Если бы я любил эту женщину, её любовь, несомненно, зажгла бы пламя в моём сердце, но я не любил её и не умел играть в любовь. С быстротой молнии мелькнула у меня мысль о том, как в эту ночь она надела мне на голову венки из роз, как я выбросил вон её платок. Я вспомнил, как долго Хармиона ждала и подслушивала наш разговор с Клеопатрой, и её полные горечи слова! Наконец подумал о том, что сказал бы дядя Септа, если бы мог видеть нас теперь, и странное, глупое положение, в которое я попал! Я захохотал безумным смехом, и этот смех был моим погребальным звоном! Она отвернулась, бледная как смерть, и один взгляд на её лицо остановил мой безумный смех.

— Ты находишь, Гармахис, — сказала она тихим, прерывающимся голосом, опустив глаза, — ты находишь мои слова смешными?

— Нет, — ответил я, — нет, Хармиона! Прости мне этот смех. Это — смех отчаяния! Что я могу сказать тебе? Ты наговорила много высоких слов о том, чем ты могла бы быть! Мне остаётся сказать тебе, что ты есть теперь!

Она вздрогнула, я замолчал.

— Говори! — произнесла она.

— Ты знаешь и очень хорошо знаешь, кто я и какова моя миссия. Ты знаешь, что я поклялся Изиде, и по закону божества ты для меня — ничто!

— О, я знаю, что мысленно обет уже нарушен, — прервала она тихим голосом, с глазами, по-прежнему опущенными в землю, — мысленно, но не на деле — обет растает, подобно облаку... Гармахис, ты любишь Клеопатру!

— Это ложь! — вскричал я. — Ты сама развратная девушка, желавшая отклонить меня от долга и толкнуть на открытый позор! Ты увлеклась своим честолюбием к злу и не постыдилась перешагнуть ограду стыдливости своего пола и сказать то, что ты сказала... Берегись заходить так далеко! Если ты желаешь, чтобы я ответил, я отвечу прямо, как ты спросила. Хармиона — не принимая во внимание моего долга и моих обетов — всегда была для меня и есть — ничто! Все твои нежные взгляды не заставят моё сердце забиться сильнее! Едва ли ты можешь быть моим другом, так как, говоря правду, я не могу довериться тебе. Ещё раз говорю: берегись! Ты можешь делать зло мне, но если осмелишься поднять палец против нашего дела, умрёшь в тот же день. Теперь наша игра сыграна!

Пока я гневно говорил это всё, она отодвигалась назад, всё дальше, и, наконец, оперлась о стену и закрыла глаза рукой. Когда же я замолчал, отняла руку, взглянула вверх, и лицо её было лицом статуи, только большие глаза сверкали, как угли, и вокруг них залегли красные круги.

— Не совсем ещё, — отвечала она кротко, — арену ещё надо посыпать песком! — Она намекала на то, что арену посыпают песком, чтобы скрыть пятна крови при гладиаторских играх. — Довольно, — продолжала она, — не гневайся на такие пустяки! Я бросила кость и проиграла! Горе побеждённому! Дашь ли ты мне свой кинжал, чтобы покончить с моим позором? Нет? Тогда ещё одно слово, царственнейший Гармахис! Если можешь, забудь моё безумие! Не бойся меня! Я теперь, как и прежде, твоя слуга и слуга нашего дела! Прощай!

Она ушла, держась рукой за стену, а я, пройдя в свою комнату, бросился на своё ложе и застонал от горя. Увы! Мы строим планы, строим себе дом надежды, не рассчитывая на гостей, на помеху! И как уберечься от такой гостыи, как неожиданность?

Наконец я заснул, но мои сны были ужасны. Когда я проснулся, весёлый свет дня, в который должен

быть приведён в исполнение наш кровавый заговор, наполнял комнату, и птицы радостно пели на деревьях сада. Я проснулся, и чувство тревоги овладело мной. Я вспомнил, что прежде чем наступит рассвет, я должен обогреть мои руки кровью — кровью Клеопатры, которая мне доверяет! Почему я не мог возненавидеть её? Было время, когда я смотрел на это убийство, как на справедливый акт усердия и любви к родине. Но теперь, теперь я охотно отдал бы своё царственное право рождения, чтобы освободиться от этой ужасной необходимости! Увы! Я знал, что избежать этого нельзя. Я должен испить эту чашу до дна или быть низверженным, чувствуя, что на меня устремлены взоры всего Египта и всех египетских богов. Я молился матери Изиде, чтобы она послала мне силу совершить убийство, молился так горячо, как никогда. И — о, чудо! — никакого ответа. Почему это? Что же порвало связь между мной и божеством, если в первый раз оно не удостоило ответить на призыв сына и избранного слуги своего? Разве я согрешил в сердце против матери Изиды? Хармиона сказала, что я люблю Клеопатру! Разве любовь — грех? Нет, и тысячу раз нет! Это протест природы против предательства и крови!

Божественная мать знает мою силу, быть может, она отвернула свой священный лик от преступления!

Я встал, полный ужаса и отчаяния, и отправился к своему делу, как человек, лишённый души. Я знал наизусть роковые списки, просмотрел планы и в своём уме повторял слова прокламации, которую завтра я должен выпустить перед поражённым миром.

«Граждане Александрии, обитатели Египта, — так начиналась она, — Клеопатра Македонянка по воле богов получила возмездие за свои преступления...»

Я повторил эти слова, сделал и другие дела как-то бессознательно, словно у меня не было души, как человек, которым руководила внешняя, а не внутренняя сила. Минуты проходили. В третьем часу пополудни я пошёл, по условию, в дом моего дяди Сепа, в тот дом, куда я был приведён три месяца тому назад, по приезде в Александрию. Здесь я нашёл вожakov возмущения, тайно собравшихся, в числе семи. Когда я вошёл, двери были плотно закрыты, все они пали ниц и закричали: «Привет тебе, фараон!» Но я заставил их встать, говоря, что я ещё не фараон, так как цыплёнок не вылупился ещё из яйца.

— Да, князь, — сказал дядя, — но его клюв уже виден, Египет не напрасно высиживал его все эти годы, если твой кинжал не изменит тебе сегодня ночью. Почему он может изменить? Ничто не может остановить нас на пути к победе!

— Всё это в руках богов! — ответил я.

— Боги нашли исход и вручили его рукам смертного — твоим рукам, Гармахис, и в этом наше спасение. Смотри, вот последние списки. Тридцать одна тысяча вооружённых людей поклялись восстать, как только до них дойдёт известие о смерти Клеопатры! Через пять дней все крепости Египта будут в наших руках. Чего нам бояться? Рим безопасен для нас, ибо его руки полны дела, мы можем вступать в союз с триумвиратом, а если нужно, и подкупить его. Денег у нас много, и если они тебе понадобятся, Гармахис, ты знаешь, где их взять в случае нужды Кеми и опасности от римлян. Что может помешать нам? Ничто. Может быть, в этом беспокойном городе начнут борьбу, составят заговор, чтобы привести Арсиною в Египет и посадить её на трон? Тогда с Александрией надо поступить со всей строгостью, даже разрушить её, если понадобится! Что касается Арсины, она будет тайно убита завтра, после известия о смерти царицы!

— Остаётся ещё Цезарион, — сказал я. — Рим может провозгласить сына Цезаря, и дитя Клеопатры наследует её права. Тут двойная опасность!

— Не бойся, — сказал дядя Сеп, — завтра Цезарион присоединится к своей матери в Аменти. Я это предвидел. Птолемеи должны погибнуть, чтобы ни одного отпрыска не произошло вновь от корня,

который покарало мщение небес!

— Разве нет другого средства? — спросил я грустно. — Моё сердце болит при мысли убить ребёнка. Я видел это дитя. Оно наследовало огонь и красоту Клеопатры и великую мудрость Цезаря! Позорно убивать его!

— Не будь так по-детски жалостлив, Гармахис! — возразил сурово мой дядя. — Что тебе до него? Если мальчик похож на родителей, тем необходимее убить его. Разве ты хочешь вскормить молодого львёнка, чтобы он сбросил тебя с трона?

— Пусть будет так! — ответил я, вздохнув. — По крайней мере, он избавится от горя и уйдёт невинным из этого мира. Теперь перейдём к планам!

Мы долго совещались, и под влиянием великого предприятия и великого общего воодушевления я почувствовал, что бодрость прежних дней вернулась в моё сердце. Наконец всё было готово, условлено так, что не могло быть ошибки или неудачи. Если мне не удастся убить Клеопатру сегодня ночью, то исполнение заговора откладывалось до следующего дня или до первого удобного случая. Но смерть Клеопатры являлась сигналом.

Покончив с делом, мы встали, положив руки на священные символы, и поклялись клятвой, которую нельзя написать. Потом мой дядя поцеловал меня, и слёзы надежды и радости стояли в его пронизательных чёрных глазах. Он благословил меня, говоря, что охотно отдал бы свою жизнь, не одну, сто жизней, если бы имел столько, чтобы видеть египетский народ свободным, а меня, Гармахиса, потомка древней царственной крови, на троне Египта. Он был истинный патриот, не требующий ничего для себя и готовый всё отдать дорогому делу. Я поцеловал его, и мы расстались.

Я тихо проходил по площадям великого города, подмечая положение ворот и площадей, где должны были собраться наши силы. Наконец дошёл до набережной, куда высадился, когда приехал в Александрию, и увидел корабль, идущий в море. Я долго смотрел на него, и на сердце у меня было так тяжело, что я желал бы быть на этом корабле, чтобы его белые крылья унесли меня далеко, где я мог бы жить, никому не известный и всеми позабытый. Потом я увидел другой корабль, пришедший с Нила, с палубы которого сходили пассажиры. Мгновенье я стоял, наблюдая за ним, страстно желая, чтобы там был кто-нибудь из Абуфиса. Вдруг около меня раздался знакомый голос.

— Ля! Ля! — сказал голос. — Какой это город для старой женщины, которая хочет поискать в нём счастья! Как мне найти тех, кто меня знает? Убирайся прочь, плут! Не тронь мою корзину с травами! Или я тебя, клянусь богами, вылечу от любой болезни!

Я обернулся в изумлении и очутился лицом к лицу с моей старухой Атуей. Она узнала меня сейчас же, но в присутствии толпы не выдала своего удивления.

— Добрый господин, — плакалась она, обращая ко мне своё морщинистое лицо и делая мне тайный знак, — по платью твоему ты, вероятно, астролог, а мне говорили об астрологах как о лжецах, которые почитают только свои звёзды. Я всё же обращаюсь к тебе, так как противоречие — главный закон для женщины. Наверное, в вашей Александрии всё идёт наизусть, астрологи здесь — честнейшие люди, а все остальные плуты! — Затем, видя, что её никто не слушает, она сказала: — Царственный Гармахис, меня прислал к тебе с вестями твой отец, Аменемхат.

— Здоров ли он? — спросил я.

— Да, он здоров, хотя ожидание великой минуты озабочивает его!

— Какие же вести?

— Он посылает тебе привет и предостерегает, что тебе грозит большая опасность, хотя и не знает,

какая. Вот его слова тебе: «Будь твёрд и счастлив!»

Я склонил голову. От этих слов сердце моё наполнилось ужасом.

— Когда назначено время? — спросила она.

— Сегодня ночью. Куда идёшь ты?

— В дом почтенного Сепы, жреца в Анну!

— Можешь ли ты проводить меня туда?

— Нет, не могу, Меня не должны видеть с тобой!

— Эй ты, стой! — Я позвал носильщика с набережной, сунул ему монету и приказал проводить старуху в дом Сепы.

— Прощай! — прошептала она. — Прощай до завтра. Будь твёрд и счастлив!

Я отвернулся и пошёл своей дорогой по шумным улицам. Народ уступал мне дорогу как астрологу царицы, так как слава моя прогремела далеко. И когда я шёл, мне казалось, что шаги мои выбивали: будь твёрд, будь счастлив! Наконец мне стало казаться, что даже земля выкрикивает эти слова.

VII

Странные слова Хармионы

Гармахис у Клеопатры

Поражение Гармахиса.

Была ночь. Я сидел в своей комнате, ожидая назначенного времени. Хармиона должна была позвать меня к Клеопатре. Я сидел и смотрел на кинжал, лежавший передо мной. Кинжал был длинный и острый, рукоятка его представляла собой сфинкс из чистого золота. Я сидел один и напрасно вопрошал о будущем; ответа не было. Наконец я поднял глаза. Хармиона стояла передо мной — не прежняя весёлая и блестящая девушка, а статуя с бледным лицом и ввалившимися глазами.

— Царственный Гармахис, — сказала она, — Клеопатра зовёт тебя доложить ей о предсказании звёзд! Итак, час пробил!

— Хорошо, Хармиона, — ответил я, — всё ли в порядке?

— Да, господин, всё в порядке. Опьяневший от вина Павел сторожит ворота, евнухи все, за исключением одного, удалены, легионеры спят, Септа и его сила — уже в засаде. Ничто не упущено. Ягнёнок, прыгающий около бойни, не более подозревает об опасности, чем царица Клеопатра!

— Хорошо, — повторил я. — Пойдём! — Я поднялся с своего места, спрятал кинжал на груди, под платье, потом взял чашу с вином, стоявшую около меня, и разом выпил её. Весь этот день я ничего не ел.

— Одно слово, — сказала торопливо Хармиона, — мы ещё успеем. Прошлой ночью, да, прошлой ночью, — грудь её поднялась, — я видела сон, странный сон... быть может, ты также видел этот сон? Ведь это был сон и всё забыто? Не так ли, господин мой?

— Да, да, — отвечал я, — зачем смущаешь ты меня в такую минуту?

— Я не знаю. Сегодня ночью, Гармахис, судьба готовит великое событие и, может быть, раздавит меня, или тебя, или обоих нас в своих когтях, Гармахис! А если это случится, я хотела бы раньше слышать от тебя, что всё случившееся прошлой ночью — сон, забытый сон...

— Да, это сон, — отвечал я рассеянно, — и ты, и я, и наша земля, и эта ужасная ночь, и этот острый кинжал — всё это сон, и с каким лицом проснёмся мы?

— Ты шутишь, царственный Гармахис! Ты говоришь, мы грезим, спим, а во время сна сновидения меняются. Фантазия снова удивительна, они изменчивы, подобно облаку при закате солнца, образуют то одну фигуру, то другую, темнее и тяжелее, или залитое светом! Прежде чем мы проснёмся завтра, скажи мне одно слово. Прошлой ночью было это сновидение, — когда мне казалось, что я умираю от стыда, а тебе казалось, что ты смеёшься над моим стыдом — только фантазией, или это может ещё измениться? Помни, что при нашем пробуждении пережитое нами во сне остаётся уже неизменным и прочным, как пирамиды!

— Нет, Хармиона, — возразил я, — мне тяжело огорчить тебя, но это сновидение не может измениться. Я говорил всё от искреннего сердца, и с этим покончено. Ты — моя сестра, мой друг, никем другим я не могу быть для тебя!

— Хорошо, очень хорошо! — сказала она. — Забудем всё это! Теперь пойдём! От сна ко сну! — Она улыбнулась такой улыбкой, которой я никогда не видел на её лице. Это была зловещая, ужасная улыбка, ужаснее самой отчаянной скорби. Слеплённый моим безумием и смущением, я не подозревал, что в этой улыбке Хармиона-египтянка хоронит всё счастье юности, всякую надежду на любовь и навеки порывает священные узы долга. Этой улыбкой она посвятила себя злу, отреклась от своей родины, своих богов и нарушила свою клятву. Этой улыбкой изменила ход исторических событий. Если бы я не видел этой улыбки на лице Хармионы, Октавий не победил бы мир, и Египет был бы свободной и великой страной!

Между тем это была просто улыбка женщины!

— Почему ты так строго смотришь на меня, девушка? — спросил я.

— Мы часто улыбаемся во сне! — отвечала она. — Пора идти, следуй за мной! Будь твёрд и счастлив, Гармахис!

Склонившись передо мной, она взяла мою руку и поцеловала её. Потом, бросив на меня последний, странный взгляд, повернулась и пошла по лестнице вниз через пустые покои.

В комнате, называемой алебастровым залом, мы остановились. Далее находилась уже комната Клеопатры, где я видел её спящей.

— Подожди здесь, — сказала Хармиона, — я скажу Клеопатре о твоём приходе! — И она скользнула в комнату.

Наконец она вернулась тяжёлой походкой, с низко опущенной головой.

— Клеопатра ожидает тебя, — произнесла она, — иди, стражи нет!

— Где я встречу тебя, когда всё будет кончено? — спросил я хрипло.

— Ты встретишь меня здесь, потом пойдём к Павлу. Будь твёрд и счастлив! Прощай, Гармахис!

Я пошёл, но около занавеса внезапно обернулся и в слабо освещённом зале увидел странную картину. Вдали стояла Хармиона. Свет падал на её фигуру, освещая закинутую назад голову, белые руки, протянутые вперёд, словно она хотела что-то удержать, и её нежное лицо, искажённое такой нечеловеческой мукой, что на него было страшно смотреть. Хармиона знала, что я, кого она так любила, шёл на верную смерть. Это было её последнее «прости» мне.

Я ничего не подозревал. С своей мукой в душе я отдернул занавес и вошёл в комнату Клеопатры.

В глубине благоухающей комнаты, на шёлковом ложе, лежала Клеопатра, одетая в чудное белое одеяние.

Она тихо обмахивалась драгоценным веером из страусовых перьев, который держала в руке. Около неё лежала арфа из слоновой кости. На столике стояли смоквы, кубки и фляга с вином рубинового цвета. Я подошёл ближе. Озаряемая мягким светом, покоилась на своём ложе обольстительная женщина, это чудо мира, во всей своей ослепительной красоте.

И правда, никогда я не видел её столь прекрасной, как в эту роковую ночь. Опершись на душистые подушки, она сияла, как звезда, в слабом свете сумерек. От её волос и платья исходило благоухание, её голос походил на дивную музыку, а в её чудных глазах сияли, меняясь, огоньки, как в зловещем камне опала.

И эту женщину я должен был убить!

Медленно приблизился я и склонился перед ней.

Она не обратила внимания, продолжая лежать и обмахиваться веером, который качался взад и вперёд, подобно крылу порхающей птицы.

Наконец я встал перед ней; она взглянула на меня и прижала веер из страусовых перьев к своей груди, словно желая скрыть её красоту.

— Это ты, друг, пришёл ко мне? — сказала она. — Хорошо! Я соскучилась одна. Какой скучный мир! Мы знаем столько лиц, и как мало из них таких, которых мы любим! Не стой же, а садись!

Она указала мне веером на резное кресло у своих ног. Я склонился ещё раз и сел.

— Я исполнил твоё желание, царица, — произнёс я, — и тщательно и искусно прочил предсказания звёзд. Вот плоды трудов моих! Если царица позволит, я объясню ей!

Я встал, желая обойти кругом ложе, чтобы вонзить ей кинжал в затылок, пока она будет читать.

— Нет, Гармахис, — произнесла она спокойно с милой улыбкой, — останься здесь и дай мне папирус. Клянусь Сераписом! Я так люблю смотреть на твоё лицо, что мне не хочется терять его из виду!

Моё намерение не удалось, я вынужден был подать ей папирус, думая про себя, что, пока она будет читать его, я внезапно встану и поражу её в сердце. Она взяла папирус, коснувшись моей руки, и сделала вид, что читает, но на самом деле не читала, и её глаза были устремлены на меня поверх папируса.

— Зачем ты прячешь руку под платьем? — спросила она, так как я действительно сжал рукоятку кинжала, — разве у тебя бьётся сердце так сильно?

— Да, царица, — сказал я, — оно сильно бьётся!

Она ничего не ответила, снова сделала вид, что читает, продолжая наблюдать за мной. Я размышлял: «Как же мне совершить это ужасное убийство? Если я кинусь на неё, она увидит, будет бороться и кричать. Нет, надо ждать удобного случая!»

— Предсказания благоприятны, Гармахис! — сказала она, угадывая написанное, так как не прочла ни слова.

— Да, царица! — ответил я.

— Хорошо. — Она бросила папирус на мраморный пол. — Пусть корабли отплывут. Так или иначе, а мне надоело взвешивать случайности!

— Это трудно, царица, — сказал я, — я желал только показать, на чём основываю своё предсказание!

— Нет, Гармахис, я устала следить за путями звёзд.

Твоё предсказание благоприятно, и с меня довольно. Несомненно, ты честен и написал добросовестно. Теперь бросим все рассуждения, будь весел! Что мы будем делать? Я хотела бы плясать — ведь никто не пляшет лучше меня, — но это не по-царски! Нет, я буду петь!

Она приподнялась, взяла арфу. Струны звучали. Своим полным, нежным голосом красавица запела дивную, чарующую мелодию.

«Море спит и небо спит, — пела она, — в наших сердцах звучит музыка. Ты и я, мы плывём по морю, убаюкиваемые тихим рокотом его волн! Нежно целует ветер мои локоны... Ты смотришь мне в лицо и шепчешь страстные речи... Сладкая песнь звучит и умирает в воздухе — песнь истомлённого страстью

сердца, песнь упоенья и любви!»

Последние ноты дивного голоса прозвучали в комнате и тихо замерли. Сердце моё вторило им в ответ. Среди певиц в Абуфисе я слышал лучшие голоса, чем у Клеопатры, но никогда не слышал такого нежного, одухотворённого страстью пения. Кроме голоса, тут была благоухающая комната, в которой было всё, чтобы разбудить чувство, необыкновенная нега и страстность голоса и поразительная грация, чудная красота царственной певицы. Во время её пения мне казалось, что мы плывём с ней на лодке, вдвоём, тёплой ночью, под звёздным небом. Когда же она перестала перебирать струны арфы и с последней нежной нотой, дрожавшей в её устах, протянула мне руки, взглянув мне в глаза своими удивительными глазами, я готов был броситься к ней, но опомнился и сдержался.

— Разве у тебя не найдётся ни одного слова благодарности за моё жалкое пение? — спросила она наконец.

— О, царица! — ответил я тихо, голос мой прервался. — Твоё пение не годится слушать мужам. Поистине оно победило меня!

— Нет, Гармахис, тебе нечего бояться, — сказала она с тихой усмешкой, — я знаю, как далеки твои мысли от женской красоты и как чужд ты слабостям твоего пола! Холодным железом можно безопасно играть!

Я думал про себя, что холодное железо можно накалишь добела на сильном огне, но ничего не сказал и, хотя рука моя дрожала, ещё раз взялся за кинжал и, пугаясь собственной слабости, пытался найти средство убить её, пока силы не изменили мне.

— Иди сюда, Гармахис, — между тем продолжала Клеопатра своим нежным голосом, — иди сядь около меня и побеседуем! Мне надо многое сказать тебе. — Она указала мне место подле себя на шёлковом ложе.

Я, подумав, что чем ближе буду к ней, тем удобнее будет мне убить её, встал и сел близ неё на ложе. Откинувшись назад, она смотрела на меня глазами сфинкса.

Теперь мне представлялся удобный случай убить её, потому что её горло и грудь были не защищены. Сделав над собой величайшее усилие, я схватился за кинжал. Но быстрее мысли она схватила мои пальцы своей рукой и тихо удержала их.

— Почему ты так дико смотришь на меня, Гармахис? — сказала она. — Не болен ли ты?

— Действительно, я нездоров! — пробормотал я.

— Облокотись на подушки и отдохни! — отвечала она, держа мою руку, теперь совершенно ослабевшую. — Это пройдёт. Ты слишком много работал над звёздами. Как нежен воздух этой ночи, напоенный ароматом лилий! Прислушайся к голосу моря, бьющегося о скалы! Рокот его доносится издали и заглушает журчанье фонтана! Слушай, как поёт Филомела^[91]! Как сладка песнь переполненного любовью сердца, которую она шлёт возлюбленному! Поистине это ночь любви! Как хороша музыка природы! В ней звучат сотни голосов, голос ветра, деревьев, океана — всё это поёт в унисон. Слушай, Гармахис! Я кое-что угадала. Ты приходишь от царственной крови. В твоих жилах струится кровь царственных предков твоих. Конечно, ты — отпрыск старого, царственного корня! Ты смотришь на знак в виде листа на моей груди? Он сделан в честь великого Озириса, которого я почитаю вместе с тобой!

— Отпусти меня! — простонал я, пытаюсь встать, но силы оставили меня.

— Нет, погоди ещё! Ты не оставишь меня! Ты не можешь сейчас уйти от меня! Гармахис, разве ты никогда не любил?

— Нет, нет, царица! На что мне любовь? Отпусти меня! Я ослабел — мне дурно!

— Никогда не любил! Как это странно! Никогда не знать женского сердца, бьющегося в унисон с твоим! Никогда не видеть глаз возлюбленной, орошённых слезами страсти, не слышать шёпота её любви на своей груди! Никогда не любить! Никогда не теряться в тайниках родной души, не знать, что природа спасает нас от одиночества, связывая золотой цепью любви два существа, сливая их в одно целое! Разве ты никогда не любил, Гармахис?

Говоря это, она подвигалась ко мне всё ближе и ближе, наконец с долгим и сладким вздохом обвила мою шею одной рукой и заглянула мне в глаза своими дивными синими глазами; губы её раскрылись в загадочной улыбке, подобно раскрытой чашечке цветка, распустившегося во всей благоухающей красоте. Ближе склонилась она ко мне, всё ближе её царственные формы, ещё секунда — и её ароматное дыхание пошевелило мне волосы, и губы её прижались к моим. О, горе мне, горе! В этом поцелуе — сильнее и ужаснее смерти — я забыл все: Изиду, мою небесную надежду, клятвы, честь, страну, друзей, все, кроме Клеопатры, которая сжимала меня в объятиях, называя своим возлюбленным и господином.

— Выпей теперь, — шепнула она, — выпей кубок вина за нашу любовь!

Я взял кубок и осушил его до дна. Позднее я узнал, что в вино был подмешан сонный порошок.

Я упал на ложе и, хотя сознание ещё не покинуло меня, не мог ни подняться, ни говорить. Клеопатра же, наклонившись надо мной, вытащила из моей одежды кинжал.

— Я победила! — вскричала она, откидывая назад свои роскошные волосы. — Я победила, ставкой был Египет, игра стоила свеч! Этим кинжалом ты должен был убить меня, мой царственный соперник! И твои помощники собрались у ворот моего дворца! Очнулся ли ты? Кто помешает мне пронзить этим кинжалом твоё сердце?

Я слышал её слова и, собрав силы, указал на свою грудь, жаждая смерти. Она стояла передо мной во всём царственном величии, кинжал блестел в её руке. Его острие слегка укололо меня.

— Нет, — вскричала Клеопатра, бросая кинжал, — ты слишком дорог мне. Жаль убивать такого мужчину! Дарю тебе жизнь! Живи, погибший фараон! Живи, бедный, падший князь! Тебя победила хитрость женщины! Живи, Гармахис, живи, чтобы увеличить мой триумф!..

Сознание покидало меня. В ушах моих ещё звучала песнь соловья, рокот моря и музыки торжествующего смеха Клеопатры. Этот тихий смех провожал меня в страну снов, звучит в моих ушах и теперь и будет звучать до смерти.

VIII

Пробуждение Гармахиса

Перед лицом смерти

Приход Клеопатры

Она утешает Гармахиса.

Ещё раз я проснулся. Я находился в собственной комнате. Наверное, я спал и видел сон. Это было не что иное, как сон! Разве я проснулся для того, чтобы почувствовать себя предателем, чтобы вспомнить, что удобный случай более не вернётся, что я погубил великое дело, что прошлой ночью храбрые, честные люди под руководством моего дяди прождали меня напрасно у ворот дворца.

Весь Египет ждал, и ждал — напрасно! Нет, этого не могло быть! Это был ужасный сон, подобный сон может убить человека. Лучше умереть, чем видеть такие сны, ниспосланные адом. Быть может, это была отвратительная фантазия измученного ума? Но где же я теперь? Я должен быть в алебастровом зале и ожидать Хармиону. Где я? О боги! Что это за ужасный предмет, имеющий образ человека, прикрытый белым, испачканный кровью, скорчившийся у подножия моего ложа?

Как лев, прыгнул я с ложа и из всей силы ударил его. От удара ужасный предмет покатился в сторону. Полумёртвый от ужаса, я сбросил белый покров и увидел голую фигуру мёртвого человека с согнутыми коленями. Это был римский военачальник Павел! В его сердце торчал кинжал — мой кинжал с золотым сфинксом на рукоятке. На свитке латинскими буквами было написано: «Привет тебе, Гармахис! Я был римлянин Павел, которого ты подкупил! Смотри же, хорошо ли быть предателем!»

Почти падая и ослабев, я отскочил от страшного трупа, обагрённого своей собственной кровью. Обессиленный, я отодвинулся назад и прислонился к стене. За этой стеной наступал день и птицы весело щебетали. И так, это не был сон! Я погиб! Погиб! Я подумал о моём старом отце, Аменемхате. Мысль о нём сверкнула в моём мозгу, сдавив мне сердце. Что будет с ним, когда до него дойдёт весть о позоре сына, о разрушении всех его священных надежд! Я подумал о патриотах-жрецах, о дяде Сепе, напрасно прождавших целую ночь сигнала! Другая мысль последовала за первой. Что случилось с ними? Не один я был предателем. Меня также предали. Но кто? Кто?

Может быть, Павел, но он знал немногих участников нашего заговора. Тайные списки были спрятаны у меня в одежде. Озирис! Они исчезли! Судьба Павла может быть судьбой всех патриотов Египта. При этой мысли я совсем обезумел, зашатался и упал там, где стоял.

Когда я пришёл в себя, длинные тени от деревьев пояснили мне, что полдень уже прошёл. Я вскочил на ноги. Труп Павла лежал неподвижно, наблюдая за мной своими стеклянными глазами. В отчаянии я

бросился к двери. Она была заперта, я слышал за ней шаги часовых, которые перекликались и гремели копьями. Вдруг часовые отодвинулись, дверь открылась и вошла сияющая, торжествующая Клеопатра в царском одеянии. Она вошла одна, и дверь заперлась за ней. Я стоял как безумный. Она подошла ближе ко мне, лицом к лицу.

— Приветствую тебя, Гармахис, — сказала она, нежно улыбаясь. — Мой посланник нашёл тебя! — Она указала на труп Павла. — Фу, как он страшно выглядит! Эй, часовые!

Дверь отворилась, и двое вооружённых галлов остановились у двери.

— Уберите эту гадость, — сказала Клеопатра, — бросьте её коршунам! Стойте, возьмите кинжал из груди изменника!

Люди низко поклонились, и кинжал, покрытый кровью, был вытасчен из сердца Павла и положен на стол. Потом они схватили труп за голову и за ноги и унесли его. Я слышал, как замерли их тяжёлые шаги на лестнице.

— Мне кажется, Гармахис, твоё положение скверно, — сказала Клеопатра, — как странно вертится колесо фортуны! Не будь этого изменника, — она указала по направлению к двери, хотя труп уже был унесён, — на меня теперь было бы так же страшно смотреть, как на него, и кровь на том кинжале была бы кровью моего сердца!

— Итак, Павел предал меня!

— Когда ты пришёл ко мне в прошлую ночь, — продолжала она, — я знала, что ты пришёл убить меня. Когда время от времени ты прятал руку под платье, я знала, что ты сжимал кинжал, что ты собирал всё своё мужество для преступления, которое противно твоей душе. О, это был ужасный час, я поражалась, не зная и колеблясь минутами, кто из нас обоих победит, когда мы мерились хитростью и силой. Да, Гармахис, стража ходит за твоей дверью. Но не обманывай себя! Если бы я не была уверена, что держу тебя здесь узами более сильными, чем цепи тюрьмы, если бы не знала, что ты не можешь сделать мне зло, так как для тебя легче перешагнуть через копьё моих легионеров, чем через ограду чести, — ты давно был бы мёртв! Гармахис! Смотри, вот твой кинжал! — Она протянула мне его. — Убей меня, если можешь!

Клеопатра подошла ближе, открыла грудь и ждала, спокойно смотря на меня.

— Ты не можешь убить меня, — продолжала она, — потому что я хорошо знаю, такой человек, как ты, не способен совершить преступление — убить женщину, которая принадлежит ему, — и жить! Долой руку! Не направляй кинжала в свою грудь! Если ты не можешь убить меня, как же можешь отнять у себя собственную жизнь? О, ты, преступивший клятву жрец Изиды! Разве тебе так легко предстать пред лицом оскорблённого божества в Аменти? Как ты думаешь, какими глазами взглянет небесная мать на своего сына, опозоренного, нарушившего священный обет! Как будешь ты приветствовать её, обagrённый своей собственной кровью? Где будет уготовано тебе место твоего искупления и очищения, если ты можешь ещё очиститься в глазах богов?

Я не мог выносить более. Сердце моё было разбито. Увы! Это была правда — я не смел умереть.

Я дошёл до того, что не мог умереть. Я бросился на своё ложе и заплакал кровавыми слезами тоски и отчаяния.

Клеопатра подошла ко мне, села около меня, стараясь утешить меня, обняла мою шею руками.

— Любовь моя, послушай, — сказала она, — ещё не всё потеряно для тебя, хотя я и рассердилась на тебя. Мы играли большую игру; сознаюсь: я пустила в ход женские чары против тебя и победила. Но я могу быть откровенной. Мне очень жаль тебя как царице и как женщине, даже более, мне тяжело видеть тебя печальным и тоскующим. Это было хорошо и справедливо, что ты хотел вернуть назад трон, захваченный

моими предками, и свободу Египта! Я как законная царица сделала то же самое, не останавливаясь перед преступлением, так как дала клятву. Я глубоко сочувствую тебе, как всему великому и смелому. Вполне понимаю твоё горе и скорбь о глубине твоего падения, а как любящая женщина сочувствую тебе и жалею тебя! Не всё ещё потеряно. Твой план был смел, но безумен, так как Египет не может подняться на прежнюю высоту, хотя бы ты завоевал и корону, и страну — без сомнения, это удалось бы тебе, — есть ещё римляне, с ними надо считаться. Пойми, меня здесь мало знают. Но во всей стране нет сердца, которое билось бы такой преданной любовью к древней стране Кеми, как моё, даже больше, чем твоё, Гармахис! Война, возмущения, зависть, заговоры, — всё это отвлекало меня и мешало мне служить так, как я могу, моему народу. Ты, Гармахис, научишь меня! Ты будешь моим советником, моей любовью! Не трудно, Гармахис, завоевать сердце Клеопатры, сердце, которое — стыдись! — ты хотел умертвить! Ты соединишь меня с моим народом, мы будем царствовать вместе, объединим новое царство со старым, старую и новую мысль! Всё делается к лучшему. Другим и лучшим путём ты взойдёшь на трон фараонов! Видишь, Гармахис! Твоя измена будет скрыта, насколько это возможно. Разве ты виноват, что римлянин выдал тебя? Тебя опоили, твои бумаги украдены, и ключ к ним найден. Что ж позорного для тебя, хотя великий заговор и не удался и те, кто был участником его, рассеялись, — ты остался твёрд в преданности своей вере, воспользовался средствами, которыми одарила тебя природа, завоевать сердце египетской царицы? Под лучами её нежной любви ты можешь добиться своей цели и расправить свои мощные крылья над страной Нила! Подумай, разве я плохой советник, Гармахис?

Я поднял голову, и слабый луч надежды загорелся во мраке моего сердца; падающий человек хватается за пёрышко. Я заговорил в первый раз.

— А те, кто был со мной, кто верил мне, — что стало с ними?

— А! — произнесла она. — Аменемхат, твой отец, престарелый жрец в Абуфисе, Септа, твой дядя, горячий патриот. Под простой внешностью его кроется великое сердце!

Я думал, она назовёт Хармиону, но она не упомянула о ней.

— И другие, — добавила она, — я знаю их всех!

— Что случилось с ними? — спросил я.

— Слушай, Гармахис, — ответила она, вставая и положив руку мне на плечо, — ради тебя я буду милосердна к ним, Я сделаю то, что должно быть сделано. Клянусь моим тронном и всеми богами Египта, что ни один волос не упадёт с головы твоего престарелого отца. Если ещё не поздно, я пощажу твоего дядю Септа и других. Я не буду брать примера с моего предка Епифана, который погубил массу людей, когда египтяне восстали против него. Он привязывал их к колеснице и волочил за собой вокруг городских стен. Я же пощажу всех, кроме евреев; их я ненавижу!

— Евреев — нет! — возразил я.

— Это хорошо, их я не буду щадить, евреев. Разве я такая жестокая женщина, как говорят? В твоём списке, Гармахис, многие осуждены на смерть; я отняла жизнь только у римского негодяя, двойного изменника, так как он предал меня и тебя. Если ты удивлён, Гармахис, теми милостями, которыми я тебя осыпаю, то это — по женскому расчёту — ты мне нравишься, Гармахис! Нет, клянусь Сераписом, — добавила она с лёгким смехом, — я меняю моё намерение, я не могу тебе так много дать даром! Ты должен купить всё это у меня — и ценой одного поцелуя, Гармахис!

— Нет, — возразил я, отвернувшись от прекрасной искусительницы, — цена очень тяжела. Я не целую более!

— Подумай, — ответила она, нахмурившись, — подумай и выбирай! Я — женщина, Гармахис, и не

привыкла о чём-либо просить мужчин. Делай как знаешь, но я говорю тебе: «Если ты оттолкнёшь меня, я переменю своё намерение и возьму назад свои милости». Итак, добродетельный жрец, выбирай: или тяжкое бремя моей любви, или немедленная смерть твоего престарелого отца и всех остальных участников заговора!

Я взглянул на неё, заметив, что она рассердилась. Глаза её заблестели, и грудь высоко поднялась, я вздохнул и поцеловал её, окончательно запечатлев этим свой позор и рабство.

Улыбаясь, как торжествующая греческая Афродита, она ушла, унося с собой мой кинжал. Я не знал тогда, как низко я был обманут, почему нить жизни моей не была порвана, почему Клеопатра, обладавшая сердцем тигра, была так милосердна ко мне; не знал, что она боялась убить меня. Заговор был очень силён, она же так слабо держалась на троне двойной короны, что слух о моей насильственной смерти произвёл бы сильное волнение и мог свергнуть её с престола, даже если бы я не существовал более на свете.

Я не знал, что только из страха и политических расчётов она оказывала мне столько милости, что не ради священного чувства любви, а из хитрости — хотя поистине она меня любила! — она постаралась привязать меня к себе сердечными узами. Но я должен сказать в её защиту, что потом, когда тучи опасности затемнили небо её жизни, она сдержала данное мне слово: кроме Павла и ещё одного человека, никто из участников заговора против Клеопатры и её рода не был убит, хотя они претерпели много других бедствий.

Она ушла, и её образ боролся в моём сердце со стыдом и печалью. О, как горьки были эти часы, которые я не мог облегчить даже молитвой! Связь между божеством и мной порвалась, и Изида отвернулась от своего жреца. Тяжелы были эти часы мрака и упоения, но в этом мраке мне блеснули дивные глаза Клеопатры и звучал её нежный смех, отголосок её любви. Чаша скорби ещё не была полна. Надежда закралась в моё сердце, я мог думать, что пал ради достижения высокой цели и что из глубины падения я найду лучший, менее опасный путь к победе!

Так обманывают себя падшие люди, стараясь взвалить бремя своих порочных деяний на судьбу, пытаюсь уверить себя, что их слабость поведёт к лучшему и заглушит голос совести сознанием необходимости. Увы! Рука об руку угрызения и гибель двигаются по пути греха! И горе тому, за кем они последуют! Горе мне, тяжкому грешнику из всех грешников!

IX

Заключение Гармахиса

Упрёки и презрение Хармионы

Освобождение Гармахиса

Прибытие Квинта Деллия

Одиннадцать дней я был заключён в моей комнате и не видел никого, кроме часовых, рабов, которые молча приносили мне пищу и питье, и Клеопатры, часто приходившей навещать меня. Хотя она говорила мне много нежных слов, уверяла в своей любви, но не обмолвилась ни одним словом о том, что делалось за стенами моей тюрьмы. Она приходила ко мне в разном настроении, то весёлая, сияющая, удивляя меня мудрыми мыслями и речами, то страстная, любящая, и каждому своему настроению придавала новую, своеобразную прелесть. Она много толковала, как должен я помочь ей сделать Египет великой страной, облегчить народ и прогнать римских орлов. Сначала мне было очень тяжело слушать её речи, но мало-помалу она всё крепче опутывала меня своими волшебными сетями, из которых не было выхода, и мой ум привык думать её мыслями. Тогда я раскрыл ей моё сердце и некоторые планы. Она, казалось, слушала внимательно, весело, взвешивала мои слова, говорила о разных средствах и способах достижения цели, о том, как желала она очистить древнюю веру, возобновить древние храмы, построить новые в честь египетских богов. Всё глубже вползала она в моё сердце, пока я, для которого не осталось больше ничего на свете, не полюбил её со всей глубокой страстью ещё не любившего сердца. У меня не было уже ничего, кроме любви Клеопатры, моя жизнь сосредоточилась на этой любви, и я лелеял своё чувство, как вдова своего единственного ребёнка. Виновница моего позора была для меня самым дорогим существом на свете, моя любовь к ней росла, пока всё прошлое не потонуло в ней, а моё настоящее не превратилось в сон! Она покорила меня, отняла у меня честь, обрекла на позор, а я — бедное, падшее, ослепшее создание! — я целовал палку, которой она меня била, и был её верным рабом.

Даже теперь, в грёзах, которые слетают ко мне, когда сон раскрывает тайники сердца и всякие ужасы свободно появляются в обителях мысли, мне кажется, что я вижу царственную красоту Клеопатры, как я увидел её впервые, её протянутые нежные руки, огоньки страсти в её чудных глазах, роскошные, рассыпающиеся локоны и прелестное лицо, сияющее любовью и нежностью, той чарующей нежностью, которая присуща только ей, ей одной! После многих лет, мне кажется, я вижу её такой, какой увидел в первый раз, и снова спрашиваю себя: неужели это была ложь?

Однажды она явилась ко мне поспешно, говоря, что пришла прямо с большого совещания относительно войны Антония в Сирии, как была, в царском одеянии, с скипетром в руке и золотой

диадемой, с царственной змеёй на челе. Смеясь, она села передо мной и рассказала, что давала аудиенцию каким-то посланцам и, когда они надоели ей, сказала, что её отзывает внезапное посольство из Рима, и убежала. Это её очень позабавило. Вдруг Клеопатра встала, сняла диадему, положила на мои волосы и, сняв царскую мантию, возложила её на мои плечи, дала мне в руки скипетр и встала на колени передо мной. Затем, смеясь, поцеловала меня в губы и сказала, что я — настоящий царь. Припомнив своё коронование в Абуфисе и душистый розовый веночек, который венчал меня царём любви, я встал, побледнел от гнева, сбросил с себя царскую мантию и спросил её, смеет ли она издеваться над своим пленником — над птицей, посаженной в клетку! Видимо, мой гнев поразил её, она отшатнулась.

— Нет, Гармахис, не сердись! Почему ты думаешь, что я издеваюсь над тобой? Почему думаешь, что не можешь быть действительно фараоном?

— Что ты хочешь сказать? — сказал я. — Не будешь ли ты короновать меня перед всем Египтом? Как я могу иначе быть фараоном?

Она опустила глаза.

— Быть может, любовь моя, у меня есть мысль короновать тебя! — нежно произнесла она. — Выслушай меня: ты бледнеешь здесь, в тюрьме, и мало принимаешь пищи! Не противоречь мне! Я знаю это от невольников. Я держала тебя здесь, Гармахис, ради твоего собственного спасения, ты дорог мне. Ради твоего блага, ради твоей чести все должны думать, что ты мой пленник. Иначе ты был бы опозорен и убит — убит тайно. Сюда я больше не приду, так как завтра ты будешь свободен и появишься опять при дворе как мой астролог. Я пушу в ход все доводы, которыми ты оправдал себя. Все предсказания твои о войне оправдались, но за это мне, впрочем, нечего благодарить тебя, так как ты предсказывал согласно твоим целям и твоему плану. Теперь прощай. Я должна вернуться к меднолобым посланникам. Не сердись, Гармахис, кто знает, что ещё может произойти между мной и тобой?

Она кивнула головой и ушла, заронив во мне мысль, что она хочет открыто короновать меня.

Действительно, я верю, у неё была эта мысль в то время. Если она и не любила меня, то всё же я был дорог ей и не успел ещё надоеть.

На другой день вместо Клеопатры пришла Хармиона, которую я не видал с той роковой ночи.

Она вошла и остановилась передо мной с бледным лицом и опущенными глазами. Её первые слова были горьким упрёком.

— Прости, что я осмелилась прийти вместо Клеопатры, — сказала она своим нежным голосом, — твоя радость отсрочена ненадолго, ты скоро увидишь её!

Я вздрогнул при этих словах, а она воспользовалась своим преимуществом и продолжала:

— Я пришла к тебе, Гармахис, уже не царственный, пришла сказать, что ты свободен. Ты свободен и можешь видеть свою собственную низость, видеть её в глазах всех, слепо доверявших тебе, как тень, падающую на воду. Я пришла сказать тебе, что великий план — план, лелеянный в течение двадцати лет, — разрушен. Никто не убит, только Септа исчез бесследно. Все вожаки заговора схвачены, закованы в цепи или изгнаны из родной страны, их партия рассеялась, буря, не успев разразиться, затихла. Египет погиб, погиб навсегда, его последние надежды исчезли. Он не в силах более бороться. Теперь навсегда он должен склонить шею под ярмо и подставить спину под палку притеснителя!

Я громко застонал.

— Увы, я был предан! — сказал я. — Павел выдал меня!

— Тебя предали? Нет, ты сам предал всех! Как мог ты не убить Клеопатру, когда был с нею наедине?

Говори, клятвопреступник!

— Она опоила меня! — сказал я.

— О, Гармахис! — возразила безжалостная девушка. — Как низко ты упал в сравнении с тем князем, которого я знала! Ты даже не стыдишься лжи! Да, ты был опоен, опоен напитком любви! Ты продал Египет и своё великое дело за поцелуй развратницы! Тебе позор и стыд! — продолжала она, указывая на меня пальцем и устремив глаза на моё лицо. — Презрение и отвращение — вот чего ты заслужил! Возражай, если можешь! Дрожи передо мной, познай, что ты такое, ты должен дрожать! Пресмыкайся у ног Клеопатры, целуй её сандалии, пока ей не надоест, и она не швырнёт тебя в твою грязь! Перед всеми честными людьми — дрожи, дрожи!

Моя душа замерла под градом горьких упреков, ненависти, презрения, но я не находил слов для ответа.

— Как же это случилось, — сказал я глухим голосом, — что тебя не выдали, и ты здесь, пришла, чтобы язвить меня, ты, которая клялась, что любишь меня! Ты — женщина и не имеешь сострадания к слабости мужчины?!

— Моего имени не было в списках, — возразила она, опуская свои тёмные глаза, — это случайность. Выдай меня, Гармахис! Я любила тебя, это правда, — ты помнишь? — я глубоко чувствую твоё падение. Позор человека, которого мы, женщины, любим, становится нашим позором, прилипает к нам, и мы бесконечно страдаем, чувствуя его. Не безумец ли ты? Не желаешь ли ты прямо из объятий царственной развратницы искать утешения у меня, у меня одной?

— Почему я знаю, — сказал я, — что это не ты в ревнивом гневе выдала наши планы? Хармиона, давно уже Септа предостерегал меня против тебя, и я припоминаю теперь...

— Ты — предатель, — прервала она, краснея до самого лба, — и видишь в каждом человеке себе подобного, такого же изменника и предателя, как ты! Не я изменила тебе, это — бедный дурак, Павел, который не выдержал до конца и выдал нас. Я не хочу слушать твоих низких мыслей. Гармахис, не царственный более! Клеопатра, царица Египта, приказала мне сказать тебе, что ты свободен, и она ждёт тебя в алебастровом зале!

Бросив быстрый взгляд на меня из-под своих длинных ресниц, она ушла.

И снова, хотя редко, я начал появляться при дворе, но сердце моё было полно стыда и ужаса, и на каждом лице я боялся увидеть презрение к себе. Но я не видел ничего, так как все, знавшие о заговоре, исчезли, а Хармиона молчала ради своих собственных интересов. Итак, Клеопатра объявила, что я был невиновен! Но мой позор придавил меня и унёс всю красоту моего лица, положив на нём печать измождения и горечи. Хотя меня и освободили, но зорко наблюдали за каждым моим шагом; я не мог уйти из дворца.

Наконец наступил день, когда явился Квинт Деллий, лживый римлянин, который служил восходящему светилу. Он привёз Клеопатре письмо от Марка Антония, триумвира, находившегося после победы над Филиппом в Азии. Там он разными способами собирал золото с побеждённых царей, чтобы удовлетворить им жадность своих легионеров.

Я хорошо помню этот день. Клеопатра в царском одеянии, окружённая придворными и свитой, в числе которой находился и я, сидела в большом зале, на золотом троне, и приказала герольдам пригласить посла от Антония-триумвира.

Широкие двери распахнулись, и при звуках труб, при кликах галльских воинов вошёл римлянин при блестящем золотом вооружении, в шёлковом, пурпурного цвета плаще, в сопровождении свиты.

Он был красив и прекрасно сложен, но около его рта залегла холодная, надменная складка, а в быстрых глазах сквозило что-то фальшивое.

В то время, когда герольды выкрикали его имя, титул и заслуги, он пристально смотрел на Клеопатру, — лениво сидевшую на троне, сияющую красотой, — и стоял, словно ослеплённый. Герольды кончили. Он всё стоял молча, не двигаясь. Клеопатра заговорила на латинском языке:

— Привет тебе, благородный Деллий, посол могущественного Антония! Тень его славы легла на мир, словно сам Марс спустился над нами, бедными князьями, чтобы приветствовать нас и удостоить своим прибытием наш бедный город, Александрию! Просим тебя, скажи нам цель твоего прибытия!

Хитрый Деллий не отвечал, продолжая стоять в оцепенении.

— Что с тобой, благородный Деллий, отчего ты молчишь?— спросила Клеопатра. — Разве ты так долго странствовал в Азии, что двери римского языка закрыты для тебя? На каком языке говоришь ты? Назови его, и мы будем говорить с тобой, все языки знакомы нам!

Наконец он заговорил тихим голосом:

— Прости меня, прекраснейшая царица Клеопатра, если я стоял немым перед тобой. Слишком поразительная красота, подобно смерти, лишает нас языка и парализует чувства. Глаза того, кто смотрит на блеск полуденного солнца, слепы на всё остальное! Неожиданно поразила меня твоя красота и слава, царица Египта, и я подавлен, порабощён, а мой ум не в силах понять что-либо!

— Поистине, благородный Деллий, — отвечала Клеопатра, — в Киликии вы проходите хорошую школу лести!

— Что же говорят у вас здесь, в Александрии? — возразил ловкий римлянин. — Дыхание лести не может рассеять облака!^[92] Не правда ли? Но к делу. Здесь, царица Египта, письма благородного Антония за его подписью и печатью. Он пишет о некоторых государственных делах. Угодно ли тебе, чтоб я прочитал их при всех?

— Сломай печать и читай!

Поклонившись, римлянин сломал печать и начал читать:

«Triumviri Reipublicae Constituendae, устами Марка Антония триумвира, Клеопатре, милостью римского народа царице Верхнего и Нижнего Египта, шлют свой привет.

До нашего сведения дошло, что ты, Клеопатра, вопреки долгу и обещанию приказала своим слугам, Аллиену и Серапиону, правителю Кипра, помочь бунтовщику и убийце Кассию против войска доблестного триумвирата.

Ещё до нашего сведения дошло, что позднее ты приготовила для этой цели сильный флот. Мы требуем, чтобы ты, не медля, отправилась в Киликию для встречи с благородным Антонием и сама лично ответила на все обвинения, возводимые на тебя.

Если ты не захочешь повиноваться нашему требованию, предостерегаем тебя, ты — в большой опасности! Прощай!»

Глаза Клеопатры блестели, когда она слушала эти надменные слова, и я видел, что её руки сжимали головы золотых львов, на которых она опиралась.

— Нам польстили, — сказала она, — а теперь, чтобы мы не пресытились лестью, нам поднесли противоядие! Выслушай, Деллий. Обвинения, изложенные в этом письме, ложны, весь народ наш может засвидетельствовать это. Но не теперь и не перед тобой мы будем защищать наши поступки, военные и политические действия. Мы не желаем покинуть наше царство и плыть в далёкую Киликию, чтобы там,

подобно бедному истцу, ходатайствовать за себя перед двором благородного Антония. Если Антоний пожелает говорить с нами, осведомиться относительно дела, море открыто, ему оказан будет царственный приём. Пусть приедет сюда. Вот наш ответ тебе и триумвирату, Деллий!

Деллий улыбнулся и сказал:

— Царица Египта! Ты не знаешь благородного Антония! Он суров на бумаге и пишет как будто мечом, обогранным человеческой кровью. Но лицом к лицу с ним ты увидишь, что Антоний — самый мягкий воин во всём свете, который когда-либо выигрывал битвы. О, согласишься, царственная египтянка, и исполни требование. Не отсылай меня к нему с этими гневными словами, ведь, если Антоний двинется на Александрию, горе ей и всему народу египетскому и тебе самой, великая египтянка! Он явится вооружённый и принесёт с собой дыхание войны! Тогда тебе будет плохо, так как ты не хотела признать соединённого могущества Рима. Прошу тебя, исполни требование! Отправься в Киликию с мирными дарами, а не с оружием в руках. С твоей красотой и прелестью тебе нечего бояться Антония!

Он замолчал и лукаво смотрел на неё, а я, угадав его мысль, почувствовал, что вся кровь бросилась мне в голову.

Клеопатра также отлично поняла его, и я увидел, что она оперлась подбородком на руку, и облако спустилось на её глаза. Некоторое время сидела она так, пока лукавый Деллий с любопытством наблюдал за ней. Хармиона, стоявшая с другими женщинами около трона, также поняла его мысль, и лицо её просияло, подобно летнему облачку вечером, когда лучи заката пронизывают его. Потом лицо её опять побледнело и стало спокойно.

Наконец Клеопатра заговорила.

— Это серьёзное дело, и потому, благородный Деллий, нам необходимо время, чтобы обсудить его зрело. Остайся у нас, повеселись, если тебе понравятся наши жалкие развлечения! Через десять дней ты получишь наш ответ!

Посол подумал немного, потом ответил, улыбаясь:

— Изволь, царица Египта! На десятый день я буду ждать твоего ответа, а на одиннадцатый отплыну отсюда, чтобы присоединиться к Антонию, моему великому господину!

По знаку Клеопатры снова зазвучали трубы, и посол с поклоном удалился.

Х

Беспокойство Клеопатры

Её клятва Гармахису

Гармахис рассказывает Клеопатре тайну сокровища, скрытого в пирамиде Гер

В ту же ночь Клеопатра призвала меня в свою комнату. Я пришёл и увидел, что она в страшном смятении. Никогда я не видал её такой взволнованной. Она была одна и, как раненая львица, металась по комнате, шагая взад и вперёд по мраморному полу, в то время мысль за мыслью сменялись в её уме, как облачко над морем, сгущая тени в её глубоких глазах.

— Хорошо, что ты пришёл, Гармахис! — сказала она, останавливаясь на минуту и взяв меня за руку. — Посоветуй мне, научи, я никогда так не нуждалась в совете, как теперь! Какие дни боги послали мне, дни беспокойные, как океан? С самого детства я не знала покоя и, кажется, никогда не узнаю. Едва я избежала твоего кинжала, Гармахис, как новая забота, подобно буре, собралась на моём горизонте, чтобы вдруг разразиться надо мной! Заметил ли ты этого франта с видом тигра? Как хотела бы я прогнать его! Как он нежно говорил! Слово кот, который, мурлыча, показывает свои когти! Слышал ты письмо? Оно — зловеще. Я знаю этого Антония! Я видела его, когда была ещё ребёнком, но глаза мои были всегда проницательны, и я разгадала его!

Наполовину геркулес, наполовину безумец, с печатью гения в самом безумии! Хорош к тем, кто умеет потворствовать его сладострастию, и в раздражении — железный человек! Верен друзьям, если любит их, иногда фальшив ради своих целей. Великодушен, смел, даже добродетелен, в счастья — глупец и раб женщин! Таков Антоний. Как поступить с таким человеком, которого судьба и обстоятельства, помимо его воли, вознесли на высокую волну счастья? Когда-нибудь эта волна захлестнёт его, а пока он переплывает мир и смеётся над теми, кто тонет!

— Антоний — человек, — возразил я, — у него много врагов, и, как человек, он может пасть!

— Да, он может пасть, но он — один из трёх. Кассий умер, и у Рима появилась новая голова гидры. Убей одну, другая будет шипеть тебе в лицо. Там есть Лепид, молодой Октавий, который с холодной усмешкой торжества будет смотреть на смерть пустого, недостойного Лепида, Антония и Клеопатры. Если я не поеду в Киликию, заметь это, Антоний заключит мир с парфянами и, поверив всем рассказам обо мне, — конечно, в них есть доля правды, — обрушится со всей своей силой на Египет. Что тогда?

— Мы прогоним его назад, в Рим!

— Ты так думаешь, Гармахис? Если бы я не выиграла игры, которую мы вели с тобою 12 дней тому назад, и ты был бы фараоном, то, наверное, мог бы сделать это, так как вокруг твоего трона собрался весь

Древний Египет! Но меня Египет не любит, у меня в жилах течёт греческая кровь. Я уничтожила твой великий заговор, в котором была замешана целая половина Египта. Захотят ли эти люди помочь мне? Если бы Египет любил меня, я, конечно, могла бы продержаться одна против всех сил Рима, но Египет ненавидит меня и предпочитает владычество римлян. Я могла бы защищаться, если бы у меня было золото, так как за деньги я могла бы нанять и прокормить солдат. Но у меня ничего нет. Моя казна пуста, и в моей богатой стране долги давят меня. Войны разорили меня, и я не знаю, где мне найти хоть один талант. Быть может, Гармахис, ты по праву наследства — жрец при пирамидах, — она близко подошла ко мне и заглядывала мне в глаза, — ты, быть может, если слух, дошедший до меня, справедлив, можешь сказать мне, где взять золота, чтобы спасти страну от гибели, а твою любовь от когтей Антония! Скажи, так это?

Я подумал с минуту и ответил:

— Если слухи были верны и я бы мог указать тебе сокровище, скопленное могущественными фараонами для нужд Кеми, как могу я быть уверен, что ты употребишь богатство на пользу страны, для высокой цели?

— Так сокровища эти действительно существуют? — спросила она с любопытством. — Нет, не терзай меня, Гармахис! Поистине одно слово «золото» теперь в нужде, подобно призраку воды в голой пустыне!

— Я думаю, — возразил я, — что сокровища есть, хотя я никогда не видал их. Я знаю, что они лежат там, где их положили. Тяжёлое проклятие падёт на того, чьи руки воспользуются ими для своих низких целей! Те фараоны, которым было известно местонахождение сокровищ, не осмелились тронуть их, хотя и очень нуждались!

— Так, — сказала Клеопатра, — они были трусливы или не очень нуждались! Покажи мне сокровища!

— Может быть, — ответил я, — я покажу тебе их, если ты поклянешься, что употребишь их в защиту Египта против римлянина Антония и на благо народа Кеми!

— Клянусь тебе! — вскричала она серьёзно. — Клянусь тебе богами Кеми, что, если ты покажешь мне сокровища, я отрекусь от Антония и пошлю Деллия назад, в Киликию, с ответом, более гордым и резким, чем письмо Антония. Я сделаю это, Гармахис, и как скоро ты это устроишь мне, я перед всем миром назову тебя своим супругом; ты выполнишь все твои планы и разобьёшь в прах римских орлов!

Она сказала это, смотря мне в лицо правдивым, серьёзным взглядом. Я верил ей и в первый раз со времени моего падения почувствовал себя почти счастливым, думая, что не всё ещё потеряно для меня, и с помощью Клеопатры, которую я безумно любил, я мог добиться трона и власти.

— Клянись, Клеопатра! — сказал я.

— Клянусь, возлюбленный мой, и этим поцелуем запечатлеваю мою клятву! — Она поцеловала меня в лоб, я ответил ей также поцелуем. Мы толковали о том, что будем делать, когда повенчаемся, и как мы победим Рим!

Я снова был обманут, хотя твёрдо уверен и теперь, что, если бы не ревнивый гнев Хармионы, которая, как мы увидим, не упускала случая помочь позорному делу и обмануть меня, — Клеопатра повенчалась бы со мной и порвала бы с Римом.

Да и в самом деле, это было бы выгоднее и лучше для неё и для Египта! Мы просидели долго ночью, и я открыл Клеопатре кое-что из великой тайны сокровища, скрытого в громаде Гер.

Было условлено, что завтра мы пойдём туда и ночью начнём поиски.

Рано утром на следующий день нам была тайно приготовлена лодка. Клеопатра села в неё, закутанная, словно египтянка, собравшаяся на паломничество к храму Горемку. За ней вошёл в лодку я, одетый пилигримом, и с нами десять человек вернейших слуг, переодетых матросами. Хармионы не было с нами.

Попутный ветер помог нам быстро выбраться из устья Нила. Ночь была светлая. В полночь мы достигли Саяса и остановились тут ненадолго, потом снова сели в лодку и плыли целый день, пока через три часа после заката солнца перед нами не блеснули огни крепости Вавилон. Здесь, на противоположном берегу реки, мы пристали к тростниковым зарослям и вышли из лодки. Пешком, тайно от всех, мы отправились к пирамидам, находившимся в двух лигах расстояния от нас. Нас было трое: Клеопатра, я и преданный евнух; остальных слуг мы оставили в лодке. Я нашёл для Клеопатры осла, который пасся в поле, поймал его и покрыл плащом. Она уселась на осла, и я повёл его знакомыми путями, а евнух следовал за нами пешком. Меньше чем через час, идя по большой дороге, мы увидели перед собой пирамиды, озарённые сиянием луны и молчаливо возвышавшиеся перед нами. Мы шли молча через город смерти и мертвецов, торжественные гробницы которых окружали нас со всех сторон.

Потом, наконец, мы взобрались на скалистый холм и стояли в глубокой тени древнего Куфу-Кут, блестящего трона Куфу.

— Поистине, — прошептала Клеопатра, смотря на ослепительный мрамор откоса с начертанными на нём миллионами мистических букв, — поистине в древние времена страной Кеми управляли боги, а не люди!.. Это место похоже на обиталище смерти, от него веет нечеловеческой мощью и силой! Мы сюда должны войти с тобой?

— Нет, — отвечал я, — не сюда. Иди дальше!

Я повёл Клеопатру по дороге, мимо тысячи древних гробниц, до тех пор, пока мы не вошли в тень великой Ур и смотрели на её красную, тянущуюся к небу громаду.

— Сюда мы должны войти? — прошептала Клеопатра снова.

— Нет, не сюда! — отвечал я опять.

Мы прошли мимо гробниц и вошли, наконец, в тень пирамиды Гер. Клеопатра удивлённо смотрела на её ослепительную красоту, которая целые тысячи лет каждую ночь отражала лунные лучи, на чёрный пояс из эфиопского камня, окружавший её основание. Это — красивейшая из всех пирамид.

— Сокровищница здесь? — спросила Клеопатра.

— Здесь! — ответил я.

Мы обошли вокруг храма для поклонения божественному величию Менкау-ра Озирийокого, вокруг пирамиды и остановились у северной стороны. Здесь, в центре, вырезано имя фараона Менкау-ра, который выстроил пирамиду, желая сделать её своей гробницей, и скрыл в ней сокровища для нужд Кеми.

— Если сокровище находится ещё здесь, — сказал я Клеопатре, — как во времена моего предка, великого жреца пирамиды, — то оно скрыто в недрах громады, которую ты видишь перед собой, Клеопатра! Путь туда полон труда, опасностей и ужаса. Готова ли ты войти, потому что ты сама должна идти туда и обсудить всё!

— А разве ты не можешь, Гармахис, вместе с евнухом идти туда и принести сокровище? — спросила Клеопатра, мужество которой начало слабеть.

— Нет, Клеопатра, — отвечал я, — не только ради тебя, но даже ради блага Египта я не могу это сделать, иначе, из всех грехов моих это будет величайший. Я поступаю на законном основании. Я имею

право как наследственный хранитель тайны по просьбе показать правящему монарху Кеми место, где лежит сокровище, и также показать предостерегающую надпись. Когда монарх увидит и прочтёт надпись, он должен рассудить, так ли сильна нужда Кеми и даёт ли она ему право пренебречь проклятием усопшего и наложить руки на сокровища! От его решения зависит всё это ужасное дело. Три монарха — так гласят летописи, которые я читал, — осмелились войти сюда в минуту нужды. Это была божественная царица Хетшеноу, избранница богов, её божественный брат Техутим Мен-Кепер-ра и божественный Рамзес Ми-амень. Никто из них не осмелился дотронуться до сокровищ; как ни велика была нужда в деньгах, всё же они не решились на это деяние. Боясь, что проклятие обрушится на них, они ушли отсюда опечаленные!

Клеопатра подумала немного, и её смелая душа преодолела страх.

— Во всяком случае, я хочу видеть все своими глазами!

— Хорошо! — ответил я.

С помощью евнуха я нагромоздил камни около основания пирамиды выше человеческого роста, вскарабкался на них и начал искать тайный знак в пирамиде величиной не более листа. Я не скоро нашёл его, непогоды и бури почти стёрли его с эфиопского камня. Затем я нажал его, не известным мне образом, изо всей силы. Прележавший спокойно целый ряд столетий камень повернулся. Показалось отверстие, достаточное, чтобы в него мог пролезть человек. Из отверстия вылетела огромная летучая мышь, белая, почти седая, словно покрытая пылью веков, такой величины, какой я никогда в жизни не видал, величиной с сокола. Она с минуту кружилась над Клеопатрой, потом поднялась и исчезла в ярких лучах месяца. Клеопатра вскрикнула от ужаса, а евнух упал ниц со страху, думая, что это дух-хранитель пирамиды. Мне самому было страшно, но я молчал. Я думаю даже теперь, что это был дух Менкау-ра, который, приняв образ летучей мыши, как бы предостерегал нас, улетев прочь из своего священного дома.

Я ждал некоторое время, чтобы затхлый воздух в отверстии несколько освежился. Потом я зажёл три светильника и, поставив их у входа в отверстие, отвёл евнуха в сторону, заставив поклясться живым духом того, кто поживает в Абуфисе, что он никогда не скажет никому о том, что увидит.

Евнух поклялся, весь дрожа от страха. И действительно, он ничего никому не сказал.

Затем я влез в отверстие, взяв с собой верёвок, обвязал себя одной верёвкой вокруг тела и позвал Клеопатру с собой. Крепко держа подол своего платья, Клеопатра пришла; я помог ей влезть в отверстие, и она очутилась позади меня в проходе, выложенном гранитными плитами. За нами пролез и евнух. Тогда я ещё раз посмотрел план прохода, который принёс с собой. Этот план был списан с древних письмён и дошёл до моих рук через сорок одно поколение моих предшественников, жрецов пирамиды Гер; знаки, которыми он был написан, были понятны только посвящённому. Я повёл своих спутников по мрачному проходу к таинственно молчаливой гробнице.

Озаряемые слабым светом, мы спустились по крутому уклону, задыхаясь от жары и густого, затхлого воздуха. Мы прошли уже каменные постройки и очутились в галерее, вырытой в скале. На двадцать шагов или более она сбегала круто вниз, потом уклон уменьшался, и мы оказались в комнате, окрашенной в белый цвет и такой низкой, что я, благодаря своему высокому росту, не мог стоять прямо. В длину она была около четырёх шагов, шириной — в три шага и украшена скульптурой. Клеопатра опустила на пол и сидела неподвижно, измученная жарой и глубоким мраком.

— Встань! — сказал я ей. — Нам нельзя оставаться здесь, иначе мы потеряем силы!

Она встала. Рука об руку мы прошли комнату и остановились перед огромной гранитной дверью, под тяжёлым сводом. Ещё раз взглянув на план, я придавил ногой известный мне камень и стал ждать. Внезапно и тихо, не знаю, каким образом, громада поднялась с своего ложа, высеченного в скале. Мы прошли дальше и очутились перед другой гранитной дверью. Опять я нажал известное мне место двери.

Она широко распахнулась. Мы прошли через неё, и перед нами предстала третья дверь, ещё огромное и крепче пройденных. Согласно плану, я ударил дверь ногой, она тихо опустилась, словно под влиянием волшебного слова, и верх её оказался на уровне каменного пола. Мы достигли другого прохода, в сорок шагов длиной, который привёл нас в большую комнату, выложенную чёрным мрамором; она имела девять локтей в высоту и ширину и тридцать локтей в длину. На мраморном полу её стоял большой гранитный саркофаг, на котором были выгравированы имя и титул царицы Менкау-ра. В этой комнате воздух был чище, хотя я не знаю, каким образом он проникал сюда.

— Сокровища здесь? — прошептала Клеопатра.

— Нет, — ответил я, — следуй за мной!

Я повёл её по галерее, куда мы попали через отверстие в полу большой комнаты, которое запиралось подъёмной дверью. Теперь эта дверь была отворена. Пройдя шагов десять, мы подошли к колодцу глубиной в семь локтей. Поправив конец верёвки, которой я обвязал себя вокруг тела, и прикрепив другой к кольцу на скале, я спустился вниз, держа светильник в руках, в место упокоения божественного Менкау-ра. Потом верёвка поднялась наверх, и Клеопатра была опущена вниз евнухом. Я принял её в свои объятия, приказав евнуху, хотя против его желания, так как он боялся остаться один, ожидать нашего возвращения у колодца: не подобало ему входить туда, куда мы вошли.

XI

У гробницы божественного Менкау-ра

Письмена на груди Менкау-ра

Захват сокровища

Обитатель гробницы

Бегство Клеопатры и Гармахиса из священного места.

Мы стояли в маленькой сводчатой комнате, вымощенной и выложенной большими глыбами сионского гранита. Перед нами, высеченный из цельного базальта, в виде деревянного дома, на сфинксе с золотым лицом находился саркофаг божественного Менкау-ра. Мы молча смотрели на него. Мёртвая и торжественная тишина священного места подавляла нас. Над нами на громадную высоту высилась пирамида, уходя в ночное небо.

Мы находились глубоко в недрах скалы, одни с мертвецом, вечный сон которого мы готовились нарушить. Ни один звук, ни одно движение воздуха, ни один признак жизни не нарушал мрачного молчания смерти. Я смотрел на саркофаг: его тяжёлая крышка была снята и лежала сбоку, а вокруг слоями лежала вековая пыль.

— Смотри! — прошептал я, указывая на письма, начертанные краской на стене в виде священных символов древности.

— Прочитай их, Гармахис, — отвечала Клеопатра тихо. — Я не могу.

Я прочитал: «Я, Рамзее Ми-амень, в день и час нужды посетил эту гробницу. Хотя нужда моя велика и сердце моё смело, я не смею навлечь на себя проклятие Менкау-ра. О, ты, кто придёшь сюда после меня, если душа твоя чиста и нужда Кеми неотложна, возьми то, что я оставил!»

— Где же сокровище? — прошептала Клеопатра. — Это золотое лицо сфинкса?

— Да, здесь, — отвечал я, указывая на саркофаг, — подойди и смотри!

Она, взяв меня за руку, подошла ближе.

Покрывало было снято, но разрисованный гроб фараона находился в недрах саркофага. Мы взобрались на сфинкса, я дунул, и пыль полетела от моего дуновения. Тогда можно было прочесть на крышке: «Фараон Менкау-ра, дитя Неба, Фараон Менкау-ра, царственный сын солнца, Фараон Менкау-ра, лежавший под сердцем Нут. Нут, твоя мать, окутывает тебя чарами своего священного имени! Имя твоей

матери, Нут, есть тайна неба. Нут, твоя мать, причисляет тебя к лику богов! Нут, твоя мать, одним дыханием уничтожает твоих врагов! О Фараон Менкау-ра, живущий вовеки!»

— Где же сокровище? — опять спросила Клеопатра. — Здесь действительно находится тело божественного Менкау-ра. Но тело фараона — не золото, а сфинкс с золотым лицом... как нам унести его?

Вместо ответа я велел ей встать на сфинкса и поднять верхнюю часть гробницы, пока я подниму её подножие. Крышка ящика снялась, и мы положили её на пол. В ящике находилась мумия фараона в том виде, как она была положена туда три тысячи лет тому назад. То была большая мумия, плохо сделанная, без золотой маски, как повелевал обычай в наши дни. Голова мумии была обёрнута в пожелтевшее от времени полотно, скреплённое тонкими льняными повязками. Под ними находились стебли лотоса. На груди, обвитой цветами лотоса, лежала золотая дощечка с начертанными на ней священными письменами. Я взял дощечку, поднёс её к свету и прочитал: «Я, Менкау-ра, бывший фараон страны Кеми, жил в своё время праведно и не отступал от стези, указанной ногам моим повелением Невидимого, который есть начало и конец всего живущего! Из могилы я обращаюсь к тем, кто после меня будет сидеть на моём троне! Смотри, я, Менкау-ра, в дни жизни моей получил предостережение, во время сна, что наступит время, когда Кеми попадёт в руки чужеземцев и его монарх будет нуждаться в сокровищах, чтобы нанять войско и прогнать варваров. Моя мудрость научила меня сделать это. Богам угодно было одарить меня таким богатством, какого не имел ни один фараон с времён Хора. Тысячи скота и гусей, тысячи телег и ослов, тысячи мер зерна, сотни мер золота и драгоценных камней! Это богатство я тратил бережливо, и всё, что осталось, обменял на драгоценные камни, изумруды, прекраснейшие и лучшие из всех в мире. Эти камни я сберёг для нужды Кеми!

Как всегда, на земле были и будут злодеи, которые из жадности могут захватить скопленное мною богатство и употребить для своих целей. Смотри, ты, ещё не рождённый настанет время, ты будешь стоять надо мной и читать, что написано, — я сохранил сокровище в костях моих! Помни, ты, не рождённый, спящий в утробе Нут, я говорю это тебе! Если ты нуждаешься действительно в богатстве, чтобы спасти Кеми от врагов, не бойся ничего и не медли, отними меня от моей гробницы, сбрось мои покровы, возьми сокровище из моей груди, и всё удастся тебе! Я требую только одного, чтобы ты положил мои кости опять в пустой гроб! Но если нужда не велика и проходяща или ты замышляешь зло в сердце твоём, проклятие Менкау-ра падёт на тебя! Проклятие тому, кто надругался над мёртвым! Проклятие будет преследовать предателя! Да будет проклят тот, кто оскорбляет величие богов!

Ты будешь несчастен при жизни, умрёшь в крови и скорби и будешь терзаться и мучиться вечно, вечно! В Аменти мы встретимся с тобой, злодей! Чтобы сохранить эту тайну, я, Менкау-ра, выстроил храм моего почитания на восточной стороне моего дома смерти. От времени до времени наследственный Великий Жрец моего храма будет знать о ней!

Если Великий Жрец откроет эту тайну кому-либо другому, не фараону или не той, которая носит корону фараонов и восседает на их троне, на него падёт моё проклятие! Всё это написал я, Менкау-ра! Теперь к тебе обращаюсь, лежащий в утробе Нут, когда настанет время, ты будешь стоять надо мной и читать, говорю тебе! Обсуди сам! И если дурно рассудишь, на тебя падёт проклятие Менкау-ра, от которого тебе негде укрыться. Привет тебе и прощай!»

— Ты слышала, Клеопатра? — сказал я торжественно. — Посоветуйся с твоим сердцем, рассуди и, ради твоего собственного блага, суди справедливо!

Клеопатра склонила голову в раздумье.

— Я боюсь сделать это! — сказала она. — Пойдём отсюда!

— Хорошо, — ответил я, чувствуя облегчение на сердце и наклоняясь, чтобы поднять деревянную

крышку. Я тоже боялся, хотя и молчал.

— Что сказано в писаниях божественного Менкау-ра? Это всё изумруды? Не правда ли? Изумруды редки и дороги! Я очень люблю изумруды и никогда не могла достать ни одного чистого камня!

— Дело не в том, что ты любишь, Клеопатра, — сказал я, — а в нуждах Кеми, в тайных побуждениях твоего сердца, которые ты одна только знаешь!

— Конечно, Гармахис, конечно! Разве не велика нужда Египта? В казне нет золота, как я могу порвать с Римом без денег? Разве я не поклялась, что короную тебя, обвенчаюсь с тобой и порву с Римом? В этот торжественный час, положи руку на сердце мёртвого фараона, ещё раз клянусь тебе! Разве это не такой случай, о котором было предупреждение во сне божественного Менкау-ра? Ты видишь: и Хет-шепсу, и Рамзее, и другие фараоны не тронули сокровищ — не пришло время. Этот час настал теперь, и, если я не возьму камни, римляне захватят Египет, и тогда не будет фараона, которому можно открыть тайну. Бросим страхи, и за работу! Почему ты смотришь на меня так испуганно? Когда сердце чисто, нечего бояться, Гармахис!

— Как ты желаешь, — возразил я, — ты должна рассудить. Если ты рассудишь ложно, на тебя падёт проклятие, которого ты не избежишь!

— Хорошо, Гармахис, держи голову фараона, а я... Какое это ужасное место! — Внезапно она прижалась ко мне. — Мне показалась тень, там, в темноте! Мне казалось, что она двигалась к нам и вдруг исчезла! Уйдём! Разве ты ничего не видел?

— Я ничего не видел, Клеопатра. Может быть, это был дух божественного Менкау-ра, ибо дух всегда парит над своим смертным обиталищем! Уйдём! Я рад уйти отсюда!

“Клеопатра сделала шаг, но снова обернулась и заговорила:

— Ничего не было, ничего, кроме фантазии, порождённой страхом и темнотой этого ужасного места! Нет, я должна видеть эти изумруды. Пусть я умру, но увижу! За дело!

Своими собственными руками она взяла из гробницы одну из четырёх алебастровых урн, на которых были выгравированы изображения богов-покровителей. В урне находилось сердце и внутренности божественного Менкау-ра, больше ничего. Тогда мы взобрались на сфинкса, с трудом вынули труп фараона и положили его на землю. Клеопатра взяла мой кинжал и разрешила им повязки, державшие покров; цветы лотоса, три тысячи лет тому назад положенные ему на грудь любящими руками, упали на пол. Мы нашли конец верхней повязки, которая была прикреплена к задней части, разрешили её и принялись развёртывать покров священного тела.

Прислонившись плечами к саркофагу, я сел на каменный пол, положив тело мертвеца к себе на колени. Я повёртывал его, а Клеопатра развёртывала полотно. Что-то выпало из покровов. То был скипетр фараона, сделанный из чистого золота, с яблоком из чистейшего изумруда на конце. Клеопатра взяла скипетр и молча смотрела на него. Затем мы продолжали наше ужасное дело. По мере того как мы развёртывали тело, выпадали разные золотые украшения, с какими по обычаю хоронят фараонов, — кольцо, браслеты, сисстры, топорик, изображение священного Озириса и священной Кеми. Наконец все повязки были развёрнуты, под ними находилось покрывало из грубого холста. В те древние времена ещё не умели так ловко и искусно бальзамировать тела, как теперь! На холсте находилась овальная надпись: «Менкау-ра, царственный сын солнца». Мы не знали, как снять холст, — он был прикреплён к телу. Измученные жарой, задыхающиеся от пыли и запаха благовоний, трепеща от страха за нашим святотатственным делом, в этом молчаливом и священном доме смерти, мы положили тело на землю и разрешили ножом последний покров. Прежде всего мы развернули голову фараона и увидели лицо его, которого не видел ни один человек в течение трёх тысяч лет. Это было большое лицо с смелым лбом,

увенчанным царским уреусом, из-под которого прямыми и дивными прядями ниспадали белые локоны. Ни холодная печать смерти, ни длинный ряд протёкших столетий не могли отнять величин и достоинства у этих застывших черт. Мы смотрели на них и, перепуганные, быстро сняли покров с тела. Оно лежало перед нами, заоченелое, жёлтое, ужасное. В левом боку, выше бедра, был надрез, сделанный бальзамировщиками, но зашитый так искусно, что мы с трудом нашли его.

— Камни там, внутри! — прошептал я, чувствуя, что тело очень тяжело. — Если сердце твоё не ослабело, ты должна войти в это бедное, смертное обиталище, бывшее когда-то могущественным фараоном!

Я подал ей свой кинжал — тот самый кинжал, который прикончил жизнь Павла.

— Поздно раздумывать и сомневаться, — отвечала Клеопатра, подняв своё бледное, прелестное лицо и устремив на меня свои большие синие глаза, широко раскрытые от ужаса.

Она взяла кинжал и, стиснув зубы, воткнула его в мёртвую грудь того, кто был фараоном три тысячи лет тому назад.

В эту минуту до нас долетел ужасный стон через отверстие колодца, где мы оставили евнуха. Мы вскочили на ноги. Больше ничего не было слышно, только светильник мерцал в вышине, у отверстия.

— Ничего, — сказал я, — надо докончить!

С большим трудом мы разрезали жёсткое мясо, и я слышал, как нож задевал за камни. Клеопатра запустила руку в мёртвую грудь и, быстро вытащив что-то, понесла находку к свету. Из мрака фараоновой груди вернулся к жизни и свету великолепный изумруд. Цвет его был бесподобен. Он был очень велик, без всякого порока, и сделан в виде скарабея, на нижней стороне которого находился овал с написанным на нём божественным именем Менкау-ра, сына солнца. Опять и опять она погрузила руку и вытащила огромные изумруды, лежавшие в груди фараона, среди благовоний. Одни были отделаны, другие — нет, но все совершенного цвета и огромной ценности. Несколько раз Клеопатра запускала руку в мёртвую грудь, пока не вытащила всех изумрудов. Теперь у нас было сто сорок семь изумрудов, каких никто и никогда в мире не видел. Последний раз она нашла не изумруды, а две огромные жемчужины неслыханной красоты. Сокровище огромной кучей сияло перед нами. Рядом с ним лежали золотые регалии, благовония, разрезанные покровы и растерзанное тело седоволосого фараона Менкау-ра, вечно живущего в Аменти.

Мы встали, и когда всё было уже кончено, на нас напал такой страх, что мы не могли произнести ни слова. Я сделал знак Клеопатре. Она взяла фараона за голову, я — за ноги, и мы, взобравшись на сфинкса, положили его обратно в гроб. Я набросил на него разрезанные покровы и закрыл гробницу крышкой. Потом мы собрали большие камни и те украшения, которые могли унести с собой. Некоторые из них я спрятал в складки моей одежды, остальные Клеопатра спрятала на своей груди. Тяжело нагруженные сокровищем, мы бросили последний взгляд на торжественное место смерти, на саркофаг, на сфинкса, спокойное лицо которого, казалось, смеялось, сияя своей вечной и мудрой улыбкой, повернулись и пошли из гробницы. У колодца мы остановились. Я позвал евнуха, и мне показалось, что насмешливый хохот отозвался мне сверху. Охваченный ужасом, не смея позвать вторично, боясь, что, если мы промедлим, то Клеопатра упадёт без сознания, я схватил верёвку и, так как обладал большой силой, быстро поднялся вверх. Светильник горел по-прежнему, но евнуха не было. Полагая, что он, вероятно, отошёл в сторону и заснул, я велел Клеопатре обвязать себя верёвкой и с большим усилием поднял её вверх. Несколько отдохнув, мы начали искать евнуха.

— Он испугался и убежал, оставив светильник! — сказала Клеопатра. — О боги, что это там такое?

Я взгляделся в темноту, поднял светильник и при свете его увидел зрелище, при мысли о котором

леденеет душа моя! Прислонясь к стене и расставив руки, лицом к нам сидел евнух, мёртвый! Глаза его были широко раскрыты, толстые щёки отвисли, жидкие волосы стояли дыбом, а на лице застыло выражение такого нечеловеческого ужаса, что ум мутился при виде его! Зацепившись за его подбородок задними лапами, висела та белая огромная летучая мышь, которая вылетела при нашем входе в пирамиду, а затем вернулась, следуя за нами в недра её. Она висела и раскачивалась на подбородке мертвеца, её глаза искрились в темноте.

Совершенно обезумев от ужаса, мы стояли и смотрели на отвратительное зрелище. Расправив свои крылья, летучая мышь оставила свою жертву и направилась к нам; она начала кружиться над лицом Клеопатры, задевая её своими белыми крыльями. Потом с визгом, похожим на крик женщины, проклятое чудовище полетело искать осквернённую гробницу и исчезло в отверстии колодца. Я прислонился к стене, чтобы не упасть. Клеопатра упала на пол и, закрыв лицо руками, закричала так громко, что пустые переходы загрели эхом её голоса, и этот крик, казалось, всё рос и усиливался, глухо звуча в недрах пирамиды.

— Встань! — закричал я. — Встань и пойдём отсюда, пока дух не вернулся преследовать нас! Если ты не сможешь побороть сейчас твою слабость в этом ужасном месте, ты погибла!

Она встала, шатаясь. Я никогда не забуду её искажённого лица и горящих глаз. Схватив светильник, мы прошли мимо ужасного мёртвого евнуха — я придерживал Клеопатру рукой — и достигли большой комнаты, где находился саркофаг царицы Менкау-ра. Быстро пройдя комнату, мы побежали по проходу. Что будет с нами, если все три огромные двери заперты? Нет, они были отворены, мы прошли через них, и я сам запер последнюю. Я тронул камень, и дверь опустилась, закрыв от нас навсегда и мёртвого евнуха, и чудовище, висевшее у него на подбородке. Мы очутились в белой комнате с скульптурными панелями. Перед нами находился последний подъем. О, этот подъем! Дважды Клеопатра скользила и падала на гладкий пол. В другой раз — это было на половине пути — она уронила светильник и покатила бы сама за ним следом, если бы я не поддержал её. Но, помогая ей, я также уронил свой светильник, который упал и погас. Мы остались в темноте. А что, если в этом мраке над нами парит это ужасное существо?

— Будь мужественнее! — вскричал я. — О любовь моя, будь мужественнее, борись, иначе мы оба погибли! Пути осталось немного, и, хотя темно, мы можем осторожно подвигаться вперёд! Если камни тяжелы, брось их!

— Нет, — пробормотала она, — я не хочу. Это значило бы не выдержать до конца! Я умру с ними!

Я увидел тогда всю смелость и величие этого женского сердца. В темноте, несмотря на все ужасы, на наше безвыходное положение, она, прижимаясь ко мне, шла по ужасному проходу. Так взбирались мы, рука об руку, с пылающими сердцами, пока, благодаря милосердию или гневу богов, не увидели слабого света луны, проникавшего в отверстие пирамиды. Ещё несколько шагов — и цель достигнута! Свежий ночной воздух, подобно дыханию неба, обнял нас и освежил. Я пролез в отверстие и, стоя на камне, вытащил Клеопатру за собой. Она упала на землю и лежала неподвижно. Дрожащими руками я нажал камень. Он повернулся и закрыл отверстие, не оставив и следа на месте входа. Тогда я слез вниз и, оттолкнув камень, взглянул на Клеопатру. Она лежала без чувств, и, несмотря на пыль, лицо её было так бледно, что я подумал, не умерла ли она, но, положив руку на её сердце, почувствовал, что оно бьётся. Измученный, я бросился на песок рядом с ней, чтобы отдохнуть и собраться с силами.

XII

Возвращение Гармахиса

Приветствие Хармионы

Ответ Клеопатры Квинту Деллию, послу Антония-триумвира.

Наконец я поднялся и, положив себе на колени голову египетской царицы, пытался привести её в чувство. Как прекрасна она была в своей запылённой одежде, с длинными, спустившимися на грудь волосами!

Как убийственно хороша она была, озаряемая бледными лучами месяца, — эта женщина, история красоты и грехов которой переживёт каменные громады пирамид! Тяжёлый обморок смягчил некоторую лживость её лица; на нём сиял теперь божественный отпечаток чудной женской красоты, смягчённой тенями ночи и облагороженной сном, похожим на смерть. Я смотрел на это лицо, и сердце моё рвалось к ней. Казалось, я ещё больше любил её за всю глубину моего падения, за все ужасы, которые мы пережили вместе.

Моё сердце, усталое и истерзанное страхом и сознанием своей виновности, в ней одной жаждало найти покоя — кроме неё, у меня ничего не осталось на свете. Она поклялась, что коронует меня и, обладая сокровищем, мы освободим Египет от врагов, сделав его свободной и сильной страной! Всё пойдёт хорошо. О, если бы я мог знать будущее, если бы мог предвидеть, где и при каких обстоятельствах ещё раз эта прекрасная женская голова будет лежать на моих коленях, бледная и с отпечатком смерти. Ах, если бы я знал это!

Я грел руку Клеопатры в своих руках, потом наклонился и поцеловал её в губы. От моего поцелуя она очнулась, и лёгкая дрожь пробежала по её нежным членам. Красавица устремила на меня свои широко раскрытые глаза.

— А, это ты! — сказала она. — Я помню, знаю, ты спас меня и увёл из этого ужасного места!

Она обвила мою шею руками и нежно поцеловала.

— Пойдём, любовь моя, — сказала она, — пойдём отсюда! Я хочу пить и так страшно устала! Камни жгут мне грудь. Никогда богатство не доставалось с таким трудом! Пойдём, покинем тень и мрак этого страшного места! Посмотри, слабый отблеск зари догорает на крыльях ночи! Как красив он, как приятно смотреть на него! Там, в обителях вечной ночи, я не смела и думать, что снова увижу зарю! О, мне страшно вспомнить лицо мёртвого евнуха и это чудовище на его подбородке! Подумай! Там он остался сидеть навсегда и с этим ужасным существом! Пойдём! Где бы нам найти воды? Я отдала бы целый изумруд за чашку воды!

— Это близко, — отвечал я, — у канала, близ храма Горемку. Если кто-нибудь увидит нас, то

подумает, что мы пилигримы, заблудившиеся ночью среди могил. Закутайся плотнее, Клеопатра.

Клеопатра закрылась; я посадил её на осла, который оставался под рукой. Мы тихо двигались по равнине, пока не достигли места, где символ бога Горемку^[93] в виде могучего сфинкса (греки называют его Гармахис), увенчанный короной Египта, величественно смотрит на страну, устремив взор на восток.

Первый луч восходящего солнца засиял в туманном воздухе и скользнул по губам бога Горемку — это заря послала свой приветственный поцелуй богу света! Яркие лучи собрались, заиграли на блестящих боках двадцати пирамид и, словно бросая вызов жизни, разлились потоком по порталам десяти тысяч гробниц. Песок пустыни превратился в золотую сияющую реку. Солнечный свет прогнал мрак ночи и блестящими искрами рассыпался по зелени полей, по косматым верхушкам пальм. На горизонте проснулся царственный Ра и поднялся во всём своём великолепии. Настал день.

Пройдя храм, посвящённый величию Горемку, выстроенный из гранита и алебаstra, мы спустились к берегам канала. Тут напилась воды, и эта мутная вода показалась нам слаще самых избранных, тонких вин Александрии. Тут же мы смыли пыль и грязь с рук и лица и почистились. Пока Клеопатра мыла себе шею, склонясь над водой, один из больших изумрудов выскользнул из-под её одежды и упал в канал. По счастью, я нашёл его в прибрежной грязи. Снова посадил я Клеопатру на осла, и медленно мы направились обратно, к берегам Сигора, где нас ждала лодка.

Добравшись до Сигора, мы не встретили никого, кроме нескольких поселян, идущих на работу. Я направил осла обратно в поле, где мы его нашли, потом сели в лодку и разбудили наших спящих людей, приказав им грести.

Про евнуха мы сказали им, что оставили его позади, — и это была правда! Мы поплыли, бережно спрятав наши камни и золотые украшения. Дул противный ветер; больше четырёх дней плыли мы в Александрию. О, какие это были счастливые дни! Сначала Клеопатра, действительно, была молчалива и задумчива, казалось, она потеряла всю свою весёлость в недрах пирамид. Но скоро её дарственный дух проснулся и загорелся в её груди. Она снова стала прежней Клеопатрой. То весела, то задумчива, то нежна, то холодна, царственна или проста — она менялась, как ветер в небесах, — глубокая, прекрасная и загадочная, как эти небеса!

Ночь за ночью, все эти четыре чудные ночи — последние часы, которые я провёл с нею, — мы сидели рука об руку на палубе, слушали, как плескалась вода о бока нашего судна, любовались нежным сиянием месяца, серебрившим глубокие воды Нила. Мы сидели, говорили о любви, о нашей свободе, о том, что мы будем делать! Я развивал ей планы войны и защиты против римлян, так как мы имели теперь средства на это. Она одобряла мои планы, нежно говоря, что всё, что мне нравится, нравится ей. Время проходило в сладком забытьи. О, эти ночи на Ниле! Память о них преследует меня и теперь. В моих глазах я вижу, как дробится и искрится на воде сияние месяца, слышу любовный шёпот Клеопатры, сливающийся с рокотом воды! Умерли эти незабвенные ночи, свет месяца, воды, нежно колыхавшие нас, потерялись в великом солёном море! Там, где звучали наши поцелуи, будут целоваться другие уста, ещё не рождённые! Как прекрасны были обеты, увядшие и истлевшие, подобно бесплодному цветку! Как ужасно было их выполнение!

Конец всему — во мраке и во прахе! Кто сеет в безумии, пожинает в скорби! О, эти ночи на Ниле!

Наконец мы стояли перед ненавистными стенами дворца. Мой сон кончился.

— Где это ты путешествовал с Клеопатрой? — спросила меня Хармиона, когда я случайно встретил её в этот день. — Ещё новая измена? Или это была любовная прогулка?

— Я ездил с Клеопатрой по тайному государственному делу! — сурово ответил я.

— Вот как! Кто уходит тайно, уходит не с добром, только нечистая птица любит летать по ночам. Но ты мудр, Гармахис, тебе неловко открыто показываться в Египте!

Я чувствовал, что гнев кипит во мне, что я не в силах выносить издевательства красивой девушки.

— Неужели ты не можешь сказать слова без яда? — спросил я. — Знай же, что мы были там, куда ты не осмелишься пойти, — мы ездили, чтобы достать средства для защиты Египта от когтей Антония!

— Безумный человек! — отвечала она, скользнув по мне взглядом. — Ты лучше поберег бы свои труды, Антоний захватит Египет помимо тебя. Какую власть имеешь ты теперь в Египте?

— Он может сделать это помимо меня, но не Клеопатры! — сказал я.

— Он сделает это с помощью Клеопатры, — отвечала она с горькой усмешкой, — царица поедет в Таре и наверное привезёт сюда, в Александрию, этого грубого Антония побеждённым, таким же рабом, как ты!

— Это ложь! Я говорю тебе, что это ложь! Клеопатра не поедет в Таре, и Антоний не будет в Александрии; а если и приедет, то затем, чтобы объявить войну.

— Ты так думаешь? — возразила она с лёгким смехом. — Думай так, если тебе нравится. Через три дня ты всё узнаешь! Приятно видеть, как легко тебя одурачить! Прощай! Иди, мечтай о любви, ведь любовь сладка!

Она ушла, оставив меня с тоской и смятением на сердце.

В этот день я не видел Клеопатры, но на следующий же день встретился с ней. Она была в дурном расположении духа и не нашла доброго слова для меня. Я заговорил с ней о защите Египта, но она не хотела толковать о деле.

— А когда Деллий получит свой ответ? — сказал я. — Знаешь ли ты, что вчера Хармиона, которую зовут во дворце «хранительницей тайн царицы», — Хармиона поклялась, что ответ твой будет таков: «Иди с миром, я приеду к Антонию».

— Хармиона не знает моих мыслей, — возразила Клеопатра, топнув гневно ногой, — если же она болтает так смело, то её надо прогнать от двора, хотя, правду говоря, в её маленькой головке больше мудрости и ума, чем у всех моих советников! Знаешь ли ты, что я продала часть камней богатым александрийским евреям за большую цену, по пяти тысяч сестерций за каждый камень! Это не много, по правде говоря, но они не могли дать больше. Любопытно было посмотреть на них, когда они увидели изумруды: от жадности и удивления их глаза сделались круглыми, как яблоки. А теперь оставь меня, Гармахис, я устала. Воспоминание об этой ужасной ночи давит меня!

Я поклонился и встал, чтобы уйти, но остановился.

— Прости меня, Клеопатра, что же наша свадьба?

— Наша свадьба? Разве мы не обвенчаны? — спросила она.

— Перед целым миром ещё нет! Ты обещала мне!

— Да, Гармахис, я обещала, и завтра, когда я отделаюсь от Деллия, сдержу своё обещание, назову тебя господином Клеопатры перед всем двором. Ты будешь на своём месте! Доволен ли ты?

Она протянула мне руку для поцелуя, смотря на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушёл. Ночью я ещё раз пытался увидеть Клеопатру, но напрасно.

— Госпожа Хармиона у царицы! — сказал мне евнух, и никто не смел войти.

На другой день двор собрался в большом зале за час до полудня, и я с трепещущим сердцем пошёл

туда, чтобы услышать ответ Клеопатры Деллию и дожидаться счастливой минуты, когда Клеопатра назовёт меня своим супругом и царём. Двор был многочисленный и блестящий. Тут были советники, сановники, военачальники, евнухи, придворные дамы — все, кроме Хармионы.

Прошёл час, а Клеопатры и Хармионы всё ещё не было. Наконец Хармиона тихо вошла боковым входом «и заняла своё место около трона, среди придворных дам. Она быстро взглянула на меня, и в её глазах сияло торжество, хотя я не знал, чему она радовалась. Мне и невдомёк было, что тогда она подготовила мою гибель и решила судьбу Египта.

Зазвучали трубы, и одетая в царское одеяние, с головой, увенчанной уреусом, с огромным блестящим изумрудом, сиявшим, как звезда, на её груди, тем самым, вынутым из груди мёртвого фараона, Клеопатра взошла на трон в сопровождении свиты северян. Её прелестное лицо было мрачно, мрачно горели её глаза, и никто не мог разгадать их выражения, хотя весь двор не сводил с неё глаз. Она медленно села, как будто ей больше не хотелось двигаться, и сказала по-гречески начальнику герольдов:

— Ожидает ли посол благородного Антония?

Герольд низко поклонился и ответил утвердительно.

— Пусть он войдёт и выслушает наш ответ!

Двери широко распахнулись, и, сопровождаемый воинами, вошёл Деллий, одетый в пурпурный плащ. Кошачьими, мягкими шагами прошёл он зал и преклонил колена перед тронном.

— Прекраснейшая царица Египта! — начал он своим вкрадчивым голосом. — Ты милостиво приказала мне, слуге твоему, явиться за ответом на письмо благородного Антония-триумвира, к которому я отплыву завтра в Таре. Я хочу сказать тебе, царица Египта, — прости мне смелость слов моих, — обдумай хорошенько, прежде чем слова сорвутся с твоих нежных уст. Оттолкнёшь Антония — и Антоний разобьёт тебя! Подобно твоей матери Афродите, восстань перед ним, сияющая красотой, из кипрских волн, и вместо гибели он даст тебе всё, что дорого царственной женщине: империю, блеск, власть над городами и людьми, славу, богатство и царскую корону. Заметь: Антоний держит весь Восток на ладони своей воинственной руки, по его воле назначаются цари, по его воле они кончают своё существование!

Он наклонил голову, сложил руки на груди и ждал ответа.

Некоторое время Клеопатра молчала и сидела мрачная и загадочная, как сфинкс, блуждая глазами по залу. Наконец, словно нежная музыка, зазвучал её ответ. Дрожа, я ожидал вызова Египта гордому Риму.

— Благородный Деллий, мы много думали о посольстве великого Антония к нашему бедному Египетскому царству. Мы серьёзно обдумали ответ согласно совету оракулов мудрости наших советников и побуждению нашего сердца, которое, подобно птице в гнезде, вечно печётся о благе народа нашего. Резки слова, которые ты принёс нам из-за моря. Они годятся более для ушей какого-нибудь маленького князька, чем царицы Египта. Мы пересчитали легионы, которые можем собрать, триремы и галеры, которые можем спустить в море, сокровища, которые можем употребить на издержки войны, и нашли, что хотя Антоний силён, но Египту нечего бояться сил Антония!

Она замолчала, и ропот одобрения её гордым словам пронёсся по залу. Один Деллий простёр свою руку, словно желая отразить удар. Потом последовал конец! И какой!

— Благородный Деллий! Мы решились остановить нашу речь на половине, хотя, сильные нашими каменными крепостями, сердцами наших подданных, не нуждаемся в защите. Мы невинны в тех обвинениях, что дошли до ушей благородного Антония, которые он грубо бросил в лицо. Мы не поедem в Киликию, чтобы отвечать ему!

Снова ропот пронёсся в большом зале, и сердце моё забилося торжеством.

Последовало молчание, затем Деллий сказал:

— О, царица Египта, так я должен передать Антонию слово войны?

— Нет, — отвечала она, — слово мира. Выслушай. Мы сказали, что не поедем отвечать на обвинения, но, — и она в первый раз улыбнулась, — но мы с удовольствием поедем к нему, чтобы нашей царственной дружбой закрепить наш союз и мир на берегах Кидна!

Я слушал, совершенно поражённый. Верно ли я понял? Так-то Клеопатра держит свои клятвы! Взволнованный до потери рассудка, я крикнул:

— О, царица, вспомни!

Она обернулась ко мне, как львица, с горящими глазами, с дрожью в прекрасном голосе.

— Молчи, раб! Кто позволил тебе вмешиваться в наши слова?! Думай о своих звёздах и оставь мирские дела властелинам мира!

Я отошёл пристыженный и видел торжествующую улыбку на лице Хармионы вместе с состраданием ко мне.

— Теперь, когда этот хмурый шарлатан получил то, что заслуживает, — сказал Деллий, указывая на меня своим украшенным перстнями пальцем, — позволь мне, царица Египта, поблагодарить тебя от всего сердца за твои милостивые слова...

— Нам не нужно твоей благодарности, благородный Деллий, не тебе надлежит бранить наших слуг, — прервала его Клеопатра, нахмурившись, — мы услышим благодарность из уст Антония! Отправляйся к твоему господину и скажи, что, прежде чем он приготовит нам надлежащий приём, наши корабли последуют за твоим! Теперь прощай! На своём корабле ты найдёшь ничтожный дар нашей милости!

Деллий три раза поклонился и ушёл. Двор ожидал слова царицы. А я ждал, исполнит ли она своё обещание и назовёт меня своим царственным господином и супругом перед лицом всего Египта? Но она ничего не сказала. Тяжело нахмурившись, она встала и в сопровождении стражи сошла с трона, пройдя в алебастровый зал. Двор начал расходиться. Советники и сановники уходили, насмешливо посматривая на меня. Хотя никто не знал моей тайны и того, что было между мной и Клеопатрой, но все завидовали вниманию, которое оказывали мне царица, и радовались моему уничтожению. Но я, не обращая внимания на их насмешки, стоял, поражённый горем, чувствуя, что все мои надежды разлетелись в прах.

XIII

Упрёки Гармахиса

Борьба Гармахиса с стражами

Удар Бренна

Тайные речи Клеопатры.

Наконец все ушли; я повернулся, чтобы тоже идти к себе, как евнух, грубо ударив меня по плечу, передал, что царица ожидает меня. Час тому назад негодяй рабски ползал у моих ног, теперь же слышал всё и — такова скотская природа рабов — смотрел на меня, как смотрит мир на падшего, униженного человека. Низко упасть с большой высоты — значит, вынести стыд и позор.

Я повернулся к рабу и так взглянул на него, что он, как трусливая собака, отскочил назад, потом прошёл в алебастровый зал и был пропущен стражей. В центре зала, около фонтана, сидела Клеопатра в обществе Хармионы, гречанок Иры и Мериры и других придворных дам.

— Уйдите, — сказала она им, — я хочу поговорить с моим астрологом!

Те ушли, оставив нас с глазу на глаз.

— Встань там, — произнесла Клеопатра, поднимая глаза, — не подходи близко, Гармахис, я не доверяю тебе! Может быть, у тебя есть другой кинжал! Что скажешь? По какому праву вмешался ты в мой разговор с римлянином?

Я чувствовал, как кровь закипела во мне, горечь и гнев наполнили моё сердце.

— Что ты скажешь, Клеопатра? — спросил я смело. — Где твой обет, твои клятвы на мёртвой груди Менкау-ра, вечно живущего? Где вызов римлянину Антонию? Где твоя клятва, что ты назовёшь меня супругом, перед лицом Египта?

Я сдержался и замолчал.

— И это говорит Гармахис, который никогда не нарушал клятв! — произнесла Клеопатра с горькой насмешкой. — О, ты, чистейший жрец Изиды! Ты, вернейший друг, никогда не обманывавший своих друзей, ты, твёрдый, честный и благороднейший человек, никогда не променявший своего права рождения, своей страны и своего дела ради мимолётного каприза женской любви! Почему ты знаешь, что я нарушила своё слово?

— Я не хочу отвечать на твои упрёки, Клеопатра, — сказал я, сдерживаясь, насколько у меня было сил, — хотя заслужил их, но не от тебя! Значит, верно всё, что я знаю. Ты поедешь к Антонию! Ты поедешь, как сказал римский негодяй, прельщать его, пировать с тем, кто должен быть брошен коршунам. Быть

может, ты промотаешь все сокровища, взятые из тела Менкау-ра и накопленные им для нужд Египта, истратишь их на оргии и доверишь этим позор Египта! Я знаю теперь, что ты вероломна и что я, горячо любивший тебя и веривший тебе, кругом обманут. Вчера ночью ты клялась короновать меня и венчаться со мной, а сегодня засыпаешь меня упрёками, открыто унижаешь и позоришь меня перед римлянином?

— Короновать тебя? Разве я клялась короновать Тебя?

— А брак?

— Что такое брак? Союз сердец, нежный, прекрасный, связывающий души воедино, когда они парят в грёзах страсти и тают, как роса в лучах зари! Или это железные, насильственные узы, которые согревают людей до того, что, если один падает, другой должен неизбежно погибнуть под гнетом обстоятельств, как наказанный раб? Брак! Мне выйти замуж! Мне — променяв свободу на тяжёлое рабство своего пола, придуманное корыстной волей мужчины! Это рабство приковывает нас часто к ненавистному ложу, заставляет нести обязанности, часто уже не освещённые любовью. О, какая польза быть царицей, если нельзя избежать ужаса обыкновенной женской участи! Заметь, Гармахис: женщина, вырастая, боится двух зол: смерти и брака, из них двух брак ужаснее. В смерти мы находим покой, а в браке — ад! Нет, я стою выше пошлой клеветы, готовой порицать истинную добродетель, не способную связать себя насильственными узами, — я люблю, Гармахис, но не выхожу замуж!

— Вчера ночью, Клеопатра, ты клялась, что коронуешь меня и назовёшь супругом перед лицом всего Египта!

— Вчера ночью, Гармахис, красное кольцо вокруг месяца предвещало бурю, а сегодня — прекрасная погода! Но кто знает, не нашла ли я лучшее средство, чтобы спасти Египет от римлян? Почему знать, Гармахис, не назовёшь ли ты меня своей супругой?

Я не мог выносить более этой фальши, видя, как она играет мной, высказал ей всё, что было у меня на сердце. — Клеопатра! — вскричал я. — Ты клялась защищать Египет, а предаёшь его в руки римлян! Ты поклялась употребить сокровища, которые, я открыл тебе, на нужды Египта, а готова истратить их на позор ему — на оковы, в которые закуют его руки! Ты поклялась обвенчаться со мной, который любит тебя, всем пожертвовал ради тебя, а ты смеёшься и отталкиваешь меня! Я говорю тебе, именем грозных богов, говорю тебе, на тебя падёт проклятие Менкау-ра, которого ты ограбила! Пусти меня отсюда, и пусть свершится судьба моя! Пусти меня уйти, о, ты, прекрасная блудница! Ты — воплощённая ложь! Ты, кого я полюбил на свою погибель, кто низвёл на меня вечное проклятие и осуждение! Отпусти меня, чтобы я мог скрыться и не видеть более лица твоего!

Она встала, гневная и злобная. На неё страшно было смотреть!

— Отпусти тебя, чтобы ты злоумышлял против меня! Нет, Гармахис, ты не будешь более устраивать заговоры против моего трона! Я говорю тебе, что ты поедешь со мной к Антонию, в Киликию, а там, быть может, я отпущу тебя!

И прежде чем я мог ответить, она позвонила в серебряный колокольчик, висевший около неё. Не успел ещё звук его замереть вдали, как в одну дверь вошла Хармиона и с ней придворная дама, в другую — отряд солдат; четверо из них были телохранители царицы — сильные люди в крылатых шлемах, с длинными прекрасными волосами.

— Схватить изменника! — крикнула Клеопатра, указывая на меня.

Начальник телохранителей — это был Бренн — поклонился и направился ко мне с обнажённым мечом.

В отчаянии, доходящем до безумия, не заботясь о том, что буду убит, я схватил его за горло и нанёс

ему такой удар, что сильный, человек упал навзничь и его кольчуга зазвенела о мраморный пол. Когда он упал, я схватил его меч и щит и отразил удар другого стража, бросившегося было на меня. Затем в ответ я ударил его мечом в то место, где шея соединяется с плечами, и убил его. С подогнутыми коленями он упал мёртвый. Третьего я убил, прежде чем он ударил меня. Наконец, последний кинулся на меня с страшным криком. Кровь моя горела. Женщины испуганно закричали, только Клеопатра стояла, молча наблюдая неравный бой. Мы сцепились. Я ударил противника из всей силы, и это был могучий удар — меч, ударившись о железный щит, разлетелся вдребезги, оставив меня безоружным. С торжествующим криком мой противник поднял меч над моей головой, но я отравил удар щитом. Он снова поднял меч, но я снова отпарировал удар. В третий раз, когда он поднял меч, я с криком бросил свой щит ему в лицо. Отскочив от его щита, он сильно ударил его в грудь. Воин зашатался. Я обхватил его вокруг тела и повалил. С минуту этот высокий человек и я яростно боролись, потом — так велика была тогда моя сила! — я поднял его, как пёрышко, и бросил на мраморный пол с такой силой, что кости его разбились, и он замолчал.

Но я не удержался и упал на него. Тогда Бренн, которого я оглушил ударом, к тому времени уже успевший очнуться, подошёл ко мне сзади и ударил меня по голове мечом одного из убитых мной стражников.

Я лежал на полу, и это ослабило силу удара, мои густые пышные волосы и вышитая шапочка на голове несколько смягчили его, так что я был тяжело ранен, но жив, хотя бороться более не мог.

В это время евнухи, собравшиеся на шум, сбились в кучу, как стадо трусливых баранов, и смотрели на борьбу. Увидя меня лежащим на полу, они бросились ко мне, чтобы зарезать меня своими кинжалами. Бренн, выжидая, стоял около меня. Евнухи, наверное, убили бы меня, так как Клеопатра стояла, словно во сне, не двигаясь с места. Уже голова моя была загнута назад, и острие ножа коснулось моего горла, как вдруг Хармиона с криком: «Собаки!» — кинулась между ними и мной и загородила меня своим телом. В то же время Бренн с ругательством схватил двух из них и отбросил в сторону.

— Пощади его жизнь, царица! — закричал он на своём варварском языке. — Клянусь Юпитером, это храбрый человек! Безоружный, один, он свалил меня, как быка, и прикончил трёх моих молодцов! Я ценю такого храбреца! Будь милостива, царица, пощади его жизнь и отдай его мне!

— Пощади, пощади его! — вскричала Хармиона, вся бледная и дрожащая.

Клеопатра подошла ближе и посмотрела на меня, лежавшего на полу, меня, который был ей возлюбленным два дня тому назад, чья израненная голова лежала на белом платье Хармионы!

Глаза мои встретились с глазами Клеопатры. «Не щади! — прошептал я. — Горе побеждённым!»

Краска разлилась по её лицу — быть может, это была краска стыда!

— После всего ты всё ещё любишь этого человека, Хармиона? — спросила она с лёгкой усмешкой. — Ты решила закрыть его своим нежным телом от ножей этих бесполок собак? — Она бросила гневный взгляд на евнухов.

— О нет, царица, — гордо отвечала девушка, — но я не могла вынести, чтобы такой добрый и храбрый человек был убит этими...

— Да, — возразила Клеопатра, — он храбрый человек и отчаянно боролся. Я никогда не видела такой жестокой борьбы, даже в Риме, на игрищах. Хорошо, я пощажу его жизнь, хотя это слабость с моей стороны, женская слабость! Отнесите больного в его комнату и охраняйте, пока он выздоровеет или умрёт!

Мозг мой горел, меня охватила сильная слабость, и я потерял сознание.

Видения, видения, видения, бесконечные, вечно меняющиеся! Мне казалось, я целые годы носился в море агонии! Словно сквозь туман я видел нежное лицо черноглазой женщины, чувствовал прикосновение

белой руки, ласково успокаивающей меня! Как видение, склонялось временами царственное лицо над моим колеблющимся ложем... я не мог уловить его, но его красота проникала во всё моё существо и составляла часть меня самого... Видения моего детства, древнего храма в Абуфисе, седовласого Аменемхата, моего отца — они теснились в моём мозгу... Я видел ужасную обитель в Аменти, маленький алтарь и духов, облачённых в пламя!

Я блуждал там постоянно, призывая священную мать, и призывал напрасно! Облако не спускалось на алтарь, и только время от времени страшный голос звенел: «Вычеркните имя Гармахиса, сына земли, из живой книги той, которая была, есть и будет! Потерян! Потерян! Потерян!» Другой голос отвечал: «Нет ещё, нет ещё! Раскаяние близко. Не вычёркивайте имени Гармахиса, сына земли, из живой книги той, которая была, есть и будет! Страданием грех может омыться!»

Я очнулся в своей комнате, в башне дворца. Я был так слаб, что не мог пошевелить рукой. Жизнь, казалось, трепетала в моей груди, как трепещет умирающий голубь. Я не мог повернуть головы, пошевелиться, но в сердце было ощущение покоя и сознания, что мрачное горе прошло. Свет лампы беспокоил меня. Я закрыл глаза и вдруг услышал шелест женской одежды и лёгкие шаги по лестнице. О, я хорошо знал эти шаги! То была Клеопатра!

Она вошла. Я чувствовал её присутствие. Каждый нерв моего больного тела бился ей в ответ, вся могучая любовь и ненависть к ней поднялись из мрака моего, подобно смерти или тяжёлому сну, и раздирали моё сердце, и боролись в нём. Она наклонилась надо мной, её ароматное дыхание коснулось моего лица, я мог слышать биение её сердца. Ещё ниже нагнулась она, и губы её нежно прикоснулись к моему лбу.

— Бедный человек! — слышал я её шёпот. — Бедный, слабый, умирающий человек! Судьба жестоко обошлась с тобой! Ты был слишком хорош, чтобы быть игрушкой такой женщины, как я, — пешкой, которой я могу двигать, как хочу, в моей политической игре. Ах, Гармахис, зачем ты не выиграл игры? Твои заговорщики-жрецы многому научили тебя, но не дали тебе знания людей, не научили бороться против требований природы! Ты любил меня всем сердцем! Ах, я хорошо это знаю! Мужественный человек! Ты любил эти глаза, которые, подобно огонькам пиратов, влекли тебя к гибели, ты обожал эти уста, которые разбили твоё сердце, назвав тебя рабом! Да, игра была хороша, ты мог убить меня, и всё-таки мне очень грустно! Ты умираешь! Это моё последнее прости тебе! Никогда не встретимся мы на земле; быть может, это хорошо, ибо, кто знает, что сделала бы я с тобой, когда час моей нежности пройдёт! Ты умрёшь — так говорят они, те учёные, длиннолицые дураки, — но если они допустят тебя умереть, как жестоко поплатятся они за это! Где встретимся мы снова, когда мой жребий будет брошен? В царстве Озириса мы будем все равны. Скоро, через несколько лет, может быть, завтра, мы снова встретимся! Зная, какая я, как будешь ты приветствовать меня? Нет, здесь и там ты будешь также молиться на меня! О, как бы я хотела любить тебя так, как ты полюбил меня! Я почти любила тебя, когда ты убил моих стражей, но не так! Не совсем! О, как бы желала я уйти от моего царственного одиночества и затеряться в другой душе! На год, на месяц, на один час желала бы я совершенно забыть политику, народ, пышность моего трона и быть просто любящей женщиной! Прощай, Гармахис! Иди к великому Юлию, к которому смерть призывает тебя раньше меня, и приветствуй его от всего Египта! Да, я дурачила тебя, дурачила Цезаря — быть может, судьба найдёт меня, и я сама буду одурочена! Гармахис, прощай, прощай!

Она повернулась, чтобы уйти, как я снова услышал шелест женского платья и шаги женщины. То была Хармиона.

— А, это ты, Хармиона! Несмотря на все твои заботы, он умирает!

— Ах, — отвечала Хармиона грустно, — я знаю, царица. Так говорят врачи. Сорок часов лежал он в таком глубоком обмороке, что его дыхание едва поднимало маленькое пёрышко! Прислонив ухо к его

грудь, я не могла уловить едва слышного дыхания! Вот уже десять долгих дней, как я неустанно хожу за ним, сижу около него день и ночь; глаза мои слипаются от сна, я едва могу держаться на ногах от слабости. И вот награда моих трудов! Трусливый удар проклятого Бренна сделал своё дело. Гармахис умирает!

— Любовь не считает трудов, Хармиона, не взвешивает своей нежности на весах, она отдаёт всё, всё, что имеет, пока не иссякнет сила духа! Тебе дороги эти тяжёлые, бессонные ночи! Твои усталые глаза с любовью покоятся на этом зрелище великой, погибшей силы! Он ищет покоя теперь у твоей слабости, как дитя у материнской груди! Ты любишь, Хармиона, этого человека, который тебя не любит, и теперь, когда он беспомощен, ты можешь излить твою страсть в непроглядный мрак его души и мечтать о том, что может случиться ещё впереди.

— Я не люблю его, царица, как ты думаешь, — как я могу любить того, кто хотел убить тебя, сестру моего сердца?!

Клеопатра тихо засмеялась.

— Жалость — двойник любви, Хармиона! Но как своенравна женская любовь! Ты достаточно доказала это твоей любовью! Бедная женщина! Ты игрушка своей страсти! Сегодня нежная, как ясное утреннее небо, завтра, когда ревность запустит когти в твоё сердце, ты — жестока, как бурное море. Да, все мы безумны. Скоро после всех этих волнений ничего не останется тебе, кроме слёз, угрызений и воспоминаний.

Она быстро ушла.

XIV

Нежная заботливость Хармионы

Выздоровление Гармахиса

Флот Клеопатры отплывает в Киликию. Разговор Бренна с Гармахисом

Клеопатра ушла, я лежал молча, собираясь с силами, чтобы заговорить.

Хармиона стояла надо мной. Вдруг я почувствовал, что крупная слеза упала из её тёмных глаз на моё лицо. Так падает первая тяжёлая капля дождя из набежавшей тучки.

— Ты умираешь, — прошептала она, — ты уходишь туда, куда я не могу последовать за тобой. О, Гармахис, как охотно отдала бы я мою жизнь за тебя!

Я открыл глаза и сказал громко, насколько мог:

— Удержи твою скорбь, дорогой друг, я жив ещё и, по правде, чувствую, как новая жизнь загорается в моей груди!

Хармиона радостно вскрикнула. Я никогда не видел столь прекрасным её изменившееся, омоченное слезами лицо.

— Ты жив! — вскричала она, бросаясь на колени перед моим ложем. — Ты жив! А я думала, что ты умер! Ты вернулся ко мне! Что я говорю? Как безумно сердце женщины! Всё это — бессонные ночи! Нет, спи и отдыхай, Гармахис! Что ты хочешь сказать? Ни одного слова более, я строго приказываю тебе! Где же питье, оставленное тебе этим длиннородым дураком? Нет, тебе не нужно питья! Спи, Гармахис, спи!

Она прижалась ко мне и, положив свою холодную руку на мой лоб, шептала: спи, спи!

Когда я проснулся, Хармиона была около меня, хотя рассвет пробирался уже в моё окно. Она всё ещё стояла на коленях, одна её рука лежала на моём лбу, голова с беспорядочно распутившимися локонами покоилась на другой протянутой руке.

— Хармиона, — прошептал я, — я спал?

Она сейчас же проснулась и смотрела на меня нежными глазами.

— Да, ты спал, Гармахис!

— Долго я спал?

— Девять часов!

— И ты стояла тут, рядом со мной, все эти девять часов?

— Это ничего. Я тоже уснула — я боялась разбудить тебя, если пошевелюсь!

— Иди, отдыхай, — сказал я, — мне стыдно подумать, как ты измучена! Иди же, отдохни, Хармиона!

— Не беспокойся! — отвечала она. — Я прикажу рабу позаботиться о тебе и разбудить меня, если понадобится, я сплю рядом, тут, в комнате. Успокойся, я иду!

Она хотела встать, но от слабости упала навзничь на пол.

Я не могу выразить, какое чувство стыда охватило меня, когда я увидел её на полу! А я не мог пошевелиться, чтобы помочь ей!

— Ничего, — сказала она, — не двигайся, у меня просто подвернулась нога! — Она встала и снова упала. — Проклятая неловкость! Да, мне надо выспаться. Тебе лучше теперь. Я пошлю раба! — И она ушла, пошатываясь, как пьяная.

После этого я заснул ещё, а когда проснулся после полудня, то попросил есть. Хармиона принесла мне, и я поел.

— Так я не умираю! — сказал я.

— Нет, — отвечала она, кивнув головой, — ты будешь жить! По правде, я истратила всю мою жалость на тебя!

— И твоя жалость спасла мне жизнь! — сказал я уныло, припомнив всё.

— Это пустяки! — отвечала Хармиона сухо. — Ты мой двоюродный брат, потом я люблю ухаживать — это обязанности женщины! Я сделала бы то же и для больного раба! Ну, теперь опасность прошла, и я покидаю тебя!

— Ты лучше бы сделала, если бы дала мне умереть, Хармиона, — сказал я, помолчав, — жизнь для меня теперь сплошной позор! Скажи мне, когда поедет Клеопатра в Киликию?

— Через двенадцать дней она отплывёт с таким блеском и роскошью, каких Египет никогда не видал! Право, я не могу даже понять, где она нашла средства для такой роскоши. Словно хлебопашец собрал ей золотую жатву!

Но я, очень хорошо зная, откуда взялось богатство, горько вздохнул.

— Ты поедешь с ней, Хармиона?

— Да, я и весь двор. Ты также поедешь!

— Я поеду! Зачем это нужно?

— Потому, что ты раб Клеопатры и должен следовать в золотых цепях за её колесницей, потому что она боится оставить тебя здесь, в Кеми, потому что она так хочет, — и всё тут!

— Хармиона, не могу ли я бежать?

— Бежать тебе, бедный, больной человек? Как можешь ты бежать? Теперь тебя будут сторожить ещё тщательнее. Если даже ты убежишь, куда пойдёшь ты? В Египте нет ни одного честного человека, который не плюнул бы на тебя с презрением!

Ещё раз я мысленно застонал и, так как был слаб, почувствовал, что слёзы потекли по моим щекам.

— Не плачь! — сказала она поспешно, отвернувшись. — Будь мужчиной и презирай все эти горести! Ты пожинаешь то, что посеял. Но после жатвы вода поднимается и смывает гниющие корни, и снова почва годна для нового посева!

Может быть, там, в Киликии, найдётся возможность бежать, когда ты будешь сильнее, если ты

можешь прожить вдали от улыбки Клеопатры! Где-нибудь в далёкой стране, где ты будешь жить, всё это понемногу забудется. Теперь дело моё кончено, прощай! Иногда я буду навещать тебя, чтобы посмотреть, не нуждаешься ли ты в чём! Прощай!

Она ушла. С этой минуты за мной стали искусно ухаживать врач и две женщины-невольницы.

Рана моя заживала, силы возвращались сначала медленно, потом всё быстрее. Через четыре дня я встал с ложа, а ещё через три мог уже гулять по часу в дворцовом саду. Прошла ещё неделя, я мог уже читать и думать, хотя не появлялся при дворе. Наконец однажды после полудня Хармиона передала мне приказание готовиться в путь, так как через два дня наш флот должен был отплыть сначала в Сирию, в Иссский залив, а потом в Киликию.

В назначенный день меня снесли на маленьких носилках в лодку, и вместе с воином, который ранил меня, с военачальником Бренном и его отрядом (в сущности, их приставили сторожить меня) мы подплыли к кораблю, который стоял на якоре вместе с остальным флотом. Клеопатра собиралась в путешествие с большой пышностью, в сопровождении целого флота. Её галера, выстроенная, подобно дому, из кедрового ореха, обитая внутри шёлком, была великолепна. Я никогда не видал ничего богаче и роскошнее. По счастью для меня, я не был на этом корабле и не видел Клеопатры и Хармионы, пока мы не пристали к устью реки Кидна.

Подали сигнал. Флот отплыл. С попутным ветром мы прибыли в Ионну вечером на другой день. Затем начался противный ветер, мы медленно плыли к Сирии, миновав Цезарию, Птоломею, Тир, Бейрут, прошли Ливан с его белым челом, увенчанным высокими кедрами, Гераклею и через Иссский залив вошли в устье Кидна. Во время путешествия свежее дыхание моря возвратило мне здоровье, так что скоро, кроме белого шрама на голове, ничто не напоминало о моей долгой болезни. Однажды ночью, когда мы приближались к Кидну, я и Бренн сидели на палубе. Он нечаянно заметил белый шрам на моей голове, сделанный его мечом, и сейчас же произнёс клятву, призывая своих богов.

— Если бы ты умер, друг, — сказал он, — мне кажется, я никогда не осмелился бы поднять головы и взглянуть в глаза людям. О, это был низкий удар, мне стыдно подумать, что я нанёс его тебе сзади, когда ты лежал на полу! Знаешь ли, пока ты лежал между жизнью и смертью, я каждый день ходил справляться о тебе! Клянусь Таранисом, если бы ты умер, я бросил бы всю эту придворную роскошь и вернулся бы на милый север!

— Не беспокойся, Бренн, — отвечал я. — Ты исполнял свою обязанность!

— Может быть! Но есть обязанности, которых честный человек не может исполнить даже по приказанию царицы, да правит она долго Египтом! Твой удар помутил мой разум, иначе я не ударил бы тебя! Но что такое, друг мой? Ты не в ладах с нашей царицей? Зачем тебя тащат пленником на эту увеселительную прогулку? Знаешь ли, нам сказано, что если ты убежишь от нас, то мы заплатимся жизнью!

— Да, не в ладах, друг, — отвечал я, — не спрашивай меня больше!

— Могу поклясться, что в твои лета... эта женщина не без того... может быть, я груб и глуп, но умею отгадывать. Послушай, дружище! Я устал на службе у Клеопатры, мне надоела эта жаркая страна пустынь и безумной роскоши, что истощает силы человека и опустошает его карманы. Так думают многие другие, которых я знаю! Что ты скажешь? Возьмём один из этих кораблей и уплывём на север! Ты увидишь нашу страну, лучшую, чем Египет, — страну озёр, гор, больших лесов, с сладким запахом сосны. Я найду тебе в жёны девушку — мою собственную племянницу, — высокую, сильную девушку с большими синими глазами, длинными, прекрасными волосами и с такими сильными руками, которые могут сломать тебе ребра, если ей вздумается покрепче приласкать тебя! Что скажешь на это? Забудь всё прошлое, поедем на милый север, и будь моим сыном!

На минуту я задумался, потом печально покачал головой. Меня сильно искушала мысль уйти отсюда, но я знал, что моя судьба в Египте и что я не могу избежать её.

— Этого нельзя, Бренн; я так хотел бы, но прикован цепью судьбы, которую не могу разорвать! Я должен жить и умереть в Египте!

— Как хочешь, друг, — сказал старый воин, — мне хотелось бы поженить тебя в среде моего народа и сделать тебя своим сыном! В конце концов помни, пока я здесь, ты имеешь в Бренне верного друга! Ещё вот что: остерегайся прекрасной царицы, клянусь Таранисом, может наступить час, когда она порешит, что ты знаешь слишком много, и тогда... — Он провёл рукой по горлу. — А теперь спокойной ночи! Чаша вина, а потом спать, потому что завтра дурачества...

(Здесь некоторая часть второго свитка папируса так изломана, что нельзя ничего разобрать. Надо полагать, что она содержит в себе описание путешествия Клеопатры по Кидну в город Таре.)

Для тех, кто находит наслаждение *(с этих слов опять можно разбирать)* в таких видах, наше путешествие представляло много интересного. Корма нашей галеры была покрыта листами чистейшего золота, паруса были сделаны из ярко-красного тирского пурпура, и серебряные весла ударяли по воде в такт музыке. В центре корабля, под золототканым балдахинном, лежала Клеопатра, как римская Венера (вероятно, сама Венера не была прекраснее её) в одежде из тонкого, белого как снег шелка, перетянутого под грудью драгоценным поясом, на котором были выгравированы сцены любви. Около неё стояли маленькие розовые мальчики, выбранные ею за необыкновенную красоту, совсем голые, с крыльями за плечами и луком с колчаном за спиной. Они обмахивали её страусовыми опахалами. На палубе корабля вместо матросов стояли, держа шёлковые снасти, прекраснейшие женщины в одежде Граций и Нереид — вернее, совсем не одетые, прикрытые только своими роскошными волосами. Они пели под звуки арф, в такт ударам весел. Позади ложа Клеопатры с обнажённым мечом стоял Бренн в блестящей золотой кольчуге, в крылатом золотом шлеме. Среди других богато разодетых лиц её свиты находился и я, я — настоящий раб! На корме в жаровнях курились благовония, и их одуряющий аромат клубился над нашими головами, как облако.

Среди этой роскоши, словно в волшебном сне, сопровождаемые целым флотом кораблей, скользили мы по воде к лесистым склонам Тавра, у подножия которого лежит древний город Тарзис. Пока мы ехали, народ собирался на берегах и кричал: «Венера встала из волн морских! Венера идёт посетить Бахуса!» А когда мы приблизились к городу, весь народ — все, кто мог идти или ехать, — тысячами толпились на пристани, с ним явилось всё войско Антония, так что, в конце концов триумвир остался один на своём судейском кресле.

Фальшивый Деллий явился, кланяясь и улыбаясь, и от имени Антония приветствовал «царицу красоты», прося её на пир, приготовленный Антонием.

Она ответила ему гордо и высокомерно:

— Надлежит Антонию прийти к нам, а не нам идти к Антонию! Попроси благородного Антония к нашему бедному столу сегодня ночью, иначе мы будем обедать одни!

Деллий ушёл, кланяясь до земли. Пир был готов. Наконец я увидел Антония. Он пришёл, одетый в пурпуровую одежду, высокий и красивый на вид, в полном расцвете сил, с блестящими синими глазами, вьющимися волосами и строгими чертами греческого типа, мощно сложенный, с царственным видом, с открытым лицом, на котором ясно были написаны его мысли. Только мягкие очертания рта смягчали некоторую суровость его могучего чела. Он явился, сопровождаемый военачальниками, и, когда подошёл

к ложу Клеопатры, остановился в изумлении, смотря на неё широко раскрытыми глазами. Она также серьёзно взглянула на него. Я видел, как кровь переливалась под её тонкой кожей, и муки ревности охватили моё сердце.

Хармиона видела всё из-под своих опущенных ресниц и улыбнулась.

Клеопатра не сказала ни слова, только протянула свою прекрасную руку Антонию для поцелуя. Он также молча взял её руку и поцеловал.

— Смотри, благородный Антоний, — сказала она наконец своим музыкальным голосом, — ты позвал меня, и я пришла!

— Сама Венера пришла ко мне, — отвечал он низкими нотами звучного голоса, всё ещё пристально смотря в её лицо, — я звал женщину, а из глубины моря явилась божественная Венера!

— И нашла бога, который приветствует её на своей земле! — ответила она готовой остротой и засмеялась. — Но довольно любезностей: на земле и Венера чувствует голод! Твою руку, благородный Антоний!

Зазвучали трубы. Клеопатра под руку с Антонием в сопровождении свиты прошла через склонившуюся перед ней толпу на пир...

(Здесь папирус опять изломан.)

XV

Пир Клеопатры

Жемчужина

Слова Гармахиса

Обет любви Клеопатры

На третью ночь пир был снова приготовлен в зале большого дома, отданного в распоряжение Клеопатры и в эту ночь убранного пышнее обыкновенного. Двенадцать мест вокруг стола были вызолочены, а ложа Клеопатры и Антония были сделаны из чистого золота и убраны драгоценными камнями. Посуда подавалась также из золота, осыпанная драгоценными камнями, стены были завешаны пурпуровой тканью с золотом; на полу же, покрытом золотой сеткой, ноги утопали в свежих душистых розах, которые, умирая, как невольники, посылали пирующим своё благоухание. Ещё раз мне было приказано стоять с Хармионой, Ирой и Мерирой позади ложа Клеопатры и, как рабу, выкрикивать проходящие часы. С тяжёлым сердцем исполнял я свою обязанность, но мысленно поклялся, что это в последний раз: я не мог выносить более этого позора. Хотя я не верил словам Хармионы, что Клеопатра готова сделаться любовницей Антония, но не мог терпеть более унижения и мук. Клеопатра не удостаивала меня словом, кроме приказаний, отдаваемых ею мне как рабу, и думаю, её жестокому сердцу доставляло удовольствие мучить меня. И как это могло случиться, что я, фараон, коронованный царь Кемии, стоял среди евнухов и придворных дам позади ложа египетской царицы во время шумного и весёлого пира, когда чаши с вином, опушаемые пирующими, ещё более усиливали их веселье! Антоний сидел, не сводя взора с лица Клеопатры, которая время от времени бросала на него свой блестящий взгляд, и тогда разговор их замирал! Он рассказывал о войне, о своих подвигах; его любовные шутки были непристойны для ушей женщины. Но Клеопатра не оскорблялась, в тон ему она сыпала остротами, рассказывала истории, не менее бесстыдные и неприличные. Наконец роскошное пиршество кончилось. Антоний взглянул на окружающую роскошь.

— Скажи мне, прекраснейшая царица, — произнёс он, — из золота ли состоят пески Нила, что ты можешь каждую ночь расточать сокровища царей на пиры? Откуда это несказанное богатство?

Я вспомнил о гробнице божественного Менкау-ра, священные сокровища которого так нелепо расточались, и взглянул на Клеопатру. Наши глаза встретились. Она прочитала мои мысли и тяжело нахмурилась.

— Это пустяки, благородный Антоний! — ответила она. — В Египте у нас мы знаем тайны, знаем, откуда достать богатства на наши нужды. Скажи, что стоит эта роскошь, это золото, эти яства и вина,

подаваемые нам?

Он поднял глаза и пытался угадать.

— Может быть, тысячу сестерций!

— Ты сказал наполовину меньше, благородный Антоний! Всё это я даю тебе и тем, кто с тобой, в доказательство моей дружбы. Я покажу тебе более этого: сейчас я сама съем и выпью 10000 сестерций одним глотком.

— Не может быть, прекрасная египтянка!

Она засмеялась и приказала рабу подать ей стакан белого уксуса. Когда уксус был принесён, Клеопатра поставила его перед собой и снова засмеялась; Антоний, поднявшись с своего ложа, сел рядом с ней. Все присутствующие нагнулись, желая увидеть, что она будет делать. Она сняла с уха одну из тех больших жемчужин, которые из всех сокровищ последними были вынуты из тела божественного Менкау-ра, и, прежде чем кто-нибудь мог угадать её намерение, бросила её в уксус.

Наступило молчание, молчание крайнего изумления. Скоро бесцветная жемчужина растворилась в кислоте. Тогда Клеопатра подняла стакан и выпила уксус до дна.

— Ещё уксуса, раб! — вскричала она. — Мой пир ещё не кончен! — И она вынула из уха другую жемчужину.

— Клянусь Бахусом! Нет, этого не надо! — вскричал Антоний, схватив её руки. — Я видел довольно!

В эту минуту, побуждаемый каким-то бессознательным чувством, я сказал Клеопатре:

— Час близок, о, царица! Час проклятия Менкау-ра!

Пепельная бледность покрыла лицо Клеопатры.

Она яростно обернулась ко мне, пока все остальные с удивлением смотрели на меня, не понимая значения моих слов.

— Зловещий раб! — вскричала она. — Скажи это ещё раз — и будешь жестоко избит палками! Наказан будешь, как злодей! Я обещаю тебе это, Гармахис!

— Что такое говорит этот негодяй астролог? — спросил Антоний. — Говори, бездельник, и объяснись; кто толкует о проклятии, должен верно предсказывать!

— Я — слугитель богов, благородный Антоний! Я должен говорить то, что они приказывают мне, но я не понимаю значения слов! — произнёс я смиренно.

— О! Ты служишь богам, ты, разноцветная таинственность?

Он намекал на моё блестящее одеяние.

— Хорошо, а я служу богиням — и этот культ лучше и приятнее! Одна из богинь находится среди нас! Я тоже говорю то, что богини влагают в мой ум, но не понимаю значения!

Он быстро и вопросительно взглянул на Клеопатру.

— Отпусти негодяя, — сказала она нетерпеливо, — завтра мы разделаемся с ним. Пошёл вон, бездельник!

Я поклонился и пошёл, но, уходя, слышал, как Антоний сказал Клеопатре: «Он, может быть, негодяй — все люди таковы, но у твоего астролога царственный вид! У него взор царя, и в глазах светится мудрость!»

За дверью я остановился, не зная, что делать. Пока я стоял, кто-то дотронулся до моей руки. Я

взглянул. То была Хармиона, которая в суматохе и шуме успела ускользнуть из зала и последовала за мной.

В тяжёлые минуты Хармиона всегда находилась возле меня.

— Иди за мной! — прошептала она. — Ты в опасности!

Я повернулся и пошёл за ней. Не всё ли мне равно!

— Куда мы идём? — спросил я.

— В мою комнату, — сказала она, — не бойся, нам, женщинам двора Клеопатры, нечего терять! Наша добрая слава давно потеряна! Если кто-нибудь увидит нас, то подумает, что у нас любовное свидание, а это здесь принято!

Я шёл за Хармионой, и, никем не замеченные, мы вышли через небольшой боковой вход на лестницу, по которой поднялись наверх. Лестница кончалась коридором, по которому мы добрались до двери на левой стороже. Хармиона молча вошла в комнату, я последовал за ней в темноте. Потом она заперла дверь и зажгла висячую лампу. При свете я оглянулся кругом. Комната была невелика, с одним плотно завешенным окном. Она была просто убрана, с белыми стенами. В ней стояли сундуки с платьем, старинное кресло, стол с туалетом, на котором лежали гребни, духи и разные пустяки, которые так любят женщины, и белая постель с вышитым покрывалом, поверх которого был накинут газ.

— Садись, Гармахис! — сказала Хармиона, подвигая мне кресло.

Я сел на кресло, а она, сбросив газовое покрывало, села на кровать.

— Знаешь ли ты, что сказала Клеопатра, когда ты ушёл из зала? — спросила она.

— Нет, не знаю!

— Она посмотрела тебе вслед, и я, подойдя к ней зачем-то в эту минуту, слышала, как она пробормотала про себя: «Клянусь Сераписом, надо с ним покончить! Я не могу ждать дольше: завтра он будет задушен!»

— Так, — сказал я, — может быть, хотя после всего, что было, я не хочу верить, что она убьёт меня!

— Как можешь ты не верить, безумнейший из людей? Разве ты забыл, как близок был от смерти в алебастровом зале? Кто спас тебя от кинжалов евнухов? Клеопатра, или я, или Бренн? Слушай, что я окажу тебе. Ты не веришь, так как в своём безумии не можешь допустить, чтобы женщина, бывшая твоей возлюбленной, в такое короткое время изменилась к тебе, осудив тебя на смерть! Молчи, я знаю всё и говорю тебе. Ты не знаешь всей глубины коварства Клеопатры, не можешь и вообразить всю порочность её жестокого сердца! Она убила бы тебя ещё в Александрии, если бы не боялась, что твоя смерть возбудит волнение и может поколебать её трон. Тогда она привезла тебя сюда, чтобы убить тайно. Что ты можешь ещё дать ей? Она прельстилась твоей любовью, твоей силой и красотой! Она отняла у тебя царственное право рождения и заставила тебя, потомка фараонов, стоять с толпой прислужниц позади своего ложа на пиру. Она выманила у тебя великую тайну священных сокровищ!

— Ты знаешь и это?

— Я всё знаю. Ты видел сегодня ночью, как богатство, скопленное для нужд Кеми, расточается для прихотей развратной македонской царицы! Видишь, как она держит клятву свою повенчаться с тобой, Гармахис, наконец-то твои глаза видят истину!

— Я вижу очень хорошо. Она клялась, что любит меня, и я, бедный дурак, верил ей!

— Она клялась, что любит тебя! — возразила Хармиона, поднимая свои тёмные глаза. — Я покажу тебе, как она тебя любит! Знаешь ли ты, что такое этот дом? Он был обиталищем жрецов, и, *как* ты видишь,

Гармахис, жрецы умеют устраиваться. Маленькая комната моя прежде была комнатой великого жреца, а комнаты позади и внизу были местом сборища других жрецов. Старый невольник, который управляет домом, рассказал мне всё это и открыл ещё кое-что, что я сейчас покажу тебе! Теперь, Гармахис, будь молчалив, как смерть, и следуй за мной!

Она потушила лампу и при слабом свете, падавшем из плотно закрытого окна, повела меня в дальний угол комнаты. Здесь она нажала стену, и в ней отворилась потайная дверь. Мы вошли в другую, маленькую комнату, и Хармиона закрыла вход. То была комната в пять локтей длины и в четыре — ширины. Слабый свет проникал в неё откуда-то, и я услышал звуки голосов. Отпустив мою руку, Хармиона подкралась к концу комнаты и пристально посмотрела в стену, затем, вернувшись назад ко мне, прошептала: «Молчи, тише!» — и повела меня за собой. Я увидел, что в стене были сделаны отверстия для глаз, замаскированные резными украшениями из камня; я посмотрел сквозь отверстие и увидел, что на шесть локтей ниже был виден пол другой комнаты, богато освещённой и роскошно убранной. Это была спальня Клеопатры; там сидела на золотом ложе сама она, а рядом — Антоний.

— Скажи мне, — произнесла Клеопатра (комната была так устроена, что каждое слово, произнесённое в ней, отчётливо доносилось до ушей слушавшего наверху), — скажи, благородный Антоний, понравился ли тебе мой жалкий пир?

— Ах, египтянка, — отвечал тот своим низким солдатским голосом, — я сам устраивал пиры и бывал на пирах, но никогда не видал такого великолепия. Но, скажу тебе, хотя мой язык груб и не умеет говорить любезностей приятным женщинам, — ты сама была самым великолепным украшением богатого пира. Красное вино не было ярче твоих прекрасных щёк, запах роз не был слаще благоухания твоих волос, и ни один сапфир с своим изменчивым блеском не был прекраснее твоих синих и бездонных, как океан, очей!

— Как! Похвала от Антония! Любезные слова на устах того, кто пишет такие суровые письма! О, это действительно большая похвала!

— Да, — продолжал он, — это был царский пир, хотя мне досадно, что ты бросила эту чудную жемчужину! А что хотел сказать твой выкликающий время астролог своим зловещим карканьем о проклятии Менкау-ра?

Тень скользнула по пылающему лицу Клеопатры.

— Я не знаю, он был недавно ранен в голову, и, быть может, разум его помутился!

— Нет, он не походил на безумного, его голос прозвучал в моих ушах, словно предсказание оракула! Он так дико глядел на тебя, царица, такими пронзительными глазами, подобно человеку, который любит и ненавидит в своей любви!

— Это странный человек, говорю тебе, благородный Антоний, очень учёный! Я сама временами боюсь его; он посвящён в древние тайны Египта! Знаешь ли, что этот человек — царственной крови и замышлял убить меня? Но я победила его и не убила, так как он имеет ключ к тайнам, которые я хотела выведать от него. Правда, я любила его мудрость, любила слушать его глубокие речи о разных не ведомых мне вещах!

— Клянусь Бахусом, я начинаю ревновать к этому негодяю! А теперь, прекрасная египтянка?

— А теперь я высосала из него все его познания, и у меня нет причин бояться его. Разве ты не видел, что я заставила его стоять все три ночи, как раба, среди моих прислужников и выкликать время? Ни один пленный царь, шедший за твоей триумфальной колесницей, римлянин, не испытал столько мук, как этот гордый египтянин!

Хармиона положила свою руку на мою и, словно жалея меня, нежно пожала её.

— Хорошо, нам нечего больше смущаться от его зловещих слов, — продолжала Клеопатра, — завтра он умрёт, умрёт тайно от всех, не оставив следа своего существования. Моё решение принято и неизменно, благородный Антоний! Даже когда я говорю, я боюсь этого человека, этот страх растёт и накапливается в моей груди! Я почти готова сейчас приказать убить его, так как не могу дышать свободно, пока он не умрёт! — Она сделала движение, чтобы встать.

— Подожди до утра, — сказал Антоний, схватив её руку, — солдаты пьяны и не смогут сделать это! И жаль его, право! Я не люблю, когда людей убивают во сне!

— Утром, пожалуй, сокол улетит! — возразила Клеопатра задумчиво. — У этого Гармахиса тонкий слух, он может призвать себе на помощь неземные силы! Может быть, даже теперь он слышит мои слова, но поистине, мне кажется, я ощущаю его присутствие. Я могла бы сказать тебе... но бросим его, оставим! Благородный Антоний, будь моей прислужницей, помоги мне снять эту золотую корону, она давит мой лоб. Будь добр, только осторожнее! Так!

Он снял уреус и корону с её чела, она встряхнула роскошными волосами, которые покрыли её всю, как покрывало.

— Возьми назад твою корону, царственная египтянка, — сказал он тихо, — возьми её из моих рук; я не хочу отнимать её у тебя, напротив, приму меры, чтобы она держалась на твоей прекрасной голове!

— Что хочет сказать мой господин? — сказала Клеопатра, с улыбкой глядя ему в лицо.

— Что я могу сказать? Вот что. Ты явилась сюда по моему приказанию, чтобы ответить мне на обвинения, взведённые на тебя по политическим делам. И знаешь, египтянка, если бы ты не была Клеопатрой, ты не вернулась бы в Египет царицей, так как я уверен, твоя вина — несомненна! А теперь... никогда природа не создавала жемчужины лучше тебя! Я забываю всё! Ради твоей дивной красоты и грации я забываю всё, прощаю всё, что не простил бы добродетели, патриотизму и сединам старика. Видишь, как много значат красота и ум женщины, если они заставляют царей забывать свой долг, обманывать правосудие, прежде чем оно поднимет свой карающий меч. Возьми назад твою корону Египта! Я позабочусь, чтобы она была не очень тяжела для тебя!

— Это царственные слова, благородный Антоний, — отвечала она, — милые, великодушные слова, достойные победителя мира! Что касается моих проступков — если они только были, — говорю тебе прямо, ведь я не знала Антония! Кто, зная Антония, может грешить против него? Какая женщина может поднять против того меч, кто должен быть божеством для всех женщин, к кому, когда видишь и знаешь его, тянется каждое искреннее сердце, как к яркому солнцу цветок? Что могу я ещё сказать, не выходя из границ женской скромности?.. Надень же эту корону на моё чело, великий Антоний, и я приму её как дар от тебя, вдвойне дорогой для меня, и буду хранить для твоей пользы! Теперь я вассальная царица, и в моём лице весь Древний Египет приносит покорность Антонию-триумвиру, который будет императором Рима и повелителем Кеми!

Надев снова корону на её локоны, Антоний стоял, смотря на неё, и, охваченный страстью, под тёплым дыханием её чудной красоты, протянул обе руки, прижал её к себе и трижды поцеловал.

— Клеопатра, — сказал он, — я люблю тебя! Прекрасная, я люблю тебя, как никогда не любил!

Она увернулась от его объятий, нежно улыбаясь, и в это время золотой круг из священных змей упал со лба и покотился в темноту.

Я видел это, и, хотя горькая мука ревности терзала моё сердце, я понял предзнаменование. Но влюблённые ничего не заметили.

— Ты любишь меня? — ещё нежнее произнесла она. — Откуда я знаю, что ты любишь меня? Может

быть, ты любишь Фульвию, твою законную жену?

— Нет, не Фульвию, тебя, Клеопатра, тебя одну! Многие женщины смотрели на меня благосклонно с моих юношеских лет, но ни одной я так не желал, как тебя, чудо мира, несравненная с другими женщинами! Можешь ли ты полюбить меня, Клеопатра, и быть верной мне не за моё положение и власть, не за те блага, какие я могу тебе дать, не за суровую музыку моих бесчисленных легионов, не ради блеска, которым сияет счастливая звезда моей судьбы, а ради меня самого, ради Антония, грубого полководца, закалённого в полях битвы? Я, Антоний, гуляка, простой, слабый человек, непостоянный в своих решениях, но я никогда не обманул друга, не обобрал бедного человека, не заставлял врага врасплох! Скажи, можешь ли ты полюбить меня, египтянка? О, если можешь, я буду самым счастливым человеком, счастливее, чем если бы сегодня ночью я восседал в Римском Капитолии коронованным монархом всего мира!

Пока он говорил, она смотрела на него своими удивительными глазами, и меня удивило выражение искренности и правды на её лице.

— Ты говоришь откровенно, — сказала она, — твои слова приятны для моих ушей! Они были бы также приятны, если бы дело стояло иначе, но теперь... какая женщина не увидит с радостью владыку мира у своих ног? Для меня же что может быть приятнее твоих сладких слов? Гавань, манящая отдыхом измученного бурей моряка, — как дорога она ему! Мечта о небесном блаженстве, которой утешается бедный аскет жрец на своём самоотверженном пути, — как сладка она! Нежная розовоперстая заря, несущая земле радость сладкого пробуждения, как дорога она и приятна! Ах, всё это, всё самое дорогое и очаровательное в мире, не может сравниться с честными и сладкими твоими словами, о, Антоний! Знаешь ли ты? Нет, и никогда не будешь знать, как ужасна была моя жизнь, как пуста и одинока! Природой устроено так, что только любовь избавляет женщину от одиночества! Я никогда не любила, никогда не могла полюбить до этой счастливой ночи! Возьми меня в свои объятия и поклянёмся, дадим великий обет любви, такую клятву, которая не может быть нарушена до конца нашей жизни! Слушай, Антоний, и теперь, и навсегда я даю тебе обет верности и любви! Теперь и навеки я твоя, я принадлежу тебе одному!..

Хармиона взяла меня за руку и увела.

— Довольно ли ты видел? — спросила она, когда мы снова очутились в её комнате и лампа была зажжена.

— Да, — ответил я, — мои глаза открылись.

XVI

План Хармионы

Исповедь

Ответ Гармахиса

Некоторое время я сидел с опущенной головой, и последняя горечь стыда наполнила мою душу. Так вот конец! Для этого я нарушил клятвы, выдал тайну пирамиды, для этого потерял свою корону, свою честь и, может быть, надежду небес!

Мог ли быть во всём мире человек, столь убитый стыдом и горем, как я в эту ночь? Наверное, нет. Куда я пойду? Что буду делать? Даже среди бури, бушевавшей в моём истерзанном сердце, громко зывал горький голос ревности. Я любил эту женщину, которой отдал всё, а она в эту самую минуту... Ах! Я не мог выносить этой мысли, и в этой мучительной агонии сердце моё разразилось целым потоком слёз. О, это были страшные, мучительные слёзы!

Хармиона подошла ко мне, и я увидел, что она также плакала.

— Не плачь, Гармахис, — сказала она, рыдая и становясь на колени около меня, — я не в силах видеть тебя плачущим! Отчего ты не остерегался? Ты был бы велик и счастлив! Слушай, Гармахис! Ты слышал, что сказала эта фальшивая тигрица... завтра ты будешь убит!

— И хорошо! — пробормотал я.

— Нет, вовсе не хорошо! Гармахис, не дай ей окончательно восторжествовать над тобой! Ты потерял всё, кроме жизни, но пока остаётся жизнь, остаётся и надежда, а с ней и возможность мести!

— А! — вскричал я, вскочив с места. — Я не подумал об этом. Возможность отомстить! Должно быть, сладко быть отомщённым!

— Мечь сладка, Гармахис, но иногда мстить — опасно, так как стрела мести, пущенная в обидчика, может пронзить пустившего! Я знаю это по себе. — Она тяжело вздохнула. — Бросим в сторону и разговоры, и печаль! У нас обоих будет время впереди, чтобы горевать все эти долгие, тяжёлые грядущие годы! Теперь ты должен бежать, бежать до рассвета! Вот мой план! Пришедшая вчера из Александрии галера с фруктами и товарами отплывает обратно завтра, до зари. Её капитан мне знаком, но ты его не знаешь! Я достану тебе одежду сирийского купца, закутаю тебя, как умею, и дам письмо к капитану галеры. Он довезёт тебя до Александрии;

для него ты будешь купцом, который едет по своим торговым делам. Сегодня ночью Бренн — начальник стражи, а Бренн друг и мне и тебе! Быть может, он угадает кое-что, может быть, нет, но сирийский купец безопасно выйдет из дворца. Что ты скажешь на это?

— Хорошо, — отвечал я устало, — я не забочусь о том, что будет!

— Ты оставайся и отдохни здесь, Гармахис, пока я сделаю нужные приготовления! Не горюй очень, Гармахис! Другим надо горевать сильнее, чем тебе!

Она ушла, оставив меня одного с моей тоской, терзавшей меня невыносимо. Если бы не горячее желание отомстить за себя, время от времени вспыхивавшее в моём измученном мозгу, — так молния вспыхивает над морем в полуночный час, — я думаю, разум мой помутился бы совершенно в эти тяжёлые минуты! Наконец я услышал шаги Хармионы, и она вошла, тяжело дыша, с мешком одежды в руках.

— Всё идёт хорошо! Здесь платье, бельё, дощечки для письма и всё, что тебе необходимо. Я видела Бренна и сказала ему, что сирийский купец должен пройти мимо стражи за час до рассвета. Я думаю, он понял меня, хотя сделал вид, что хочет спать, и ответил мне, зевая, что, если скажут пароль «Антоний», то пятьдесят сирийских купцов могут уйти по своим делам. Вот моё письмо к капитану! Ты не можешь ошибиться галерой, она стоит у пристани вправо — маленькая галера, окрашенная в чёрный цвет; ты должен войти с большой набережной, и там всё будет уже готово к отплытию! Теперь я подожду за дверью, пока ты снимешь свою рабскую ливрею и оденешься!

Она ушла. Я сорвал с себя пышное платье, сбросил его на пол и топтал ногами. Затем надел скромную одежду купца, привязал к поясу дощечки, надел на ноги сандалии из недублёной кожи и спрятал кинжал.

Когда всё было готово, вошла Хармиона и взглянула на меня.

— Ты всё ещё похож на царственного Гармахиса! Это надо изменить!

Она взяла ножницы, усадила меня, отрезала мне локоны и выстригла волосы догола. Потом, взяв краску, которой женщины подрисовывают себе глаза, и искусно смешав её с другой, она ловко нарисовала мне морщины на лице и руках и покрасила белый рубец на голове, оставленный мечом Бренна.

— Теперь ты изменился к худшему, Гармахис! — сказала она с грустной улыбкой. — Я сама едва узнаю тебя. Подожди, ещё одна вещь! — Она подошла к сундуку с платьем и вытащила оттуда тяжёлый мешок с золотом. — Возьми это, — оказала она, — тебе понадобятся деньги!

— Я не могу взять твоих денег, Хармиона!

— Бери! Это Сепя дал мне их для нашего дела, поэтому ты смело можешь пользоваться ими! Кроме того, если мне понадобятся деньги, конечно, Антоний, мой господин с сегодняшней ночи, даст мне, сколько я хочу. Он многим обязан мне и отлично знает это. Не растрачивай драгоценного времени на пустяки — ты ещё не купец, Гармахис!

Без дальних слов она засунула деньги в кожаный мешок, висевший у меня через плечо. Затем она дала мне мешок с запасом платья и, по своей женской предупредительности, не забыла сунуть туда алебастровую баночку с краской, чтобы я мог подрисовывать своё лицо, когда это понадобится, и в конце концов вышитое платье астролога, которое я сбросил с себя, спрятала в потаённое место. Наконец я был совсем готов.

— Пора мне идти? — спросил я.

— Нет ещё, погоди! Будь терпелив, Гармахис, ещё час придётся тебе переносить моё присутствие, а потом прощай, быть может, навсегда!

Я махнул рукой, как бы давая ей понять, что теперь не время для острословия и болтовни.

— Прости мне мой язык, — сказала она, — из соли часто бьёт источник горькой воды! Я должна сказать тебе кое-что неприятное, прежде чем ты уйдёшь!

— Говори, — отвечал я, — слова, самые ужасные, не могут теперь взволновать меня!

Хармиона стояла передо мною с сложенными руками, и свет лампы падал на её прекрасное лицо. Я заметил, что оно было страшно бледно, и что вокруг глубоких тёмных глаз залегли чёрные круги. Два раза поднимала она глаза и пыталась заговорить, но голос её прерывался. Когда же, наконец, она заговорила, это был хриплый шёпот:

— Я не могу отпустить тебя, — сказала она, — не открыв тебе истины. Гармахис, это я предала тебя!!!

Я вскочил на ноги, с проклятием на устах, но Хармиона удержала меня за руку.

— Садись и выслушай! Когда ты узнаешь всё, делай со мной что хочешь! С той минуты, когда в доме Сепы я во второй раз увидела тебя, я полюбила тебя так сильно, что ты не можешь и представить себе! Возьми свою собственную любовь к Клеопатре, удвой её ещё и ещё и ты приблизительно поймёшь всю силу моей любви к тебе. Я любила тебя день за днём, всё более, пока ты не сделался единственной целью моего существования. Ты оставался холоден, более чем холоден, ты не хотел видеть во мне живой женщины, ты смотрел на меня как на орудие своего дела, которое может тебе служить для твоего возвышения! Я скоро заметила — задолго до того, как ты сам понял это, — что твоё сердце рвётся к этому губительному берегу, о который теперь оно разбилось. Наконец в ту роковую ночь, спрятанная в углу комнаты, я видела, как ты выбросил мой платок и с нежными словами сохранил у себя дар моей царственной соперницы. Тогда — ты знаешь это, — страдая невыносимо, я выдала тебе свою тайну, и ты насмеялся надо мной, Гармахис! О, позор, позор! В своём безумии ты насмеялся надо мной! Я ушла, и все муки, способные терзать женское сердце, поднялись во мне! Я была уверена, что ты любишь Клеопатру! Я была так безумна, что хотела в эту самую ночь выдать твою тайну. Нет ещё, решила я, быть может, завтра он будет мягче! Назавтра, когда всё было готово у меня, чтобы разрушить всякий заговор, который должен был сделать тебя фараоном Египта, я пришла к тебе — ты помнишь? — и говорила с тобой загадками, а ты снова оттолкнул меня как негодную вещь, как пустяк, не заслуживающий внимания в минуту тяжёлого раздумья. Я совсем обезумела. Злой дух вселился в меня, овладел мной, и я перестала быть сама собой, потеряла всякую власть над собой. И за то, что ты насмеялся надо мной, я предала тебя, к своему вечному стыду и позору! Я пошла к Клеопатре и сказала ей всё, выдала тебя, и других с тобой, и наше святое дело, сказала, что нашла письма, которые ты потерял, и прочитала их!

Я застонал и сидел молча.

Печально смотря на меня, она продолжала:

— Клеопатра сейчас же поняла, как велик был заговор, как глубоки его корни, и испугалась. Сначала она хотела бежать в Сансилк в Кипр, но я убедила её, что все эти пути закрыты для неё. Тогда она сказала, что прикажет убить тебя в своей комнате, и я ушла от неё, оставив её с этим решением. В ту минуту я была бы рада, если бы тебя убили: никто не помешал бы мне горько оплакивать твою могилу, Гармахис! Что ещё сказать? Мечь — это стрела, которая часто ранит того, кто пустил её! Так было и со мной. В промежуток между моим уходом и твоим приходом к ней Клеопатра придумала смелый план. Она боялась, что твоя смерть вызовет открытое возмущение, видела, что ей нужно привязать тебя к себе, выказать тебе полное доверие и этим пресечь в корне неминуемую опасность и уничтожить её. Большой, тонко составленный заговор — она сомневалась в его исходе! Нужно ли говорить дальше? Ты знаешь, Гармахис, как она победила! Стрела моей мести упала на мою собственную голову. На другой день я узнала, что согрешила напрасно, что заговор был выдан негодным Павлом, что я ни за что погубила святое дело, которому клялась служить, и предала любимого человека в руки египетской развратницы!

На минуту она склонила голову, но так как я молчал, продолжала:

— Дай мне высказать тебе весь мой грех, Гармахис, и тогда суди меня! Дело удалось мне. Клеопатра

несколько полюбила тебя и в глубине сердца решила сделать тебя своим царственным супругом. Ради этой полулюбви к тебе она пощадила жизнь участников заговора, рассчитывая, что, повенчавшись с тобой, она с их помощью привлечёт к себе сердце всего Египта, который не любит её, как всех Птолемеев. Но тут она ещё раз обманула тебя! Ты в своём безумии выдал ей тайну скрытого в пирамиде богатства, которое она расточает теперь с Антонием. Поистине, в то время она намеревалась сдержать клятву и обвенчаться с тобой. Но на другой день, когда Деллий пришёл за ответом, она послала за мной, рассказала мне всё — она, в сущности, высоко ценит мои советы — и попросила посоветовать ей, оттолкнуть ли Антония и повенчаться с тобой или оттолкнуть тебя, поехать к Антонию! Я — заметь весь мой грех — я в своей ревности не могла вынести мысли, что она будет твоей законной женой, а ты — её любимым властелином, и посоветовала ей ехать к Антонию, хорошо зная, — я говорила об этом с Деллием, — что мягкий Антоний, увидя её, упадёт, как спелый плод, к её ногам, что действительно и случилось! Теперь я укажу тебе на результат моего плана. Антоний любит Клеопатру, Клеопатра любит Антония! Ты ограблен, всё сделалось по моему желанию, а я — самая несчастнейшая женщина на земле! Я видела, как разбилось твоё сердце, и моё, казалось, разбилось вместе с твоим, я не могла далее выносить тяжести всех моих преступлений и решила сказать тебе всё и вынести наказание.

Теперь, Гармахис, мне нечего больше сказать тебе! Благодарю тебя за то, что ты выслушал меня. Побуждаемая страстной любовью к тебе, я согрешила против тебя! Я погубила тебя, погубила Кеми и себя! Убей меня! Предай меня смерти, Гармахис, я с радостью умру от твоего меча и поцелую его острие! Убей меня и уйди. Если ты не убьёшь меня, я сама покончу с собой!

Она упала на колени, раскрыв свою прекрасную грудь, чтобы я мог поразить её кинжалом.

В ярости я хотел убить её, вспомнив, что эта женщина — причина моего позора и падения, — когда я пал, дерзко и жестоко издевалась надо мной. Но тяжело убивать красивую женщину! Когда я поднял руку, мне припомнилось, что она дважды спасла мне жизнь.

— Женщина! Бесстыдная женщина! — сказал я. — Встань! Я не убью тебя! Кто я сам, чтобы судить твоё преступление? Вместе с моим оно выше всего земного суда!

— Убей меня, Гармахис! — стонала она. — Убей меня, или я убью сама себя! Мне непосильно моё бремя! Не будь так убийственно спокоен! Прокляни меня, убей!

— Что говорила ты мне, осуждая меня, Хармиона? Я пожинаю то, что посеял! Не подобает и тебе убивать себя! Незаконно, что я, равный тебе по грехам, убил бы тебя, потому что погиб через тебя! Что ты посеяла, Хармиона, то и пожнёшь! Низкая женщина! Твоя ревность причинила столько бед мне и Египту! Живи же! Живи и пожинай из года в год горькие плоды твоих преступлений!

Видения оскорблённых тобой богов будут преследовать тебя во сне! Их месть ожидает тебя в мрачном Аменти! Пусть изо дня в день тебя преследует воспоминание о человеке, которого твоя жестокая любовь довела до гибели и позора, об Египте, который ты отдала во власть ненасытной Клеопатре, сделав его рабом Антония!

— О, не говори так Гармахис! — Она уцепилась за моё платье. — Когда ты был велик, когда власть была в твоих руках, ты оттолкнул меня! Теперь Клеопатра отвернулась от тебя, ты беден, убит стыдом, тебе негде преклонить голову. Я красива, я всё ещё молюсь на тебя. Не отталкивай меня теперь! Позволь мне бежать с тобой и заслужить твоё прощение моей преданной любовью! Если это много для меня, позволь мне быть твоей сестрой, служанкой, рабой, чтобы я могла видеть твоё лицо, успокаивать тебя в горе и служить тебе! О, Гармахис, позволь мне, я пренебрегу всем, вынесу всё, и только смерть разлучит меня с тобой! Я верю, что любовь к Небе, благодаря которой я пала так низко и увлекла тебя за собой, может поднять меня на высоту и тебя вместе со мной!

— Ты соблазняешь меня на новый грех, женщина! Как думаешь ты, Хармиона, в силах ли я буду в какой-нибудь лачуге, где укроюсь, день за днём смотреть на твоё прекрасное лицо и вспоминать, что эти нежные уста предали и погубили меня? Нет, не так легко твоё наказание! Я знаю теперь! Долги и тяжелы будут годы твоего покаяния! Быть может, наступит час отмщения, и ты будешь иметь в нём свою долю! Оставайся при дворе Клеопатры, и если я буду жив, то найду средство известить тебя! Быть может, наступит день, когда мне понадобятся твои услуги! Теперь поклянись, что не изменишь мне во второй раз!

— Клянусь, Гармахис, клянусь! Пусть вечные мучения, ужаснее которых нельзя вообразить — более страшные, чем те, которые терзают меня теперь, — будут моим уделом, если я словом или звуком изменю тебе, хоть бы до конца жизни мне пришлось ждать известия от тебя!

— Хорошо! Сдержи же свою клятву! Нельзя дважды выдавать человека! Я иду совершать свою судьбу. Устраивай свою! Быть может, различные нити нашей жизни ещё раз сплетутся, прежде чем ткань будет соткана! Прощай, Хармиона, ты, любившая меня, ты, которая ради этой любви обманула и погубила меня! Прощай!

Она дико взглянула на моё лицо, протянула руки, словно хотела обнять меня, потом, в полном отчаянии, упала на пол.

Я взял мешок с одеждой, посох и пошёл к двери, но, уходя, невольно бросил последний взгляд на Хармиону.

Она лежала на полу с распростёртыми руками — белее своего белого платья; её тёмные волосы разметались около неё, а прекрасное лицо она уткнула в пол.

Так я оставил её, и прошло девять долгих лет, пока снова не увидел Хармионы.

(Здесь кончается второй и самый большой свиток папируса.)

Часть III

МЕСТЬ ГАРМАХИСА

I

Бегство Гармахиса из Тарса. — Гармахис бросается в море, как жертва морским богам

Его пребывание на острове Кипр и возвращение в Абуфис

Смерть Аменемхата.

Я благополучно спустился с лестницы и очутился во дворе большого дома. До рассвета оставалось не более часу; кругом царил тишина. Последний гуляка допил своё вино, танцовщицы прекратили свои танцы. Город спал. Я подошёл к воротам. Меня окликнул начальник стражи, закутанный в плащ.

— Кто идёт? — спросил голос Бренна.

— Купец, если вам угодно, господин! Я привозил дары из Александрии одной госпоже, приближённой царицы, и задержался у ней, а теперь спешу на свою галеру! — отвечал я изменённым голосом.

— Гм! — проворчал он. — Приближённые царицы долго задерживают своих гостей! Славно, самое время для пира! Пароль, господин торговец! Без пароля вам придётся вернуться и просить гостеприимства у нашей госпожи!

— Антоний! Вот пароль, господин! Прекрасное имя! Я много путешествовал, но никогда не видал такого прекрасного мужа и великого полководца! Заметьте, господин! Я побывал далеко и видел много полководцев!

— Да, Антоний—слово хорошее. Антоний хороший воин, когда трезв и около него нет юбки, чтобы за ней волочиться. Я служил с Антонием и хорошо знал его слабости. Теперь у него много дела!

Бренн говорил это, не переставая шагать назад и вперёд перед воротами, потом подвинулся вправо и пропустил меня.

— Прощай, Гармахис, иди! — прошептал Бренн быстро. — Не медли и потом хотя изредка вспоминай Бренна, который рисковал своей головой, чтобы спасти тебя! Прощай, друг! Я так бы хотел уплыть с тобой на север! — Он повернулся ко мне спиной и замурлыкал песню.

— Прощай, Бренн, честный человек! — ответил я, уходя; уже потом я узнал, что утром поднялись суматоха и крик, так как убийцы не нашли меня. Бренн же клялся, что, стоя на страже один, после полуночи, видел, как я вышел на крышу, потряс своей одеждой, которая превратилась в крылья, и улетел на небо, оставив его в полном изумлении. При дворе все, кто выслушал эту сказку, поверили, благодаря моей славе великого магика, и очень удивлялись этому чуду. Слух об этом дошёл до Египта и восстановил моё доброе имя в глазах тех, кого я предал и обманул. Многие невежды среди них решили, что я действовал не по своей воле, а по приказанию богов, которые взяли меня на небо. До сих пор там существует поговорка: «Когда Гармахис придёт, Египет опять будет свободен!»

Но, увы, Гармахис не придёт! Клеопатра усомнилась в сказке и в испуге послала вооружённый корабль на поиски сирийского купца, но его не нашли.

Между тем я добрался до галеры, указанной мне Хармионой, нашёл её готовой к отплытию и подал письмо капитану, который с любопытством посмотрел на меня, но не сказал ни слова.

Я взошёл на корабль, и мы тихо отчалили вниз по течению реки. Беспрепятственно пройдя устье реки, наша галера скоро вышла в открытое море. Дул сильный попутный ветер, к ночи перешедший в сильную бурю. Моряки испугались и хотели вернуться в устье Кидна, но разъярённое море не допустило их. Всю ночь свирепствовала буря. К рассвету у нас сломалась мачта, и мы беспомощно носились по волнам. Я сидел неподвижно, закутавшись в плащ, и так как не выказывал страха, то матросы начали кричать, что я колдун; они хотели бросить меня в море, но капитан не позволил им. К рассвету ветер ослабел, но к полудню задул с ужасающей силой. В четыре часа пополудни мы очутились в виду острова Кипра, называемого Динаретом, где находится (гора Олимп, и неслись прямо туда с страшной быстротой. Когда матросы увидели ужасные скалы, о которые разбивались с пеной и брызгами огромные волны, то перепугались до безумия и начали кричать, что я настоявший колдун и меня нужно бросить в воду, в жертву морским богам. Капитан теперь молчал. Когда матросы подошли ко мне, я встал и сказал им презрительно:

— Бросайте меня, если хотите, но, бросив меня, вы сами погибнете!

Действительно я мало заботился о смерти, так как жизнь потеряла для меня всякий интерес, даже желал смерти, хотя и боялся предстать перед священной матерью Изидой. Но усталость и тоска преодолели даже этот страх, так что, когда матросы, совсем обезумевшие, как дикие звери, схватили меня, подняли и бросили в бушующие волны, я прочитал молитву Изиде и приготовился умереть. Но мне не суждено было умереть. Как только я выплыл на поверхность воды, то увидел бревно, плывущее около меня. Я ухватился за него и поплыл. Огромная волна подхватила меня, и я сел на бревно и плыл, подобно тому, как мальчиком учился плавать в водах Нила. Между тем на галере собрались все матросы смотреть, как я утону, но когда увидели меня, поднятого волной и проклинающего их, увидели моё лицо, которое совершенно изменилось, так как солёная морская вода смыла краску, они с ужасом закричали и упали на палубу. Через некоторое время, пока я нёсся к скалистому берегу, волны хлынули на корабль, перевернули его на бок и увлекли вниз, в бездонную пучину моря.

Галера потонула со всем экипажем. В это же время буря потопила галеру, которую Клеопатра послала на Поиски сирийского купца. Таким образом, мои следы затерялись, и Клеопатра, наверное, поверив, что я умер, успокоилась.

Я плыл к берегу. Ветер ревел, солёная вода брызгала мне в лицо, я был один, лицом к лицу с бурей, и нёсся своим путём, в то время как морские птицы кричали над моей головой. Но я не чувствовал страха, какая-то дикая радость поднималась в сердце, и перед этой неминуемой опасностью любовь к жизни, казалось, снова пробудилась во мне. Я погружался, нырял, взлетал к низко зависшим облакам, падал в глубокие пропасти моря, пока не увидел перед собой скалистого берега, около которого кипели буруны.

Сквозь рёв и стон ветра я слышал глухой гул и гром камней, смываемых морем. О, как высоко очутился я — на гребне огромной волны около пятидесяти локтей в высоту! Подо мной — зияющая бездна, надо мной — тёмное, непроницаемое море! Кончено! Обрубок выскользнул из-под меня... Мешок с золотом и намокшая одежда увлекали меня вниз... Я начал тонуть...

Внизу — странный зелёный свет проникал через воду, потом настал мрак, и в этом мраке восстали передо мной картины прошлого. Картина за картиной — вся моя жизнь прошла предо мной! В моих ушах звучала песнь воловья, рокот летнего моря и музыка торжествующего смеха Клеопатры, которая преследовала меня всё нежнее, пока я погружался в вечный мрак. Но жизнь вернулась ко мне вместе с ощущением ужасной боли и страдания. Я открыл глаза и увидел склонившиеся надо мной добрые лица в какой-то комнате.

— Где я? — спросил я слабо.

— Поистине, сам Посейдон принёс тебя, чужестранец, — отвечал мне грубый голос на греческом языке, — мы нашли тебя выкинутым на берег, как мёртвого дельфина, и принесли в наш дом. Надо думать, тебе придётся полежать здесь некоторое время — твоя левая нога сломана в борьбе с волнами.

Я хотел двинуть ногой и не мог. Действительно, кость ноги была сломана выше колена.

— Кто ты и как тебя зовут? — спросил рыжебородый моряк.

— Я — египтянин и долго путешествовал, но корабль мой потопило бурей. Зовут меня Олимпом! — отвечал я, взяв имя Олимпа наугад, так как вспомнил, что этот народ называет гору, мимо которой мы плыли, Олимпом.

С этих пор меня все знали под именем Олимпа. Почти полгода прожил я у грубых рыбаков, платя им немного тем золотом, что осталось у меня, выкинутое со мной вместе на берег. Долго тянулось время, пока моя кость срослась, и всё же я остался калекой: когда-то высокий, сильный, ловкий, я хромал теперь — одна нога моя была короче другой. Оправившись от болезни, я долго жил с рыбаками, работал и помогал им ловить рыбу. Я не знал, куда мне идти и что с собой делать! Иногда мне хотелось сделаться мирным рыбаком и дотянуть здесь остаток постылой жизни. Рыбаки обходились со мной ласково, но страшно боялись меня, считая колдуном, который выкинут морем. Печали и скорбь наложили странный отпечаток на моё лицо. Люди, смотря на меня, пугались того отчаяния, которое пряталось за видимым спокойствием этого лица.

Так жил я, но однажды ночью, когда я лежал и пытался заснуть, страшное беспокойство напало на меня, Меня охватило горячее желание ещё раз увидеть берега Сигора. Боги ли послали мне это желание или оно родилось из моего собственного сердца — я не знаю! Но оно было так сильно, что я встал со своего соломенного ложа, оделся в платье рыбака, так как не желал расспросов, и до рассвета простился с моими скромными хозяевами.

Прежде всего я положил несколько золотых монет на чисто вымытый деревянный стол и, взяв щепотку муки, рассыпал её в форме букв, написав:

«Это — дар Олимпа, египтянина, который возвращается в море!»

Затем я ушёл и на третий день очутился в большом городе Саламис, у моря, где прожил некоторое время у рыбаков, пока не нашёл корабля, отплывающего в Александрию. Я нанялся как матрос к капитану этого корабля; мы отплыли с попутным ветром, и на пятый день я прибыл в Александрию, этот ненавистный город. Здесь я был не в силах оставаться и опять нанялся матросом на корабль, который готовился отплыть по Нилу. Из разговоров людей я узнал, что Клеопатра вернулась в Александрию вместе с Антонием и они жили с царской роскошью во дворце на Лохиа. Моряки успели сложить о них весёлую

песню и распевали её, работая вёслами. Из песни я узнал, что галера Клеопатры, посланная на поиски сирийского купца, затонула, что астроном царицы, Гармахис, улетел на небо с крыши дома в Тарсе. Моряки удивлялись, что я молчал и не хотел петь их весёлой песенки о Клеопатре, стали побаиваться меня и перешёптываться. Тогда я понял, что я проклятый человек, что никто не может полюбить меня.

На шестой день мы подошли к Абуфису, и я покинул судно, чему матросы были очень рады. С бьющимся сердцем шёл я через зеленеющие поля, встречая незнакомые лица. Кто мог бы узнать меня в одежде рыбака, хромого, с искалеченной ногой? Наконец солнце зашло, я подошёл к большому портику храма и сел здесь, не зная, куда мне идти и что делать. Подобно быку, отбившемуся от стада, я прибрёл издалека на поля моей родины. Но для чего?.. Если отец мой, Аменемхат, ещё жив, он, наверное, отвернётся от меня. Я не смел идти к нему и сидел среди разрушенных стропил, равнодушно смотря на ворота и ожидая, не появится ли откуда-нибудь знакомое лицо. Но везде было тихо, никто не выходил, хотя ворота были широко открыты. Я увидел двор и траву, выросшую между камнями там, где в течение многих столетий она вытаптывалась ногами богомольцев. Что это значило? Разве храмы покинуты? Могло ли прекратиться здесь поклонение вечным богам, изо дня в день установленное в священном месте? Не умер ли мой отец? Это очень возможно. Зачем же тишина? Где жрецы? Где молящиеся?

Наконец у меня не стало сил выносить этой неизвестности. Как только солнце село, я прокрался, как затравленный шакал, в раскрытые ворота и вошёл в первую залу колонн.

Здесь я остановился и оглянулся кругом — никого, ни звука, мрак и тишина в священном месте. С бьющимся сердцем я прошёл во вторую большую залу тридцати шести колонн, где был коронован фараоном Египта! Но и здесь ни звука, ни движения! Пугаясь своих собственных шагов, эхо которых так ужасно звучало в тишине покинутых святынь, я прошёл проход с именами фараонов вплоть до комнаты моего отца. Завеса висела на двери, но что было там, внутри комнаты? Пустота? Я поднял завесу и бесшумно вошёл. В резном кресле у стола, на котором лежала его длинная белая борода, сидел мой отец Аменемхат в жреческом одеянии. Сначала я подумал, что он умер, так неподвижно он видел, но вот он повернул голову — и я увидел, что глаза его были белы и слепы. Он ослеп, и его лицо походило на лицо умершего человека, высохшее от старости и горя... Я стоял и чувствовал, что слепые очи блуждают по моему лицу, но не мог, не смел заговорить, мне хотелось уйти и скрыться, но только я повернулся и ухватился за завесу, как мой отец заговорил тихим, глубоким голосом:

— Подойди сюда, ты, который был моим сыном и стал изменником! Подойди сюда, Гармахис, на которого Кеми возлагала все свои надежды! Не напрасно привлёк я тебя издалека! Не напрасно поддерживал я остатки своей жизни, пока не услышал твоих шагов, крадущихся по пустынным святыням, подобно шагам вора.

— Отец мой! — пробормотал я, удивлённый. — Ты слеп! Как же ты узнал меня?

— Как я узнал тебя? И это спрашиваешь ты, посвящённый в нашу науку? Довольно, я узнал тебя и привлёк сюда. Но лучше бы мне не узнавать тебя, Гармахис! Отчего не уничтожил меня Невидимый, прежде чем я извлёк тебя из утробы Нут, чтобы быть моим позором и проклятием и последней скорбью Кеми!

— О, не говори так! — простонал я. — Моё бремя так не под силу мне! Разве сам я не был обманут и выдан? Окажи сострадание, отец!

— Сострадание? К тебе? Пожалеть того, кто не выказал сам жалости! Пожалел ли ты, предавая благородного Сепу в руки мучителей?

— О, не говори так, не говори! — закричал я.

— Да, предатель, это верно! Благородный муж умер, до последнего дыхания защищая тебя, его

убийцу, заверяя, что ты честен и невиновен! Иметь сострадание к тебе, который предал весь цвет Кеми ценой объятий распутной женщины! Пожалуют ли тебя, Гармахис, те благородные люди, что работают теперь в мрачных рудниках? Иметь сострадание к тебе, кто был причиной опустошения священного храма в Абуфисе, захвата его земель, смерти его жрецов! Я, один я, старый, обессиленный, остался здесь, чтобы рассказать тебе о разрушении, — тебе, который был причиной всех несчастий! Ты разграбил сокровища Гер и отдал их распутнице, ты клятвопреступник, продавший свою страну, своё царственное право рождения, своих богов! Вот моё сострадание! Будь проклят, плод чресл моих! Пусть вечный стыд будет твоим уделом на земле, пусть смерть твоя будет страшной агонией, пусть ад примет тебя после смерти! Где ты? Я ослеп, выплавав свои глаза, когда узнал всё, хотя, конечно, они пытались скрыть это от меня! Дай мне найти тебя, чтобы я мог плюнуть тебе в лицо, вероотступник, отверженный, изверг! — С этими словами старик встал с своего места и, шатаясь, как воплощение живого гнева, направился ко мне.

Но тут внезапно его застала смерть. С криком упал он на пол, и струя крови хлынула из его рта. Я подбежал к нему и приподнял его.

Умирая, он бормотал:

— Он был моим сыном, прекрасный мальчик с блестящими глазами, полный надежды, как весна, а теперь, теперь... О, лучше бы он умер!

Аменемхат умолк, и дыхание захрипело у него в горле.

— Гармахис, — прошептал он, — ты здесь?

— Да отец!

— Гармахис, очистись, очистись! Мщение богов может остановиться, забвение и прощение можно приобрести раскаянием! Там... золото! Я спрятал его... Атуа... она покажет тебе... Ах, какая мука! Прощай!

Он слабо забился в моих руках и умер.

Так в последний раз встретились мы на земле с моим отцом Аменемхатом и расстались навсегда.

II

Последнее горе Гармахиса

Он вызывает священную Изиду страшным словом

Обещание Изиды

Приход Атуи и её слова.

Я сидел на полу, неподвижно уставясь на мёртвое тело отца, который жил, чтобы проклясть меня, уже проклятого и отверженного, пока темнота не спустилась вокруг нас и я очутился в мраке и молчании, наедине с мертвецом. О, какие это были ужасные часы! Воображение не может представить этого ужаса, никакие слова не опишут его! Ещё раз в моём отчаянии я подумал о смерти. Кинжал мой был у пояса, я мог перерезать себе горло и освободиться.

Освободиться? Зачем? Чтобы предстать перед мщением богов и вынести их мщение?! О нет! Я не смел умереть! Лучше жить на земле и терпеть все муки, чем лицезреть все невообразимые ужасы Аменти, ожидавшие падшего человека. Я упал на землю и заплакал страшными слезами агонии — оплакивал невозвратное прошлое, плакал до тех пор, пока не иссякли мои слёзы. Но из темноты, окружившей меня, не было ответа, только эхо вторило моим рыданиям! Ни одного луча надежды! Моя душа блуждала во мраке более непроницаемом, чем тот, который окружал меня; я был отвергнут богами и покинут людьми. Ужас напал на меня в этом уединённом месте перед величием смерти. Я встал и хотел бежать. Но куда мне бежать в этом мраке? Как найти дорогу в этих переходах, среди бесчисленных колонн? И куда бежать мне, не имеющему убежища на земле? Я снова распростёрся на полу, страх всё разрастался во мне, холодный пот выступил на моём лбу — и дух мой ослабел во мне.

В тяжёлом отчаянии я начал молиться Изиде, к которой давно уж не смел обращаться.

— О, Изида! Священная мать! — вскричал я. — Отврати твой гнев и в твоём бесконечном сострадании ты, о всемилостивая, услышь голос скорби того, кто был твоим слугой и сыном, кто, по греховности своей, пал и потерял видение любви твоей! О, восседающая на престоле славы, ты пребываешь во всём, знаешь всё, все печали и горести земные, положи же твоё милосердие на весы моих злодеяний и уравний их! Взгляни, милосердная, на мою скорбь и умерь её! Измерь глубину моего раскаяния и поток слёз, изливаемых моей душой! О, священная, кого мне дано было лицезреть во имя этого страшного часа общения с тобой, я призываю тебя! Призываю тебя таинственным словом! Приди и в милосердии своём спаси меня или в гневе твоём покончи с тем, что не в силах более переносить своего отчаяния!

Встав на ноги, я протянул руки и осмелился крикнуть страшное слово, которого нельзя произнести недостойно и не будучи наказанным смертью.

И скоро мной был получен ответ. В тишине я услышал звук сисстры, возвещавшей о прибытии Славы, потом в дальнем конце комнаты увидел подобие рогатого месяца, слабо сиявшего во мраке, между золотыми рогами его клубилось маленькое тёмное облачко, в котором извивался огненный змей.

Мои колени подогнулись в присутствии Славы, и я упал на пол. Между тем из облака раздался нежный, чистый голос.

— Гармахис, ты был моим слугой и моим сыном, я услышала твою мольбу и призывы, которые ты осмелился произнести! В устах того, кто имел общение со мной, они имеют силу и власть вызвать меня из Аменти! Наш союз божественной любви разрушен, Гармахис, так как ты оттолкнул меня своими собственными деяниями. После долгого молчания я пришла, Гармахис, облачённая в ужас и, быть может, готовая к мщению, ибо не легко вызвать Изиду из её божественных обителей!

— Порази, богиня, порази! — молил я. — Отдай меня тем, кто утолит твоё мщение, я не могу долее выносить бремени моей тяжкой скорби!

— Если ты не можешь нести бремя скорби здесь, на земле, — получил я ответ, — то как вынесешь величайшее бремя, которое будет возложено на тебя там? Как придёшь ты загрязнённым и нераскаянным в моё мрачное царство смерти, где жизнь бесконечная? Нет, Гармахис, я не поражу тебя, ибо не гневаюсь на тебя, что ты осмелился произнести страшное слово и вызвать меня! Слушай, Гармахис! Я не восхваляю и не укоряю, ибо я воздаятельница награды и наказания, исполнительница повелений! Если я даю, то даю в молчании, Я не хочу усилить твоё бремя жестокими словами, хотя ты — причина того, что Изида, таинственная мать, останется только в воспоминании Египта. Ты тяжко согрешил, и тяжко твоё наказание, я предостерегала тебя и во плоти, и в царстве Аменти. Но говорю тебе, есть путь к раскаянию, и твоя нога уже вступила на него, по нему ты должен идти с смиренным сердцем, вкушая вою горечь жизни, пока наступит искупление!

— Итак, у меня нет надежды, о, священная?

— Что сделано, Гармахис, того изменить нельзя. Египет не будет свободен, пока его храмы не покроются пылью заустения, чужеземные народы веками будут держать его в рабстве и в цепях, появятся новые религии в тени его пирамид, ибо боги изменяются для каждого мира, племени и века! Вот дерево, которое произрастёт от семени твоего греха и греха тех, кто соблазнил тебя, Гармахис!

— Увы! Я погиб! — вскричал я.

— Да, ты погиб! Но вот что дано тебе: ты погубишь ту, которая погубила тебя, так предопределено в целях моего правосудия. Когда тебе будет знамение, встань, иди к Клеопатре и соверши мщение над ней! И для тебя ещё одно слово, Гармахис, ибо ты оттолкнул меня и не увидишь меря более лицом к лицу до тех пор, пока пройдут века и последний плод греха твоего исчезнет с лица земли! Через пустоту бесчисленных веков помни, что божественная любовь — вечная любовь и не может реет уничтожиться, как бы она ни отдалилась от тебя. Раскайся, мой сын, раскайся и твори добро, пока есть ещё время, чтобы при наступлении мрачного конца веков ты мог соединиться со мной. Хотя ты не увидишь меня, Гармахис, хотя моё имя, под которым ты знаешь меня, делается ничтожным звуком для тех, кто будет после тебя, хотя я, — вечно пребывающая, видевшая гибель миров, которые увядали и, под деланием времени, обращались в ничто, чтобы опять возродиться и вращаться в пространстве, — говорю тебе, я буду сопутствовать тебе! Куда ты ни пойдёшь, в какой форме ты ни будешь жить, я буду с тобой! Теперь не смей более произносить великого и властного слова, пока должное не совершится! Гармахис, на время прощай!

Замер последний звук дивного голоса, и огненный змей свернулся в сердце облака. Облако скатилось с рогов месяца и исчезло во мраке. Видение месяца потускнело и пропало. Богиня удалилась, ещё раз зазвучала систра — и всё замолкло.

Я спрятал лицо в одежду, и, хотя моя простёртая рука касалась охладевшего тела моего отца, который умер, проклиная меня, я почувствовал, что надежда прокралась в моё сердце. Потом усталость охватила меня и я уснул.

Проснулся я, когда уже слабые лучи рассвета пробирались через отверстие в крыше. Тенью ложились они на украшенные скульптурой стены и мертвенным светом озаряли застывшее лицо и белую бороду моего отца, почившего в Озирисе. Я вскочил на ноги, припомнил всё и удивился в сердце моём, не зная, что делать с собой, потом я услышал слабый звук шагов по переходам фараонов.

— Ля, ля, ля! — бормотал голос старой Атуи. — Как темно в этом доме смерти! Священные строители храма не любили благословенного солнца, хотя и поклонялись ему! Где же завеса?

Завеса отдёрнулась — и Атуа вошла, держа палку в одной руке и корзину в другой. Лицо её стало морщинистее; жидкие локоны поседели, но в остальном она нисколько не изменилась. Она стала и оглядывалась вокруг себя своими острыми чёрными глазами.

— Где же он? — бормотала она. — Озирис, вечная слава твоему имени, ниспошли, чтобы он не ходил ночью, ведь он слеп! Ах, зачем я не могла вернуться ранее? Увы! Какое время переживаем мы! Священный, великий жрец и правитель Абуфиса оставлен с одной дряхлой старухой, которая ухаживает за ним! О, Гармахис, мой бедный мальчик, ты привёл всё это горе к нашим дверям! Что это с ним? Неужели он спит тут, на полу? Это было бы смертью для него! Князь! Святой отец! Аменемхат! Проснись! Встань! — И старуха, хромая, подошла к телу. — Что же это? Клянусь Озирисом, он умер! Покинутый, один! Умер, умер! — Она громко зарыдала, и эхо её плача разнеслось по пустынным залам и замерло вдали.

— Тише, женщина! Тише! — сказал я, выходя из тени.

— О, кто ты? — вскричала она, уронив корзину. — Негодный человек, не ты ли убил святого, единственного святого во всём Египте? Проклятие падёт на тебя, и хотя боги, кажется, отвернулись от нас в час скорби и печали, но руки их длинны, и они отомстят тебе, убившему их избранника!

— Посмотри на меня, Атуа! — вскричал я.

— Посмотреть! Да, я смотрю — ты негодный бродяга, совершивший жестокое убийство! Гармахис — изменник и погиб навеки, а Аменемхат, его святой отец, убит, и я осталась одна, без рода и племени! Я всё отдала за него, за Гармахиса, за изменника! Иди, убей меня так же, негодный, проклятый человек!

Я сделал шаг по направлению к ней, а она, думая, что я хочу убить её, закричала от страха.

— Нет, нет, добрый господин, пощади меня! Мне минет восемьдесят шесть лет в будущий разлив Нила, и я не хотела бы умирать, хотя Озирис милостив к старухе, которая служит ему! Не подходи! Нет! Помогите! Помогите!

— Ты помешалась, старуха, молчи! — сказал я. — Разве ты не узнаешь меня?

— Узнать тебя? Разве я могу знать всех странствующих моряков? Ах, нет, как странно! Это изменившееся лицо! Этот шрам! Эта неверная походка! Это ты, Гармахис? Ты, мой мальчик? Ты пришёл назад порадовать мои старые глаза! Я надеялась, что ты умер! Дай мне обнять тебя! Нет, я забыла! Гармахис — изменник, убийца! Здесь лежит святой Аменемхат, убитый изменником Гармахисом! Уходи прочь! Я не хочу видеть изменника и убийцу! Ступай к своей распутнице! Не тебя я выкормила и вынянчила!

— Тише, женщина, не кричи! Я не убил отца, он умер, увы! Умер на моих руках!

— И, наверное, проклял тебя, Гармахис! Ты убил того, кто дал тебе жизнь. Ля, ля! Я — стара и видела много горя, но это самое тяжёлое из всех! Никогда не любила я мумий! А теперь хотела бы быть мумией!

Уходи прочь, прошу тебя!

— Кормилица, не упрекай меня! Разве я не довольно выстрадал?

— Да, да, я забыла! Ладно! И какой твой грех? Женщина погубила тебя! Она губила людей до тебя и будет губить после тебя! И какая женщина! Ля! Ля! Я видела её: красота её неизъяснимая, какой не было и не будет больше, — стрела, пущенная злыми богами на погибель людей! А ты — юноша, воспитанный жрецами, — дурное воспитание! Очень плохое воспитание. То была неравная борьба! Что тут удивительного, если она победила тебя! Иди, Гармахис, и дай мне поцеловать тебя! Женщина не может сурово отнестись к мужчине за то, что он возлюбил её пол! Такова потребность природы, а природа знает своё дело! Иначе она сотворила бы нас иначе. Но здесь вышло скверное дело. Знаешь ли, твоя македонская царица захватила все доходы и земли храма, выгнала жрецов — кроме святого Аменемхата, который лежит здесь, и которого она не тронула не знаю почему, — и прекратила поклонение богам в этих стенах?! Хорошо, он умер! Он ушёл от нас! Поистине, ему лучше у Озириса, так как жизнь была для него тяжким бременем. И послушай, Гармахис! Он не оставил тебя с пустыми руками. Как только заговор был уничтожен, он собрал всё своё богатство, — а оно немало, — и спрятал его. Где? Я укажу тебе! Оно — твоё, по праву происхождения!

— Не говори мне о богатстве, Атуа! Куда мне уйти, где спрятать мой позор?

— Да, правда, правда! Ты не можешь остаться здесь, если они найдут тебя, то предадут ужасной смерти; они задушат тебя! Нет, я скрою тебя. Когда похоронные обряды над святым Аменемхатом будут закончены, мы уйдём с тобой отсюда, скроемся от глаз людей, пока всё это не забудется! Ля, ля, ля! Печальный мир, полный скорби, как грязь Нила! Пойдём, Гармахис, пойдём!

III

Жизнь того, кто назывался учёным Олимпом, в гробнице арфистов, близ Тапе. — Совет, данный им Клеопатре. — Посол Хармионы. — Олимп отправляется в Александрию.

Восемь дней скрывала меня Атуа, пока тело князя Аменемхата, моего отца, было набальзамировано искусными людьми и приготовлено к погребению. Когда всё было в порядке, я тайно вышел из моего убежища, принёс жертвы духу моего отца и, положив цветы лотоса на его мёртвую грудь, ушёл с тоской в сердце. На следующий день, спрятавшись, я видел из моего окна, как жрецы храма Озириса и священной Изиды несли в торжественной процессии его раскрашенный гроб к священному озеру и поставили его под погребальный балдахин, на священную лодку; видел, как они прославляли усопшего, называя его справедливейшим из людей, потом понесли его и положили рядом с женой, моей матерью, в глубокую гробницу, которую он высек в скале близ священного Озириса. Тут, рядом с ними, надеялся и я, несмотря на мою преступность, когда-нибудь уснуть вечным сном.

Когда всё было кончено и глубокая гробница запечатана, богатство, оставленное моим отцом, было вынато из потаённой сокровищницы и положено в безопасное место, а я, переодетый, отправился с старухой Атуей к Нилу. Наконец мы дошли до Тапе^[94], и я прожил в этом великом городе до тех пор, пока не нашёл места, где мог укрыться от всех.

К северу от Тапе находятся коричневые огромные холмы и пустынные, выжженные солнцем долины. В этом печальном уединённом месте мои предки, божественные фараоны, устроили свои гробницы, высеченные в твёрдых скалах. Большая часть этих гробниц не известна никому и до сих пор, так искусно они скрыты в скалах. Но некоторые из них открыты проклятыми персами и другими грабителями, искавшими в них сокровища.

Однажды ночью — только ночью я выходил из своего убежища, — как только заря позолотила вершины гор, я прогуливался в печальной долине смерти (другой, подобной нет нигде в мире) и подошёл к входу в гробницу, скрытому в огромной скале. Я знал раньше, что тут, в гробнице, место упокоения божественного Рамзеса, третьего фараона этого имени, давно почившего в Озирисе. При слабом свете зари, пробравшись в отверстие входа, я увидел, что гробница обширна и включает в себе несколько комнат.

На следующую ночь я вернулся сюда с Атуей и принёс свечей. Старая кормилица так же усердно ухаживала теперь за мной, как в младенчестве, когда я был бессмысленным ребёнком. Мы нашли великую гробницу, вошли в большой зал гранитного саркофага, в котором спит божественный Рамзес, и увидели таинственные рисунки на стенах: символ бесконечного змея, символ Ра, покоившегося на жуке скарабее, символ Ра, покоившегося в Нуте, символ безголовых людей и другие изображения, символы которых я, как посвящённый, скоро понял. Пройдя по длинному проходу, я нашёл комнаты с прекрасными рисунками на стенах и всякими другими вещами. Внизу каждой комнаты были похоронены мастера и начальники ремесленников в доме божественного Рамзеса, которые были изображены на рисунках. На стенах последней комнаты слева, по направлению к гранитному залу саркофага, висели рисунки удивительной

красоты и изображения двух слепых арфистов, играющих на своих арфах перед богом Му.

Здесь, в этом мрачном месте, в гробнице арфистов, по соседству с мертвецами, и поселился я. Здесь в течение восьми лет я работал над собой, совершал своё покаяние и очищение. Атуа, которая любила солнечный свет, поселилась в комнате лодок, в первой комнате направо от галереи по направлению к залу саркофага.

Образ жизни мой был таков. Через каждые два дня Атуа уходила в город и приносила оттуда воды, пищи, необходимой для поддержания жизни, и свеч, сделанных из жира. В час восхода солнца и в час заката его я выходил гулять в долину, чтобы поддержать своё здоровье и сохранить глаза от вечного мрака гробницы. Всё остальное время дня и ночи, кроме трёх часов, которые я проводил на горе, созерцая течение звёзд, я посвящал молитве, размышлению и сну, пока облако греха не исчезло из моего сердца, и я снова приблизился к богам. Но с моей небесной матерью Изидой я не мог более говорить. Я научился мудрости, размышляя о тех тайнах, к которым имел ключ. Воздержание, молитва и тихое уединение убили грубость моей плоти, и я научился духовными очами глубоко проникать в сущность вещей, и радость мудрости, подобно росе, пала на мою душу.

Между тем в городе скоро разнёсся слух, что святой человек по имени Олимп живёт в уединении в гробнице, в страшной долине смерти, и ко мне начал стекаться народ, принося больных и прося полечить их. Тогда я углубился в изучение трав, в чём помогала мне Атуа, и благодаря глубине мыслей скоро сделался искусным в медицине.

По мере того, как время шло, моя слава возрастала. Говорили, что я учёный маг и имею общение в гробнице с духами смерти. И это было верно, хотя я не должен и не смею говорить об этом.

Я продолжал лечить, и Атуе не нужно было теперь ходить в город за водой и пищей, так как народ в изобилии приносил мне всего более, чем было нужно, ибо я не брал платы. Сначала, опасаясь, что кто-нибудь может узнать в лице отшельника Олимпа пропавшего Гармахиса, я встречал всех приходивших ко мне в гробнице. Но потом, когда узнал, что в стране укоренился слух о смерти Гармахиса, я начал выходить из гробницы, садился около входа и лечил больных, иногда даже по чьей-нибудь просьбе составлял гороскоп.

Моя слава всё возрастала. Люди путешествовали ко мне из Мемфиса, Александрии. От людей же я узнал, что Антоний на некоторое время оставил Клеопатру и так как жена его Фульвия умерла, то женился на Октавии, сестре Цезаря. Много и других слухов узнал я от них.

На второй год моего пребывания в гробнице я послал старую Атую, переодетую продавщицей трав, в Александрию, чтобы отыскать Хармиону и, если она предана мне, открыть ей тайну моего образа жизни. Атуа ушла и вернулась через пять месяцев, принесла мне привет и подарок от Хармионы. Старуха рассказала мне, что нашла возможность увидеть Хармиону и в разговоре с ней упомянула о Гармахисе как об умершем. Хармиона не могла скрыть свою печаль и громко заплакала. Тогда, читая в её сердце, — Атуа была очень проницательна и умела читать в человеческом сердце, — старуха сказала ей, что Гармахис жив и посылает ей привет. Хармиона сильно обрадовалась, расцеловала старуху и одарила, прося передать мне, что она помнит свой обет и ждёт часа возмездия. Узнав много придворных тайн, Атуа вернулась в Тапе. В следующем году ко мне пришли послы от Клеопатры и принесли запечатанный свиток и большие дары. Я распечатал свиток и прочитал его. «Клеопатра — Олимпу, учёному египтянину, обитающему в долине смерти, близ Тапе, — стояло в начале свитка. — Слава твоя, учёный Олимп, достигла наших ушей. Ответь нам, и, если ты верно скажешь, получишь почести и богатство более чем кто другой в Египте! Скажи, как нам вернуть к себе любовь благородного Антония, околдованного Октавией, который медлит далеко от нас?»

Я видел в этом руку Хармионы, которая рассказала обо мне Клеопатре, в эту ночь долго совещался с своей мудростью и утром написал ответ — то, что было вложено богами в моё сердце на погибель Клеопатры и Антония.

«Олимп, египтянин — царице Клеопатре.

Иди в Сирию с тем, кто будет послан проводить тебя. Ты вернёшь Антония в свои объятия и с ним дары большие, чем можешь думать!»

Это письмо я отдал послам Клеопатры, приказав им разделить между собой подарки, присланные мне царицей. Они ушли, очень удивлённые. Клеопатра быстро ухватилась за мой совет, согласный с побуждением её страстного сердца, и отправилась с Фонтейем Капито в Сирию. Там всё произошло, как я предсказал. Антоний вернулся к ней и подарил ей большую часть Киликии, берега Аравии, Набатуи, бальзамоносные провинции Иудеи, провинцию Финикию, провинцию Сирию, богатый остров Кипр и книгохранилище Пергама. Обоих детей, которых Клеопатра родила Антонию, он велел называть «царскими детьми» и дал им имена: Александра-Гелиоса — греческое имя солнца и Клеопатры-Селены — легкокрылая луна.

Возвратившись в Александрию, Клеопатра прислала мне богатые дары, но я не принял их; и в то же время царица просила учёного Олимпа прийти к ней в Александрию. Но время ещё не пришло, и я не пошёл. Потом и она, и Антоний несколько раз присылали ко мне, прося моих советов.

Я всегда давал им советы, клонящиеся к их гибели, и предсказания мои всегда исполнялись.

Прошло несколько лет, и я, отшельник Олимп, обитатель гробницы, питавшийся только хлебом и водой, силой мудрости, дарованной мне богами, сделался великим человеком в Египте.

И чем более я попираю ногами желания плоти и обращаюсь к небу, тем всё сильнее преуспевал в мудрости и глубокомыслии.

Наконец протекло полных восемь лет. Война с парфеянами началась и окончилась; Артабаз, побеждённый царь Армении, был позорно проведён по улицам Александрии. Клеопатра посетила Самос и Афины, и по её настоянию благородная Октавия была выгнана из дома Антония в Рим, как наскучившая наложница. Наконец чаша безумств Антония переполнилась. Владыка мира потерял свой светлый разум и погиб в любви Клеопатры так же, как и я.

Октавий объявил ему войну.

Однажды, когда я спал в комнате арфистов в гробнице фараона близ Тапе, ко мне явился призрак моего отца, престарелого Аменемхата. Он остановился против меня, опираясь на посох.

— Посмотри, мой сын! — сказал он.

Я посмотрел вдаль и духовными очами увидел море и два больших флота, готовых к войне и плывущих к скалистому берегу. Один флот принадлежал Октавию, другой — Клеопатре и Антонию. Корабли их пробуровили корабли цезаря и захватили их, так что победа клонилась на сторону Антония. Я снова посмотрел туда. На раззолоченной галере находилась Клеопатра, ожидавшая окончания боя. Тогда силой своего духа и воли я заставил её услышать голос умершего Гармахиса, который кричал ей:

«Беги, Клеопатра, беги или погибнешь!»

Она дико огляделась и снова услышала голос духа.

Ужасный страх овладел ею. Она приказала матросам готовиться к отплытию и дать сигнал всему флоту. Те взглянули на неё с презрением, но всё-таки флот поспешно бежал с поля битвы.

Громкий рёв тысячи голосов раздался со своих и неприятельских кораблей.

«Клеопатра бежала! Клеопатра бежала!»

Я видел ужас и гибель флота Антония и очнулся от моего сна.

Прошло несколько дней. Я снова увидел призрак моего отца.

— Встань, сын мой! — сказал он мне. — Час мщения настал! Твой замысел удался, молитвы твои услышаны! Милостью богов, когда Клеопатра находилась в галере, во время битвы при Акциуме, сердце её наполнилось страхом, ей послышался голос, приказывающий ей бежать, иначе предрекая гибель! И весь её флот бежал! Морские силы Антония разбиты. Иди и поступай так, как будет указано тебе!

Утром я проснулся удивлённый, вышел из входа в гробницу и увидел идущих по долине послов Клеопатры. С ними шёл египетский воин.

— Что вам надо от меня? — сурово спросил я.

— Мы пришли послами от царицы и великого Антония! — отвечал военачальник, низко кланяясь мне, так как все в Египте боялись меня. — Царица требует твоего присутствия в Александрии. Несколько раз она посылала за тобой, «о ты не хотел идти. Теперь она приказывает тебе непременно прийти, скорее, так как она нуждается в твоём совете!

— А если я скажу «нет», тогда что?

— Тогда мне дано приказание, могущественнейший Олимп, привести тебя силой!

Я громко засмеялся.

— Силой, безумец! Смеешь ли ты так говорить со мной? Я могу поразить тебя сейчас! Знай, что я умею убивать так же хорошо, как исцелять!

— Прости меня, умоляю! — отвечал он, дрожа. — Я сказал то, что мне приказано!

— Хорошо, я знаю это, воин! Не бойся, я приду!

На следующий день я отправился вместе с Атуей в Александрию, уйдя так же тайно от всех, как и пришёл. Гробница божественного Рамзеса не видела меня больше. Уходя, я захватил с собой сокровища, оставленные мне моим отцом Аменемхатом, ибо не хотел идти в Александрию с пустыми руками, а человеком с деньгами и положением. По дороге мы узнали, что Антоний последовал за Клеопатрой, бежал от Акциума, но тут понял, что конец их близок.

Во мраке и уединении гробниц близ Тапе и я предвидел всё это и многое другое.

Наконец я пришёл в Александрию и вошёл в дом, приготовленный для меня у ворот дворца.

В эту самую ночь пришла ко мне Хармиона, которую я не видел десять долгих лет.

IV

Встреча Хармионы с учёным Олимпом

Их разговор

Олимп приходит к Клеопатре

Приказания Клеопатры.

Одетый в простую чёрную одежду, я сидел в комнате посетителей в приготовленном для меня доме. Подо мною было резное кресло с львиными ножками, у двери, на ковре, лежала старая Атуа.

Итак, я снова очутился в Александрии, но как не похоже было второе посещение этого города на прежнее. Что стало со мной? Я взглянул на бывшее в комнате зеркало и увидел бледное, морщинистое лицо, на котором никогда не появлялась улыбка, большие глаза потускнели и, словно пустые впадины, смотрели из-под бровей обритой головы; худое, тощее тело, высохшее от воздержания, скорби и молитвы, длинная борода железного цвета, высохшие руки с сильными жилами, вечно трясущиеся, как лист, сторбленные плечи и ослабевшие члены. Время и печали сделали своё дело: я едва мог узнать в этом старике себя, царственного Гармахиса, который во всём блеске силы и юношеской красоты в первый раз взглянул на красоту женщины, погубившей его. Но в груди моей горел прежний огонь: ведь время и скорби не могут изменить бессмертного духа человека.

Вдруг в дверь постучали.

— Открой, Атуа! — сказал я.

Она встала и исполнила моё приказание. Вошла женщина, одетая в греческое одеяние: то была Хармиона, такая же красивая, как прежде. Но лицо её было печально и кротко на вид, а в полуопущенных глазах горел светлый огонь терпения.

Она вошла неожиданно. Старуха молча указала ей на меня и ушла.

— Старик, — сказала она, обращаясь ко мне, — проведи меня к учёному Олимпу. Я пришла по делу царицы!

Я встал, поднял голову и взглянул на неё. Она слегка вскрикнула.

— Наверное, — прошептала она, оглядываясь вокруг, — ты не... не тот... — И умолкла.

— Тот Гармахис, которого любило твоё безумное сердце, о, Хармиона? Да, я Гармахис, которого ты видишь, прекраснейшая госпожа! Тот Гармахис, которого ты любила, умер, а Олимп, искусный египтянин, ожидает снова твоих приказаний!

— Молчи! — сказала она. — Ни слова о прошлом, и зачем? Пускай оно спит! Ты со всей мудростью не

знаешь женского сердца, если думаешь, что оно может измениться вместе с переменой внешних форм жизни. Оно не изменяется и следует за своей любовью до последнего места покоя — до могилы! Знай, учёный врач, я из тех женщин, что любят один раз в жизни, любят навсегда и, не получив ответа на свою любовь, сходят в могилу девственными!

Она замолчала, и, не зная, что сказать ей, я наклонил голову в ответ. Я ничего ей не сказал, и, хотя безумная любовь этой женщины была причиной моей гибели, я, говорю по правде, в глубине души благодарен ей. Живя среди соблазнов бесстыдного двора Клеопатры, она осталась все эти долгие годы верна своей отвергнутой любви, и когда изгнанник, бедный раб судьбы, вернулся безобразным стариком, ему всё ещё принадлежало её преданное сердце. Какой человек не оценит этого редкого и прекраснейшего дара — совершенного чувства, которого нельзя купить ни за какие деньги, — искренней любви женщины?

— Благодарю тебя, что ты не ответил мне, — сказала Хармиона, — горькие слова, сказанные тобой в те далёкие дни, что давно умерли, когда ты уходил из Тарса, не потеряли ещё своей смертоносной силы и в моём сердце нет более места для стрел презрения — оно измучено годами одиночества. Да будет так! Смотри! Я сбрасываю эту дикую страсть с моей души! — Она взглянула и протянула руки, словно отталкивая кого-то невидимого. — Я сбрасываю это с себя, но забыть не могу! Всё это покончено, Гармахис, моя любовь не будет больше беспокоить тебя! С меня довольно, что мои глаза увидели тебя, прежде чем вечный сон закроет их навсегда! Помнишь ли ты ту минуту, когда я хотела умереть от твоей дорогой руки? Ты не хотел убить меня, но велел жить, пожиная горький плод моего преступления, мучиться страшными видениями и вечным воспоминанием о тебе, которого я погубила? — Да, Хармиона, я хорошо помню это!

— О, чаша наказания была выпита мною сполна!

Если бы ты мог заглянуть в моё сердце, прочитать все перенесённые страдания — я страдала с улыбающимся лицом, — твоя справедливость была бы удовлетворена!

— Однако, Хармиона, если слухи верны, ты — первая при дворе, самая сильная и любимая! Разве Октавий не сказал, что ведёт войну не с Антонием, а с его возлюбленной Клеопатрой, с Хармионой и Ирой?

— Да, Гармахис! Подумай, чего мне стоило, в силу моей клятвы тебе, принуждать себя есть хлеб и исполнять приказания той, которую я горько ненавижу! Она отняла тебя у меня, разбудила мою ревность и сделала меня преступницей, навлекшей позор на тебя и гибель Египту. Разве драгоценные камни, богатство, лесть князей и сановников могут дать счастье мне, которая чувствует себя несчастнее самой простой судомойки? Я много плакала, плакала до слепоты, а когда наступало время, вставала, наряжалась и с улыбкой на лице шла исполнять приказания царицы и этого грубого Антония. Пошлют ли мне боги свою милость — видеть их смерть, их обоих? Тогда я была бы довольна и умерла бы сама! Тяжёл твой жребий, Гармахис, но ты был свободен, и много завидовала я в душе уединению твоей пещеры!

— Я вижу, Хармиона, ты твёрдо помнишь свой обет. Это хорошо, час мщения близок!

— Я помню его и работала тайно для тебя и для гибели Клеопатры и римлянина! Я раздувала его страсть и её ревность, толкала её на злодеяния, а его — на безумие и о всём доносила цезарю. Дело обстоит так. Ты знаешь, чем кончился бой при Акциуме. Клеопатра явилась туда со всем флотом против воли Антония. Но я, когда ты прислал мне весть о себе, разговаривала с ним о царице, умоляя его со слезами, чтобы он не оставлял её, иначе она умрёт с печали. Антоний, бедный раб, поверил мне. И когда в разгаре боя она бежала, не знаю почему, может быть, ты знаешь, Гармахис, подав сигнал своему флоту, и отплыла в Пелопоннес, — заметь себе, когда Антоний увидел, что её нет, он, в своём безумии, взял галеру и, бросив всё, последовал за ней, предоставив флоту погибать и затонуть. Его великая армия в двадцать

легионов и двенадцать тысяч всадников осталась в Греции без вождя. Никто не верил, что Антоний, поражённый богами, мог так глубоко и позорно пасть! Некоторое время войско колебалось, но сегодня ночью пришло известие: измученные сомнением, уверившись, что Антоний позорно бросил их, все войска предались цезарю.

— Где же Антоний?

— Он построил себе дом на маленьком острове, в большей гавани, и назвал его Тимониум. Там он, подобно Тимону, кричит о неблагодарности рода человеческого, который его покинул. Он лежит там и мечется, как безумный, и ты должен идти туда, по желанию царицы, полечить его от болезни и вернуть в её объятия. Он не хочет видеть её, хотя ещё не знает всего ужаса своего несчастья. Но прежде всего мне приказали привести тебя немедленно к Клеопатре, которая хочет спросить у тебя совета!

— Иду, — ответил я, вставая, — пойдём!

Мы прошли ворота дворца, вошли в алебастровый зал, и я снова стоял перед дверью комнаты Клеопатры, и снова Хармиона оставила меня здесь подождать, хотя сейчас же вернулась назад.

— Укрепи своё сердце, — прошептала она, — не выдай себя, ведь глаза Клеопатры пронизательны. Входи!

— Да, они должны быть очень пронизательны, чтобы разглядеть Гармахиса в учёном Олимпе! Если бы я не захотел, ты сама не узнала бы меня, Хармиона! — ответил я.

Я вошёл в эту памятную для меня комнату, прислушался к плеску фонтана, к песне соловья, к рокоту моря! Склонив голову и хромя, подошёл я к ложу, Клеопатриному золотому ложу, на котором она сидела в ту памятную ночь, когда покорила меня себе безвозвратно! Собрав все свои силы, я взглянул на неё. Передо мной была Клеопатра, прекрасная, как прежде, но как (изменилась она с той ночи, когда я видел её в объятиях Антония в Тарсе! Её красота облекала её, как платье, (глаза были по-прежнему глубоки и загадочны, как море, лицо сияло прежней ослепительной красотой! И всё-таки она изменилась! Время, которое не могло уничтожить её прелестей, наложило на неё печать усталости и горя. Страсти, бушевавшие в её пламенном сердце, оставили след на её челе, и в глазах её блеснул грустный огонёк.

Я низко склонился перед этой царственной женщиной, которая была моей любовью и гибелью и не узнавала меня теперь.

Она устало взглянула на меня и заговорила тихим, памятным мне голосом.

— Наконец ты пришёл ко мне, врач! Как зовут тебя?

Олимп? Это имя много обещает: теперь, когда боги Египта покинули нас, мы нуждаемся в помощи Олимпа. У тебя учёный вид, так как учёность не уживается с красотой. Но странно, твоё лицо напоминает мне кого-то. Скажи, Олимп, мы не встречались с тобой?..

— Никогда в жизни, царица, мои глаза не лицезрели твоего лица, — отвечал я, изменив голос, — никогда, до той минуты, когда я пришёл из моего уединения по твоему приказанию, чтобы лечить тебя!

— Странно! Даже голос! Он напоминает мне что-то, чего, я не могу уловить. Ты сказал, что никогда не видал меня в жизни, может быть, я видела тебя во сне?

— О да, царица, мы встречались во сне!

— Ты — странный человек, но, если слухи верны, очень учёный! Поистине, я помню твой совет, который ты дал мне — соединиться с моим господином Антонием в Сирии, и твоё предсказание исполнилось! Ты должен быть искусным в составлении гороскопа и в тайных науках, о которых в Александрии не имеют понятия! Когда-то я знала одного человека, Гармахиса, — она вздохнула, — но он

давно умер, и я хотела бы умереть! Временами я тоскую о нём!

Она замолчала; я, опустив голову на грудь, стоял перед ней молча.

— Объясни мне, Олимп! В битве при этом проклятом Акциуме, когда бой был в разгаре и победа улыбалась нам, страшный ужас охватил моё сердце, глубокая темнота покрыла мои глаза, и в моих ушах прозвучал голос давно умершего Гармахиса. «Беги, беги или погибнешь!» — кричал он. И я бежала. Страх, овладевший мной, перешёл в сердце Антония, он последовал за мной — и битва была проиграна. Скажи, не боги ли послали нам это несчастье?

— Нет, царица, — отвечал я, — это не боги! Разве ты прогневала египетских богов? Разве ты разграбила их храм? Разве ты обманула доверие Египта? Ты ведь невиновна во всём этом, за что боги будут гневаться на тебя? Не бойся! Это естественное утомление мозга, овладевшее твоей нежной душой, не привыкшей к зрелищу и звукам битв! Что касается благородного Антония, он должен следовать за тобой повсюду!

Пока я говорил, Клеопатра повернулась ко мне, бледная, трепещущая, смотря на меня, словно стараясь угадать мою мысль. Я хорошо знал, что её несчастье — мщение богов, которые избрали меня орудием этого мщения!

— Учёный Олимп! — сказала она, не отвечая на мои слова. — Мой господин Антоний болен и измучен печалью! Подобно бедному, загнанному рабу, он прячется в башне у моря, избегает людей.

Вот моё приказание тебе! Завтра с рассветом иди в сопровождении Хармионы, моей прислужницы, плыви к башне и требуй, чтобы тебя впустили, скажи, что ты принёс известия о войске. Ты должен передать тяжёлые новости, принесённые Канидием. Когда его печаль стихнет, успокой, Олимп, его горячечный бред своими драгоценными лекарствами, а душу — мягким словом и возврати его мне, тогда всё пойдёт хорошо! Сделай это, Олимп, и ты получишь лучшие дары.

— Не бойся, царица, — отвечал я, — всё будет сделано. Я не прошу награды, ибо пришёл сюда, чтобы исполнять твои приказания до конца!

Я низко поклонился и ушёл, затем, позвав Атую, приготовил нужное лекарство.

V

Возвращение Антония из Тимониума к Клеопатре

Пир Клеопатры

Смерть дворецкого Евдозия.

Ещё до рассвета Хармиона пришла ко мне. Мы отправились в дворцовую гавань, взяли лодку и поплыли к гористому острову, на котором возвышается Тимониум, маленькая, круглая и крепкая башня со сводами. Пристав к берегу, мы оба подошли к воротам и начали стучать в них, пока решётка не отворилась перед нами. Пожилой евнух выглянул из двери и грубо спросил, что нам нужно.

— У нас есть дело к господину Антонию! — сказала Хармиона.

— Какое там дело? Антоний, господин мой, не желает видеть ни мужчин, ни женщин!

— Он захочет увидеть нас, так как мы принесли ему известия. Пойди и скажи, что госпожа Хармиона принесла известия о войне.

Слуга ушёл и сейчас же вернулся.

— Господин Антоний хочет знать, дурные это или хорошие известия! Если дурные, он не хочет слышать их, так как у него и так много дурного!

— И хорошие, и дурные! Отвори, раб, я сама скажу всё твоему господину! — С этими словами Хармиона просунула мешочек с золотом сквозь решётку ворот.

— Ладно, хорошо! — проворчал он, взяв золото. — Времена трудные и будут ещё труднее! Когда лев лежит, кто будет питать шакалов? Неси сама ему свои новости, и как ты сумеешь вытащить благородного Антония из этого места стенаний, я не забочусь об этом! Двери дворца открыты, а вот тут ход в столовую!

Мы вошли и очутились в узком проходе, где, оставив евнуха запираать двери, стали подвигаться вперёд, пока не увидели занавеса. Откинув его, мы прошли в комнату со сводами, плохо освещённую сверху. В отдалённом углу комнаты находилось ложе, покрытое коврами, на котором скорчилась фигура человека с лицом, спрятанным в складки тоги.

— Благороднейший Антоний, — сказала Хармиона, подходя к нему, — открой своё лицо и выслушай меня, я принесла тебе известия!

Он поднял голову. Его лицо измождено было печалью, спутанные волосы, поседевшие с годами, висели над впалыми глазами, на подбородке белелась небритая борода. Платье было грязно; он представлял из себя жалкую фигуру, казался несчастнее каждого бедняка-нищего, стоящего у ворот храма! Вот до чего довела любовь Клеопатры победоносного, великого Антония, когда-то владыку полумира!

— Что тебе нужно, госпожа, — произнёс он, — от того, кто погибает здесь один? Кто пришёл с тобой

полюбоваться павшим и покинутым Антонием?

— Это — Олимп, благородный Антоний, мудрый врач, Искусный в предсказаниях, о котором ты много слышал! Клеопатра заботится о твоём здоровье и прислала его полечить тебя!

— Разве врач может исцелить такую скорбь, как моя? Разве его лекарства вернут мне мои галеры, мою честь, мой покой? Нет! Ступай, врач! А у тебя какие же известия? Говори скорее! Может быть, Канидий разбил цезаря? О, скажи мне это и получишь целую провинцию в награду! А если Октавий умер, то 12000 сестерций, чтобы пополнить сокровищницу. Говори! Нет, не надо! Не говори! Я боюсь слов на твоих устах, а никогда прежде не боялся ничего на земле! Быть может, колесо фортуны повернулось и Канидий разбит? Так? Не надо больше!

— О? благородный Антоний! — сказала Хармиона. — Укрепи своё сердце, чтобы услышать то, что я должна сказать тебе! Канидий — в Александрии. Он бежал быстро, и вот его известия! Целых семь дней ожидали легионы прибытия Антония, чтобы он вёл их к победе, как бывало, и отталкивали все предложения и посулы цезаря. Но Антоний не приходил. До них дошёл слух, что Антоний бежал в Тенару, вслед за Клеопатрой. Человека, который принёс это известие в лагерь, легионеры осыпали ругательствами и убили. Но слух разрастался, и, наконец, они не могли сомневаться! Тогда, о Антоний, все твои военачальники, один за другим, перешли к цезарю, а за ними последовало войско. Но это ещё не всё. Твои союзники: Бокх из Африки, Таркондимод из Киликии, Митридат из Коммагена и все другие, все до одного — бежали или приказали своим полководцам бежать обратно, откуда пришли. Их послы уже вымаливают милость у холодного цезаря!

— Скоро ли смолкнет твоё злое карканье, ты, ворона в павлиньих перьях? — спросил поражённый человек, поднимая своё страшное лицо. — Говори ещё! Скажи, что египтянка умерла во всей своей красоте, скажи, что Октавий подходит к Канопским воротам, что вместе с мёртвым Цицероном все духи ада радуются и кричат о позоре и падении Антония! Да, собери же все горести и несчастья на того, кто был некогда великим, излей их на седую голову того, кого ты в своей вежливости изволишь называть «благородным Антонием»!

— Нет, господин мой, я всё сказала, это кончено!

— Да, да, и я всё сказал, всё кончил! Всё это покончено совсем, и этим я завершу конец всего!

Он схватил с ложа меч и убил бы себя, если бы я не бросился к нему и не удержал его руки. Не в моих целях была его внезапная смерть. Если бы он умер теперь, Клеопатра заключила бы мир с цезарем, который желал более смерти Антония, чем гибели Египта.

— Не безумец ли ты, Антоний, или в самом деле трус? — вскричала Хармиона. — Ты хотел избежать горя и оставить твою Клеопатру лицом к лицу со всеми несчастьями?!

— Отчего нет, женщина? Отчего нет? Она недолго останется одна. Цезарь будет её спутником. Октавий любит прекрасных женщин, хотя холоден сердцем, а Клеопатра чудно хороша! Иди сюда, Олимп! Ты удержал мою руку от смертоносного удара, пусть твоя мудрость даст мне совет! Неужели я должен покориться цезарю? Я — триумвир, дважды консул, когда-то повелитель всего Востока — должен покорно следовать за триумфальной колесницей цезаря по римским улицам, по которым сам проходил победителем!

— Нет, господин, — отвечал я, — если ты покоришься, то будешь осуждён! Всю прошлую ночь я вопрошал судьбу о тебе и скажу тебе, что твоя звезда приблизилась к звезде цезаря, бледнеет и гаснет, но когда она уходит из лучезарного блеска звезды цезаря, то продолжает гореть ярким огнём, и слава твоя равна славе цезаря. Не всё ещё потеряно, а пока что-нибудь остаётся, всё ещё может быть приобретено. Египет можно поддержать, войско можно собрать. Цезарь пока удалился, его нет ещё у ворот

Александрии, и, быть может, он согласится заключить мир. Твой разгорячённый ум зажжёт твоё тело, ты болен и не можешь судить верно! Смотри, вот здесь питье, которое вылечит тебя: я очень искусен в медицине! — С этими словами я подал ему фиал.

— Напиток, говоришь ты! — вскричал он. — Вернее, это яд, а ты убийца, подсланный фальшивой египтянкой, которая рада теперь освободиться от меня, когда я не могу более служить ей! Голова Антония — это залог мира, который она пошлёт цезарю! Она, благодаря которой я всё, всё потерял! Дай мне лекарство, и, клянусь, я выпью его, хотя бы это был эликсир смерти!

— Нет, благородный Антоний, это не яд, и я — не убийца! Смотри, я сам испробую его! — Я выпил глоток напитка, обладавшего силой зажигать кровь человека.

— Дай его мне, врач! Отчаявшиеся люди — храбрые люди! Так! Но что это? Что такое? Ты дал мне волшебный напиток! Все мои печали улетели прочь, как грозовые облака под порывом южного ветра, и надежда пустила свежий росток в пустыне моего сердца! Я — снова Антоний! Я вижу копья моих легионов, сверкающие в лучах солнца, слышу громовые крики и приветствия Антонию, в своём блеске военной доблести скачущему вдоль рядов войска! У меня ещё есть надежда! Я могу ещё надеяться увидеть чело холодного цезаря, цезаря, который непогрешим во всём, кроме политики, — лишённое своих победных лавров и покрытое пылью стыда и позора!

— Да, — вскричала Хармиона, — надежда есть, если ты будешь мужем! О, господин мой! Вернись с нами! Вернись в нежные объятия Клеопатры! Каждую ночь она лежит без сна на своём золотом ложе и во мраке ночи стонет и зовёт Антония, который, отдавшись своей печали, забывает свой долг и свою любовь!

— Иду, иду! Стыд и позор, что я осмелился усомниться в ней. Раб, носи воды и пурпуровую одежду! Клеопатра не увидит меня таким. Сейчас иду!

Таким способом нам удалось привлечь снова Антония к Клеопатре, чтобы вернее упрочить гибель обоих. Мы сопровождали его по алебастровому залу до комнаты Клеопатры, где лежала она, разметав около лица свои роскошные волосы и плача. Горькие слёзы текли из её глубоких глаз.

— О, египтянка, — вскричал Антоний, — смотри, я снова у твоих ног!

Она соскочила с ложа.

— Ты ли это, любовь моя? — пробормотала она. — Теперь снова всё пойдёт, хорошо! Иди ко мне ближе и в моих объятиях забудь твои печали и обрати моё горе в радость! О, Антоний, пока у нас есть любовь наша, у нас есть всё! — Она упала к нему на грудь и начала безумно целовать его.

В тот же самый день Хармиона пришла ко мне и приказала приготовить самый страшный и сильный яд. Сначала я не хотел готовить его, боясь, что Клеопатра хочет отравить Антония раньше времени. Но Хармиона убедила меня, что это неверно, сообщив, для чего был нужен яд. Тогда я призвал Атую, искусную в собирании всяких трав, и после полудня мы всё время работали над страшным делом. Когда всё было готово, снова пришла Хармиона и принесла венок из свежих роз, который велела мне обмакнуть в яд, что я и сделал.

Ночью, на большом пиру у Клеопатры, я сидел около Антония, который поместился рядом с Клеопатрой. На его голове был надет отравленный венок.

Пир был в разгаре. Вино лилось рекой. Антоний и Клеопатра становились всё веселее. Она говорила ему о своих планах, рассказывала, что её галеры плывут теперь по каналу от Бубасты, по Пелузианскому притоку Нила к Клизме, находившейся близ Гирополиса. Клеопатра намеревалась, если цезарь будет упорствовать, бежать с Антонием, забрав все свои сокровища, к Арабскому заливу, куда не может плыть флот цезаря, чтобы найти убежище в Индии.

Впрочем, нужно сказать, что из этого плана ничего не вышло. Арабы из Патры сожгли галеры, предупреждённые александрийскими иудеями, которые ненавидели Клеопатру и были ненавистны ей. Я предупредил их об этом.

Покончив разговор, царица предложила Антонию выпить с ней кубок вина за успех её плана и попросила его, по своему примеру, обмакнуть веночек из роз в вино, чтобы сделать его ещё слаще и душистее. Антоний послушался, и она подняла и выпила свой кубок. Когда он поднял свой, чтобы выпить его, царица схватила его за руку и удержала, вскричав «Стой!» Антоний остановился в удивлении.

Среди слуг Клеопатры был некто Евдозий, дворецкий. Он, видя, что счастье начинает изменять Клеопатре, задумал бежать в эту ночь к цезарю, как сделали многие другие, забрав с собой все сокровища дворца, которые намеревался украсть. Но его план был открыт Клеопатрой, и она решила жестоко отомстить ему.

— Евдозий! — вскричала она (он стоял около неё). — Пойди сюда, мой преданный слуга! Посмотри на этого человека, благороднейший Антоний; несмотря на все наши несчастья, он верен нам и заботится о нас! Теперь он должен получить награду за свои лишения и свою верность из твоих собственных рук! Дай ему твой золотой кубок с вином и заставь его выпить за наш успех, а кубок он возьмёт себе в награду!

Всё ещё удивлённый Антоний подал кубок слуге. Евдозий, сознавая свою вину, взял кубок, но стоял, весь дрожа и не касаясь его.

— Пей, раб, пей! — вскричала Клеопатра, приподнявшись на своём ложе и устремив жестокий взгляд на его побелевшее лицо. — Клянусь Сераписом! Это так же верно, как то, что я буду сидеть в римском Капитолии, что, если ты ещё не будешь пить, словно насмехаясь над благородным Антонием, и велю переломать тебе кости и поливать твои раны красным вином! А! Наконец ты пьёшь. Что с тобой, мой добрый Евдозий! Ты болен? Разве это вино подобно воде зависти иудеев, которая имеет силу убивать фальшивого человека и подкреплять честного? Идите вы, там! Обыщите комнату этого человека! Мне кажется, что он изменник!

Несколько минут дворецкий стоял, охватив голову руками, потом начал трястись и с страшным криком упал на пол, затем вскочил на ноги и схватился руками за грудь, словно желая погасить огонь, который жёг его внутренность. Шатаясь, с мертвенно-бледным, искажённым лицом, с пеной на губах, он подошёл к ложу Клеопатры, которая наблюдала за ним с жестокой усмешкой на губах.

— А, изменник! Ты готов уже! — сказала она. — Сладка ли смерть, скажи!

— Развратница! — завыл умирающий. — Это ты отравила меня! Ты сама также умрёшь! — С криком он бросился на неё, но она, угадав его намерение, как тигр, отпрыгнула в сторону, так что тот успел только ухватиться за её царскую мантию и оборвал изумрудную пряжку. Затем он упал на пол и стал кататься по пурпурной мантии в страшных мучениях, пока не стих и умер. Его измученное лицо было страшно, и выпученные глаза вышли из орбит.

— А, — произнесла царица с жестоким смехом, — раб умер в мучениях и пытался увлечь меня за собой! Посмотрите, он взял у меня займы мою мантию! Унесите его прочь и похороните в этой ливрее!

— Что всё это значит, Клеопатра? — спросил Антоний, когда стража унесла труп. — Этот человек пил из моего кубка. Что за цель этой ужасной шутки?

— Она имеет двойную цель, благородный Антоний! В эту самую ночь этот человек хотел бежать к цезарю, захватив с собой наши сокровища! Слушай: ты боялся, что я отравлю тебя, мой господин, я знаю это! Смотри, Антоний, как легко бы я могла тебя убить, если бы захотела! Этот веночек из роз, который ты обмакнул в вино, отравлен страшным ядом. Если бы я хотела покончить с тобой, то не удержала бы твоей

руки! О, Антоний, с этой минуты верь мне всегда! Скорее я убью себя, чем трону хотя один волосок с твоей обожаемой головы! Смотри, вот вернулись люди, посланные обыскать комнату Евдозия! Говорите, что вы нашли там?

— Царица Египта! Все вещи в комнате Евдозия приготовлены к поспешному бегству, а в вещах мы нашли Много сокровищ!

— Слышишь? — сказала Клеопатра, мрачно улыбаясь. — Разве вы думаете, мои верные слуги, что Клеопатру легко обмануть? Пусть судьба этого римлянина будет предостережением для вас!

Воцарилась тишина. Страх охватил всех присутствовавших. Антоний сидел молчаливый и печальный.

VI

Учёный Олимп в Мемфисе. - Клеопатра испытывает яды

Речь Антония полководцам

Изида покидает Египет

Я, Гармахис, должен спешить, записывая то, что мне позволено, и многое оставляя недосказанным: меня предупредили, что суд близок и дни мои сочтены!

После удаления Антония из Тимониума наступило тяжёлое затишье, предвещающее сильную бурю. Антоний и Клеопатра в своём роскошном дворце каждую ночь устраивали блестящие пиры. Они отправили послов к цезарю, но цезарь не хотел и слышать о них. Тогда, потеряв всякую надежду на примирение, они решились защищать Александрию. Собрали войско, настроили кораблей, большие военные силы были готовы встретить цезаря.

С помощью Хармионы я начал моё последнее дело ненависти и мщения. Я проник во все тайны дворца, подавая советы в дурную сторону, велел Клеопатре - развлекать Антония, чтобы он забыл свои печали, и она подавляла его силу и энергию роскошью и вином. Я давал ему свои лекарства, которые погружали его душу в мечты о счастье и власти и заставляли пробуждаться в тяжёлой тоске. Скоро он не мог спать без моих лекарств, я же всегда был около него и скоро подчинил его слабую волю моей, так что он не делал ничего без моего одобрения.

Клеопатра, сделавшаяся очень суеверной, относилась ко мне очень благосклонно. Кроме этого, я устроил другие козни. Моя слава далеко распространилась по всему Египту в течение долгих лет, прожитых мной в Тапе. Много знатных людей приходило ко мне и ради своего здоровья, и потому, что всем было известно, что я пользовался милостью Антония и Клеопатры. В эти дни смущения и сомнения всем хотелось узнать правду. Этим людям я говорил двусмысленные речи, подрывая их верность царице, многих искусно заставил перейти на сторону цезаря, но никто не мог сказать ничего против меня.

Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы заставить жрецов и правителей собрать людей в Верхнем Египте и прислать на защиту Александрии. Я отправился туда, говорил с жрецами так двусмысленно и с такой мудростью, что они признали во мне человека, посвящённого в глубочайшие таинства. Но каким образом, я, Олимп, врач, мог быть посвящённым — никто не мог знать!.. После этого они тайно посетили меня, я дал им священный знак братства, запретив спрашивать, кто я, и не велел посылать помощь Клеопатре.

— Скорее, — говорю я, — вы должны заключить мир с цезарем, так как только милостью цезаря может продолжаться поклонение богам Египта!

Они посоветовались с священным Аписом и послали ответ, что пришлют помощь Клеопатре, а тайно отправили послов к цезарю.

Итак, всё произошло, как я хотел. Египет оказал малую помощь своей македонской царице.

Из Мемфиса я снова вернулся в Александрию и, дав царице благоприятный ответ, продолжал свою тайную работу. Правда, александрийцы не особенно смущались, следуя пословице, повторявшейся на рыночной площади: «Осел думает о своей ноше и слеп к своему господину!» Клеопатра так долго угнетала их, что они рады были римлянам.

Время шло. Каждую ночь друзья Клеопатры убывали; но она не хотела выдавать Антония, которого любила, хотя я узнал, что цезарь через своего вольноотпущенника Тира обещал ей оставить все владения за ней и за её детьми, если она убьёт Антония или выдаст его. Но её женское сердце — и у неё было сердце — не соглашалось на это; кроме того, мы не советовали ей этого, опасаясь, что в случае смерти или выдачи Антония Клеопатра избежит бури и останется царицей Египта. Антоний был слабый, но великий и храбрый человек, и меня огорчала мысль о гибели его. Разве мы не товарищи по несчастью? Разве не одна и та же женщина лишила нас империи, друзей и чести? Но в политике нет места жалости, и я не мог свернуть с пути мести, по которому мне предопределено было идти!

Цезарь подступал ближе. Пелузиум пал, конец был близок. Хармиона принесла эти новости царице и Антонию, когда они спали; в жаркую пору дня и я пришёл с ней.

— Вставайте! — вскричала она. — Вставайте! Не время спать! Селевк сдал Пелузиум цезарю, который наступает к Александрии!

С проклятием Антоний вскочил и схватил Клеопатру за руку.

— Ты предала меня, клянусь богами! Теперь ты заплатишь мне за это! — Он схватил меч и поднял его.

— Удержи свою руку, Антоний! — вскричала Клеопатра. — Это ложь, я ничего не знаю об этом!.. — Она бросилась к нему на шею и горько заплакала. — Я ничего не знаю, господин мой! Возьми жену и детей Селевка, которых я держу под стражей, и отомсти за себя! О, Антоний, Антоний, зачем ты сомневаешься во мне?

Антоний бросил меч на мраморный пол и, бросившись на своё ложе, закрыл лицо руками и горько застонал.

Хармиона улыбнулась: это она тайно послала к Селевку, своему другу, совет сдаться, так как около Александрии не будет боя.

В эту самую ночь Клеопатра собрала все свои жемчуга и изумруды, всё, что осталось от сокровищ Менкау-ра — всё золото, слоновую кость и чёрное дерево, все эти бесценные сокровища, — и спрятала их в гранитном мавзолее, который, по обычаю Египта, выстроила на холме, около храма священной Изиды. Все эти богатства она положила на ложе из льна, чтобы можно было поджечь их, а не отдать в руки сребролюбивого Октавия. С этих пор она спала в этой гробнице, вдали от Антония, а днём по-прежнему видела его во дворце.

Некоторое время спустя, когда цезарь с большой силой действительно подступил к Канонскому устью Нила и был уже близ Александрии, я пошёл во дворец по приказанию Клеопатры. Я нашёл её в алебастровом зале, в царском одеянии, с диким огнём в глазах, с ней Иру и Хармиону. Около неё стояли телохранители, а на мраморном полу лежали распростёртые тела умирающих людей, из которых некоторые уже умерли.

— Привет тебе, Олимп! — вскричала Клеопатра. — Приятное зрелище для сердца врача: мёртвые

люди и близкие к смерти!

— Что ты делаешь, царица? — спросил я с ужасом.

— Что я делаю? Я творю суд над этими преступниками и изменниками и изучаю лучший путь к смерти! Я велела дать шесть различных ядов этим рабам и внимательно следила за действием этих ядов. Этот человек, — она указала на нубийца, — он обезумел и бредил родными и своей матерью. Ему казалось — бедный глупец, — что он снова ребёнок, он просил свою мать прижать его к груди и спасти от приближающегося мрака. Этот грек страшно кричал и умер с криком. Тот плакал, молил пожалеть его и в конце концов, как трус, испустил дух. Заметь, вот этот египтянин всё ещё жив и стонет, он первый выпил смертельный напиток — самый страшный яд, — однако рабы дорожат жизнью и не хотят покидать её. Смотри, он старается извергнуть яд, дважды я давала ему кубок, а он всё ещё хочет пить! Не борись и успокойся!

Пока она говорила, раб с страшным криком умер.

— Так! — вскричала Клеопатра. — Игра сыграна! Уберите прочь этих рабов, которых я насильно заставила пройти в ворота радости!

Она захлопала в ладоши. Когда тела были убраны, Клеопатра подозвала меня к себе.

— Олимп, — сказала она, — по всем предсказаниям, конец близок! Цезарь победит, и мы с Антонием погибли! Игра кончена, и я должна быть готова покинуть земной удел, как подобает царице. Для этого я испытывала эти яды, так как сама скоро своей особой должна буду испытывать агонию смерти! Но все эти яды не нравятся мне: одни из них причиняют ужасную муку, другие слишком медленно делают своё дело. Ты искусен в медицине. Приготовь мне такой яд, чтобы я без страданий покинула жизнь!

Я слушал её, и чувство торжества наполнило моё сердце при мысли о близком конце этой женщины.

— По-царски сказано, Клеопатра! Смерть исцелит твои горести, а я приготовлю тебе такое вино, которое, как нежный друг, прильнёт к тебе, погрузит тебя в море грёз, в сладкий сон, от которого ты уже не проснёшься на земле! О, не бойся смерти! Смерть — это надежда, а ты, безгрешная и чистая сердцем, спокойно явишься перед лицом богов!

Клеопатра задрожала.

— А если сердце нечисто, скажи мне, мрачный человек, тогда что? Нет, я не боюсь богов! Боги ада — те же люди, и я буду там царицей! Я на земле всегда была царицей, останусь ею и там!

В то время, как она говорила, вдруг от дворцовых ворот донёсся громкий крик радостных приветствий.

— Что это? Что это такое? — спросила Клеопатра, спрыгнув с ложа.

— Антоний, Антоний! — возрастал крик на улице. — Антоний победил!

Она быстро повернулась и побежала; длинные волосы её развевались по ветру. Я медленно последовал за ней через большой зал и двор к воротам дворца. Здесь она встретила Антония, радостного и сияющего, одетого в римскую кольчугу. Когда Антоний увидел её, он спрыгнул на землю и во всём вооружении прижал её к груди.

— Что это? — вскричала она. — Цезарь побеждён?

— Нет, не совсем, египтянка, но мы прогнали его конницу назад, в укрепления, а по началу можно судить о конце, как говорит пословица: «Куда голова, туда и хвост!» Кроме того, я послал цезарю вызов, и, если мы встретимся с ним лицом к лицу, мир увидит, кто лучше — Антоний или Октавий!

Когда он говорил, раздался крик: «Посол от цезаря!» — и толпа расступилась. Вошёл герольд и, низко склонившись, подал Антонию письмо, затем, снова поклонившись, ушёл. Клеопатра вырвала письмо из рук Антония, сломала печать и громко прочитала:

«Цезарь Антонию — привет! Вот ответ на твой вызов: разве Антоний не может найти лучшей смерти, чем под мечом цезаря? Прощай!..»

Стало темно. Раньше полуночи, закончив пир с друзьями, которые сегодня ночью плакали над его несчастьями, чтобы завтра постыдно изменить ему, Антоний пошёл на собрание полководцев сухопутных войск и флота в сопровождении многих лиц, среди которых находился и я.

Когда все собрались, он встал посередине с обнажённой головой, озарённый лучами месяца, и произнёс следующие благородные слова:

— Друзья и товарищи по оружию! Вы, которые преданы мне, кто много раз водил вас на победу, выслушайте теперь меня: завтра, быть может, я буду лежать в прахе, опозоренный и несчастный! Вот наше намерение: мы не хотим более летать на распростёртых крыльях над потоком войны, но хотим окунуться, чтобы получить победную диадему или утонуть! Будьте верны мне, и велика будет ваша честь! Вы будете знатнейшими людьми и сядете по правую руку, рядом со мной, в Римском Капитолии. Если же вы измените мне, дело Антония погибло, и вы погибли! Завтра будет отчаянный бой, но мы встречались с большими опасностями! Завтра, прежде чем солнце сядет, ещё раз вражеские силы рассыплются, подобно песку пустыни, оглушённые нашим победным криком, и мы будем считать добычу побеждённых царей. Чего нам бояться? Хотя все наши союзники бежали, наши стрелы сильны, как стрелы Цезаря! Докажем всю смелость нашего сердца, и, клянусь вам моим княжеским словом, завтра ночью Канопские ворота украсятся головами Октавия и его полководцев! Смело веселитесь, кричите! Я люблю эти клики, эту музыку войны. Она звучит победой, дышит дыханием Антония и Цезаря, вырывается из простых сердец, которые любят меня! Теперь я буду говорить тихо, как мы говорим над прахом любимого покойника: если фортуна отвернётся от меня и Антоний, побеждённый Антоний умрёт смертью простого солдата, оставив вас оплакивать его, вашего верного друга, то вот я объявляю вам, по нашему военному обычаю, свою волю. Вы знаете, где лежат мои сокровища. Возьмите их, мои вернейшие друзья, и поделите между собой в память Антония! Потом идите к цезарю и скажите: «Антоний, мёртвый, шлёт привет живому цезарю и во имя старинной дружбы и многих вместе перенесённых опасностей просит оказать ему милость: пощадить тех, кто остался верен Антонию, и не трогать того, что он оставил им!» Нет, пусть льются мои слёзы — я должен плакать! Хотя это недостойно мужа, это совсем по-женски! Все люди умирают, и смерть приятна, если умираешь не покинутым! Если я паду, то оставляю моих детей вашим нежным заботам; может быть, ещё возможно будет спасти их от несчастной участи?

Солдаты! Довольно! Завтра, с рассветом, мы бросимся на цезаря и на суше, и на море. Клянитесь, что вы будете верны мне до конца!

— Клянёмся! — вскричали воины. — Клянёмся, благородный Антоний!

— Хорошо! Ещё раз моя звезда ярко горит на небе, завтра она, может быть, взойдёт высоко на небе и погасит светоч цезаря! До тех пор прощайте!

Он повернулся, чтобы уйти. Многие схватили его руки и целовали их, многие были так глубоко тронуты, что плакали как дети. Сам Антоний не мог совладать с собой, и я видел при свете месяца, что слёзы текли по его морщинистым щекам, падая на мощную грудь.

Видя всё это, я был очень смущён. Я знал хорошо, что если эти люди будут крепко держаться за Антония, то всё хорошо пойдёт для Клеопатры. Между тем он должен был пасть и в своём падении увлечь за собой женщину, которая подобно ядовитому растению обвилась вокруг его гигантской силы, пока она не

зачахла и не замерла в её объятиях.

Поэтому, когда Антоний ушёл, я стоял в тени, наблюдая за лицами военачальников и сановников, которые разговаривали между собой.

— Это решено! — сказал один, уже готовившийся бежать. — Мы все до одного поклялись, что останемся верны благородному Антонию до конца!

— Да, да! — отвечали другие.

— Да, да, — повторил я, стоя в тени, — будьте верны ему и умрёте!

Они повернулись.

— Как это такой? — спросил один.

— Это черномазая собака, Олимп! — вскричал другой.

— Олимп, магик!

— Олимп, изменник! — проворчал третий. — Надо покончить с ним и со всей его магией! — И он выхватил свой меч.

— Да, убей его! Он изменил Антонию, которого лечит!

— Подождите немного! — сказал я тихим и торжественным голосом. — Остерегайтесь убить служителя богов! Я — не изменник. Я пережидаю события здесь, в Александрии, но говорю вам: «Бегите, бегите к цезарю! Я служу Антонию и царице, служу *им* верно, но выше их есть священные боги, которым я также служу. Что они дадут познать мне, то я знаю! А знаю я вот что: Антоний осуждён, и Клеопатра осуждена, цезарь победит! Я уважаю вас, благородные люди, и с жалостью в сердце думаю о ваших жёнах, которые овдовеют, о ваших детях которые лишатся отцов, если вы будете держаться за Антония, как наёмные рабы, — я хочу сказать, если вы будете верны Антонию, то погибнете! Или бегите к цезарю и будете спасены! Я говорю вам это по приказанию богов!..

— Богов! — проворчали они. — Каких богов? Схватите изменника за горло и заставьте замолчать его зловещий язык! Пусть он покажет нам знамение богов или умрёт!

— Я не верю этому человеку — сказал один.

— Подвиньтесь, безумцы, — вскричал я, — освободите мои руки, и я покажу вам знамение богов!

Выражение моего лица испугало их, они освободили мне руки и отошли назад. Тогда я поднял мои руки кверху и, собрав все силы духа, посмотрел в вышину, пока мой дух не пришёл в общение с матерью Изидой. Но страшного слова я не мог произнести потому, что мне это было запрещено. Богиня ответила на призыв моего духа — и на земле вдруг настала ужасная тишина. Мертвящая тишина всё возрастала, даже собаки перестали лаять и люди стояли перепуганные. Затем издали зазвучала страшная музыка сестры, сначала слабо, потом громче, пока весь воздух не наполнился ужасающими звуками страшной музыки. Я молчал, но указал им рукой на небо. По воздуху неслась окутанная вуалью фигура, сопровождаемая звуками сестры. Она приблизилась к нам, и тень её упала на нас. Она неслась над нами, направляясь к лагерю цезаря. Страшная музыка замерла вдали, и небесный образ исчез во мраке ночи.

— Это Бахус, — вскричал один. — Бахус, который покидает погибшего Антония!

В это время со стороны лагеря донёсся крик ужаса!.. Я знал, что это не Бахус, лживый бог римлян, а сама божественная Изида покинула Кеми и пронеслась над миром, не узнанная людьми. Я закрыл лицо руками и начал молиться, а когда, кончив молитву, поднял голову, все исчезли, оставив меня одного.

VII

Сдача войска и флота Антония перед Канопскими воротами

Смерть Антония

Приготовление напитка смерти.

На другой день, с рассветом, Антоний выступил со своим войском, приказав своему флоту двинуться на флот цезаря; конница же должна была напасть на конницу цезаря.

Согласно приказанию, флот выстроился в три ряда. Но, встретив флот цезаря, галеры Антония вместо открытия враждебных действий подняли весла в знак приветствия и поплыли вместе. Всадники также опустили мечи и все перешли в лагерь цезаря, покинув Антония.

Антоний пришёл в бешенство, на него страшно было смотреть. Он приказал своим легионам остановиться и ждать нападения. Один человек — тот самый воин, который накануне хотел убить меня, — пытался убежать. Но Антоний схватил его за руку, бросил на землю и, спрыгнув с коня, хотел убить его. Он уже поднял свой меч, в то время как человек, закрыв лицо руками, ожидал смерти. Но Антоний приказал ему встать.

— Иди! — сказал он. — Иди к цезарю и будь счастлив! Я любил тебя. Зачем же среди всех изменников убивать тебя одного?

Человек встал и, грустно взглянув на Антония, вдруг, охваченный стыдом, схватив меч, вонзил его в своё сердце и упал мёртвый. Антоний стоял и молча смотрел на него.

Между тем легионы цезаря приближались, но как только они скрестили копья, легионы Антония повернулись и побежали. Видя это, солдаты цезаря не стали даже преследовать их, так что никто не был убит.

— Беги, господин, беги! — вскричал Эрос, слуга Антония, стоящий около него вместе со мной. — Беги, иначе тебя поведут пленником к цезарю!

Антоний повернулся и поскакал с тяжёлым стоном, Я ехал рядом с ним. Проезжая Канопские ворота, где стояли толпы народа, Антоний сказал мне: «Иди, Олимп, иди к царице и скажи: Антоний шлёт привет Клеопатре, которая предала его! Клеопатре шлёт он привет и последнее прости!»

Я пошёл к гробнице, а Антоний поехал во дворец. Придя к гробнице, я постучал в дверь. Хармиона выглянула в окно.

— Открой дверь! — крикнул я ей.

Она послушалась.

— Что нового, Гармахис?

— Хармиона, — сказал я, — конец близок! Антоний бежал!

— Хорошо, — отвечала она, — мне надоело ждать!

На золотом ложе сидела Клеопатра.

— Говори, человек! — вскричала она.

— Антоний бежал, войско бежало, цезарь близко! Клеопатра, великий Антоний шлёт тебе привет и последнее прости! Привет Клеопатре посылает тот, кого она предала!

— Это ложь! — вскричала она. — Я не предавала его! Олимп, иди скорее к Антонию и скажи: Клеопатра, которая не предавала его, шлёт привет и последнее прости! Клеопатры больше нет!

Я побежал сейчас же, так как это согласовалось с моими целями, и в алебастровом зале нашёл Антония, ходившего взад и вперёд, поднимая руки к небу. Около него находился Эрос, один из всех слуг, оставшийся преданным погибшему человеку.

— Господин Антоний! — сказал я. — Египтянка посылает тебе прощальный привет. Египтянка умерла от своей собственной руки!

— Умерла! Умерла! — вскричал он. — Разве египтянка умерла? И это очаровательное тело будет пищей червей? О, что это за женщина! Сердце моё и теперь рвётся к ней! Неужели она превзойдёт меня, меня, который был велик и славен? Неужели я так ничтожен, что женщина окажется мужественнее меня и смело пойдёт туда, куда я боюсь следовать за ней! Эрос, ты любил меня, когда я был ребёнком, — вспомни, как я нашёл в пустыне, обогатил, дал тебе место и богатство! Иди, выплати мне свой долг. Возьми этот меч и освободи Антония от всех его печалей!

— О, господин мой, — вскричал грек, — я не могу! Как могу отнять я жизнь у богоподобного Антония?

— Не возражай, Эрос! В последней крайности я требую этого от тебя! Исполни мое приказание или уходи и оставь меня одного! Я не хочу более видеть тебя, неверный слуга!

Эрос обнажил меч, Антоний встал на колени перед ним, раскрыв грудь и устремив глаза к небу.

— Я не могу! Не могу! — вскричал Эрос и, вдруг вонзив меч в своё сердце, упал мёртвым.

Антоний встал и долго смотрел на него.

— Это благородно сделано, Эрос! — произнёс он. — Ты выше меня и дал мне хороший урок!

Он встал на колени и поцеловал умершего, затем, быстро вскочив, вытащил меч из сердца Эроса, воткнул его в свой живот и с громким стоном упал на ложе.

— О, ты, Олимп! — вскричал он. — Боль выше сил моих! Прикончи меня, Олимп, прошу тебя!

Жалость охватила моё сердце, но я не мог убить его! Я вытащил меч из кишок, остановил поток крови и, позвав слуг, прибежавших на шум, приказал им привести из моего дома старую Атую. Она сейчас же пришла и принесла с собой трав и живительное питье. Я дал лекарства Антонию и приказал Атуе идти скорее, насколько позволяли ей старые ноги, к Клеопатре в гробницу и рассказать ей об Антонию.

Она ушла и скоро вернулась, говоря, что царица жива и зовёт Антония умирать в своих объятиях. С ней вместе пришёл Диомед. Когда Антоний услышал слова Атуи, его слабеющие силы вернулись к нему.

Я позвал рабов, которые, спрятавшись за занавес и колонны, смотрели на умирающего великого человека/— с большими усилиями мы понесли все вместе Антония и положили к подножию мавзолея.

Клеопатра, боясь предательства, не хотела отворить дверей и выкинула из окна толстую верёвку, к которой мы привязали Антония. Горько плача, Клеопатра вместе со своей Хармионой и гречанкой Ирой изо всей силы тянули верёвку, в то время как мы поддерживали Антония, который с тяжёлым стоном повис в воздухе, а кровь лилась ручьём из его раны. Дважды он был готов упасть на землю, но Клеопатра со всей силой любви и отчаяния тянула верёвку, пока не втащила его в окно. Все, видевшие это ужасное зрелище, горько плакали и били себя в грудь, все, кроме меня и Хармионы.

После Антония я с помощью Хармионы взобрался в гробницу и втянул верёвку за собой.

Там я нашёл Антония на золотом ложе Клеопатры. Она с обнажённой грудью, с лицом, залитым слезами, с волосами, разметавшимися около лица, стояла на коленях около Антония, целуя его и вытирая кровь из его раны своим платьем и волосами. Как описать мой стыд, мой позор! Я стоял, смотря на неё, и прежняя любовь проснулась в моём сердце, безумная ревность закипела во мне — я мог погубить их обоих, но не мог уничтожить их любовь.

— О, Антоний, любовь моя, супруг мой, бог мой! — рыдала Клеопатра. — Жестокий Антоний, как можешь ты умереть, оставив меня одну с моим позором? Я скоро последую за тобой в могилу, Антоний! Очнись, очнись!

Он поднял голову и попросил пить. Я дал ему вина с лекарством, которое могло немного успокоить жгучую боль его ран. Выпив, Антоний велел Клеопатре лечь на ложе рядом с ним и обнять его. Та исполнила его желание. Антоний ещё раз выказал себя благородным мужем. Забыв свою ужасную боль и свои несчастья, он давал ей советы, заботился о её спасении, но Клеопатра не хотела слушать его.

— Времени осталось немного, — сказала она, — будем говорить о нашей великой любви, которая длилась так долго и продолжится за пределами смерти. Помнишь ли ты ту ночь, когда ты в первый раз обнял меня и назвал меня своей любовью? О счастливая, счастливая ночь!

Жизнь хороша, даже когда кончается так горько, если в жизни была хотя одна такая ночь!

— О египтянка, я хорошо помню всё и часто вспоминаю эту ночь, хотя с этой ночи счастье отлегло от меня и я погиб, погиб в твоей любви, о ты, красота мира! Я помню, — добавил он, — как ты выпила жемчужину и твой астролог сказал тебе: «Час проклятия Менкау-ра близок!» Долго потом эти слова преследовали меня, да и теперь звучат в моих ушах.

— Он давно умер, любовь моя! — прошептала Клеопатра.

— Если он умер, то я следую за ним! Что значили его слова?

— Он умер, проклятый человек! Не будем говорить о нём! О, повернись и поцелуй меня! Твоё лицо бледнеет, конец близок!

Антоний поцеловал её в губы, и несколько минут они лежали у порога смерти, шепча друг другу нежные слова страсти, подобно влюблённым новобрачным. Даже мне, с ревностью, кипевшей в сердце, было страшно смотреть на них. Скоро я заметил тени смерти на его лице. Его голова упала назад.

— Прощай, египтянка, прощай, я умираю!

Клеопатра приподнялась на руках, тихо взглянула на его искажённое лицо и с криком упала без чувств.

Но Антоний ещё был жив, хотя уже не мог говорить. Тогда я подошёл к нему, встал на колени и, делая вид, что помогаю ему, прошептал на ухо:

— Антоний, Клеопатра любила меня и от меня перешла к тебе. Я — Гармахис, астролог, который стоял позади твоего ложа в Тарсе, я был главной причиной твоей гибели! Умри, Антоний! Час проклятия

Менкау-ра настал!

Он приподнялся, с ужасом уставившись на моё лицо, затем, бормоча что-то, с громким стоном испустил дух.

Так совершилось моё мщение Антонию-римлянину, владыке мира.

Затем мы привели в чувство Клеопатру, так как я не хотел, чтобы она умерла теперь. С дозволения цезаря мы с Атуей взяли тело Антония, искусно набальзамировали его, по нашему египетскому обычаю закрыв лицо золотой маской по его чертам. Я написал на груди его имя и титул, нарисовал внутри гроба его имя и имя его отца и образ Нуты, сложившей крылья над ним. С большой пышностью Клеопатра положила его в алебастровый саркофаг, поставленный в склепе. Саркофаг был сделан такой большой, что в нём оставалось место для другого гроба: Клеопатра хотела лежать с Антонием.

Через короткое время я получил известие от Корнелия Долабелла, благородного римлянина, служившего цезарю. Тронутый красотой Клеопатры, имевшей силу смягчать все сердца при одном взгляде на неё, он сжалился над её несчастьями и приказал предупредить меня (я как врач имел право доступа в гробницу, где она жила), что через три дня она будет отослана в Рим со всеми детьми, кроме Цезариона, которого Октавий уже убил, чтобы следовать за триумфальной колесницей цезаря. Я сейчас же отправился к царице и нашёл её, как всегда теперь, погруженную в какое-то оцепенение, с окровавленным платьем в руках, тем самым платьем, которым она вытирала кровь из раны Антония. Она постоянно смотрела на него.

— Смотри, как они бледнеют, Олимп, — сказала Клеопатра, поднимая своё печальное лицо и указывая на кровавые пятна, — а он так недавно умер! Благодарность не исчезает скорее! Какие новости? Дурные вести написаны в твоих чёрных глазах, которые напоминают мне что-то забытое...

— Да, вести дурные, царица! — отвечал я. — Я получил их от Долабеллы, а он — от секретаря самого цезаря. Через три дня цезарь пошлёт тебя в Рим с князьями Птолемеем и Александром и княжной Клеопатрой, чтобы увеселять глаза римской черни и следовать за триумфальной колесницей цезаря в Капитолий, на троне которого ты клялась сидеть!

— Никогда! Никогда! — вскричала она, вскочив на ноги. — Никогда не пойду в цепях за колесницей цезаря! Что мне делать? Хармиона, что мне делать?

Хармиона встала и стояла перед ней, смотря из-под длинных ресниц своих опущенных глаз.

— Госпожа, ты можешь умереть спокойно! — произнесла она.

— Да, правда, я забыла, я могу умереть! Олимп, есть у тебя яд?

— Нет, но если царица желает, завтра я приготовлю яд, такой сильный и приятный, что сами боги, выпив его, наверное бы заснули!

— Приготовь мне его, властитель смерти!

Я поклонился и ушёл. Всю ночь работали мы со старой Атуей, изготовляя страшный яд. Наконец всё было готово. Атуя вылила его в хрустальный фиал и поднесла к огню. Он был прозрачен, как чистойшая вода.

— Ля, ля! — запела она пронзительным голосом. — Напиток для царицы! Пятьдесят капель этой водички, пропущенной через прелестные губки, отомстят за тебя Клеопатре, о, Гармахис! Как хотела бы я быть там, чтобы видеть гибель губительницы! Ля! Ля! На это, должно быть, приятно посмотреть!

— Мечь — это стрела, которая часто попадает в голову стрелка! — отвечал я, вспомнив слова Хармионы.

VIII

Последний ужин Клеопатры

Песня Хармионы. — Клеопатра пьёт напиток смерти. - Гармахис вызывает духов. — Смерть Клеопатры.

На другой день Клеопатра, порешив избавиться от цезаря, посетила гробницу Антония и плакала, крича, что боги Египта покинули её, затем поцеловала гроб, покрыла его цветами лотоса, вернулась обратно, омылась, надушилась благовонными мазями, надела богатейшую одежду и вместе со мной, Ирой и Хармионой села ужинать. Во время ужина её гордая душа оживилась, загорелась пламенем, как небеса при закате солнца. Клеопатра смеялась, болтала, как в былые годы, рассказывала о пирах, которые устраивала вместе с Антонием. Никогда не видел я её прекраснее и обольстительнее, чем в эту роковую ночь мщения. Она вспомнила ужин в Тарсе, когда выпила в уксусе жемчужину.

— Странно, — произнесла она, — странно, что, умирая, Антоний вспомнил только ту ночь и слова Гармахиса. Хармиона, помнишь ты Гармахиса-египтянина?

— Конечно, царица! — отвечала тихо Хармиона.

— А кто был этот Гармахис? — спросил я, ибо хотелось знать, сожалеет ли она обо мне.

— Я скажу тебе. Это странная история; теперь всё это покончено и можно рассказать об этом. Этот Гармахис происходил из древнего рода фараонов, тайно короновался в Абуфисе и был послан сюда, в Александрию, выполнить большой заговор, составленный против нашей династии Лагидов. Он сумел войти во дворец в качестве моего астролога, так как был посвящён во все тайны магии — больше тебя, Олимп, — и был он удивительно красив. Заговор состоял в том, чтобы убить меня и стать фараоном Египта. На его стороне было больше преимуществ — он имел много друзей в Египте, а я — никого. В ту самую ночь, когда он задумал осуществить своё намерение, ко мне пришла Хармиона и открыла заговор, уверяя, что ей удалось найти оброненное письмо. Но потом (хотя я не сказала тебе этого, Хармиона) я усомнилась в твоей сказке и — клянусь богами! — в эту минуту уверилась, что ты любишь Гармахиса и выдала его за то, что он насмеялся над тобой! По этой причине ты осталась девушкой, что мне кажется совсем неестественным. Скажи, Хармиона, откровенно, скажи нам, всё идёт к концу теперь!

Хармиона вздрогнула.

— Это правда, царица, я участвовала в заговоре и выдала Гармахиса, потому что он смеялся надо мной, и в силу моей великой любви к нему не вышла замуж!

Она быстро взглянула на меня и опустила свои длинные ресницы.

— Да, я так и думала. Как странно сердце женщины! Было бы всё иначе, если бы Гармахис ответил на твою любовь! Что скажешь ты, Олимп? Значит, и ты изменила мне, Хармиона? Как опасны пути царей! Но я забываю это; ведь с того часу ты верно и преданно служила мне. Но продолжаю мой рассказ. Я не решилась убить Гармахиса, так как его партия могла восстать и сбросить меня с трона. Затем дальше! Хотя Гармахис должен был убить меня, но втайне он любил меня и я угадывала это, а потому решилась

привязать его к себе — он был так красив и умён. Клеопатре никогда не приходилось напрасно добиваться любви мужчины! Когда он пришёл, спрятав кинжал под платье, чтобы убить меня, я пустила в ход все свои женские чары, и нужно ли говорить, как быстро я выиграла победу? Никогда не забуду я взгляда этого падшего князя, этого клятвopреступного жреца, этого низверженного фараона, когда, выпив подмешанного вина, он погрузился в постыдный сон, от которого должен был проснуться опозоренным. Затем я немного привыкла к нему и заботилась о нём, хотя не любила его. Он же страстно любил меня и тянулся ко мне, как пьяница к кубку, который губит его! Надеюсь, что я повенчаюсь с ним, он выдал мне тайну скрытых сокровищ пирамиды Гер: я нуждалась в деньгах, и вместе с ним мы видели все ужасы гробницы и вытащили сокровище из мёртвой груди фараона. Смотри, этот изумруд взят оттуда! — Она указала на большого скарабея, взятого из груди священного Менкау-ра. — Эти письма в гробнице, чудовище, которое мы видели там — чума их возьми! — всё это преследует меня теперь и днём и ночью!

Из боязни всех этих ужасов, а также в силу политических расчётов, желая заслужить любовь Египта, я задумала обвенчаться с Гармахисом, объявить его царём-супругом и с его помощью спасти Египет от римлян. Потому, когда Деллий явился звать меня к Антонию, я после долгих размышлений решила отослать его обратно с резким ответом. Но в то самое утро, пока я одевалась к выходу, пришла Хармиона, и я сказала ей всё, желая узнать её мнение. Заметь, Олимп! Сила ревности — это маленький сучок, от которого может засохнуть целое дерево империи, тайный меч, имеющий силу устраивать судьбу царей! Она не могла вынести — попробуй отречься от этого, Хармиона, теперь всё это ясно для меня, — что человек, которого она любила, сделается моим супругом — он, который был её единственной любовью! С большим искусством, очень умно, она успела убедить меня, что мне нужно бросить всякую мысль о Гармахисе и ехать к Антонию. За это, Хармиона, благодарю тебя даже теперь, когда всё это прошло и кончено! Слова её поколебали моё решение повенчаться с Гармахисом, и я уехала к Антонию! Всё это случилось благодаря ревности прекрасной Хармионы и страсти ко мне человека, на душе которого я играла, как на лире. Поэтому Октавий будет царём Александрии. Антоний развенчан и умер, и я должна умереть сегодня! О, Хармиона, Хармиона! Ты должна ответить за всё это, ведь ты изменила судьбы мира! Но даже теперь, я повторяю, не хотела бы, чтобы всё случилось иначе!

Она умолкла на минуту, прикрыв глаза рукой. По щекам Хармионы текли слёзы.

— А Гармахис? — спросил я. — Где теперь Гармахис, царица?

— Где Гармахис? В Аменти и примирился с Изидой, быть может! В Тарсе я увидела Антония и полюбила его. С этой минуты мне противен был вид египтянина, и я поклялась покончить с ним! Терзаемый ревностью, он сказал мне несколько зловещих слов во время пира. В ту же самую ночь я хотела убить его, но он бежал!

— Куда?

— Не знаю. Бренн, стоявший на страже — он в прошлом году отплыл на свой север, — уверял, что видел, как он улетел на небо, но я не поверила Бренну — он любил Гармахиса. Нет, он направился в Кипр и утонул. Быть может, Хармиона знает что-нибудь о нём?

— Я ничего не знаю, царица. Гармахис погиб!

— Хорошо, что он погиб, Хармиона, — с ним плохо шутить! Он служил моим целям, но я не любила его и даже теперь боюсь его. Мне часто кажется, что я слышу его голос, приказывающий мне бежать, как во время боя при Акциуме. Благодарение богам, если он погиб.

Слушая её, я собрал всю силу и, благодаря моему искусству, набросил тень моего духа на дух Клеопатры, так что она почувствовала присутствие погибшего Гармахиса.

— Что это такое? — произнесла она. — Клянусь Сераписом, мой страх возрастает. Мне кажется, я

чувствую Гармахиса! Воспоминание о нём окружает меня, как поток воды, хотя он умер десять лет тому назад. И теперь даже, в такие часы!

— Нет, царица, — ответил я, — если он умер, то он повсюду, и теперь, когда близится час твоей смерти, его дух приблизился и приветствует тебя на пороге смерти!

— Не говори этого, Олимп! Я не хотела бы увидеть Гармахиса, счёты наши очень тяжелы, и за пределами земли, в другом мире, мы, может быть, сочтёмся! Ах, мой страх пропал! Просто я расстроена! Эта глупая история помогла нам скоротать тяжёлые часы, часы перед смертью. Спой мне, Хармиона, спой, у тебя такой нежный голос, он смягчит мою душу перед вечным сном! Воспоминание об этом Гармахисе расстроило меня! Спой мне, Хармиона, спой последнюю песню, которую я услышу из твоих уст, последнюю песню на земле!

— Печальный час для пения, царица! — возразила Хармиона, но послушно взяла арфу и запела.

«Я проливаю горькие слёзы по моей усопшей госпоже, — пела Хармиона низким, приятным голосом, — глгучие слёзы и тихие жалобы шлю я в гробницу за ней, во мрак и тишину могилы! Эти слёзы и рыдания — память горячей любви к моей госпоже и подруге! Пусть мои песни, пусть мои слёзы будут нетленным даром моим дорогой усопшей! Моя любовь, ты ушла от меня и обратилась в прах! О мать, земля сырая! На груди своей ты успокой мятежный дух усопшей! Усыпи её вековечным сном!»

Её нежный голос тихо замер, и с последней нотой песни и Ира начала горько рыдать, светлые слёзы стояли в потемневших глазах Клеопатры. Только я не плакал. Мои слёзы иссыкли.

— Печальная песня, Хармиона! — произнесла царица. — Ты сказала, что теперь печальный час для пения! Спой надо мной, прошу тебя, когда я буду лежать мёртвая! Теперь довольно музыки! Пора кончать! Олимп, возьми тот пергамент и пиши, что я буду говорить.

Я взял пергамент, трость и написал по-римски:

«Клеопатра — Октавию привет!

Такова участь жизни. Наступает час, когда мы, не в силах переносить несчастий, подавляющих нас, сбрасываем телесную оболочку и летим в вечный мрак забвения! Цезарь, ты победил! Возьми трофеи победы! Но Клеопатра не пойдёт в твоём триумфе. Когда всё потеряно, мы должны идти за погибшими. Такое решение принимает смелое сердце, затерявшись в пустыне отчаяния! Клеопатра была славна и велика! Рабы живут и терпят горе, великие мира сего идут твёрдой стопой и, покидая ворота скорби, вступают в обители смерти! Одного только просит египтянка у цезаря — позволить ей лечь в могилу рядом с Антонием! Прощай!»

Я кончил. Приложив печать, Клеопатра велела мне найти посла, отослать письмо цезарю и вернуться. У дверей гробницы я позвал солдата и, дав ему монету, велел снести письмо цезарю, а вернувшись, нашёл всех трёх женщин, стоявших молча. Клеопатра была в объятиях Иры; Хармиона в стороне наблюдала за ними.

— Если ты решила умереть, царица, — сказал я, — то времени осталось немного, так как цезарь, верно, пошлёт к тебе своих слуг в ответ на письмо! — Я поставил на стол фиал с прозрачным и смертельным ядом. Клеопатра взяла его и долго смотрела на фиал.

— Каким невинным он выглядит, этот яд! — сказала она. — А в нём моя смерть! Это странно!

— Да, царица, и смерть ещё десяти человек! Не нужно пить его много!

— Боюсь, — прошептала она, — кто знает, умру ли я сейчас? Я видела столько людей, умиравших от яда, и почти ни один из них не умер сразу. А некоторые... Я не могу даже вспомнить о нём!

— Не бойся, — сказал я, — я — мастер своего дела. Если ты боишься, брось этот яд и живи! Может быть, ты найдёшь счастье в Риме? Ты пойдёшь в Рим за колесницей цезаря, и жестокосердные римлянки будут смеяться под музыку твоих золотых цепей!

Нет, я хочу умереть, Олимп! О, если бы кто-нибудь указал мне дорогу! — произнесла Клеопатра.

Тогда Ира подошла ко мне и протянула руку.

— Дай мне яду, врач, — сказала она, — я хочу приготовить путь для моей царицы!

— Хорошо, — отвечал я, — да падёт это на твою голову!

Я отлил яд из фиала в маленький золотой кубок. Ира встала, низко присела перед Клеопатрой, поцеловала в лоб её и Хармиону, затем, не помолившись — она была гречанка, — выпила яд, схватилась руками за голову, упала и умерла.

— Ты видишь, — сказал я, — это скоро!

— Да. Олимп, твой яд хорош! Дай мне, я хочу пить! Наполни кубок, чтобы Ира недолго ждала меня у ворот смерти!

Я исполнил её желание, но, делая вид, что мою кубок, подмешал немного воды в яд, не желая, чтобы она умерла, не узнав меня.

Тогда царственная Клеопатра, держа кубок в руке, подняла свои чудные глаза к небу.

— О, вы, боги Египта, покинувшие меня! — вскричала она. — Я не буду больше молиться вам, ведь ваши уши глухи к моим воплям, ваши глаза закрыты на мои несчастья! Я обращаюсь к последнему другу, которого боги даровали несчастному человеку! Спешите ко мне, смерть, чьи шумящие, мрачные крылья покрывают тенью весь мир, услышь меня! Иди ко мне, царь царей! Ты равняешь всех, счастливых и несчастных, рабов и царей, и своим ядовитым дыханием губишь нашу жизнь, унося нас далеко от этого земного ада! Скрой меня, о смерть, там, где не слышно ни порывов ветра, ни журчанья воды, там, где не бывает войн, где не достигнут меня легионы цезаря! Возьми меня в новое царство и венчай царицей мира! Ты мой властелин, о смерть, с последним поцелуем я отдаюсь тебе! Дух мой страдает — смотри, новорождённый стоит на пороге времени! Уходи теперь, жизнь! Приди же, вечный сон! Приди, Антоний!

Взглянув на небо, она выпила яд и бросила кубок на пол.

Наконец наступил час моего мщения, мщения оскорблённых египетских богов, час исполнения проклятия Менкау-ра!

— Что же это? — вскричала Клеопатра. — Я холодею, но не умираю! Ты, чёрный врач, обманул меня!

— Молчи, Клеопатра! Сейчас ты умрёшь и узнаешь гнев богов! Час исполнения проклятия Менкау-ра настал! Всё кончено! Посмотри на меня, женщина! Посмотри на моё измождённое лицо, на живое воплощение горя! Смотри, смотри! Кто я? — Она дико уставилась на меня.

— О, — вскричала она, всплеснув руками, — я узнаю тебя! Клянусь богами, ты — Гармахис! Гармахис, восставший из мёртвых!

— Да, Гармахис ожил, чтобы предать тебя смерти и вечным мукам! Смотри, Клеопатра! Я погубил тебя, как ты погубила меня! Я работал во мраке, с помощью разгневанных богов, и был тайной причиной твоих несчастий! Я наполнил твоё сердце страхом во время битвы при Акциуме, я заставил египтян отказать тебе в помощи, я погубил силу и доблесть Антония, я показывал знамение богов твоим полководцам! Ты умираешь от моей руки, а я — орудие мести богов! Я заплатил тебе гибелью за гибель, изменой за измену, смертью за смерть! Иди сюда, Хармиона, участница моего заговора. Ты предала меня,

но раскаялась, будь свидетельницей моего торжества, смотри, как умирает развратница!

Клеопатра, услышав мои слова, упала на золотое ложе.

— И ты, Хармиона! — простонала она.

Но через минуту она оправилась и села. Её царственная душа вспыхнула ещё раз перед смертью. Она встала с ложа и, вытянув руки, прокляла меня.

— О, только час жизни! — вскричала она. — Один короткий час, чтобы я могла предать тебя такой смерти, какая и не снилась тебе, тебе и твоей фальшивой любовнице, которая предала и тебя, и меня! О, ты ещё любишь меня! А тогда... помнишь ли ты? Смотри, кроткий заговорщик-жрец, смотри! — Обеими руками она разорвала своё царское одеяние на груди. — На этой прекрасной груди покоилась твоя голова много ночей, и ты засыпал в этих объятиях! Ну, забудь всё это, если можешь! Я читаю в твоих глазах... Ты не можешь! Никакая мука не сравнится, даже та, которую я переносу теперь, с мучениями твоей глубокой души, снедаемой желанием, которое никогда, никогда не осуществится! Гармахис, ты раб из рабов, из глубины твоего торжества я черпаю свою силу, свою власть над тобой! Побеждённая, я побеждаю тебя! Я плюю на тебя, презираю тебя и, умирая, осуждаю тебя на адские мучения твоей бессмертной любви! Антоний! Я иду к тебе, мой Антоний! Я иду в твои дорогие объятия! О, я умираю, иди, Антоний, и дай мир душе моей!

Полный ярости, я содрогнулся от её слов, ядовитая стрела попала в цель! Увы, увy! Это верно! Моё мщение пало на мою собственную голову. Никогда я не любил Клеопатру так, как теперь. Моя душа терзалась страшными муками ревности. Ноя поклялся, что она не умрёт, не услышав всего.

— Мир! — вскричал я. — Разве может быть мир для тебя? О, вы, священные три, услышьте мою молитву! Озирис, ослабь узы ада и пришли тех, кого я призываю! Иди, Птолемей, отравленный своей сестрой Клеопатрой! Придите, Архиноя, убитая своей сестрой Клеопатрой, Сепа, замученный до смерти Клеопатрой! Приди, божественный Менкау-ра, кого Клеопатра ограбила и чьим проклятием пренебрегла. Придите все, все, умершие от руки Клеопатры! Вырвитесь из объятий Нута и приветствуйте ту, которая убила вас! Заклинаю вас тайной священного союза, заклинаю вас символом жизни, духи, явитесь!

Пока я произносил заклинание, перепуганная Хармиона вцепилась в мою одежду, а Клеопатра раскачивалась взад и вперёд с блуждающим взглядом.

Скоро я получил ответ. В окно, шумя крыльями, влетела большая летучая мышь, которую я видел на подбородке евнуха в недрах пирамиды Гер. Трижды пролетела она вокруг комнаты, спустилась над мёртвой Ирой и полетела туда, где стояла умирающая женщина, и села на грудь Клеопатры, вцепившись в изумруд, взятый из мёртвой груди Менкау-ра. Трижды чудовище громко взвизгнуло, трижды хлопнуло страшными крыльями и улетело.

Вдруг комната наполнилась тенями смерти. Тут была тень Арсинои, прекрасной даже под ножом палача, тень молодого Птолемея с лицом, искажённым от яда, тень божественного Менкау-ра, увенчанная уреусом, тень Сепы, из тела которого торчали клочья мяса, вырванные рукой палача, — все отравленные, замученные рабы и бесчисленное множество других теней, ужасных на вид! Они молча стояли в узкой комнате, смотря своими мертвенными глазами в лицо той, которая убила их.

— Смотри, Клеопатра! — вскричал я. — Смотри — вот твой мир — и умри!

— Да, — повторила Хармиона, — смотри и умирай, ты, которая отняла у меня мою честь, а у Египта — его любимого царя!

Клеопатра смотрела и видела тени — может быть, её дух, отделившись от тела, слышал слова теней, но я не мог слышать ничего! Её лицо исказилось ужасом, большие глаза потухли, с страшным криком

Клеопатра упала и умерла в ужасном обществе мертвецов, уйдя туда, куда ей было предназначено.

Так я, Гармахис, успокоил свою душу мщением, совершив правосудие, но не чувствуя себя счастливым.

IX

Прощание Хармионы и её смерть

Смерть старой Атуи

Гармахис возвращается в Абуфис

Его исповедь

Осуждение Гармахиса.

Хармиона отпустила мою руку, которую схватила, испугавшись призраков.

— Твоё мщение, мрачный Гармахис, — произнесла она хриплым голосом, — отвратительно! О, погибшая египтянка, несмотря на все твои преступления, ты была настоящей царицей! Иди, помоги мне, князь! Надо положить бедный прах на ложе и покрыть его царским одеянием. Пусть Клеопатра даст последнюю немую аудиенцию послам цезаря, как подобает последней царице Египта!

Я не ответил ни слова. На сердце у меня лежала тяжесть, и теперь, когда всё было окончено, я чувствовал себя усталым, измученным. Вместе с Хармионой мы подняли тело и положили на золотое ложе. Хармиона увенчала царственным уреусом мёртвое и строгое чело, убрала роскошные, чёрные, как ночь, волосы, в которых не серебрился ни один седой волос, и навсегда закрыла большие глаза, загадочные и изменчивые, как море. Она сложила тонкие руки на груди, из которой улетело дыхание страсти, и выпрямила колена под вышитым платьем. Голову умершей она украсила цветами. Тихо лежала Клеопатра, ослепительная в холодном величии смерти, прекраснее, чем в лучшие дни своей губительной красоты!

Мы долго смотрели на неё и на мёртвую Иру у её ног.

— Кончено! — произнесла Хармиона. — Мы отомщены! Теперь, Гармахис, последуешь ли ты по этому пути? — Она кивнула головой на фиал.

— Нет, Хармиона! Я должен идти на более тяжёлую смерть. Тяжело моё земное покаяние!

— Пусть так, Гармахис! Но я также уйду, умчусь на быстрых крыльях. Моя игра сыграна. Я кончила своё покаяние. О, как горька моя судьба: я приносила несчастье всем, кого любила, и умру, никем не любимая! Я очистилась перед тобой, перед гневными богами и теперь пойду искать пути, чтобы очиститься перед Клеопатрой там, в аду, где она находится и куда я последую за ней! Она очень любила меня, Гармахис, и теперь, когда она умерла, мне кажется, что после тебя я любила её больше всего на свете! Теперь прошу тебя, скажи мне, что ты прощаешь меня, насколько можешь, и в знак этого поцелуй меня —

не поцелуем любви, а поцелуем прощения в лоб, и отпусти меня с миром.

Она подошла ко мне с протянутыми руками, с горько дрожащими губами, смотря мне в лицо.

— Хармиона, — ответил я, — мы свободны делать добро или зло, но, мне кажется, над нами тяготеет высший рок, подобно ветру дующий с чужого берега, направляя челноки наших намерений к гибели. Я прощаю тебе, Хармиона, верю, что ты простишь меня, и этим поцелуем, первым и последним, запечатлеваю наш вечный мир!

Я тихо коснулся губами её лба.

Она ничего не сказала, только стояла несколько минут, смотря на меня печальными глазами, затем подняла кубок с ядом.

— Царственный Гармахис, этот смертоносный кубок я поднимаю за тебя! Лучше бы было, если бы я выпила его прежде, чем увидела твоё лицо! Фараон, ты, раскаявшись в своих грехах, будешь царить в том безгрешном мире, куда я не смею вступить, будешь держать более царственный скипетр, чем тот, который я отняла у тебя, прощай, прощай навсегда!

Она выпила яд, бросила кубок, с минуту стояла с блуждающим взглядом, как бы ожидая смерти, потом упала на пол и умерла. Хармионы, египтянки, не было в живых, и я остался один с мертвецами. Я подкрался к Клеопатре и теперь, когда никто не мог увидеть меня, сел на ложе, положил её прекрасную голову к себе на колени и долго смотрел на неё. Так, держа её голову, сидел я когда-то ночью под сенью величественной пирамиды! Потом я поцеловал её мёртвое прекрасное чело и ушёл из дома.

— Врач, скажи мне, что происходит в гробнице? — спросил меня начальник стражи в воротах.

— Ничего не происходит — всё произошло! — ответил я и ушёл. Пока я шёл в темноте, я слышал звуки голосов и торопливые шаги посланцев цезаря. Быстро подойдя к дому, я встретил Атую, которая поджидала меня у ворот. Она увела меня в комнату и заперла дверь.

— Всё кончено? — спросила она, повернув ко мне своё морщинистое лицо, освещённое светом лампы.

— Да, всё кончилось, старуха! Все умерли!

Старая женщина выпрямилась.

— Теперь отпусти меня с миром! — вскричала она. — Я видела гибель врагов твоих и Кеми! Ля, ля! Не напрасно прожила я на свете столько долгих лет. Исполнилось моё желание, враги твои погибли. Я собрала росу смерти, и враги твои выпили её! Погибло чело гордости!

— Молчи, женщина, перестань! Мёртвые отошли к мёртвым! Озирис сковал их узами смерти и положил печать молчания на их уста! Не преследуй оскорблениями павшего величия! Теперь пойдём в Абуфис и довершим свою судьбу!

— Иди, Гармахис! Иди, но я не пойду! Я ждала только одного на земле! Теперь я разрываю узы жизни и освобождаю мой дух! Прощай, князь! Моё странствие кончено! Гармахис, я любила тебя с детских лет и люблю теперь! Но здесь, на земле, не могу более разделять твоих печалей! Устала и ослабела! Озирис, прими мой Дух!

Её дрожащие колена подогнулись, и она упала на пол. Я подбежал к ней, взглянул в лицо.

Она была мертва. Я остался один на земле, без друга.

Я повернулся и пошёл, потом отплыл из Александрии на корабле, который приготовил заранее. На восьмой день я пристал к берегу и, как намеревался, пошёл пешком через зеленеющие поля к священным

гробницам Абуфиса. Я знал, что в храме Сети давно уже восстановлено поклонение богам. Хармиона заставила Клеопатру раскаяться в своём поступке и вернуть захваченные земли, хотя сокровищ не вернула. В священном храме теперь, во время праздников Изиды, собрались все великие жрецы старинных египетских храмов, чтобы отпраздновать возвращение богов на своё священное место.

На седьмой день праздника Изиды я добрался до города.

Длинная процессия шла по хорошо памятным мне улицам. Я присоединился к толпе и запел священный гимн, когда мы входили через портики в нетленные обители Абуфиса.

Когда священная музыка умолкла, как прежде, на закате величия бога Ра, — великий жрец поднял статую Озириса и держал её высоко над толпой.

С радостным криком: «Озирис! Наша надежда! Озирис! Озирис!» — народ сбросил траурные одежды и благоговейно склонился перед богом.

Затем все разошлись по домам, а я остался на дворе храма. Скоро жрец храма подошёл ко мне и спросил, что мне нужно. Я ответил ему, что прибыл из Александрии и хотел бы попасть на совет великих жрецов.

Когда великие жрецы узнали, что я прибыл из Александрии, то приказали сейчас же привести меня.

Стемнело. Между большими колоннами горели лампы, как в ту незабвенную ночь, когда я был коронован.

Как в ту ночь, передо мной в разных креслах сидели жрецы и сановники, собравшиеся сюда на совет.

Я встал на том самом месте, где некогда был коронован, и приготовился к последнему акту моего позора.

— Это врач Олимп! — сказал один. — Он жил отшельником в гробнице близ Тапе и недавно ещё был доверенным лицом Клеопатры. Скажи, врач, правда ли, что царица умерла от своей собственной руки?

— Да, господа, я вам всё скажу, для этого я пришёл сюда. Может быть, между вами есть — мне кажется, я вижу их — люди, которые одиннадцать лет тому назад присутствовали в этой зале на тайном короновании Гармахиса, фараона Кеми!

— Это правда, — отвечали они, — но как ты знаешь всё это, Олимп?

— Из тридцати семи храбрых, благородных людей, — продолжал я, не отвечая на вопрос, — тридцати двух человек нет! Одни умерли, как Аменемхат, другие убиты, как Септа, некоторые, быть может, работают в рудниках как рабы или живут вдали, опасаясь мщения!

— Это верно, — повторили они, — увы, это верно! Проклятый Гармахис выдал заговор и продался развратной Клеопатре!..

— Это так, — продолжал я, подняв голову. — Гармахис выдал заговор и продался Клеопатре. Священные отцы, я — этот Гармахис!

Жрецы и сановники смотрели на меня с удивлением. Одни встали с мест и заговорили, другие молчали.

— Я — этот Гармахис! Я — изменник, трояко погрязший в преступлении. Я — изменник богам, моей стране и моей клятве! Я пришёл сюда, чтобы сказать о моих преступлениях. Я совершил мщение богов над той, которая погубила меня и отдала Египет во власть римлян. Теперь, после долгих лет труда и терпеливого ожидания, всё это совершено моей мудростью, с помощью разгневанных богов! Теперь я сам,

с головой, покрытой позором, пришёл объявить, кто я, и получить награду за мою измену!..

— Знаешь ли ты, какая страшная участь ожидает того, кто нарушил великую, ненарушимую клятву?
— спросил первый жрец.

— Знаю хорошо, — отвечал я.

— Расскажи нам всё дело, ты, который был Гармахисом!

В холодных и ясных словах я рассказал им всё.

Пока я говорил, я видел, что лица присутствовавших становились всё суровее.

Наконец я кончил рассказ, и они удалили меня на время совещания. Потом меня снова призвали. Старейший из жрецов, почтенный старик, жрец в Тапе, сказал мне ледяным тоном:

— Гармахис, мы рассмотрели твоё дело! Ты совершил тройной смертельный грех: на твоей голове лежит бремя несчастий Египта, поглощённого Римом, ты смертельно оскорбил священную мать Изиду, ты нарушил священную клятву. За всё это, за все грехи твои, ты сам хорошо знаешь, есть одно наказание, и ты получишь его! Ты, опозоренный, развенчанный фараон! Здесь, где мы увенчали тебя когда-то двойной короной Египта, мы осуждаем тебя навеки! Иди в темницу и жди удара, который поразит тебя!

Меня увели. Я шёл, склонив голову, не смея поднять глаз и чувствуя, что глаза жрецов жгут моё лицо.

Х

Последние записки Гармахиса, царственного египтянина.

Они увели меня, заперев в комнате, высоко, на портике башни. Здесь я ожидаю своей участи. Я не знаю, когда меч судьбы падёт на мою голову. Неделя тянется за неделей, месяц за месяцем, а моя участь всё остаётся неизвестной. Я уйду, но уйду с надеждой, ибо, хотя я не вижу её, Изиду, хотя она не отвечает на мои молитвы, но знаю, что она всегда со мной, священная мать, которую я буду лицезреть лицом к лицу! Тогда, наконец, в тот далёкий день я обрету прощение! Бремя спадёт с моего сердца, моя чистота вернётся ко мне и принесёт мне священный мир и покой.

* * * * *

Солнце садится за Абуфисом. Красноватые лучи бога Ра пламенеют на крышах храмов, озаряя прощальным светом зеленеющие поля и тихие воды родного Сигора. Ребёнком я часто наблюдал закат солнца. Последний поцелуй его также трогал нахмуренное чело далёких портиков, такие же длинные тени ложились от гробниц.

Всё то же, ничего не изменилось! Я только, я изменился и всё-таки остался тем же!

(Здесь третий свиток папируса неожиданно заканчивается. Можно думать, что в этот момент автор записок был прерван теми, которые повели его на смерть.)

Примечания

1

Цезарь Гай Юлий (102 — 44 гг. до н.э.) — римский диктатор, полководец, фактический монарх.

2

Антоний Марк (83 — 30 гг. до н.э.) — римский полководец, сторонник Цезаря.

3

Дидим из Александрии — критик, автор словарей, литературно-исторических и грамматических работ, на которых базируется общая филология. Благодаря множеству научных трудов (их количество колеблется от 3500 до 4000) получил прозвище Халкентер — человек с бронзовыми внутренностями, то есть железным прилежанием.

4

Сиенит — горномагматическая порода зернистого строения, состоящая в основном из полевых шпатов и цветных минералов с включениями кварца. По названию древнеегипетского города Сун (греч. Сиена — совр. Асуан); строительный и декоративный камень.

5

Порфир — горная порода с крупными кристаллами силикатов или кварца, вкрапленными в мелкозернистую массу разнообразных пурпурных оттенков. Очень красивый декоративный камень.

6

Лохиада — замыкавший с востока Большую гавань мыс, выдававшийся в море в виде длинного пальца, указывавшего прямо на север. На Лохиаде находился построенный Птолемеями дворец. На западном берегу мыса, у самого его основания, располагалась замкнутая бухта, предназначенная для царских кораблей.

7

Ракотида — второй по значению после Брухейона квартал Александрии.

8

Адонис — бог плодородия и растительности в древнефиникийской мифологии. С V в. до н.э. культ Адониса распространился в Греции, позднее в Риме.

9

Аргус — в древнегреческой мифологии многоглазый великан, бдительный страж.

10

Ариадна — дочь критского царя Миноса; помогла афинскому герою Тесею выйти из лабиринта, вручив ему клубок ниток, конец, которых был закреплен при входе («нить Ариадны»); бежала тайно с Тесеем, обещавшим на ней жениться, но была им оставлена.

11

Авгуры — в Древнем Риме коллегия жрецов, толковавших волю богов.

12

Эрос — в греческой мифологии бог любви, то же, что в римской — Амур.

13

Целла — святилище античного храма, где находилось скульптурное изображение божества.

14

Имеется в виду Птолемей VIII Эвергет II.

15

Экзегет — толкователь, проводник, возможно, инспектор или хранитель одного из отделений Мусейона.

16

Имплювнй — прямоугольный неглубокий водосток — бассейн в центре атрия (закрытого внутреннего двора, располагающегося в центре жилого дома). В кровле над имплювиумом находился комплювий — прямоугольный проем, через который в бассейн стекала дождевая вода.

17

Атриум (точнее атрий), в который выходили двери почти всех помещений первого этажа, обычно использовался как гостиная.

18

Амфисса — город в Средней Греции.

19

Одеон — круглое в плане крытое здание для выступления певцов, концертный зал.

20

Герма — четырехгранный столб со скульптурным завершением, вид декоративной и парковой скульптуры.

21

Аспазия (ок. 470 — ? г.г. до н.э.) — афинская гетера, отличавшаяся красотой, умом, образованностью: в ее доме собирались художники, поэты, философы. С 445 г. до н.э. — жена Перикла, афинского стратега, вождя демократов.

22

Пандора («всем одаренная») — в греческой мифологии женщина, созданная по воле Зевса, чтобы принести людям соблазны и несчастья. Несмотря на запрет богов, любопытная Пандора открыла сосуд (или ящик), в котором были заключены все людские пороки, и тогда по земле расплозились бедствия и болезни. Ящик Пандоры — в переносном смысле — источник всяких бед.

23

См. «Послесловие».

24

Панейон — святилище в честь бога Пана в центре Александрии, на искусственной возвышенности, вокруг которой шла спиральная дорога.

25

Гемма — драгоценный или полудрагоценный камень с вырезанным изображением.

26

Гера — верховная греческая богиня, царица богов.

27

Птолемей XII Неос Дионис (80 — 51 г.г. до н.э.)

28

Авлет — «флейтист». Прозвище произошло от названия древнейшего греческого духового инструмента авлоса, в ранних переводах ошибочно именуемого флейтой.

29

Береника IV правила после изгнания Авлета в 58 — 55 г.г. до н.э. сначала вместе с матерью, а после ее смерти самостоятельно.

30

Армамакса — азиатская повозка типа кибитки.

31

Эпикур (341 — 270 г.г. до н.э.) — древнегреческий философ-материалист, основатель философской школы, получившей название «Сад Эпикура». Эстетическое учение Эпикура основано на разумном стремлении человека к счастью; основной девиз: «Живи уединенно». Цель жизни — отсутствие страданий, здоровье тела и состояние безмятежности духа. Познание природы освобождает человека от страха

смерти, суеверий и религии вообще. Эпикур признавал существование блаженно-безразличных богов в пространствах между многочисленными мирами, однако отрицал их вмешательство в жизнь космоса и людей.

32

Аристипп из Кирены (435 — 355 г.г. до н.э.) — древнегреческий философ, ученик Сократа, считал высшим благом физическое и духовное наслаждение; по Аристиппу, добродетель и мудрость имеют ценность только как средство к его достижению.

33

Лукреций Кар (ок. 96 — 55 г.г. до н.э.) — поэт и философ-материалист, последователь учения Эпикура, основные положения философской системы которого он изложил в поэме «О природе вещей».

34

Анубис — верховный жрец, глава жреческой иерархии в Египте.

35

Антипатр — еврейский военачальник. Войдя в доверие к Помпею, сделался опекуном бездарного иудейского царя-первосвященника Гиркана II и фактическим правителем покоренного римлянами израильского народа. В 47 году до н.э. Юлий Цезарь назначил Антипатра эпитроном (наместником) всей Иудеи.

36

Баратры — согласно свидетельству древних историков, так назывались обширные болотистые топи близ Пелусия. Они являлись серьезным препятствием для прохождения неприятельских войск.

37

Архелай, грек по происхождению, с 56 года до н.э. второй муж Береники IV; провозгласил себя египетским царем незадолго до вторжения в страну нанятых Авлетом войск Авла Габиния, в сражении с которыми был убит.

38

Эфеб — юноша, достигший восемнадцатилетнего возраста. В союзе эфебов проходили гражданскую и военную подготовку к последующей деятельности.

39

Казий — возвышенность на морском берегу близ Пелусия.

40

Трибун военный — офицер. В каждом легионе было шесть военных трибунов, исполнявших свои обязанности посменно.

41

Фарос — остров в дельте Нила. Построенный здесь маяк высотой около 120 м считался одним из семи чудес света; разрушен в 1326 году землетрясением.

42

Остов тяжелого корабля, используемый в данном случае для сужения пролива с целью его перекрытия.

43

Секст Помпей (73 — 35 г.г. до н.э.) — младший сын Помпея Великого; с 43 по 36 г.г. до н.э. командовал римским флотом.

44

Тенар — мыс, южная оконечность Пелопоннесского полуострова.

45

Гептастадий — дамба длиной в 7 стадий (греко-римский стадий равен 176,6 м), соединяющая Александрию с островом Фарсе и отделяющая Большую гавань на восточной стороне от гавани Эвноста (то есть гавани Счастливого возвращения).

46

Серапеум — храм Сераписа.

47

Симпозитарх — председатель и руководитель пиршества.

48

Аквиум (или Акции) — мыс в Ионическом море.

49

Гадес — царство мертвых.

50

Пастофор — жрец, несущий святыни.

51

Нектанеб II — последний египетский фараон (367 — 350 г.г. до н.э.). При завоевании Александром Македонским Египта была пущена династическая легенда о происхождении его от Нектанеба. Внук Нектанеба занимал важную придворную должность при Птолемах.

52

Паретоний — город и гавань на территории современной Ливии.

53

Наварх — капитан корабля.

54

Агриппа Марк Випсаний (64 — 12 до н.э.) — римский полководец и государственный деятель, близкий друг Октавиана.

55

Сезострис — наиболее популярное в египетской политической истории и классической литературе имя фараона Рамзеса II (1348 — 1281 г.г. до н.э.)

56

Нехо II (610 — 595 до н.э.) — фараон, при котором прорыт канал, соединяющий Нил с Красным морем.

57

Теренций Афер (Африканец) (ок. 190 — 158 г.г. до н.э.) — великий римский комедиограф.

58

Таблиний — рабочий кабинет. Таблицы — доски, на которых писали.

59

Ирод I Великий (ок. 73 — 4 г.г. до н.э.) — сын Антипатра, в 40 г. до н.э. римским сенатом назначенный царем Иудеи.

60

Палестра — место для гимнастических упражнений.

61

Элизиум — обитель блаженных, загробный мир для праведников.

62

Данаиды — в греческой мифологии 50 дочерей аргосского царя Даная, убившие своих мужей и осужденные за это богами вечно наполнять водой бездонную бочку (отсюда выражение «работа динаид» — бессмысленный труд).

63

Канал Агатодемона (доброего демона) соединял Большую Гавань с расположенным на юге столицы Мареотийским озером.

64

Геба — в древнегреческой мифологии богиня юности — подносила богам на Олимпе нектар и амброзию (пищу богов).

65

Береника (Вереника, Вероника, диалектная форма от греч. Ференика — «приносящая победу»), с 246 года до н.э. — жена Птолемея III. Когда ее муж отправился в поход против Сирии, она отрезала свои роскошные волосы и посвятила их в храме Афродите, моля богиню об успешном исходе войны. На следующий день волосы исчезли из святилища, и астроном Конон из Самоса объяснил, что боги превратили их в созвездие. Береника пережила своего мужа и, вероятно, одно время была соправительницей своего сына Птолемея IV. Стесняемый властолюбивой и энергичной матерью, царь велел ее убить.

66

Филипы — город в Македонии, где убийцы Юлия Цезаря, потерпев поражение от Антония и Октавиана, кончили самоубийством.

67

Тимон — афинянин, современник Сократа и Аристофана. Печаль об упадке нравственности привела его к тому, что он избегал общения с людьми, выстроил себе уединенный дом-башню. Тимон — прототип мрачного человеконенавистника.

68

Сатурналии — в древнем Риме народный праздник окончания полевых работ в честь Сатурна, бога посевов и покровителя земледелия. Сатурналии длились семь дней и сопровождались необузданным весельем.

69

Квириты — древнее название римских граждан. Кроме того, квиритами называли гражданских лиц в противоположность военным.

70

Почтительное именование. Антоний титула «император» от римского сената официально не получил.

71

Toга virilis — одежда совершеннолетнего, то есть полноправного гражданина.

72

Нереиды — морские нимфы, по греческой мифологии пятьдесят дочерей морского старца Нерея, имена которых указывают на изменчивость, глубину, стремительность и прихотливость моря.

73

В 44 году до н.э. после усыновления двоюродным дедом (Юлием Цезарем) Гай Октавиан принял имя Гай Юлий Цезарь.

74

Египетскую корону, а также все царские диадемы украшала голова кобры.

75

На египетских пиршествах присутствовало изображение мумии, напоминавшей гостям о смерти. В подражание этому обычаю у римлян было принято обносить вокруг стола статуэтку, имевшую вид скелета. Эстетическое чувство греков превратило этот безобразный символ в крылатого ангела. (Примеч. авт.)

76

Навмахия — бой, имитирующий морское сражение. Такие бои ради развлечения публики устраивались в огромных, специально сооруженных для этой цели бассейнах и обставлялись с особой помпезностью, особенно во времена Цезаря, Августа, Нерона.

77

Ликторы — почетные стражи при римских должностных лицах, несли охрану при телесных наказаниях и смертельных казнях.

78

Геката — в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства; скиталась в сопровождении собак и призраков.

79

Гимнасиарх — руководитель гимнасия, одна из почетнейших выборных (сроком всего на один год) должностей.

80

Восклицание римлянина и ответ верной служанки буквально заимствованы у Плутарха. (Примеч. авт.)

81

Так назывались сотники у римлян.

82

Первый Птолемей Лагид был военачальником Александра Македонского.

83

Египетские парки, боги судьбы.

84

Священный жук египтян.

85

Звезда, с появлением которой совпадает начало разлития Нила.

86

По египетской религии существо человека состоит из четырёх частей: тела, двойного или звёздного вида, души и светоча жизни от божества.

87

Музыкальный инструмент, посвященный богине Изиде.

88

В Египте неискусные врачи подвергались тяжелому наказанию.

89

Царская повязка фараонов.

90

Намёк на его имя. Гармахисом греки называли божество сфинкса, как египтяне называли его Хоремку.

91

Соловей.

92

Другими словами, Божество выше человеческих похвал.

93

Это символ «Хора на горизонте» означает могущество Септа и добро над мраком и злом, которые воплощаются в Тифоне.

94

Фивы.